



РОССИЙСКАЯ
ИМПЕРИЯ
В ЗАРУБЕЖНОЙ
ИСТОРИОГРАФИИ

НОВЫЕ ГРАНИЦЫ

РОССИЙСКАЯ
ИМПЕРИЯ
В ЗАРУБЕЖНОЙ
ИСТОРИОГРАФИИ
Работы последних лет

НОВОЕ издательство

2005

УДК 94(47)
ББК 63.3(2)
Р76

СЕРИЯ «НОВЫЕ ГРАНИЦЫ» ИЗДАЕТСЯ С 2004 ГОДА

Издатель Евгений Пермяков
Продюсер Андрей Курилкин

Консультант Алексей Миллер
Дизайн Анатолий Гусев

Издание подготовлено в рамках МЕГАПРОЕКТА
«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ»
Института «Открытое общество» (Фонд Сороса)

Издание осуществлено при поддержке МЕЖДУНАРОДНОГО
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА им. Д.С. Лихачева и совместной
ПРОГРАММЫ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИИ,
«ИНО-ЦЕНТРА (ИНФОРМАЦИЯ. НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ)»
и института им. Кеннана центра Вудро Вильсона
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУКАХ»

Составители Пол В. Верт, Петр Кабытов, Алексей Миллер
Предисловие и вводные статьи к разделам Пол В. Верт,
Алексей Миллер, Петр Кабытов, Ольга Леонтьева
Перевод с английского Наталия Бодягина, Елена Кременскова,
Ольга Леонтьева, Анна Проскурина; с немецкого Нина Данилова,
Василий Никитин; с французского Наталия Липатова
Ответственные редакторы Ольга Леонтьева, Михаил Долбилов

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В ЗАРУБЕЖНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
Р76 Работы последних лет: Антология
Сост. П. Верт, П.С. Кабытов, А.И. Миллер
М.: Новое издательство, 2005. — 696 с. — (Новые границы)

ISBN 5-98379-032-3

Насколько мы осознаем сегодня имперское измерение российской истории, его особенности и черты, общие с другими империями? Сборник переводов лучших статей по истории Российской империи, опубликованных зарубежными исследователями в последние годы, наверняка будет интересен российскому читателю.

УДК 94(47)
ББК 63.3(2)

ISBN 5-98379-032-3

© Фонд имени Д.С. Лихачева, 2005
© ИНО-Центр, 2005
© Новое издательство, 2005

Предисловие	9
I. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ И МЕТОДОЛОГИЯ	
От составителей	15
История России как история империи: перспективы федералистского подхода Марк фон Хаген	18
От «сопротивления» к «подрывной деятельности»: власть империи, противостояние местного населения и их взаимозависимость Пол В. Верт	48
Численность бюрократии и армии в Российской империи в сравнительной перспективе Стивен Величенко	83
II. НАУКА И ИМПЕРИЯ	
От составителей	117
Естествоиспытатели и нации: русские ученые XVIII века и проблема этнического многообразия Юрий Слёзкин	120
Наука, империя и народность: Этнография в русском географическом обществе, 1845–1855 Натаниэль Найт	155

СОДЕРЖАНИЕ

РУССКИЕ ПРЕВРАЩАЮТСЯ В ЯКУТОВ? «ОБЫНОВОРОДЧИВАНИЕ» И ПРОБЛЕМЫ РУССКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ НА СЕВЕРЕ СИБИРИ, 1870–1914

Виллард Сандерланд 199

ЭТНИЧЕСКИЕ МЕНЬШИНСТВА, ЭТНОГРАФИЯ И РУССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ ПЕРЕД ЛИЦОМ СУДА: «МУЛТАНСКОЕ ДЕЛО» 1892–1896 ГОДОВ

Роберт Джераси 228

III. ВОСТОК ИМПЕРИИ: ПРОБЛЕМЫ ВООБРАЖЕНИЯ И ПОНИМАНИЯ

От составителей 273

Россия между Европой и Азией: Идеологическое конструирование географического пространства

Марк Бассин 277

Российская история и спор об ориентализме

Адиб Халид 311

О русском ориентализме: Ответ Адибу Халиду

Натаниэль Найт 324

Есть ли русская душа у русского ориентализма?

Дополнение к спору Натаниэля Найта

и Адиба Халида

Мария Тодорова 345

Барымта: Обычай в глазах кочевников, преступление в глазах империи

Вирджиния Мартин 360

IV. ИМПЕРИЯ И НАЦИОНАЛИЗМ

От составителей 391

Образование наций и национальные движения в Российской империи

Андреас Каппелер 395

Изобретающее воспоминание: Русский этнос в Российской национальной памяти

Андреас Реннер 436

СОДЕРЖАНИЕ

СОСЛОВИЕ, РЕГИОН, НАЦИЯ И ГОСУДАРСТВО:
ОДНОВРЕМЕННОСТЬ НЕОДНОВРЕМЕННОГО В ЛОКАЛЬНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ.
ПРИМЕР РИГИ 1860–1914 ГОДОВ

УЛЬРИКЕ ФОН ХИРШХАУЗЕН 472

КТО И КОГДА БЫЛИ «ИНОРОДЦАМИ»? ЭВОЛЮЦИЯ
КАТЕГОРИИ «ЧУЖИЕ» В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

ДЖОН У. СЛОКУМ 502

V. НА ПЕРЕКРЕСТКЕ КОНФЕССИИ И НАЦИИ

ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ 535

НАРОДНЫЙ ИСЛАМ У КРЕЩЕННЫХ ПРАВОСЛАВНЫХ ТАТАР
В XIX ВЕКЕ

АГНЕС Н. КЕФЕЛИ-КЛАЙ 539

МОЖЕТ ЛИ КАТОЛИК БЫТЬ РУССКИМ?

О ВВЕДЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА В КАТОЛИЧЕСКОЕ
БОГОСЛУЖЕНИЕ В 60-х ГОДАХ XIX ВЕКА

ДАРИУС СТАЛЮНАС 570

«МЫ» ИЛИ «ОНИ»?

БЕЛОРУСЫ И ОФИЦИАЛЬНАЯ РОССИЯ, 1863–1914

ТЕОДОР Р. ВИКС 589

СОЗДАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП И ОПРЕДЕЛЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА ИНДИВИДУУМА:

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПО СОСЛОВИЮ, ВЕРОИСПОВЕДАНИЮ
И НАЦИОНАЛЬНОСТИ В КОНЦЕ ИМПЕРСКОГО ПЕРИОДА
В РОССИИ

ЧАРЛЬЗ СТЕЙНВЕДЕЛ 610

ЗА ЧЕРТОЙ ОСЕДЛОСТИ:

ЕВРЕИ В ДОРЕВОЛЮЦИОННОМ ПЕТЕРБУРГЕ

БЕНДЖАМИН НАТАНС 634

СПРАВКА ОБ АВТОРАХ 688

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА 693

Предисловие

Изучение истории Российской империи за границей имеет достаточно давние традиции и значительные достижения. Однако последние десять лет прошлого и начало нынешнего века стали, безусловно, особенно продуктивными для зарубежных историков России. Наряду с продолжавшими плодотворно работать историками старшего поколения этой проблематикой стали активно заниматься многие молодые исследователи. Но дело не только в возросшем количестве защищаемых диссертаций и публикуемых работ именно по имперской проблематике. По ряду причин можно говорить и о новом качестве исследований последних лет.

Во-первых, это значительно более широкое, чем прежде, использование архивных материалов. Нельзя сказать, что раньше зарубежные историки совсем были лишены доступа в наши архивы. Но после падения советского режима для них не только стали доступнее центральные, но также открылись и местные архивы, и историки поспешили этим воспользоваться. Многие зарубежные исследователи систематически, подолгу работали в России и в других бывших республиках СССР и по уровню знания источников сегодня не уступают своим российским коллегам.

Во-вторых, теоретическое и методологическое отставание, характерное для большинства работ по истории России в прежнее время, сегодня, кажется, уходит в прошлое. Методологические достижения исследований культуры, национализма, идентификаций, дискурсов, колониальной истории сразу берутся на вооружение исследователями истории Российской империи. Царская империя не рассматривается теперь как совершенно особый феномен, к ко-

торому не применимы методы и модели, разработанные на ином материале. Это, в свою очередь, открывает очень богатые возможности для сравнительного подхода к изучению истории России.

Очень важно, что многие зарубежные историки уже вполне свободны от ограниченности национальных исторических нарративов, которые еще продолжают, по крайней мере с точки зрения объема «валового продукта», доминировать на постсоветском пространстве. Их более интересуют теперь взаимодействия центра и периферии империи, разных групп ее населения, непредопределенность процессов формирования национальных идентичностей, то есть именно имперская составляющая российской истории. При изучении отношений имперских властей с подвластным населением историки теперь заметно ближе к соблюдению определенного баланса. С одной стороны, репрессивность Российской империи получает должное внимание и отражение, что слишком часто отсутствует в работах российских историков. В то же время репрессивность империи не становится в этих работах самодовлеющей. Она не заслоняет от внимания исследователей сложный процесс выработки политики властей, многообразие форм взаимодействия центра и периферии, отнюдь не исчерпывающегося репрессивностью.

В течение многих десятилетий историки в СССР были лишены нормальных контактов с зарубежными коллегами. Когда институциональные ограничения были сняты, более очевидно проявились ограничения иного рода – недостаточное владение иностранными языками, скудное снабжение наших библиотек зарубежной литературой, что отчасти объясняется высокими ценами на иностранные книги и журналы. Это делает переводы новых зарубежных исследований настоятельной необходимостью.

Данная антология — далеко не первый шаг в этом направлении. Систематически публикует переводы важных статей журнал *Ab Imperio*. Самарским государственным университетом в сотрудничестве с университетом Мэриленда выпущены три тома издания «Американская русистика», один из которых посвящен именно истории Российской империи. Опыт осуществления таких больших переводческих проектов, накопленный самарскими коллегами, использован при подготовке этой антологии. В то же время нужно отметить и ее существенное отличие от «Американской

ПРЕДИСЛОВИЕ

русистики» — в нее включены переводы не только с английского, но также с немецкого, французского, литовского языков. Нам это кажется принципиально важным, и не только потому, что это ценные и интересные работы. Такой выбор составителей можно рассматривать и в качестве, если угодно, «дорожного указателя». Мы хотели привлечь внимание читателя, во-первых, к тому, что такие крупные историографии, как французская и особенно немецкая, действительно вносят очень существенный и оригинальный вклад в изучение истории Российской империи. Во-вторых, мы хотели показать, что в историографиях стран, бывших некогда частью этой империи, в последнее время тоже появляется совсем немало исследователей, чутких к сложности и многообразию имперской истории.

Составители очень рассчитывают на то, что эта книга попадет не только в руки специалистов-историков, но и будет использована преподавателями истории в вузах, где проблема изучения истории Российской империи сегодня еще очень далека от удовлетворительного решения. Собственно, это было одним из приоритетов мегапроекта «Развитие образования в России» Института «Открытое общество» (Фонд Сороса), благодаря финансовой поддержке которого был осуществлен проект по сравнительному изучению Российской империи, частью которого стала и настоящая антология. Подробнее о проекте можно узнать на интернет-сайте <http://www.saratov.iriss.ru/empires>. Он содержит и много других материалов, которые будут полезны исследователям, преподавателям и студентам.

Настоящее издание осуществлено при финансовой поддержке Международного благотворительного фонда им. Д.С. Лихачева в рамках программы «Межрегиональные исследования в общественных науках», реализуемой совместно Министерством образования и науки Российской Федерации, «ИНО-Центром (Информация. Наука. Образование)» и Институтом им. Кеннана Центра Вудро Вильсона при поддержке Корпорации Карнеги в Нью-Йорке и Фонда Джона Д. и Кэтрин Т. МакАртуров. Точки зрения, отраженные в настоящем издании, могут не совпадать с точкой зрения доноров и организаторов Программы.

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ И МЕТОДОЛОГИЯ

От составителей

В первый раздел антологии включены три статьи, носящие более общий, по сравнению с другими публикуемыми работами, характер. Марк фон Хаген анализирует в своей статье разнообразные причины, вызвавшие в последнее десятилетие рост интереса к проблематике имперской истории вообще и к Российской империи в частности. Он предлагает также ряд важных методологических постулатов, которые объединяет под именем «федералистского подхода» к истории Российской империи. Об удачности этого термина можно спорить: речь идет по преимуществу не об идеологии федерализма или отражении федералистских норм в правовой структуре Российской империи, но о неоднородности ее политической структуры и о важной роли местных акторов наряду с имперским центром. Сами же методологические рекомендации фон Хагена представляются очень точными и важными. Американский историк пишет о необходимости компаративистского подхода и подчеркивает, что наряду с необходимостью сравнивать Российскую империю с другими империями едва ли не «более важно уметь сопоставлять взаимоотношения империи с разнообразными подвластными ей сообществами, выделенными по религиозному, сословному или же этнолингвистическому принципу».

Фон Хаген ставит вопрос: «Существует ли некая промежуточная точка зрения между этими крайностями, которая не была бы апологетикой ни империализма, ни кликушествовавшего национального шовинизма?» Его решение он видит в учете того, что «Михаил Бахтин называл полифонией или „разноголосостью“, где голос (или голоса) имперского центра переплетаются с голосами

иных сообществ, находящихся под властью империи». «Обширное научное направление, — пишет фон Хаген, — объединяющее специалистов по истории различных народов империи (кроме русского), должно интегрироваться с магистральной линией изучения и преподавания российской истории; а представители этой магистральной линии, в свою очередь, не должны больше трактовать историю Российской империи так, как если бы она состояла исключительно из этнических русских („нации“, которой не существовало на протяжении большей части имперского периода русской истории и о характере которой бурно спорили на закате империи и в советский период)». Эти идеи нашли в последние годы широкий отклик среди историков и в России, и за рубежом.

Идея о том, что локальные или «подчиненные» (*subaltern*) акторы играли в жизни империи важную роль, подробно анализируется и развивается в статье американского историка Пола В. Верта. Верт показывает, что и в российской (и советской), и в зарубежной историографии при описании взаимоотношений имперского центра и нерусских национальных сообществ доминировала «парадигма открытого сопротивления» — авторы прослеживали прежде всего историю восстаний, бунтов, крестьянских войн и религиозных движений. Это существенно обедняет тематику взаимодействия. Верт призывает уделять больше внимания пассивной оппозиционности местных национальных сообществ по отношению к разнообразным инициативам имперского центра, которая, несмотря на свой «мирный» характер, могла значительно «осложнять жизнь» и «портить нервы» властям. Вообще в данном контексте употребляемый Вертом термин *subversion* даже лучше переводить не буквально как «подрывная деятельность», что по-русски звучит достаточно сильно, сколько как «мирное сопротивление», формами которого могли быть подача прошений, распространение слухов, «непонимание» правительственных предписаний, дававшее возможность уклониться от их выполнения, иногда — даже религиозное обращение (поскольку слияние элементов двух различных культур обычно становится питательной почвой для рождения ересей) и т.д. С точки зрения Верта, акции «сопротивления» имеют место лишь в крайних случаях (например, на самой ранней стадии установления имперского господства), тогда как мирная «подрывная деятельность» является

характерной чертой повседневной жизни имперской провинции «даже в периоды кажущегося благополучия».

Очень важен тезис Верта о том, что в локальных структурах взаимодействия обычно участвуют не два (имперский центр и нерусское сообщество), но более акторов. Среди них, подчеркивает Верт, могут быть и русские переселенцы, которые далеко не во всем и не всегда солидарны с центральной властью. Стоит добавить, что очень часто и нерусские сообщества были представлены на разных окраинах не одной, а несколькими группами, с различными, порой конфликтными, интересами.

Третья статья этого раздела посвящена сравнению Российской империи с другими империями Нового времени. Стивен Величенко выбрал для этого сравнения весьма важный и прежде малоисследованный аспект — численность имперской армии и бюрократии. Представленные в ряде весьма информативных таблиц, собранные им данные будут полезны многим исследователям. Величенко сравнивает не только абсолютные цифры, но и региональную специфику, а также пропорции армии и чиновничьего аппарата к общей численности населения. В результате сопоставления полученных относительных величин автор приходит к выводу, что на самом деле в Российской империи было на порядок меньше чиновников на душу населения, чем в европейских государствах. Иными словами, вопреки распространенному заблуждению о России как царстве бюрократии, Российская империя в действительности была «недоуправляемой» (*undergoverned*). Соотношение числа чиновников к численности населения в России близко к пропорциям, характерным для некоторых колониальных владений Британии и Франции того времени. В исследовании указывается, что в великорусских губерниях было даже меньше чиновников, чем в некоторых из нерусских окраин, например Польше. В этой, а также целом ряде других статей, Величенко высказывает ряд интересных гипотез о роли такой «недоуправляемости» в развитии политических процессов, в том числе национальных движений.

МАРК ФОН ХАГЕН

История России как история империи: перспективы федералистского подхода

Исследования по истории империй снова вошли в моду¹. Вопрос о том, почему это произошло именно в конце XX столетия, мог бы стать предметом интересных размышлений. Распад Советского Союза, а также крах блока его союзников в Центральной и Восточной Европе дали толчок к созыву множества конференций и выпуску множества увесистых томов, где «социалистическое содружество» трактовалось как «последняя великая империя», а его крушение сопоставлялось с распадом Австро-Венгрии или Османской империи². Но еще до начала эры горбачевских реформ во внешней и внутренней политике, которые привели к распаду Советского Союза, наблюдалось оживление интереса к истории империй — особенно Британской, Французской, а также империи Габсбургов, — что объяснялось влиянием самых различных политических и академических причин. Так, интерес к этой тематике проявлял круг ученых, откровенно критично настроенных по отношению к европейским империям и к самой идее европейской гегемонии; эти ученые, вышедшие преимущественно из среды специалистов по истории «третьего мира» или «постколониальной» истории (но обычно не из числа специалистов, занимающихся историей Британии или Франции в традиционном смысле этих слов), вдохнули вторую жизнь в антиимпериалистическую риторику конца XIX века, хотя их собственные академические штудии направлены своим критическим острием против современного американского «империализма»³. В таких работах вдохновленная критика в адрес европейского правления зачастую сопряжена с веяниями новых исторических дисциплин, — таких, как «новая культурная история» или

история науки и медицины. Эту тенденцию отчасти можно объяснить, если обратиться к истории формирования академических интересов того поколения, которое сложилось под влиянием радикализма 1960-х годов, а в менее давние времена пережило увлечение проблемами идентичности и бурные научные баталии вокруг проблемы мультикультурализма в Соединенных Штатах.

Но при этом другой важной причиной оживления интереса к истории империй следует считать переосмысление идей «национального государства» и национализма: переосмысление, в основе которого лежало стремление объяснить, почему история национализма часто оказывалась столь трагична — особенно в течение всего XX столетия и в его конце; возможно, этот интерес является и следствием не высказываемого вслух разочарования, вызванного крушением идеалов Объединенных Наций, которые, как казалось, одержали триумфальную победу над националистическими идеями после Второй мировой войны. Постсоветский национализм в Восточной и Центральной Европе, а также в Евразии по большей части «возник» так внезапно и привел к столь негативным последствиям, что параллели с националистическими движениями межвоенного или даже военного времени напрашивались сами собой⁴. Официальные версии исторического прошлого, которых придерживаются сейчас многие национальные движения и политические лидеры, столь явным образом «искусственно сконструированы» и столь прочно коренятся в традиции национальных мартирологов и ритуальных траурных плачей⁵, что это поневоле заставляет историков, социальных историков, политологов и представителей культурной антропологии пересмотреть вопросы о национально-этнической идентичности, внеся в сложившиеся представления значительную долю скептицизма.

Поскольку большинство современных националистических идеологий возникло в рамках политической и интеллектуальной культуры могущественных империй и поскольку эти идеологии провозгласили само собой разумеющейся истиной, что национальные государства, как более справедливые и эффективные, являются полноправными наследниками одряхлевших и отживших свое империй, — постольку национализм, пропитывавший современную историческую науку, внушал ученым предубеждение против того, чтобы посвящать себя изучению империй.

Однако возобновление этнических конфликтов в Европе в частности и в Евразии в целом повлекло за собой появление почти ностальгических взглядов: с ретроспективной точки зрения стало казаться, что по крайней мере некоторые многонациональные монархические империи регулировали межэтнические отношения гораздо дольше и — во всяком случае — с менее апокалиптическими последствиями, чем это получилось у современных национальных государств, которые были выкованы как часть наследия великих империй, потерпевших крах во время и после Первой мировой войны⁶. В частности, империя Габсбургов и в меньшей степени Османская империя пережили в наши дни своего рода историографическую реабилитацию, будь тому причиной призывы австрийских марксистов Отто Бауэра и Карла Реннера к созданию федеративной системы, основанной на экстратерриториальной культурной автономии, или модернизированная версия системы *миллетов* в Османской империи⁷. Но в то время как проблемы наций и национализма привлекают заметное внимание социальных историков и социальных теоретиков, тематика империй и многонациональных государств все еще остается недостаточно теоретически осмысленной⁸.

Переосмыслению проблем национального государства способствовали также и европейские историки; по мнению многих из них, взятые некогда за образец решения этой проблемы националистические нарративы, посвященные истории Германии, Франции и Британии, становятся неадекватными в эпоху европейской интеграции и расцвета региональной и трансрегиональной политики⁹. Подобно тому как сторонники интеграции и регионалисты считают организационный потенциал национального государства недостаточно значимым или искусственно сдерживающим, — так же и многие историки находят, что практика организации кафедр вокруг того или иного национального нарратива является анахронизмом и даже искажением реальности¹⁰. И в этом контексте история империй также бросает вызов национальным нарративам и предоставляет новую сферу приложения сил для тех, кто изберет объектом изучения исторические объединения-долгожители.

И, наконец, переосмысление истории империй — это лишь одна из многих сторон изучения современных дилемм, встающих перед либеральной политической мыслью, когда она, пытаясь отстоять принципы государственного суверенитета, прав человека,

гражданства, коллективной и национальной идентичности, сталкивается с реалиями новой политической экономики, сложившейся вместе с гигантскими торговыми союзами (такими, как ЕЭС, НАФТА и, в числе прочих, Тихоокеанский блок). На повестке дня в международной политике стоит вопрос о необходимости переосмыслить устоявшиеся отношения между правами человека как индивида и правами различных коллективных образований, будь то нации, субэтнические образования или какие-либо иные малые сообщества¹¹. Достаточно указать на уже упоминавшийся выше пример системы миллетов в Османской империи или обычно ассоциирующиеся с австро-марксизмом призывы реформировать империю Габсбургов, чтобы понять, что по крайней мере на закате этих империй их элита сталкивалась со многими из тех вопросов, которые приобрели новое звучание в нашу «транснациональную» эпоху. Разумеется, в конце XX столетия можно лишь до определенного предела перенимать опыт империй, которые жили в соответствии с династическими, сословными и конфессиональными принципами; разумеется, многие из самых негуманных и нетерпимых националистов XX века были выходцами из этих империй; но эти империи также пережили и удивительно мощный по своему разнообразию расцвет интеллектуальной и политической мысли, бившейся над проблемой поиска альтернативы существующим порядкам (многие из предложенных тогда путей решения были преданы забвению при позднейшем переписывании прошлого в националистическом ключе — большей частью потому, что эти решения были по своему характеру транснациональными или даже антинациональными)¹².

Представляется, таким образом, что можно найти немало причин оживления интереса к истории империй; но лишь недавно эта тенденция проявилась в изучении истории России и Советского Союза (причем тут не обошлось без колебаний и амбивалентного подхода)¹³. Памятуя о том, что в течение десятилетий на периферии академического ландшафта вели ожесточенные баталии несколько крупных интеллектуальных армий, обратим внимание на то, что историки, определившие магистральную линию развития русской и советской науки, упорно концентрировали свое внимание на видении прошлого с позиций двух столиц — Москвы и Петербурга, — а также большей частью на политической, социальной и культурной истории этнических русских. Что касается

периферии академического ландшафта, то одним из создателей марксистской традиции критики империализма был, среди прочих, В.И. Ленин, позаимствовавший и переработавший концепцию ставшей ныне классической работы его современника Джона Гобсона (*Imperialism: A Study*, 1902)¹⁴. Ленинский подход всецело укладывался в русло взглядов тех критиков империй, кто считал империи заведомо обреченными на гибель; отождествляя империализм с высшей стадией капитализма, ленинская работа тем самым усиливала чувство неизбежности краха империй — несмотря даже на то, что Ленин отнюдь не считал желанным исходом триумф национальных государств (скорее уж, таким исходом ему представлялась интернациональная социалистическая федерация освобожденных народов). Примечательно, что свою «родную» Российскую империю Ленин в своих исследованиях фактически оставлял без внимания (если не считать того, что он обогатил большевистский политический лексикон понятием «тюрьма народов» и лозунгом «права наций на самоопределение»¹⁵); но тем не менее на заре советской эпохи ученые, обращавшиеся к «постколониальным» проблемам, взяв за отправную точку антирусские воззрения Карла Маркса и Фридриха Энгельса, сумели сформировать тонкую, изощренную традицию изучения имперских политических институтов, социальной и культурной политики, — и даже предвосхитить (в 1920-х годах!) работу Эдварда Саида об ориентализме¹⁶. Разумеется, их целью было прежде всего показать несправедливости дореволюционного прошлого, а также подчеркнуть, что новому советскому государству удалось преодолеть все виды национальной и иной дискриминации и эксплуатации.

С тех пор как сталинское руководство провозгласило, что эксперименты по «коренизации» и так называемому советскому федерализму зашли слишком далеко, это критическое изучение российской империи было прекращено, чтобы уступить место более смягченному взгляду на прошлое России — пониманию российской экспансии как «органического роста», как возглавляемого государством шествия по пути непрерывного прогресса (явное влияние на эту концепцию оказал тот консенсус либеральных и славянофильских воззрений, который сложился среди российских историков в последний период существования империи)¹⁷. «Национальный вопрос» в 1930-х годах был провозглашен решен-

ным — считалось, что решением его стала ликвидация дискриминации по национальному признаку и создание советских национальных культур. Удивительно, что многие западные ученые, в особенности те из них, кто находился под влиянием теории модернизации, не смогли всерьез усомниться в правдивости этих заявлений и признали, что в Советском Союзе, как и в большинстве других современных промышленно развитых стран, национальное и религиозное неравенство осталось в прошлом¹⁸. Эта вера, возможно, в какой-то степени подготовила западных ученых к переходу на позиции, которые разделяло большинство русских историков в позднеимперский период, — к восприятию Российской империи как находящегося в эмбриональном состоянии национального государства. Сторонники этой концепции фокусировали свое внимание на попытках великорусского государства выковать великорусскую нацию, — проект, перешедший по наследству от бюрократов эпохи Николая I к либеральным и консервативным политикам начала XX века¹⁹. Эти воззрения, распространившиеся в западной науке усилиями влиятельных историков-эмигрантов, — таких, как гарвардский ученый Михаил Карпович, — и сформировали взгляды послевоенного поколения западноевропейских и североамериканских историков, занимавшихся историей России.

Другие периферийные направления научных поисков, — многие из трудов их представителей недавно были восстановлены в правах в глазах научной общественности или даже переизданы, — в большей или меньшей степени принадлежали к порожденной холодной войной традиции истории «покоренных народов». Разумеется, республиканские и демократические администрации вместе с Конгрессом США постоянно в своих риторических заявлениях говорили о «советской империи» или, при Рейгане, об «империи зла», тем самым закрепляя в сознании взгляд на историю Российской империи как предысторию советского экспансионизма. Образцом произведений такого рода является труд, изданный Тарасом Гунчаком в 1974 году, — «Русский империализм от Ивана Грозного до революции», открывающийся очерком с весьма характерным заглавием: «Истоки русского империализма»²⁰. Эти ученые, хотя зачастую они занимали противоположную сторону политического спектра по сравнению с их советскими предшественниками 1920-х годов, тем не менее руководствовались теми же, что и их советские коллеги, анти-

империалистическими убеждениями и теми же лозунгами национального освобождения. Большинство историков — выходцев из Российской империи или Советского Союза, писавших об истории «покоренных народов», исходили именно из такого видения русской и советской истории: от историков Украины, Польши и Прибалтики и других западных регионов империи до влиятельной школы историков, объединившихся вокруг Александра Беннигсена и занимавшихся изучением истории тюркских и мусульманских народов Российской империи. Москва, Санкт-Петербург и русские вообще фигурировали в их трудах преимущественно в роли иноземных захватчиков, покорителей, эксплуататоров, и вновь Российская империя и наследовавшее ей советское государство сурово бичевались как «тюрьмы народов»²¹.

Много лет назад лорд Хейли напомнил нам, что «империализм — просто ученый термин», но на его предостережения не обратили должного внимания. Для большинства ученых, стоящих на левых позициях, Британская и, в меньшей степени, Французская империи были образцом или даже жупелом «империализма»; для тех, кто теснее примыкал к правым, ту же самую роль играли Российская или Советская империи²². Наиболее воинственно настроенными учеными, как и их единомышленниками из числа политического истеблишмента времен холодной войны, понятие «империализма» неосторожно отбрасывалось, но обычно оно при этом несло в себе дополнительные смысловые оттенки: «экспансионизм» и «эксплуатация». В этом отношении послевоенная традиция, сложившаяся на основе воззрений Карповича и вольно или невольно игнорировавшая многонациональный характер Российской империи, стала внутренне закономерной попыткой отразить выпады «ястребов» из научных и околонуучных кругов и сохранить в условиях сурового идеологического климата хотя бы некоторую степень интеллектуальной автономии и нейтралитета²³. Разумеется, никто из ведущих историков России не защищал империю как таковую; скорее, они пытались написать историю России в большей или меньшей степени как историю национального государства, или, по крайней мере, национального государства, находящегося на стадии формирования. Одним из последствий такой ситуации стало рождение двух (или даже нескольких) научных традиций — магистральной линии российской истории и «перифе-

рийных историй» зарубежных ученых, существовавших в полной изоляции друг от друга.

Поскольку термин «империя» слишком часто и незамедлительно ассоциировался с «империализмом» (и всеми негативными смысловыми оттенками, которые вкладывают в этот термин антиимпериалистическая и антиколониальная традиции) и поскольку прилагательное «имперский» столь часто понималось как «империалистический»⁴⁴, историкам, изучавшим прошлое России, было трудно сбросить со счетов историческую традицию восприятия этой страны как мультинациональной и сложность ее этнического состава, столь отличавшего империю от национального государства⁴⁵ даже если сопоставлять ее с теми «исправленными и дополненными» версиями истории национальных государств — Великобритании, Франции и Германии, которые были созданы современными историками. Вплоть до сегодняшнего дня изучение истории Российской империи было сосредоточено вокруг проблем экспансионизма в его различных формах, аннексий, завоеваний, эксплуатации и угнетения — в соответствии с магистральными линиями развития исторического нарратива о судьбе «покоренных народов». С недавних пор, когда, как было отмечено выше, этот круг проблем расширился, чтобы включить также изучение распада империи, большинство таких исследований впитали в себя либеральные и «левые» представления о том, что империи изначально обречены на гибель; как следствие, содержащиеся в них социологические обобщения приобрели явно детерминистское звучание⁴⁶. То, о чем обычно забывают при изучении Российской империи, — это вопросы о том, каким образом империи удалось просуществовать столь долгое время, как она эволюционировала с течением времени, как она примиряла друг с другом самые разнообразные сообщества и территории, вошедшие в ее состав, и как сами эти сообщества и территории изменялись, оказавшись частью имперской системы⁴⁷.

Федерализм в русской истории и историографии

Возможен ли выход из той дилеммы, когда в одних случаях игнорируют многонациональный характер Российской империи и Советского Союза и тем самым интерпретируют прошлое России как

историю национального государства, а в других случаях — всячески подчеркивают многонациональный характер этих двух государственных образований лишь для того, чтобы во имя ценностей национального освобождения и национализма заклеить эти государства позором как анахроничные, приговоренные самой историей к неизбежному распаду? Существует ли некая промежуточная точка зрения — или несколько точек зрения — между этими крайностями, которая не была бы апологетикой ни империализма, ни кликушества национального шовинизма?

Как мне представляется, краеугольные камни для построения этой альтернативной точки зрения можно отыскать в недрах возникшей в XIX веке традиции историографической, идейной и политической критики Российской империи, — традиции, так никогда и не развившейся, не реализованной на практике, а позднее безжалостно подавленной, — которая может быть названа «федерализмом»; эта традиция была тесно связана с программами автономии и регионализма²⁸ и находилась в более отдаленном родстве с теми течениями политической мысли того времени, чьи названия начинаются с приставки «пан-»²⁹. Трудно назвать федерализм особым «движением» в политической мысли России конца XIX — начала XX века, поскольку мыслители из Сибири, Украины и Польши, перу которых принадлежат наиболее тщательно разработанные альтернативные проекты политической организации Российской империи, едва ли поддерживали какие-либо контакты друг с другом³⁰. Их воззрения, тем не менее, роднил друг с другом общий идеал обновленного, демократического (либерального или социалистического), многонационального государства, щедро предоставляющего полномочия местным автономным образованиям и обеспечивающего реализацию этих полномочий, но при этом сохраняющего экономическое могущество, политический статус великой державы и культурное разнообразие Российской империи. После получения политических свобод, вырванных у самодержавия в ходе революции 1905 года, эти изолированные мыслители стали искать пути и методы сотрудничества; началом такого сотрудничества стало создание кружка депутатов-автономистов в Первой думе; оно продолжилось в годы Первой мировой войны³¹; кульминацией же и пирровой победой этого движения стал созыв Съезда представителей национальностей Российской империи в Киеве

в сентябре 1917 года (в историографическом и политическом смыслах значение этого события оказалось перечеркнуто большевистским переворотом в Петрограде, произошедшим несколько недель спустя)²². Но даже после этого идеал федеративного объединения — по большей части утопический — возникал в нескольких схемах пантюристов, в истории недолговечной Закавказской Федерации, созданной в 1918 году, а также в стремлениях нескольких украинских правительств времен Гражданской войны создать общий антибольшевистский фронт вместе с донскими казаками, Сибирским Временным правительством и прочими протогосударственными образованиями на окраинах бывшей Российской империи²³. В отличие от более поздних большевистских федералистских экспериментов или от советского псевдофедерализма, как называют его критики, где предоставление народам культурной или административной автономии рассматривалось лишь как временный компромисс, как промежуточная стадия на пути к унифицированной и централизованной «интернациональной» политической системе, сторонники федерализма из числа либералов и умеренных социалистов скорее хотели дать жизнь более сложному политическому устройству, предусматривавшему широкий спектр этнических, региональных, национальных, религиозных и социальных подсистем, и в меньшей степени склонявшемуся в сторону централизма и унификации. Предложенная либералами и умеренными социалистами версия федерализма явно напоминала посвященные этой теме произведения американской политической мысли. Большинство американских ученых фокусировало свое внимание на политических и административных аспектах взаимоотношений между двумя уровнями правительственных структур (обычно обозначаемыми как «центр» и «регионы»). Чтобы федерализм был реальным, каждый уровень управления должен обладать определенной сферой компетенции, где он может действовать самостоятельно. Хотя в большинстве этих работ подразумевалась демократическая система управления²⁴, они могли, тем не менее, если применить их с надлежащими поправками, пролить свет и на историю функционирования государственного аппарата Российской империи до начала современной эпохи.

Поскольку советское правительство в годы своего благополучного процветания придерживалось мнения, что политическая

система, в рамках которой оно функционирует, есть не что иное, как федерализм (а его оппоненты упрекали советский режим в том, что он маскирует этим названием свою империалистическую сущность), и поскольку более ранние (и даже более поздние) попытки создать оригинальную версию федерализма со всей очевидностью провалились, федерализм как таковой не пользуется на сегодняшний день особенно благоприятной репутацией. (Более того: советский федерализм, признававший ключевым организационным принципом принцип этнического или национального деления, обычно не вписывался в большинство классификаций, разработанных западными политологами, и — что более важно — не использовался в функционировании Российской империи.) Еще более существенный вклад в формирование этой — по большей части сомнительной — репутации федерализма внесли его безжалостные критики — как из числа сторонников централизма и унификации⁵, так и из числа приверженцев национального сепаратизма. Иными словами, мы не вправе вводить самих себя в заблуждение, что федерализм для российской и советской политической мысли был чем-то большим, нежели маргинальным направлением; скорее, напротив, магистральным направлением развития российской политической мысли оставалось бескомпромиссно унитарное видение Российской империи независимо от того, предлагали ли его кадеты, октябристы, социал-демократы или социалисты-революционеры⁶. Но сам факт, что федерализм подвергался столь ожесточенным нападениям с двух сторон, свидетельствует, что обе стороны, по тем или иным причинам, считали этот альтернативный путь угрозой для своих централизаторских или сепаратистских замыслов; этот факт может также стать удобной отправной точкой для историографического анализа двух противоположных подходов к организации политического пространства Российской империи⁷.

Даже если мы признаем, что федералистская альтернатива так и осталась невостребованной, маргинальной и, более того, задуманной в политической мысли Российской империи, я, тем не менее, настаиваю, что анализ русской истории с точки зрения федерализма не только вполне оправдан, но и даст нам богатейшие возможности для переосмысления русской истории, когда мы обратимся к прошлому с позиций нашей постсоветской реальности. Среди перечисленных мною в начале этого очерка причин возрож-

дения интереса к изучению проблем империй можно выделить те, которые связаны с вопросами транснациональной политики, с более скептическим восприятием принципа государственного суверенитета, а также с потребностью примирить либеральную теорию прав человека как индивида с концепцией прав групп и сообществ. Сегодня социальные теоретики в гораздо меньшей степени, чем их предшественники, являются приверженцами унитарных моделей государств или обществ; скорее они тяготеют к признанию того, что Майкл Манн назвал «федеральным» характером доиндустриальных обществ, и рассматривают даже общества современного мира как асимметричные союзы, как «вольные конфедерации или стратифицированные союзнические блоки»³⁸. Ученые признают, что Советский Союз, как и империи вообще, не совпадает с моделью национального государства (обычно в таких случаях СССР сопоставляют с Францией, которая в классической европейской политологии фигурирует в качестве примера естественной финальной точки политического развития)³⁹. Любопытно заметить, что в Российской империи, несмотря на тот факт, что власть в разные эпохи пыталась воплотить в жизнь самые разнообразные модели политических отношений (в их числе — недолговечные конституционные монархии в Финляндии и в Польше, признание особых корпоративных прав остзейского дворянства и многие другие подобные «аномалии»), официальная идеология российского самодержавия провозглашала единство государства⁴⁰, а официальная правительственная политика считала своей целью унификацию и стандартизацию и потому осознанно игнорировала разнообразие народов и регионов империи, что и определяло на деле развитие имперской политической мысли и самым решительным образом исключало возможность обращения ее к идее федерализма⁴¹. Фактически опыт Российской империи четко отражен в литературе, повествующей о тех «сделках» по поводу раздела сфер влияния, которые стремилась заключить после завоеваний или аннексий правящая элита центра с кооптированной элитой провинций в Европе начала Нового времени⁴².

Если мы обратимся от официальных деклараций и государственной политики к реалиям повседневной жизни, то обнаружим также и толерантное — если даже не поощрительное — отношение к двойственной лояльности национальных групп

и к изменениям их самоидентификации в зависимости от конкретной ситуации, что, как мы знаем, в высшей степени характерно для полиэтнических государств в целом⁴³. Так, немецкая по происхождению элита остзейских губерний, охарактеризованная Джоном Армстронгом как «мобилизованная диаспора»⁴⁴, утверждала свою местную политическую культуру и привилегии «у себя дома», в то время как целые поколения ее представителей верно служили императору как полководцы, дипломаты и генерал-губернаторы на всем пространстве империи. Как представляется, это было обычной моделью поведения в мирное время; положение остзейских немцев впервые подверглось серьезной угрозе в годы Первой мировой войны, которую преподносили как крестовый поход славянства против тевтонских варваров и которая сопровождалась ростом массовых националистических движений. Перемены в политике военного времени прежде всего резко сократили то пространство, которое существовало прежде для проявления разнообразных идентичностей; война привела к сужению понятия «лояльность» и превратила некоторых подданных империи в ее «естественных» врагов⁴⁵. Ставки при выборе той или иной этнической идентичности (даже если человек имел реальную возможность такого выбора) значительно возвысились, поскольку следствием принятия «не той» идентичности мог стать арест, конфискация имущества, депортация или смерть. Но стоит повторить еще раз, что это не было нормой этнических отношений в империи; скорее можно сказать, что перемены, принесенные войной, лишь резко высветили те тенденции в политике довоенных лет, которые редко осознанно артикулировались, но были запоздало осознаны авторами послевоенных воспоминаний, с ностальгическим оттенком рефлектирующих об ушедших временах.

Еще один аспект, где федералистский подход к истории империи может стать достойной альтернативой существующим подходам, связан с проблемой разнообразия и неожиданных (но отнюдь не случайных) сочетаний религиозных, этнических, этно-религиозных, политических и социальных сообществ. Федералистский подход позволяет избежать трактовки всех этих многогранных образований как аномалий на фоне более «современных» этнически однородных сообществ; иными словами, не игнорируя существования разнообразных этнорелигиозных сообществ, он

не трактует механистически идентичность какого бы то ни было из них как всегда первостепенно важную или даже исключительно необходимую для данного сообщества⁴⁶.

Чтобы избежать упреков в том, что я использую федералистский подход как удобное прикрытие для безудержной методологической эклектичности, попытаюсь наметить некоторые ведущие принципы такого подхода. Прежде всего, историки, занимающиеся изучением Российской империи, должны быть компаративистами; было бы замечательно, если бы они имели некоторое представление о принципах внутреннего устройства других империй, как существовавших одновременно с Российской империей, так и относящихся к иным историческим периодам; но гораздо более важно уметь сопоставлять взаимоотношения империи с разнообразными подвластными ей сообществами, выделенными по религиозному, сословному или же этнолингвистическому принципу (это означает, что историю Польши и Финляндии необходимо вновь рассматривать как часть истории Российской империи XIX и начала XX века)⁴⁷. Иными словами, обширное научное направление, объединяющее специалистов по истории различных нерусских народов империи, должно интегрироваться с магистральной линией изучения и преподавания российской истории; а представители этой магистральной линии, в свою очередь, не должны больше трактовать историю Российской империи так, как если бы эта последняя состояла исключительно из этнических русских («нации», которой не существовало на протяжении большей части имперского периода русской истории и о характере которой бурно спорили на закате империи и в советский период). Два направления науки, которые по большей части существовали и развивались в изоляции друг от друга, должны вступить в диалог. Было бы достаточно легко скомпилировать новую историю империи, просто добавив к ней уже написанные истории наций, входивших в состав империи; но проблема состоит в том, что слишком многие из этих национальных историй проникнуты стремлением доказать, что их история была уникальной в пределах империи (и, как правило, уникальной по своему трагизму). Такое легко утверждать только в том случае, если историк почти ничего не знает об истории других народов империи, как, увы, слишком часто и обстоит дело. Подобный подход не позволяет и понять адекватным

образом ту динамичную эволюцию, которую претерпели много-сторонние взаимоотношения центра империи с ее пограничными зонами, колониями или окраинами⁴⁸.

Но, конечно, недостаточно лишь провозгласить принцип компаративизма; чтобы иметь материал для сравнений, мы можем также обратиться к трудам в области исторической социологии, особенно к тем из них, которые посвящены проблемам формирования государств и наций⁴⁹. И в этом плане существующая на сегодняшний день научная литература, посвященная различным сообществам в составе Российской империи, также придерживается совершенно различных программ исследований, что объясняется относительной изоляцией этих научных направлений друг от друга. Большинство авторов недавних работ по социальной истории (особенно те из них, которые затрагивают историю конца имперского периода) фокусирует свое внимание на процессе классовообразования, и в особенности на тех классах, которые занимали низшие ступени в имперской иерархии. Обычно авторами таких работ руководит густо замешенная на марксизме симпатия к экономически угнетенным классам, порождающая остро критическое отношение к самодержавию и к капитализму. Неудивительно, что в большинстве исследований, повествующих в традиционном ключе об этнических и национальных сообществах, ключевым моментом для критики самодержавия становится тема этнического угнетения и что авторов гораздо меньше занимает изложение истории вторжения капитализма в политическую экономию Российской империи, чем история попыток националистически настроенной элиты (обычно каких-либо разрядов интеллигенции) возглавить процесс формирования «самосознания» нации⁵⁰. Нарратив «покоренных народов» определяет более консервативную политику в исторической литературе.

Предпринимались и героические усилия — преимущественно со стороны представителей левого крыла политического спектра — преодолеть разрыв между понятием класса и понятием этничности как организующими принципами исследования⁵¹. Так, Бенедикт Андерсон, Эрик Хобсбаум и Мирослав Хрох в числе прочих пытались применить при изучении феномена национализма историко-материалистический подход. Это многообещающее направление в изучении различных оппозиционных движений

в истории Российской империи тем не менее по-прежнему питает враждебное отношение уже не только к самодержавию, но и к империи как таковой; более того, эти историки в огромной степени (и осознанно) находятся под влиянием наследия оппозиционных политических партий Российской империи, поскольку именно программы этих партий, их периодические издания и воспоминания их лидеров представляют собой богатейшую источниковую базу для таких исследований⁵². На сегодняшний момент практически не предпринималось попыток соединить эту научную традицию, занятую изучением возникновения коллективных акций и движений протеста, с другим значительным массивом изоцированных научных исследований, в центре которых находится проблема эволюции политических институтов Российской империи на закате самодержавия и тех способов, которые сознательно или неосознанно применяли эти политические институты для структурирования различных сообществ и их идентичности. Военская повинность, налогообложение, религия, образование и местное управление — вот лишь некоторые из тех сфер, где наиболее очевидным образом осуществлялось взаимодействие между обществом и государством⁵³.

Целью этих экскурсов в компаративную историческую социологию могло бы стать открытие и сохранение столь многих ракурсов восприятия империи, сколь возможно, — с позиций тех, кто жил в различных ее уголках и стоял на различных социальных уровнях; создание того, что Михаил Бахтин называл полифонией или «разноголосостью»⁵⁴, где голос (или голоса) имперского центра переплетаются с голосами иных сообществ, находящихся под властью империи. Эта полифоничность не должна в то же время воскрешать в воображении некое анархическое равенство голосов, поскольку властные отношения между центром и периферией чаще были асимметричными не в пользу периферии⁵⁵. Но нельзя считать, что это преобладание центра было неизбежным в любой ситуации и неизменным во времени. И здесь вновь федералистский подход приобретает явное философско-методологическое звучание, даже если мы придем к выводу, что в империи, где столь явно преобладала одна нация — русские (какое бы содержание мы ни вкладывали в это понятие), его шансы на успех были весьма незначительны; или, к примеру, если мы сочтем реалистичной перспективу создания под-

линой федеративной системы взамен Российской Федерации или конфедерации — взамен Содружества Независимых Государств. Любые ожидания, что в наши дни существуют более весомые шансы на образование федерации, чем в дни крушения империи Романовых в 1917 году, не означают, что нам следует признать принцип федерализма более «правильным», чем он был прежде; это просто служит верным признаком, что федерализм является альтернативой, которую мы не имеем права не принимать в расчет⁵⁶.

Федерация по самой своей сущности представляет собой нестабильное образование⁵⁷; она может сохранять равновесие, заложенное при ее создании, она может эволюционировать в направлении более унитарного государства, или, наконец, она может распасться на несколько независимых политических образований. Иными словами, невозможно вывести единое правило эволюции для федеративных систем. Федерализм, кроме того, уменьшает возможности использования популярных органических, особенно биологических, метафор, которые часто возникают при описании истории наций и национальных государств: рождение, пробуждение, расцвет, зрелость⁵⁸. Если уж так необходимо заимствовать метафоры из какой-либо науки, то более подходящей тут представляется геология: геологические перемены не имеют определенного конца, но тем не менее остаются переменами по своей сущности. Обычно их описывают возникающими в определенных «пластах» в ответ на давление со стороны верхних или нижних «пластов»; такое давление может даже вызывать качественные изменения породы⁵⁹.

Отбросив биологические метафоры, которые ученые склонны применять не только к эволюционирующему организму, но любому образованию, обладающему относительно четкими, «естественными» границами (по отношению к внешнему миру, по отношению к другим организмам), федералистский подход может привлечь наше внимание к тем процессам, где границы постоянно стираются или укрепляются посредством активных действий. В этих границах, отделяющих одно человеческое сообщество от другого, нет ничего особенно «естественного» или четко фиксированного. Здесь можно было бы использовать весьма плодотворную работу антрополога Фредерика Барта⁶⁰, чтобы избежать частой проблемы историков — восприятия классовых или

этнических различий как реальности, в которую нас заставляют поверить источники, созданные оппозиционными политическими партиями. Эта работа помогла бы также вернуть государство со всеми его институтами и культурами в жизнь тех сообществ, от имени которых это государство выступало и которыми оно управляло⁶¹. Если мы будем рассматривать и государство, и общество как федеральные по сути своей структуры, а не слепо доверять их собственным завышенным самооценкам, — поскольку они идентифицировали сами себя как унитарные и унифицированные сообщества, — то мы станем более восприимчивы к проблеме границ этих образований, к процессам их противоборства и взаимопомощи и к тем личностям, которые, зачастую к своей выгоде, преодолевали эти границы⁶². Мы можем также выявить те группы, институциональные образования и способы поведения, заполнявшие своеобразные промежутки, существовавшие внутри структур таких федеративных государств и сообществ. И, наконец, становясь на точку зрения федералистского подхода, историки могут воскресить в себе нечто вроде ощущения сложности и разнообразия организации и функционирования Российской империи. Это обострит восприятие России как империи, история которой замалчивалась или искажалась в угоду модели национального государства, формировавшейся в течение XIX века и явно восторжествовавшей с тех пор в социальных и гуманитарных науках.

Примечания

¹ Doyle M. W. *Empires*. Cornell, 1986; Kennedy P. M. *The Rise and Fall of the Great Powers*. N.Y., 1987; существенное внимание истории империй уделял также Майкл Манн в своей работе, охватывающей всемирную историю: Mann M. *Sources of Social Power*. Cambridge, 1986.

² См. материалы конференции «Крах империи: причины и последствия», проведенной по гранту SSRS 19–20 ноября 1994 года в Колумбийском университете (одним из участников которой был автор этих строк), а также изданный по итогам конференции в университете штата Миннесота сборник: *Nationalism and Empire: The Habsburg Monarchy and the Soviet Union* / Ed. by Richard L. Rudolph, David F. Good. N.Y., 1992. Живой интерес в академических и политических кругах вызвала даже проблема «османизации» Советского Союза, под которой авторы, как нам представляется, обычно подразумевают вмешательство «великих держав» в процесс распада СССР — нового «больного человека» международной политической системы.

3 Наиболее значимые исследования в этой сфере были вдохновлены в первую очередь появлением труда Эдварда Саида «Ориентализм» (*Said E. Orientalism. N.Y., 1978*), а затем — школой исследований по истории «подчиненных» (*subaltern*), внимание которой фокусировалось преимущественно на истории британских владений в Индии и истории Южной Азии постколониального периода; см. статьи в следующем сборнике: *Selected Subaltern Studies / Ed. by Ranajit Guha, Gayatri Chakravorty Spivak. N.Y.: Oxford University Press, 1988*. См. также материалы форума, посвященного обсуждению этого сборника, в журнале «*American Historical Review*» (1994. December. Vol. 99. P. 1475–1545), участниками которого были Джайан Пракаш, Флоренсия Э. Маллон и Фредерик Купер.

4 Постсоветская «национализация» прошлого вызывает в памяти затронутую Бенедиктом Андерсоном проблему «иронии истории», проявившейся как преломление наследия европейских империй в культурной политике «новых» наций, стремящихся продемонстрировать глубину своих исторических корней. См. написанную с большой проникательностью главу «Память и забвение» («*Forgetting / Remembering*») в его работе: *Anderson B. Imagined Communities. London: Verso, 1991* [Андерсон Б. Воображаемые сообщества: Размышления об истоках и распространении национализма. М., 2001. С. 204–223. Здесь и далее примечания в квадратных скобках принадлежат редактору].

5 Характеристика подобных версий исторического прошлого как «оплакиваний» принадлежит Катерине Вердери (см.: *Verdery K. Nationalism and National Sentiment in Post-Socialist Romania // Slavic Review. 1993. Vol. 52. № 2. P. 185–196*); о роли военных поражений в формировании национального сознания, см.: *Judt T. The Furies of Nationalism // New York Review of Books. 1994. 26 May*; об акцентировании темы страданий в истории евреев см. введение к следующей работе: *Stanislawski M. Tsar Nicholas and the Jews. Philadelphia: The Jewish Publication Society of America, 1983*.

6 Этот дух полуностальгической реабилитации империй пронизывает работы «левых» ученых, создавших значимые критические труды о национализме, — Эрика Хобсбаума и Бенедикта Андерсона. К родственным, но несколько иным последствиям в научной сфере привело и разочарование интеллектуалов «третьего мира» в национальных государствах, возникших после крушения колониальной системы, а также в тех национальных движениях, которые и привели к созданию таких государств. Эта тема красной нитью проходит в работах Пракаша по истории Южной Азии и Купера — по истории Африки (см. упоминавшиеся выше материалы форума в журнале *American Historical Review*). Эти ученые не испытывают ностальгических чувств по отношению к империям, но тем не менее заставляют нас пересмотреть наши представления о коллаборационизме, сопротивлении, господстве, и, конечно, подчиненности (*subalternity*) в истории колоний.

7 Эта историографическая реабилитация представляет собой параллель к попыткам некоторых представителей австрийской и турецкой элиты расширить сферу политического влияния своих стран в ландшафте, сложившемся после окончания «холодной войны». К примеру, австрийские официальные лица и интеллектуалы спонсировали проведение конференций о «прошлом, настоящем и будущем» Центральной Европы, в то время как их турецкие коллеги время от времени выдвигают предложения о создании Тюркского кондоминиума в Центрально-Азиатском и Черноморском регионах.

8 В работе Дойла (см. примеч. 1) фокусируется внимание на разъяснении того, что представляет собой империализм, и предлагается тавтологическое определение империализма как того, чем обычно занимаются империи; труд же Кеннеди на самом деле посвящен истории создания и крушения великих держав с милитаризованной экономикой. Авторы прочих классических исследований, включая Шмуэля Айзенштадта (*Eisenstadt S. The Political Systems of Empires. N.Y.: Free Press, 1969*), разделяют обычное предубеждение, что империи представляют собой устаревшие, анахроничные образования, которые несут в самих себе семена будущего упадка, поскольку они организационно «неэффективны».

9 По этому вопросу см.: *Geyer M. Historical Fictions of Autonomy and the Europeanization of National History // Central European History. 1989. Vol. 22. P. 316–343; Sheehan J. What is German History? Reflections on the Role of the Nation in German History and Historiography // Journal of Modern History. 1981. Vol. 53. P. 1–23; Colley L. Britons: Forging the Nation, 1707–1837. New Haven: Yale University Press, 1992; и в особенности — труд того автора, который, возможно, первым высказал скептическое отношение к националистическому нарративу: *Weber E. Peasants into Frenchmen: The Modernization of Rural France, 1870–1914. Stanford: Stanford Univ. Press, 1976*.*

10 Майкл Манн доказывает, что национальное государство конца XIX — начала XX века продолжает оказывать скрытое влияние на современность, поскольку идея национального государства по-прежнему доминирует в социологической и исторической науке. См.: *Mann M. Op. cit. P. 2*.

11 Я приношу благодарность Саре Штейн, Аманде Биндер и Стюарту Финкелю за советы по поводу этих строк, высказанные в ходе обсуждения предварительного варианта этой статьи в Стэнфордском университете.

12 Как предостережение против попыток извлечь слишком много уроков из опыта Османской империи (и опыта традиционных империй в целом), см. побуждающие к дискуссии заметки Арона Родригэ: *Rodrigue A. Difference and Tolerance in the Ottoman Empire // Stanford Humanities Review. 1995. Vol. 5. № 1. P. 81–90*.

13 Неудивительно, что наиболее основательные в научном плане исследования по комплексным проблемам, возникающим в ходе изучения

истории Российской империи, были созданы немецкими историками. См. нестандартную по своему подходу обобщающую работу А. Каппелера: *Kappeler A. Russland als Vielvölkerreich*. Munich, 1992 [*Каппелер А. Россия – многонациональная империя: Возникновение. История. Распад*. М., 2000], а также издание более раннего периода: *Geyer D. Russian Imperialism*. New Haven, 1987 (в оригинале, на немецком языке, эта книга вышла в свет в 1977 году). Одно из лучших исследований по истории СССР как многонационального государства: *Simon G. Nationalism and Policies toward the Nationalities*. Boulder: Westview, 1991 (на немецком языке книга была издана в 1986 году). Среди англоязычных обобщающих работ по истории Российской империи лишь в одной уделено равное внимание как внешней политике империи, так и ее политике по отношению к собственным нерусским подданным: *Seton-Watson H. The Russian Empire, 1801–1917*. Oxford, 1967.

14 Работа Ленина «Империализм, как высшая стадия капитализма» была впервые опубликована в 1916 году.

15 Ленинская теория права наций на самоопределение была сформулирована в его работе «О праве наций на самоопределение» (февраль – май 1914 года). См.: *Ленин В.И.* Полн. собр. соч. М., 1969. Т. 25. С. 255–320.

16 Критические высказывания Маркса о русском империализме увидели свет в Советском Союзе лишь в 1989 году. См.: *Маркс К.* Разоблачения дипломатической истории XVIII века // Вопросы истории. 1989. № 1–4. В числе работ, написанных в 1920-х – начале 1930-х годов, авторы которых явно черпали свое вдохновение из этих критических отзывов о царизме, можно назвать следующие: *Сафаров Г.* Колониальная революция: опыт Туркестана. М., 1921; *Галузо П.Г.* Туркестан – колония. (Очерки по истории Туркестана от завоевания русскими до революции 1917 года). М., 1929; восприятие Украины как колонии царского режима проявилось в работах М. Волобуева, особенно в следующей: *Волобуев М.* До проблеми української економіки // Більшовик України. 1928. 30 января; 15 февраля. См. также работу ученого, которого можно считать советским предшественником Эдварда Саида и его концепции «ориентализма»: *Свирин Н.* Русская колониальная литература // Литературный критик. 1934. № 9. С. 51–79.

17 В числе тех историков, которые единодушно разделяли это убеждение, были Н.М. Карамзин, С.М. Соловьев, В.О. Ключевский и П.Н. Милюков. К началу XX века А.Е. Пресняков попытался возбудить вопрос о влиянии экспансии и инкорпорации в состав империи различных этнических групп на трансформацию самой Российской империи. См. его работу: *Пресняков А.Е.* Образование великорусского государства XIII–XV столетий. Пг., 1918 (на англ. яз.: *Presniakov A. The Formation of Great Russian State* / Transl. by A.E. Moorhouse. Chicago: Quadrangle Books,

1970), особенно предисловие самого Преснякова и введение Альфреда Рибера к английскому изданию. Я благодарен Чарльзу Стейнведелю за указание на эту работу.

18 См.: *Connor W. Ethnonationalism // Understanding Political Development / Ed. by M. Weiner, S.P. Huntington. Boston, 1987.*

19 Цели доктрины «официальной народности», на позициях которой в годы ее предполагаемого господства — в правление Николая I, стояло, вероятно, лишь меньшинство, были изменены в эпоху Великих реформ, когда эта доктрина трансформировалась в проект модернизации государства. Этот последний, в свою очередь, перешел к лидерам партий кадетов и октябристов. См., напр.: *Струве П.Б. Что же такое Россия? // Русская мысль. 1912. № 1*, а также более поздние работы Милюкова.

20 Этот очерк был написан Генри Гуттенбахом, непоколебимым сторонником исследований по истории «покоренных народов» или, в более мягком звучании, «советских национальностей». См.: *Russian Imperialism from Ivan the Great to the Revolution / Ed. by Taras Hunczak. New Brunswick, N.J.: Rutgers University Press, 1974.*

21 См.: *Ibid.*; а также: *Bennigsen A. Les musulmans oublies: L'Islam en Union soviétique. Paris, 1981*; автор наиболее значимых исследований об истории тюркских народов, работающий в традициях Беннигсена — Элен Карпер д'Анкосс. См.: *Carrère d'Encausse H. Islam and the Russian Empire: Reform and Revolution in Central Asia. Berkeley: University of California Press, 1988.*

22 То, что «империализм», напротив, есть весьма запутанное понятие, становится ясно из истории тех империй, к которым это понятие не применяют с такой готовностью, — империи Габсбургов и Османской империи. Эти империи (возможно, потому что они раньше других «вышли из игры», или потому что они остановили свою экспансию еще до появления мощного антиимпериалистического движения и соответствующих интеллектуальных течений) воспринимались большинством ученых достаточно доброжелательно. По этим (обычно не формулируемым вслух) причинам термин «империализм» не предназначается для применения к империи Габсбургов и к Османской империи.

23 См. воспоминания Ханса Кона о его беседе с Карповичем в предисловии к изд.: *Russian Imperialism from Ivan the Great to the Revolution...*

24 По наблюдениям Фредерика Купера, столь же двойственным характером отличается употребление термина «колониализм» в работах, посвященных истории Британской и Французской империй и вышедших из-под пера историков «левых» убеждений. «Суффикс „-изм“ превращает проблему „колоний“ в исключительно политическую проблему, и в двадцатом столетии термин „колониализм“ наиболее часто использовался авторами для того, чтобы обозначить определенный комплекс идеологических постулатов и практических действий, которые они хотели бы из-

пять из сферы политики; это слово обладает такой же ценностью и такой же неточностью, как и большинство терминов, созданных в полемических целях» (*American Historical Review*. 1994. Vol. 99. P. 1527).

25 Еще одна родственная проблема связана с тем, что многие историки признают существование русской идентичности или идентичностей самоочевидным; эта тенденция дополнительно усиливается тем, что на английский язык как термин «русский» (прилагательное с преимущественно этническими коннотациями), так и «российский» (прилагательное с преимущественно политико-территориальными коннотациями) переводятся одинаково – «Russian». Единодушие историков по этому вопросу в значительной степени сложилось под воздействием славянофильской традиции, представители которой проецировали свои представления о национальном характере на православное крестьянство. Фактически мы располагаем лишь незначительным числом исследований по «политике идентичности» в отношении большинства населения любой части Российской империи, в том числе (и, возможно, в наименьшей степени) – по идентичности самого «русского» крестьянства. Примером недавнего исследования, посвященного русским церковным общинам, где делается попытка преодолеть институциональный подход Грегори Фриза и этнографическую трактовку Линды Иваниц, может служить диссертация Веры Шевцовой, защищенная в 1994 году в Йельском университете (*Shevtsova V. Popular Orthodoxy in Late Imperial Russia* [см. недавнюю публикацию: *Shevtsova V. Russian Orthodoxy on the Eve of Revolution*. Oxford University Press, 2004]).

26 Название статьи Александра Мотыля, помещенной в сборнике «Nationalism and Empire», характерно для этого детерминистского направления: «От разложения к гибели империи: крах советской империи в сравнительно-исторической перспективе» (*Motyl A. From Imperial Decay to Imperial Collapse: The Fall of Soviet Empire in Comparative Perspective // Nationalism and Empire*. N.Y., 1992). Мотыль утверждает, что «разложение империи представляется неизбежным» и что «империи, одним словом, представляют собой изначально противоречивую систему политических отношений; они разрушают сами себя» (*Ibid.* P.40).

27 Я планирую в своих следующих работах более четко определить возможные направления будущих исследований, но вот предварительный список тем, которые могут быть переосмыслены при использовании предложенного мною федералистского подхода: создание и эволюция политической идеологии и политической практики империи (применительно как к центральному, так и к периферийному административным аппаратам), в том числе вклад представителей нерусских народов в формирование этой идеологии и практики, а также образование и виды различных имперских элит; социальная структура империи, влияние временного

фактора и проведения различных реформ — в особенности аграрных реформ, реформ в сфере комплектования вооруженных сил и индустриализации — на формирование различных субимперских сообществ, включая переоценку Великой реформы 1861 года; истории различных оппозиционных движений в империи и их роль в восстаниях и революциях XIX–XX веков; культурная и религиозная политика, а также политика в сфере образования и просвещения, взаимодействие различных культур в контексте общеимперской истории культуры, процесс формирования идентичности, ее утверждения и последующей трансформации; наступление эры массовой политики в начале XX века и отражение этого процесса внутри и вовне многонациональной империи. По иронии судьбы вполне вероятно, что большинство таких исследований будут задуманы не историками из стран СНГ; несмотря на открытие доступа к архивам и отказ от марксистско-ленинских идеологических конструкций, коллапс советского научного истеблишмента, так же как и процесс вытеснения их трудов националистическими историческими нарративами, создаст значительные трудности для развития в постсоветских государствах исследований, написанных с «транснациональной» точки зрения.

28 *Mohrenschildt D. von. Towards a United States of Russia: Plans and Projects of Federal Reconstruction of Russia in the Nineteenth Century. Assotiated Univ. Press, 1981; Utechin S. Russian Political Thought. N.Y.: Praeger, 1963. P. 148–152; Rauch G. von. Russland: Staatliche Einheit und Nationale Vielfalt: Föderalistische Kräfte und Ideen in der russischen Geschichte. München: Isar-Verlag, 1953.*

29 Среди наиболее значительных подобных движений, развивавшихся в последние десятилетия существования царского режима, — пантюркизм, панисламизм, панславизм, пангерманизм, сионизм и даже — с некоторыми существенными оговорками — политика армянского и украинского национальных движений. См., например, исследование С. Зеньковского: *Zenkovsky S. Pan-Turkism and Islam in Russia. Cambridge: Harvard University Press, 1960.*

30 В Сибири средоточием федералистского мышления стало движение за региональную независимость (или *областничество*). См. классическое исследование Н.М. Ядринцева (*Ядринцев Н.М. Сибирь как колония. СПб., 1882*), а также монографию о сибирских областниках: *Faust W. Russlands goldener Boden: Der sibirische Regionalismus in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Cologne: Böhlau, 1980.* На Украине сходную роль сыграли труды Михайло Драгоманова, оказавшие сильное влияние на идеологию Украинской социал-демократической партии, одной из самых стойких защитниц принципа федерализма среди социалистических партий; см. специальный выпуск «Анналов Украинской академии искусств и наук в Соединенных Штатах», подготовленный И.Л. Рудницким: *Rudnytsky I.L.*

Mykhailo Dragomanov: A Symposium and Selected Writings // Annals of the Ukrainian Academy of Arts and Science in the U.S. 1952. Vol. 2. № 1 (3). Был среди еврейских партий и Социал-демократическая партия Армении среди армянских национальных движений также выступали за «русскую версию» предложенного австро-марксистами решения «национального вопроса», вобравшую в себя некоторые черты федералистского подхода. В Польше к федерализму тяготела партия, группировавшаяся вокруг Пилсудского; см.: *Dziewanowski M.K. Joseph Pilsudski: A European Federalist*. Stanford: Hoover Institution Press, 1969.

31 См. воспоминания Карла Тьяндера о некоторых малоизвестных эпизодах истории федералистской идеи: *Tiander K. Das Erwachen Osteuropas*. Vienna; Leipzig, 1934, а также: *Rauch G. von*. Op. cit. (гл. VII – VIII).

32 Вплоть до недавнего времени были доступны лишь разрозненные упоминания об этом примечательном съезде, собравшем ведущих интеллектуальных и политических деятелей демократического лагеря нерусских народов. См.: *Диманштейн С.М.* Революция и национальный вопрос. М., 1930. Т. 3. С. 443 – 450. В последнее время двое украинских ученых, Олександр Реент и Богдан Андрусышин, собрали материалы периодических изданий того времени, освещавших работу конгресса: *Реент О., Андрусышин Б.* Зъїзд поволених народів. Київ, 1993. Известный украинский историк Михаил Грушевский, занимавший в то время пост председателя Центральной Украинской Рады, претендовавшей на управление независимой Украиной, был избран почетным председателем съезда национальностей.

33 О пантюркистских теориях см.: *Pipes R. The Formation of the Soviet Union*. Cambridge: Harvard University Press, 1964. Ch. IV; о Закавказской Федерации: *Kazemzadeh F. The Struggle for Transcaucasia*. N.Y., 1951. Ch. IV – VII; о попытках Украины создать федерацию в ходе Гражданской войны: *Procyk A. Russian Nationalism and Ukraine*. Edmonton; Toronto: Canadian Institute of Ukrainian Studies Press, 1995.

34 См.: *Riker W. Federalism: Origin, Operation, Significance*. Boston: Little, Brown and Co, 1964. P. 11; *Elazar, Daniel*. Exploring Federalism. Tuscaloosa, AL: University of Alabama, 1987. Райкер проводит более глубокое разграничение между централизованной и децентрализованной федеративными системами. Я приношу благодарность Стивену Солнику за советы и полезные идеи, почерпнутые из его работы по современным федеративным отношениям внутри Российской Федерации.

35 Даже в 1920-х годах, когда Советский Союз проводил политику «национального строительства» и претендовал на создание самой «высокоразвитой» и самой справедливой формы советского федерализма, его идеологи отвергали все прочие версии федерализма как продукты неокантианского идеализма, буржуазной и, наконец, контрреволюционной идеологии.

логии. См., напр., критику австро-марксистских проектов экстратерриториальной культурной автономии как «неокантианских»: *Семковский С.* Марксизм и национальная проблема. Мелитополь, 1924. Т. 1; а также резкие нападки на историков-федералистов XIX века в следующей работе: *Рубах М.А.* Федералистические теории в истории России // Русская историческая литература в классовом освещении / Под ред. М.Н. Покровского. М., 1930. Т. 2. С. 3–120.

36 Наиболее тонкими критиками федерализма были кадеты, для чьих работ особенно характерны политологический и правоведческий ракурсы рассмотрения проблемы. См., напр.: *Кокошкин Ф.Ф.* Автономия и федерация. Пг., 1917; *Нольде Б.Е.* Единство и нераздельность России // Очерки русского государственного права. СПб., 1911. С. 223–554. В своих возражениях они сосредоточивались на проблеме непрактичности любых попыток введения истинного равноправия народов в Российской империи, учитывая, что существующая система неравенства поддерживалась тем, что русские составляют этническое большинство; некоторые кадеты тем не менее оправдывали необходимость перераспределения власти в пользу региональных центров, но организующим принципом будущего государственного устройства считали не этническое, а скорее территориальное деление. Большинство прочих мыслителей-федералистов были явно антиполитично настроены в своей одержимости идеей свержения самодержавия. Федералисты и «регионалисты», приводя многочисленные доказательства асимметричности властных отношений и пагубных последствий этого для национального благосостояния, по большей части полагали, что решением этих проблем станет введение регионального самоуправления и перераспределение власти из рук центра в пользу регионов или местных общин. Тем не менее они не уделяли существенного внимания институциональным или правовым деталям новой модели отношений. Аполитичный или даже антиполитичный характер большей части наследия федералистов Российской империи становится еще более явным при сопоставлении этого наследия с трудами классиков американского или немецкого федерализма, включая *The Federalist Papers* и труды Карла Шмитта; см. специальный выпуск журнала *Telos* от весны 1992 года, где помещен перевод работы Шмитта «Конституционная теория федерации» и комментарии к этой работе.

37 Разграничивая практику самодержавной империи и ее наследника — советского государства, мы можем констатировать интересный парадокс: в то время как имперская идеология горячо отрицала сам принцип федерализма, но де-факто сохраняла множество значительных локальных сообществ и автономных образований буквально вплоть до своей гибели, советский режим официально провозглашал своим ведущим принципом федерализм (или, после Второй мировой войны, принцип «социалистического содружества»), но в то же время на практике стремился достичь

такой степени унификации социальной структуры и культурных моделей, которая была беспрецедентной в российской истории.

38 *Mann M.* Op. cit. P.10, 14.

39 См.: *Nettl J.P.* The State as a Conceptual Variable // *World Politics*. 1968. P. 559–592; эта работа содержит ценные размышления о соответствии континентальных европейских теорий реалиям послевоенного и постколониального мира и о влиянии этих реалий на эволюцию понятия государства. См. также: *Poggi G.* The State: Its Nature, Development and Prospects. Stanford Univ. Press, 1990, особенно гл. IX. Более современные точки зрения на эти вопросы отражены в следующих выпусках журнала *Daedalus*: «Reconstructing Nations and States» (1993. Summer); «What Future for the State?» (1995. Spring).

40 Советская историческая практика в общем и целом усилила это ложное ощущение единства, удалив, например, из официальной версии истории СССР историю Польши и Финляндии, которые, безусловно, были самыми яркими аномалиями в имперской системе. Что менее понятно -- это причины, по которым несоветские специалисты по русской истории в большинстве своем с готовностью принимали такое интеллектуальное разделение труда. Большинство специалистов по истории России не считали историю Польши или Финляндии неотъемлемой составной частью истории Российской империи XIX века; разумеется, это, с одной стороны, делало их исследования и курсы лекций более стройными и четкими, но, с другой стороны, оправдывало практику слишком явных упрощений при формулировке общих выводов о единстве политической культуры и политических институтов императорской России.

41 О запутанных взаимоотношениях частей и целого в Российской империи см.: *Нольде Б.Э.* Указ. соч.; об упорном нежелании признать это разнообразие в официальной идеологии см.: *Raeff M.* Uniformity, Diversity, and the Imperial Administration in the Reign of Catherine II // *Osteuropa in Geschichte und Gegenwart* / Ed. by Hans Lemberg, Peter Nitsche, Ervin Oberländer. Cologne: Böhlau, 1977. P. 97–113.

42 О государственном строительстве в Османской империи см.: *Barkey K.* From Bandits to Bureaucrats. Ithaca: Cornell University Press, 1994; *Spruyt H.* The Sovereign State and Its Competitors. Princeton: Princeton University Press, 1994.

43 *Smith A.* The Ethnic Origins of Nations. Blackwell, 1986. P. 150–152.

44 *Armstrong J.* Mobilized and Proletarian Diasporas // *American Political Science Review*. 1976. Vol. 70. P. 393–408; *Idem.* Mobilized Diaspora in Tsarist Russia: The Case of Baltic Germans // *Soviet Nationality Policies and Practices* / Ed. Jeremy Azrael. N.Y.: Praeger, 1978. P. 63–104.

45 То, что я писал здесь о прибалтийских немцах, можно было бы повторить – с известными уточнениями – применительно к полякам,

евреям, тюркским народам в целом, а также украинцам. Представители любого народа становились подозрительными, если «их» родная страна объявляла России войну или если некоторые из их «соплеменников» сражались на другой стороне. О судьбе русских немцев в годы Первой мировой войны см.: *Fleischhauer I. Die Deutschen im Zarenreich. Stuttgart, 1986*; о русских евреях см.: *Löwe H.-D. Antisemitismus und reaktionäre Utopie. Hamburg, 1978*.

46 Еще один довод, который может быть выдвинут против отстаиваемого мною здесь федералистского подхода, состоит в том, что меня могут упрекнуть в проецировании американских ценностей и утопического мышления на непригодную для этого почву. Но этот довод (к моему утешению) слишком близко подводит нас к статическому или эссенциалистскому восприятию «русской» политической культуры, которое, как я надеюсь, я сумел хотя бы несколько пошатнуть в настоящей работе. Более существенное возражение может исходить от тех, кто — подобно кадетам — будет доказывать, что принцип федерализма никогда не был осуществлен в России, поскольку это было невозможно сделать, учитывая демографическое и культурное преобладание русских; или что федерации успешно создавались «снизу» и лишь в достаточно равноправных и гомогенных сообществах — таких, как Соединенные Штаты Америки или Швейцарская Конфедерация. Совсем другое дело — путь создания федерации «сверху», реформирование уже существующей империи. Хотя в ходе Гражданской войны предпринятые Украиной усилия по построению федеративной, демократической России «снизу» несколько раз рушились, нельзя полностью исключать возможность подобного хода событий в различных политических образованиях, возникших взамен прежнего СССР.

47 Подобным образом и Александр Мотыль призывает к использованию компаративистского подхода при переосмыслении истории советской национальной политики; см. его работу: *Motyl' A.J. «Sovietology in One Country» or Comparative Nationality Studies? // Slavic Review. 1989. Vol. 48. № 1. P. 85–88*.

48 См. критику *поочередного* подхода к национальной политике в следующей работе: *Simon G. Nationalism and Policy Toward the Nationalities in the Soviet Union: From Totalitarian Dictatorship to Post-Stalinist Society / Transl. Karen and Oswald Forster. Boulder, Colorado: Westview Press, 1991. P. 11*. Фредерик Купер предостерегает от другой схожей опасности, а именно от убеждения, что «истории всех частей света, переживших колониальное владычество, можно свести к какой-либо единой сущности» (*American Historical Review. 1994. Vol. 99. P. 1527*).

49 В частности, я имею здесь в виду работы Майкла Манна (*Mann M. Op. cit.*) и Энтони Гидденса (*Giddens A. The Nation-State and Violence. Berkeley: University of California Press, 1987*).

50 Подавляющее большинство нарративов таким парадоксальным образом усваивает почти ленинскую модель «формирования национального самосознания» (авангард формирует его у «несознательных» масс), в то время как большинство современных социальных историков, обращающихся к истории классов, отвергли ленинскую модель и пришли к мнению, что по крайней мере в среде рабочего класса самосознание формировалось достаточно «стихийно».

51 См., напр.: *Suny R.G. The Baku Commune, 1918-1918: Class and Nationality in the Russian Revolution*. Princeton, 1972; а также первую главу («Rethinking Social Identities: Class and Nationality») его работы: *Suny R. The Revenge of the Past: Nationalism, Revolution, and the Collapse of the Soviet Union*. Stanford, 1993; см. также: *Himka J.-P. Galician Villagers and the Ukrainian National Movement in the Nineteenth Century*. N.Y.: St. Martin's Press, 1988; *Idem. The National and the Social in the Ukrainian Revolution of 1917-1920: The Historiographical Agenda* // *Archiv fur Socialgeschichte*. 1994. Vol. 34. P. 95-110.

52 О более глубоких последствиях обращения к источникам, вышедшим исключительно или преимущественно из среды политических партий, см.: *Zipperstein S.J. The Politics of Relief: The Transformation of Russian Jewish Communal Life During the First World War* // *Studies in Contemporary Jewry: An Annual* / Ed. by Jonathan Frankel. Vol. IV: *The Jews and the European Crisis, 1914-1921*. Oxford, 1988. P. 22-24; а также критический отзыв Романа Шпорлюка (Roman Szporluk) на материалы конференции «The Ukraine, 1917-1921: A Study in Revolution», изданные под редакцией Тараса Гунчака: *Annals of the Academy of Ukrainian Arts and Sciences in the United States*. 1978/1980. Vol. 14. P. 267-270.

53 Новаторская попытка связать воедино литературу по оппозиционным движениям и по истории государственного строительства представлена в следующей работе: *Birnbaum P. States and Collective Action: The European Experience*. Cambridge, 1988.

54 См.: *Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса*. М., 1965; а также: *Bakhtin M.M. The Dialogic Imagination: Four Essays* / Ed. by Michael Holquist, transl. by Caryl Emerson, Michael Holquist. Austin, Texas: The University of Texas Press, 1981. В то же самое время интеллектуальным направлением, которое также пыталось разрешить задачу сохранения Российской империи, было евразийство. Многие из его ведущих идеологов, тем не менее, как нам представляется, разделяли аполитичный (или даже антиполитичный) стиль мышления большинства федералистов, предпочитая чуть менее явно выраженный авторитарный режим. Об их восприятии многонационального сообщества см.: *Трубецкой Н.С. Европа и человечество*. София, 1920; *Он же. К проблеме русского самопознания*. Прага, 1927.

55 Бахтин указывал, что авторитарный голос (в нашем случае — имперская точка зрения; в случае, о котором он писал, — «авторитарное слово» официальной культуры) обычно стремится исключить диалог.

56 Уильям Райкер обосновывал свое решение включить Советский Союз в перечень федеративных государств так: «Сам тот факт, что это федеративное государство не смогло предотвратить тиранию, не дает еще оснований вычеркнуть его из разряда федеративных государств» (*Riker W. Op. cit. P. 40*).

57 Интересно, что Энтони Смит утверждает, что национальное государство также, по самой своей сущности, является нестабильным образованием, содержащим в себе альтернативные импульсы дальнейшего развития — этнический и территориальный.

58 См. провоцирующее размышления исследование о логике биологической метафоры и о взаимосвязях национальной истории и биографии, а также *Bildungsroman: White H. Metahistory*. Baltimore: The John Hopkins Press, 1973 [*Уайт Х. Метаистория: Историческое воображение в Европе XIX века*. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2002].

59 Альфред Рибер заимствовал геологические метафоры при описании императорской России как «общества осадочных пород» (*Rieber A. The Sedimentary Society // Russian History. 1989. Vol. 16. № 2–4. P. 353–376*). Подобным же образом Мишель Фуко предпочитал метафоры из сферы археологии — науки, комбинирующей приемы геологии и истории, — в своем труде «Археология знания» [*Фуко М. Археология знания*. СПб.: Гуманитарная академия, 2004].

60 *Barth F. Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization of Culture Difference*. Boston: Little Brown, 1969.

61 Несколько интригующих предложений по поводу того, как можно было бы развивать пронизательные наблюдения Барта при разработке новых исследовательских проблем, см. в следующей работе: *Verdery K. Ethnicity, Nationalism, and Statemaking: «Ethnic Groups and Boundaries»: Past and Future // The Anthropology of Ethnicity: Beyond «Ethnic Groups and boundaries» / Ed. by Hans Vermeulen, Cora Govers. Amsterdam: New Spinhuis, 1994. P. 33–58*.

62 И опять-таки Фредерик Купер, говоря о научной деятельности Леопольда Сеньора, предложил такой подход к проблеме, который имел значительный резонанс для истории России: «*между чем-то и чем-то* — это такое же место, где можно быть *дома*, как и любое другое» (*American Historical Review. 1994. Vol. 99. P. 1539*).

Пол В. ВЕРТ

От «сопротивления»

к «подрывной деятельности»:

власть империи, противостояние

местного населения и их взаимозависимость

Поскольку колониальное правление с его высокомерными претензиями на культурное и политическое превосходство интерпретировалось в научных кругах как противоречащее моральным принципам, — возможно, именно поэтому для изучающих историю колониализма в России всегда было естественным отыскивать примеры сопротивления местного населения колониальному правлению, чтобы подтвердить его незаконность и продемонстрировать неотъемлемо присущее угнетенным стремление к освобождению. Для западных наблюдателей статус Советского Союза как деспотического режима с сомнительной легитимностью могли лишь способствовать появлению такого императива. Способствовал этому и поиск изначального архетипа поведения советских властей. В частности, эмигрантские круги, склонные рассматривать свои этнические сообщества как исторически «покоренные нации», всегда страстно стремились подчеркнуть оппозиционность местного населения как часть нарратива «национальных мучеников»¹.

Если говорить об изучении царского периода, то данная точка зрения временами странным образом совпадала с императивом самой советской историографии, пытавшейся документально подтвердить двойственный (национальный и социальный) характер угнетения нерусских народностей в царской «тюрьме народов». Выделенные таким образом примеры сопротивления, конечно же, должны были служить контрастом широко пропагандируемому представлению о «дружбе народов» в советский период². И сейчас, в постсоветские времена, ученые,

по-прежнему подчеркивая «героический» характер сопротивления нерусских народов, во многих случаях просто сместили акценты в трактовке причин недовольства коренного населения — с недовольства «феодалным» и «капиталистическим» угнетением, которое выходило на первый план в исследованиях советских историков, на национально-религиозный протест (и, таким образом, рассматривают первое как производное от последнего). Если мы признаем тот простой факт, что противостояние народов обычно оставляет более заметные следы в анналах истории, чем гармоничное их взаимодействие, то едва ли нас удивит то значительное место, которое отводится вопросу о сопротивлении в историографии.

Но наряду с тем, что примеры сопротивления дают ценный материал для изучения ментальности нерусских сообществ и показывают непрочность имперской гегемонии в отдельных регионах и в определенные исторические периоды, сама парадигма описания сопротивления страдает явными недостатками, которые препятствуют нашему пониманию природы и значения имперской власти. Во-первых, поскольку нерусское население во многих частях империи расселялось среди русских и юридически не отличалось от них ни с точки зрения социального статуса, ни в отношении привилегий или обязанностей, то специфический «имперский», или «колониальный», характер государственного владычества является здесь не вполне очевидным и потому требует скорее детальной концептуализации и опытного подтверждения, чем просто голословных утверждений. Во-вторых, отношения между колонизаторами и колонизируемыми часто оказываются намного более запутанными, чем можно было бы предположить первоначально, и концентрация внимания только на этой оси конфликта зачастую уводит нас от изучения других сторон проблемы сопротивления. В-третьих, в работах о проблеме сопротивления обычно предполагается, что индивидуальность и сознательность угнетенных были неотделимы друг от друга и полностью сформировались еще до того, как их носители были вовлечены в акции сопротивления, хотя на самом деле существуют серьезные основания сомневаться в том, что самостоятельность коренного населения уже носила столь заверченный характер.

Констатируя достижения современной науки в области изучения проблемы сопротивления, мы в данной работе рассмотрим далее три вышеупомянутых недостатка более подробно и сделаем попытку обосновать вывод о том, что самые последние и перспективные исследования по имперскому правлению фактически отказались от восприятия сопротивления как важнейшей исследовательской проблемы. Я полагаю, что «сопротивление» как аналитическое понятие может оказаться наиболее полезным применительно к ранним стадиям имперского правления, а также к случаям, когда государство развязывает новые наступательные кампании с целью изменить жизненные устои локальных миров, которые до этого сохраняли значительную долю автономии. Применительно к другим случаям я предлагаю использовать термин «подрывная деятельность» (subversion), имея в виду не столь масштабные проявления оппозиционности, которые могут, однако, значительно осложнить осуществление власти, даже если сами они порождаются и структурируются этой властью. Пожалуй, именно таким образом, — а не с помощью понятия «сопротивление», вызывающего представление об относительно четких и несомненных противопоставлениях, — мы должны исследовать, как «имперское» и «коренное», русское и нерусское, православное и неправославное все более и более тесно переплетались и запутывались, даже если для субъективного восприятия современников различия оставались по-прежнему разительными. Поскольку имперские социальные категории и экономическая практика изменяли тот контекст, в котором подданные империи рисовали себе свой собственный образ, и поскольку имперские власти изменяли свои собственные проекты, принимая во внимание особенности поведения, материальной культуры и осознанных стремлений своих подданных, которых они удостоили своим покровительством, понятие «сопротивление» в гораздо меньшей степени способно объяснить сопутствующие такому периоду двусмысленные ситуации, чем понятие «подрывная деятельность». Кроме того, понятие «сопротивление» также не в состоянии адекватно передать производный характер недовольства местного населения и постоянное сохранение изощренных форм проявления оппозиции даже в периоды кажущегося благополучия империи.

Исследование проблемы сопротивления

Исследователи проблемы сопротивления российскому имперскому правлению чаще всего концентрировали внимание на открытых проявлениях неповиновения: восстаниях, бунтах и «крестьянских войнах». В большинстве своем советские историки были вынуждены анализировать случаи колониального сопротивления с большей осторожностью, чем их западные коллеги. Причины тому очевидны. Приблизительно для двух первых десятилетий советской власти было характерно безоговорочное и недвусмысленное осуждение царского колониального режима; в соответствии с этим сопротивление местного населения считалось полностью оправданным и поэтому оценивалось историками положительно. Но во время Второй мировой войны и сразу после нее наблюдалась все более глубокая приверженность идее «дружбы народов»; эта идея стала проецироваться также и на дореволюционный период. Русская имперская экспансия, теперь понимавшаяся в основном как совокупность оборонительных операций или же попыток защитить нерусских соседей от внешних врагов или от междоусобных конфликтов, стала расцениваться как позитивное и прогрессивное явление; соответственно сопротивление нерусских народов русскому режиму вначале подверглось безоговорочному осуждению, а затем его одобряли лишь при условии, что в акциях сопротивления неоспоримо присутствовал «социальный» аспект или же в них принимали участие российские социальные низы¹. В последующие десятилетия советского правления (приблизительно с середины 1960-х годов) наблюдалась постепенная историографическая «ревизия», особенно в отношении определенных этнических групп², для которой был характерен больший плюрализм интерпретаций, стремление признать «прогрессивными» большее количество восстаний местного населения против имперского правления и некоторый отход от необходимости оценивать присоединение нерусских территорий к Российскому государству как «добровольное»³. Преобладающая тенденция теперь выражалась в том, чтобы подчеркивать двойственный характер угнетения нерусских народов, отдавая при этом дань известной ленинской характеристике царской России как «тюрьмы народов» и в то же время продолжая настаивать на исторически «прогрессивном» значении

вхождения нерусских народов в состав России, поскольку социальный уровень развития местного населения обычно считался более отсталым, чем российский и, следовательно, более далеким от социализма. Естественно, некоторые «священные коровы» историографии — в частности, тезис о союзе русских и нерусских низших классов в совместной борьбе против царского притеснения — остались более или менее нетронутыми и переключались в некоторые работы, опубликованные после 1991 года⁶, даже когда условия постсоветского времени позволяли печатать более открытую критику в отношении российского имперского правления⁷.

Разумеется, советские работы обычно склонялись к романтизации сопротивления и пытались свести все причины недовольства к основным социально-экономическим факторам, даже когда материал источников явно указывал, что на карту ставились иные вопросы. Наиболее вопиющим в этом отношении было толкование религиозного сознания, которое либо полностью игнорировалось, либо интерпретировалось исключительно как суррогатный способ выражения социального протеста⁸. Исследования по истории самых известных восстаний, как и специально подобранные документальные свидетельства о них, строились так, чтобы определить важнейшие проявления социального угнетения, а также и сопутствовавшие ему злоупотребления и оскорбительные действия со стороны властей, которые послужили горючим материалом для надвигающегося пожара, а затем перейти к рассказу о той искре, от которой пожар наконец запылал. Попытки советских историков проанализировать стратификацию внутри самих местных сообществ были обычно чрезвычайно приблизительными и сводились к простому делению этих сообществ на «реакционных» феодалов и «прогрессивные» массы. Но помимо введения в научный оборот огромного количества эмпирического материала, почерпнутого зачастую из не исследованных ранее архивных фондов, советские исследования содержат вынужденную критику имперского правления и зачастую уделяют больше внимания социальной стратификации *внутри* нерусских сообществ, чем труды их западных коллег (более подробно об этом ниже).

Располагая большей интеллектуальной свободой, одни западные ученые уделили внимание борьбе против самого процесса колониального завоевания и против так называемого усмирения

местного населения⁹, другие же — истории оппозиции со стороны тех, кто уже некоторое время находился под властью Российского государства. В лучших образцах литературы по этому вопросу была предпринята попытка рассмотреть формы оппозиции местного населения в контексте местных и региональных социальных отношений, изменявшихся экономических устоев, местных культурных норм, а также более широких исторических перспектив, сформировавшихся еще до имперского завоевания¹⁰. В некоторых таких исследованиях, например, делались робкие попытки объяснить важность культурных представлений местного населения, породивших такую ответную реакцию на имперское вторжение, как *джихад* и *газават*¹¹; в других же прилагались немалые усилия, чтобы проследить развитие движений протеста «изнутри»¹². Внимание ученых привлекали случаи массового исхода на некоторых окраинах империи, отличавшихся наиболее подвижными границами, — трагическая массовая миграция калмыков из приграничных областей России в Джунгарию в конце XVIII века или эмиграция сотен тысяч мусульман из Крыма и с Северного Кавказа после Крымской войны, — что могло расцениваться как проявление протеста в самой драматичной форме¹³. И, конечно, западные ученые уделили огромное внимание развитию национализма в империи, что должно было помочь разобраться в причинах краха империи, последовавшего в ходе мировой войны и революции¹⁴.

В целом литература по сопротивлению — как советская, так и западная — содержит много ценных точек зрения. В некоторых случаях она затрагивает такие грани жизни местного населения, которые иначе могли бы ускользнуть из поля нашего зрения. Во многих случаях только вспышка бунта могла привлечь внимание имперских властей к жизни нерусского населения (в особенности это относится к тем регионам, которые достаточно долго находились под властью России) и привести к созданию исторических документов, тем или иным образом отражающих эту жизнь. Восстания по существу своему являются нетипичными и экстраординарными событиями, однако даже такие неожиданные вспышки до определенной степени вызревают из более длительных культурных установок и стремлений. Более того, едва ли можно сомневаться в том, что такие проявления недовольства иногда играли решающую роль в пересмотре отношений между имперскими

властями и подвластным им населением. Так, восстание башкир под предводительством Батырши в 1755 году заставило правительство Российской империи пересмотреть свое отношение к мусульманам, привело к появлению в 1773 году закона о религиозной терпимости и, в конце концов, к созданию в 1788 году официально учрежденного органа управления мусульманскими духовными делами¹⁵. Также и Андижанское восстание в 1898 году в Средней Азии, хотя и представляло гораздо меньшую угрозу для российских властей, не только заставило усомниться в оправданности распространенной политики игнорирования ислама в Туркестане с целью его политического выхолащивания, но и побудило российские власти переосмыслить происходившие ранее беспорядки и увидеть в них телеологическую цепь, приведшую к событиям 1898 года¹⁶.

На более глубоком уровне эти исследования важны тем, что побуждают нас задуматься о том, в какой степени местное население в определенные моменты превращалось в соучастника политики имперской гегемонии. Это предполагает, в частности, вопрос о том, поднялись ли башкиры на борьбу под воздействием лозунгов исламского и азиатского характера, призывавших выйти из состава империи (восстание Батырши 1755 года), или же под влиянием призывов, сделанных от имени Петра III и позволявших в значительной степени сотрудничать с русскими (восстание Пугачева в 1773–1775 годах)¹⁷. Такие моменты протеста, пунктиром проходящие через исторические хроники, позволяют нам определить решающие процессы и поворотные пункты в ходе интеграции нерусских народов в более широкое государственное устройство. Некоторые из таких работ также помогают нам преодолеть то явление, которое этнограф Шерри Ортнер называет «истощением» культуры (предпочтение материалистического способа объяснения действительности в ущерб культурологическому измерению); особенно это касается религиозных чувств, которые либо игнорировались из-за поспешно сделанных выводов, либо (в случае советских ученых) истолковывались просто как эрзац осознания чьего-либо социального господства¹⁸.

Ученые, изучающие империализм (в любом регионе Земли) или же русское крестьянство, подчеркивают огромную дистанцию между двумя типами поведения: полным подчинением господству — и полномасштабным протестом против этого господства;

соответственно, они предпринимают попытки сократить эту дистанцию, обнаружив проявления сопротивления там, где на первый взгляд его трудно заметить. Напротив, ученые, изучающие российское имперское господство, до сих пор уделяют сравнительно небольшое внимание менее конфронтационным, «повседневным» формам сопротивления²⁰. Мне хотелось бы привлечь внимание к полезности использования для анализа подобных процессов категории, введенной Майклом Эйдасом, которую он обозначил как «протест путем уклонения» — способ, «при помощи которого недовольные группы людей пытаются облегчить тяготы своей жизни и выразить недовольство посредством кратковременного отказа исполнять предписанное, а также других действий, сводящих к минимуму возможность столкновений с теми, кого они считают своими притеснителями»²⁰. Аналитический потенциал этой категории можно продемонстрировать на примере изучения попыток нерусского населения Волго-Камского региона ограничить вмешательство в их жизнь православных миссионеров. Разумеется, миссионерское наступление на нерусское население Поволжья в середине XVIII века, сопровождавшееся жестким принуждением к смене веры, вызывало в ответ локальные вооруженные столкновения — например, так называемое Терюшевское восстание среди мордовского населения Нижегородской губернии²¹. Но как только миссия была завершена — а к тому времени сотни тысяч представителей нерусского населения были «обращены» в христианскую веру, — в XIX веке сопротивление приняло значительно менее конфронтационный характер.

Некоторые представители нерусских народов пользовались возможностями подавать прошения, чтобы выразить свое недовольство проводящимися в отношении их мерами, выказывая при этом внешнее почтение к существующей власти. Такой вид протеста часто использовался при возникновении в имперском аппарате раскола либо по идеологическим вопросам (например, когда нерусское население попыталось усилить противостояние между идеями о религиозной терпимости и привилегированным положением православия в Российской империи), либо в отношении административного персонала (например, когда нерусское население поддерживало тех чиновников, которые, как им представлялось, сочувствовали их бедственному положению)²². Такие

прошения в действительности часто основывались на информации, «утечку» которой из правительственных канцелярий сознательно допускали местные чиновники и писари (извлекавшие собственную выгоду из составления таких прошений для местного населения) и которая часто искажалась слухами, чтобы в большей степени совпадать с ожиданиями. Разумеется, такие шаги могли послужить основой для перехода к более затяжным и открытым формам неповиновения. Крещеные татары, пытавшиеся добиться официального признания их мусульманами и обратившиеся с такими прошениями в 1866 году, выказывали все большее неповиновение властям в конце 1860-х — начале 1870-х, особенно когда стало ясно, что у государственных чиновников недостает или желания, или возможности призвать их к покорности. Но очевидной целью таких прошений была скорее борьба с конкретными злоупотреблениями и отдельными мероприятиями властей, чем попытка изменить устоявшийся порядок в целом.

Другие хитроумные стратегии поведения также серьезно препятствовали осуществлению различных имперских инициатив. Когда в 1820-х годах по деревням народов Поволжья были разосланы православные миссионеры, то наиболее эффективными стратегиями, используемыми местным населением против них, были: укрывательство, уклонение от встреч, после чего миссионерам ничего другого не оставалось, как ехать в следующее поселение; нежелание подписывать заявления об отказе от ислама и «идолопоклоннических заблуждений», что могло бы заставить нарушить юридический запрет на применение силы в вопросах веры; нежелание признавать законность действий миссионеров, что вынуждало последних заниматься не столько религиозными вопросами, сколько доказательством наличия у них государственных полномочий. Так же, как и русские крестьяне, нерусское население было склонно «недопонимать» или «не вполне правильно понимать» законы и предписания властей²³, так что даже крещеные из их числа могли описывать в местных «Губернских ведомостях» свои «языческие» обряды как совершающиеся с официального дозволения властей; знания о Ветхом Завете позволяли им проводить библейские параллели, в соответствии с которыми они могли представлять свои «языческие» традиции, состоящие из ритуальных жертвоприношений, как «Адам-иланскую веру» или «Авра-

амскую веру»²⁴. Не будучи ни драматичными, ни нарочито «героическими», данные стратегии позволяют, тем не менее, судить, как борьба подданных мало-помалу подтачивала имперскую власть и как эта власть зачастую была вынуждена тратить значительные усилия (пусть даже временно), чтобы снова скрепить распадающееся единство и закамouflировать наметившиеся линии раскола²⁵.

Все в большей степени подданные империи пользовались теми культурными ресурсами, которые они получали от имперских властей, при этом, безусловно, трансформируя их в свете своих собственных ожиданий и стремлений. Так, например, в начале XIX века один мордовский «пророк» использовал учение Ветхого Завета, чтобы создать собственную версию откровения, где традиционные мордовские верования представляли как иудейство, предшествовавшее христианству. Он приобрел значительное число последователей, прежде чем был арестован и сослан в Сибирь²⁶. Также в конце XIX века крещенные мари́йцы начали реформирование своих «языческих» верований, приняв более современные стандарты веры и убеждений, которые преобладали в русской культуре того периода, и даже представили предметы, связанные с их верованиями, на научной и промышленной выставке в Казани в 1890 году с тем, чтобы узаконить свои нововведения с точки зрения этнографии²⁷. Даже когда нерусское население принимало православие, оно могло использовать его культурные возможности для сохранения своих этнических особенностей и для выражения альтернативных способов демонстрации своей приверженности православию, — к большой досаде чиновников, надеявшихся поскорее осуществить «обрусение» местного населения²⁸. По крайней мере они могли до известной степени «разобрать по кирпичику» навязываемую им систему взглядов и использовать ее части для «формирования совершенно других культурных представлений»²⁹.

Ряд вопросов, связанных с сопротивлением, предоставляет нам плодотворную почву для дальнейших исследований. Можно было бы, в частности, предпринять сравнительное исследование проблемы сопротивления, где объектом изучения стали бы не только нерусские этнические группы, но и казаки, члены религиозных сект и даже русские крестьяне, с целью более точно установить различия и сходства между ними в восприятии окружающего мира, стремлениях и коллективных действиях (см. об

этом ниже). Другое исследование могло бы быть посвящено теме слухов, к которой весьма успешно обратилась Линн Виола в своем исследовании, посвященном коллективизации¹⁰. Приведем хотя бы один пример: после массового обращения в православие в XVIII веке некрещеное нерусское население видело, кажется, практически в каждой новой правительственной акции — например, в проведенной П.Д. Киселевым реформе государственных крестьян в начале 1840-х годов, введении новых противопожарных правил, определяющих местоположение входов в мечети, проведении переписи населения в 1897 году и т.д. — возобновление миссионерского натиска. Такое истолкование реформ, обычно распространявшееся посредством слухов, существенно затрудняло действия властей, заставляя их в некоторых случаях отказаться от той или иной акции почти сразу же после ее начала. Не уменьшая потенциала власти Российского государства, необходимо, тем не менее, отметить, что временами имперские власти в буквальном смысле становились заложниками настроений, распространявшихся в деревне. Анализ слухов — культурных предпосылок и исторического опыта, который в них отражался; каналов их распространения в сельской местности; участия самих чиновников в процессе их распространения; компромиссов, на которые в результате были вынуждены пойти власти, — мог бы позволить нам глубже понять механизм имперского правления и взаимодействия различных уровней общества и администрации.

Неоднозначность имперских отношений

Многие ученые отмечают, что отсутствие географических преград между имперским центром и его колониальными владениями составляет явное отличие российского государственного устройства от империй, метрополии которых находились в Западной Европе и которые считаются в литературе по империализму и колониализму «нормальными» империями¹¹. Соответственно трудно (если не сказать — невозможно) определить, где именно «начинались» в географическом смысле слова специфически колониальные отношения, и, что более важно, определить ту степень, в которой отношения в любом отдельно взятом регионе могут однозначно

расцениваться как «имперские» или «колониальные» в противоположность тем регионам, где господствовала иная социальная логика. Разумеется, такой регион, как Средняя Азия, вполне можно сравнить с британской Индией или французской Северной Африкой, поскольку сама российская администрация проводила подобные параллели, а еще и потому, что «восприятие колониализма в XIX веке было отражено в риторике завоевания». И все же Средняя Азия «занимала положение, которое во многих отношениях было исключительным для империи» именно по этой причине¹², и о «колониальном» статусе других регионов империи можно говорить только с существенными уточнениями. Действительно, такие регионы, как степь, заселенная кочевниками, и Закавказье (отличительными чертами которых был сравнительно недавний захват их империей, относительно небольшая доля русского населения по отношению к местному и, наконец, особый статус и формы управления), по всей видимости, обладали довольно значительным сходством со Средней Азией и другими определенно колониальными регионами¹³. Однако такие регионы, как Украина и Среднее Поволжье, присоединенные, частично или полностью, еще в допетровский период и населенные либо значительным количеством русских, либо такими этническими группами, которые государство не вполне было готово признать нерусскими (украинцы), — такие регионы гораздо труднее отделить от собственно России.

Действительно, именно в таком регионе, как Поволжье, с наибольшей очевидностью проявляется неоднозначность имперских отношений, поскольку здесь мы можем наблюдать сочетание элементов, которые большинство ученых считают «колониальными» (личное и институциональное господство одного народа над другим, отличающимся от него в культурном отношении), с такими административными формами и установленными порядками, которые в более или менее равной степени применялись и к русскому, и к нерусскому населению. В этом регионе не было ни одного заведения или ведомства, предназначенного специально для управления местным населением *как нерусским*¹⁴, и в большинстве случаев нерусское население имело те же самые права и обязанности, что и русское¹⁵. Русское господство, таким образом, не столь сильно было выражено в особенностях институционального устройства или в дискриминационном характере эксплуатации

местного населения (русских крестьян эксплуатировали в той же мере, что и нерусских), сколь проявлялось в конкретных практических мерах и в подходе к управлению¹⁶. Неудивительно, что оппозиция в некоторых из этих «внутренних» регионов империи принимала такие формы, которые, возможно, хорошо знакомы историкам, изучавшим русское крестьянство.

Такая «неоднозначность» заставляет нас усомниться в нашей способности вычленить направленность и цели сопротивления местного населения и, более того, позволяет поставить серьезный вопрос о том, может ли вообще быть оправдано в данных случаях разграничение «центра» и «колоний». Каковы будут последствия, если применить при изучении данного вопроса терминологию «национальные (или религиозные) меньшинства», а не «подданные империи» или «народы колоний»? Будет ли такая терминология иметь смысл, если известно, что сами русские не составляли большинства населения империи (если считать украинцев особой нацией) на протяжении большей части своей истории? Имеет ли смысл ставить исторический опыт мордвы — финно-угорской народности, вошедшей в состав Московии еще до завоевания Казанского ханства в 1552 году, в один ряд с опытом народов Средней Азии, оказавшихся под властью России только во второй половине XIX века, после достаточно типичного для Нового времени «колониального» захвата, подводя тот и другой под единую рубрику «имперских колоний», противопоставляя его тем самым историческому опыту русского крестьянства?

Действительно, если нерусские воспринимались как «чужие», по отношению к которым образованные русские пытались (с некоторой долей неуверенности и затруднений) определить свою национальную идентичность¹⁷, то само русское крестьянство представляло собой иной вариант образа «чужих», который формировали хотя и иными методами, но с той же целью¹⁸. Якобы практикующие «язычество», крайне нуждающиеся в образовании и даже в «повторном обращении в христианство», живущие в особом социальном и культурном мире, в корне отличающемся от мира элиты, русские крестьяне в этих отношениях не так уж отличались от некоторых нерусских сообществ¹⁹. Разумеется, государственные власти в большинстве случаев (хотя и не всегда) смотрели на русское крестьянство как на тот образец для подража-

ния, который, как они надеялись, со временем усвоят многие нерусские сообщества. Но если отношение элиты к русскому крестьянству можно охарактеризовать как «имперское» — оно вполне укладывалось в рамки понятий иерархичности и непохожести⁴⁰, — тогда что же особенного можно найти в отношении государства к своим нерусским подданным, что именно делало это отношение имперским или колониальным в полном смысле этого слова?

Безусловно, чтобы дать адекватный ответ на этот вопрос, необходимо исследовать трехсторонние взаимоотношения между русскими, нерусскими и государственной властью в разных регионах. Ряд ученых уже приступил к пристальному изучению этой темы, и их исследования позволили установить, что в регионах со смешанным этническим составом населения власти оказывали явное предпочтительное внимание русским, которые зачастую специально пользовались этим вниманием официальных властей, чтобы обеспечить себе более благоприятное положение по сравнению со своими нерусскими соседями⁴¹. Действительно, Николас Брейфогль показывает, как русские сектанты, воспринимавшиеся властями во внутренних районах России как опасные диссиденты и сами прекрасно осознававшие свою оппозиционность по отношению к существующей государственной власти, после высылки их в Закавказье, начавшейся в 1830 году, стали добровольными проводниками политики колонизации и отныне рассматривались правительством именно в таком качестве⁴². Однако, как нам представляется, подобное предпочтительное отношение к русским чаще проявлялось в недавно колонизованных регионах, где такие крестьяне являли собой немногочисленный авангард русского присутствия. В других ситуациях быть русским означало иметь дополнительные обязанности. Многие нерусские народы (например, башкиры) пользовались значительной автономией и даже привилегиями в отношении собственности, которых были лишены русские; после Пугачевского восстания государство применило менее суровое наказание к нерусским (чьа готовность участвовать в бунте, по-видимому, считалась понятной), чем к русским, чье участие в бунте расценивалось скорее как предательство⁴³. Столь дифференцированный подход наводит на мысль, что, помимо сравнения способов и стратегий сопротивления среди разных групп подданных империи (как предлагалось выше), полезно было бы также исследовать такие случаи

в регионах со смешанным населением, где в сопротивлении совместно участвовали русские и нерусские, православные и представители других конфессий. Кроме Пугачевского восстания, предметом такого исследования могли бы стать так называемые «картофельные бунты» крестьян в северных уральских регионах в 1840-х годах, а также революция 1905 года⁴⁴. Таким образом, поскольку в Российской империи возникало лишь незначительное количество недвусмысленных ситуаций, когда господство и сопротивление носили однозначно «имперский» характер, — что позволяет воспринимать их как герметично обособленные от исторического опыта «собственно» России, — то исторический опыт регионов со смешанным населением представляется не периферийной, а скорее неотъемлемой частью более полной истории имперской России.

В этом смысле историки, изучающие Российскую империю, возможно, сумеют предложить значительные теоретические и концептуальные новшества ученым, изучающим те империи, метрополии которых находились в Западной Европе. Действительно, если одна из важнейших тенденций в «западной» литературе включает рассмотрение роли империи в формировании социальной структуры общества метрополии и, таким образом, трактовка различий между метрополией и колонией в современной литературе утрачивает дуалистический характер, то Россия, где подобные различия были сомнительными уже на самом элементарном — физическом — уровне, несомненно, заслуживает более существенного внимания в таких исследованиях. И если «смешение» теперь считается атрибутом колониальной жизни, в особенности постколониального периода, то готовность русских имперских властей разрешать браки между людьми разных национальностей и поощрять усвоение местным населением русских традиций, так же как и участие представителей нерусских народов в важных аспектах имперского правления — распространении русской версии «ориентализма», миссионерской деятельности и т. д. — заслуживает более пристального внимания наших коллег, занимающихся изучением западных империй. Говоря вкратце, анализ положения дел в России, возможно, поможет сместить Британскую, Французскую и Голландскую империи с их привилегированной позиции «нормальных» империй, утвердив взамен более плюралистический подход к изучению империй.

Несостоятельные противопоставления

Трудности в оценке положения русского крестьянства с аналитической точки зрения подчеркивают проблематичный характер различий между колонизаторами и колонизированными. В той же степени, в которой западные исследователи, анализируя русское имперское правление, обычно были склонны рассматривать объекты своего исследования преимущественно с точки зрения национальных отношений, они выносили на передний план противостояние между правящими кругами государства-колонизатора и тем или иным отдельно взятым народом; в таких случаях степень непосредственных контактов — а иногда и конфликтов — одних нерусских народов с другими зачастую явно преуменьшалась по сравнению с конфликтами нерусских народов с русским населением или с представителями государственной власти. В балтийских губерниях латыши и эстонцы в огромной мере ощущали на себе социальное господство остзейских немцев, и даже политика «обрусения» имела здесь необычный эффект — не денационализации эстонской интеллигенции, а скорее освобождения ее от культурного влияния остзейских немцев⁴⁵. В казахских степях муллы из числа татар Поволжья в конце XVIII — начале XIX века служили проводниками российского имперского влияния, стараясь «цивилизовать» своих равных (по общему мнению) кочевников в приграничных областях; муллы воспринимали эту миссию на свой лад — как распространение «религии» (*дин*) среди некультурного среднеазиатского населения⁴⁶. Можно привести еще много подобных примеров, но суть состоит в том, что во многих регионах вдали от центральных губерний России — на Средней Волге, Нижней Волге, отчасти на Украине, в Средней Азии, на Северном Кавказе и в Закавказье — историк наблюдает не просто господствующее русское население и угнетенное местное население, а три, четыре или даже больше этнических или конфессиональных групп, занимавших различные уровни социальной иерархии, но достаточно тесно взаимодействовавших друг с другом. Сами эти факты свидетельствуют о необходимости рассматривать «имперские отношения» как часть многогранной системы переплетающихся и взаимодействующих процессов.

Более того, искусственно выделяя одну из осей конфликта, понятие «сопротивления» обычно предполагает восприятие под-

властного населения как достаточно однородного — так называемое «очищение» внутренней политики местных сообществ⁴⁷. Таким образом, подвластное население предстает в исследованиях как безликая масса, которая думает, стремится к цели и действует как один человек. Характерным в этом отношении является использование артикля для описания поведения этнических или религиозных сообществ. Если, например, мы утверждаем, что «татары» («the Tatars») или «мусульмане» («the Muslims») сопротивлялись инициативам имперских властей, мы тем самым неявно отрицаем, что некоторые члены этого сообщества не оказывали сопротивления (или подразумеваем, что если они не оказывали сопротивления, то их поведение составляло отклонение от нормы или не выражало настоящих — будто бы — интересов того народа)⁴⁸. Но при ближайшем рассмотрении выясняется, что сопротивление носило не такой всеобщий характер, как некоторые предпочли бы считать. Например, в то время как Одри Алштадт полагает, что русская имперская политика после завоевания Азербайджана «вызвала практически непрекращающееся сопротивление» и что «простое население было в основном настроено проирански», то Тадеуш Светоховский, со своей стороны, утверждает, что когда иранские войска напали на российскую армию в 1826 году — спустя десятилетие после установления русского господства, — то по крайней мере некоторые азербайджанцы сражались на стороне русских, что численность особых мусульманских подразделений росла и что они достойным образом проявили себя в боях. Российское государство фактически смогло использовать азербайджанцев в последующих войнах против Турции, также как и при подавлении антироссийского движения, распространявшегося из Дагестана⁴⁹. Эти факты, конечно же, не ставят под сомнение истинную оппозиционность азербайджанцев по отношению к русскому господству и не оправдывают русской колониальной экспансии, а скорее усложняют наше понимание расстановки сил в регионе.

В целом при использовании концепции сопротивления возникает тенденция преуменьшать размеры конфликтов среди самих нерусских народов, вызванных возрастными и гендерными различиями, а также различиями в уровне достатка, в характере верований и т.д. Если опять обратиться к примеру Азербайджана, то различие между шиитами и суннитами среди мусульманского

населения поможет объяснить различное отношение азербайджанцев к русскому господству⁵⁰. Подобным образом и в среде немецких колонистов в низовьях Волги зачастую возникали расхождения во мнениях и разногласия из-за того, что они принадлежали к различным религиозным конфессиям (среди них были лютеране, реформаты и католики)⁵¹. Кочевники часто переживали острые конфликты между родовыми кланами и племенными группами из-за пастбищных земель и других природных богатств, хотя всех их объединяли общие чувства по отношению к вторгшимся на их земли казакам, русским крестьянам и правительственной бюрократии⁵². И если в трудах советских ученых идея различий между *феодалами* и *массами* принимала навязчивый характер, то было бы опрометчиво игнорировать это различие, особенно потому, что оно играло решающую роль при вмешательстве империи во внутренние дела многих вновь присоединенных территорий⁵³. Можно только надеяться, что в будущем ученые, занимающиеся историей женщин, предложат достаточно полный анализ гендера как источника социальных различий в местных обществах⁵⁴. Так или иначе, тот факт, что русские власти могли в некоторых случаях использовать эти различия в своих интересах и, может быть, даже намеренно углублять их, не делает эти различия менее реальными.

Соответственно этому, так же как крестьянские патриархи находили что-то привлекательное в крепостничестве⁵⁵, определенные слои покоренного нерусского населения благосклонно оценивали те порядки и те возможности, которые предлагало имперское государство. Реформаторы ислама, такие как Исмаил Гаспринский, самым фактом поисков путей приспособления к прогрессивным тенденциям русской культуры и цивилизации показали, что им представлялось более важным привлечь внимание к ограниченности их собственных сообществ, чем размышлять о сущности империализма⁵⁶. Некоторые нерусские народности, несмотря на долгую историю «отступничества» и уклонения в «язычество», сочли православное христианство достаточно заманчивым с точки зрения возможности приобретения знаний, грамотности, овладения русским языком и тем самым вызвали значительные изменения религиозной самоидентификации и интеллектуального кругозора. В 1840-х годах «горные» марийцы в Казанской губернии начали «религиозное движение», в которое вплетались

усилившееся стремление к получению грамотности и активная борьба с элементами «языческих» верований среди своих соплеменников; кульминацией этого движения стало освящение мариинского православного монастыря в 1871 году. Этот монастырь послужил образцом для создания других нерусских мужских и женских монастырей на протяжении последних десятилетий существования царской власти⁷. Подобным образом, когда ученые, изучающие поволжских татар, отмечают, что десятки тысяч крещеных татар впоследствии отказались от христианства в пользу ислама, они редко признают тот факт, что гораздо большее количество — около 120 тысяч — формально остались христианами и что по меньшей мере некоторые из них выработали особую религиозно-этническую идентичность и стали осознавать себя как «кряшенны» (крещеные татары), чего не смогла полностью искоренить даже официальная политика атеизма⁸.

Вместо того чтобы игнорировать подобные эпизоды или трактовать их как примеры «сговора» или даже «предательства», мы должны воспринимать их серьезно — как примеры различных способов, с помощью которых представители нерусских народов оценивали свои виды на будущее в империи, а также как примеры неизбежных трудностей, возникающих при определении четких границ между ассимиляцией и усвоением доминирующей культуры для собственной пользы. С точки зрения внутреннего содержания каждый случай предполагаемого религиозного обращения или ассимиляции фактически является потенциальным «подрывным действием». Как писал Гаури Висванатан по вопросу о религиозном обращении в колониальных условиях, «обращение не обязательно является способом усвоения существующей в готовом виде реальности, идентичности или системы мышления. Скорее обращение представляет собой динамический процесс *создания* некой идеальной системы, к которой стремится новообращенный. Самостоятельное построение такой системы — именно это и делает ее еретической, и превращение религиозного обращения в инструмент порождения ересей самым разительным образом проводит черту между этим процессом и целями приверженцев политики ассимиляции»⁹.

Таким образом, нерусское население обычно рассматривало то, что предлагали ему имперские власти — обращение в хрис-

тианство, русское образование, «цивилизацию», — как нечто большее и одновременно нечто меньшее по сравнению с тем, что видели в этом сами власти. Едва ли нас удивит то, что ожесточенные споры продолжались даже послетого, как нерусское население предпринимало некоторые шаги якобы по пути ассимиляции: имперские чиновники обнаружили, что мусульманин, усвоивший достижения европейской цивилизации, становится, возможно, менее предсказуемым, чем его «фанатичный» и «необразованный» единоведец, и что не в последнюю очередь причиной тому служит само смешение культур⁶⁰. Подобно этому желание марийцев организовать православный монастырь не означало на деле полного подчинения религиозной дисциплине православной иерархии, а скорее представляло собой попытку создать автономное пространство для собственно религиозного развития. И, как писал один из разочарованных русских миссионеров, идея назначения «инородцев» на посты учителей и священников изначально казалась «мыслью прекрасной; но инородцы скоро стали это понимать по-своему»⁶¹. Иными словами, сосредоточив внимание на таких случаях приспособления и ни в коей мере не настаивая на бесспорном характере имперской гегемонии, мы часто обнаруживаем такие эпизоды и ситуации, которые на самом деле несли в себе глубоко «подрывной» потенциал.

Некоторые ученые уже ведут исследования в этом направлении, дополняя, таким образом, предшествующие работы по истории оппозиционности и конфликтов информацией о взаимодействии и даже о сотрудничестве и о создании в ходе этого процесса новых «гибридных» сообществ. Интересным в этом отношении оказался опыт по изучению проблемы «фронтира» (приграничья) на территории Северной Америки, представленный, в частности, в работах Ричарда Уайта, который подчеркивает плодотворный характер взаимодействий, возникающих на так называемой ничейной земле между культурами, народами и империями, приводя значительное число таких примеров в примечаниях к работе⁶². Важнейшим исследованием, где была сделана попытка применить данный подход к истории Российской империи, стал труд Томаса Барретта, посвященный Северному Кавказу. Рассматривая значительное культурное и экономическое взаимодействие терских казаков и местного горского населения (в частности, в сфере торговли), эта работа тем самым вносит важные коррективы в сложившуюся

ранее традицию изучения данного региона, для которой было характерно преимущественное (если не сказать — исключительное) внимание к проблемам противодействия, конфронтации и разделения. Действительно, Барретт подчеркивает не только тот факт, что многие купцы и мелкие торговцы часто пересекали эту предполагаемую «разделительную линию», но также и то, что «товары, поступавшие на север с гор, были необходимы для казачьих поселений и во многом определяли структуру их материальной культуры». Колонизация иногда сопровождалась «обынородчиванием»; таким образом, процесс инкорпорирования предстает как гораздо более неоднозначный, чем это описывалось в предшествующих работах³. Николас Брейфогль применил этот же научный метод в своем недавнем исследовании, посвященном жизни сектантов в Закавказье; он показывает, как сектанты изменялись в этом новом окружении, перенимая определенные обычаи местного населения (особенно в хозяйственной сфере), изучая местные языки и пересматривая свое отношение к Русскому государству. Не отрицая того факта, что между колонизаторами-«еретиками» и местным населением временами случались жестокие стычки, автор рассматривает эти столкновения в более широком контексте взаимоотношений тех и других⁴. Подобным же образом Виллард Сандерленд изучает разнообразный спектр отношений, возникавших в ходе контактов поселенцев с местным населением, отмечая, что иногда эти отношения приводили русских даже к отказу от собственной национальной идентичности и к усвоению идентичности местного населения⁵. Еще одной работой последних лет, посвященной проблеме взаимодействия, происходившего «поверх» мнимых разделительных линий, является диссертация Чарльза Стейнведела, где автор, показывая взаимодействие православной и мусульманской элит в органах местного самоуправления Уфимской губернии, обнаруживает, что в реальной жизни те и другие могли во многом приходить к согласию, особенно в вопросах образования и просвещения⁶. Цели таких исследований состоят не в том, чтобы идеализировать империю или отрицать деспотический характер ее владычества, а скорее в том, чтобы показать, что противостояние между господствующими и подчиненными, колонизаторами и колонизируемыми было не таким однозначным, каким нам иногда его преподносили.

Самосознание

В нескольких обсуждавшихся здесь ранее вопросах незримо присутствовала проблема исторического субъекта и самосознания. Несомненно, одним из источников притягательности проблемы сопротивления для исследователей является то, что обращение к этой теме позволяет точно выявить пределы имперского господства и дает нам возможность (хотя бы в принципе) наделять подданных империи сознанием и волей, независимыми от элитных слоев, а также самостоятельностью и самосознанием, которые позволяли им на определенном уровне «творить свою собственную историю». Возможно, именно по этой причине ученых так привлекали примеры оппозиционных движений, принимающих явно «политическую» форму, — например, националистические движения, поскольку ясное словесное выражение требований и стремлений, наличие представлений об источниках угнетения (что является необходимой предпосылкой высказывания требований) и способность поднять людей на рискованные действия для улучшения существующей ситуации — все это предполагает наличие самосознания. Но попытка укрыться за, казалось бы, благим стремлением присвоить угнетенному населению некое интеллектуальное пространство, самостоятельное и независимое от имперского господства, зачастую привносит в историческое исследование сомнительное представление о том, кого Розалинд О'Хэнлон называет «классической фигурой западного гуманизма» — о «созидающем самого себя и самоопределяющемся индивиде, который одновременно является и субъектом (поскольку обладает суверенным сознанием, определяющим качеством которого является разум), и действующим лицом, поскольку обладает могущественной силой свободы»⁹. В недавних теоретических исследованиях скорее проявляется склонность считать субъектность подданных колониальных империй бесспорно условной, собранной из разнородных фрагментов и формирующейся (всегда лишь временно) *через* те самые взаимоотношения, которые и составляют сущность столкновений колонии и метрополии. В соответствии с этим роль имперских нововведений — определенной практики взаимоотношений, навязываемых категорий и концепций — должна быть признана центральной в процессе конституирования самосознания импер-

ских подданных, даже если эти подданные сопротивлялись полному подчинению и принятию данных нововведений. Как настаивают Дуглас Хейнс и Джайан Пракаш, «эпизоды сопротивления сами по себе редко означают в чистом виде освобождение от господства; борьба постоянно обусловливается существующими структурами социальной и политической власти». С этой точки зрения «ни господство, ни сопротивление не являются самостоятельными феноменами; они настолько тесно переплетены между собой, что становится трудно анализировать одно без учета другого»⁶⁸. Именно диалектические отношения между этими двумя явлениями представляют, как я считаю, величайший познавательный интерес, и именно эта диалектика обычно ускользает из поля зрения сторонников общепринятого подхода к проблеме сопротивления.

Таким образом, вместо того чтобы воспринимать сопротивление исключительно как способ противодействия, которое зарождается в местном населении в ответ на определенные принудительные меры и вмешательство со стороны имперского государства, мы должны более полно изучить те способы, с помощью которых государство эффективно создавало идентичность своих нерусских подданных, прививая им важные аспекты этой идентичности, создавая определенные каналы для выражения недовольства и, наконец, добиваясь признания легитимности государства хотя бы в некоторых сферах, даже если подданные продолжали оспаривать эту легитимность в других сферах. Ряд ученых уже фактически предпринимает такие исследования (хотя и без необходимого теоретического анализа сопротивления как такового), детально изучая преобразующее влияние российского имперского господства на жизнь местных сообществ. В частности, их интересовало, каким образом линии поведения имперского государства, установленные им порядки, категории государственного мышления и социально-экономическое влияние способствовали изменению тех горизонтов, в которых нерусские народы воспринимали самих себя, свои сообщества и свои взаимоотношения с более крупными политическими образованиями, религиозными конфессиями и этническими группами. Одно из первых исследований, затрагивавших такую проблематику, было предпринято Майклом Станиславским, посвятившим свою работу попыткам администрации Российской империи покончить с обособленным положением

и «отчужденностью» еврейского народа — через призыв евреев на военную службу, усилия по обращению их в христианство и официальный запрет на деятельность еврейских общинных учреждений, — что в конечном счете привело к образованию русско-еврейской интеллигенции и придало мощный импульс развитию еврейского просвещения в России⁶⁹. В последнее время все чаще появляются научные исследования в этом направлении. Согласно Аллену Франку, ко второй половине XVIII века проводившаяся Российским государством политика признания исламского духовенства в Поволжье и особенно институциональное закрепление этой политики путем создания Магометанского духовного собрания послужили мощным стимулом, побудившим мусульманские просвещенные круги заново переосмыслить историческую идентичность местного мусульманского населения; это выразилось в написании исторических сочинений, где происхождение мусульманского населения этого региона связывали с принятием ислама средневековыми булгарами⁷⁰. Подобным образом и Вирджиния Мартин рассматривала трансформацию судебных обычаев кочевников (*адата*) в контексте русского права. Она показала, что казахи, столкнувшиеся с проблемой все возрастающего расселения крестьян в степи и с попытками администрации распространить среди кочевников более современные, цивилизованные юридические отношения, приспособили свою судебную практику к новым условиям, в то же время адаптируя навязываемые им структуры так, чтобы они соответствовали местным потребностям⁷¹. И, наконец, Адиб Халид, тщательно изучив мусульманскую культурную реформу в Средней Азии, показал, что колониальная интервенция (принесшая с собой новые формы культурного производства и общения, новые средства сообщения, этнографические категории и эпистемологические системы) сыграла центральную роль в процессе зарождения культурной реформы, национальной идеологии и стремления к приобретению знаний в среде интеллектуальной элиты Средней Азии⁷².

Ни один из указанных авторов не склонен считать эти следствия исключительно продуктом колониальной интервенции. Напротив, их исследования выявили значительный вклад самих нерусских народов в эти процессы, — но только в таком контексте, который, несомненно, был сформирован колониальным характером их подчинения. Исследователи также показали, что имперские

власти никогда не были способны полностью руководить процессом тех изменений в среде местного населения, которые они сами поощряли, и никогда не могли безоговорочно диктовать условия ассимиляции и подчинения. Как мне кажется, эта область исследований могла бы стать необыкновенно плодотворной, вплоть до того, что обращение к ней помогло бы отбросить прямолинейные противопоставления, усложнить наши понятия о местной идентичности и сформировать более реалистичное восприятие самых ярких отличительных особенностей имперского господства.

С этой точки зрения мы нуждаемся в более полном исследовании того, каким именно образом поведение, мировосприятие и действия нерусского населения создавали условия для осуществления власти. Мы уже отмечали, например, потенциальную способность слухов значительно затруднить действия властей по воплощению новых реформаторских проектов. Другой областью для будущего исследования мог бы стать вопрос о научном знании, но не только как о ресурсе для направленного наступления объединяющей власти. Скорее, поскольку власти все больше убеждались в ценности статистических и этнографических знаний для проведения государственной политики⁷³, можно было бы задуматься об изучении того, как подданные формировали определенные представления о себе у этнографов и чиновников, а также о тех скрытых, но существенных возможностях для манипуляции, которые были заложены в самой этой ситуации⁷⁴. Далее мы могли бы рассмотреть, каким образом отдельные случаи сопротивления не только заставили имперское государство отказываться от своих намерений или изменять их, но вызывали даже изменение фундаментальных представлений об управлении. Станет ли кто-нибудь, например, оспаривать то утверждение, что упорное неприятие крещеными татарами и бывшими униатами своего статуса как «православных» на протяжении значительной части XIX века привело в конечном счете к формированию более современного понимания религии как веры и убежденности в отличие от формальной конфессиональной принадлежности и к формированию понятия «веротерпимость», означающего индивидуализированную свободу совести и отличающегося тем самым от ограниченного признания права сообществ на отправление религиозных обрядов своей конфессии? Обращаясь к этим и другим подобным вопросам,

мы, как мне представляется, сможем выработать более глубокое понимание российского имперского господства, основанное на признании двустороннего характера взаимоотношений и взаимовлияния, но и не игнорирующее наиболее существенные отличительные черты колониализма. Если недавние исторические труды могут служить весомым показателем, то нам следует многого ожидать от исследований в этой области.

Примечания

Благодарю Чарльза Стейнведела и редакторов журнала *Kritika* за внимательное предварительное прочтение этого эссе.

1 Я заимствовал термин «покоренные нации» у Марка фон Хагена (*Hagen M. von. Writing the History of Russia as Empire: The Perspective of Federalism // Kazan, Moscow, St. Petersburg: Multiple Faces of the Russian Empire / Ed. by Catherine Evtuhov, Boris Gasparov, Alexander Ospovat, Mark von Hagen. M.: O.G.I., 1997. P. 395–396* [см. русский перевод в настоящем издании]). Выражение «национальные мартирологии» я использую вслед за Адибом Халидом (*Khalid A. The Politics of Muslim Cultural Reform: Jadidism in Central Asia. Berkeley: University of California Press, 1998. P. XIV*).

2 О том, как изменялся императив оценки характера и последствий русского колониализма, см.: *Tillett L. The Great Friendship: Soviet Historians on the Non-Russian Nationalities. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1969*.

3 Обобщающее исследование этих процессов содержится в работе: *Tillett L. Op. cit.*

4 Об этой историографической ревизии, произошедшей в кругах татарских историков, см.: *Lazzerini E. J. 'Tatarovedenie' and the «New Historiography» in the Soviet Union: Revising the Interpretation of the Tatar-Russian Relationship // Slavic Review. 1981. Vol. 40. № 4. P. 625–635*.

5 См.: *Tillett L. Russian Imperialism and Colonialism // Windows on the Russian Past: Essays on Soviet Historiography since Stalin / Ed. by Samuel H. Baron, Nancy W. Heer. Columbus: American Association for the Advancement of Slavic Studies, 1977. P. 105–121*.

6 См., например: *Ахманов И.Г. Башкирские восстания XVII начала XVIII века. Свердловск, 1991*, где автор доказывает, что башкирские восстания XVII и XVIII веков были «прогрессивным» проявлением протеста против национального и социального притеснения, но не были направлены против русского народа.

7 О показательных в этом отношении примерах см.: *Лотфуллин И.М., Ислаев Ф.Г. Джихад татарского народа: героическая борьба татар-мусульман с православной инквизицией на примере истории ново-крещенской конторы. Казань, 1998. См. также некоторые статьи в сб.:*

Исламо-христианское пограничье: Итоги и перспективы изучения.

Казань: Институт языка, литературы и истории им. Г. Ибрагимова, 1994.

Сравните также издания работы Абраара Каримуллина «У истоков татарской книги» 1971 и 1992 годов: в последнем Каримуллин уже свободно проводит параллели между ограничивающей политикой царизма по отношению к публикации книг на татарском языке и политикой «коммунистических великодержавных шовинистов».

8 Примеры такого подхода можно найти в следующих работах: Морозов И.Л. Экономика татарской пореформенной деревни и массовое движение татарского крестьянства в Татарии 50–70-х гг. XIX в. // Материалы по истории Татарии второй половины XIX века: Аграрный вопрос и крестьянское движение 50–70-х годов XIX в. М.; Л.: Изд-во Академии наук, 1936. С. XIX–XXI; Зевакин М.Л. Кузьма Алексеев: Крестьянское движение мордвы Терюшевской волости, 1808–1810. Саранск: Мордовское государственное издательство, 1936; Григорьев А.Н. Христианизация нерусских народностей как один из методов национально-колониальной политики царизма в Татарии // Материалы по истории Татарии. Казань, 1948. Вып. 1. С. 226–285; Попов Н.С. К вопросу о религиозном движении в Марийском крае во второй половине XIX — начале XX века (историография и источники) // Археология и этнография Марийского края. Вып. 7: Историография и источниковедение по археологии и этнографии Марийского края. Йошкар-Ола, 1984. С. 174–192.

9 Gammer M. Muslim Resistance to the Tsar: Shamil and the Conquest of Chechnia and Daghestan. London: Frank Cass, 1994 [Гаммер М. Шамиль: Мусульманское сопротивление царизму. М., 1998]; Fisher A.W. The Russian Annexation of Crimea, 1772–1783. Cambridge: Cambridge University Press, 1970; Donnelly A.S. The Russian Conquest of Bashkiria, 1552–1740: A Case Study in Imperialism. New Haven: Yale University Press, 1968; Pierce R.A. Russian Central Asia, 1867–1917: A Study in Colonial Rule. Berkeley: University of California Press, 1960; Henze P.B. Circassian Resistance to Russia // The North Caucasus Barrier: The Russian Advance towards Muslim World / Ed. by Marie Bennigsen Broxup. N.Y.: St. Martin's Press, 1992. P. 62–111.

10 В числе этих достойных примеров см.: Manz B.F. Central Asian Uprisings in the Nineteenth Century: Ferghana under Russians // Russian Review. 1987. Vol. 46. P. 261–281; Jones S.F. Marxism and Peasant Revolt in the Russian Empire: the Case of the Gurian Republic // Slavonic and East European Review. 1989. Vol. 67. № 3. P. 403–434; Brower D.R. Kyrgyz Nomads and Russian Pioneers: Colonization and Ethnic Conflict in the Turkestan Revolt of 1916 // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. 1996. Vol. 44. № 1. S. 41–53; Babadzhanov B.M. Dukchi Ishan und der Aufstand von Andizhan 1898 // Muslim Culture in Russia and Central Asia from the Eighteenth to the Early Twentieth Centuries. Vol. 2: Inter-Regional and Inter-Ethnic Relations / Ed. by Anke

von Kügelgen, Michael Kemper, Allen J. Frank. Berlin: Klaus Schwarz Verlag, 1998. P. 167–191; *Noack C.* L'arrière-plan social, économique et culturel du mouvement d'émancipation // *L'Islam de Russie: Conscience communautaire et autonomie politique chez les Tatars de la Volga et d'Oural depuis le XVIIIe siècle* / Ed. par Stéphane A. Dudoignon, Dämîr Is'haqov, Râfyq Möhäm-mätshin. Paris: Maisonneuve et Leroise, 1997. P. 89–114.

11 *Hallbach U.* «Holy War» Against Czarism: The Links between Sufism and Jihad in Nineteenth-Century Anticolonial Resistance against Russia // *Muslim Communities Reemerge: Historical Perspectives on Nationality, Politics, and Opposition in the Former Soviet Union and Yugoslavia* / Ed. by Edward Allworth et al. Durham: Duke University Press, 1994. P. 251–276.

12 См., например: *Kefeli-Clay A.* L'Islam populaire chez les Tatars Chrétiens Orthodoxes au XIX^e siècle // *Cahiers du monde russe*. 1996. Vol. 37. N° 4. P. 409–428 [см. русский перевод в настоящем издании]; *Idem.* Constructing an Islamic Identity: The Case of Elyshevo Village in Nineteenth Century // *Russia's Orient: Imperial Borderlands and Peoples, 1700–1917* / Ed. by Daniel R. Brower, Edward J. Lazzerini. Bloomington: Indiana University Press, 1997. P. 271–291.

13 *Khodarkovsky M.* Where Two Worlds Met: The Russian State and Kalmyk Nomads, 1600–1771. Ithaca: Cornell University Press, 1992. P. 207–235; *Fisher A.* Emigration of Muslims from Russian Empire in the Years after the Crimean War // *Jahrbücher für Geschichte Osteuropas*. 1987. Vol. 35. N° 3. S. 356–371.

14 Литература по этому вопросу слишком обширна, чтобы указывать ее здесь. Полезным может быть обращение к комплексным работам: *Suny R.G.* The Revenge of the Past: Nationalism, Revolution, and the Collapse of the Soviet Union. Stanford: Stanford University Press, 1993; *Kappeler A.* Russland als Vielvölkerreich: Entstehung, Geschichte, Zerfall. Munich: Verlag C.H. Beck, 1992.

15 См.: *Frank A.J.* Islamic Historiography and «Bulghar» Identity Among the Tatars and Bashkirs of Russia. Leiden: Brill, 1998. P. 21–39; *Azamatov D.D.* Russian Administration and Islam in Bashkiria (18–19th centuries) // *Muslim Culture in Russia and Central Asia from the Eighteenth to the Early Twentieth Centuries*. Vol. 1 / Ed. Michael Kemper, Anke von Kügelgen, Dmitriy Yermakov. Berlin: Klaus Schwarz Verlag, 1996. P. 91–112; *Fisher A.W.* Enlightened Despotism and Islam under Catherine II // *Slavic Review*. 1968. Vol. 27. P. 542–553.

16 *Khalid A.* Op. cit. P. 53, 39; *Manz B.F.* Op. cit. P. 277–278.

17 *Frank A.J.* Op. cit. P. 34; *Ахманов И.Г.* Указ. соч. С. 4.

18 См.: *Ortner, Sherry B.* Resistance and the Problem of Ethnographic Refusal // *Comparative Studies in Society and History*. 1995. Vol. 37. N° 1. P. 173–193, 180–183; *Guha R.* The Prose of Counter-Insurgency // *Selected*

Subltern Studies / eds. Ranajit Guha, Gayatri Chakravorty Spivak. N.Y.: Oxford University Press, 1988. P. 78–82.

19 Наибольший вклад в изучение этой проблематики внесли следующие работы: *Scott J.C.* Weapons of the Weak: Everyday Forms of Resistance. New Haven: Yale University Press, 1985; *Idem.* Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts. New Haven: Yale University Press, 1990. См. также серию статей, посвященных теме повседневных форм крестьянского сопротивления, в форуме: *Everyday Forms of Peasant Resistance in South-East Asia* // *The Journal of Peasant Studies*. 1986. Vol. 13. № 2; *Dirks N.B.* Ritual and Resistance: Subversion as a Social Fact // *Culture / Power / History: A Reader in Contemporary Social Theory* / Ed. by Nicholas B. Dirk, Geoff Eley, Sherry B. Ortner. Princeton: Princeton University Press, 1994. P. 483–502. О русском крестьянстве см.: *Peasant Economy, Culture, and Politics of European Russia, 1800–1921* / Ed. by Esther Kingston-Mann, Timothy Mixer. Princeton: Princeton University Press, 1991; *Engel B.A.* Women, Men, and the Languages of Peasant Resistance, 1870–1907 // *Cultures in Flux: Lower-Class Values, Practices, and Resistance in Late Imperial Russia* / Ed. by Stephen P. Frank, Mark D. Steinberg. Princeton: Princeton University Press, 1994. P. 34–53.

20 *Adas M.* From Avoidance to Confrontation: Peasant Protest in Precolonial Southeast Asia // *Comparative Studies in Society and History*. 1981. Vol. 23. № 2. P. 217–247.

21 *Комов К.А., Вернер С.* Очерки истории мордовского народа XVIII века. Саранск, 1943; *Werth P.W.* Armed Defiance and Biblical Appropriation: Assimilation and the Transformation of Mordvin Resistance, 1740–1810 // *Nationalities Papers*. 1999. Vol. 27. № 2. P. 247–270. О процессе религиозного обращения в XVIII веке см.: *Khodarkovsky M.* «Not by Word Alone»: Missionary Policies and Religious Conversion in Early Modern Russia // *Comparative Studies in Society and History*. 1996. Vol. 38. № 2. P. 267–293.

22 Я обращался к изучению подобных случаев в двух своих статьях: *Werth P.* Baptism, Authority, and the Problem of *Zakonnost'* in Orenburg Diocese: The Induction of Over 800 «Pagans» into the Christian Faith // *Slavic Review*. 1997. Vol. 56. № 3. P. 456–480; *Idem.* The Limits of Religious Aspiration: Baptized Tatars and the Revision of «Apostasy», 1840^s–1905 // *Russian Review*. 2000. Vol. 59. № 4. P. 493–511.

23 По вопросу о русском крестьянстве см.: *Moon D.* Russian Peasants and Tsarist Legislation on the Eve of Reform: Interaction between Peasants and Officialdom, 1825–1855. London: Macmillan; The Centre for Russian and East European Studies, University of Birmingham, 1992.

24 См.: *Werth P.* At the Margins of Orthodoxy: Mission, Governance, and Confessional Politics in Russia's Volga-Kama Region, 1827–1905. Ithaca: Cornell University Press, 2002.

25 Попытки теоретического осмысления данной практики см. в следующих трудах: *Haynes D., Prakash G.* Introduction: The Entanglement of Power and Resistance // *Contesting Power: Resistance and Everyday Social Relations in South Asia* / Ed. by Douglas Haynes, Gyan Prakash. Berkeley: University of California Press, 1991. p. 2–3; *Stoler A.L., Cooper F.* Between Metropole and Colony: Rethinking a Research Agenda // *Tensions of Empire: Colonial Culture in a Bourgeois World* / Ed. by Ann Laura Stoler, Frederick Cooper. Berkeley: University of California Press, 1996. P. 24–29.

26 Я обращался к истории этого любопытного движения в работе: *Werth P.* Armed Defiance and Biblical Appropriation... См. также: *Зевакин М.Л.* Указ. соч.

27 Этой теме посвящена работа: *Werth P.* Big Candles and «Internal Conversion»: The Mari Pagan Reformation and its Russian Appropriations // *Of Religion and Identity: Missions, Conversion, and Tolerance in the Russian Empire* / Ed. by Michael Khodarkovsky, Robert Geraci. Ithaca: Cornell University Press, 2001. P. 144–172.

28 См.: *Geraci R.* The Il'minskii System and the Controversy over Non-Russian Teachers and Priests in the Middle-Volga // *Kazan, Moscow, St. Petersburg...* P. 325–348.

29 *Cooper F.* Conflict and Connection: Rethinking Colonial African History // *American Historical Review*. 1994. Vol. 99. № 5. P. 1527.

30 *Viola L.* Peasant Rebels under Stalin: Collectivization and the Culture of Peasant Resistance. Oxford: Oxford University Press, 1996.

31 Хотя, конечно, не от других соседних империй – таких, как Османская империя или империя Габсбургов. См., например: *After Empire: Multiethnic Societies and Nation-Building: The Soviet Union and the Russian, Ottoman, and Habsburg Empires* / Ed. by Karen Barkey, Mark von Hagen. Boulder: Westview Press, 1997.

32 *Khalid A.* Op. cit. P. 15.

33 См.: *Mostashari F.* Tsarist Colonial Policy, Economic Change, and the Making of the Azerbaijani Nation, 1882–1905 <Ph.D. diss., University of Pennsylvania, 1995>. P. 2–9; *Swietochowski T.* Russian Azerbaijan, 1905–1920: The Shaping of National Identity in a Muslim Community. Cambridge: Cambridge University Press, 1985. P. 10–17; *Martin V.* Law and Custom in the Steppe: Middle Horde Kazakh Judicial Practices and Russian Colonialism in the Nineteenth Century. Curzon Press, 2001.

34 Разумеется, существовали определенные социальные группы, обладавшие определенными привилегиями и обязательствами, которые напрямую ассоциировались с той или иной этнической группой. Башкиры как «сословие» были по большей части башкирами и в этническом отношении, хотя и не всегда. Также значительная часть *лашманов* (или лесных жителей) в Поволжье являлась татарами. Но нечеткое соотношение

между этническим и социальным статусом позволяет предположить, что принципы, которыми руководствовались власти в данном регионе, в одинаковой степени строились и на простом признании ряда четко отделенных друг от друга социальных статусов (определяемых на основе сочетания «бытовых» и социальных функций), и на специфическом и ясно выраженном стремлении управлять нерусскими народами в «колониальной» манере.

35 Большинство нерусского населения региона было либо государственными, либо удельными крестьянами и потому находилось в ведении тех же бюрократических инстанций, что и их русские соседи.

36 О проблеме имперского правления в Поволжье см.: *Werth P. Subjects for a Modern Empire...*; а также: *Geraci R. Window on the East: National and Imperial Identities in Late Tsarist Russia. Cornell University Press, 2001*; *Steinwedel C. Invisible Threads of Empire: State, Religion, and Ethnicity in Tsarist Bashkiria, 1773–1917* <Ph.D. diss., Columbia University, 1999>.

37 *Geraci R. Op. cit.*; *Slezkine Y. Arctic Mirrors: Russia and the Small Peoples of the North. Ithaca: Cornell University Press, 1994*; *Sunderland W. Russians into Yakuts? «Going Native» and the Problem of Russian National Identity in the Siberian North, 1870s–1914* // *Slavic Review. 1996. Vol. 55. № 4. P. 806–826.*

38 О проблеме обособленности русского крестьянства от европеизированной России (а также об образах крестьян как «чужих») см.: *Frierson C.A. Peasant Icons: Representations of Rural People in Late Nineteenth Century Russia. Oxford: Oxford University Press, 1993.*

39 *Freeze G.L. The Rechristianization of Russia: The Church and Popular Religion, 1750–1850* // *Studia Slavica Finlandensia. 1990. Vol. 7. P. 101–136*; *Chulos C. Myths of the Pious or Pagan Peasant in Post-Emancipational Central Russia (Voronezh Province)* // *Russian History. 1995. Vol. 22. № 2. P. 181–216.*

40 Юджин Вебер описывает отношение французской элиты XIX века к местным и региональным сообществам как «имперское». См.: *Weber E. Peasants into Frenchmen: The Modernization of Rural France, 1870–1914. Stanford: Stanford University Press, 1976. P. 3–22, 70–79.*

41 *Sunderland W. Making the Empire: Colonists and Colonization in Russia, 1800–1850s* <Ph.D. diss., Indiana University, 1997>; *Idem. An Empire of Peasants: Empire-Building, Interethnic Interaction, and Ethnic Stereotyping in the Rural World of Russian Empire, 1800–1850s* // *Imperial Russia: New Histories for the Empire* / Ed. by Jane Burbank, David L. Ransel. Bloomington: Indiana University Press, 1998. P. 174–198.

42 *Breyfogle N. Heretics and Colonizers: Religious Dissent and Russian Colonization of Transcaucasia, 1830–1890* <Ph.D. diss., University of Pennsylvania, 1998>.

43 *Kappeler A.* Russlands erste Nationalitäten: Das Zarenreich und die Völker der Mittleren Wolga vom 16. bis 19. Jahrhundert. Köln: Böhlau Verlag, 1982. S. 370.

44 Одним из выдающихся ученых, занимающихся исследованием в данной области, является Андреас Каппелер. Он подчеркивает участие нерусских народов в пугачевском восстании, утверждая при этом, что участие в нем самих русских свидетельствует о том, что восстание было порождено скорее неприятием политики централизации, проводившейся Российским государством, чем борьбой русского народа против крепостничества, как заявляли советские ученые. См.: *Kappeler A.* Russland als Vielvölkerreich... P.132 [*Каппелер А.* Россия – многонациональная империя. Возникновение. История. Распад. М., 2000. С. 117].

45 См.: *Raun T.U.* Estonia and the Estonians / 2nd ed. Stanford: Hoover Institution Press, 1991. P. 77. Дополнительную информацию о «национальных треугольниках» в западных регионах империи см.: *Weeks T.* Nation and State in Late Imperial Russia: Nationalism and russification on the Western Frontier, 1863–1914. DeKalb: Northern Illinois University Press, 1996; *Idem.* A National Triangle: Lithuanians, Poles and the Russian Imperial Government // Kazan, Moscow, St.Petersburg... P. 365–380.

46 *Frank A.J.* Volga Tatars and the «Islamization» of Muslim Nomads: A Reverse Angle on Russia's «Civilizing Mission» (неопубликованная рукопись). Эти действия татар, и особенно их критика русскими учеными в конце XIX века, по всей видимости, породили распространенное, но довольно сомнительное утверждение, что казахи до того времени не были «настоящими» мусульманами, хотя они сами явно считали себя таковыми.

47 Я позаимствовал термин «очищение» из следующей работы: *Ortner S.B.* Op. cit. P. 176–180.

48 Обращает на себя внимание, что в названиях почти всех томов серии Гуверовского института Studies of Nationalities используется определенный артикль «the» перед названием этнического сообщества: The Crimean Tatars, The Volga Tatars, The Modern Uzbeks, The Azerbaijani Turks, The Latvians, The Kazakhs. Исключения составляют работа Рональда Суни «Создание грузинской нации» (The Making of the Georgian Nation), а также работа Тойво Рауна «Эстония и эстонцы» (Estonia and the Estonians), само название которой уже указывает на несовпадение этнического сообщества и географического пространства как субъектов исторического процесса.

49 *Altstadt A.L.* The Azerbaijani Turks: Power and Identity under Russian Rule. Stanford: Hoover Institution Press, 1992. P. 15–17; *Swietochowski T.* Russian Azerbaijan, 1905–1920. P. 6–9.

50 *Swietochowski T.* Op. cit. P. 8.

51 *Long J.W.* From Privileged to Dispossessed: The Volga Germans, 1860–1917. Lincoln: University of Nebraska Press, 1988. P. 42–44.

52 См. работу Вирджинии Мартин, которая показывает, что у казахов проигравшая в земельных спорах сторона иногда прибегала к вмешательству русских (хотя обычно только в крайнем случае), чтобы аннулировать невыгодные решения, вынесенные местными судьями и старейшинами аулов (*Martin V. Op. cit. P. 39–43, 162–196*).

53 Чиновники Российской империи часто достигали успеха в сотрудничестве с социальными верхами нерусского населения, предлагая им некоторые социальные привилегии в обмен на поддержку русской политики. Пример удачного применения такой стратегии см.: *Suny R. G. The Making of the Georgian Nation. Bloomington: Indiana University Press, 1988. P. 63–95*.

54 Такой анализ был пока представлен лишь в работах, посвященных истории советского периода. См., например: *Massel G. J. The Surrogate Proletariat: Moslem Women and Revolutionary Strategies in Soviet central Asia, 1919–1929. Princeton: Princeton University Press, 1972; Kamp M. R. Unveiling Uzbek Women: Liberation, Representation, and Discourse, 1906–1929 <Ph.D. diss., University of Chicago Press, 1998>*.

55 *Hoch S. L. Serfdom and Social Control in Russia: Petrovskoe, a Village in Tambov. Chicago: University of Chicago, 1986* [Хок С. Крепостное право и социальный контроль в России первой половины XIX века: Петровское, село Тамбовской губернии. М., 1993].

56 По вопросу Гаспдали и исламского модернизма см.: *Lazzerini E. J. Defining the Orient: A Nineteenth-Century Russo-Tatar Polemic over Identity and Cultural Representation // Muslim Communities... P. 33–45; Idem. Local Accommodation and Resistance to Colonialism in Nineteenth-Century Crimea // Russia's Orient... P. 169–187*. Халид отмечает в отношении Средней Азии, что более важным фактором в области развития культуры и формирования национальной идентичности на принадлежащей Российской империи территории Средней Азии, чем национальная борьба, стала та полемика, которая вспыхнула внутри этого местного сообщества (*Khalid A. Op. cit. P. 16*).

57 *Попов Н. С. Из истории социорелигиозного движения в Марийском крае в 50–70-х гг. XIX века (по материалам Михайло-Архангельского мужского монастыря) // Положение и классовая борьба крестьян Марийского края / Под ред. Н. С. Попова. Йошкар-Ола: Марийский научно-исследовательский институт, 1990. С. 132–157*.

58 После 1917 года некоторые активисты из числа кряшен даже попытались придать своей групповой идентичности светский характер, чтобы получить статус полноценной *народности* и/или *нации*, и после 1922 года даже создали специальную Кряшсекцию Коммунистической партии Татарской Республики. Я предпринял опыт изучения этого любопытного сообщества в специальной работе (*Werth P. From «Pagan» Muslims*

to «Baptized» Communists: Conversion(s) and Ethnic Particularity in Russia's Eastern Provinces // *Comparative Studies in Society and History*. 2000. Vol. 42. № 3. P. 497–523). Традиционные работы западных историков по истории татар Поволжья обычно не уделяют особого внимания кряшам (кроме сюжетов вероотступничества), объясняя это тем, что «по лингвистическим и этногенетическим критериям они были очень близки к казанским татарам, что делает излишним выделение их в особую категорию, основанную только на религиозном критерии». См.: *Rorlich A. -A. The Volga Tatars: A Profile in National Resilience*. Stanford: Hoover Institution Press, 1986. P. 196. С этой точки зрения значимым для выделения той или иной общности является язык и происхождение (как объективно существующие явления), а не субъективное восприятие или исторический опыт.

59 *Viswanathan G. Outside the Fold: Conversion, Modernity, and Belief*. Princeton: Princeton University Press, 1998. P. 122.

60 *Lazzerini E. Local Accommodation...* P. 180.

61 Цит. по: *Geraci R. Op. cit.* P. 335.

62 *White R. The Middle Ground: Indians, Empires, and Republics in the Great Lake Region, 1650–1815*. Cambridge: Cambridge University Press, 1991.

63 *Barrett T.M. Crossing Boundaries: The Trading Frontiers of the Terek Cossaks // Russia's Orient...* P. 227–248; *Idem. Lines of Uncertainty: The Frontiers of the North Caucasus // Slavic Review*. 1995. Vol. 54. № 3. P. 578–601 | *Барретт Т. Линии неопределенности: северокавказский «фронт» России // Американская русистика: Вехи историографии последних лет. Императорский период*. Самара, 2000. С. 163–194 |.

64 *Breyfogle N. Op. cit.* p. 208–270.

65 См. работы Вилларда Сандерленда: *Sunderland W. Making the Empire; Idem. Empire of Peasants; Idem. Russian into Yakuts?*

66 *Steinwedel C. Op. cit.*

67 *O'Hanlon R. Recovering the Subject: Subaltern Studies and Histories of Resistance in Colonial South Asia // Modern Asian Studies*. 1988. Vol. 22. № 1. P. 191.

68 *Haynes D., Prakash G. Op. cit.* P. 3. См. также: *Abu-Lughod L. The Romance of Resistance: Tracing Transformations of Power Through Bedouin Women // American Ethnologist*. 1990. Vol. 17. № 1. P. 41–55.

69 *Stanislowski M. Tsar Nicholas I and the Jews: The Transformations of Jewish Society in Russia, 1825–1855*. Philadelphia: The Jewish Publication Society of America, 1983.

70 *Frank A.J. Op. cit.*

71 *Martin V. Op. cit.; Idem. Barimta: Nomadic Custom, Imperial Crime // Russia's Orient...* P. 249–270 [см. русский перевод в настоящем издании].

72 *Khalid A. Op. cit.*

Пол В. Верт

73 Эта важная тема затрагивается в работах Натаниэля Найта: *Knight N. Constructing the Science of Nationality: Ethnography in Mid-Nineteenth Century Russia* <Ph.D. diss. Columbia University, 1994>; *Idem. Science, Empire, and Nationality: Ethnography in the Russian Geographical Society, 1845–1855* // *Imperial Russia: New Histories...* P. 108–141 [см. русский перевод в настоящем издании].

74 Подобную точку зрения разделяют Брауэр и Лаззерини: *Brower D.R., Lazzerini E.J. Introduction* // *Russia's Orient...* P. XIV.

ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО ЕЛЕНА КРЕМЕНСКОВОЙ

СТИВЕН ВЕЛИЧЕНКО

Численность бюрократии и армии в Российской империи в сравнительной перспективе

Современное государство: чем больше, тем лучше?

По мере того как монархи расширяли свою власть, они заменяли продажных держателей должностей и местные элиты на чиновников, получавших жалованье и осуществлявших управление напрямую от лица монархов. Работа правительственной бюрократии затем стала «эффективной» до такой степени, что позволила ей заниматься делами конкретных городов и деревень, особыми способами регулировать отношения и использовать ресурсы. Этот рост «инфраструктурных» возможностей контролировать или координировать общество через посредство центральных учреждений не следует путать с деспотизмом или тиранией. Подобно этому, увеличение возможностей государства централизовывать, национализировать и стандартизировать общественную жизнь в пределах его территории вовсе не обязательно увеличивает или уменьшает деспотическую или диктаторскую власть государства¹. Территории, ставшие ареной такого развития, называют «национальным государством», если жители аннексированных территорий, как подданные, подчиняющиеся единому централизованному бюрократическому аппарату, в конце концов принимали владычество отдаленных правителей как легитимную власть. Некоторые используют термин «империя» для обозначения политических систем, в которых местное население не выработало подобной преданности, в то время как другие полагают, что страна является империей, если в ней не было единой бюрократической системы и единого гражданского статуса². Среди важных качественных

переменных, определяющих строение государства или империи, были уровень грамотности, профессиональной подготовки и трудовых навыков. Среди переменных, поддающихся количественному определению, — таких, как методы и скорость передачи и обработки информации, — была величина центрального бюрократического аппарата и армии.

Мнения по поводу того, в каких случаях территориальную экспансию следует считать «формированием государства», а в каких — «колониализмом», различаются, так же как и мнения относительно того, были или нет периферийные регионы «колониями» и в какой степени «колониальная модернизация» способствовала прогрессу. Не менее спорными являются вопросы, касающиеся расширения функций правительства и повышения уровня кадрового обеспечения — процессов, которые развернулись в национальных государствах с XVII века.

С одной стороны, защитники этой точки зрения и современная литература о «государственном строительстве» отмечают, что большая бюрократия является необходимым условием перехода к обществу современного типа. В Западной Европе, на фоне роста доходов на душу населения, появления независимых судов и судебных корпораций, а также управления, основывающегося на специальных юридических знаниях и знании процессуального права, увеличение размеров бюрократии привело к появлению гражданского статуса, социальных служб и принудительной стандартизации. Более крупный централизованный бюрократический аппарат, продолжают сторонники этой точки зрения, сделал более вероятным выполнение этих задач, стимулировал безличное официальное отношение к власти, а также выработал у средних и высших классов — а позднее и среди низших — представление о том, что свои интересы нужно реализовывать «бюрократическим путем» — через определенные учреждения, принципы закона и надлежащие правовые процедуры¹. Национальные государства разрушили политический, экономический и культурный провинциализм и успешно распространили единую национальную идентичность. Они содействовали развитию демократии и повышению благосостояния, поскольку должны были функционировать бок о бок с хорошо очерченными частными секторами, обеспечивая альтернативные источники занятости и обслуживания, власть

закона, а также представительские институты. После того как в XIX веке рабочие и неимущие слои стали объектом администрирования, их первоначальное отношение к современному «большому правительству» изменилось — от недоверия к безразличию. Но их ощущение, что эта новая власть является неоправданной, умерялось возрастающей зависимостью от правительства, вызванной упадком социально-экономического значения семьи. В своих колониях, напротив, европейские правительства держали небольшой персонал, и отношения между правителем и управляемыми там были непосредственными, личными и скорее клиентского и патерналистски-авторитарного типа, нежели демократического. Опасаясь насилия и будучи зависимыми от согласия, изолированные местные чиновники должны были управлять с помощью коллаборационистов и завоевывать покорность путем постоянно налагаемых стеснений и применения санкций колониального права; они предпочитали не угрожать и не использовать силу⁴. Суждения о роли колониальной администрации к настоящему времени сместились от оправдания ее как абсолютного блага к взвешенному представлению о ее выгодах и недостатках⁵. Представители другой стороны в дебатах о роли современного национального государства — такие его критики, как Монтескье, Милль и Маркс, осуждали его вездесущую бюрократию как внешнюю тиранию, в то время как Токвиль негодовал на бюрократию как на инструмент подчинения, добровольно принятый народами, которые больше беспокоены частными удовольствиями и интересами, чем общим благом. В рамках этой традиции радикальные критики колониализма осуждали колониальную администрацию как приводной ремень в системе подавления и угнетения.

Пример императорской России

Скорее критическое, чем благоприятное отношение к бюрократии получило большее влияние в европейском общественном мнении благодаря таким писателям, как Диккенс и Бальзак. В Российской империи наиболее известными из огромного числа произведений, которые рисовали в умах образованных русских и нерусских образ отсталой страны — пространства, переполненного слишком боль-

шим числом чиновников, стали «Ревизор» и «Мертвые души» Гоголя вместе с «Историей одного города» Салтыкова-Щедрина. «Антиимпериалистическая» или «антиколониальная» направленность мышления, которую можно было обнаружить в большинстве западноевропейских стран, не имела аналогов в России.

Тем не менее историки описывают теперь императорскую Россию как «undergoverned» — «недоуправляемую»⁶. Этот термин, хотя и без дефиниции в специальной литературе и не поддающийся адекватному переводу на русский язык, включает в себя ту идею, что правительство, которое успешно монополизировало право на применение физического насилия, не обладает достаточным числом администраторов на душу населения, чтобы проводить свою политику эффективно и разумно. С этой точки зрения уникальным свойством царского бюрократического аппарата была не его большая величина или патологические отклонения от нормы, а его малочисленность.

Тем не менее, это единодушие по поводу «недоуправляемости» не основывается на систематических исследованиях, и данный феномен не связывается в работах историков с более широкими вопросами построения империи/государства, ее развития и политики в отношении нерусских народов. Те, кто все-таки затрагивал эту тему, делали это косвенно — и обычно для того, чтобы продемонстрировать, как недостаток бюрократов ограничивал теоретическое всецелое влияние царя. Они использовали случайно взятые числа, не указывали четко, кем были правительственные чиновники, рассматривали Российскую империю скорее как национальное государство, чем как империю, и не проводили различий между «Великороссией» и ее нерусскими владениями⁷. В то же время те, кто попытался объяснить российскую политику и общественную жизнь в терминах отношений между персоналом различных уровней, эффективности правительства в повседневных делах и политической культуры, которую можно выявить в литературе по «государственному строительству», навлекают на себя обвинение в «европоцентризме»; поскольку практически так было только в западной Европе, где крупный централизованный правительственный аппарат играл решающую роль в создании демократии современного типа. В стране, где центральная администрация была слишком мала, продолжают сторонники этой аргументации, интеграция

должна была отставать, решения — исполняться медленно, услуги — быть скудными. В результате коррупция, непредсказуемость, использование служебного положения в корыстных целях, подача прошений, вмешательство в установленные процедуры принятия решений, взяточничество и торговля влиянием играли роль важных альтернативных методов ведения дел — и паллиативов, делающих деспотизм сносным. Следуя такой линии рассуждений, надо признать, что понятия о беспристрастном, регулярном процессе, систематизации и доверии не могли укорениться в России, поскольку ее чиновничество, в отличие от бюрократий конституционных монархий с их относительно более крупными административными аппаратами, было слишком мало, чтобы принимать повседневные решения так же быстро, предсказуемо и эффективно, как они. Административный произвол и апатия, продолжают сторонники этой аргументации, отчуждали людей от государственных учреждений и заставляли их использовать сомнительные методы в решении своих повседневных вопросов, вместо того чтобы побудить их мыслить в терминах общего блага на институциональном уровне. Например, требование и получение особого терпения, внимания и протекции от принявшего взятку или прошение чиновника не только противоречило моральному чувству, но и попирало представления о должном ходе дел, престиж государственных чиновников и подрывало необходимые для эффективного управления систематизацию и легализацию⁸. И, наконец, историки также обратили внимание на то, как огромно русско-евразийское пространство, а малый размер правительственной бюрократии означал, что огромное число общественных обязанностей на местном уровне вплоть до XX века выполняли непрофессионалы, как в принудительном порядке, так и добровольно. В то время как некоторые исследователи подчеркивают, что эта деятельность не была ни профессиональной, ни демократической, ни бюрократической и порождала больше проблем, чем решала, другие рассматривают ее как основу гражданского общества⁹.

Данная статья представляет собой количественное исследование. В ней приводится общая численность чиновников центральной администрации, солдат и полицейских в царской империи, наряду с аналогичными данными по некоторым западноевропейским национальным государствам и империям, и подтверждается, что

на самом деле в Российской империи на душу населения приходилось меньше чиновников центральной администрации, чем в европейских национальных государствах. Что еще более интересно — это позволяет предположить, что в Великороссии, возможно, было больше чиновников, чем в отдельных европейских колониях, но меньше, чем в некоторых из нерусских окраин империи.

Проблемы, методы и источники

Бюрократия — лучший инструмент, которым владеет человечество для выполнения совместных задач, и по мере увеличения количества задач кажется разумным увеличение числа людей, которые выполняют их¹⁰. Тем не менее, наступает момент, когда организации становятся не столько решением, сколько проблемой. Иеремия Бентам изобрел «алгебру счастья» для того, чтобы обеспечить максимальное счастье каждого человека в стране. Но пока еще никто не изобрел подобную формулу, чтобы определить оптимальное число чиновников, необходимых обществу. Следовательно, поскольку понятие «недоуправляемости» имеет смысл только в сравнительном контексте, единственный способ определить, было ли царское правительство «слишком большим» или «слишком маленьким» — это сравнить численность служащих в нем с числом служащих в других правительствах. В этой статье, соответственно, мы сосредоточим внимание на Франции, Германии, Великобритании и Австрии — четырех странах, с которыми с XVIII века обычно сравнивали себя образованные русские, несмотря на политические, социально-экономические и культурные различия. Мы также вкратце коснемся Испании и Японии. В этой работе будет рассмотрена численность бюрократии в начале Нового времени, а затем мы сосредоточим свое внимание на 90-х годах XIX века. Это исследование основано на данных переписи населения 1897 года, результаты которой сопоставимы с данными по европейским государствам того времени, поскольку она содержала категории занятости, установленные Международным институтом статистики. Используя эти данные по России, я произвел свои вычисления, которые должны были как можно точнее соответствовать коррелированным данным по занятости в обществен-

ном секторе, представленным в *State Economy and Society in Western Europe, 1815–1975*. Дополнительные данные о населении и армии были взяты из *The Statesman's Year-Book*.

Поскольку все исследованные страны управляли имперскими владениями, при расчете числа занятых в центральной бюрократии и армии на душу населения в этой работе будут учитываться различия между метрополией и колониями. Нерусские территории в царской империи будут сопоставляться с британской Индией, Испанским Марокко, Французской Африкой и Индокитаем, а сама империя будет условно разделена на пять регионов. Первый включает промышленные и сельскохозяйственные губернии России, которые в 1922 году стали частью РСФСР, — и, во избежание учета персонала центральных, общеимперских ведомств при подсчете данных по Великороссии, Санкт-Петербургская губерния не будет включена в этот регион¹¹. Второй регион будет включать восемь «малороссийских» губерний, которые позднее стали Украинской ССР¹². Третий регион состоит из пяти закавказских губерний, которые стали Армянской, Грузинской и Азербайджанской ССР¹³, четвертый — из пяти губерний в Азии, которые позднее стали частями Казахской и Узбекской республик¹⁴. Десять польских («привислинских») губерний составляют пятый регион. Это разделение, основанное на национальных границах, соответствует современной научной тенденции рассматривать царскую империю как пространство, где «империалистическая» «великорусская» метрополия «колонизировала» нерусскую периферию. В рассматриваемый период, однако, образованные русские не считали себя «империалистами», и они разошлись бы во взглядах на то, где заканчивается «русская метрополия» и начинается нерусская «периферия». Только на рубеже веков они начали рассматривать переселение славянских крестьян на восток как такую же «колонизацию», какую осуществляла Западная Европа по отношению к заморским территориям, и они никогда не использовали ни термин «колонизация», ни слово «колония» по отношению к западным пограничным территориям. Еще ранее образованные русские представляли себе Россию как страну, которая «колонизировала саму себя», а не кого-нибудь еще¹⁵.

Кроме колониального аспекта, при подсчетах необходимо учитывать наличие или отсутствие неправительственной админи-

страции в коммерческих организациях и добровольных общественных объединениях во всех исследуемых странах. Будучи многочисленными, часто влиятельными и крупными, эти организации в Западной Европе, а также в заморских колониях одновременно освобождали правительство от выполнения одних задач и побуждали его браться за другие. Но поскольку в царской России было мало «частных бюрократий», то те работы и функции, которые обычно на Западе считались частными, в России были правительственными¹⁶. Поэтому обоснованное сравнение должно либо исключить из общего числа российских чиновников тех, кто выполнял функции, сходные с функциями служащих в частных европейских организациях, как и делается в этом исследовании, либо включить частных служащих в данные по Европе. Расчеты должны также учитывать большую группу людей, которые после 1860-х годов на практике работали вне центрального царского бюрократического аппарата на местном уровне в городах и деревнях и, тем не менее, получали жалованье от государства, служа в рамках системы, где не делалось правовых различий между центральным и местным управлением и самоуправлением. Как частично правительственных, частично частных служащих и частично добровольцев, эту группу можно было бы отнести к категории местной администрации, но у нее не было организационных эквивалентов ни в Западной Европе, ни в ее колониях. Соответственно, в нашем исследовании существование этой группы отмечается, но мы не включаем ее в суммарный итог¹⁷.

Последняя проблема в любом межнациональном сравнительном исследовании бюрократий проистекает из того, что статистики использовали разные слова для обозначения государственных чиновников и администрации. Такие категории, как *fonctionnaire*, *Beamte*, *служащие* и *clerk*, были неопределенными и в разное время относились к разным людям. В попытке удержать это исследование в обозримых пределах и выделить одну-единственную категорию, которую можно было бы хотя бы приблизительно сравнивать во времени и пространстве, в этой работе «чиновники» (*government administrators*) рассматриваются как персонал, работающий по основному роду занятий в центральной администрации общего назначения (исполнительной и судебной ветвях власти). В западных странах эта контрольная группа

была бы отнесена к общественному сектору «белых воротничков», т.е. служащих, которые исполняют административные обязанности, — включая секретарей и конторских служащих (которые в России не имели чина и формально не были чиновниками), но исключая учителей, администраторов сферы образования, работников транспорта, почты и телеграфа¹⁸.

Помимо методологических трудностей и различий в категориях переписей, сравнительное исследование уровня обеспеченности персоналом делается проблематичным из-за отсутствия статистических данных или из-за искажений и неточности таких данных. Даже для Франции — страны, по которой имеются качественные материалы, — историки, занимающиеся историей управления, отметили, что установить точную численность бюрократов на любой год до 1945-го невозможно и что суммарные данные по XIX веку значительно варьируют — до 115 000 человек¹⁹. В соответствии с этим, те суммарные данные и соотношения, которые приводятся ниже — округленные до ближайшего целого числа, — должны восприниматься лишь как приблизительные, которые помогут нам определить сравнительные величины.

Некоторые предварительные сопоставления

Весьма ненадежные данные по периоду до XIX века указывают, что центральная царская администрация, возможно, стала недоукомплектованной по сравнению со своими ближайшими западными соседями лишь после 1789 года, хотя большая величина означала, что чиновники центральной администрации, как раньше, так и позднее, были распределены по территории Великороссии более тонким слоем, чем их европейские коллеги. Неизвестно, были ли царские чиновники по сравнению со своими коллегами в европейских империях распределены более тонким слоем и по всей территории империи. В любом случае, относящиеся к началу Нового времени свидетельства иностранцев, характеризующих царское правительство как деспотическое или тираническое, не упоминали вездесущей бюрократии²⁰. Сэр Роберт Даллингтон в своей книге «Суждение о Франции» (1604) высказывал мнение, что Франция, в которой чиновники «кишели, как саранча в Египте», была наи-

более управляемой европейской страной. Насколько это возможно определить, соотношение численности чиновников и количества населения в 1560-х годах составляло 1:400; в это число входят *officiers*, — оффисье, которые покупали или наследовали должность и, когда считали нужным, использовали ее скорее для удовлетворения своих частных интересов, чем для ведения дел короля. Если же мы будем учитывать в качестве управленцев только назначенных центром королевских чиновников, чья установленная численность составляла 1 500 человек, то их число на душу населения составит 1:10 000. В то же самое десятилетие в Британии было примерно 1200 чиновников центральной администрации: 1 чиновник на каждые 4 000 человек населения²¹. Возможно, поскольку оффисье были относительно независимы от короля и даже французские губернаторы (интенданты) могли оседать в своих провинциях и передавать свою должность сыновьям, сэр Роберт не считал Францию тиранией, в то время как многие его современники (и, до последнего времени, большинство историков), полагали, что проведенная Генрихом VIII централизация сделала Англию Тюдоров деспотией²². Если в России 1690-х годов (приблизительная численность населения — примерно 9 722 000 человек) было 2739 чиновников центральной администрации, то число чиновников на душу населения (1:3549) могло быть примерно таким же, как в Великобритании²³. В 1722 году Петр I уменьшил число чиновничьего персонала, так как он полагал, что в сравнении со Швецией у него было больше чиновников, чем нужно²⁴.

В Пруссии 1750-х годов число чиновников центральной администрации на душу населения составляло в среднем 1:1500, в то время как в Австрии и Богемии к концу века (при населении в 9 млн. человек) — в среднем 1:1414²⁵. Как и в России, по меньшей мере половина этих чиновников проживала в столицах, и это означало, что представители центральной власти были хорошо разбросаны по провинции и местная элита превосходила по численности персонал центральной администрации на практике, если не в теории. Во Франции обанкротившимся Бурбонам приходилось продолжать назначать *оффисье* (51 000 чел. к 1790-м годам) вместо того, чтобы нанимать управленцев. В республиканской Франции во время террора (когда население составляло 28 млн. чел.) при примерной численности общественных служащих в 250 тыс. человек,

в состав которых теперь входил персонал, в прошлом не являвшийся коронными служащими (1:112), предположительно, был по стандартам того времени аномально большой центральный административный аппарат. После 1799 года численность чиновников сократилась, и, возможно, число управленцев (1150 человек) в департаменте Верхней Марны (население — 227 000 человек) более соответствовало норме для Франции (1:197)⁴⁶. В 1800-х годах Англия и Уэльс (население 9 млн. человек на 1801 год) содержали почти 14 000 сотрудников центральной администрации (1:643)⁴⁷.

В 1795 году население Российской империи составляло 36 млн. человек, а различия в доходах на душу населения в европейских странах были минимальны. Если предположить, что приблизительно 16 000 служащих центральной администрации на тот год работали только в пределах границ империи до 1735 года (когда население составляло 22 млн. человек), это означает, что число царских чиновников на душу населения (1:1375) было примерно таким же, как в Австрии, Британии и Пруссии⁴⁸. Даже если предположить, что не более 75% этих управленцев (примерно 12 000 человек) составляли секретарский или канцелярский штат, по происхождению были не из аристократии и не из служилых людей, работали внутри определенной иерархической системы, относительно невосприимчивой к политическому влиянию, зависимой от правил и процедурных норм⁴⁹, тогда соотношение числа чиновников и общей численности населения в Великороссии (1:1833) все еще было бы сравнимо с аналогичным соотношением в трех соседних странах. Не имея сопоставимых данных по другим империям и территориям, которые Россия завоевала или присоединила после 1735 года, невозможно определить, была ли царская империя относительно недоукомплектованной служащими.

К началу XX века распределение числа чиновников центральной администрации на душу населения в крупнейших национальных государствах стало разительно различаться. На одного полицейского (включая тюремных охранников) в Великобритании приходилось 690 человек населения, в Германии — 1469, а во Франции — 1965⁵⁰.

В начале XX века была также опубликована первая статья на русском языке, в которой исследовалась общая занятость населения в царской империи и утверждалось (при отсутствии сопо-

ставимых данных), что в России, возможно, больше бюрократов на душу населения, чем в любой западной стране (1:292)". Автор сравнивал Россию и Российскую империю с национальными государствами, а не с империями, отождествлял всех, кто работал на государство (public employees), с гражданскими служащими правительственной администрации (bureaucrats), и полагал, что всемогущий царь эффективно управлял своей страной с помощью этого неприемлемо большого административного аппарата. Многие наблюдатели и в прошлом, и в настоящее время, также отождествляли государственную занятость в Евразии, управляемой Россией, с бюрократией в негативном смысле этого слова и утверждали, что, поскольку она столь велика, ее сокращение является первым необходимым шагом при проведении любой реформы. Такой взгляд сохраняется и сегодня и лежит в основе требований сократить объем правительственного бюрократического аппарата в государствах бывшего Советского Союза.

Таблица 1 Общая численность населения,
численность чиновников, валовой внутренний продукт (ВВП)
и валовой национальный продукт (ВНП) на душу населения,
ок. 1910 года

	Численность населения, тыс.	Чиновники администрации	Соотношение	ВВП, \$	ВНП, \$
Великобритания	40 831	335 495	1:122	4 612	1302
Британская империя	397 000	?	?	?	?
Франция	38 822	284 240	1:137	3 137	883
Французская империя	80 822	?	?	?	?
Германия	64 926	397 800	1:163	3 449	958
Германская империя	80 000	?	?	?	?
Япония	50 000	?	?	1 251	?
Японская империя	66 000	?	?	?	?
Австрия*	28 572	?	?	?	810
Австро-Венгрия	50 000	227 482	1:198	?	728
Великороссия	65 000	?	?	?	?
Российская империя	170 902	^a 187 266 ^b 252 870	^a 1:914 ^b 1:676	1 218	398

* Включая 20 млн. человек, проживавших в шести славянских провинциях.
Источник: примечания 30, 31, 32.

С другой стороны, в начале века меньшинство наблюдателей, в число которых входили и некоторые царские министры, полагало, что правительству не доставало персонала и что это представляло такую же серьезную проблему для управления, как громоздкая система субординации, коррупция и отсутствие единой правовой системы, применимой ко всем. Это, как нам кажется, подтверждается неопубликованной официальной сводкой о соотношении численности гражданских служащих центральной правительственной администрации и общей численности населения, составлявшей 1:676¹².

Центральный административный аппарат

Анализ материалов переписи населения Российской империи 1897 года указывает на то, что упомянутая выше сводка 1912 года была близка к реальности. В переписи «администрация, суд и полиция» объединялись в категорию 1, из них 10% составляли «придворные чины и вообще служащие при дворах», дипломаты, слуги, привратники и сторожа, а 47% составляли полицейские и пожарные¹³. Данные, приведенные в таблицах 1, 2 и 3, учитывают только действительных чиновников центральной администрации: 43% от категории 1 на уровне империи, в Центральной России и Украине, 40% — в Закавказье, 42% — в Средней Азии и 45% — в польских губерниях. В городах только 49% от категории 1 были чиновниками (47% в Средней Азии), и 40% составляли пожарные и полицейские. Категория 4, «вооруженные силы», включала небольшое число моряков и гражданских служащих (2–4%), которых я исключил из итоговых данных по административному персоналу на уровне империи, но не на уровне губерний, где их количество было несущественным¹⁴.

Как указано выше, в период между 1790-ми и 1890-ми годами численность управленцев в империи возросла вдвое, но их число на душу населения все же было относительно небольшим к концу века, и это соотношение не слишком изменилось бы, если бы мы включили в эти данные служащих земств, городских дум и сельских органов самоуправления, которые играли важную роль в управлении на местном уровне. Только 13% (13 994) из этих

104 808 местных служащих, включенных в категорию 2 («общественная служба»), были заняты в органах управления на постоянном месте работы или были туда избраны, и если их рассматривать как 13% всех «управленцев» (8% городских управленцев), число чиновников на душу населения на уровне империи сократится лишь незначительно (1:890 — 1:174 для городов). Даже включение в число административного персонала в 50 губерниях европейской части России 55 904 священников (на 76 млн. православных прихожан), даст в итоге соотношение 1:552, которое все еще сильно отличается от аналогичных соотношений по западноевропейским национальным государствам, где, не стоит забывать, это соотношение также уменьшится, если мы включим в итоговые данные местных чиновников, не говоря уже о волонтерах и частных служащих⁵. Откуда же тогда взялся образ вездесущего чиновника?

Таблица 2 Российская империя: общая численность населения, административный аппарат, войска, 1897

	Население	Администрация	Соотношение численности административного аппарата и населения	Войска
Всего	124 543 372	95 099	1:1311	1 096 649
В городе	15 499 926	82 321	1:188	828 469

Источник: примечание 33.

Отчасти ответом на этот вопрос, как указано выше, была склонность рассматривать в качестве бюрократов всех, кто работал на государство. С этим также могли быть связаны вопросы грамотности, места и гендера. Если численность гражданских служащих-чиновников соотнести с группой, которая, по всей вероятности, в наибольшей степени взаимодействовала с ними, т.е. с грамотными мужчинами (18 118 430 человек — 29% всего населения мужского пола), то соотношение по империи составит 1:190 — и еще выше оно станет в губерниях, где больше половины мужчин были грамотными*. Писатели и читатели, жившие в Московской губернии (55% грамотных среди мужчин), например, могли легко представить себе, что они живут в обществе, переполненном чиновниками, если в их губернии на одного чиновника прихо-

дилось 142 грамотных мужчины, почти в 10 раз меньше, чем в среднем по империи. Если же мы будем считать приходское духовенство частью чиновничества, то соотношение чиновников и православных прихожан мужского пола только в Европейской России (при уровне грамотности среди мужчин в 33%) составит 1:97. Хотя такие выкладки могут помочь понять образ России, они все-таки по-прежнему показывают страну, «недоуправляемую» по сравнению с Западной Европой, где был более высокий уровень грамотности среди мужчин и большая численность священников.

Таблица 3 Численность населения на одного чиновника

Центральная Россия	1 387
Украинские губернии	1 642
Центральная Азия	2 038
Закавказье	1 098
Польские губернии	942

Источник: таблица 7.

Как и численность чиновников, так и число полицейских также демонстрируют значительную вариацию. В 1900 году число блюстителей порядка составляло 47 866 человек, что дает их соотношение с населением империи: 1:2595 — 1:2152, если включить в это число примерно 10 000 жандармов. Это соотношение приближается к среднему по Франции (1:2324 на 1896 год). В городах империи соотношение полицейских и граждан (1:700) приближалось к среднему по Великобритании (1:738 на 1881 год) и было еще выше в трех главных имперских городах. В сельской местности, напротив, это соотношение в среднем по империи составляло 1:100 000⁷. За пределами Санкт-Петербургской и Московской губерний наибольшее количество чиновников было в Варшавской (1:551) и далее в Тифлисской (1:719) губерниях, а в Тургайской области в Азии — меньше всего (1:6563). Как оказывается, в Центральной России было не только меньше центральных администраторов, чем в любом европейском национальном государстве, но и меньше, чем на некоторых нерусских окраинах. В целом уровень обеспеченности бюрократическим персоналом в Великороссии и на ее окраинах, как нам представляется, оказался сходным с уровнем в европейских колониях. Соотношения чиновников

и населения в европейских владениях царя приближались к соотношениям во французском Индокитае (1:1063) и Алжире (1:1903). В царской Средней Азии, напротив, оказалось намного больше чиновников на душу населения, чем во французских африканских колониях и индийских провинциях, находившихся под прямым управлением Великобритании (1:8846). Численность коренного населения в местной царской администрации еще нуждается в определении для всей территории империи, но в Польше и на Украине, соответственно, польско- и украиноговорящее население составляло по крайней мере 50% в администрации⁸. Во французском Индокитае и британской Индии коренными жителями были соответственно 68% и 75% чиновников⁹.

Примерно половина всех чиновников из категории 1 были городскими жителями, в то время как на наших нерусских территориях насчитывалось 25% городского населения и 20% чиновников империи. Почему в таких русских губерниях, как Костромская и Вятская, было наибольшее число чиновников (1:96 и 1:99), остается неясным. Вятка, к слову, была местом политической ссылки, где ссылкой часто предоставляли работу на государственной службе, и можно допустить, что не случайно такие критики чиновничества, как Герцен, Салтыков-Щедрин и Короленко, отбывали свое наказание именно здесь. Самое низкое соотношение городского населения и администрации было в Самаркандской области (1:636). Соотношение в украинских (1:234) и польских городах (1:242) было меньше, чем в среднем по империи, по Центральной России и Закавказью (1:194, 1:186 и 1:209 соответственно).

Валовой внутренний продукт (ВВП) на душу населения в Российской империи, гораздо более низкий, чем во Франции, Германии или Великобритании, был близок к японскому¹⁰. Но определенное заключение о связи между бедностью и «недоуправляемостью» можно будет сделать, только сравнив ВВП на душу населения в Российской империи с аналогичными показателями по западным империям в целом или ВВП на душу населения во Франции, Германии, Японии и Великобритании по отдельности с ВВП на душу населения в Великороссии; кроме того, необходимо исследовать соотношение между доходами, полученными в результате царистской территориальной экспансии, и последующими расходами в нерусских регионах. В отсутствие таких данных

утверждение, что причиной относительно небольшого числа царских чиновников бедность, является резонным, но бездоказательным, особенно если учесть, что в XVIII веке Великороссия не выглядела «недоуправляемой» по сравнению со своими западными соседями.

Армии

В XIX веке русские цари командовали самой большой армией в мире (включая пограничные войска) — с ней была сравнима в течение нескольких лет (в 1860-х годах) только Американская союзная армия⁴¹. Однако в Российской империи было меньше военных на душу населения, чем в Германии и Франции (не считая колоний), и ненамного больше, чем в Австро-Венгрии или Франции, включая ее колонии⁴².

Таблица 4 Численность населения, приходявшегося на 1 солдата в 1890-х годах

Российская империя	114
Центральная Россия	284
Германия	89
Франция	72
Австро-Венгрия	132
Великобритания	367
Испания	220
Колониальная Африка	1715
Британская Индия	1009
Французские колонии	358
Французский Индокитай	417
Алжир	102

Источник: примечания 42, 43, 44.

В пределах империи соотношение армии и населения заметно варьировалось, поскольку, принимая во внимание проблемы снабжения и неудовлетворительные шоссейную и железнодорожную системы, генералы размещали большую часть войск на нерусских окраинах, ближе к потенциальному врагу, а не в Центральной России. Это представляло собой противоположность тому, что делали в других европейских империях, где большую часть

армии держали на территории не заморских колоний, а метрополии — ближе к потенциальному врагу. Исключением была Великобритания, которая дислоцировала 60% своих войск в заморских колониях, где проживало больше 90% всего населения империи; но всего 20% французской армии стояло в заморских владениях, где проживало 52% населения, управляемого из Парижа. Таким образом, на окраинах царских владений концентрация войск была намного выше, чем в какой-либо из европейских колоний в Африке, в британской Индии или во французских владениях. Франция держала значительную часть своих войск в Алжире из-за происходивших там волнений, но в спокойном Индокитае было намного меньше французских войск⁴¹. Особенно много войск было размещено на польских территориях, в Варшавской губернии 1 солдат приходился на 23 гражданских жителя. Это соотношение было также низким в грузинских губерниях, губерниях Правобережной Украины (Киевской, Волынской и Подольской) (1:82) и в Московской губернии (1:88, для городского населения — 1:45). Более высокое соотношение было в Центральной Азии и восточнорусских губерниях — Черниговской, Полтавской, Харьковской и Екатеринославской (1:269), приближаясь к некоторым губерниям Центральной России, а также к аналогичному соотношению в Соединенном Королевстве и в Испании⁴².

Присутствие относительно небольшого числа солдат на душу населения на территории большей части Российской империи предоставляет нам количественное подтверждение того, что российское общество нельзя считать милитаризованным на том лишь основании, что в империи имелась значительная по численности армия⁴³. Расходы на военные нужды составляли лишь очень малую процентную часть общего бюджета, кроме того, расходы на каждого солдата в Российской империи были меньше, чем у ее основных соседей⁴⁴. Россия не могла себе позволить призывать на военную службу всех подлежащих призыву, и, освобождая от военной службы почти 65% призывников, страна обучала военному делу меньшую часть своих мужчин, чем любая другая крупная держава⁴⁵. При том, что в армии находилось примерно 4% мужского населения в возрасте от 20 до 59 лет, в Российской империи с военной жизнью и ее ценностями было знакомо меньше мужчин, чем во Франции (9%), Великобритании (7%), Австрии (7%) или Германии (6%)⁴⁶. Кроме того, если призывник не становился профессиональным военным,

он обнаруживал, что жизнь в российской армии в основном была довольно далека от милитаризованной. Только к 1903 году все военные были, наконец, расквартированы в казармах и тем самым изолированы от гражданского населения, и только после 1906 года жизнь солдат стала более милитаризованной, когда их освободили от необходимости обеспечивать самих себя пищей и одеждой и работать по найму, чтобы помочь покрыть расходы своего полка. В начале XIX века 12% всей армии работали портными на постоянной основе, а 25% мужчин в каждом батальоне всегда на постоянной основе выполняли хозяйственные обязанности. Нехватка обученных военнослужащих унтер-офицерского состава означала, что солдаты-крестьяне большую часть дня были предоставлены сами себе и могли организовывать свою жизнь и вести себя так же, как они это делали дома. Без своих офицеров, следовательно, солдаты царской армии не имели ощущения, что они являются частью единой военной машины, и не могли его иметь, поскольку это не было частью их опыта в мирное время⁹. Сам офицерский корпус был изолирован от общества. Ни один из военно-патриотических писателей царской империи не приобрел популярности Киплинга, образованные мужчины-горожане не восхищались военной формой и не вступали в резервные военные части с таким же энтузиазмом, как их собратья в Великобритании или Германии¹⁰. Проще говоря, на мужчин Российской империи военные и их ценности оказывали меньше влияния, чем на мужское население Западной Европы¹¹.

Таблица 5 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И СООТНОШЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, ЧИНОВНИКОВ И ВОЙСК НА 1897 ГОД

	Население, %	Городское население, %	Администрация, %	Городская администрация, %	Войска	
					%	соотношение
Центральная Россия	17	15	16	15	7	1:284
Украина	18	17	14	14	18	1:113
Средняя Азия	2,7	2,1	1,7	1,3	1,3	1:242
Грузия	1,7	1,8	2,3	1,7	3,5	1:53
Польша	7		10,2		22	1:38

Источник: примечание 33, таблица 3.

Заключение

В этой работе мы попытались идентифицировать группу занятого на постоянной основе персонала общей центральной политической администрации в России, приблизительно сопоставимую с аналогичными группами в других государствах на разных временных срезах, и подсчитать ее численность. Хотя полученные итоги и соотношения представляют собой только сравнительные величины, они указывают на то, что после 1789 года в Российской империи, возможно, приходилось больше чиновников на душу населения, чем в европейских империях. В то же время в Восточной Европе приходилось меньше чиновников на душу населения, чем в европейских национальных государствах, но больше, чем в некоторых (но не во всех) нерусских регионах империи. Обзор данных по царской армии подтвердил, что армия была больше, чем армии соседей, только по абсолютной численности, в то время как количество военных на душу населения показывает, что на территории Восточной Европы, которая несла намного меньшее прямое военное бремя, чем ее западные соседи, было существенно меньше войск, чем на нерусских территориях⁵². На нерусских территориях, возможно, войск и государственных чиновников было больше на душу населения, чем в европейских заморских колониях, но в местной администрации было меньше представителей коренного населения (выявляемого по используемому языку), чем в британской Индии или во французском Индокитае и Алжире, где они составляли 75% местных чиновников, как правило занимая положение в основании бюрократической иерархии⁵³.

Те путешественники и оппозиционеры, которые создавали образ вездесущей полиции Российской империи, имели для этого определенные основания. Будучи образованными горожанами, иностранцами и радикалами, они привлекали внимание полиции просто в силу того, кем они были, — и в большей степени осознавали это внимание, чем политически пассивное сельское большинство населения. Тем не менее статистика показывает, что уровень поддержания полицейского порядка в крупнейших городах империи был сходен с аналогичным уровнем в Западной Европе. Городской статус писателей, критиковавших чиновников, также внес свой вклад в создание образа чрезмерно большой администрации.

Проживая в городах с нехарактерно высоким соотношением управленцев и грамотных мужчин, писатели сильнее ощущали присутствие бюрократии и ее недостатки, чем те, кто жил в сельской местности и маленьких городах. Интересно, что «бюрократия» не фигурировала в качестве такой важной темы в национальной литературе тех нерусских регионов, где на душу населения приходилось много чиновников: в Польше и Закавказских губерниях.

Таблица 6 Соотношение численности населения и правительственных служащих

	ок. 1800 года	ок. 1900 года
Британия	643	122
Франция	197	137
Германия		163
Австрия	1414	198
Французский Индокитай		1063
Алжир*		1903
Французская Экваториальная и Западная Африка*		7386
Британская Индия		8846
Российская империя	2250	1311
Великороссия / РСФСР	1375	1387
Украинские губернии / Украинская ССР		1642
Средняя Азия		2038
Армянские губернии / Армянская ССР		1448
Грузинские губернии / Грузинская ССР		948

* Все общественные служащие.

Источник: таблица 1, примечания 25, 26, 27.

В этой работе не анализируются причины «недоуправляемости». Однако здесь высказывается предположение, что прежде чем считать бедность причиной нехватки царских служащих, нужно установить ВВП и ВНП на душу населения как для Велико-россии, так и для империи в целом⁵⁴. Подобным образом, нужно сравнить Российскую империю по уровню обеспеченности чиновничьим персоналом с европейскими колониальными империями и лишь затем делать обобщающие выводы о связи между территориальной экспансией и численностью царских служащих.

Тот факт, что и в парламентских, и в авторитарных национальных государствах было больше чиновников центральной администрации и полицейских на душу населения, чем в России, мог бы подтвердить, что не существует прямой зависимости между

величиной государственного бюрократического аппарата и полиции, с одной стороны, и природой политической системы, с другой. Как нам представляется, не было и взаимосвязи между размером бюрократического аппарата и его патологическими отклонениями от нормы. В то время как царские министры приходили в отчаяние, видя аморальность, недобросовестность и глупость высших чинов администрации, превосходящие то мошенничество и сумасбродство, которые можно было обнаружить на губернском и уездном уровнях, в 1912 году один французский министр отметил:

Вы мне пишете, господин, что в вашей деревне ни одна общественная служба не работает должным образом — водоснабжение неудовлетворительное, <...> улицы загажены, <...> в больнице антисанитарные условия, бедняцкие кварталы постоянно страдают от тифа; школы периодически опустошает скарлатина и круп <...>, полицейские силы смехотворны. Тем не менее, бюджет истощен, и город полон должностными лицами, которые отнюдь не выглядят неактивными. Чем же они занимаются? Куда же идут деньги? <...> Успокойтесь, господин: вся Франция в таком же трудном положении⁵⁵.

Чем отличаются большие современные правительства от меньших правительств в доиндустриальном обществе, — это количеством ограничений и процедурных норм, которые они устанавливают; и, вследствие этого, бюрократизация, большие правительства и «администрируемое общество» считаются нежелательными с точки зрения противников контроля государства над экономикой или радикальных приверженцев свободного рынка. Макс Вебер утверждал, что эти явления могут привести в железную клетку, в то время как радикалы осуждали администрацию империй как орудие обнищания и эксплуатации. Однако бюрократия крупных европейских национальных государств вовсе не обязательно была враждебна свободе или независимости просто по причине своей величины и обязанностей; точно так же большой чиновничий штат был необходим для предоставления современных услуг, которые давали гражданам больше возможностей и больше альтернатив, чем было у их прадедов. Сложно представить себе урбанизацию, рост населения, пенсии, всеобщее школьное образование или доставку почты без профессионалов, организованных в иерар-

хическом порядке и подотчетных избранным представителям народа, принимающим предсказуемые решения в соответствии с законами и правилами, применимыми ко всем⁶⁶. Малый размер бюрократии в Российской империи умерял аппетиты самодержавия, и недостаток чиновников центральной администрации также помогает объяснить медленные темпы модернизации страны, неспособность превратить русских в нацию и русифицировать нерусских. Малочисленный бюрократический аппарат, плохо справляющийся с повседневными задачами, едва ли создавал практический стимул для перехода от осознанной приверженности народа сельским связям на основе родства и патронажа к наднациональной идентичности. Еще предстоит определить, была ли однотипной в метрополиях и на зависимых территориях связь между величиной центрального бюрократического аппарата и развитием самоуправления, национальной идентичности и гражданского общества; неисследованной остается и связь между размером колониального правительства и его природой и влиянием. Подобным образом остается открытым вопрос о том, представляли ли частично занятые работники, составлявшие 87% тех, кто выполнял государственные обязанности на местном уровне при отсутствии нанятых на постоянной основе профессионалов, живое гражданское общество, осуществляющее самоуправление, или же это было лишь пережитком отсталости.

Приложение

Таблица 7 Численность населения, администрации и войск по губерниям и регионам, 1897

Регионы	Губернии	Население	Городское население	Администрация	Городская администрация	Войска
Центральная Россия	Костромская	1 385 219	92 764	1120	964	1796
	Новгородская	1 352 903	80 027	886	724	14 114
	Нижегородская	1 582 311	140 793	1344	952	2463
	Пензенская	1 467 964	137 452	917	750	2510

	Рязанская	1 792 106	160 018	919	728	10 090
	Самарская	2 749 328	157 107	1355	838	2008
	Тамбовская	2 676 864	219 387	1344	1022	7116
	Тульская	1 415 174	167 895	925	787	4282
	Вятская	3 028 942	94 280	1534	950	1889
	Московская	3 441 834	1 109 747	4720	4 950*	27 338
	<i>Итого</i>	20 892 645	2 359 470	15 064	12 665	73 606
Украина	Киевская	3 527 208	431 508	2424	1991	32 021
	Волынская	2 939 208	204 406	1558	1069	49 793
	Подольская	2 984 615	204 773	1508	991	33 684
	Черниговская	2 929 761	205 520	1397	1131	5093
	Полтавская	2 766 938	264 292	1320	1256	11 193
	Харьковская	2 477 660	353 594	1670	1535	14 656
	Екатерино- славская	2 106 398	234 227	1066	839	7284
	Херсонская	3 094 815	765 800	2572	2577	42 612
	<i>Итого</i>	22 190 098	2 664 120	13 515	11 389	196 336
Средняя Азия	Самарканд- ская обл.	854 069	129 631	210	204	5952
	Уральская обл.	644 089	54 718	196	172	1032
	Тургайская обл.	452 845	19 046	69	58	571
	Акмолинская обл.	679 202	71 374	938	417	3406
	Семипалатин- ская обл.	681 835	51 777	212	203	2755
	<i>Итого</i>	3 312 040	326 566	1625	1054	13 716
Закавказье	Елизаветпольская	873 644	87 541	624	451	4771
	Бакинская	822 433	167 053	808	767	4283
	<i>Промеж. итог</i>	1 696 077	254 594	1432	1218	9054
	Тифлисская	1 021 674	204 379	1421	688	29 358
	Кутаисская	1 048 715	89 835	759	689	9526
	<i>Промеж. итог</i>	2 070 389	294 214	2180	1377	38 884
	Ереванская	817 948	82 725	565	433	11 608
Польша	Варшавская	1 931 867	845 243	3351	...	82 139
	ИТОГО	9 931 867	1 991 476	9721	8240	238 362

Источник: примечание 33.

* Эти данные, возможно, отражают неточный средний процент городского населения губерний (ср. примеч. 33). Значительное население Херсонской и Московской губерний означало, что в этих губерниях полицейские и пожарные, возможно, составляли более 40%, а чиновники — менее 49% категории 1 переписи.

Примечания

1 Mann M. The Sources of Social Power. Cambridge, MA, 1986. Vol. 2. P. 59–61, 358–510.

2 Великобритания попыталась, но не смогла создать единый имперский бюрократический аппарат в XVIII веке. Испании это удалось, но

она так и не дала всем своим подданным права гражданства. *Doyle M.* Empires. Cornell, 1986; *Hintze O.* The Formation of States and Constitutional Development // The Historical Essays of Otto Hinze. N.Y., 1975. P. 161–165; *Finer S.E.* State Building, State Boundaries and Border Control // Social Science Information. 1974. № 4–5. P. 76–126; *Hecher M.* Internal Colonialism: The celtic Fringe in British National Development. Berkeley, 1975. P. 60–64.

3 *Tilly C.* The Contentious French. Cambridge, MA, 1986; *Idem.* Coercion, Capital, and European States, 990–1990. Oxford, 1990; *Idem.* Popular Contention in Great Britain, 1158–1834. Cambridge, MA, 1995; *Ertman T.* Birth of the Leviathan. Cambridge, 1997. Эти работы представляют собой детальные сравнительные исследования, демонстрирующие, как «заключение сделок» — насильственное или мирное — между правителями и подданными по вопросам налогообложения и обязанностей привело к появлению новых прав и защищающих учреждений наряду с более крупным и более централизованным бюрократическим аппаратом в западноевропейских странах. См. также: *Migdal J.S.* Strong States and Weak Societies. Princeton, 1988.

4 «Колониальное государство» начали изучать как социально-политический субъект лишь недавно, и я был не в курсе работ, где обсуждалось значение и влияние размера этих государств. См.: *Bergman B.* Control and Crisis in colonial Kenya. The Dialectics of Domination. London, 1990. Сходство между методами, которые использовали царские губернаторы и британские начальники округов в Кении для утверждения своей власти, разительно: *Ibid.* P.204–208; *Robbins R.G.* The Tsar's Viceroy. Ithaca, 1987.

5 Об интерпретациях колониального правления и о его запутанном наследии см.: *Etherington N.* Theories of Imperialism: War, Conquest and Capital. London, 1984; *Fieldhouse D.K.* The West and the Third World. Oxford, 1999; *Waites B.* Europe and the Third World. N.Y., 1999.

6 *Rogger H.* Russia in the Age of Modernization and revolution. N.Y., 1983. P. 49; Russia: A History / Ed. by G. Freeze. Oxford, 1997. P. XI; *Mironov B.* A Social History of Imperial Russia, 1700–1917. Boulder, CO, 2000. Vol. 2. P. 150 [Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII – начало XX в.): Генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства: В 2 т. СПб.: Дмитрий Буланин, 1999. Т. 2. С. 201–202]. Иностранцы в то время обычно рассматривали административные проблемы России в количественном измерении: *Dupont-White C.P.* L'individu et l'état. Paris, 1857; *Wallace D.M.* Russia / 2nd ed. London, 1912. P. 382. Работа О. Бётца (*Boetzs O.* Russland. Berlin, 1915. S. 270), возможно, была первой, где отмечалась «недоуправляемость», а работа С. Старра (*Starr S.F.* Decentralization and Self-Government in Russia, 1830–1870. Princeton, NJ, 1972. P. 25–49), как нам представляется, первой привлекла к этой проблеме внимание англоязычных читателей.

7 В наиболее важных специальных исследованиях по русской бюрократии вопрос размера бюрократического аппарата игнорировался. В этом отношении типичны две следующие книги: *Russian Officialdom: The Bureaucratization of Russian Society* / Ed. by W. Pinter, D. Rowney. Chapel Hill, 1980; *Amdurgen E. Geschichte der Behördenorganisation Rußlands von Peter dem Großen bis 1917*. Leiden, 1966.

8 *Raeff M. Understanding Imperial Russia*. N.Y., 1984; *Verner A.M. The Crisis of the Russian Autocracy*. Princeton, NJ, 1990. P. 48–56; *Gatrell P. Economic Culture, Economic Policy and Economic Growth in Russia, 1861–1914* // *Cahiers du Monde russe*. 1995. Vol. 36. № 1–2. P. 37–52 (особенно с. 39, 49); *DiFranceisco W., Gitelman Z. Soviet Political Culture and Modes of Covert Influence* // *Political Corruption: A Handbook* / Ed. by A.J. Heidenheimer, M. Johnson, V.T. Levine. New Brunswick, 1989. P. 467–489.

9 Б. Миронов в своей работе «*A Social History of Imperial Russia*» (Vol. 2. P. 148–153 [*Миронов Б.И.* Указ. соч. Т. 2. С. 196–200]) противопоставляет это «общественное управление» государственному и утверждает, что, поскольку оно было численно больше, к концу века в Российской империи гражданское общество становилось сильнее. См. также: *Pearson T.S. Russian Officialdom in Crisis: Autocracy and Local Self-Government, 1861–1905*. N.Y., 1989; *Matsuzato K. The Concept of «Space» in Russian History: Regionalization from the Later Imperial Period to the Present* // *Empire and Society* / Ed. by T. Hara, K. Matsuzato. Sapporo, 1997. P. 184–187.

10 Причины увеличения правительств обсуждаются в следующих работах: *Heller P.S., Tait A.A. Government Employment and Pay. Some International Comparisons*. Washington, 1983. P. 15, 35; *Meyer W. Limits to Bureaucratic Growth*. N.Y., 1985; *Feigenbaum H., Henig J., Hamnet C. Shrinking the State*. Cambridge, 1998. P. 14–35.

11 Костромская, Новгородская, Нижегородская, Пензенская, Рязанская, Самарская, Тамбовская, Тульская, Вятская, Московская.

12 Киевская, Волынская, Подольская, Черниговская, Полтавская, Екатеринославская, Херсонская.

13 Ереванская, Тифлисская, Кутаисская, Елизаветпольская, Бакинская.

14 Уральская, Тургайская, Семипалатинская, Самаркандская области.

15 *Sunderland W. The «Colonization Question»: Visions of Colonization in Late Imperial Russia* // *Jahrbücher für Geschichte Osteuropas*. 2000. Vol. 48. S. 210–232, особенно с. 212. Следует отметить, что царская империя стала национальной «русской» империей только в середине XIX века (*Seton-Watson H. The New Imperialism*. Chester Springs, PA, 1961. P. 23).

16 *Torstendahl R.* Bureaucratisation in Northwestern Europe, 1880–1985. London, 1991; *Weismann N.B.* Reform in Tsarist Russia. New Brunswick, 1981. P. 16–7, 222.

17 Россия, как и Франция, Германия, Италия и Великобритания, тратила свыше 50% своего бюджета на содержание центрального правительства (вооруженных сил, юстиции и администрации), но, в отличие от этих стран, на местное управление выделяла намного меньше (8%). Среди царских служащих на местах в процентном отношении также было меньше административного персонала, чем это было на Западе, где администрация в конце столетия насчитывала 40% и более. Насколько мне известно, никто не установил, сохранились бы эти различия, если бы подсчеты по империям были добавлены к результатам подсчетов по европейским национальным государствам. См.: *Rose R.* From Government at the Center to Nationwide Government // *Center-Periphery Relations in Western Europe* / Ed. by Y. Meny. London, 1985. P. 17; *Погребинский А.И.* Государственные финансы царской России в эпоху империализма. М., 1968. С. 29; *Gatrell P.* Op. cit. P. 40.

18 *State Economy and Society in Western Europe, 1815–1975: A Data Handbook* / Ed. by P. Flora. Frankfurt, 1983. Vol. 1. P. 193. См. также: *Why Governments Grow. Measuring Public Sector Size* / Ed. by C.L. Taylor. Beverly Hills, 1983; *Goodsell C.T.* The Case for Bureaucracy: A Public Administration Polemic. Chatham, NJ, 1983. P. 110–116; *Research Guide to the Russian and Soviet Censuses* / Ed. by Clem R. Ithaca, 1986; *Blum A.* Naître, vivre et mourir en URSS: 1917–1991. Paris, 1994. P. 60–62 [*Блюм А.* Родиться жить и умереть в СССР. М.: Новое издательство, 2005. С. 45–46].

19 *Thuiller G.* La Bureaucratic en France aux XIX^e et XX^e siècles. Paris, 1987. P. X, 8.

20 *Wilson F.* Muscovy Russia Through Foreign Eyes, 1553–1900. London, 1970.

21 *Williams P.* The Tudor Regime. Oxford, 1979. P. 107; *Goubert P.* Louis XIV and Twenty Million Frenchmen. N.Y., 1972. P. 96.

22 *Armstrong J.A.* Old-Regime Governors: Bureaucratic and Patrimonial Attributes // *Comparative Studies in Society and History*. 1972. Vol. 14. № 1. P. 2–30.

23 *Водарский Я.Е.* Население России. М., 1977. С. 191; *Демидова Н.Ф.* Служилая бюрократия в России XVII в. и ее роль в формировании абсолютизма. М., 1987. С. 23, 37.

24 *Анисимов Е.В.* Государственные преобразования и самодержавие Петра Великого в первой четверти XVIII века. СПб., 1997. С. 215, 220, 238. По подсчетам Анисимова, в 1723 году насчитывалось 2234 чиновника центральной администрации.

25 *Johnson H.C.* Frederick the Great and his Officials. New Haven, 1975. P. 17, 58–59, 283–288; *Behrens C.B.A.* Society Government and the Enlighten-

ment. N.Y., 1985. P. 51; *Dickson P.G.M.* Finance and Government Under Maria Theresa, 1740–1780. Oxford, 1987. Vol. 1. P. 33, 307–310; *Idem.* Monarchy and Bureaucracy in Late Eighteenth-century Austria // *English Historical Review*. 1995. P. 323–367, особенно с. 341–343.

26 *Church C.H.* Revolution and Red Tape. The French Ministerial Bureaucracy. Oxford, 1981. P. 95, 169; *Dupâquier J. [et al.]* Histoire de la population français. Paris, 1988. Vol. 3. P. 83.

27 *Brewer J.* The Sinews of Power. London, 1989. P. 66–85, 104–105; *Cohen E.W.* The Growth of the British Civil Service. London, 1965. P. 34–35. Большинство чиновников в Великобритании работали в акцизном управлении. Все синекуры в Великобритании были отменены к 1834 году.

28 *Bairoch P.* Economics and World History. N.Y., 1993. P. 102–108; *Зайончковский П.А.* Правительственный аппарат самодержавной России в XIX в. М., 1978. С. 221; *Кабузан В.М.* Народонаселение России. М., 1963. С. 162–163. Неясно, учитывает ли Зайончковский служивших во вновь присоединенных Россией регионах, а также нерусский персонал, оставшийся в существовавших до присоединения учреждениях.

29 *Ledonne J.P.* Absolutism and Ruling Class. N.Y., 1991. P. LX, 55. До реформы Петра высшая русская аристократия (бояре) были обособлены от высших чиновников (думных дьяков).

30 *State Economy and Society...* Vol. 1. P. 42, 44, 49, 51, 195, 209, 214, 240. Я определял количество чиновников центральной администрации путем вычитания указанного процента полицейских из общего числа правительственных служащих. Процент полицейских в Германии указывается только с 1926 года, когда они составляли 15,8%. Я предположил, что в 1910 году они составляли 10%. Более высокие цифры по перечисленным странам, включающие почтовых и железнодорожных служащих в число государственных служащих, указаны в следующей работе: *Finer H.* Theory and Practice of Modern Government. London, 1932. Vol. 2. P. 1167; данные, приведенные у Манна (*Mann M.* Op. cit. Vol. 2. P. 904–908), дают на 1900 год соотношение 1:246 (Великобритания), 1:91 (Франция) и 1:88 (Австрия). См.: *The Statesman's Year-Book*. London, 1911. P. XXXIV, 42, 613, 862, 981; *Good D.F.* Austria-Hungary // *Patterns of European Industrialization: The Nineteenth Century* / Ed. by R. Sylla, G. Toniolo. London, 1991. P. 228; *Maddison A.* Monitoring the World Economy, 1820–1992. Paris, 1995. P. 194–201.

31 *Рубакин Н.* Много ли в России чиновников? // *Вестник Европы*. 1910. № 1. С. 116–125. Подсчеты Рубакина (435 818 человек) включают чиновников Министерства иностранных дел и придворных, учителей, телеграфистов, телефонистов, гражданских служащих в вооруженных силах, пограничных войсках, пожарных и все полицейские силы. П.А. Зайончковский, используя министерские архивы, указывает численность служащих на 1903 год в 500 000 человек (*Зайончковский П.А.* Указ. соч. С. 31).

32 Россия, 1913 год: Статистико-документальный справочник / Под ред. А.М. Анисимова, А.П. Корелина. СПб., 1995. С. 265. Указанные здесь 252 870 человек, состоявшие на государственной службе, включают наряду с администраторами таких общественных служащих, как учителей; но границы этой категории определены иначе, нежели в переписи, — сюда не включены гражданские служащие в вооруженных силах, пограничных войсках, пожарной службе и полиции (пункт *b* в таблице 1). Если 187 266 человек рассматривать как «чиновников центральной администрации», соотношение составит 1:914 (пункт *a*). Социальные ограничения на поступление в те отрасли государственной службы, которые, на взгляд министров, были недостаточно укомплектованы персоналом, были отменены в 1856 году (*Писарькова Л.Ф.* От Петра I до Николая I: Политика правительства в области формирования бюрократии // Отечественная история. 1996. № 4. С. 29–42).

33 Общий свод по империи результатов разработки данных первой всеобщей переписи населения. СПб., 1905. Т. 1. С. 1, 9, 11; Т. 2. Табл. 20, 20а (категория 1 также включает некоторое число юристов и судей как чиновников); Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 года. СПб., 1897–1905. Табл. № 21. Украинские губернии: Т. 8, 13, 16, 32, 33, 41, 46, 47, 48; Закавказье: Т. 61, 66, 69, 71; Средняя Азия: Т. 81, 83, 84, 87, 88; Русские губернии: Т. 10, 18, 23, 25, 26, 30, 35, 36, 42, 44; Польские губернии: Т. 51–60. Принятие в расчет небольшого числа сельских жителей, которые указаны в качестве администраторов по совместительству в таблице 23, изменит соотношения лишь минимально.

34 Солдаты, моряки, пограничники и, по возможности, гражданские служащие в вооруженных силах были исключены из общей численности населения, чтобы попытаться точно определить число чиновников на душу населения.

35 Общий свод... Т. 2. Табл. 20а. В Европейской России насчитан 9661 служащий земских, городских и сельских органов самоуправления. О духовенстве как духовном мече правительства и о светских обязанностях духовенства, включавших обязанность нарушения тайны исповеди во имя государственных интересов, см.: *Freeze G.L. The Parish Clergy in Nineteenth-Century Russia. Princeton, 1983. P. 27–36, 63–65, 99, 459–460.*

36 Общий свод... Приложение к переписи. Табл. 21.

37 *Weismann N.B. Regular Police in Tsarist Russia // Russian Review. 1985. Vol. 44. № 1. P. 45–68, особенно с. 47; Squire P.S. The Third Department. Cambridge, UK, 1968. P. 105–107; Мартынов А.Н. Моя служба в отдельном корпусе жандармов. Stanford, 1972. P. 7. Жандармы в России были милитаризованной политической полицией; см.: State Economy and Society... Vol. 1. P. 49, 51, 209, 240.*

38 Первая всеобщая перепись... Т. 52–60. Табл. 22; *Velychenko S. Identities, Loyalties and Service in Imperial Russia: Who Administered the Borderlands? // Russian Review. 1995. Vol. 54. № 2. P. 188–208.* Почти 60% чиновников администрации в польских губерниях заявили о своей принадлежности к римско-католической церкви: *Chwalba A. Polacy w slubie moskali. Warszawa, Krakow, 1999. S. 236.*

39 15 989 чиновников в Индокитае (19 млн. человек населения на 1914 год) и 2708 – во французской Экваториальной и Западной Африке (20 млн. человек населения на 1914 год) включают всех общественных служащих: *Brocheu P., Hemery D. Indo-Chine: La colonisation ambiguë, 1858–1954. Paris, 1995. P. 85; Ennis T.E. French Policy and Developments in Indochina. Chicago, 1936. P. 72–77; Brunschwig H. French Expansion and Local Reactions in Black Africa, 1880–1914 // Expansion and Reaction / Ed. by H.L. Wesseling. Leiden, 1978. P. 122–123.* Неясно, входили ли в число 2891 чиновники Алжира (5,5 млн. человек населения на 1912 год) из числа коренных жителей (*Annuaire statistique. Paris, 1914. Vol. 23. P. 263; The Statesman's Year Book. London, 1897. P. 120, 505; The Statesman's Year Book. London, 1914. P. 859, 868.*) В Индии в исполнительных и судебных органах в 1897 году (221 млн. человек населения) работало 25 370 чиновников (*Misra B.B. The Administrative History of India. Bombay, 1970. P. 227–228.*)

40 См. таблицу 1; *Maddison A. Op. cit. P. 194–201.* Португалия, Мексика и Италия стояли приблизительно на том же уровне.

41 Если бы воображаемое русское национальное государство, состоящее из 31 русской губернии западнее Урала и 9 сибирских губерний (население 63 690 443 человек), могло содержать в качестве чиновников 0,7% своего населения, как во Франции, Германии и Великобритании, в нем было бы подобное соотношение чиновников и населения. Русское национальное правительство, укомплектованное 68 402 чиновниками, указанными в переписи как носители русского языка, – 72% всех чиновников империи, обеспечило бы русскому национальному государству такое же соотношение чиновников на душу населения, как и в Алжире (1:931), и в таком случае основной причиной «недоуправляемости» следовало бы считать отставание в экономическом развитии. Подобные контрфактические рассуждения, однако, держатся на неподтвержденном предположении, что русское национальное государство тратило бы на содержание администрации столько же, сколько реально тратило царское правительство на содержание администрации в центральных российских губерниях. См. таблицу 1; *State Economy and Society... Vol. 1. P. 44, 195.* Общественные службы также могли бы оставаться недоукомплектованными персоналом. Насчитывая в 1902 году примерно на 20 млн. человек населения больше, чем Великобритания, эта гипотетическая Россия могла бы содержать почти на 50% меньше почтовых служащих (35 000 человек про-

тив 77 000) — если предположить, что те, кто в переписи 1897 года указал себя как русского, работали в России. См.: *Abramovitz M., Eliaberg V.F. The Growth of Public Employment in Britain. Princeton, NJ, 1957. P. 37.*

42 Учитывается только регулярная армия. См.: *The Statesman's Year Book. London, 1897. P. 340, 356, 471, 485, 506–526, 545, 532; Pintner W.M. The Burden of Defence in Imperial Russia // Russian Review. 1984. Vol. 43. № 3. P. 231–260, особенно с. 246–247.* Пинтнер в своих сравнительных расчетах не учитывает колониальные владения европейских стран.

43 *The Statesman's Year Book. London, 1897. P. 16, 55, 120, 133, 506–526, 948.* В Британской Индии был 219 601 военный. У Франции было 117 303 военных, дислоцированных среди 41 949 800 колониальных подданных: 45 542 военных — в Индокитае, 43 529 — в Алжире. Средние данные по Африке выведены из суммарных данных по Бельгийскому Конго, Британской Восточной Африке, Уганде и Немецкой Восточной Африке: *Kirk-Greene A.H.M. The Thin White Line: The Size of the British Colonial Service in Africa // African Affairs. 1980. Vol. 79. № 314. P. 25–44, особенно с. 40.*

44 Общий свод... Т. 2. Табл. 20а; Первая всеобщая перепись... Табл. 21. Украинские губернии: Т. 8, 13, 16, 32, 33, 41, 46, 47, 48; Закавказье: Т. 61, 66, 69, 71; Русские губернии: Т. 10, 13, 23, 25, 26, 30, 35, 36, 42, 44. Данные по Великобритании и Испании не учитывают колониальные владения: *The Statesman's Year Book. London, 1897. P. 16, 55, 948, 953.*

45 Так утверждают историки, которые сравнивали Российскую империю с европейскими национальными государствами. Неизвестно, будет ли подтвержден этот вывод, если к данным по европейским государствам добавить данные по колониям.

46 *Fuller W.C. Civil Military Conflict in Imperial Russia. Princeton, 1985. P. 49–58; Jones D.R. The Soviet Defense Burden Through the Prism of History // The Soviet Defense Enigma / Ed. by C.G. Jacobson. Oxford, 1987. P. 162–169.*

47 *Best G. The Militarization of European Society // The Militarization of the Western World. / Ed. by J.R. Gilles. Rutgers, 1989. P. 15.*

48 Общий свод... Т. 1. Табл. 12; *State economy and society... Vol. 1. P. 251–253.* В возрасте от 20 до 59 лет были 45% из 62 477 348 мужчин Российской империи. Данные по западной Европе включают мужчин в возрасте от 20 до 44 лет.

49 *Bushnell J. Peasants in Uniform: The Tsarist Army as a Peasant Society // The World of the Russian Peasant / Ed. by B. Eklof, S.P. Frank. Boston, 1990. P. 101–111.*

50 *Kenez P. A Profile of the Pre-Revolutionary Officer Corps // California Slavic Studies. 1973. P. 121–158, особенно с. 152–153; Wildman A.K. The End of the Russian Imperial Army. Princeton, NJ, 1980. Vol. 1. P. 38–39.*

51 Если бы в русском национальном государстве, как и в Российской империи, на военной службе находилось 0,8 % населения, — что составило бы вдвое меньше, чем во французской армии, вдвое больше, чем в Великобритании, ненамного больше, чем в испанской армии, и не больше, чем в Германии, — тогда у России была бы мощная армия в 509 524 военных, и Россия в военном отношении была бы равна Великобритании, Германии и Франции. В такой России приходилось бы меньше военных на душу населения (1:125), чем было во Франции или Германии, почти столько же, сколько в Австро-Венгрии, и больше, чем в Испании, Великобритании, Японии и в реальной Центральной России.

52 Представление о национальной политике можно получить, если сравнить количество чиновников на душу населения с налогообложением, которое было выше в русских губерниях, чем в остальных, а также если сравнить количество чиновников на душу населения с расходами, которые в нерусских губерниях были выше, чем в русских. См.: *Mironov B.* Op. cit. Vol. 1. P. 8–10 [*Миронов Б.Н.* Указ. соч. Т. 1. С. 47–48].

53 В департаментах Алжира, которые были в 14 раз больше и имели в семь раз больше населения, чем французские департаменты, работало такое же число чиновников администрации: *Collot C.* Les institutions de l'Algerie durant la periode coloniale, 1830–1962. Paris, 1987. P. 45.

54 Такое исследование было сделано применительно к империи Габсбургов: *Good D.F.* Op. cit. P. 230. Исследователь показал, что ВНП на душу населения в семи немецких провинциях, составлявших Австрийскую метрополию, — \$1089 — был намного выше, чем в среднем по империи, и почти в два раза больше, чем в двух беднейших славянских провинциях.

55 Цит. по: *Chardon H.* Le pouvoir administratif. Paris, 1912. P. 75–76; *Owen T.C.* Entrepreneurship and the Structure of Enterprise in Russia, 1800–1880 // *Entrepreneurship in Imperial Russia and Soviet Union* / Ed. by G. Guroff, F.V. Carstensen. Princeton, NJ, 1983. P. 83.

56 Общество, централизованно регулируемое большим государством, не следует путать с произвольным осуществлением власти над обществом. См.: *Downs A.* Inside Bureaucracy. Boston, 1967. P. 259–260; *Mann M.* States, War and Capitalism. Oxford, 1988 (гл. 1); *Held D.* Democracy and the Global Order. Stanford, 1995.

НАУКА И ИМПЕРИЯ

От составителей

Статьи этого раздела касаются ряда проблем, связывающих этнографическую науку и империю. Авторы, заложившие основы исследований истории русской этнографии в Америке¹, рассматривают в предлагаемых здесь работах два ключевых вопроса: во-первых, как можно было понять то человеческое многообразие, с которым сталкивались ранние российские этнографы в своих исследованиях и путешествиях? Во-вторых, в чем именно должна была состоять задача этнографии в России? Прослеживая развитие этнографической науки в России на разных этапах, авторы сумели показать, насколько тесно была связана наука с появлением новых представлений о народности и с ростом национального сознания. Можно сказать, что этнография являлась одновременно основой для разработки и выражения национального сознания и последствием его появления.

Подробно анализируя XVIII век, Юрий Слѣзкин показывает, как естественники разрабатывали разные системы классификации народов, испытывали разные способы отличать их друг от друга и сколь сложен был этот процесс. После попыток определить народы по территории проживания, по вероисповеданиям, по обычаям, по уровню просвещенности, ученые наконец-то додумались классифицировать народы по языкам и языковым семьям. Хотя полезность языковых критериев может казаться современному человеку очевидной, исследование Слѣзкина показывает, что дело обстояло вовсе не так просто в XVIII веке.

Задачи этнографии оставались источником существенных разногласий и в XIX веке, что показано в статье Натаниэля Найта

о первом, полном споров, десятилетии существования Русского географического общества, учрежденного в 1845 году. Найт указывает на наличие в Обществе двух различных представлений о задачах этнографии в России. Согласно первому, поддерживаемому преимущественно учеными немецкого происхождения во главе с Карлом фон Бэром, этнография должна была изучать разнообразные народы Российской империи, прежде всего наиболее «примитивные» из них, чтобы сохранить памятники их материальной и духовной культуры для будущих поколений. Согласно второму представлению, которое поддерживали в основном русские ученые во главе с Николаем Надеждиным, этнография должна была стать наукой прежде всего о самом русском народе, должна была помочь русским выработать национальное самосознание. Суммируя суть этих представлений, Найт заключает: «Если этнография Бэра была наукой об империи, то этнография Надеждина, бесспорно, являлась наукой о нации». В конечном счете победил именно второй подход: в течение 1850–1860-х годов этнографию в основном понимали как сбор и компиляцию материалов о фольклоре и повседневной жизни простого народа. Вообще русская этнография в эти годы отличалась вниманием к проблеме народности, склонностью к описательным повествованиям и относительно терпимым отношением к менее развитым народам, особенно по сравнению с западной этнографией.

В статье Роберта Джераси о событиях конца XIX века показано, что в то время к этнографической науке предъявлялись еще и другие требования. Тщательно излагая ход печально знаменитого Мултанского дела 1892–1896 годов, Джераси показывает ключевую роль этнографии в судебном процессе о вотяках села Старый Мултан, обвиненных в совершении человеческого жертвоприношения. Видное место в процессе занимал казанский этнограф И.Н. Смирнов, стремившийся доказать на основании эволюционистского подхода антрополога Эдуарда Тайлора, что у вотяков действительно существуют человеческие жертвоприношения в соответствии со степенью их развития к тому времени. Поскольку понятие о «пережитках», представленное Тайлором в своей работе, занимало важное место в разборе Мултанского дела, Джераси заключает, что «процесс стал ареной состязания между различными восприятиями антропологии, ее научного базиса и ее социальной

пользы». Но в Мултанском деле перед судом оказались не только вотяки как национальное меньшинство и антропология как источник научного авторитета, но и национальная идентичность самих русских. Если обвинение в Мултанском деле стремилось поднять авторитет русских, клевета на несчастных вотяков, то защита доказывала, что вотяки не могут стоять на эволюционной лестнице так низко, потому что они в течение столетий находились под благотворным воздействием своих русских соседей.

Примечания

1 Их основными работами в этом отношении являются следующие: *Slezkine Y.* Arctic Mirrors: Russia and the Small Peoples of the North. Ithaca, 1994; *Knight N.* Constructing the Science of Nationality: Ethnography in Mid-Nineteenth Century Russia <Ph.D. diss., Columbia University, 1994>; *Geraci R.P.* Window on the East: National and Imperial Identities in Late Tsarist Russia. Ithaca, 2001.

Юрий Слёзкин

Естествоиспытатели и нации:
русские ученые XVIII века
и проблема этнического многообразия

Московиты XVII века не путешествовали. Они бродили, бежали и переезжали, но они не рассматривали перемещение в пространстве как достойное занятие и не поощряли стремления дивиться мирским и неблагочестивым вещам. По словам Исаака Массы, царские подданные «видели много диковинных растений, цветов, фруктов, редких деревьев, животных и чудных птиц. Но так как московиты сами по себе народ нелюбопытный, они не обращают внимания на подобные вещи, ища повсюду одну только выгоду, поскольку они грубый и нерадивый народ»¹. Из-за этой нерадивости «ничто не подвергалось изучению»², и когда Лейбниц, славный на весь мир своей любознательностью, попросил привезти ему какую-нибудь азиатскую диковину, бранденбургский посол в Москве ответил ему, что некоторые сочли такое стремление «бесполезным»: «Московский народ совершенно неспособен к изысканию подобных диковинок, ибо он не прилагает ни малейшего труда ни к чему, что не пахнет деньгами и не представляет явной пользы»³.

Никто в Московии не обижался на такие обвинения. Гоняться за «чудными птицами» считалось нелепым и, возможно, опасным предприятием, а «любопытство» было плохим словом. «Новые реки» помогали открывать — и обозначать — «новые земли»; новые земли содержали новых «иноземцев», а иноземцы были хороши тем, что приносили «выгоду» государю. Выгода же была примерно равна «ясаку», причем «ясачные» иноземцы оставались «иноземцами» и сохраняли своих богов, свои имена и свои «клятвы». Здесь не могло возникнуть Новой Московии по образцу Новой Англии или Новой Франции, поскольку у старой Московии

не было четких границ (ни во времени, ни в пространстве) и поскольку новые земли на востоке были присоединены, но не были полностью освоены (не были наречены, обращены и захвачены по-колумбовски — «провозглашением вступления во владение и водружением королевского штандарта»)⁴.

Наставники и наемники Петра I жили в другом мире и смотрели на мир по-другому. Все мироздание, как они его понимали, четко делилось на «естественное» и «искусственное» (рукотворное), причем до «натуральной» природы можно было добраться, лишь устранив все «ошибочное» и «видоизмененное»⁵. «Любопытство» было одновременно достоинством и родом занятий; «любопытными» были объекты, которые либо чрезвычайно близко подходили к исходному образцу («примитивные»), либо особенно далеко от него отстояли («чудовищные»); а путешествие считалось лучшим способом доставки «любопытных диковинок» «любопытствующим». В Европе наиболее усердными производителями и потребителями путевых впечатлений были немцы, которых Шлецер призывал считать «любовь к путешествиям» одним из своих «национальных достоинств» и которые привезли в Россию традицию *Kavàlierstour* и, что было важнее для Петра, готовую науку полевой практики (*gelehrte Reise*) и добывания трофеев, которые можно было размещать в музеях, палатах, галереях, библиотеках, зоологических и ботанических садах, кунсткамерах и антикварных кабинетах⁶. Вскоре Петр стал требовать «разных родов зверей и птиц живых, которые во удивление человеком»; Татищев начал предлагать местным чиновникам собственные деньги за «курьозные вещи», а Миллер пытался воспроизвести в Петербурге «цветной рай еще неизвестных трав», «зверинец, где собрались редкие звери Азии» и «антикварный кабинет языческих могил, где хранились достопримечательности», которые он обнаружил в Сибири⁷. К середине века Российская империя была полна «достопамятностями» (*Sehenswürdigkeiten*), которые вновь сформированный класс профессиональных (и по большей части немецких) ученых-путешественников описывал для вновь сформированного (и все более русского) класса «благосклонных читателей».

У любопытства были две цели: «увеселение» и «польза»⁸. Польза «увеселения» постоянно возрастала прямо пропорционально размеру читающей публики (читатели минус владельцы

печатной продукции), но в течение почти всего XVIII века польза оставалась на первом месте. В отличие от выгоды московских царей, она понималась как общее благо, основанное на естественном законе; в противоположность впечатлениям чувствительных туристов конца века, она предполагала наличие строгих научных правил (также, в конечном счете, основанных на естественном законе). Как объяснял Петру I Лейбниц, те же кунсткамеры, музеи и галереи выглядели бы совершенно иначе, если бы они служили «не только как предметом общего любопытства, но и средством для усовершенствования художеств и наук»⁹. Польза общего блага, к которой стремилось государство, не должна была отличаться от пользы художеств и наук, которую определяли ученые (если ученые не ошибались в определениях). В любом случае истинно полезная деятельность была универсальной: никакие люди и никакие предметы не могли стать исключением из естественного закона, и никакая научная или административная практика не могла быть законной, если она не опиралась на естественность.

По мнению ученых (*gelehrte*) и просвещенных (*aufgeklärte*) путешественников, это означало необходимость описывать и классифицировать «всё» без исключения (а не только всё любопытное). Поскольку Россия в отношении просвещения считалась «чистой доской», «всё» в этом случае приняло поистине устрашающие размеры¹⁰. Немецким ученым, нанятым Петром для того, чтобы «избавить от варварства эту огромную империю» («*débarbariser ce vaste empire*», — как выразился Лейбниц¹¹), была поручена работа Адама и Робинзона Крузо: дать имена всему, из чего состоит мир¹². Полупустые «земли», которые бы давно расплылись по краям, если бы их не подпирали реки, оказались пересечены вдоль и поперек бесчисленными границами, четко разделившими непохожие, но взаимосвязанные компоненты природы, каждый из которых получил уникальное и в то же время прозрачное наименование. «Земная сфера» была разграничена на широты, долготы и «климатические зоны», которые складывались в новую «математическую географию» и были незримо связаны со звездами и — через вездесущую «магнитную стрелку» — с «недрами земли». «Естественная география» разделила «поверхность Земли» на четко очерченные континенты («Связана ли Азия с Америкой?», «Где кончается Европа?»)¹³, острова, полуострова, горы, океаны, моря, озера и реки;

«естественная история» начинила их минералами и населила всевозможными живыми существами, большими и маленькими; а «политическая география» увенчала здание такими плодами «произволения человеческого», как крепости, мельницы, ярмарки, шахты, дороги, города, государства, денежные единицы, церкви, деревни, монастыри, кладбища, фамилии, канцелярии, оружейное снаряжение, губернаторские мундиры, пехотные полки «и тому подобное»¹⁴. Вселенная, включая российскую ее часть, состояла из огромного, но не бесконечного числа предметов, каждый из которых необходимо было назвать, описать и систематизировать с «единой точки зрения» (форма, происхождение, расположение, алфавитный порядок, «жизненно важные органы»)¹⁵. К тому времени, когда Екатерина II и ее французские *compères* начали отклоняться от «духа системы» (*esprit de système*), сомневаться в энциклопедизме «Энциклопедии» и затуманивать научный взгляд слезой «сентимента», российский ландшафт изменился до неузнаваемости¹⁶.

Самой заметной и самой неопределенной частью новой классификации Вселенной был человек. Вершина лестницы Натуры, создатель системы артефактов, источник и потребитель государственной «пользы», он был в равной мере творцом и творением, плохо умещавшимся в свежееупорядоченном мире рядом с «Номо monstruosus», ангелами, гориллами («в отношении формы»), попугаями («в отношении речи»), слонами («в отношении памяти и понимания») и пчелами («в отношении духовности и власти»)¹⁷. Но если окончательное открытие «научного», то есть генеалогического, родства Адама со «всеми скотами и птицами небесными и всеми зверями полевыми», которым он нарек имена, должно было ждать своей очереди до следующего столетия, главной заботой века Просвещения был порядок *внутри* рода человеческого. Люди были организованы в народы, и всякий народ необходимо было детально (а значит, достоверно) описать, чтобы установить форму «естественного общества» и проследить за ростом наук и искусств. Каждое описание «народа» предполагало определенную — но редко обсуждавшуюся — структуру общественного существования (от рождения до смерти); составив каталог всех ингредиентов человеческой жизни одного народа, ученый знал «всё» и мог переходить к описанию другого народа. Но, как

и в большинстве других областей науки XVIII века, количество ингредиентов в меню росло гораздо быстрее, чем вместительность самого большого научного желудка. Этнографические инструкции, которые Герард Фридрих Миллер получил от Санкт-Петербургской Академии наук в 1773 году, отправляясь в Сибирь, содержали 11 пунктов «для особого внимания». Инструкции, которые сам Миллер, вернувшись из путешествий, подготовил для своего преемника Иоганна Эбергарда Фишера, включали 923 пункта, не считая рекомендаций по составлению карт, кунсткамер и словарей. К концу века путешественники в большинстве своем отказались от идеи поедания «всего» и стали сосредотачивать свое внимание на смесях и «принципах»¹⁸.

Поиск принципов или того, что д'Аламбер назвал «искусством сведения, насколько это возможно, большого числа явлений к одному, которое можно считать их принципом», был неотъемлемой частью великой инвентаризации XVIII века¹⁹. «Всё» не было бесформенной кучей: некоторые его составляющие казались важнее других и служили организующими принципами и ориентирами для сравнения. Чтобы описать определенную нацию, исследователь должен был знать, где кончается одна нация и начинается другая: иначе говоря, он должен был найти этнический эквивалент линнеевских пестиков и тычинок, создав сложную, но полную иерархию социальных характеристик.

Первой такой характеристикой было название, неизменно упоминаемый и наиболее очевидный знак автономного существования. Номенклатура наименований предшествовала путешественнику и потому была, возможно, естественной; имела особое отношение к роду человеческому, поскольку основывалась на реальном *nomen* (ни один другой описываемый объект не присваивал себе имен и не выдвигал гипотез о собственном происхождении); и была чрезвычайно удобной, поскольку «в наш век во всей почти Европе в обычай вошло преподавать науки по азбучному порядку словарями»²⁰. Впрочем, удобство не было равно пользе. Независимое (а, значит, непроверяемое) происхождение этнонимов создавало больше сложностей, чем возможностей для «предосторожного и беспристрастного историка», чьей главной задачей было отделить «басни» (которые «все народы имеют» и которые «матери своим детям в гулящие часы рассказывают») от «подлинных»

или по крайней мере «вероятных доказательств»²¹. В названиях народов не было ничего подлинного или даже вероятного: например, «финны называют нас венелайма, якуты зовут люди, татары зовут урус; казачья орда зовут башкир сарнишерек; тунгусов остяки именуют келлем или куеллем, которое значит пестрое». К довершению трудностей «мы» могли бы называть себя «православными» («по закону»), «славянами» (по народу) или «русскими» («по обитанию»), что, помимо всего прочего, означает, что «нас» не существовало до тех пор, пока определенный народ не занял определенную территорию²².

Территория (*обитание*) обычно занимала второе место в этнографических списках и часто использовалась как «первый принцип» этнической классификации. Существовали народы степные и народы лесные; народы Европы и народы Азии, народы реки Индигирки и народы Кавказских гор, народы Камчатского полуострова и народы Каспийского побережья, народы Туруханского края и народы Оренбургской губернии²³. Главным достоинством такого порядка было включение человеческих сообществ в «математический», «природный» и «политический» миры, которые описывались в то же время теми же учеными «робинзонами». Народы находились в определенных местах наряду с животными, растениями, минералами, кладбищами и артиллерийскими орудиями; они были частью ландшафта и могли изучаться как таковые. Ландшафт, слепленный в XVIII веке, доказал свою жизнеспособность, и территориальный принцип этнической классификации оказался столь же полезным, сколь и удобным. Англичане жили в Англии, русские (или россияне) находились в России; а камчадалы населяли Камчатку. Англия, Россия, Камчатка были географическими понятиями, которые формировали людей, живших в их пределах.

Но так получалось не всегда, и не до конца (начала). Истинно научная таксономия основывалась на характеристиках данного объекта, однако всякий знал, что англичане пришли из «Германии»; что некоторые народы Туруханского края могли в любой момент переселиться в Березов и что различные «сибирские» или «степные» народы неизбежно распадались на остяков, коряков и кайсаков, чья самобытность и взаимные различия проистекали из их собственной природы не меньше, чем из природы, которая их окружала. И разве «русские» не определяли Россию в той же

степени, в какой Россия определяли их самих? Разве *русский* и *россиянин* не значило одно и то же?

Последний вопрос никогда не ставился в такой форме, поскольку предполагалось, что ответ на него должен быть утвердительным (и что термины взаимозаменяемы). При этом очевидно было, что не каждый житель Российской империи был русским и что граница пролегла по «вере». В Московии XVII века «русский» равнялся «православному» (но не наоборот), а крещение спасало не только от ада, но и от чужеродности. Но в чем, помимо крещения, был смысл веры? Что должен был сделать крещеный остяк для того, чтобы стать настоящим русским (христианином), особенно если поблизости не было священников? И что считать актом обращения вне христианского и исламского мира? Если остяки и коряки были разными народами (как утверждали они сами и как подтверждали другие) и если «вера» была универсальным мерилom различий, то каким образом остяк мог обратиться в «корякство»? Из чего состояла «вера»?

Традиционный ответ на этот вопрос — как бытовой, так и официальный — начинался с еды. Пищевые табу отличали своих от «дикарей» («сыроядцев»-эскимосов и «себя едящих» самоедов), «инородцев» («а от тое рыбы исходит смрадный дух, что русскому человеку по нужде терпеть мочно»²⁴) и прочих «нелюдей». Один путешественник вернулся из Русской Арктики с убеждением, что «во истинну и скотом [не] уподоби[ша]ся сии людие, скот бо аще и безсловесно есть, Богом не веленно ясти ему и не яст зверя [ли] или птицы или траву сенну; сии же человецы не уподобишася сим, понеже Бога, иже суть на небесех, не ведающе, ни закона [его] еже от поведających им слышати, не приемлюще, сыроядцы, зверина же и гадская мяса снедающе, скверна и кровь пияху, яко воду, от животных и траву и корение едаху»²⁵.

Другим важным признаком чужеродности были половые отношения. Все чужаки нарушали таинство брака, и всякое отступничество и «злочестие» сопровождалось «скаредными делами» и «скверным похотем»²⁶. Третьим основным компонентом «веры» — в конечном счете тоже связанным с полом и питанием — было отношение к земле. Русские служилые люди XVII века разделяли все народы на «сидячие» и «кочевные» и, далее, на «сельские» («скотные» или «пашенные») и «пешие, конные и оленные». Боль-

шинство нехристей бродили по дикой природе (*savage*, от *silvaticus* — значит «лесной житель»), а крещеный кочевник должен был перестать быть кочевником, поскольку православные «христиане» в конечном счете отождествлялись с «крестьянами» (а все «чауча» были «оленными»). И наконец, остяк, отказавшийся от сыроства, скверной похоти и бродяжничества, должен был усвоить многочисленные обычаи, которые неизменно, хотя и неявно, сопутствовали вере: русские, к примеру, «живут... дворами, хлеб у них и лошади, и скот, и свиньи, и куры есть, и вино курят, и ткут, и прядут со всего обычая с русского»²⁷.

В течение XVIII века часть и целое поменялись местами. Обычаи становились все важнее, приобретали самостоятельную ценность и со временем сложились в «народный дух» (а затем в «культуру»), в то время как вера превратилась в один из элементов духа, по-прежнему важный, но все более далекий от превратностей приема пищи и размножения. Сведенная к этическим и литургическим предписаниям, известным как «закон», вера следовала в конце этнографических отчетов, после экономики и перед праздниками: «Непросвещенные христианским законом, — спрашивал один ученый путешественник, — какое понятие имеют о божестве, о должности человека к Создателю и к ближнему, в чем полагают добродетель, какое полагают воздаяние добрым, наказание злым в будущей жизни и какое имеют богослужение или закон также и духовные обряды, то есть, не имеют ли своих кумиров или обожения к неодушевленности и что больше почитают за святость?»²⁸.

К концу века ответы на эти вопросы почти полностью растворились в обычаях, причем этика трактовалась как часть «духовных качеств» наряду с искусством и темпераментом, а богослужение соседствовало со «свадебными торжествами» и «погребальными обрядами»²⁹. Это представлялось тем более уместным, что далеко не все народы империи следовали канонам, сопоставимым с «христианским законом», а также потому, что христианский закон был шире закона естественного и, следовательно, подлежал сокращению. Религия тунгусов, например, была «боле похожа на... обряд, нежели на закон». Это означало, что, «различая добродетели от пороков, основывают они наипаче на всеобщем естественном праве, не делать ближнему того, чего не хотят над собою видеть»³⁰. Точно так же остяки Григория Новицкого погрязли в «злочестии

идолопоклонения», но следовали «естества закону», поощряя любовь к ближнему (тем самым наверстывая в обычаях то, чего им не доставало в религии)». Даже развитые законы не имели большого значения. Как сказал Татищев, «да и распри такие [религиозные] ни от кого более, как от попов для их корысти, а к тому от суеверных ханжей или несмысленных набожников происходят. Между же людьми умными произойти не могут, понеже умному до веры другого ничто касается и ему равно Лютер ли, Кальвин ли, папист, анабаптист, магометанин или язычник с ним в одном городе живет или с ним торгуется. Ибо не смотрит на веру, но смотрит на его товар, на его поступки и нрав и по тому с ним обхождение имеет»².

В то время как государство продолжало классифицировать подданных империи в соответствии с их вероисповеданием, государственные «естествоиспытатели» и их любознательные читатели (многие из них — государственные чиновники) стремились проникнуть в «истинную природу» наций и «истинные отношения» между ними. А это требовало все более добросовестной каталогизации обычаев — вернее, не просто «обычаев», а *«Sitten und Gebräuchen»*, что обычно переводилось как «нравы и обыкновения». Должным образом изолированные и организованные компоненты прежней «веры», они служили независимыми единицами сравнения и, вместе взятые, складывались во «всё» о данной этнической группе. Следуя в списках за названием и территорией, «нравы и обыкновения» включали в себя пищу, жилища, одежду, способ ведения хозяйства, средства передвижения, орудия труда и домашнюю утварь, космогонические верования, календарь, формы обращения, праздники, науки и искусства, торговли и ремесла, рождение и воспитание детей, половые и брачные отношения, ведение войны, преступления и наказания, дружбу и гостеприимство, болезни и врачевание, смерть и погребальные обряды, систему правления, общественные классы и, где это было возможно, политическую (династическую) историю и административный статус в рамках империи. Кроме того, все народы имели свой индивидуальный характер, известный как *«Gemueths-Beschaffenheit»* («духовные качества»). Фальк предпочитал «трезвых и чистых татар» «грубым и упрямым» казакам; Паллас нашел, что ингуши — «люди честные и храбрые», а осетины — «варварская, хищная и жалкая порода, от которой нет спасения на большой дороге, ведущей в Грузию»; Лессепс «был поражен

сообразительностью» чукчей, а коряков счел «подозрительными, жестокими, неспособными ни к великодушию, ни к жалости»; а Георги сообщал, что, в то время как «мордовцы» «честны, прилежны и дружелюбны», ижорцы «при скудости своей и беспорядочной жизни... еще и глупы, недоверчивы, вороваты и, по причине склонности своей к шалостям и грабёжам, опасны». Были и особо сложные случаи: Лепехин считал, что татары «чрезмерно ласковы, любопытны, угостительны, но при том и хитры»; Фишер полагал, что молдаване столь же ненадежны в дружбе, сколь незлопамятны; а Георги писал, что балтийские «полунемцы» (латыши, эстонцы, ливонцы) «нарочито упрямые, ленивые, неопрятные и к пьянству склонные: но при всем том имеют остроту разума»³³.

Чем ближе к дому был объект изучения, тем более расплывчатым получался портрет. Далеких испанцев или итальянцев можно было охарактеризовать как «ревнивцев», а голландцы могли быть «строгими блюстителями домашней чистоты и порядка». Но когда дело доходило до народов Российской империи, то выяснялось, что одежда, род занятий и даже духовные качества большинства из них различаются по признаку рода, а в некоторых случаях — особенно у финнов, поляков и русских — по социальной принадлежности³⁴. Тем не менее все нравы и обыкновения данной нации должны были сложиться в точное и окончательное представление об этой нации (в последней четверти века французский термин «nation» иногда заменял слова «народ» и «Volk»). Фишер, к примеру, полагал, что китайское происхождение американских индейцев можно доказать путем простого сравнения обычаев. И те, и другие презирали девственность, соблюдали куваду и практиковали «обрезание волос как знак самая великия печали», «разорение жилищ после умерших», стрельбу из лука «как знак всенародного созыва», «вышитые изображения на лице и по всему телу», «снятие кожи с черепа пленных или убитых неприятелей» и «убиение старых или больных людей» — это означало, что они были связаны узами родства, а разделены эмиграцией (китайцев в Перу)³⁵.

Победа обычаев над верой привела к полной перетасовке допетровской Вселенной. Московское государство формально делило пограничное население на православных (они же русские) и инородцев/неверных, чье отличие от первых обычно описывалось в рамках восточного «коварства» или скотского «сыроядства». Тем

временем сами православные жители пограничных областей рассказывали о своих языческих соседях, не ссылаясь ни на тот, ни на другой канон и исходя из предположения, что мир состоит из бесчисленных народов, каждый из которых имеет свой язык, свою веру и свои обычаи (но не свободу/*волю*)³⁶. Научные изыскания XVIII века явно подтверждали последнюю точку зрения. Новый мир, открытый учеными-этнографами, оказался многообразным, децентрализованным и релятивистским. «Объективность» была ценностью как по отношению к ученым, так и по отношению к нациям, и чем ближе к концу века, тем заметнее усиливалась рефлексия. «Вернейший способ, коим мы душевную склонность людей узнать можем, без сумнения, есть сей, когда мы на поступки оных всякое обращаем внимание, а при том не позабываем также за самими нами и нашими помышлениями, кои, когда о других рассуждаем, в нас происходят, примечать»³⁷.

Естественный закон предполагал единообразие человеческой природы: обычаи могли различаться, но «страсти» оставались неизменными. Фонтенель и другие «новые» могли соперничать с древними при том условии, что «наши деревья» были «так же велики, как и в минувшие времена», а мировая история Шлецера могла быть истинно универсальной только в том случае, если «всякая часть света для нее равна другой» и если она «с равным интересом переходит от Гоанго к Нилу, от Тибра к Висле»³⁸. Соответственно, русские входили в тот же перечень народов, что ижорцы и осетины, и можно было сказать — как в казацкой «скаске» семнадцатого века — что «Му-азин соответствует должности нашего пономаря. Наш пономарь созывает людей в церковь посредством колоколов, а Му-азин криком»³⁹. В том же духе путешественники более позднего времени могли сообщать, что «насколько [калмыки] отстают от других в земледелии, настолько же они выше прочих в пастушестве»⁴⁰. Со своей стороны, «оленные чукчи с сидячими поступают так, как в России помещики со своими крестьянами; сидячие для оленных должны заготавливать китовой жир, моржовое мясо, а оленье привозят к ним только оленье мясо»⁴¹. В первом собрании русского фольклора не было разделения на русских и нерусских, а портрет русских из учебника Клевецкого был не более лестным, чем портреты немцев, поляков или даже персов и марокканцев: «Россияне росту среднего, плотны,

сильны, храбры, переимчивы, многие, особливо дворяне, говорят иностранными языками, упражняются в науках и искусствах с великим успехом. Простой народ груб»⁴². Даже во втором издании этнографического компендиума Георги, где русские были представлены как «правлящая нация», их характеристика существенно не отличалась от характеристики тунгусов:

Россианы большею частию веселы, беспечны даже до ветрености, любят наслаждения чувственные, способны скоро понимать все и делать; выдумщики к сокращению работ, во всех делах живы; проворны и дружны. В пристрастиях не умеренны, скоро теряют средину и нередко впадают в самую крайность. Они внимательны, решительны, отважны и предприимчивы. Превеликую имеют склонность к торговле и менам. Гостеприимны и щедры, часто с оскудением себя. Не заботятся о будущем слишком. В обхождении дружелюбны, откровенны, услужливы и буде в чем не теряют, независтливы, насмешливы и тайнохранительны. Их естественный и простой образ жизни и веселый нрав не много имеет надобностей, да и те сносные; оный дает им время к успокоению себя, освобождает их от заботливых затей, сыскивает везде радость, сохраняет их здоровье и крепость и доставляет им не тягостную, спокойную, веселую и большею частию долговременную старость⁴³.

Даже если сделать скидку на пастушеские пристрастия эпохи сентиментализма, это описание не выделяет русских из числа народов империи. Объем написанного о них соответствует их статусу «правлящей нации», но отдельные элементы, из которых складывается народный портрет, зафиксированы тем же немигающим взором, который рассматривал молдаван и мингрелов:

Большая часть [русских] женщин черновласы и имеют нежный цвет лица, многие из них красавицы. Не делая никаких тесных платьев или стягиваний, имеют потому они естественно большия груди и другие части тела толстыя. Груды у них гораздо больше, нежели у Татарок. Девки бывают большею частию в двенадцать и тринадцать лет зрелыя. Но некоторыя из них теряют всю красоту свою после двухлетнего только замужства. Некоторые естествоиспытатели мнят, что толь скорому созреванию и способности рождать, помогают много бани частые, а что красота естественная их так скоро пропадает, причиною их притиранья, а может быть, и то, что замужные больше бывают заняты работами трудными, нежели девки⁴⁴.

И все-таки русские отличались чем-то, что позволяло им чувствовать себя выше и молдаван, и мингрелов, чем-то, что давало им право называть бурят дикарями (и порой ставило их самих в затруднительное положение по отношению к немцам). Отличием этим было образование, или просвещение, которое — на национальном уровне — более или менее совпадало с развитием «художеств, наук, торго и мануфактуры». Именно образование было главной причиной присутствия в России ученых-наемников; официальным условием растущего величия Российского государства; истинным смыслом истории и, возможно, единственным строгим мерилom относительных достоинств «естественно» равных наций. Согласно немецкому учебнику географии, который трижды издавался в России и отличался особой последовательностью в определении критериев успеха, французы «великое имеют рачение о художествах и науках, имеют знатные и прибыточные мануфактуры и цветущий торг»; немцы «много прилежат к художествам и наукам, мануфактуры и торг находятся в цветущем состоянии»; голландцы знают «не только науки и художества, но и мануфактуры и торг находятся между ними в цветущем состоянии». С другой стороны, имелись португальцы, которые «худо рачат о науках, мало прилагают старания к художествам и мануфактурам, наипаче к торгу без получения от того великой прибыли»; ирландцы, которые «пренебрегают науки и художества и упражняются в скотоводстве и торгу»; и вовсе «не просвещенные» африканцы, «которые о науках и художествах совсем не стараются». Видимо, уникальными были русские, которые находились в процессе перемещения из второй категории в первую: «Петром Великим введенные науки, художества, мануфактуры находятся в изрядном состоянии: торги весьма процветают»⁴⁵.

Даже обращение в христианство казалось неотделимым от просвещения, ибо «ясно само по себе, — писал Лейбниц Петру I, — что вместе с этою наукой могут быть отличным образом перенесены и распространены истина и благочестие»⁴⁶. Хорошее образование включало в себя как благочестие, так и государственную пользу, а государственная польза предполагала, среди прочего, усвоение «российского наречия, обрядов жизни, одеяния и нравов»⁴⁷. Иначе говоря, христианизация была равносильна просвещению, а просвещение было (по-прежнему) равносильно обрусению — тем более что «единообразность учреждения Государства весьма премудро

допомогает сему, и исполинскими шагами приближает Грубых народов наших к единой мете всеобщего России просвещения, соединения чудесного во едино тело и едину душу, и, так сказать, спавления [sic] в Исполина, неколебимого сотнями веков»⁴⁸.

Впрочем, полное и всеобщее единение, провозглашаемое в торжественных предисловиях, не имело прямого отношения к работе естествоиспытателей, которые классифицировали разнообразные обычаи, очевидно далекие от русских. Если просвещение являлось точным мерилем степени развития наций, то как можно было измерить относительную степень просвещения определенной непросвещенной нации? Татищев предложил три критерия: наличие письменности, принятие христианства и использование печатного станка. Однако его схема была строго исторической (просвещенные народы современности были просвещены сначала Моисеем, затем Христом и, наконец, Гутенбергом) и потому плохо подходящей для народов Российской империи. Если безграмотные христиане не являлись истинными христианами, как утверждал Татищев, и если ученые нехристиане не были по-настоящему учеными, то существовал лишь один критерий просвещенности. А если так, то как быть с нациями, которые томились за этой чертой; как сравнивать «многочисленные народы, [которые] в глубочайшей темноте неведения и невежества оставались»⁴⁹?

Замечательно то, что ядром этнической общности по-прежнему являлись пища, пол и почва: телесные нужды были столь же важны для просвещения, сколь и для веры. В самих пограничных областях перемены в научной моде никак не сказались на традиционных представлениях о национальных различиях. Русские солдаты, возвращавшиеся из «киргиз-кайсацкия степи», ликовали при виде земледельческого поселения и наслаждались «вкусом хлеба»; а некоторые «богатые якуты» отказывались креститься/русифицироваться/просвещаться, поскольку «христианский закон запрещает иметь двух жен, есть в посты говядину, масло и молоко, а особливо употреблять кобылье мясо, которое они почитают лучшим в свете кушаньем»⁵⁰. Даже среди ученых и чиновников «сыродство» оставалось главной демаркационной линией — стой лишь разницей, что теперь оно считалось не нарушением религиозных запретов, а прегрешением против гигиены, опрятности и благопристойности. «Уже сил моих недостает к уверению читателя

порочить вовсе гнусное сих народов состояние, — писал Зуев о жителях низовий Оби, — которое не в одном их житии состоит, но и в самой пище, от которой вся жизнь человеческая зависит»⁵¹. На Крашенинникова и Сарычева такое же впечатление произвели камчадалы (ительмены), на Новицкого — остяки (ханты), на Лепехина — зыряне (коми), а на Георги — ижорцы⁵². Архимандрит Софроний сообщал, что китайцы едят собак, кошек, мышей «и иных отвратительных для других народов животных». Лепехин обнаружил, что народная этимология слова «самоед/сямоед» — «поганоед»; а Нестерев не признавал сойотов за людей, поскольку «лютейшим зверям свойственную пищу... употребляют»⁵³. Для передачи острого физического переживания этого базового этнического различия многие авторы пользовались одними и теми же стилистическими приемами. Город Пейдзин (Пхеньян) источал «толь худой смрад, что с трудом можно ходить по улице»; хижины вогулов (манси) были «столь гадки», что «по крайней необходимости пробыть в ней несколько времени должно почитать за наказание»; запах в юртах остяков настолько «мерзкий, что долго сидеть верно никто не согласится»; «зловонный запах, исходивший от рыбы (у камчадалов), не мог не вызвать отвращения даже у самого голодного существа»; а «воздух и грязь в чукотской юрте просто невыносимы: достаточно сказать, что они не испытывают никакого отвращения, глядя на то, как их пища и питье находятся рядом с непередаваемо ужасными вещами, никакими словами невозможно описать степень их лени»⁵⁴.

Запах мог перебить вкус пищи, но каким бы едким он ни казался, он был не отдельной этнографической характеристикой, а лишь одной из составляющих новой добродетели: чистоплотности. Ученые XVIII века овеществили распространенную религиозную метафору: «нечистое житье» стало относиться к людям, которые «никакой чистоты не соблюдают, лиц и рук не моют, ногтей не обрезают, едят из одной посуды с собаками и никогда ее не моют... пахнут рыбой, как гагары, волос на голове не чешут»⁵⁵. Чистоплотность, со своей стороны, являлась частью «*учтивства*» и «*обхождения*», то есть признаком идеального поведения «истинного благовоспитанного джентльмена» (в изображении Стиля и Аддисона). Например, камчадалы демонстрировали недостаток «страха и скромности», «распевая песни и полностью отдава-

ясь всем безрассудствам, на которые их толкало воображение»; крымские татары нарушали правила воинских приличий, воюя «более как разбойники»; а грузины демонстрировали свои «наи-испорченные нравы» и «воспитание самое безправильнейшее», выказывая неуважение к физической неприкосновенности, частной собственности и семейным узам друг друга (к последней четверти века многие бывшие «христианские законы» превратились из обычаев в правила учтивого обхождения)⁵⁶. С другой стороны, крымский хан поступил правильно, отказавшись от верховой езды в пользу «английской пребогатой кареты», а тунгусы порадовали исследователя обхождением «прямым без притворства»⁵⁷.

Вежливость была разумным изобретением, поскольку она основывалась на естественном законе и, следовательно, на умеренности. «Все с мерностью употребляемое нам полезно и нужно, а надмерность или надлежащего умаление имянуем грех или вред себе самому»⁵⁸. В приложении к народам две эти крайности обыкновенно принимали форму безрадостного, тяжелого труда, с одной стороны, и лени или праздности, с другой⁵⁹. Последний недостаток был присущ всем «непросвещенным» народам, в частности крымским татарам, как их описывал Паллас: «сидеть с трубкой в руках, часто не куря, долгие часы на тенистом берегу, или на холме, при этом совершенно не испытывая никакого наслаждения от красот природы и глядя прямо перед собой; или, на работе, подолгу отдыхать, или вообще ничего не делать — таковы их наивысшие удовольствия»⁶⁰.

Ложный (то есть незаслуженный и неоцененный) рай был полной противоположностью раю настоящему, к которому приближались немецкие сельские поселения в Южной Сибири: «Здоровых, сильных, опрятно одетых земледельцев, которые мне встретились, насчитывалось около двухсот. Разбросанные по полям как трудолюбивые муравьи, они шли за своими тяжелыми плугами, которые были пристегнуты к двум или четырем лошадям, и распевали песни, полные радости. В восхищении я ощутил, как мое воображение перенесло меня на прекрасные магдебургские просторы, веками засеваемые пшеницей»⁶¹. Подобно тому как промышленность была немыслима без надлежащего «промышления», истинное просвещение не могло не опираться на «трудолюбие». При этом существенно, что трудолюбивыми могли быть

только «земледельцы» и их городские сородичи и что только сельский труд мог считаться истинно значимым (то есть, в конечном счете, способствующим процветанию искусств, наук, промышленности и торговли). Кочевники не могли стать по-настоящему просвещенными точно так же, как в свое время они не могли стать по-настоящему православными.

Другое прегрешение против умеренности имело отношение к половому вопросу, поскольку, согласно сведениям путешественников XVIII века, практически вся грязная и неблагодарная работа выполнялась женщинами. Как правило, более близкие к законам естества и более чувствительные к идеалам умеренности, женщины изображались как менее непросвещенные, чем их соотечественники-мужчины (казаки, например, «ленивы и по большей части расточительны, столько женский пол прилежен»)⁶². Несмотря на это, а может быть, именно по этой причине, по наблюдениям русских путешественников, женщины везде и во всем находились под гнетом своих отцов и мужей — гнетом столь всеобъемлющим, что невежество стало синонимом дискриминации по признаку пола. «Муж над своею женою в Китае не меньшую власть имеет, как и господин над купленным своим рабом»; среди чувашей «муж имеет во всем полную власть, а жена должна повиноваться ему, без всякого прекословия»; на Камчатке «женщины являются... рабынями своих мужей»; а в низовьях Оби «женской пол раболепствует и более, нежели у строгого господина рабу подлежало»⁶³. Большинство форм традиционного семейного разделения труда и правил общения считалось теперь крайне несправедливыми. Как писал Зуев: «Сколь в презрении женской пол у остяков и самоедцов пребывает, того довольно изобразить неможно, а смею сказать, что у их женщины живут не как люди, но как надобной скот, без коего он обойтись не может. Бедные бабы весь свой век в беспрестанных трудах препровождают, не зная ни отдыха, ни праздника, всячески ему угождает, все его состояние лежит на ней одной, а он с ней и говорить никогда не хочет... (смешное примечание: не знают оне никогда с женами целоваться, не знают никаких лобзаниев и ничего не ведают, как лучше в свете с прелестным полом обходятся)»⁶⁴.

Триада, которая когда-то использовалась для разграничения религиозных общин, теперь применялась в качестве мерила просвещенности. Мужчины-«инородцы» семнадцатого века про-

являли свою инородность (а христианские аскеты — свой аскетизм) через особое отношение к пище, женщине и жилищу; «народы» восемнадцатого века отличались друг от друга — по меньшей мере — тем, как они ели, как обращались с «прелестным полом» и в каких отношениях находились с домом и землей.

Однако с увеличением числа производных и с усложнением взаимосвязей между ними картина становилась все менее четкой. Упор на обходительность («Они не снимают шляпы и не кланяются друг другу») сужал рамки просвещенности, а применение аршина «научной полезности» к бесчисленным нравам и обычаям безнадежно запутывало иерархию национальной разумности. Лепехин, например, исследовал российскую провинцию и заключил, что использование народной медицины, ношение лаптей, вымачивание конопли в реках, мыловарение, крашение кож, повсеместно неумелое разведение скота и многие другие вещи чрезвычайно вредны для здоровья⁶⁵. Появлялись и совершенно новые способы сравнения наций. Так, поскольку правительство самой России становилось все более и более «просвещенным», степень просвещенности нерусских народов можно было измерять по степени «справедливости» их правительств. Проблемы Китая происходили из «великого неправосудия» его политической системы; хаотическое состояние Грузии вполне могло быть связано с дурным обращением с тамошними простолюдинами; а «сожаления достойнейшая крайность», в которую впала находившаяся прежде на «высочайшей степени человеческой славы» Персия, полностью объяснялась правительственной тиранией⁶⁶.

Безудержное накопление подобных критериев, старых и новых, привело к созданию этнической иерархии, на вершине которой находилось «совершенство» просвещения, а внизу — «совсем ничего». Поскольку большинство этнографических анкет считали совершенство нормой и формулировали свои вопросы соответствующим образом («Есть ли у них ...?»), то значительное число объектов этнографического исследования могло ответить лишь молчанием. Следствием этого были описание через отрицание и непрерывно пополнявшаяся коллекция пробелов. Так, молдаване «из наук и художеств ничего не разумеют»; жители курильских островов «о превечном существе никакого понятия не имеют»; жители Олюторских островов «о душе своей никакого попечения

не имеют»; народы Среднего Поволжья «не имеют никакого понятия о честности и добродетели»; а алеуты не имеют «никакого богослужения... ниже каких-либо законных обрядов, как-то: брачных, погребательных и праздничных собраний», да и «начальства ни по выбору, ни другого какого рода нет»⁶⁷. Такое состояние неимения было известно как «дикость», которая теперь приравнивалась к «невежеству» и «глупости». У всех народов были отдельные невежественные люди и глупые (или несуществующие) обычаи, а некоторые народы были полностью «ослеплены превеликою глупостию и невежеством»⁶⁸. В «Месяцеслове» за 1785 год перевод сообщения о «глупых и странных мнениях» гренландцев о звездах и лунных фазах предварялся специальным вступлением, противопоставлявшим «слепоту и крайнее невежество сего бедного идолопоклонного народа» благополучию «тех народов, которые, исповедуя христианской закон, основательнейшее познание в естественной науке с оным соединяют»⁶⁹.

У глупости есть свои преимущества — как утверждали (со вздохом) сентиментальные путешественники екатерининских времен, — но то были преимущества детской невинности, и хотя многие ученые шумно завидовали «высочайшей гармонии» камчадалов и «героическому духу» черкесов, никто явно не был готов к тому, чтобы «променять изысканные пороки» просвещения на «грубые добродетели» невежества⁷⁰. Главный вопрос был шире — и задавался реже: если «человечество одинаково, во все времена и повсеместно» (как сформулировал общепринятую точку зрения Дэвид Юм), то почему одни народы изысканны, а другие грубы? Самым распространенным ответом на этот вопрос был «климат», то есть окружающая среда в целом. По словам Радищева, «первый учитель в изобретении был недостаток... Живущий при водах изобрел ладью и сети; странствующий в лесах и бродящий по горам изобрел лук и стрелы и первый был воин; обитавший на лугах, зелению и цветами испещренных, удомовил миролюбивых зверей и стал скотоводитель»⁷¹. Соответственно, «различие цвета на человеческой коже приписывается разному климату, житию и пище»; «нравы» молдаван различались, «поскольку состояние земли и погоды в сей пространной провинции не одинако»; а юрты самоедов представляли собой «ничто другое, как переносные шалаши, изобретенные самою нуждою скитающихся людей, в хо-

лодных и бесплодных степях полуночного края»⁷². Иногда климатический детерминизм вел русских натуралистов к культурному релятивизму. Если «странствующий в лесах... изобрел лук и стрелы» и если странствие в лесах — глупость, то, говоря словами Иоганна Георга Гмелина, «и другие народы с точки зрения тунгусов также глупы», ибо «таким образом можно было бы каждого человека назвать глупцом, если он не особенно сведущ в тех вещах, слышать и видеть которые он имеет мало возможности... Тунгусы, следовательно... на свой лад так же остроумны, как и те, которые лучше всего умеют обманывать, и глупы, например, на охоте, в которой тунгусы так искусны»⁷³.

Впрочем, этот аргумент не пользовался большой популярностью, поскольку никто, включая самого Гмелина, не полагал всерьез, что польза от умения охотиться сопоставима с полезностью наук и художеств. Те же, кто, не обинуясь, утверждал абсолютную ценность просвещения и объяснял разную степень совершенства воздействием климата, оказывались беззащитными перед лицом того общеизвестного факта, что науки и искусства «начало свое получили у восточных народов и от них перенесены в Грецию, а из оной уже к нам в Европу»⁷⁴. Другими словами — и опять-таки в формулировке Дэвида Юма — народные обычаи «могли значительно меняться от века к веку», и побережье Северного моря могло быть столь же богато «великими людьми», как и увядшие ныне берега Средиземного моря⁷⁵. Это предвещало успех собственным усилиям России и давало надежду всем будущим конкурентам нынешних чемпионов. «Гренландец, лапландец, арап, готтентот и камчадал в своем роде столь же разумен, как и *ветряной* француз, — утверждал один русский ученый, — и если б они имели такую же, как мы, удобность и случай к очищению своего разума и поправлению воли, то, когда б не превзошли, конечно бы сравнялись они в том со всяким просвещенным европейцем»⁷⁶. Таким образом, речь шла уже не о климате, а об исторически случайном распространении просвещения от одного народа к другому. Среди тунгусов были умные люди, но большинство тунгусов были «глупыми», потому что, не имея альтернативы, верили тому, «что им от глупых их предков предано»⁷⁷.

Однако и эта точка зрения была уязвима, поскольку большинство тунгусов предпочитали ложную мудрость своих предков

даже после знакомства с просвещенной альтернативой. Так, по наблюдению Радищева, даже «воспитанный в русских домах... на возрасте тунгуз в силах умственных всегда почти далеко отстоял от русского»⁷⁸. Туруханский капитан-исправник по имени Иван Башкуров докладывал, что «зловерие» вверенных ему «диких народов» было «вкоренившимся в них от природы»; Татищев объяснял, что в России не терпели евреев «не для веры, но паче для их злой природы»; а Лепехин полагал, что язычники Среднего Поволжья не поддаются христианизации «по темноте их разума»⁷⁹.

Все эти неудачи были, по всей вероятности, временными. По мнению Радищева, «надобно природе несколько поколений, чтобы уравнивать в человеках силы умственные. Органы оных будут нежнее и тончее; кровь, лимфа, а особливо нервная, лучше переработанные, прейдут от отца в зародыш; и поелику есть в природе всеобщая постепенность, то и в сем случае она вероятна»⁸⁰. Однако сама идея связи «умственных сил» с «физической природой» была столь же опасной, сколь и полезной. Наряду с «правительством», наиболее влиятельным новым критерием национальной самобытности были «*Leibes-Beschaffenheit*» и «*Gemueths-Beschaffenheit*», обычно переводившиеся как «телесные качества». В отличие от безликих «иноземцев» времен Московского царства, «народы» Российской империи можно было различать и классифицировать по самым разнообразным признакам — причем число этих признаков постоянно росло, поскольку они (как и «обычаи») бесконечно дробились и множились (наиболее популярными категориями были рост, цвет кожи, цвет волос и «женская красота», а к концу века к ним присоединились черты лица и форма головы)⁸¹. Как и линнеевская классификация рода человеческого («Американец; краснокожий, холерического темперамента, стройный. Раскрашивает свое тело. Следует обычаям»), российские этнографические описания связывали тела с душами не вполне понятными, но очевидно неустойчивыми взаимоотношениями. Цвет лица, который объясняли ссылками на природу или климат; чистоплотность, которую связывали с образованностью; и разумность, которая, по всей видимости, зависела от первого, второго и третьего, — обычно перечислялись на одном дыхании. У Клевецкого «персияне — росту среднего, лицом смуглы, весьма любят чистоту, остроумны, они так ревнивы, как итальянцы», а чувашаи Георги

«лицом... по большей части бледны; неповоротливее и разумом еще тупее черемис; да и около себя они неопрятнее, и в избирании пищи и приуготовлении неграмотнее черемисы»⁸².

Асимметрия в архитектуре национальных черт была не единственной и не главной проблемой русских классификаторов XVIII века. А главной проблемой было то, что ни одна из этих черт — включая недавно обнаруженные «телесные качества» — не могла стать универсальным стержнем всеобъемлющей этнической номенклатуры. Слишком взаимосвязанные, чтобы быть самодостаточными, и слишком громоздкие как группа, они не могли заменить обветшавший принцип единства веры д'аламберовым «принципом истинного *систематического разума*» (*esprit systématique*).

Но принцип этот возник, и возник он почти совсем незаметно из того же источника, что и первоначальное смешение, — из Вавилонского столпотворения. Благодаря одному из наиболее важных и наименее заметных интеллектуальных открытий XVIII века язык оказался антропологическим аналогом ньютоновского всемирного тяготения (как утверждал Кондильяк) и этническим эквивалентом линнеевских пестиков и тычинок (как утверждал Шлецер)⁸³. К 1776 году, когда вышла в свет книга Адама Смита о «богатстве народов», большинство естествоиспытателей молчаливо исходили из того, что величайшим богатством народов являются их языки.

В соответствии с традиционными христианскими воззрениями множественность народов и языков была результатом плодovitости Ноя и трех его сыновей; их разнообразие восходило к Вавилонскому столпотворению; а их распыленность была следствием *Völkerwanderungen* (переселения народов). Не все были уверены, что Адам говорил по-древнееврейски, но всякий знал, что первоначальный язык должен быть более чистым и естественным (в смысле единства звучания и значения), чем любой из существующих языков, и что восстановить его можно посредством сравнительного анализа слов. К XVIII веку подъем национальных государств, национальных языков и национальных церквей привел к «национализации» рая (и утверждениям, что Адам и Ева говорили на фламандском, французском, шведском языках), а затем и к появлению многочисленных «автономных куш» (и убеждению, что все народы/языки имели своих собственных достослав-

ных предков). В начале XVII века Йозеф Юстус Скалигер разделил европейские языки на четыре основные семьи: греческую, романскую, германскую и славянскую, которые происходили от не связанных друг с другом «материнских языков» (*lingue matrices*)⁸⁴. Библейская генеалогия и метафора «происхождение человека» стали научными фактами: у всех языков и всех народов были родители, братья-сестры и потомство (диалекты); все элементы языка можно было разделить на врожденные и приобретенные; а значит, правильно выбранный способ дифференциации одних от других мог привести к построению безошибочной генеалогии⁸⁵.

Таким образом, лучшим ответом на вопрос о происхождении народов стал поиск происхождения слов. Более того, так получилось, что родиной некоторых европейских языков оказалась «Скифия» и что главный в Европе компаративист, Г.В. Лейбниц, был одним из самых горячих сторонников *дебарбаризации* России⁸⁶. Он неустанно уверял своих российских корреспондентов, что язык является «лучшим средством для обнаружения связей между народами»; уговаривал их перевести «Отче наш» на все языки Российской империи; спрашивал о возможных отношениях между «*les Siberians, les Czirkasses, les Kalmucs, les Mugalles, les Uzbecs et les Lamas de Chine*» и сам выдвинул гипотезу, что «все народы от лапонцев до татар, живущих за Каспийским морем, родственны по своему происхождению и что к ним нужно отнести финнов, эстонцев, ливонцев, пермяков, самоедов и даже венгерцев, которые жили между Сибирью и Каспийским морем»⁸⁷. Страленберг, Татищев, Миллер, Фишер, Шлецер и Паллас взялись за дело, и к концу XVIII века были обнаружены и описаны финно-угорская и тюркская «языковые семьи», а Российская империя предстала как коллекция народов, различавшихся прежде всего по языку, а внутри языковых категорий — по обычаям и физическому типу⁸⁸. Другие критерии дополняли и проясняли «основное отличие», а порой противоречили ему (всегда находились «русскоговорящие финны» или «объякутившиеся русские»), но все были согласны, что «сходство языков доказывает одинакое происхождение народов»⁸⁹. Или еще точнее: «Хотя многие за знак однородства почитают сходство нравов, обычаев и поведения между народами, а напротив того различие сих за разность начала производства; но большая часть писателей, да при том и доказательно, оное мнение

отвергают; ибо довольно уже примечено, что между народами от одного корене производящими нравы и обхождения совсем различны; напротив того в народах, разных родоначальников имеющих, между коими ни местного, ни другого какого сообщения не было и быть не могло, многое обретается сходство как в нравах, так и обрядах, при богослужении и в образе жития употребляемых: почему за надежнейший знак единоплеменства народов полагают сходство языка»⁹⁰.

Из этого следовало, что если якуты говорят на «татарском» языке, то они принадлежат к «татарскому поколению». И что особенно важно для последующих националистических теорий, это означало, что «поелику [вотяки, чуваша и черемисы] финского происхождения, то и живут по-фински»⁹¹.

Так или иначе, родство означало общность происхождения. «Родственные» языки имели общих предков, и у всех языковых «семей» была своя прародительница или «*Muttersprache*». Таковы были все «основные принципы», поскольку, как говорил Кондильяк, «*принцип и начало* — два слова, которые изначально означают одно и то же»⁹². В случае языков и наций нужда в генеалогии была тем более очевидной, что всякий поиск истоков в конечном счете строился на необходимости отделить «естественное» от «искусственного», а большинство ученых исходили из того, что ни один из существующих языков и народов не является естественным в том смысле, что он был сотворен Богом раз и навсегда. Таким образом, великий поворот в лингвистике явился поворотом к историзму. Если биологические таксономии были в основном статичны, то языковые были генетическими; если биологические виды были изолированы друг от друга, то языки были открыты для взаимопроникновения (два праязыка могли при ближайшем рассмотрении оказаться двоюродными братьями); и в то время как Линней настаивал на том, что «из каждого яйца происходит потомство, идентичное родителю», каждый лингвист знал, что старофранцузский отличается от латыни, а современный французский — и подавно⁹³. Иными словами, разница в языке — а, следовательно, в обычаях и, возможно, в физическом облике — была также и разницей во времени⁹⁴. Сельское хозяйство было не просто лучше охоты — оно было *позже*. Юрта была не просто менее удобной, чем дом, — она была его прародительницей. Большинство

нерусских народов Российской империи были не просто непросвещенными — они были «древними». Черкесы напоминали средневековых «немецких рыцарей в Пруссии или Ливонии», в то время как некоторые сибирские народы представляли собой «грубое» детство человечества⁵. Российская империя не просто состояла из «великого множества различных народов» — она охватывала «древний, простой, естественному состоянию весьма близкий, Мир во всех степенях прехождения к настоящему отонченному и обогащенному надобностями Миру»⁶.

Всеобщая история как последовательность стадий развития была не единственным существенным результатом этнографических исследований. Русская историческая наука как профессиональное и имперское предприятие тоже выросла из изучения нерусских народов. Причиной тому был парадокс: лингвистический поиск национальных истоков основывался на предположении о тождестве языка и нации, однако наиболее очевидным результатом этого поиска явилось их все большее расхождение. Выяснилось, что не только сами народы переходили с места на место (это было общеизвестной истиной), но что их названия, языки и правительства перемещались независимо друг от друга. Ученые, призванные описать Российскую империю и прославить ее имя, государственность, язык, землю и народ, обнаружили, что по происхождению, согласно лучшим первоисточникам, между этими категориями не было ничего общего. Русская земля стала «русской» совсем недавно; Русское государство и имя «Русь» пришли из Скандинавии; русский апостол Андрей никогда не был в России; а русский язык был импортирован племенами, изгнанными с Дуная. Как объяснил Шлецер, «Русская история начинается от пришествия Рюрика, в половине IX столетия»; все, что было до этого, имело такое же отношение к просвещению, как «сказания камчадалов»⁷. Более того, если «история без политики есть ни что иное, как летопись монахов», и если летописи монахов «не имеют власти убедить нас в чем-либо, противоречащем истории», то до недавнего времени и сами русские были подобны камчадалам — и могли быть описаны только в терминах отсутствия (политики, истории, религии и просвещения)⁸.

С точки зрения научной пользы все было в порядке. В конце концов, как настаивал Миллер, существует разница «между ис-

торической диссертацией и панегирической речью», и в любом случае «происхождение племен по большей части довольно темное, начало государств — с малого, дикие нравы предков» и прочее «не имеют отношения ни к славе, ни к бесславию»⁹⁹. Однако с точки зрения государственной пользы дело обстояло совсем иначе. С точки зрения государственной пользы историческая диссертация, которая не являлась панегирической речью, была «предосудительна», а также «вызывала раздражение» читателей и была им «неприятна», поскольку великое государство должно иметь великие истоки. Кроме того, великие государства теперь ассоциировались с великими народами, которые, как и государства, претендовали на славную генеалогию. По словам Ломоносова, «нынешний русский народ произошел преимущественно от древних жителей, которые были до прихода варягов; следовательно, бесчестье, падающее на древних жителей от презрения к ним, в очень большой степени падает также на нынешний народ»¹⁰⁰.

Одним из возможных решений было вовсе не касаться «предыстории» и начинать отсчет величия России с прихода Рюрика, как это сделал Болтин. Другое состояло в том, чтобы настаивать на древности, но признать, что «русскость» состояла из случайно сложенных элементов. Так, территорию России можно было прославлять независимо от того, кто на ней проживал: «Из нынешней малой России вышли Готы, основавшие в Италии, Франции и Гишпании цветущие государства. От Волги, (Яика) Урала и Кумы-реки пришли Угры, Гунны, и другие разные народы, которые с самого начала шестого века по Рождестве Христове: во время великого переселения народов потрясли Европу, и оную в нынешний ее вид претворили. Таким образом многие народы принуждены искать первых своих прародителей в нашем отечестве»¹⁰¹. Славян можно было славить независимо от того, где они проживали (более того, «разнообразие территорий, на которых проживали люди славянского племени, является самым неопровержимым доказательством его величия и древности»)¹⁰²; славянский язык можно было прославлять независимо от того, где на нем говорили¹⁰³; Российское государство можно было восхвалять независимо от того, какими народами оно управляло (по старому династическому принципу, а также за новую добродетель: «терпимость»)¹⁰⁴; и даже название «россияне» могло быть произведено от слова «раз-

сеяны»¹⁰⁵. По этой схеме, российская история начиналась согласно территориальному принципу, затем переходила к национально-лингвистическому и, наконец, к государственному¹⁰⁶.

В то же время было ясно, что Российская империя — пусть с оговорками — была национальным государством русских, а это предполагало восходящее к древности единство территории, народа, языка, государства и названия. Стандартные учебники географии, характеризовавшие государства и народы мира (и никогда при этом не определявшие «империю» как многонациональное государство), описывали русских в разделе «Россия», а татар относили к «Азия»¹⁰⁷. Самой трудной задачей было преодолеть этнографию историей; упразднить новые этнографические открытия в «нашем» случае; сплавить воедино — раз и навсегда — различные составляющие русской национальности. Первым, кто поставил перед собой эту задачу, был Ломоносов, который попытался доказать, что древние русские именовались роксоланами (русскими) и говорили на славянском языке (название народа соответствует языку); что древние славяне были сарматами, а значит, всегда населяли русскую территорию (название народа соответствует языку и территории); что литовцы и пруссы также были славянами, и что варяги были пруссами, а значит, и русскими (название соответствует языку, территории и государству)¹⁰⁸.

Не всем этим утверждениям суждена была долгая научная жизнь. Самому Ломоносову пришлось произвести некоторых русских из финнов (и следовательно — *noblesse oblige* — возвести финнов к «великим и древним» скифам)¹⁰⁹; а его последователи должны были отказаться от родства с роксоланами, литовцами и на какое-то время — с варягами. Но проблема была сформулирована, хотя бы и по отношению к прошлому. Ее решение, применительно к настоящему, выпало в XIX веке на долю государства (известного как *российское* и отождествлявшегося с «православием, самодержавием и народностью») и «интеллигенции» (известной как *русская* и отождествлявшейся с «народностью», но не с государством)¹¹⁰. Научная инвентаризация внутренних инородцев, произведенная в основном иноземными чиновниками по заказу все более «иностранного» (бюрократического) государства способствовала расщеплению «русскости» и, тем самым, формированию тех «иностранцев дома, иностранцев в чужих краях», которые готовы были

мир перевернуть, чтобы собрать «русскость» воедино¹¹. Подобные сложности были не новы: Британия и Англия не были уверены, что они не синонимы; франки и галлы все еще спорили о праве первородства; и не все те, кто говорил на кастильском наречии, знали, что они говорят по-испански. И все же российские трудности выглядели особенно основательными: большая часть «священной» земли русской состояла из окраин.

Примечания

Благодарю Николаса В. Рязановского, участников семинара «Воззрения, учреждения и опыт имперской России», организованного SSRC, а также коллег из Центра гуманитарных наук им. Дорин Б. Таунсенд университета штата Калифорния (Беркли) за продуктивное обсуждение моей работы.

1 *Baddeley J.F.* Russia, Mongolia, China. N.Y., [s.a.]. Vol. 2. P. 10.

2 *Ibid.* P. 8.

3 *Герье В.* Лейбниц и его век. Т. 2: Отношения Лейбница к России и Петру Великому по неизданным бумагам Лейбница в Ганноверской библиотеке. СПб., 1871. С. 5, 12. См. также: *Droixhe D.* Le voyage de «Schreiten»: Leibniz et les débuts du comparatisme finno-ougrienne // *Leibniz, Humboldt, and the Origins of Comparativism* / Ed. by Tullio de Mauro, Lia Formigari. Amsterdam, 1990. P. 19.

4 Более подробно об этом см.: *Slezkine Y.* The Sovereign's Foreigners: Classifying the Native Siberians in 17th-century Russia // *Russian History/Histoire Russe*. 1992. Vol. 19. № 1/4. P. 475–485. См. также: *Greenblatt S.* *Marvelous Possessions: The Wonder of the New World*. Chicago, 1991. P. 82–83.

5 См.: *Hodgen M.T.* *Early Anthropology in the Sixteenth and Seventeenth Centuries*. Philadelphia, 1971. P. 129, *passim*.

6 *Elkar R.S.* *Reisen bildet* // *Reisen und Reisebeschreibungen im 18. und 19. Jahrhundert als Quellen der Kulturbeziehungs-forschung* / Ed. by B.I. Krasnobaev, Gert Robel, Herbert Zeman. Berlin, 1980. S. 54; *Bädeker H.E.* *Reisebeschreibungen im historischen Diskurs der Aufklärung* // *Aufklärung und Geschichte: Studien zur deutschen Geschichtswissenschaft im 18. Jahrhundert* / Ed. by Hans Erich Bädeker et al. Göttingen, 1986. S. 279–281; а также: *Милюков И.Н.* Главные течения русской исторической мысли. СПб., 1913. С. 72.

7 Россия: Археографическая комиссия: Памятники сибирской истории XVIII века. СПб., 1885. Т. 2. С. 292–293, 460; *Татищев В.Н.* Избранные труды по географии России. М., 1950. С. 13; *Мирзоев В.Г.* *Историография Сибири: Домарксистский период*. М., 1970. С. 78; *Миллер Г.Ф.* *История Сибири*. М.; Л., 1937. Т. 1. С. 30.

8 Первый русский ежемесячник, издававшийся Академией наук под редакцией Миллера, опирался на оба эти понятия («Ежемесячные сочинения, к пользе и увеселению служащие»).

9 Герье В. Указ. соч. Т. 2. С. 76. См. также: Лепехин И. Дневные записки путешествия доктора и академии наук адъюнкта Ивана Лепехина по разным провинциям Российского государства. СПб., 1771. Т. 1. С. 90.

10 Bittner K. Slavica bei G.W. von Leibniz // Germanoslavica. 1931/1932. № 3. Р. 227–228; № 4. Р. 528–529, 537–539; Герье В. Указ. соч. Т. 2. С. 16–18.

11 Bittner K. Op. cit. № 4. Р. 191.

12 См.: McGrane B. Beyond Anthropology: Society and the Other. N.Y., 1989. Р. 48.

13 См.: Bassin M. Russia between Europe and Asia: The Ideological Construction of Geographical Space // Slavic Review. 1991. № 1. Р. 1–7.

14 Вот некоторые, наиболее значительные, из таких компиляций: Атлас Российский, состоящий из девятнадцати специальных карт, представляющих Всероссийскую империю с пограничными землями, сочиненный по правилам географическим и новейшим обсервациям. СПб., 1745; Чеботарев Х. Географическое методическое описание Российской империи. М., 1776; Кирилов И. Цветущее состояние Всероссийского государства. М., 1831 (составлено в 1727 году); Клевецкий М.Я. Руководство к географии с употреблением земного шара и ландкарт. СПб., 1773; Краткое описание Тобольского наместничества // Собрание сочинений, выбранных из месяцесловов на разные годы. 1790. Вып. 6. С. 148–218; Плещеев С. Обозрение Российския империи в нынешнем ея новоустроенном состоянии / 3-е изд. СПб., 1790; Полушин Ф. Географический лексикон Российского государства. М., 1773; Татищев В.Н. Избранные произведения. Л., 1979. С. 328–360; Он же. Избранные труды по географии... С. 36–97; Винсгейм Х.Н. Краткая политическая география. СПб., 1745.

15 Об этой деятельности см.: Goldenberg L.A., Postnikov A.V. Development of Mapping Methods in Russia in the Eighteenth Century // Imago mundi. 1985. № 37. Р. 63–64; Лебедев Д.М. Очерки по истории географии в России XVIII в. М., 1957; Новлянская М.Г. И.К. Кирилов и его «Атлас Всероссийской империи». М., 1958. С. 5–6, 9, 11; Пыпин А.Н. История русской этнографии. СПб., 1890. Т. 1. С. 95–99.

16 Frankel C. The Faith of Reason: The Idea of Progress in the French Enlightenment. N.Y., 1948. Р. 44–45. Путешественники екатерининских времен были скорее чувствительны, чем любопытны, и больше стремились к накоплению впечатлений, чем к систематизации фактов.

17 Hodgen M.T. Op. cit. Р. 418–426; McGrane B. Op. cit. Р. 78–81. Цитаты взяты из работ Карла Линнея «Система природы» и Уильяма Петти «Шкала живых существ».

18 Русские экспедиции по изучению северной части Тихого океана в первой половине XVIII в.: Сборник документов. М., 1984. С. 155; *Müller G.F. Instruktion G.F.Müller's für den Akademiker-Adjuncten J.E. Fischer. Unterricht, was bey Beschreibung der Völker, absonderlich der Sibirischen in acht zu nehmen* // Сборник музея по антропологии и этнографии. 1900. № 1. С. 37–99.

19 *Frankel C.* Op. cit. P. 44.

20 См. предисловие Миллера к изд.: *Полунин Ф.* Географический лексикон Российского государства. М., 1773. См. также: *Татищев В.Н.* Избранные труды по географии... С. 174–183; *Он же.* Избранные произведения... С. 153–327.

21 *Миллер Г.Ф.* Описание Сибирского царства. СПб., 1750. С. 27, 29.

22 *Татищев В.Н.* Избранные труды по географии... С. 88–89.

См. также: *Лепехин И.* Указ. соч. Т. 4. С. 198–199.

23 См., напр.: Описания о жизни и упражнении обитающих в Туруханской и Березовской округах разного рода язычных иноверцах / Публ. А.И. Андреева // Советская этнография. 1947. № 1. С. 84–103; *Бауманн Л.А.* Краткое начертание географии. М., 1775; *Гербер И.Г.* Известие о находящихся с западной стороны Каспийского моря между Астраханью и рекою Курою народах // Сочинения и переводы, к пользе и увеселению служащие. 1760. Июль. С. 1–48; Август. С. 99–140; Сентябрь. С. 195–232; Октябрь. С. 292–303; *Кирилов И.* Указ. соч.; *Крашенинников С.П.* Описание земли Камчатки. М., 1949; *Нестерев Е.* Примечания о прикосновенных около китайской границы жителях // Новые ежемесячные сочинения. 1793. Т. 79. Январь. С. 59–82; Русские экспедиции по изучению северной части Тихого океана во второй половине XVIII в.: Сборник документов. М., 1989. С. 85; *Рычков П.И.* Топография Оренбургская. СПб, 1762; *Винсгейм Х.Н.* Указ. соч.

24 Сказка пятидесятника Владимира Атласова, 3 июня 1700 // Колониальная политика царизма на Камчатке и Чукотке в XVIII веке: Сборник архивных материалов / Под ред. Я.П. Алькора и А.К. Дрезена. Л., 1935. С. 31.

25 Сибирские летописи. СПб., 1907. С. 112. Ср.: Открытия русских землепроходцев и полярных мореходов XVII века на северо-востоке Азии: Сборник документов / Под ред. Н.С. Орловой. М., 1951. С. 83, 98. Об этом же см.: *Slezkine Y.* Op. cit.

26 См., напр.: *Миллер Г.Ф.* История Сибири... Т. 2. С. 276; Сибирские летописи... С. 112. Ср.: *White H.* The Forms of Wildness: Archaeology of an Idea // The Wild Man Within: An Image in Western Thought from the Renaissance to Romanticism / Ed. by Edward Dudley, Maximilian E. Novak. Pittsburgh, 1972. P. 19–22.

27 Открытия русских землепроходцев... С. 140; Русская тихоокеанская эпопея. Хабаровск, 1979. С. 69.

28 Описания о жизни и упражнении... С. 90. См. также: *Георги И.Г.* Описание всех обитающих в Российском государстве народов. СПб., 1799. Т. 1. С. 18 и след.; *Крашенинников С.П.* Указ. соч. С. 406–413; *Müller G.F.* Op. cit. P. 72f.; *Татищев В.Н.* Избранные труды по географии... С. 38.

29 См., в частности: *Pallas S.-P.* Travels into the Southern Provinces of the Russian Empire in the Years 1793 and 1794. London, 1802. Vol. 1. P. 18 and passim; Vol. 2. P. 354. А также: *Хрисанф, митрополит Новопатрасский.* О странах Средней Азии; Известие о Китайском государстве // Чтения в Императорском обществе истории и древностей Российских при Московском университете. 1861. Кн. 1; *Сарычев Г.А.* Путешествие по северо-восточной части Сибири, Ледовитому морю и Восточному океану. М., 1952.

30 О тунгусах вообще // Собрание сочинений, выбранных из месяцесловов на разные годы. 1790. Ч. 6. С. 286, 289.

31 *Новицкий Г.* Краткое описание о народе остячком, сочиненное в 1715 году. СПб., 1884. С. 31–32, 47–49. См. также: *Steller G.W.* Beschreibung von dem Lande Kamtschatka. Frankfurt; Leipzig, 1774. P. 355–358.

32 *Татищев В.Н.* Избранные произведения. С. 87.

33 *Фальк И.П.* Записки путешествия академика Фалька. Полное собрание ученых путешествий по России. СПб., 1824. Т. 6. С. 222, 233–234; [*Фишер И.Э.*] О происхождении молдавцов, о их языке, знатнейших приключениях, вере, правах и поведеньях // Собрание сочинений, выбранных из месяцесловов на разные годы. 1789. Ч. 3. С. 81; *Георги И.Г.* Указ. соч. Т. 1. С. 21, 23, 42; *Лепехин И.* Указ. соч. Т. 1. С. 138; *Lesseps M., de.* Travels in Kamtschatka during the Years 1787 and 1788. London, 1790. Vol. 2. P. 27, 84; *Pallas S.-P.* Op. cit. Vol. 1. P. 431, 446.

34 *Клевецкий М.Я.* Указ. соч. С. 52–53, 60, 74, 83, 91; *Георги И.Г.* Указ. соч. Т. 1. С. 14–19; Т. 4. С. 69–70, 83.

35 [*Фишер И.Э.*] Догадки о происхождении американцев // Собрание сочинений, выбранных из месяцесловов на разные годы. 1789. Ч. 3. С. 122–173.

36 См.: *Slezkine Y.* Op. cit.

37 *Гмелин С.Г.* Путешествие по России. СПб., 1771. С. 209.

38 *Hodgen M.T.* Op. cit. P. 448; *Милюков П.Н.* Указ. соч. С. 74.

39 *Лепехин И.* Указ. соч. Т. 1. С. 179.

40 Там же. С. 213.

41 Перечень из дневной записки казачьего сотника Ивана Кобелева, посыланого 1779 года в марте месяце из Гижигинской крепости в Чукотскую землю // Собрание сочинений, выбранных из месяцесловов на разные годы. 1790. Ч. 5. С. 368.

42 *Чулков М.Д.* Абевега русских суеверий. М., 1786; *Клевецкий М.Я.* Указ. соч. С. 47, 53, 83, 103, 114. См. также: *Бауманн Л.А.* Указ. соч. С. 86.

43 *Георги И.Г.* Указ. соч. Т. 4. С. 84–85.

- 44 Там же. С. 84.
- 45 Бауманн Л.А. Указ. соч. С. 17, 24, 37, 39, 86, 114.
- 46 Герье В. Указ. соч. Т. 2. С. 25–26. См. также: Лепехин И. Указ. соч. Т. 3. С. 241.
- 47 Татищев В.Н. Избранные произведения... С. 103–104; Георги И.Г. Указ. соч. Т. 1. С. VIII–IX; Болтин И. Примечания на историю древняя и нынешняя России г. Леклерка. СПб., 1788. С. 146.
- 48 Георги И.Г. Указ. соч. Т. 1. С. IX.
- 49 Татищев В.Н. Избранные произведения... С. 70–79.
- 50 Рычков Н. Дневные записки путешествия капитана Николая Рычкова в Киргис-Кайсацкой степи, 1771 году. СПб., 1772. С. 79–81; Сарычев Г.А. Указ. соч. С. 41.
- 51 Зуев В.Ф. Материалы по этнографии Сибири XVIII века (1771–1772) // Труды Института этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. Новая серия. Т. 5. М.; Л., 1947. С. 36.
- 52 Крашенинников С.П. Указ. соч. С. 367; Новицкий Г. Указ. соч. С. 43; Лепехин И. Указ. соч. Т. 3. С. 275; Георги И.Г. Указ. соч. Т. 1. С. 23.
- 53 Софроний, архимандрит. Известие о Китайском, ныне Манджуро-Китайском государстве // Чтения в Императорском обществе истории и древностей Российских... 1861. Ч. 1. №. 5. С. 71; Лепехин И. Указ. соч. Т. 4. С. 118; Нестерев Е. Указ. соч. С. 56–57.
- 54 См., соответственно: Хрисанф, митрополит Новопатрасский. Указ. соч. С. 48–49; Лепехин И. Указ. соч. Т. 3. С. 20; Зуев В.Ф. Указ. соч. С. 29; Lesseps M., de. Op. cit. Vol. 1. P. 91; Vol. 2. P. 41.
- 55 Крашенинников С.П. Указ. соч. С. 367.
- 56 Lesseps M., de. Op. cit. Vol. 1. P. 89; [Зуев В.Ф.] Выписка из путешественных записок Василия Зуева, касающихся до полуострова Крыма, 1782 года // Собрание сочинений, выбранных из месяцесловов на разные годы. 1790. Ч. 5. С. 286; [Зуев В.Ф.] Выписка из путешественных записок Василия Зуева об Азиатских областях, к Черному морю прилежащих // Собрание сочинений, выбранных из месяцесловов на разные годы. 1790. Ч. 6. С. 232.
- 57 Выписка из путешественных записок Василия Зуева... С. 288; О тунгусах вообще... С. 297.
- 58 Татищев В.Н. Избранные произведения... С. 60.
- 59 Lesseps M., de. Op. cit. Vol. 1. P. 89.
- 60 Pallas S.-P. Op. cit. Vol. 2. P. 356. Ср.: Lesseps M. de. Op. cit. Vol. 1. P. 96: «The greatest happiness, in [the Kamchadal] estimation, next to that of getting drunk, is to have nothing to do, and live for ever in tranquil indolence».
- 61 Беренс Г. О состоянии новых поселений в Южной Сибири [1776 год] // Сибирский вестник. 1820. Ч. 10. Кн. 5. С. 297.
- 62 Фальк И.П. Указ. соч. Т. 6. С. 54. См. также: Рычков Н. Указ. соч. С. 31.

- 63 *Хрисанф, митрополит Новопатрасский*. Указ. соч. С. 86;
Георги И.Г. Указ. соч. С. 38; *Lesseps M., de*. Op. cit. Vol. 1. P. 29; *Зуев В.Ф.*
Материалы по этнографии Сибири XVIII века... С. 31.
- 64 *Зуев В.Ф.* Указ. соч. С. 59.
- 65 *Лепехин И.* Указ. соч. Т. 1. С. 16, 64, 69, 73, 84, 109.
- 66 *Хрисанф, митрополит Новопатрасский*. Указ. соч. С. 35–39;
Софроний, архимандрит. Указ. соч. С. 25–35; Выписка из путешественных
записок Василия Зуева об Астраханских областях... С.227; *Гмелин С.Г.* Указ.
соч. Т. 3. С. 172–173. О «свободных народах» см., напр.: Краткое географи-
ческое описание княжества Молдавского и лежащих между Черным и Кас-
пийским морями земель и народов с ландкартою сих земель // Собрание
сочинений, выбранных из месяцесловов на разные годы. 1789. Ч. 3.
С. 108–117.
- 67 О происхождении молдавцов... С. 82; Описание Курильских
островов // Собрание сочинений, выбранных из месяцесловов на разные
годы. 1790. Ч. 6. С. 97; Краткое известие о новоизобретенном северном ар-
хипелаге // Собрание сочинений, выбранных из месяцесловов на разные
годы. 1789. Ч. 3. С. 355; Описание трех языческих народов в Казанской гу-
бернии, а именно черемисов, чувашей и вотяков // Ежемесячные сочине-
ния, к пользе и увеселению служащие. 1756. Июль. С. 42–43, 54–55; Август.
С. 119–245; Перечень путешествия штурмана Заикова к островам между
Азиею и Америкою находящимся на боте Св. Владимира // Собрание со-
чинений, выбранных из месяцесловов на разные годы. 1790. Ч. 5. С. 159;
Русские экспедиции по изучению северной части Тихого океана во второй
половине XVIII в... С. 115.
- 68 Описание трех языческих народов... Июль. С. 43; О тунгусах во-
обще... С. 297.
- 69 Об астрономии гренландских жителей // Собрание сочинений,
выбранных из месяцесловов на разные годы. 1785. Ч. 1. С. 153.
- 70 *Lesseps M., de*. Op. cit. Vol. 1. P. 95–97; *Pallas S.-P.* Op. cit. Vol. 1. P. 391.
- 71 *Радищев А.Н.* Полное собрание сочинений. М.; Л., 1941. Т. 2. С. 64.
- 72 *Чеботарев Х.* Указ. соч. С. 47; О происхождении молдавцов...
С. 83; *Лепехин И.* Указ. соч. Т. 4. С. 226.
- 73 Цит. по: *Белковец Л.П.* Иоганн Георг Гмелин, 1709–1755. М.,
1990. С. 89.
- 74 *Чеботарев Х.* Указ. соч. С. 43–44. См. также: Известия о Буха-
рии // Собрание сочинений, выбранных из месяцесловов на разные годы.
1790. Ч. 4. С. 139–140. Ср.: *Hodgen M.T.* Op. cit. P. 461–463.
- 75 *Hodgen M.T.* Op. cit. P. 487.
- 76 *Чеботарев Х.* Указ. соч. С. 48.
- 77 О тунгусах вообще... С. 297.
- 78 *Радищев А.Н.* Указ. соч. Т. 2. С. 66.

79 Описания о жизни и упражнении обитающих... С.94; *Татищев В.Н.* Избранные произведения... С. 88; *Лепехин И.* Указ. соч. Т. 1. С. 168.

80 *Радищев А.Н.* Указ. соч. Т. 2. С. 66.

81 См., напр.: *Фишер И.Э.* Сибирская история с самого открытия Сибири до завоевания сей земли Российским оружием. СПб., 1774. С. 67; *Лепехин И.* Указ. соч. Т. 3. С. 28; Т. 4. С. 212; *Müller G.F.* Op. cit. P. 39–41; *Миллер Г.Ф.* Описание Сибирского царства... С. 21; *Pallas S.-P.* Op. cit. Vol. 1. P. 390; Vol. 2. P. 345; *Steller G.W.* Op. cit. P. 297–303.

82 *Георги И.Г.* Указ. соч. Т. 1. С. 35.

83 *Frankel C.* Op. cit. P. 52; *Миллюков П.Н.* Указ. соч. С. 89.

84 *Aarslef H.* From Locke to Saussure: Essays on the Study of Language and Intellectual History. Minneapolis, 1982. P. 281–282; *Olender M.* The Languages of Paradise: Race, Religion, and Philology in the Nineteenth Century. Cambridge, Mass., 1992. P. 1–5; *Robins R.H.* The History of Language Classification // Current Trends in Linguistics / Ed. by Thomas A. Sebeok. The Hague, 1973. Vol. 2. P. 7–11.

85 *Hoenigswald H.M.* Descent, Perfection, and the Comparative Method since Leibniz // Leibniz, Humboldt, and the Origins of Comparativism... P. 119–131.

86 *Aarslef H.* The Eighteenth Century, Including Leibniz // Current Trends in Linguistics. The Hague, 1975. Vol. 13. P. 391–394; *Robins R.H.* Leibniz and Wilhelm von Humboldt and the History of Comparative Linguistics // Leibniz, Humboldt, and the Origins of Comparativism... P. 85–93.

87 *Bittner K.* Op. cit. № 4. P. 199, 201; *Герье В.* Указ. соч. Т. 2. С. 41–42.

88 См., напр.: *Strahlenberg P.J.T., von.* Russia, Siberia, and Great Tartary [1738]. N.Y., 1970; *Татищев В.Н.* Избранные труды... С. 70–72, 173; *Татищев В.Н.* История Российская. М.; Л., 1962. Т. 1; *Фишер И.Э.* Сибирская история... С. 70–105 (большая часть лингвистических материалов, очевидно, была предоставлена для этой работы Миллером); *Пекарский П.П.* История Императорской академии наук в Петербурге. СПб., 1870. С. 630–632; *Паллас П.С.* Сравнительные словари всех языков и наречий, собранные десницею всевысочайшей особы. СПб., 1789. Примеры подробных этнических классификаций см.: *Георги И.Г.* Указ. соч.; *Плещеев С.* Указ. соч. С. 26–38.

89 *Озерецковский Н.Я.* Путешествие по озерам Ладожскому и Онежскому. Петрозаводск, 1989. С. 124. Ср.: *Миллер Г.Ф.* Описание Сибирского царства... С. 1.

90 *Лепехин И.* Указ. соч. Т. 4. С. 404.

91 *Плещеев С.* Указ. соч. С. 78.

92 *Aarslef H.* Op. cit. P. 158–159; *Frankel C.* Op. cit. P. 44–45.

93 *Percival W.K.* Linguistic and Biological Classification in the Eighteenth Century // Man, God, and Nature in the Enlightenment / Ed. by

Donald C. Mell, Jr., Theodore E.D. Braun, Lucia M. Palmer. East Lansing, Mich., 1988. P. 205–214.

94 *Bädeker H.E.* Op. cit. P. 286; *Hodgen M.T.* Op. cit. S. 433–471;

McGrane B. Op. cit. P. 83–85.

95 *Pallas S.P.* Op. cit. Vol. 1. P. 391; *Георги И.Г.* Указ. соч. Т. 1. С. XIII–XX.

96 *Георги И.Г.* Указ. соч. Т. 1. С. XIII–XX.

97 *Милюков П.Н.* Указ. соч. С. 86.

98 Первая цитата принадлежит Шлецеру (цит. по: *Iggers G.G.* The European Context of Eighteenth-Century German Historiography // *Aufklärung und Geschichte...* P. 239); вторая – Миллеру (цит. по: *Ломоносов М.В.* Полное собрание сочинений. М.; Л., 1952. Т. 6. С. 57).

99 *Ломоносов М.В.* Указ. соч. С. 67–68.

100 Там же. С. 77–78.

101 *Чулков М.Д.* Историческое описание Российской коммерции при всех портах и границах. СПб., 1781. Т. 1. С. 4.

102 *Ломоносов М.В.* Избранные произведения. М., 1986. Т. 2. С. 52.

103 Новейшее повествовательное землеописание всех четырех частей света. СПб., 1795. Т. 2. С. 129.

104 *Екатерина, императрица.* Сочинения императрицы Екатерины II. СПб., 1901. Т. 7. С. 55; *Георги И.Г.* Указ. соч. Т. 4. С. 66; *Татищев В.Н.* Избранные произведения... С. 87.

105 Новейшее повествовательное землеописание... Т. 1. С. 17.

106 См., напр.: Сокращение Российской истории // Собрание сочинений, выбранных из месяцесловов на разные годы. 1789. Ч. 3. С. 1–10.

107 *Клевецкий М.Я.* Указ. соч. С. 108.

108 *Ломоносов М.В.* Полное собрание сочинений... Т. 6. С. 25–80. О происхождении русского национализма в XVIII веке см. новаторскую работу Ханса Роджера: *Rogger H.* National Consciousness in Eighteenth-Century Russia. Cambridge, 1960.

109 *Ломоносов М.В.* Избранные произведения... Т. 2. С. 66–72.

110 См., в частности: *Riasanovsky N.V.* Nicholas I and Official Nationality in Russia, 1825–1855. Berkeley, 1959; *Greenfield L.* Nationalism: Five Roads to Modernity. Cambridge, Mass., 1992. P. 190–274.

111 «Иностранцы дома, иностранцы в чужих краях, праздные зрители, испорченные для России западными предрассудками, для Запада – русскими привычками» (*Герцен А.И.* Былое и думы: В 2 т. М., 1962. Т. 1. С. 92).

НАТАНИЭЛЬ НАЙТ

Наука, империя и народность: Этнография в Русском географическом обществе, 1845–1855

На пышном петербургском банкете в марте 1845 года натуралист А.Ф. Миддендорф, недавно вернувшийся из трехлетней экспедиции по Сибири и Дальнему Востоку, развлекал собравшуюся компанию академиков и исследователей рассказами о землях и народах, которые ему довелось повидать в своих путешествиях. Среди тех, кто его слушал, был адмирал Федор Петрович Литке, наставник великого князя Константина Николаевича и ветеран целого ряда исследовательских морских экспедиций. Вдохновленные рассказами Миддендорфа, Литке и его друзья Фердинанд Врангель и Карл фон Бэр решили осуществить план, который они обсуждали уже в течение нескольких лет, — создать сообщество ученых, посвятивших себя изучению земель, народов и ресурсов Российской империи. Объединившее в себе географическую, статистическую и этнографическую науки, Русское географическое общество, плод вдохновения Литке, было вскоре признано Николаем I и осенью 1845 года вступило в российскую академическую жизнь. При щедром финансировании от государства и участии наиболее видных ученых России, Общество быстро стало ведущей силой в российской науке и продолжает существовать до настоящего времени¹.

По самой своей природе Географическое общество возникло на своеобразном стыке науки, имперской власти и принципа народности. Как полуофициальная организация, формально возглавляемая великим князем Константином Николаевичем, Географическое общество по своей сущности было органичной частью аппарата империи — статус, который был особо подчеркнут в 1849 году, когда Николай I предоставил Обществу право носить

звание «Императорское»². Но, став Императорским, Географическое общество не перестало быть русским. В то время, когда проблема народности была в центре интеллектуальной жизни страны, Географическое общество не могло остаться в стороне от призывов идентифицировать себя не только с имперским государством, но также и с русским народом.

Хотя объектом изучения в Географическом обществе и была Россия, применяемые им научные методы носили интернациональный характер, использовался опыт ведущих специалистов со всего света. Учреждение Географического общества было в какой-то мере реакцией на развитие международного научного сообщества, в том числе на учреждение подобных институтов по всей Европе и Америке в предшествующие годы³. По замыслу основателей Географическое общество должно было предоставлять международному сообществу точную информацию о Российской империи и тем самым увеличить вклад России в прогресс мировой науки.

Объединение сил империи, народности и науки в пределах одного учреждения порождало напряженность. Географическое общество, особенно в свои первые годы, часто становилось ареной столкновений противоположных мнений о соотношении между этими элементами. Подобно катализатору в фотографии, Географическое общество обнажило скрытые противоречия, существовавшие между принципами государства и науки, народности и империи. То, как проявлялись эти противоречия в деятельности Русского географического общества, и станет темой данного исследования.

Внутренние противоречия между принципами науки, империи и народности нигде не были так очевидны, как в рамках этнографического отделения Географического общества. В отличие от географии и статистики, этнография — российский эквивалент этнологии или культурной антропологии — была совершенно новым явлением. Этнографическое отделение стало первым академическим учреждением в России, целенаправленно работающим в данной области, а его орган — журнал «Этнографический сборник» — первым периодическим изданием по данной проблематике. В связи с выделением этнографии в самостоятельную академическую дисциплину, занимавшиеся ею ученые были вынуждены четко формулировать свои цели и методологию, выявляя при этом различия исходных концепций. При этом как наука, в широком смысле

посвятившая себя «познанию разных племен, обитающих в нынешних пределах государства»⁴, этнография была особенно подвержена влиянию национального и имперского контекста, в результате чего она стала существенно отличаться от аналогичных научных дисциплин в Западной Европе и Северной Америке. Именно поэтому после рассмотрения конфликтных ситуаций, возникавших в стенах Географического общества в первые годы его существования, мы затем сконцентрируем внимание на этнографии и исследуем процесс формирования ее особой направленности.

Немцы, русские и научная политика

7 октября 1845 года, на торжественном заседании, посвященном открытию Географического общества, адмирал Литке произнес речь, в которой он ясно сформулировал свое видение целей и проблем, стоявших перед новым учреждением. Литке подчеркнул, что первостепенной задачей Географического общества должно быть изучение России: «Наше отечество, простираясь... более нежели на полуокружность земли, отечество наше, говорю я, представляет нам само по себе особую часть света, со всеми свойственными такому огромному протяжению различиями в климатах, отношениях геогностических, явлениях органической природы и проч., с многочисленными племенами, разнообразными в языках, нравах, отношениях гражданственных и т.д. и, прибавим, часть света, сравнительно еще мало исследованную. Такие, совершенно особые условия указывают прямо, что главным предметом *Русского* географического общества должно быть возделывание *Географии России*, принимая название Географии в обширнейшем его значении»⁵.

Формулировка Литке, ограничивая объект исследования Российской империей и областями, непосредственно граничащими с ней, тем не менее оставляла без ответа очень много вопросов. Как именно следует изучать Россию? Какие виды исследований должны были быть проведены? И с какой целью?

Определяя характер нового учреждения, основатели общества столкнулись с двумя различными моделями возможного направления его развития. Эти модели выросли из их непосредственного опыта, который и указывал на эти возможности. Так, на-

глядный пример того, как должно функционировать хорошо организованное научное сообщество, являла собой Академия наук — доминирующая сила в российской науке. Фактически, в своей речи на открытии Общества Литке ощутил потребность объяснить, почему Географическое общество должно было существовать вне Академии наук. Признавая ее прошлые достижения, Литке отметил: «Академия не имела возможности сделать для Географии всего — можно бы было сделать более — и это-то более есть задача Русского географического общества... Итак, с ученой точки зрения, Географическое общество, впрочем совершенно самостоятельное, есть как бы распространение Академии для некоторой специальной цели»⁶.

Иными словами, хотя и предполагалось, что Географическое общество будет проводить более детальные и специализированные исследования в определенных сферах науки, Литке не видел фундаментальных различий в подходах к исследованиям Географического общества и Академии наук.

Однако, помимо Академии наук, существовала и альтернативная модель деятельности Географического общества — в лице различных специализированных отделов и учреждений, где государственные чиновники трудились над вопросами, связанными с географией, этнографией и статистикой. В своей речи Литке упомянул в качестве потенциальных партнеров Географического общества, главным образом, Топографическое депо Главного штаба и Гидрографический департамент Морского министерства⁷. Однако еще большие возможности для сотрудничества существовали с различными отделами Министерства внутренних дел, которым руководил Л.А. Перовский.

В течение первых лет своего существования Географическое общество находилось под формальной юрисдикцией Министерства внутренних дел⁸. Связующим звеном между этими двумя учреждениями была область статистики. Под руководством Перовского министерство уделяло усиленное внимание сбору достоверной статистической информации со всех концов империи. Перовский выделил на статистическую работу существенные дополнительные ресурсы и основал ряд новых бюрократических органов, объединивших силы и опыт ведущих российских статистиков⁹. Поскольку статистика должна была стать одной из главных составляющих работы Географического общества, его основатели

предпочли (возможно, как из личностных, так и из практических соображений), чтобы предложение о создании нового общества императору представил именно Перовский, а не министр народного просвещения граф Сергей Уваров¹⁰.

Выбор между этими двумя институциональными моделями оказал существенное влияние на будущее развитие Географического общества. В намерения Академии наук входило равноправное участие в обмене научной информацией с подобными учреждениями на Западе. Поскольку же предназначением Академии было служение империи, это служение осуществлялось пока лишь косвенным путем: поддерживая силами Академии работу первоклассных ученых, самодержавие демонстрировало могущество и престиж России как великой державы. Именно с целью сделать из Академии «выдающийся пример вклада России в современную научную мысль» Уваров убедил нескольких известных немецких ученых заниматься наукой в Санкт-Петербурге и стать российскими академиками¹¹. Чтобы облегчить научную деятельность этих экспатриантов и увеличить доступность российской науки для европейской аудитории, Академия издавала свои журналы и бюллетени преимущественно на французском и немецком языках. Для россиян, которые не знали этих языков, работа Академии оставалась по большей части вне сферы досягаемости.

Применимость академической модели к Географическому обществу была далеко не очевидна. Можно было допустить, что, как учреждение, посвящающее себя изучению Российской империи, Общество должно было представлять определенный интерес для самих россиян. Образ Академии наук, сложившийся в то время в обществе — колосс, стоящий спиной к России, а лицом к Западу, — рассматривался некоторыми членами Географического общества не просто как неприемлемый, а даже как оскорбительный.

С другой стороны, для государственных чиновников, чья сфера должностных обязанностей была связана с географией, этнографией и особенно со статистикой, Географическое общество представляло собой многообещающий проект. Хотя в 1830–1840-х годах в этих ведомствах был достигнут существенный прогресс, усилиям чиновников по изучению империи часто препятствовали чрезмерная секретность, межведомственная конкуренция и обособленность, а также недостаток полномочий для

проведения широкомасштабных исследований. Географическое общество давало шанс преодолеть эти препятствия, собрав вместе лучшие умы из различных учреждений для решения проблем, представляющих общий интерес. Таким образом, в то время как Литке, по всей видимости, рассматривал Общество как дополнение к Академии наук, другие воспринимали его как ответвление бюрократического аппарата страны, с помощью которого можно было бы собирать информацию об империи в более свободной и благоприятной атмосфере. Для группы молодых чиновников во главе с Николаем и Дмитрием Милютиными, известных как «просвещенные бюрократы», эта потенциальная возможность, которую давало Географическое общество, была особенно привлекательна. Всею душой отдаваясь делу общего реформирования и, в частности, выступая за отмену крепостничества, «просвещенные бюрократы» были убеждены, что их цели могут быть достигнуты только при условии сбора точной и обширной информации о состоянии империи. Для них было бы огромным разочарованием, если бы Географическое общество — идеальное, как им представлялось, учреждение для достижения этих целей — посвятило бы себя поискам абстрактной научной истины для представления европейской аудитории в стиле Академии наук. Поэтому «просвещенные бюрократы» были готовы на многое, чтобы не дать обществу пойти по этому пути¹².

Следствием этих столь противоречащих друг другу представлений о задачах Географического общества стало быстрое формирование внутри него враждующих фракций. Группа членов, стоявших у истоков организации во главе с Литке, Бэрм и Врангелем, состояла в значительной степени из академиков немецкого происхождения, флотских и армейских офицеров, по большей части с нерусскими фамилиями, и небольшой группы высокопоставленных чиновников и независимых ученых. Как основатели Общества, члены этой группы были назначены на все ответственные посты и имели большинство в совете Общества. Создавалось впечатление, что Общество находится под контролем немецкой клики, которая руководствуется скорее своими собственными интеллектуальными интересами, чем потребностями России¹³.

Поскольку вскоре Общество открыло свои двери для новых членов, его состав значительно изменился. В первые два года

существования Общества наблюдался мощный приток новых членов, которые были более молоды, в подавляющем большинстве были русскими по происхождению и по большей части связаны с бюрократическими сферами, особенно с Министерством внутренних дел¹⁴. Очень скоро эти новые члены объединились и создали сильную оппозицию «немецкой фракции». К 1848 году «русская фракция» получила в свои руки значительный контроль над статистическим и этнографическим отделениями, оставив немцам контролировать географические отделения и управленческие структуры Общества¹⁵. Тем самым была подготовлена почва для конфликта.

Отношения между этими двумя фракциями в 1846 и 1847 годах постепенно ухудшались, а в 1848 году в связи с намерениями пересмотреть устав Общества переросли в открытый конфликт. Первоначальный устав имел силу только на четырехлетний срок, и по истечении этого времени его следовало написать заново и представить императору для окончательного утверждения¹⁶. Комиссия, создаваемая для выработки постоянного устава, должна была наполовину состоять из членов, назначенных советом Общества, а другая половина должна была быть избрана общим собранием. В результате комиссия с момента своего создания разделилась на две группы, одна из которых состояла из членов немецкой фракции, назначенных советом, а другая — русская группа во главе с Николаем Милютиным — была избрана общим собранием¹⁷. На первых заседаниях комиссии Милютин выдвинул ряд предложений, направленных на повышение значимости рядовых членов Общества. Когда же эти предложения были отклонены, Милютин и его товарищи отказались посещать последующие заседания¹⁸. Оставшиеся члены комиссии во главе с Литке воспользовались сложившейся ситуацией для того, чтобы завершить свой собственный проект устава, который они вынесли на обсуждение членов Общества летом 1848 года. Комментарии к уставу, присланные наиболее активными членами русской фракции, вскрывают еще более глубокие внутренние проблемы Общества¹⁹.

Реакция на проект устава в преобладающем большинстве случаев была резко отрицательной. Помимо частных вопросов управления обществом, которые Милютин и его сторонники поднимали в комиссии, критика сводилась к обсуждению двух важней-

ших проблем: во-первых, в чем состоит основная цель Географического общества, и, во-вторых, каково место России в рамках мирового научного сообщества.

Наиболее яростные протесты вызвало безобидное на первый взгляд дополнение к преамбуле устава. Во временном уставе цель Общества была сформулирована следующим образом: «Собрание и распространение в России географических сведений вообще и в особенности о России; равно как распространение достоверных сведений о нашем отечестве в других землях». В новом уставе была добавлена новая цель, которой к тому же отдавалось приоритетное значение: «возделывание земледования по трем главным его отраслям: географии собственно, статистики и этнографии»²⁰.

Для противников предложенного устава новая формулировка означала возвышение чистой науки над потребностями России. Это выглядело, как если бы, по словам одного из членов Общества, Общество решило поменять свое имя на «Географическое общество в Санкт-Петербурге»²¹. Один из наиболее сильных и хорошо обоснованных критических анализов нового устава принадлежал перу В.В. Григорьева, молодого востоковеда, служившего в Министерстве внутренних дел. Общество, утверждал он, возникло для решения практических задач, а не для удовлетворения абстрактного любопытства. Неоднократно провозгласив свои цели — в том числе в речи, которую произнес сам Литке на открытии Общества, — Общество не имело никакого права их изменять. Восторженная реакция на создание Географического общества со стороны государства и образованной публики была по большей части вызвана практической направленностью деятельности Общества. В качестве доказательства Григорьев приводил свой собственный опыт: «Сужу по себе: я не географ, не этнограф и не статистик... География сама по себе далеко не интересует меня так, как археология или лингвистика; но я Русский в душе и все, что в каком-либо отношении приносит пользу России, не может быть для меня чуждым. Общество объявило, что оно трудится для России, и я счел за счастье присоединить свои слабые усилия к общей массе его трудов. Если бы оно сказало, что главною целью его учреждения будет возделывание земледования как науки на пользу человечества вообще и Западной Европы в особенности, — я бы никогда и не подумал искать чести быть его членом. Большая

часть членов общества тоже не географы и не статистики по специальности своих занятий и, смею думать, приняли участие в трудах общества единственно по тем же патриотическим побуждениям, что и я»²².

В своем отрицании чистой науки Григорьев дошел до того, что стал утверждать, что российских ученых в принципе не должны интересовать теоретические проблемы: «Что касается до теоретического возделывания географии собственно, этнографии и статистики, то и этого нечего нам брать на себя: делать дело раньше, чем пришло к тому время, значит, только портить дело... Теория есть плод долговременных практических изучений и может разрабатываться успешно только в стране, где приготовлены для нее поле и деятели обширными трудами практическими... а у нас разве накопился уж такой огромный запас положительных сведений, что мы не можем управиться с частностями и ощущаем потребность в их обобщении, в возведении их к единству?»²³.

Опасения Григорьева об уходе Географического общества в чистую науку и отдалении от потребностей России, подхваченные многими из его коллег, могут показаться преувеличенными; однако некоторые первоначальные действия и проекты Географического общества, возможно, и давали определенное основание для тревоги. В январе 1846 года, например, Литке предложил снарядить большую экспедицию с целью изучения необычной вулканической активности на Алеутских островах. Несомненно, то была достойная тема с научной точки зрения, но она вряд ли была приоритетной для «просвещенных бюрократов», стремившихся направить ресурсы Географического общества на дело подготовки реформ²⁴. Другой подобный пример: в то время как молодое поколение чиновников живо интересовалось положением крестьянства в остзейских губерниях, Андрей Шегрен проводил исследование языка ливов, крошечной этнической группы, проживавшей в Лифляндии и Курляндии, что могло показаться непродуктивной тратой сил²⁵. Олицетворением академической тенденции в деятельности Общества был Бэр, первый председатель этнографического отделения Общества, который, несмотря на свое долгое проживание в Петербурге, так и не овладел в совершенстве русским языком и продолжал публиковать свои работы почти исключительно на немецком или латинском²⁶.

Критики проекта возражали также против положения о том, что Русское географическое общество должно выпускать печатные издания на иностранных языках, чтобы привлекать внимание иностранных ученых. Один из наиболее эмоциональных аргументов в этом споре был выдвинут Р.В. Голубковым. Это был вопрос, по которому Голубков, как никто другой, имел право высказаться: совсем недавно он пожертвовал Географическому обществу 15 000 рублей на финансирование перевода на русский язык работы Карла Риттера по всемирной географии⁷. Его пожертвование было мотивировано желанием повысить уровень науки, создаваемой русскими и на русском языке. Он был непреклонен в своем убеждении, что русский язык может и должен быть легитимным языком науки, и утверждал, что Русское географическое общество должно приложить все усилия, чтобы не походить на учреждения типа Академии наук — «тех ученых колоний, труды которых, появляясь в России на иностранных языках, остаются вследствие этого почти бесполезными для отечественной публики и неизвестными»⁸. Согласие с принципом перевода печатных изданий Географического общества на иностранные языки было равносильно утверждению, что если научная работа выполнена на русском языке, то она не имеет никакой ценности, и, чтобы являться частью европейской интеллектуальной жизни, работы должны быть изданы на французском, немецком или английском языках⁹. Критики проекта устава Общества возражали против такого понимания. Они утверждали, что европейцы сами должны следить за академическими публикациями на русском языке и выполнять свои собственные переводы — как это делали россияне с европейской литературой. Григорьев писал по этому поводу так: «Я никогда не понимал, какая польза нам, Русским, хлопотать о просвещении на наш счет Западной Европы; какая нужда нам, знает или не знает она нас? Если мы заслуживаем, чтобы нас знали, Европа узнает нас и без наших стараний; если не заслуживаем этого в ее глазах, нечего и навязываться ей с своим знакомством. Опасение, что труды наши на пользу науки останутся неизвестными за границей, без особенного с нашей стороны старания распространить их там, — совершенно напрасно. Нет ни одной замечательной книги на русском языке по части географии, которая бы вскоре после ее появления у нас, не переведена бы была на французский, немецкий, или английский язык»¹⁰.

Голубков согласился с Григорьевым, отметив, что европейские ученые были, в общем-то, намного лучше информированы о достижениях в России, чем это обычно представлялось, и что ценность российской науки скорее измеряется ее собственными достоинствами, нежели ее популярностью среди иностранцев. Фактически, он усмотрел некие скрытые мотивы в практике обеспечения иностранных читателей переводами научных трудов: «В желании ввести в труды Общества иностранные языки можно видеть не необходимость сообщения иностранцам достоверных сведений о России, а облегчение средства нескольким лицам, не знающим русского языка и не желающим ему выучиться, участвовать в трудах Общества»¹¹.

Голубков прямо не говорил, кого он имеет в виду, но, очевидно, мишенью этого упрека можно считать Бэра.

Реакция на предложенный проект устава была лишь одним звеном из целого ряда других сильных ударов по положению немецкой фракции. К концу 1848 году немцы потеряли свой контроль над советом. Когда был принят новый устав, в нем было учтено многое из критики, высказанной Григорьевым и его коллегами¹². Только личное вмешательство Константина Николаевича позволило Литке предотвратить принятие нескольких организационных положений, которые он считал «неудобными и вредными в настоящем и опасным для будущности Общества»¹³. Маневры Литке вызвали негодование, что, в свою очередь, привело к его поражению на выборах на пост председателя Географического общества в 1850 году. На некоторое время национальная модель одержала победу над моделью чистой науки.

Дихотомия чистой науки и потребностей империи, на которой настаивала «русская фракция», была в некотором смысле блефом. Ни Литке, ни Бэр никогда и не оспаривали бы необходимости применения научных воззрений к решению практических задач. Истинная дихотомия заключалась в восприятии самой науки и, скорее, в понимании роли в ней национальных начал, а не потребностей империи. Для сторонников академического подхода наука была превыше национальности. Наука представляла собой универсальный дискурс, осуществляющийся на языках Западной Европы, чтобы быть доступным для всех ученых и научных учреждений независимо от национальности. Русская фракция

отклонила такое видение, предложив взамен понимание науки как ряда отдельных, но взаимосвязанных исследований национальных научных школ. Ученые в Западной Европе, утверждали они, пишут на своих национальных языках для своих собственных соотечественников. Почему же россияне не должны делать того же самого? Значимые работы на иностранных языках могут быть интегрированы в научную дискуссию или через переводы — для обычного читателя, — или через работу специалистов, которые в любом случае будут читать эти исследования в оригинале. Дайте европейцам возможность самим открывать российскую науку — призывали Григорьев и его коллеги. Пусть лучше русские сосредоточат свои усилия на создании работ, достойных их внимания.

Отделение национальной науки от общего научного дискурса оказало существенное влияние на развитие отдельных дисциплин. Освобожденные от доминирующего влияния иностранных моделей, отдельные сферы науки могли теперь сами определять свой предмет, цели и методологию в соответствии со спецификой национального и государственного контекста. Примером такого процесса автономного развития научной дисциплины служит этнография.

Два представления о российской этнографии

В период основания Географического общества российская этнография как особая научная дисциплина была еще в зачаточном состоянии. Хотя описания народов империи можно было обнаружить в источниках, относящихся еще к Киевской Руси, до этого времени еще никогда не существовало учреждения, подобного этнографическому отделению Географического общества, которое полностью посвятило свою работу развитию этнографии как особой и самостоятельной научной области. Поэтому важной проблемой стало определение предмета и методов этнографических исследований.

В первый же год существования Географического общества ему были представлены две ясные, отчетливо изложенные концепции объекта, целей и методологии этнографии¹⁴. Оба их автора — Карл фон Бэр, выдающийся натуралист и соучредитель Географического общества, и Николай Надеждин, редактор «Журнала

Министерства внутренних дел» и бывший профессор эстетики Московского университета, — руководствовались желанием сформулировать параметры этнографии как научной дисциплины. Однако их видения этой научной дисциплины значительно отличались друг от друга как в понимании ее ближайших задач, так и основных целей. Фактически выступление Надеждина, состоявшееся шестью месяцами позже выступления Бэра, стало одним из первых столкновений в конфликте между немецкой и русской фракциями, описанном выше. Различия между этими двумя концепциями в значительной степени основывались на противоположном понимании места народности в науке.

В более узком смысле различие между концепциями Бэра и Надеждина можно свести к различию, проводимому в немецкой науке между *Volkskunde*, изучением своего народа, и *Völkerkunde*, изучением других племен. Для Бэра этнография была, по сути своей, наукой об империи. Когда он упоминал этнографию в России, то под Россией он подразумевал обширную и в значительной степени неизведанную территорию, населенную множеством разных народов, некоторые из которых были под угрозой исчезновения с лица земли. Похоже, что Бэр не связывал государство с какой-либо отдельной национальностью. Наоборот, он рассматривал государство как представителя общеевропейского просвещения, несущего «цивилизацию» примитивным народам, находящимся под его владычеством. Бэр предполагал, что этнография могла бы помочь государству выполнять цивилизаторскую миссию гуманным и рациональным образом. Руководствуясь рекомендациями этнографов, государство могло бы регулировать свои действия в соответствии с характером и уровнем развития местных народов, сводя, таким образом, к минимуму зачастую разрушительное влияние цивилизации¹⁵. Бэр допускал, что в конечном счете примитивный образ жизни уступит дорогу неуклонному шествию прогресса и просвещения. Поэтому этнографы должны стремиться собрать и сохранить культурные и материальные памятники менее развитых народностей для будущих поколений, чтобы те имели возможность изучать и ценить их. Его логика в приложении к Российской империи рисовала совершенно ясную перспективу: те народы, своеобразию которых больше других угрожает продвижение по пути прогресса, необходимо было начи-

нать изучать немедленно — до того, как их культуры будут навсегда потеряны для человечества»¹⁶.

Если этнография Бэра была наукой об империи, то этнография Надеждина, бесспорно, являлась наукой о нации. С самого начала он дал понять, что его прежде всего интересует русский народ, а не народы России: «По первым строкам нашего Устава и по самому именованию нашего Общества, главным предметом занятий наших должна быть Россия. Такое патриотическое сосредоточение нашей деятельности на великом нашем Отечестве, смею думать, продолжится до своего естественного, законного последствия, если я позволю себе присовокупить теперь: что — следовательно — в России, которая в настоящем величии своем сама есть целый огромный мир, главным предметом внимания нашего должно быть то, что именно делает Россию Россиею, то есть — „человек русский“! Разумею: совокупность отличительных черт, теней и оттенков, условливающих особую, самообразную бытность человечности или, как говорится обыкновеннее, — *„народности русской“*; сказать короче еще — „Этнографию“ собственно — *„Русскую“*»¹⁷.

Не выступая явно за отказ от изучения других народностей, Надеждин настаивал на том, чтобы русские люди прежде всего стремились «познать самих себя». Надеждин рассматривал этнографию скорее как выражение народной идентичности, чем как инструмент просвещенного имперского управления. Но, в отличие от литературных интерпретаций русской народности, ставших популярными в 1830–1840-х годах, национальная этнография, по Надеждину, должна была обладать силой и авторитетом науки¹⁸. Надеждин отличал «научную» этнографию от работы любителей с помощью двух фундаментальных различий: применения строгих и системных методов в сборе материалов и обработки этих материалов в «чистительном горниле строгой, разборчивой критики». Только учреждение со статусом и престижем Географического общества, по убеждению Надеждина, могло справиться с задачей создания новой области познания — этнографии — в соответствии с научными требованиями».

Разногласия между Бэром и Надеждиным по поводу того, отдавать ли предпочтение изучению русского народа, отражали более глубокие и более тонкие разногласия в понимании основных целей дисциплины. Для Бэра основной вопрос, который должна

рассматривать этнография, касался разнообразия человеческой расы: каковы основные подразделения человечества и как можно объяснить их существование? В основе концепции Бэра лежало представление о «цепи бытия», иерархической классификации рас и народов, на вершине которой находится «кавказская раса», то есть белые европейцы. Задачей этнографии, по мнению Бэра, было объяснить это разнообразие и неравенство народов. Если, как полагали философы Просвещения, человеческий потенциал везде практически один и тот же, то почему же большинство наций и рас не достигли такого же уровня развития, как европейцы?⁴⁰

Ответ Бэра основывался на признании неустойчивого равновесия окружающей среды и расы. Вообще, он был убежденным сторонником географического детерминизма, настолько убежденным, что в одной более поздней статье доказывал детерминированность всей человеческой истории географическим фактором⁴¹. Тем не менее Бэр допускал, что в некоторых случаях одних только ссылок на влияние окружающей среды недостаточно для объяснения различий в уровне «цивилизации». Он пришел к выводу, что интеллектуальные способности могут зависеть и от морфологических особенностей, в частности, от размера и формы черепа, хотя ученый оставил открытым вопрос о том, являются ли сами эти физические особенности продуктом многовекового влияния окружающей среды⁴².

Таким образом, мы можем заключить, что в представлении Бэра этнография была, по существу, гибридом географии, которая занималась вопросами взаимодействия между людьми и окружающей средой, и сравнительной анатомии, целью которой была классификация подразделений человеческой расы на основе поддающихся измерению физических особенностей. Понятие «нация» в этом соединении явно отсутствует. По Бэру, этнография должна была сосредоточить свое внимание или на жителях отдельных географических регионов, находящихся под влиянием общих условий окружающей среды, или на расе, выделенной на основе физических характеристик⁴³. Хотя повсюду в своих работах Бэр обращался к различным «народам» и «племенам», в интеллектуальных изысканиях Бэра отсутствовала идея нации как органичной целостности, обладающей особой трансцендентальной сущностью и играющей в мировом историческом процессе роль, предопределенную ей судьбой.

Надеждин, напротив, помещал национальность в самое сердце своей концепции этнографии. Подобно Бэру, Надеждин отмечал сильную взаимосвязь этнографии и географии. Но если для Бэра эти дисциплины были органически связаны общей проблемой людей и окружающей среды, то Надеждин рассматривал их как автономные сферы исследований, которые связывает лишь сходная описательная и сравнительная методология. Географ, согласно Надеждину, изучает определенные особенности поверхности земли в их родном окружении, чтобы затем увидеть их естественный порядок (горы связаны в горные системы, потоки — в бассейны), восходя к более комплексному знанию о земле в целом. Подобным образом и этнографы документируют разнообразные особенности существования людей в их родном окружении — «где они есть, как есть» — и затем стремятся систематизировать эти особенности в «естественные разряды» так, чтобы из хаотической, на первый взгляд, массы индивидуальных черт возникла гармоничная система отношений, составляющих целостность человеческой расы⁴⁴. Краеугольным камнем системы Надеждина, основной единицей, из которых складывается человечество, была «народность». Естественные разряды, различимые в человечестве, писал Надеждин, «суть именно то, что обыкновенно называется „народностями“; и соответствующие им действительные разделы в „роде человеческом“ суть то, что принято называть „народами“». Таким образом, „народы“ составляют предмет, которым ближайше занимается, а описание „народностей“ есть содержание, из которого, собственно, слагается этнография. Ее задача: приурочивать „людское“ к народному, и чрез то обозначать в нем „общечеловеческое“»⁴⁵.

Таким образом, отличия позиции Надеждина от позиции Бэра выходили далеко за рамки спора о том, отдавать ли предпочтение в исследованиях изучению русского народа. Независимо от того, какая народность становится предметом изучения, цель для Надеждина оставалась одной и той же — изучить «совокупность всех свойств, наружных и внутренних, физических и духовных, умственных и нравственных, из которых слагается [национальная] физиономия»⁴⁶.

Противоположные представления Надеждина и Бэра об этнографии отражали и различия в их личном, интеллектуальном прошлом и национальном происхождении. Сын деревенского

священника из Рязанской губернии, Надеждин провел свое детство в деревне, откуда он вынес неистребимое ощущение своей национальной идентичности⁴⁷. Бэр, напротив, был этническим немцем, рожденным в Эстляндии, во владениях Российской империи. Верность нации для Бэра скорее означала преданность государству и монарху, чем личную идентификацию с той или другой народностью⁴⁸.

С интеллектуальной точки зрения представления Надеждина и Бэра отражали влияние двух различных течений немецкой натурфилософии. Бэр, получивший образование и завоевавший международное признание в Германии, работал в традициях геттингенской школы, которая строго придерживалась эпистемологического учения Иммануила Канта. Подчеркивая неспособность человеческого ума к постижению процессов органического развития, геттингенские ученые отстаивали строго эмпирический подход и отвергали любые попытки выдвинуть метафизические объяснения природного мира⁴⁹. Разделение человеческого рода на подвиды или расы было главной теоретической проблемой, которой занимались геттингенские ученые, в частности, Иоганн Фридрих Блуменбах. Однако, будучи строгим эмпириком, Блуменбах мог признать только ту классификацию видов и рас, в основе которой лежали конкретные морфологические особенности или способность к межвидовому размножению. Классификация, основанная на чем-либо неосознаваемом, неуловимом, выраженном в понятиях «духа» или «сущности», не нашла бы себе места в размышлениях Блуменбаха и его последователя Бэра⁵⁰.

На Надеждина, который получил прекрасное классическое образование в Московской духовной академии, оказала сильное влияние философия Шеллинга, которая, в свою очередь, отражала основные идеи Гердера. Шеллинг и его последователи не признавали существования непроницаемой границы между миром «вещей в себе» и эмпирическим знанием. Напротив, считали они, фундаментальная структура природного мира может проявиться только через акт «интеллектуальной интуиции»⁵¹. Разнообразие человечества и объяснялось с помощью таких спекулятивных скачков. В традиции Гердера человечество рассматривалось как разделенное на отдельные нации, каждая из которых одушевлена уникальной и неизменной сущностью, проявляющей себя прежде всего в творческом самовыражении простого народа. Нация,

таким образом, рассматривалась как априорная категория, возникающая непосредственно из Абсолюта и, следовательно, свободная от формирующих влияний внешних факторов.

Концепция «народности» у Надеждина оформилась в 1830-х годах под влиянием философии Шеллинга. Однако в 1836 году его представления коренным образом изменились под влиянием глубокого личного кризиса, который он пережил после своего решения издать в журнале «Телескоп» известное «Философическое письмо» Петра Чаадаева. В разгоревшемся вслед за этой публикацией скандале Надеждин фигурировал как главный виновник произошедшего, и власти выслали его на полтора года в отдаленный северный городок Усть-Сысольск. Глубоко потрясенный своим несчастьем, Надеждин бросил те сферы деятельности, которые увлекали его прежде и которым он был обязан своей известностью, — эстетику, литературную критику, а также спекулятивную философию — и обратился к изучению географии, истории и этнографии России, основываясь на строгих принципах эмпирической науки¹². Однако понятие «народности», на котором основывались его труды, по-прежнему отражало первоначальное философское мировоззрение автора. Народность для Надеждина по-прежнему выступала как некая неизменная сущность. Содержание понятия «народность» следовало не выводить из объективного опыта, но принять как априорный принцип. Задачей этнографии, по убеждению Надеждина, было отделить чистую сущность «народности» от сырой руды этнографических данных, удаляя элементы, появившиеся в результате контактов с другими народами, которые могли затенить, но ни в коем случае не изменить основополагающий дух нации. Таким образом, представления Надеждина об этнографии являли собой сплав спекулятивной и эмпирической мысли, где под ореолом научного авторитета были сокрыты устремления романтического национализма.

В противоположных представлениях Бэра и Надеждина об этнографии мы видим признаки тех же самых противоречий, которые и вызвали крупный конфликт между немецкой и русской фракциями. Воззрения Бэра явно сформировались в русле универсального научного дискурса, центральную роль в котором играли теоретические проблемы, касающиеся человеческой расы в целом. Сами по себе его рассуждения хорошо укладываются в рамки

западноевропейской этнологии того времени. В его взглядах отражалась основополагающая дихотомия «цивилизованных» и «дикарей», европейцев и неевропейцев, белых и «цветных», которая лежала в основе этнологии середины девятнадцатого столетия⁵³. Но слабость программы Бэра заключалась в неудачной попытке приспособить западную этнологическую парадигму к уникальным условиям Российской империи. В рассуждениях Бэра не было ничего, что не было бы применимо к Британской или Французской империям, за исключением некоторых специфических рекомендаций. Но если дихотомию цивилизации и дикости можно было легко использовать при сравнении британских колонистов с австралийскими аборигенами, то гораздо труднее было определить, кто дикарь, а кто нет, при сравнении русских крестьян с их соседями: татарами, мордвой или чувашами. Вне зависимости от любых расовых или национальных различий между русским образованным обществом и закрепощенными массами существовало гораздо более сильное ощущение «чуждости» — культурная дистанция, лежащая в основе всех этнографических исследований. Тот факт, что эта дихотомия явно уживалась с ощущением общей национальной идентичности, обусловил ее чрезвычайную притягательность и превратил ее в тот стержень, вокруг которого мог строиться новый, специфически русский подход к этнографии, впервые сформулированный в работах Надеждина.

Представления Надеждина об этнографии как независимой науке, основанной на понятии народности, воплотило понимание науки как национального дискурса. Несмотря на влияние немецкой философии и сходных работ славянских ученых, этнография Надеждина была прежде всего российской наукой, руководствовавшейся скорее борьбой за русскую самобытность, чем стремлением участвовать во всемирном научном диалоге. Возможно, по этой причине, а может быть, и вопреки этому, концепция Надеждина оказалась удивительно устойчивой. То отступая, то вновь набирая силу в ответ на относительно сильные западные влияния, идея этнографии как науки, предметом которой является национальность (или *этнос* — понятие, которое в последнее время пришло на смену надеждинской «народности»), стала постоянным элементом российской этнографии, что и по сей день отличает последнюю от аналогичных дисциплин на Западе⁵⁴. Практическое

применение концепции Надеждина достаточно ярко можно проиллюстрировать на примере деятельности этнографического отделения, к рассмотрению которой мы сейчас и перейдем.

Этнография на практике

Будучи двумя первыми председателями этнографического отделения, и Бэр, и Надеждин стремились воплотить исследовательские планы, заложенные в самих различных видениях этнографии. Необходимо уточнить, что для Бэра возможность реализации его планов была довольно-таки ограничена: к концу 1847 года, за год до того как он оставил свой пост, обосновав это решение недостаточным знанием русского языка, Бэр уже потерял эффективный контроль над отделением⁵⁵. Но тем не менее его деятельность за два предыдущих года позволила выявить некоторые аспекты его мышления и возможности применения его видения этнографии на практике.

Как мы уже отмечали, важнейшим приоритетом для Бэра было сохранение редких этнографических сведений для будущих поколений. Поэтому неудивительно, что он горячо поддержал создание этнографического музея при Географическом обществе⁵⁶. Кроме того, Бэр снарядил экспедицию, которая, как он надеялся, должна была стать первой в длинном ряду других подобных экспедиций, посвященных изучению народов, находящихся под непосредственной угрозой культурного или даже физического исчезновения.

В своей речи перед собранием Географического общества Бэр упомянул два народа, которые находились на грани вымирания, — ливов и кревингов, жителей Балтийского побережья, расселившихся по берегам Рижского залива и на полуострове Курляндия. Согласно последним данным того времени, считалось, что осталось в живых всего семнадцать носителей языка ливов⁵⁷. Летом 1846 года Географическое общество по инициативе Бэра организовало экспедицию для изучения ливов и кревингов. Экспедиция состояла из выдающегося финского лингвиста и ученого Андрея Шегрена и портретиста по имени Пецольд.

Как обнаружили Шегрен и Пецольд, мрачные сведения Бэра относительно ливов были сильно преувеличены. Шегрен обнаружил не 17 носителей языка, а около 2000 ливов, проживавших в несколь-

ких рыбацких поселках на побережье Курляндского полуострова⁵⁸. С другой стороны, оказалось, что кревинги вовсе не являются национальностью — на самом деле это были эстонцы, жители островов, которых помещики в начале XVIII века вывезли на материк, чтобы те пополнили коренное население, вымершее от чумы⁵⁹.

Как лингвиста Шегрена в первую очередь интересовал язык ливов. Его первостепенной задачей было доказать принадлежность этого языка к финно-угорской группе. Исходя из этого, он сосредоточил свое внимание на отличительных особенностях этого языка и на соотнесении его с другими языками финно-угорской группы. Также его очень интересовала история ливов — были ли они потомками народа, который под тем же названием упоминался в средневековых источниках? Но Шегрен не чурался и более широких этнографических проблем: он собрал значительную информацию о национальной одежде, жилище, ремеслах, предрассудках, праздниках ливов и даже сделал некоторые попытки описать их национальный характер. Но кажется, что в основе всего этого можно было обнаружить первостепенные научные интересы Бэра. В своих инструкциях экспедиции, оставив детали на усмотрение Шегрена, Бэр сделал основной упор на сбор информации о физических особенностях ливов, потребовав детального описания их внешних признаков и даже сбора гипсовых слепков голов ливов для целей краниологии⁶⁰. Однако Шегрен в этом отношении оказался не очень исполнительным. Самое большее, что он мог сообщить, — это то, что ливы по физическим показателям не отличались от своих соседей латышей⁶¹.

Работы художника Пецольда, сотрудника Шегрена, напротив, не могли не порадовать Бэра. Во время своих путешествий Пецольд выполнил довольно большую серию рисунков и акварелей, изображающих ливов в их национальных костюмах и в окружении предметов их повседневного обихода⁶². Для подхода Бэра участие художника в экспедиции было очень характерно. В соответствии с традицией естественнонаучных дисциплин, Бэр придавал особое значение сбору артефактов — отсюда и его заинтересованность в создании этнографического музея. Хотя экспедиция и не доставила большого количества значимых артефактов, рисунки Пецольда превосходно заменили их, тем более что запечатлели людей в их родном окружении.

Лингвистическая работа Шегрена тоже явилась достойным исполнением плана Бэра по сохранению этнической информации. Как выяснилось, ливы не стояли на грани исчезновения, чего опасались этнографы вначале. Даже век спустя после экспедиции Шегрена на латвийском побережье все еще проживало не слишком большое, но все-таки значительное число ливов⁴³. Но исследование Шегрена, которое он позже продолжил при поддержке Академии наук, стало весомым вкладом в финно-угорскую лингвистику, поскольку содержало богатую информацию, которая могла оказаться недоступной для последующих исследователей⁴⁴.

Однако в работе Шегрена можно было также выявить и национальный элемент. Финн по происхождению, из крестьянской семьи, Шегрен принадлежал к школе финских фольклористов и лингвистов, посвятивших себя записи и сохранению финского национального наследия⁴⁵. Предметом заботы финских этнографов были различные финно-угорские племена, проживавшие на территории Российской империи. Подобно тому как Надеждин и другие русские этнографы видели в изучении славянских языков неотъемлемую часть этнографии русского народа, так и финны отыскивали своих собратьев во всех концах империи, чтобы пролить тем самым свет на свою историю и свою национальную идентичность. Поскольку исследование Шегрена входило в этот более широкий контекст — контекст финской этнографии, — оно воплотило способность этнографии исполнять роль средства выражения национальной идентичности.

Экспедиция Шегрена была последней возможностью для Бэра реализовать свое видение этнографии. Предложение, которое Бэр выдвинул на следующий год, — организовать еще одну экспедицию с участием Шегрена и Пецольда для изучения нерусского населения Санкт-петербургской губернии, так никогда и не было реализовано⁴⁶. К середине 1847 года «русская фракция» получила большинство в этнографическом отделении и стала перемещать акценты в своей деятельности на изучение русского народа и на воплощение того представления об этнографии, которое предложил Надеждин.

Исследование этнических русских требовало применения методологии, весьма отличающейся от той, что использовалась в экспедициях по изучению небольших исчезающих народностей. Для того чтобы собрать информацию о русском народе во всем его

разнообразии, Надеждин и его коллеги решили применить подробную программу для собирания сведений по этнографии, которую они распространяли среди корреспондентов через местных чиновников⁶⁷. Помимо очевидных процедурных преимуществ использования опроса — исследовать такую большую территорию с помощью экспедиций было бы практически невозможно, — техника опроса представлялась полезной и в том отношении, что местные наблюдатели могли бы предоставить дополнительные данные, восполнив недостаток учености детальным знанием местных условий⁶⁸.

Опора на местных корреспондентов имела значительные последствия для дальнейшего развития этнографии. Непосредственным результатом использования программы стало разделение между стадиями сбора материалов и их научного анализа. Поскольку местные корреспонденты не были специалистами, то и не ожидалось, что они подчинят свои наблюдения, как это делал Шегрен, решению каких-либо интерпретативных или теоретических проблем. Напротив, их наблюдения приобрели научную ценность как раз за счет чисто описательного подхода — отсутствия каких-либо открыто субъективных суждений и строгого соблюдения инструкций. Отчеты, прибывшие с мест, являли собой сырой исходный материал, строительные блоки для более широких обобщений, которые должны были осуществляться учеными-этнографами, посвященными в таинства науки. Таким образом, национальная этнография Надеждина с самого начала приобрела двойственный характер. С одной стороны, существовали исходные материалы — детальные описания языка, обычаев, традиционных ремесел и фольклора, оцениваемые с точки зрения их фотографической точности. С другой стороны, находилось надеждинское «чистительное горнило строгой, разборчивой критики», истинная сущность которого пока еще не была выяснена. Естественно, что обе стороны не были уравновешены по отношению друг к другу, и из этой несбалансированности выросло то, что, по большому счету, стало характерной чертой русского подхода к этнографии.

Этнографический опрос, для которого было напечатано и распространено 7000 копий программы, был проведен в 1848 году и принес его организаторам урожай данных, превзошедший все их ожидания⁶⁹. К 1853 году, когда было разослано второе издание программы, со всей европейской части России поступило

более 2000 ответов⁷⁰. Стало ясно, что этнографическое отделение отыскало очень богатый источник информации.

Большинство корреспондентов этнографического отделения остаются, по сути дела, анонимными; самое большее, что мы можем установить, — это их имена, место жительства и иногда социальное положение⁷¹. Однако исследование репрезентативной выборки показало, что большинство ответов исходило от сельских священников, которые благодаря своей грамотности и близости к крестьянству занимали исключительно выгодную позицию в отношении доступа к этнографическим данным. Свои ответы на вопросы этнографического отделения также предоставили школьные учителя, чиновники, помещики, семинаристы, купцы и даже крестьяне⁷².

Как же объяснить этот поток этнографической информации, хлынувший из провинции? С одной стороны, фактором повышенного интереса был покров таинственности, который окутывал все, связанное с наукой, а также престиж Русского географического общества. Другим важным фактором было чувство гордости за свою малую родину: сознание, что их местность представляет собой ценность для науки и вызывает интерес Географического общества, было для местных корреспондентов мощным стимулом к тому, чтобы потратить свое время и силы на нужды этнографии⁷³. Ответы на программу этнографического отделения не требовали каких-либо специальных умений или обучения, — нужна была лишь общая грамотность и умение наблюдать, что и делало проект реальным для исполнения. Географическое общество предприняло специальные меры для того, чтобы вызвать ощущение гордости за участие в проекте: авторам лучших ответов был присвоен статус члена-сотрудника Общества, другим были вручены благодарственные письма или же их имена были упомянуты в «Вестнике Географического общества»⁷⁴.

Получив из провинций столь богатый урожай данных, этнографическое отделение столкнулось с проблемой обработки полученного материала, переработки его в надеждинском «чистительном горниле» и превращения из сырых данных в полноценную этнографическую информацию. Тот метод анализа данных, который предложил Надеждин, — сравнительное изучение материалов, полученных из всех областей России, с целью выделить иностран-

ное влияние и определить истинную сущность «народности» — явно оказался слишком громоздким⁷⁵. Отчасти причиной тому был чрезвычайно большой объем и разнообразие исходных данных. Этнографическая программа включала в себя шесть различных разделов, в которых корреспондентов просили описать наружность, язык, домашний быт, особенности общественного быта, умственные и нравственные способности и образование и, наконец, предания и памятники местного населения. Вместо того чтобы анализировать ответы в целом, было решено разделить их в соответствии с предметом изложения и раздать для анализа отдельным членам этнографического отделения, изъявившим желание работать по той или иной проблематике⁷⁶.

Насколько деятельность ученых могла оказаться плодотворной, отчасти зависело от способности корреспондентов представить адекватные материалы в соответствии с требованиями опроса. Например, несмотря на то, что большинство ответов содержало хотя бы краткое описание внешнего вида местного населения, информация о физических данных совершенно не привлекала внимания ученых. Без объективных критериев измерения и описания физических черт, которые корреспонденты могли бы систематически использовать, та информация, которую они предоставили, в основном носила повествовательный характер, что делало все попытки сравнительного анализа бесполезными⁷⁷.

Сведения о языке — по Надеждину, «главном залого и главном признаке „народности“» — были включены в огромное количество материалов. Но несмотря на тщательность и старание, с которыми местные корреспонденты составляли региональные лексиконы и описывали местные диалекты, их усилия не произвели впечатления на выдающегося слависта, профессора Санкт-Петербургского университета Измаила Ивановича Срезневского, который изъявил желание просмотреть эти материалы. После просмотра материалов Срезневский заключил, что без необходимого обучения и опыта попытка любителей охарактеризовать местные диалекты «никогда не может быть вполне удовлетворительна»⁷⁸. Но несмотря на негативную оценку Срезневского, материалы этнографической программы широко использовались в диалектологии и славянской филологии. Филологи, которые в течение предшествующих двадцати лет вели споры о характере

и границах различных диалектов русского языка, легко усмотрели возможность использования материалов, полученных в результате опроса, для своих профессиональных целей⁷⁹.

Среди самых ценных материалов, которые доставила программа, оказались образцы фольклора, записанные местными корреспондентами. Это был тот самый случай, когда потребности этнографического отделения прекрасно совпали со способностями корреспондентов: запись фольклора с сохранением характера местных наречий, насколько это было возможно, оказалась задачей, с которой местные наблюдатели смогли справиться довольно легко. Не возникало вопросов и по поводу того, что делать с этими материалами. Прежде всего их надо было опубликовать. Первой и самой известной публикацией фольклора, появившейся в результате проведенного этнографического исследования, стали «Русские народные сказки» Александра Николаевича Афанасьева — книга, которая и по сей день остается наиболее полным и авторитетным собранием подобного рода⁸⁰.

Однако внедрение фольклора в научный дискурс оказалось гораздо более трудной задачей, чем просто сбор и публикация текстов. Сам Надеждин сделал серьезную попытку научного анализа фольклора в статье «О русских мифах и сагах», которую он представил Географическому обществу в 1852 году⁸¹. Опираясь на различные фольклорные жанры, Надеждин в своей статье пытался реконструировать древнее географическое сознание русских — ощущение «где я, и что вокруг меня» — на основе устной традиции. Выступление Надеждина было тепло встречено, однако никто из его коллег не последовал его примеру и не предпринял подобных исследований. Изучение русского фольклора и мифологии (что являлось основной составляющей российской этнографии в целом) происходило большей частью за пределами Географического общества⁸².

Остальные материалы этнографического исследования подпадали под обширную категорию «быта» — понятия, которое охватывает все аспекты повседневной жизни, начиная от орудий труда и домашней утвари и заканчивая обычаями и ритуалами. Информация о быте была представлена в особенно большом количестве. Опять-таки, в этой области местные корреспонденты могли предоставить приемлемую информацию при минимуме необходимого руководства. Для этнографического отделения информация

о быте была особо значима, поскольку она составляла основное ядро содержания этой дисциплины — эта область лежала практически вне сферы интересов существующих наук.

Сам термин «быт» способен многое рассказать о сущности национальной этнографии. Понятие быта как целостной совокупности материальных и культурных элементов, составляющих особый образ жизни, было уникальной чертой именно русской этнографии. В отличие от таких понятий, как «цивилизация», «просвещение» или «культура», которые преобладали в мышлении имперских этнографов и в России, и на Западе, «быт» не подразумевал никаких иерархий или сравнительных схем: невозможно выделить уровни или стадии быта. Сама этимология этого слова, происходящего от глагола «быть», говорит о его сущности: *быт* — это просто то, что есть.

Но что делать с «бытом» этнографу? Введение материалов о повседневной жизни в научный дискурс оказалось очень сложной задачей для членов этнографического отделения. Константин Кавелин, известный историк, незадолго до того оставивший преподавание в Московском университете, сделал существенный шаг в этом направлении в жестко критической статье об этнографическом произведении Александра Терещенко «Быт русского народа», опубликованном в 1848 году⁸¹. Кавелин утверждал, что книга Терещенко содержит много ценного материала, но проигрывает из-за применения произвольных и ненаучных методов анализа. Используя материалы Терещенко, Кавелин выдвинул несколько собственных идей о том, как элементы крестьянского быта могут пролить свет на некоторые исторические и социальные процессы.

Материалы этнографического исследования дали Кавелину возможность перейти от критики к практике и использовать методы, предложенные в ходе критики книги Терещенко, в приложении к конкретному материалу. Для Кавелина это было испытание, которое он (во всяком случае, сначала) воспринял с удовольствием. Как страстный противник крепостного права, трудившийся под началом Николая Милютина в Хозяйственном департаменте МВД, Кавелин особенно интересовался вопросом о том, каким образом данные о крестьянской жизни могли бы помочь отыскать возможные пути к освобождению крестьян⁸⁴. Пределом стремлений Кавелина было составление систематического обзора данных этно-

графических отчетов, предполагавшее группировку этих данных по темам, что позволило бы осуществлять сравнительное исследование определенных культурных элементов. Он начал работу над этим проектом с большим энтузиазмом, заполняя сотни карточек выписками из рукописных отчетов. Но когда материалы хлынули неудержимым потоком и масштабы предприятия стали казаться угрожающими, проект Кавелина замер на мертвой точке. В январе 1853 года, после трех лет работы, Кавелин объявил, что сдается, поскольку «местный колорит этнографических материалов, столь важных при исследовании их, в систематическом свode более или менее теряется»⁸⁵. Таким образом, первая и наиболее смело задуманная попытка провести детальный анализ этнографических отчетов окончилась, не принеся реальных результатов.

При отсутствии системного анализа лучшим из доступных решений было просто напечатать самые интересные тексты из местных отчетов. В 1853 году появился первый том «Этнографического сборника», который содержал несколько лучших отчетов местных корреспондентов. Первоначально планировалось включить в последующие тома обзор Кавелина и другие аналитические работы. Но когда проект Кавелина застопорился, издание продолжило выходить по схеме первого тома⁸⁶. Отчеты из губерний сначала публиковались в периодически выходившем журнале Общества, а затем в собрании «Этнографического сборника».

Результатом неудачной попытки Общества интегрировать собранные материалы о быте в аналитический дискурс стало усиление описательной ориентации всей российской этнографии. В «Этнографическом сборнике» русскому читателю впервые были представлены публикации, специально посвященные этой нарождающейся дисциплине. Там читатели обнаружили описания крестьянской жизни, обычно хорошо составленные и систематичные, изобилующие увлекательными подробностями о жизни местного населения. Но они не нашли там анализа, сравнений, критического обсуждения источников или общих теорий — традиционных показателей научного подхода. Неудивительно, что у читателей возникло впечатление, что это и есть этнография и что для этой науки нет никакой нужды в более высоком уровне анализа. В течение 1850–1860-х годов этнографию в основном понимали как сбор и компиляцию материалов о фольклоре и повседневной жизни

простого народа⁸⁷. В этом смысле этнография включала в себя создание самостоятельных представлений о народе. Взятые сами по себе, эти представления выражали региональный и национальный характер описываемого населения, а вместе они слагались в громадную картину, отражающую сущность империи как целого.

Даже когда этнографы направили свое внимание на не-славянское население империи — так называемых «инородцев», в силе оставалась господствующая парадигма этнографии как описания национальности. Несмотря на то, что исследование, проведенное этнографическим отделением, было открыто ориентировано на изучение этнических русских, в Обществе сохранялся большой интерес к другим народам империи. В 1850 году востоковед Павел Савельев даже создал специальную программу сбора этнографических сведений, посвященную «инородцам», которая должна была распространяться наряду с основной программой⁸⁸. Программа Савельева так никогда и не была распространена, но ее включили в похожую программу, составленную Надеждиным и опубликованную Географическим обществом при подготовке экспедиции на Камчатку⁸⁹. Незадолго до своей смертельной болезни, в 1853 году, Надеждин начал исследование мордвы и составил свод упоминаний об этом народе в русских летописях и других исторических документах⁹⁰. После смерти Надеждина собранные им материалы по мордве были переданы писателю и этнографу Павлу Мельникову (Печерскому), который использовал их для собственного исследования, опубликованного в 1860-х годах⁹¹.

Изучение «инородцев» довольно-таки хорошо укладывалось в рамки описательного направления, сформировавшегося в ходе работы по изучению этнических русских. Для этнографов, исследующих «инородцев», фактическая информация была самой насущной необходимостью. Изучение туземных народов в отдаленных районах империи, многие из которых были практически неизвестны ученым, высвечивало более определенный круг проблем, чем изучение этнических русских: «Кто эти люди? Как они выглядят? На каком языке разговаривают? Как они называют себя? Где они живут? Какую религию исповедуют? Что они знают о своем прошлом?» Вооруженные подобного рода вопросами, этнографы могли яснее ощутить целесообразность своей работы и осознать свою принадлежность к науке. В тоже время они могли

не без оснований утверждать, что их больше всего интересуют точные этнографические факты, не окрашенные никакими концептуальными схемами или попытками интерпретации.

Хотя этнографическое отделение в целом в 1850-х годах достигло сравнительно немногого в изучении «иностранцев», отдельные его члены провели весьма значительную работу. Местные корреспонденты предоставляли статьи о туземных народах. Лучшие из этих работ в течение 1850-х годов появлялись в журнале Общества и в специальном томе «Этнографического сборника», посвященном «иностранцам» и опубликованном в 1858 году.

Работы по нерусским народам, опубликованные Географическим обществом в 1850-х годах, обращают на себя внимание тем, что они отличаются описательным характером и явно демонстрируют отстраненную, непредвзятую позицию авторов. Павел Небольсин, чиновник Министерства внутренних дел, занявшийся этнографическими исследованиями при сборе статистических данных по торговле между Южной Россией и Средней Азией, в своей статье о калмыках так объяснял отличия своего подхода от работ его предшественников, занимавшихся теми же проблемами в XVIII веке: «Постоянно проводя время с Калмыками и стараясь во всем подделываться под их обыкновения и привычки, с целью как можно ближе освоиться с их нравами и обычаями, я, может быть, до такой степени увлекся привязанностью к своему предмету, что стал менее других строг к недостаткам, которые вменяются Калмыкам в вину, и занимался мелочами, не обратившими на себя внимания других»²².

На протяжении всего своего длительного и детального исследования, затрагивающего такие темы, как родовая система, свадебные ритуалы, кочевые переселения, жилище, домашняя утварь, пища и обычаи гостеприимства, Небольсин совершенно не пытается указать место калмыков в какой-либо общей иерархии рас или народов и определить степень их «дикости». По большому счету, очевидно, что он принял калмыков такими, какими они были, и пытался узнать об их жизни как можно больше, сводя к минимуму посторонние суждения.

Все работы по «иностранцам», опубликованные Географическим обществом, — даже те, которые были написаны представителями православной церкви и описывали различные аспекты

религиозной жизни, — все в той или иной мере имели такую же описательную направленность, как и работа Небольсина³¹. Трудно сказать, отражало ли это культурные особенности русских в целом, но во всяком случае это явно свидетельствовало о приоритетах тех людей, которые принимали решение о том, чьи работы достойны публикации. Так, Надеждин ясно обозначил критерии научной ценности этнографических наблюдений. В своих инструкциях членам камчатской экспедиции он рекомендовал, чтобы этнографы, «наблюдающие по сим предметам, излагали бы свои в рассуждении их впечатления так, как они будут ими получаемы, не только без всякого украшения, но даже и без всякого анализа»³⁴. В другом случае Надеждин выделил работу одного местного корреспондента на том основании, что он описывал быт крестьян «прямо с натуры, как он есть, без всяких украшений и умствований»³⁵.

Позиция этих этнографов по отношению к «инородцам» покажется еще более поразительной при сопоставлении их работ с трудами западных коллег. Можно, к примеру, обратить внимание на язык, которым пользовался для описания американских индейцев выдающийся американский этнолог Генри Роу Скулкрафт, также трудившийся в 1850-х годах: «Изо всех рас на земле, которые были изгнаны из своих родных мест и отброшены к крайнему варварству, они, очевидно, менее всего изменились и сохранили свой физический и умственный облик с очень малыми изменениями. На земле еще не было расы более непрактичной, более прикованной к безымянным племенным принципам, более чуждой изменениям, которые могли бы пойти ей же на пользу, более глухой к словам наставлений и более упрямой в отстаивании того, что и вело ее к гибели»³⁶.

Контраст между воззрениями Скулкрафта и русских ученых — таких, как Небольсин, — указывает на фундаментальные различия в их понимании науки. Позиция Скулкрафта основывалась на общем видении истории человечества, которое коренилось в библейской ортодоксии. Это проявлялось в том факте, что Скулкрафт рассматривал развитие рода человеческого как процесс вырождения — дикость для него была результатом первородного грехопадения, — а также в том, что он воспринимал индейцев как единую расу, а не как собрание племен: то, что на другом конце земного шара могли бы воспринимать как национальное самосозна-

ние, для Скулкрафта было всего лишь «безымянными племенными принципами».

Сделав центральным объектом своих исследований народность, русские этнографы избегали таких глобальных проблем человеческого рода в целом. Не случайно, например, диспут, сыгравший решающую роль в развитии западноевропейской этнологии и антропологии в период до 1860 года, — спор между моногенистами и полигенистами о единстве человеческого рода, — не вызвал сколько-нибудь существенного отклика русских ученых, хотя, без сомнения, они были достаточно хорошо информированы как о научной деятельности, так и о сфере интересов своих европейских коллег⁷⁹. Если же проблемы расовых различий и становились предметом обсуждения, то обычно это происходило в рамках сравнительной анатомии или, позже, антропологии, которая с 1860-х годов стала развиваться как отдельная область науки, занимающаяся исключительно изучением физических характеристик человека с точки зрения естественных наук⁸⁰. Таким образом, этнография могла свободно сосредоточить свое внимание на проблеме выражения принципа «народности» в культуре и быте простых людей. Только в 1880-х годах, вероятно, под влиянием эволюционизма, труды русских этнографов стали отражать целостную концепцию всеобщей истории человечества⁸¹. Однако к тому времени парадигма этнографии как описания народности уже глубоко укоренилась в русской науке и впредь оставалась ее неизменной отличительной чертой, несмотря на стремление академических этнографов насадить более теоретический подход к этой дисциплине⁸².

Заключение

Таким образом, мы отметили отличительные черты, характеризующие этнографию середины девятнадцатого века в России: ее внимание к проблеме народности, склонность к описательным повествованиям и относительно терпимое отношение к менее развитым народам. Как, в таком случае, объяснить подобную ориентацию? В поисках ответа на этот вопрос мы вновь должны вернуться к проблеме взаимоотношений между наукой, империей и народностью.

Как мы увидели, представления о науке тех людей, которые возглавили Географическое общество после поражения «немецкой фракции», были чисто практическими, почти утилитарными. «Просвещенные бюрократы» были заинтересованы в применении научных методов для получения информации, полезной для управления государством и для подготовки основ будущей реформы. Абстрактные теоретические размышления о природе человеческой расы мало их интересовали. Типичным представителем такого круга ученых был Небольсин: оставленное им описание системы управления, существовавшей у калмыков, их социальной организации и культурных особенностей изобилует такой практической информацией, которую просвещенный администратор мог бы найти весьма полезной¹⁰¹.

Помимо всего прочего, «просвещенные бюрократы» были озабочены проблемой отмены крепостного права, и в этом случае этнографические описания играли двойную роль. С одной стороны, этнографические описания социальных и юридических норм, по которым жило крестьянство, представляли ценность, поскольку давали прямые указания на то, как можно улучшить местное управление. С другой стороны, свидетельства о том, что представляет собою русский народ, служили средством для убеждения общественности в насущной необходимости реформы. Привыкшие к нюансам эзопова языка читатели с легкостью могли бы сопоставить описания крестьянства как носителя самых древних национальных традиций России с крепостническими реалиями и прийти к соответствующим выводам¹⁰².

Однако было бы неверно объяснять наличие особых черт в русской этнографии только утилитарным подходом. Такие личности, как Надеждин, Григорьев и Срезневский, несмотря на их близость к чиновничеству, прежде всего были учеными, и, чтобы понять направленность их научной деятельности, мы должны обратиться к факторам, которые уходят своими корнями в природу Российской империи и русского национального самосознания.

Едва ли можно не согласиться с тем, что содержание и методы антропологии и этнологии в Западной Европе в значительной мере формировались в контексте экспансии и создания колониальных империй¹⁰³. Особенности русской колониальной экспансии оказали тем не менее совершенно иное воздействие на

русскую этнографию. «Инородцы» в России жили не далеко за океанами, не в чуждых и невыносимых климатических условиях, как это было в европейских колониальных империях. Это были те же самые народы, с которыми россияне сосуществовали в более или менее близком общении в течение веков. Их названия постоянно встречаются в исторических документах со времен «Повести временных лет». Их отношения с Российским государством часто восходят еще к московскому периоду, и в некоторых случаях они больше напоминают средневековые феодальные отношения, чем империалистические, характерные для девятнадцатого века. Более того, представители элиты «инородцев» легко вливались в состав русского дворянства. Имена таких известных дворян, как Карамзин, Черкасский, Кочубей и Багратион, красноречиво напоминали об их предках-инородцах. Если рассматривать отношения русских с их неславянскими соседями, по крайней мере теми, кто жил к западу от Урала, то больший смысл имела бы параллель с процессами внутренней интеграции национальных меньшинств, которые шли в Великобритании, Франции и Испании, чем с колониальной экспансией этих стран. В данном контексте споры между полигенистами и моногенистами не имели никакого отношения к обсуждению отношений между национальностями в Российской империи.

Еще одним фактором, который не позволял России принять западную этнологическую парадигму, были ее собственные отношения с Западом. «Имперский» подход к этнографии во Франции, Германии и Британии основывался, прежде всего, на строгой и жесткой иерархии наций и рас. Для России, оказавшейся в узах болезненно амбивалентных отношений с западноевропейской культурой, такое представление об «иерархии бытия» могло быть изначально неприемлемым. Ведь если Россия еще не достигла такого же уровня развития, как Запад, этот факт необходимо было объяснить — задача, которая ничуть не могла прельстить патристически настроенных русских (таких, как Надеждин), особенно если такое объяснение должно было опираться на риторику и методологию расового и географического детерминизма западной этнологии. Гораздо более привлекательной была возможность выстроить свое понимание науки вокруг понятия «народность» — отличительных черт, свойственных любой нации с ее уникальной

и безошибочно узнаваемой спецификой. Принимая эту ориентацию, русские этнографы выразили стремление всего образованного общества к идеалу *самобытности* (культурных манифестаций, которые — включая науку — вырастают из органического единства с духом нации) и посвятили себя служению этой цели. Таким образом, хотя наука, быть может, и сыграла свою роль в формировании понятий «империя» и «нация», но империя и нация — вне всякого сомнения — также сыграли свою роль в формировании концепций самой науки.

Примечания

1 Об основании Географического общества см.: *Алексеев А.И.* Федор Петрович Литке. М., 1970; Переписка Карла Бэра по проблемам этнографии / Публикация, перевод и примечания Т.А.Лукиной. Л., 1970. С. 62–70. Обобщающие работы об истории Географического общества: *Берг Л.С.* Всесоюзное географическое общество за сто лет. М.; Л., 1946; *Семенов П.П.* История полувековой деятельности Русского географического общества, 1845–1895: В 3 т. СПб, 1896; Двадцатилетие Императорского Русского географического общества. СПб, 1872. Для выяснения некоторых постоянно встречающихся ошибок и неверных представлений см.: *Сухова Н.Г.* Еще раз о предыстории Русского географического общества // Известия Всесоюзного географического общества. 1990. Т. 122. Вып. 5. С. 43–48.

2 О присвоении обществу звания Императорского см.: Архив Русского географического общества [далее — АРГО]. Ф. 1-1845. Оп. 1. Д. 1. Л. 99.

3 Первое географическое общество было основано в Париже в 1821 году. За ним возникло Берлинское географическое общество (1828) и Королевское географическое общество в Лондоне (1830). Такие же общества были созданы во Флоренции (1824), Дрездене (1831), Бомбее (1836), Франкфурте (1837), Бостоне (1840), Рио-де-Жанейро (1839), и Нью-Йорке (1850). См.: Обзорение Географического общества // Вестник Императорского географического общества [далее — ВИРГО]. 1855. Т. 13. Отд. 5, 8–14.

4 Это определение объекта этнографии взято из оригинала проекта Географического общества, представленного Николаю I Л.А. Перовским. См.: *Берг Л.С.* Указ. соч. С. 33. Автором данной части проекта, по всей видимости, был Карл фон Бэр, хотя у Берга есть другие предположения на этот счет. По вопросу о роли Бэра см.: Русское географическое общество и этнография, 1845–1861 // Советская этнография. 1946. № 4. С. 188–189.

5 АРГО. Ф. 1-1845. Оп. 1. Д. 1. Л. 21. Текст речи Литке опубликован в «Записках Русского географического общества» [далее — ЗРГО] (1846. Кн. 1. С. 29–32), а также в следующей работе: *Семенов П.П.* Указ. соч. Т. 3. Приложение 1. С. 1317–1318.

6 АРГО. Ф. 1-1845. Оп. 1. Д. 1. Л. 21.

7 ЗРГО. 1846. Кн. 1. С. 31-32.

8 Первоначальное сообщение о создании Географического общества содержало слова о том, что Общество, «имея одним из главных предметов обработки статистики России... принадлежит к ведению Министерства внутренних дел». См.: АРГО. Ф. 1-1845. Оп. 1. Д. 1. Л. 14. Этот пункт не оказал никакого влияния на деятельность Географического общества и явно был удален при принятии устава общества в 1849 году.

9 См.: *Lincoln W.B. In the Vanguard of Reform: Russia's Enlightened Bureaucrats, 1825-1861. DeKalb, Ill., 1982. P. 109-125.*

10 Литке, очевидно, был удовлетворен решением Перовского представить проект императору. Он позднее писал Врангелю, что Уваров едва ли столь удачно справился бы с этим делом. См.: *Алексеев А.И. Указ. соч. С. 197.*

11 Самым знаменитым среди ученых, которых Уварову удалось привлечь к работе по развитию этнографии, был Карл фон Бэр (*Karl von Baer*), поселившийся в России в середине 1830-х годов. Уваров также пригласил в Россию Александра Миддендорфа, чья экспедиция в Сибирь стала побудительным толчком к созданию Географического общества и который в 1846-1847 годах служил помощником председателя этнографического отделения — Карла фон Бэра. В числе других ученых, приехавших в Россию по приглашению Уварова, были зоолог Иоганн Брандт, химики Герман Гесс и Мориц Якоби, физики Генрих Ленц и Адольф Купфер. См.: *Vucinich A. Science and Russian Culture: A History to 1860. Stanford, 1960. P. 299-305. Дополнительно о деятельности С.С. Уварова см.: Whittaker C.H. The Origins of Modern Russian Education: An Intellectual Biography of Count Sergei Uvarov, 1786-1855. DeKalb, Ill., 1984 [Буммекер Ц.Х. Граф Сергей Семенович Уваров и его время. СПб., 1999].*

12 О «просвещенных бюрократах» и об их участии в Русском географическом обществе см.: *Lincoln W.B. Op. cit. P. 91-101.*

13 Состав совета Общества можно найти в следующем издании, где приведен перечень членов совета в хронологическом порядке: Двадцатилетие Императорского Русского географического общества... С. 246.

14 Отчет Русского географического общества за 1846/47 год // ЗРГО. 1849. Кн. 3. С. 16.

15 О ситуации в статистическом отделении см.: *Берг Л.С. Указ. соч. С. 173-174.*

16 Там же. С. 36. И Берг, и Семенов утверждают, что временный устав был практически полностью заимствован у Королевского географического общества в Лондоне. Однако более детальный анализ заставляет усомниться в этом. В действительности Королевское географическое общество не имело устава как такового и вплоть до 1858 года руководствова-

лось в своей деятельности простым сводом правил. Возможно, процедура избрания и пополнения управляющего совета Общества была заимствована именно из этих правил. Однако важнейшие аспекты временного устава, особенно касающиеся отделений Общества, совершенно не были связаны с Королевским географическим обществом. См.: *Mill H.R. The Record of the Royal Geographical Society, 1830–1930. London, 1930.* Я благодарен Н.Г. Суховой за то, что она указала на это противоречие.

17 АРГО. Ф. 1-1845. Оп. 1. Д. 1. Л. 60; Семенов П.П. Указ. соч. Т. 3. С. 10.

18 Отдельное мнение Д.А. и Н.А. Милютиных и В.С. Порошина на проект устава общества // Семенов П.П. История полувековой деятельности Русского географического общества. Т. 3. Приложение 3. С. 1320–1321. Дата этого меморандума не упомянута в книге Семенова. Однако, исходя из более поздней записки Николая Милютина, мы можем установить, что он был написан 19 мая 1848 года. См.: АРГО. Ф. 1-1847. Оп. 1. Д. 27. Л. 186.

19 Замечания к проекту устава см.: АРГО. Ф. 1-1847. Оп. 1. Д. 21. Обзор этих замечаний, составленный Надеждиным, Левшиным и Чевкиным, можно найти на л. 190–208.

20 РГИА. Ф. 853 (Григорьев). Оп. 1. Д. 10 (проект нового устава Русского географического общества и замечания к нему).

21 АРГО. Ф. 1-1847. Оп. 1. Д. 21. Л. 137. Эта критическая оценка была сделана П.С. Савельевым.

22 РГИА. Ф. 853. Оп. 1. Д. 10. Л. 10. Рукописный вариант записки Григорьева, подписанной также Константином Неволлиным, можно найти и в архиве Русского географического общества (АРГО. Ф. 1-1847. Оп. 1. Д. 21. Л. 69). Отрывки из нее были опубликованы в следующей работе: *Веселовский Н.И. Василий Васильевич Григорьев по его письмам и трудам.* СПб., 1887. С. 93–97.

23 Там же.

24 Основание в С.-Петербурге Русского географического общества и занятия его с сентября 1845 по май 1846 года // ЗРГО. 1846. Кн. 1. С. 41.

25 Так, А.В. Головинин провел детальное исследование жизни латышских крестьян для Министерства внутренних дел, о чем он впоследствии упоминает в своих воспоминаниях. См.: ОР РНБ. Ф. 208 (Головинин). Д. 1. Л. 68–86.

26 См. библиографию работ Бэра в следующей работе: *Райков Б.Е. Карл Бэр — его жизнь и труды.* М.; Л., 1961. С середины 1840-х годов в печати время от времени стали появляться работы Бэра на русском языке, но обычно это были просто переводы с немецкого.

27 Отчет Русского географического общества за 1848 г. // ЗРГО. 1849. Кн. 4. С. 309.

28 АРГО. Ф. 1-1847. Оп. 1. Д. 23. Л. 160.

- 29 Это отметил Савельев в своей записке. См.: Там же. Л. 144–145.
- 30 РГИА. Ф. 853. Оп. 1. Д. 10. Л. 14. См. также: *Веселовский В.В.* Указ. соч. С. 96.
- 31 АРГО. Ф. 1-1847. Оп. 1. Д. 23. Л. 165.
- 32 Там же. Л. 211. См. также: АРГО. Ф. 1-1848. Оп. 1. Д. 8 (Журнал комиссии для пересмотра временного устава РГО).
- 33 АРГО. Ф. 1-1845. Оп. 1. Д. 1. Л. 95. Выдержки из записки Литке опубликованы в следующей работе: *Семенов П.П.* Указ. соч. Т. 3. С. 1321–1322.
- 34 *Бэр К.М.* Об этнографических исследованиях вообще и в России в особенности // ЗРГО. 1846. Кн. 1. С. 94–115; *Надеждин Н.И.* Об этнографическом изучении народности русской // ЗРГО. 1846. Кн. 2. С. 61–115. Статья Бэра была написана в марте, а Надеждина — в ноябре 1846 года. Статья Надеждина недавно была переиздана вместе с краткой биографической справкой. См.: *Соловей Т.Д.* Николай Иванович Надеждин: У истоков отечественной этнографической науки // Этнографическое обозрение. 1994. № 1. С. 103–106; а также: *Надеждин Н.И.* Об этнографическом изучении народности русской // Там же. С. 107–117; № 2. С. 124–139.
- 35 *Бэр К.М.* Указ. соч. С. 86–88.
- 36 Так, Бэр писал: «быт народный, соответствующий природе, все более и более изгоняется просвещением запада. Посему-то еще настоятельнее является надобность сохранить для будущего, в верных описаниях, особенности народного быта, прежде нежели это будет поздно» (Там же. С. 91).
- 37 *Надеждин Н.И.* Об этнографическом изучении народности русской // ЗРГО. 1846. Кн. 2. С. 61.
- 38 Об этнографии и литературе см.: *Пыпин А.Н.* История русской этнографии. СПб., 1890. Т. 1. С. 390–424 и след.
- 39 *Надеждин Н.И.* Указ. соч. С. 62–64.
- 40 *Бэр К.М.* Указ. соч. С. 80–81. Заметим, что Бэр не ставил этот вопрос открыто, но из всего хода его рассуждений ясно, что для него то была основополагающая концептуальная проблема, которой должна заниматься этнография.
- 41 Об этом Бэр писал: «Когда земная ось получила свое наклонение, вода отделилась от суши, поднялись хребты гор, и отделились друг от друга страны, судьба человеческого рода была определена уже наперед... Всемирная история есть не что иное, как осуществление этой предопределенной участи» (*Бэр К.М.* О влиянии внешней природы на социальные отношения отдельных народов и историю человека // Карманная книга для любителей земледения. СПб., 1848. С. 232).
- 42 *Бэр К.М.* Об этнографических исследованиях... С. 80–81.
- 43 Например, анализируя свои путешествия с рыбацкими артелями на русском Крайнем Севере, он уделял внимание не тому, что делало

рыбаков русскими, а скорее тому, как жесткие природные условия создали некую совокупность обычаев и ценностей, заметно отличающихся от обычаев и ценностей обыкновенных русских людей. См.: Там же. С. 113-115.

44 Надеждин Н.И. Указ. соч. С. 66-67.

45 Там же. С. 67.

46 Надеждин Н.И. Литературная критика. Эстетика. М., 1972. С. 440-441.

47 О ранних годах жизни Надеждина см. подробное биографическое исследование: Козьмин Н.К. Николай Иванович Надеждин: Жизнь и научно-литературная деятельность. СПб., 1912.

48 Попытку представить анализ той роли, которую национальность сыграла в жизни и карьере Бэра, см.: *Oppenheimer J.M. Science and Nationality: The Case of Karl Ernst von Baer (1792-1876) // Proceedings of the American Philosophical Society. 1990. Vol. 134. № 2. P. 75-82.* Биографию Бэра см.: *Райков Б.Е. Жизнь и труды К.М. Бэра. М.; Л., 1961.*

49 О геттингенской школе см.: *Lenoir T. The Göttingen School and the Development of Transcendental Naturphilosophie in the Romantic Era // Studies in the History of Biology. 1981. Vol. 5. P. 143-149.*

50 О Блуменбахе и его влиянии на Бэра см.: *Lenoir T. Kant, Blumenbach and Vital Materialism in German Biology // Isis. 1980. Vol. 71. P. 77-108.*

51 *Lenoir T. Op. cit. P. 113.*

52 Смену воззрений Надеждина можно проследить по серии его исторических статей, которые он опубликовал в 1837 году в «Библиотеке для чтения». См.: *Надеждин Н.И. Об исторических трудах в России // Библиотека для чтения. 1837. Т. 20. Отд. 3. С. 93-136; Он же. Об исторической истине и достоверности // Там же. С. 137-74; Он же. Опыт исторической географии русского мира // Там же. Т. 22. С. 27-79.*

53 Об общем направлении развития этнографии в Западной Европе см.: *Stocking G. Victorian Anthropology. N.Y., 1987. P. 47-77.*

54 См.: *Бромлей Ю.В. Этнос и этнография. М., 1973. С. 189.*

55 *Семенов П.П. Указ. соч. Т. 1. С. 36.*

56 В своем большом докладе на заседании общего собрания Общества в апреле 1848 года Бэр доказывал необходимость создания такого музея. См.: *Географические известия. 1848. Вып. 2. С. 35-40.*

57 *Бэр К.М. Об этнографических исследованиях... С. 94; АРГО. Ф. 1-1846. Оп. 1. Д. 4. Л. 7-9.*

58 Извлечение из отчета, представленного Русскому географическому обществу членом-сотрудником А. Шегренем об этнографической экспедиции в Лифляндию и Курляндию // *ЗРГО. 1847. Кн. 2. С. 254-255.*

59 Там же. С. 259.

60 АРГО. Ф. 1-1846. Оп. 1. Д. 4. Л. 31.

61 Извлечение из отчета... С. 255.

62 Некоторые из рисунков Пецольда воспроизведены: *Берг Л.С.* Указ. соч. Оригиналы рисунков до сих пор хранятся в АРГО.

63 О ливах см.: *Народы мира: Этнографические очерки. Народы европейской части СССР. Т. 2. М., 1964. С. 202–208.*

64 Там же. С. 208.

65 Биографическую информацию о Шегрене см.: *Русский биографический словарь. СПб., 1911. Т. 15. С. 29–36.* О финских этнографах см.: *Странствующие финляндцы и производимые ими этнографические исследования // Санкт-Петербургские ведомости. 1848. № 154.* О Матиасе Кастрене, самом известном финском этнографе, см.: *Токарев С.А. История русской этнографии. М., 1966. С. 220–222.*

66 АРГО. Ф. 1-1846. Оп. 1. Д. 4. Л. 33.

67 Общие сведения об этнографической программе исследования см.: *Рабинович М.Г. Ответы на программу Русского географического общества как источник для изучения этнографии города // Очерки истории русской этнографии, фольклористики и антропологии. М., 1971. Вып. 5. С. 39.* Подлинный текст этнографической программы никогда не был опубликован. Окончательный вариант проекта с огромным количеством правок можно найти в: АРГО. Ф. 1-1846. Оп. 1. Д. 4. Л. 60–73. Копию окончательной версии в том виде, как она была распространена, можно найти в личных бумагах П.И. Кеппена (АРГО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 215. Л. 14–20).

68 В тексте этнографической программы отмечалось, что сведения «должны быть собираемы на самих местах и притом лицами, которые близко знакомы с образом жизни, языком, правами и обычаями тех классов населения, в коих национальные особенности сохраняются наиболее» (АРГО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 25. Л. 14). Незадолго до того как программа была выпущена, Александр Яновский представил записку, где он отстаивал необходимость использования местных корреспондентов, особенно церковных служителей. См.: АРГО. Ф. 1-1846. Оп. 1. Д. 4. Л. 45.

69 Обзор первых ответов на вопросы этнографической программы, где ярко отразились восхищение и удивление, см.: *Кавелин К.Д.* Некоторые извлечения из собираемых в ИРГО этнографических материалов о России, с заметками об их многосторонней занимательности и пользе для науки // *Географические известия. 1850. Вып. 3.* Эта статья также опубликована в «Собрании сочинений» К.Д. Кавелина (СПб., 1897. Т. 4).

70 Переписка, касающаяся распространения этнографической программы 1848 года, не сохранилась. Однако переписку по поводу второго издания этнографической программы можно найти в: АРГО. Ф. 1-1852. Оп. 1. Д. 5 («О напечатании и рассылке этнографической программы»). Л. 22. Данные о том, что было получено 2000 ответов, опубликованы: *Этнографический сборник. СПб., 1853. Вып. 1. С. VII.*

71 Такие данные по большинству отчетов можно найти в: Зеленин Д.К. Описание учебного архива Императорского Русского географического общества: В 3 т. СПб., 1915–1917. Однако информация Зеленина далеко не полна. Четвертый том, с данными по губерниям с начальной буквой названия от «С» до «Я», так никогда и не был опубликован.

72 Список был составлен Александром Яновским по просьбе Надеждина. Из 305 присланных рукописей 174 были составлены сельскими священниками. На втором месте, со значительным отрывом, были отчеты учителей и директоров школ (38), в то время как городские чиновники представили 20 рукописей. Были также получены отчеты от помещиков (15), членов-сотрудников Географического общества (10), доктора (1), семинаристов (6), купцов и мещан (8) и крестьян (7). Двадцать пять корреспондентов не указали своей социальной принадлежности. См.: Семёнов П.П. Указ. соч. Т. 1. С. 109–110. Более подробные данные из доклада Яновского см.: ВИРГО. 1854. Т. 10. Отд. 6. С. 17–18. Об инициативе этого проекта см.: ВИРГО. 1852. Т. 5. Отд. 7. С. 48.

73 О гордости, которую испытывали местные корреспонденты, свидетельствуют письма Спиридона Михайлова А.И. Артемьеву: ОР РНБ. Ф. 37 (Артемьев). Д. 497. Отрывки из этих писем опубликованы:

Михайлов С.М. Труды по этнографической истории русского, чувашского и марийского народов. Чебоксары, 1972. С. 232–240.

74 ВИРГО. 1851. Т. 2. Отд. 1. С. 34.

75 См.: Надеждин Н.И. Указ. соч. С. 78–82.

76 К.Д. Кавелин в истории освобождения крестьян // Русская старина. 1887. Т. 53. С. 438.

77 На это было обращено внимание в следующей работе: Рабинович М.Г. Указ. соч. С. 38.

78 Срезневский И.И. Замечания о материалах для географии русского языка // ВИРГО. 1851. Отд. 5. С. 16–19.

79 О русской диалектологии см.: [Надеждин Н.И.] Племя русское в общем семействе славян – по Шафарику // Журнал Министерства внутренних дел. 1843. Ч. 1. Систематизация русских диалектов, предложенная Надеждиным, была подробно описана в статье, которую он написал на немецком языке: *Jahrbücher der Litteratur*. Vienna, 1841. Vol. 95. См. также: Даль В.И. Опыт областного великорусского словаря // ВИРГО. 1852. Т. 6. Отд. 4. С. 1–72.

80 Во введении к первому изданию собрания русских сказок Афанасьев пишет: «Кроме сказок, записанных лично мною, в настоящее издание войдет большой запас памятников этого рода, записанных в разных местах империи и доставленных в Императорское Русское географическое общество вместе с другими этнографическими сведениями... Это прекрасное собрание представляет много в высшей степени любопытного. Многие

из этих сказок записаны превосходно, с удержанием всех особенностей народного говора; другие хотя и записаны языком более книжным, чем народным, и не всегда грамотно, но чужды всякого произвольного, нарочно придуманного искажения» (Народные русские сказки А.Н. Афанасьева. В 3 т. М., 1986. Т. 3. С. 349). Об использовании коллекции Географического общества для других публикаций фольклора см.: *Берг Л.С.* Указ. соч. С. 148, а также: *Азадовский М.К.* История русской фольклористики: В 2 т. М., 1963. Т. 2. С. 17.

81 *Надеждин Н.И.* О русских народных мифах и сагах // Русская беседа. 1857. Т. 3. Кн. 7. С. 1–19; Т. 4. Кн. 8. С. 19–63.

82 Исследования русского фольклора в 1850–1860-х годах находились под влиянием «мифологической школы» во главе с Федором Буслаевым, который, в свою очередь, был последователем Якоба Гримма. Довольно основательный анализ творчества Буслаева и его коллег можно найти в следующем исследовании: *Баландин А.И.* Мифологическая школа и русская фольклористика: Ф.И. Буслаев. М., 1988. См. также: *Пыпин А.Н.* История русской этнографии. СПб., 1891. Т. 2. С. 75–109.

83 *Кавелин К.Д.* Быт русского народа // Современник. 1848. Т. 11-1, 11-2, 12-2. Статья была также переиздана в «Собрании сочинений» К.Д. Кавелина (СПб., 1900. Т. 4).

84 О том, как виделась Кавелину связь этнографии и вопросов отмены крепостного права, см.: К.Д. Кавелин в истории освобождения крестьян // Русская старина. 1887. Т. 53. С. 438. См. также: *Корсаков Д.А.* Жизнь и деятельность К.Д. Кавелина // Кавелин К.Д. Собрание сочинений. СПб., 1897. Т. 1. С. XXI.

85 ВИРГО. 1853. Т. 8. Отд. 9. С. 22.

86 См.: Протокол заседания этнографического отделения от 31 октября 1852 года // ВИРГО. 1853. Т. 7. Отд. 9. С. 20. О решении Кавелина по поводу издания второго тома «Этнографического сборника» см.: АРГО. Ф. 1-1850. Оп. 1. Д. 23. Л. 16.

87 Примером такого понимания задач этнографии может служить деятельность Павла Ивановича Якушкина, чей исторический портрет воссоздан в работе Эббота Глизона: *Gleason A. Young* Russia. N.Y., 1980.

88 Отчет ИРГО за 1851 г. // ВИРГО. 1852. Т. 4. С. 75.

89 Свод инструкций для камчатской экспедиции, предпринимаемой Императорским Русским географическим обществом. СПб., 1852.

90 Отчет ИРГО за 1852 г. // ВИРГО. 1853. Т. 7. Отд. 1. С. 76; *Семенов П.П.* Указ. соч. Т. 1. С. III.

91 *Мельников П.И. (Андрей Печерский).* Очерки мордвы. Саранск, 1981. Первая часть исследования Мельникова представляет собой описание истории мордовского народа, основанное на многочисленных отрывках

из русских летописей – материалах, которые собрал Надеждин. Кроме того, Мельников цитирует мордовский эпос, собранный в 1848 году архиепископом Нижегородским Иаковом (Там же. С. 26). Скорее всего, он почерпнул этот материал из статьи «О мордве в Нижегородской губернии», отправленной Иаковом в Географическое общество и прочитанной Надеждиным на заседании общего собрания в феврале 1849 года. См.: Географические известия. 1849. Вып. 1.

92 Небольсин П.И. Очерки быта калмыков // Библиотека для чтения. 1852. Т. 113–114. С. 25. Сходное описание кочевых племен можно найти в следующей работе: Небольсин П.И. Инородцы в Астраханской губернии // ВИРГО. 1851. Т. 2. Отд. 5. С. 1–30. Статьи Небольсина были опубликованы отдельным томом в 1854 году под названием «Рассказы проезжего».

93 См., например: [Протоиерей Вишневский] О религии некрещеных черемис Казанской губернии // Этнографический сборник. 1858. Вып. 4. С. 209–218. Первоначально эта работа была опубликована: ВИРГО. 1856. Т. 17. Отд. 2. См. также: [Архимандрит Вениамин] Самоеды Мезенские // Этнографический сборник. 1858. Вып. 4. С. 19–82. Первоначально опубликован: ВИРГО. 1855. Т. 14. Отд. 2. Статья Вениамина особенно интересна описанием деятельности миссионеров среди самоедов в 1820-х годах.

94 Свод инструкций для камчатской экспедиции... С. 28.

95 Географические известия. 1849. Вып. 1. Отд. 1. Данная работа была позднее опубликована во втором томе «Этнографического сборника» под названием «Быт белорусских крестьян».

96 *Schoolcraft H.R. Historical and statistical information respecting the history, condition and prospects of the Indian tribes of the United States. Philadelphia, 1851. Vol. 1. P. 15–16.*

97 О дебатах между моногенистами и полигенистами см.: *Stocking G. Op. cit. P. 47–77.* Журналы Русского географического общества регулярно сообщали о заседаниях иностранных научных обществ. О докладе, который напрямую затрагивал проблемы единства человечества, см. резюме работы, представленной Лондонскому Азиатскому обществу: *On the best methods of ethnological investigation for uncovering the history of the human race* // ВИРГО. 1852. Т. 5. Отд. 5. С. 48–50. Резюме работы Скулкрафта был напечатан: ВИРГО. 1852. т. 4.

98 О том, как понимались различия между антропологией и этнографией в России, а также в Англии, Франции и Германии, см.: Богданов А. Материалы для антропологии курганного периода в Московской губернии // Известия Общества любителей естествознания. 1867. Т. 3. С. 2–6.

99 Обзор влияния эволюционизма на русскую этнографию см.: Токарев С.А. Указ. соч. С. 354–361.

100 См., например: *Анучин Д.Н.* О задачах русской этнографии // *Этнографическое обозрение*. 1889. Т. 1. С. 1–35; *Могиланский Н.М.* Предмет и задачи этнографии // *Живая старина*. 1916. № 1. С. 1–22.

101 История карьеры В.В. Григорьева, который в 1850-х годах служил в Оренбурге и отвечал за отношения с различными народами Средней Азии, являет собою яркий пример тех сложностей, которые сопровождали любую попытку интегрировать этнографические знания в административную практику. См.: *Веселовский Н.Н.* Василий Васильевич Григорьев по его письмам и трудам, 1816–1881. СПб., 1887. С. 110–225.

102 О связи между этнографией и отменой крепостного права см.: *Корсаков Д.А.* Жизнь и деятельность К.Д. Кавелина // *Кавелин К.Д.* Собрание сочинений. СПб., 1897. Т. 1. С. XXIII.

103 О дискуссиях по этому вопросу см.: *Colonial Situations: Essays on the Contextualization of Ethnographic Knowledge* / Ed. by George W. Stocking // *History of Anthropology*. Madison, Wis., 1991. vol. 7.

ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО НАТАЛИИ БОДЯГИНОЙ

Виллард САНДЕРЛАНД
Русские превращаются в якутов?
«Обынородчивание» и проблемы
русской национальной идентичности
на Севере Сибири, 1870–1914

По мнению представителей Российского государства и большинства образованных русских, ассимиляция на восточных окраинах Российской империи в конце имперского периода должна была происходить только в одном направлении. Считалось, что «отсталые» жители Востока должны были стать более похожими на русских, в то время как русские должны были изменить других, сохранив при этом свой язык, обычаи, религию и свою «русскость». В действительности, конечно, ситуация редко была столь однозначной. В смешанных поселениях пограничных областей русские и нерусские оказывали разностороннее влияние друг на друга, и русское влияние не всегда было сильнее. В некоторых случаях, в противоположность ожиданиям чиновников и интеллектуальной элиты, не столько «иностранцы» подвергались «обрусению», сколько русские «обынородчивались». К концу имперского периода по всему востоку империи можно было встретить русских, в большей или меньшей степени ассимилированных местным населением. На Северном Кавказе, например, целые русские деревни выглядели как горские селения и придерживались горского образа жизни; в Волго-Уральском регионе русские крестьяне приносили языческие жертвы, как вогулы и марийцы; в казахских степях русские принимали ислам, и практически вдоль всех границ встречались вроде бы «русские» казаки, которые соблюдали местные обычаи и предпочитали говорить на языке местного населения¹. Хотя это явление и не стало нормой, «обынородчивание» представляло собой такой аспект этнического ландшафта Российской империи, который мы не вправе игнорировать.

В то время как ассимилированных местным населением русских можно было встретить на большей части восточных пограничных областей, общины, в наибольшей мере подвергшиеся ассимиляции (по крайней мере, по утверждениям писавших об этом авторов позднеимперского периода), находились на Севере Сибири. С конца XVI века русские начали двигаться к дальним пределам северной Сибири, где они занимались мелкой торговлей, охотой, рыболовством и заключали браки с местным населением. Разбросанный характер поселений и частые смешанные браки в конце концов привели к образованию цепи мелких, изолированных друг от друга и сильно ассимилировавшихся островков «старожилов» по всей тайге и тундре в Северной Сибири, примерно от реки Обь на западе до Берингова моря на востоке. Когда в конце имперского периода российские этнографы, антропологи, публицисты и другие путешественники проезжали по этой северной местности, они встречали там русских, которые говорили на языках сибирских народов лучше, чем на своем родном, ели сырое мясо, практиковали «шаманство» и так поразительно были похожи на «инородцев», что, казалось, их просто невозможно было отличить от якутов, остяков, самоедов и других «первобытных» народов Сибири, которые жили вокруг них. У образованных русских вид этих бывших русских северян неизменно вызывал шок, отвращение и жалость, а также провоцировал некую переоценку национальных ценностей, с помощью которой образованные наблюдатели пытались объяснить, как процесс ассимиляции мог пойти «в обратном направлении».

В этой статье исследуется, как указанное явление ассимиляции русских в Северной Сибири описывалось и интерпретировалось в трудах образованных русских в конце имперского периода российской истории. Явление ассимиляции привлекало внимание многих советских и западных историков, но в их работах оно обычно рассматривается лишь как одна из частных сторон повседневной жизни в Северной Сибири¹. Меня же интересует не столько анализ самой ассимиляции русских, сколько изучение дискурса этой проблемы в русской мысли, которое, в свою очередь, поможет воссоздать культурные конструкты «русскости» и «русской национальной идентичности» времен заката империи. Как указывали многие ученые, любая попытка представить образ «Другого» неизбежно отражает культуру того или тех, которые создают

это представление¹. Этот трюизм, безусловно, относится и к трудам конца имперского периода по ассимиляции русских в Сибири. Когда русские наблюдатели описывали своих сибирских соотечественников, они неизбежно обращались не только к вопросу о том, какими были эти псевдорусские, но и о том, какими те должны были быть, если бы они были «настоящими» русскими. Таким образом, создававшиеся в конце имперского периода описания процесса ассимиляции подводили авторов и читателей к более широкому кругу вопросов — о том, что делает русского человека русским. Тем самым они затрагивали самую суть проблем культуры, расы и колонизации, столь тревоживших русскую мысль последних предреволюционных десятилетий.

Сложность дискуссии об ассимиляции русских местным населением усугублялась тем, что для описания этого процесса в русском языке не существует точного термина. Самыми близкими эквивалентами терминов «nativization», «going native» в конце XIX века были слова «обынородчиваться» и «обынородчивание», которые использовались совсем не часто. Вместо этого авторы того периода описывали процесс ассимиляции через указание того народа, который ассимилировал русских. Если русские старожилы находились под влиянием якутов, говорили, что они «объякутились» или подверглись «объякучиванию»; если они оказались поглощены культурой самоедов, то говорили, что они «осамоедились», и т.д. Четкого определения того, каковы конституирующие признаки ассимилированного русского человека, так и не было дано, а впечатления наблюдателей часто различались. Чаще всего ссылались на такие признаки ассимиляции, как усвоение местного языка, внешнего облика, обычаев и религии; но, в конечном счете, самым наглядным показателем ассимиляции русских было невыразимое в словах ощущение, что «обынородившиеся» русские — это те, кто выглядят, поступают и говорят слишком похоже на чужеземцев и недостаточно похоже на своих соплеменников. Иными словами, согласно представлениям об ассимиляции русских, сложившимся в конце имперского периода, проблема ассимиляции русских местным населением в реальности сводилась к проблеме существования русских, которые в недостаточной степени являются русскими. Ключевым пунктом всей дискуссии в таком случае становился вопрос о том, что значит «быть русским».

В течение всего имперского периода преобладающим отношением к ассимиляции русских местным населением было то, что ее просто никто не ожидал. Хотя считалось желательным и вполне естественным, что иноземцы и «иностранцы», проживающие в империи, когда-нибудь станут русскими, обратное утверждение не признали бы справедливым. Русские не должны были скатываться вниз по шкале цивилизации и становиться «Другими». Ключевым понятием здесь была сама «шкала». В XVIII веке русские ученые (многие из них были немцами, работавшими в Академии наук), одержимые страстью к составлению всевозможных классификаций, приступили к созданию подробной этнографической таксономии народов империи. Важнейшим фактором в этой таксономии была всеохватывающая категория «обычая» («обычаи, нравы и обыкновения»), включавшая в себя такие элементы, как социальная и экономическая организация, питание и сексуальное поведение, ритуалы и нравы в широком смысле слова. Находясь под сильным влиянием идей Просвещения относительно того, какие обычаи лучше, а какие хуже, русские ученые построили примерную иерархию культур народов империи. На вершине этой иерархии стояли оседлые земледельцы (предпочтительно православные и предпочтительно славяне), далее шли кочующие скотоводы и последними — различные группы, занимающиеся охотой и собирательством. Иными словами, русские крестьяне считались более развитыми, чем башкирские и бурятские кочевники, а башкиры и буряты, а также почти все остальные народы — более развитыми, чем чукчи, остяки, юкагиры и другие «первобытные» народы Севера⁴.

По крайней мере теоретически ассимиляция должна была проходить в направлении верхних ступеней этой иерархии. Со временем кочевники, охотники и собиратели должны были естественным образом превратиться в земледельцев, в то время как мусульмане, буддисты и язычники должны были столь же естественно принять православие. Ассимиляция, таким образом, ассоциировалась с прогрессом, а прогресс (по крайней мере, в случае с восточными «иноземцами») ассоциировался с «обрусением»⁵. Связь между понятиями ассимиляции и обрусения четко воплотилась в представлениях о так называемом слиянии народов. Когда этот термин впервые был введен в оборот во второй половине XVIII ве-

ка, идея слияния на самом деле совсем не означала смешения, по крайней мере в смысле взаимопроникновения национальных культур. Скорее термин «слияние» означал проникнутое духом Просвещения понимание русификации, в ходе которой русские постепенно поглотят «отсталые» народы империи и введут их в круг более развитой русской культуры. В первой половине XIX века скрытая связь между понятиями слияния и обрусения стала усиливаться. Расцвет романтизма, идущий полным ходом процесс «открытия» народной культуры и формирование идеологии русского национализма при Николае I, — все это как будто подтверждало, что русские — народ, которому стоит подражать⁶. Считалось, что для менее развитых восточных народов слияние с русскими в конце концов является лишь вопросом времени⁷. К середине XIX века, как недавно отметила одна исследовательница, стало общепринятым мнение, что «инородцы» империи должны либо слиться с русскими, либо «уйти с дороги»⁸.

Широко распространившийся идеал слияния народов свидетельствует о том, что русские не были противниками смешения народов. Межэтническое и межрасовое смешение было неоспоримым аспектом русской истории и географии, и не предпринималось никаких серьезных попыток помешать этому. Браки между русскими и нерусскими были вполне позволительны при условии, что нерусские партнеры, по крайней мере номинально, примут православие, а на более глубоком уровне неоднородное культурное и этническое наследие русского народа обычно интерпретировалось как источник национальной силы и самобытности. Однако этническое смешение не вызвало тревоги главным образом потому, что исход этого процесса считали решенным вопросом. Согласно мнению государственных деятелей и большинства авторов, занимавшихся этим вопросом, предполагалось, что русские заимствуют полезные черты у европейцев (например, у немецких поселенцев — плуг со стальным наконечником, новые сельскохозяйственные культуры, рациональные трудовые навыки), а свою собственную культуру передают менее развитым «инородцам» в империи. И ни на одном этапе этого процесса смешения сами русские не должны были поступаться своей «русскостью». Как отметил выдающийся этнограф и лингвист Н.И. Надеждин в 1846 году, русский народ в течении долгого времени смешивался с другими «цивилизациями»

на Западе, и тем не менее «русский человек не перестал быть человеком русским, не выродился — ни в Чудь „белоглазую“... не обернулся ни ляхом-„католиком“, ни немцем-„Алютором“»¹⁰. Смешение — это прекрасно, но в результате плоды этого смешения должны были принадлежать к русской культуре, а не к какой-то иной.

Сама мысль о том, что некоторые русские могут превратиться в «инородцев» или перенять культурные черты «инородцев», создавала проблему, не только потому, что нарушались вышеизложенные принципы, но и потому, что в таком случае уничтожалась социальная и культурная дистанция между русскими и «Другими». Веками многие русские на восточных окраинах жили почти точно так же, как и нерусские этнические группы, и прежде это не имело большого значения. Однако это стало важным в XVIII и особенно в XIX веке, когда русские образованные люди во все возрастающих масштабах перенимали европоцентристское представление о своем культурном превосходстве над восточными народами империи. Отсталые, нецивилизованные (или, по крайней мере, менее цивилизованные, чем русские) «инородцы» теперь стали рассматриваться (в разной степени, в зависимости от конкретного региона) как символическая противоположность русским¹¹. К середине XIX века, когда русский крестьянин был едва ли не канонизирован как знаменосец национальной культуры, мысль о том, что крестьяне уступают «чужому» влиянию, казалась особенно неуместной. В конце концов, как в 1840-х годах отметил Август фон Гакстаузен, русскому мужику был дарован «такой сильный и непобедимый национальный дух», что это позволило ему с легкостью ассимилировать местное население¹². А что можно было сказать о непобедимости национального духа или, более того, о разнице между «дикарем» и «цивилизованным», если сам этот естественный культуртрегер уподоблялся местному населению?

Русские поселения на севере Сибири начали появляться в конце XVI — начале XVII века, когда казаки и скупщики меха (промышленники) начали разведывать бассейны Оби, Енисея, Лены, Индигирки и Колымы в поисках дани и местных жителей, способных эту дань платить. К середине XVII века они создали значительное число постоянных поселений, включая Березов (1593), Сургут (1594),

Обдорск (1595), Туруханск (1607), Вилюйск (1634), Среднеколымск (1643), Нижнеколымск (1644), а также различные заставы-остроги вдоль Анадыря, по побережью Охотского моря и на Камчатке (в 1640-х годах и позднее). Эти поселения возникали как небольшие торговые и административные центры, населенные казаками и промышленниками; там могли также находиться воевода или священник, местные торговцы и представители пестрой категории «гулящих людей». Хотя позднее в состав населения некоторых городов влились ссыльнопоселенцы, крестьяне и мещане, численность их населения либо уменьшалась, либо оставалась незначительной. К 1890-м годам в большинстве таких городов проживало лишь несколько сотен человек, а русские деревни рядом с ними были еще меньше. В Сургуте, например, проживало 1100 человек, в Обдорске — около 800, в Туруханске — примерно 200, а в крошечных деревнях на Яне и Колыме — по 50–60 человек. В документах XIX века эти северные поселения почти всегда описываются как более чем ветхие сторожевые заставы на северном, невообразимо далеком краю земли¹³.

Коренное население, проживавшее в этих поселениях или по соседству с ними и оказывавшее огромное влияние на местных русских, можно разделить на две группы. Первую из этих групп составляли так называемые малые народы Севера (остяки [ханты, кеты], самоеды [ненцы], юкагиры, чукчи, тунгусы [эвенки], и некоторые другие народности), которые населяли зоны тайги и тундры в Северной Сибири приблизительно от реки Обь на западе до Чукотского полуострова на востоке. Все эти народы в той или иной степени занимались охотой, рыболовством, торговлей или оленеводством, жили родовыми общинами и были по большей части полухристианами и полуоседлыми. В течение всего периода русского владычества в Сибири их считали самыми первобытными и отсталыми народами в империи. Вторую группу, которая оказывала значительное влияние на русских, составляли якуты. Хотя некоторые племена якутов жили на Крайнем Севере вдоль северного течения Лены, Яны и Колымы, основная часть якутов обитала южнее, внутри треугольника, образованного слиянием Лены, Алдана и Амги. Якуты в этой местности разводили крупный рогатый скот, немного занимались земледелием (под влиянием русских); считалось, что они в культурном и социальном отношениях

отличаются от северных «инородцев». По сравнительной степени цивилизованности якутов считали дикарями, но не столь дикими, как их северных соседей¹⁴.

На севере ассимиляция русских местным населением происходила не везде, но там, где она была, ассимиляция, несомненно, началась в первом же поколении после прихода русских. Практически сразу же начали заключаться смешанные браки между русскими и туземцами. Из-за нехватки русских женщин в поселениях русские обычно крали или выменивали местных женщин и после формального крещения брали этих «новокрещенок» в жены по православному обычаю. Однако к середине XVII века церковные иерархи уже начали сообщать о том, что некоторые русские не только не крестили своих женщин, но и не женились на них, а вместо этого селились в «татарских шатрах», где они «ожились и жили вместе с татарами... в грехе и детей в грехе прижили»¹⁵. Дальнейшие свидетельства о русских, находившихся под влиянием местных жителей, появились в XVIII веке, когда путешественники и исследователи встречали на Камчатке казаков, «житье» которых «не разнствует почти от камчатского», крестьян на Оби, которые «сырую [рыбу] едят охотно», как «ясачные люди», «род мулатов, которые имеют несколько монгольский облик» в Забайкалье и «наполовину русских, наполовину татар» в «окрестностях Якутска»¹⁶. В якутских местностях влияние нерусских казалось особенно сильным. Среди якутов, как отметил один исследователь, «живут в юртах» немало русских, и «среди них сложно найти человека, который бы хорошо понимал свой собственный язык, хотя все из них очень хорошо говорят на якутском»¹⁷.

Когда в первой половине и середине XIX века севера достигла новая волна путешественников, они описывали все те же явления. Русские старожилы в Обдорске «жили по-самоедски», на нижней Колыме они практиковали «шаманство» и поклонялись огню, а в Якутии многие русские в отдаленных районах «говорили между собой только по-якутски» и так сильно «объякутились... в своем языке, мышлении и вкусах», что было трудно отличить «русских якутов» (о которых писали: «русский родом, но по языку якут») от «якутских якутов» (которые, по-видимому, были якутами во всех отношениях)¹⁸. Учитывая устоявшиеся в XIX веке взгляды на то, как должна проходить ассимиляция, мы не должны

удивляться, что современники обычно сопровождали эти примеры выражением ужаса и жалости, хотя некоторые авторы и высказывали свое восхищение мощной «силой ассимиляции» (*Assimilationskraft*) у якутов¹⁹.

Таким образом, к середине XIX века сообщения о русских на севере, которые выглядели и вели себя по-«иностранчески», не были новостью. Почти так же, как и в XVIII веке, ассимиляцию с местным населением склонны были рассматривать как любопытный и — иногда — отвратительный пример культурного отставания. Однако в конце имперского периода этот дискурс претерпел некоторые изменения. Ассимиляцию русских местным населением все чаще стали рассматривать не как показатель отсталости, но как пример расового и культурного вырождения. Для этнографов и публицистов периода заката империи ассимиляция русских представляла не только как ниспровержение естественного порядка ассимиляции; она воспринималась как возмутительное оскорбление «русскости». Продолжая презирать «обынородившихся» русских и рассматривать их как какую-то странную аномалию, их еще и окружили ореолом угрозы (по крайней мере, в символическом плане); в них видели тревожный пример того, как низко может пасть русский человек, если он слишком тесно общается с менее развитыми народами. Иными словами, хотя ассимиляция русских местным населением на севере была старой проблемой с давней историей, на закате империи ее стали пересматривать и перетолковывать в новых — и принципиально иных — терминах.

Неудивительно, что самой распространенной реакцией на ассимиляцию русских местным населением в то время было простое изумление. Несмотря на то, что к концу имперского периода такая ассимиляция была хорошо известным явлением, все же было трудно поверить, что первобытные народы — такие, как якуты, остяки, чукчи, тунгусы и другие коренные народы Сибири, — могли каким-то образом повлиять на русских. «Обостячивание» русского населения в Сургуте, например, расценивалось как «поразительное» явление. Здесь остяки («племя с несомненно низшей культурой, вырождающееся и вымирающее») оказало «поразительное влияние» на русских («представителей более высокой цивилизации») ²⁰. Превращение русских в якутов было не менее поразительным.

Якуты «кочевали», жили в грязных юртах и заботились только об удовлетворении основных своих потребностей, и тем не менее такой народ «смог как-то растворить в себе русское население»²¹. Как могла якутская культура («если о таковой вообще можно говорить») оказаться более привлекательной для русских, чем их собственная?²² Все эти выражения изумления делали рассказы об ассимиляции русских местным населением похожими на истории, о которых говорят: «хотите верьте, хотите нет». Там, на севере, происходило невероятное. Первобытные народы ассимилировали русских, а не наоборот. Как отметил один иностранный наблюдатель: «Здесь татарская цивилизация берет верх над русской»²³.

Утрата русскими на севере своего языка была одним из самых неоспоримых доказательств, что что-то обстоит не так, как надо. В Якутии многие современники отмечали, что русские чиновники обычно говорили между собой по-якутски, так же как и «служилые» казаки, в то время как в «северных столицах», таких как Обдорск, русские горожане так хорошо знали языки местного населения, что свой родной либо совсем забыли, либо говорили на нем с «акцентом инородца»²⁴. Для большинства русских наблюдателей такая языковая ассимиляция выглядела и странной, и тревожной. Как сказал один писатель: «Возникает странное чувство, когда говоришь что-то по-русски человеку, который выглядит как мужик из Тамбова или Твери, а в ответ от него слышишь непонятный якутский»²⁵. Утрата русского языка вызывала такие «странные чувства», поскольку она подразумевала более существенную потерю — утрату «русскости». В XIX веке, когда язык столь тесно отождествлялся с национальностью и наоборот, утрата родного языка означала, в сущности, потерю своей национальности²⁶. Отказ от русского языка был, таким образом, окончательным доказательством ассимиляции русских местным населением, и именно такой смысл вкладывали в это явление русские авторы²⁷.

Таким же тревожным было и то, что некоторые русские диалекты на севере Сибири испытывали сильное влияние местных языков. В конце концов, язык был «самым чувствительным прибором» измерения глубины и силы «чужеземного влияния»²⁸, и многие наблюдатели с готовностью признавали, что на севере Сибири этот «чувствительный прибор» разлетелся на кусочки. В Арктике русский язык был «испорчен» влиянием языков само-

едов и тунгусов, а в станах в верховьях Лены и в окрестностях Якутска — отличался «некоторой якутской фразировкой и не совсем свойственным русской речи построением»²⁹. На севере русские говорили на диалектах, которые были так искажены «чужим» влиянием, что их было почти невозможно понять. Русские в Обдорске, например, переняли от соседних остяков «какое-то детское сюсюканье», а в низовьях Колымы русские говорили на чем-то похожем на «детский лепет или дикое сюсюканье, непривычное для русского»³⁰. «Испорченность» этих северных диалектов указывала на то, что экспансия местных языков и упадок русского происходили в течение веков. Как отметил один писатель, «о бедности этого языка [т.е. русского, на котором говорили в некоторых районах в низовьях Колымы] нечего уже и говорить. В этом отношении он стоит много ниже языка крестьян России»³¹.

По мнению современников, как и русский язык, русский «расовый тип» на севере также претерпевал слишком сильное чужое влияние. В науке позднеимперского периода «раса» была сложной категорией. С одной стороны, общепринятым считалось, что человечество делится на физически различающиеся расы, одни из которых стоят выше (то есть более высоко развиты в культурном отношении), чем другие³². Однако, с другой стороны, низшие расы не считались обреченными на вечное отставание. Люди, принадлежащие к менее развитым расам, всегда могли усовершенствоваться путем усвоения более высокой культуры — через обучение, принятие христианства или вступление в брак с партнером, принадлежащим к высшей расе. Как отмечалось ранее, взгляды русских на смешение с другими расами в XVIII — первой половине XIX века были достаточно терпимыми, если в результате появлялся человек, принадлежащий к русской культуре. В конце имперского периода эта основная идея не изменилась³³. Как недавно пытался показать один историк, «русскость» в последние десятилетия существования империи воспринималась как «не биологическое, а эмоциональное качество», и, таким образом, чужеземец мог стать русским, просто перенеяв *русский дух или русскую душу*³⁴. Таким образом, по всей видимости, понятие «русский» было больше связано с культурой, чем с расой. Выражение беспокойства по поводу чистоты русского «расового типа» редко можно было услышать (даже от крайних националистов и антисемитов) до тех пор,

пока доминирующим физическим и особенно культурным элементом в любом смешанном браке был русский¹⁵.

Однако когда доминирующим элементом оказывался «чужой», дело принимало другой оборот, и обеспокоенность по поводу судьбы русского «расового типа» выражалась с готовностью. Большинство русских авторов полагали, что слишком большое количество смешанных браков со слишком большим количеством «неподходящих» народов (т.е. первобытных местных жителей) могло привести к нежелательным расовым последствиям для русских, — к примеру, русские в результате приобретут «чуждые» физические черты или вообще станут «чужими». Применительно к северу Сибири этот процесс физической ассимиляции русских местным населением обычно описывался в терминах расового вырождения. Поскольку русские физически считались более совершенными в физическом отношении (т.е. были выше, сильнее и так далее), чем жители Северной Сибири, смешение между слишком малым количеством русских и слишком большим количеством местного населения ослабляло русский расовый тип и уменьшало физические возможности русских. Хотя озабоченность русских по поводу нежелательных последствий межрасового смешения никогда не была такой сильной, как в Европе или США, принадлежавшие русским авторам описания расового вырождения на севере имели существенные общие черты с аналогичным дискурсом на Западе. И в том, и в другом случае слишком явное расовое смешение воспринималось с беспокойством, отвращением и жалостью¹⁶.

Но что представляли собой русские на севере до начала «расового вырождения» и к чему привело их это вырождение? С возникновением российской антропологической науки во второй половине XIX века русские ученые начали собирать данные о цвете кожи и волос, росте, телосложении, форме лица и физической силе русского населения в различных частях империи¹⁷. Хотя «великорусский тип» включал в себя много вариантов, типичный русский был «русый, то в более светлых, то в более темных оттенках, с приблизительно одинаково частым распространением темных и светлых глаз... обладает ростом выше среднего и умеренно выраженной круглоголовостью... главнейшие размеры головы и лица его велики; лицо в общем скорее длинно, чем широко; члены тела пропорциональны, развиты хорошо; сложение несколь-

ко коренастое (широкоплеч) и крепкое»³⁸. По этому описанию можно судить, что русские представлялись ученым как «переходная ступень» между «арийскими племенами» на западе и «урало-алтайскими» на востоке, однако, с «очевидным преобладанием западных элементов»³⁹. Таким образом, по мнению ученых конца XIX века, русские были смешанного расового происхождения, но они в основной своей массе были высокими, обладали крепким телосложением и явно принадлежали к европейцам.

Расовые характеристики северных инородцев были совершенно иными. По мнению наблюдателей позднеимперского периода, малые народы севера, а также немного более развитые якуты были первобытными, а следовательно, обладали первобытными расовыми чертами. У якутов, например, были «выступающие скулы, широкий и плоский нос с почти круглыми ноздрями, широко расставленные и глубоко посаженные глаза и обычно низкий и некрасивый лоб». Хотя у некоторых якутов были более тонкие черты, в основном их физические черты считались «признаками более низкой расы»⁴⁰. У остяков же были «темные, немного вытянутые и болезненные лица, голубые, серые или чаще темные глаза, что свидетельствует об их тупости и недоверчивости, прямые носы и слегка выступающие скулы»⁴¹. Другие северные народы описывались подобным же образом (хотя и не всегда так уничижительно), при этом подчеркивались темный цвет их кожи, выдающиеся скулы и непропорциональное телосложение⁴².

Тип ассимилировавшихся русских располагался где-то посередине между великорусским типом и «чужими типами» народов Северной Сибири. Большинство авторов, однако, редко приходило к согласию друг с другом, когда речь шла о веках смешения с «низшими расами». Было ясно, что значительное число русских на севере утратило массу черт своего расового типа. Русские старожилы на средней Колыме, например, имели такие бороды, носы и телосложение, которые позволяли говорить о них, как о среднем типе между якутами и «чисто русскими», но их «череп с низким и немного скошенным лбом, их плоские лица и большие рты были явным признаком родства с тюрко-монголоидной расой». Средний колымчанин «был больше похож на якута, чем на великороса или украинца»⁴³. Русские, ассимилировавшиеся с остяками в Сургуте, тоже были больше похожи на остяков, чем на русских.

У них были развитые скулы, широкий некрасивый рот, узкие глаза «с выражением придурковатости», низкий рост, приземистая фигура, «напоминающая скорее медведя, чем представителя кавказской расы»⁴⁴. Антрополог И.И. Майнов выражал свои взгляды в менее пренебрежительной манере, но и он свидетельствовал о потере русскими их расовых черт в разных частях Якутии. Так, русские поселенцы на берегах Амги сохранили средние размеры тела и черепа, но по другим анатомическим чертам были «якутоватыми». 80% русских амгинцев отличались «очень смуглым лицом»⁴⁵.

Для русских авторов эти нерусские черты внешности указывали на более глубокие перемены — общее снижение роста и физической силы. Русские старожилы в таких местностях с давней традицией смешанных браков, как верхний Енисей, часто были «весьма низкого роста... как остяки», самоеды и тунгусы. Длительное смешение со «слабосильными местными народами» уменьшило и их физическую силу и плодovitость⁴⁶. Подобная же ситуация сложилась и на Колыме. Здесь «объякутившиеся» русские поселенцы также были слабее физически, чем неассимилировавшиеся русские, а их средний рост был настолько мал, что, когда в той местности появились политические ссыльные из России, «они поражали колымчан своим будто бы колоссальным ростом»⁴⁷. Недостаток солнечного света, суровые климатические условия, напряжение и усталость от «первобытного образа жизни», недостаток физических упражнений и плохое питание — предполагалось, что все это могло быть причиной физического вырождения русских, но все же решающим фактором преимущественно считали «чрезмерное» смешение с северными народами. Как отметил один наблюдатель, «помеси от смешения между русскими и различными бродячими народами Севера... обычно представляют менее чем здоровый этнический элемент»⁴⁸.

Причиной, по которой эти «помеси» русских и сибирских народов оказались менее здоровыми, по мнению наблюдателей, было то, что русские на Крайнем Севере слишком сильно смешивались с «неподходящими» народами. Одним из самых ярых защитников этого взгляда был известный сибирский публицист Н.М. Ядринцев. Согласно Ядринцеву, «смешение с различными племенами и расами дает различные последствия». Смешение между равными или несколько отличающимися друг от друга расами могло дать нейтральные или даже положительные результаты.

Однако если расы слишком далеки друг от друга по уровню развития, смешанные браки могут привести только к вырождению более высокого расового «типа». Последствия межрасового смешения на севере Сибири, казалось, подтверждали это воззрение. Хотя было замечено, что у некоторых русских в результате смешения с малыми народами Севера улучшилась работа органов чувств (например, повысилась острота зрения при смешении с тунгусами), большинство в результате смешения с этими «расами низшими» претерпело «вырождение»⁴⁹. (Представлялось, что русские могли бы выиграть от смешения с несколько более развитыми якутами, но этот вопрос «нуждался в дальнейшем рассмотрении»⁵⁰.) В целом Ядринцев не сомневался, что смешение народов на севере, если осмыслить его в терминах расовой теории, пошло во вред русским: «Этнографические наблюдения доказали особенную невыгоду для славяно-русской народности при смешении с северными инородцами... Такие последствия [для русских старожилов на севере]... конечно, должны считаться печальною утратою лучших национальных и расовых черт русской народности; они выражают собою понижение и вырождение высшей расы»⁵¹.

Русские авторы полагали, что процесс расового вырождения обычно сопровождался столь же печальным культурным упадком. Наиболее очевидным казалось ухудшение личных качеств. Русские старожилы в верховьях Лены, например, стали «диковаты и тупы» из-за смешения с тунгусами и бурятами, что проявлялось в их «диком лепете» и «диком разгуле»⁵², в Сургуте они опустились до «полудикого состояния»,⁵³ на Колыме они демонстрировали «очень слабые умственные способности»⁵⁴, а в районе Туруханска русские, смешавшиеся с тунгусами и остяками, отличались своей «тупостью, беспечностью, бесхитростностью, раболепием и нехитрым лукавством»⁵⁵. Многие старожилы также приняли «чужеземные» привычки и обычаи. Русские «креолы» на берегах Анадыря и Колымы отличались «распушенностью нравов» и «легкостью и простотой смешения полов», что объяснялось влиянием юкагиров и чукчей⁵⁶; русские на Колыме (особенно женщины) были подвержены припадкам не свойственного русским «меряченья» — арктической истерии⁵⁷; вкусы в низовьях Колымы стали уподобляться чужеземным, поскольку колымчане предпочитали гладковыбритые лица и находили привлекательными

только темные узкие глаза⁵⁸; в Березове отмечалось пристрастие жителей к сырой рыбе и сырой оленине⁵⁹; в разных местах по всему северу и северо-востоку русские обращались за помощью к шаманам, поклонялись «божкам» и почитали культ медведя; сообщалось, что по крайней мере один русский крестьянин в такой степени подпал под влияние тунгусского шамана, что совершил человеческое жертвоприношение⁶⁰.

Столь яркие примеры усвоения русскими «чужих» моральных качеств, обычаев и вкусов рассматривались как тревожное доказательство того, что русская культура на Севере начала меняться в худшую сторону. Как отметил этнограф А.Н. Пыпин, такая ассимиляция русских местным населением «нередко свидетельствует именно об известного рода упадке, какой испытывает русская народность... едва ли можно считать для нее прибылью, если люди русского происхождения начинают принимать «умонастроение» бурятское, якутское, киргизское и даже самоедское, так как во всяком случае это умонастроение ниже того, каким подобает быть русскому»⁶¹. Этот упадок, по мнению некоторых, был пугающим предзнаменованием полного культурного вымирания. Наглядным примером могли служить судьбы таких семей, как Портнягиных, проживавших на Хатанге рядом с полуостровом Таймыр. Всего лишь в течение трех поколений Портнягины «теряли свои культурные традиции и *объякучивались*». Некоторые члены семьи стали «метисами», которые были похожи на якутов, но могли по крайней мере немного говорить по-русски. Другие же полностью утратили свою «русскость»: «они *окончательно объякутились*, обнищали, их семья уменьшилась и рассеялась по тундре»⁶².

Как же можно было объяснить, что некоторые русские на севере «обынородились» и стали кочевать по тундре, как якуты? Объяснения ассимиляции русских местным населением, предложенные русскими авторами, были различны, но все они тем или иным образом затрагивали тему исторического наследия колонизации и натуры русского переселенца. Общим (и убедительным) мнением было то, что ассимиляция тесно связана с демографическим фактором и принципами расселения. Как отмечал Ядринцев, с самого начала появления русских поселений на севере, там просто было слишком мало русских и слишком много «инородцев». Русская колонизация Сибири затрагивала большей частью юг и запад этого

региона, и там, как правило, русское население «быстро всасывает, претворяет их [нерусских соседей] и поглощает»⁶³. На севере, напротив, самих русских подавили и превзошли числом. В конце 1880-х годов в Якутии русские составляли всего лишь 2% населения; в районе Туруханска на северном Енисее русские до «недавнего времени» были в меньшинстве; а в окрестностях Березова и Сургута они составляли одну треть или одну четвертую часть населения. Эта «непропорциональность населения» была постоянной проблемой русских и осложняла задачу «сохранения чистоты расы»⁶⁴.

Помимо проблемы численного превосходства местного населения, первые русские поселенцы на севере столкнулись также с проблемами изоляции, с необходимостью осваивать новую среду обитания и с упорством своих новых соседей в отстаивании традиционных культурных принципов. Эти факторы, вместе взятые, и обрекли русских на ассимиляцию: «Заброшенные на совершенно новые земли маленькими группами по две-три семьи, превзойденные числом якутами, которые упорно придерживались своей национальной культуры, *приниженные, бесправные* и неграмотные, [русские] колонисты не могли сохранить чистоту своей расы, язык и культуру»⁶⁵. Согласно такому сценарию у первых русских поселенцев практически не было иных возможностей. Они выступали против якутов, «хитрых и пронырливых», в то время как самих русских было мало, они отличались «податливостью» и переживали «физический и моральный кризис», так как им приходилось адаптироваться на «новой... суровой и холодной родине»⁶⁶.

Для объяснения ассимиляции русских местным населением обычно ссылались также на низкий культурный уровень первых русских поселенцев. Как отмечал один автор, первыми русскими поселенцами в Якутской области были казаки, чиновники, миссионеры, крестьяне, кабатчики и лавочники. «Казак принес с собой грубое насилие, чиновник — взяточничество и попираание закона, кабатчик — пьянство и беззастенчивое обирание, лавочник — ловкое надувательство, крестьянин, а за последние два десятка лет и поселенец, принесли грабеж и разбой»⁶⁷. Эти первоходцы были, конечно, далеко не лучшими культурными эмиссарами: «Если бы [русские] находились на более высоком культурном уровне, возможно, они бы способствовали развитию более высоких форм экономической и культурной жизни, как европейские

поселенцы в Северной Америке»⁶⁸. При столь низком культурном уровне неудивительно, что русские утратили свои национальные черты. Как отмечал Пыпин в своей «Истории русской этнографии»: «Главной причиной того, [что произошла ассимиляция с местным населением], несомненно, являются сами русские, чье низкое культурное развитие не позволило передать *крепкие задатки культуры* так же, как это делали немецкие, французские и английские переселенцы»⁶⁹. По мнению современников, трудно было ожидать, что люди с низким уровнем культуры смогут сохранить свою национальную самобытность.

Слабые культурные традиции русских колонистов на севере рассматривались как очевидное объяснение их ассимиляции местным населением, но этнограф Н. Харузин считал еще более важным фактором положение русских колонистов относительно местного населения, окружавшего их. Согласно Харузину ход любого процесса ассимиляции зависит от нескольких факторов, включающих смешанные браки, географическую близость, общность религии, сходство или различие быта. Однако ключевым фактором является уровень культурного развития. В любом окружении народы с более высоким уровнем культуры (имелись в виду материальная культура и нравы в широком смысле слова) в конце концов ассимилируют стоящих ниже на этой шкале⁷⁰. Хотя русские, в чем Харузин не сомневался, были самым культурным народом в империи, в некоторых регионах и на некоторых этапах истории преимущества были на стороне нерусских групп. Так было и в Якутии в самом начале русской колонизации региона. Первые русские поселенцы в Якутской области в XVII веке обладали «низким [культурным] уровнем» и искали лишь «быстрой наживы», в то время как якут был «материально лучше обставленным, приспособившимся к условиям страны... являлся более культурным». При таких обстоятельствах не вызывало сомнений то, что «якут... должен был влиять на русских», особенно в наиболее отдаленных северных регионах⁷¹. По мнению Харузина, сам факт ассимиляции русских якутами (так же как и ассимиляция их другими народностями) служил доказательством того, что русские не обладали особой «ассимиляционной способностью» и что само направление ассимиляции зависело от конкретных обстоятельств, в особенности от конкретного окружения в конкретный период времени⁷².

Представление о том, что русский поселенец обладает особой способностью ассимилировать других, было, однако, не столь просто изменить. Особую сноровку русских в деле ассимиляции местного населения постоянно отмечали многие писатели, историки, этнографы и государственные чиновники второй половины XIX века. В основе этих представлений лежало предположение, что русские наделены даром чрезвычайной терпимости и уживчивости в отношениях с «инородцами»⁷³. Ассимиляция русских местным населением, казалось, только подтверждала это представление. Тот факт, что русский поселенец с легкостью приравнивался к «чуждому», означало, что в окружении других этнических групп он нес в себе определенную степень культурной уязвимости и мог иногда даже «выродиться физически и духовно в инородца»⁷⁴. Русские колонисты, в отличие от европейских, не смогли сохранить подобающее «чувство культурного превосходства», общаясь с «низшими расами», и это также, по-видимому, делало их уязвимыми для угрозы вырождения и упадка⁷⁵.

Ассимиляцию русских местным населением Севера, таким образом, можно было объяснить в терминах определенных исторических условий колонизации и низкого культурного уровня колонистов; но что можно было сделать, чтобы остановить ее? Ответ, который давало на этот вопрос большинство авторов, звучал так: Северу нужно больше русской культуры и больше колонизации. «Больше культуры» означало большее количество школ, церквей и более разветвленную инфраструктуру, способную обеспечить более крепкую опору для «русскости» на севере; а более широкая колонизация привела бы на территорию больше русских, которые бы помогли ассимилировать нерусских (или заменить тех из них, которые вымирали), поддержать тех русских, которые еще придерживались своих национальных традиций и повернуть вспять «обынородчивание» русских там, где оно уже произошло⁷⁶. В определенном смысле колонизация привела к ассимиляции русских, и колонизация же могла повернуть вспять этот процесс. Как с уверенностью писал один этнограф, «нет необходимости поднимать тревогу из-за нескольких случаев [ассимиляции русских с местным населением]... Дети русских, которые потеряли свои национальные черты, сами не потеряны для русского народа, при наличии контактов с новыми русскими поселенцами они, несомненно, снова *обрусуют*»⁷⁷.

Исследование проблемы ассимиляции русских местным населением ясно показывает, что само существование ассимилированных русских на Севере бросало вызов представлениям образованных русских об империи, сложившимся в конце имперского периода российской истории. Ассимиляция русских местным населением, в конечном счете, представляла собой наглядное опровержение представлений о «правильном» ходе ассимиляции в империи, а это означало крах принципов иерархии и порядка. Как показал социолог-теоретик Зигмунт Бауман, национальные государства вырабатывают систему ассимиляции, чтобы уменьшить потенциальную амбивалентность и укрепить существующую в данном обществе социальную иерархию. Именно поэтому в каждом отдельно взятом национальном государстве казалось естественным, что одни народы должны ассимилировать, в то время как другие — поддаваться ассимиляции⁷⁸. Поскольку Российская империя на закате своего существования не была национальным государством, постольку ассимиляция в ней должна была пойти особым путем — ожидалось, что ассимиляция укрепит социальную иерархию в империи. Вполне естественным казалось, что русские должны ассимилировать «менее развитые» народы Востока, потому что русские, русская культура и «русскость» стояли на верхней ступени этой иерархии. Таково было преобладавшее в русской мысли с XVIII века представление об ассимиляции как об одностороннем процессе, и оно было тесно связано с господствовавшими тогда представлениями о культурном заимствовании и прогрессе.

Однако когда ассимиляция пошла в обратном направлении и русские превратились в «иностранцев», идеологические постулаты, лежащие в основе этих воззрений, были поставлены под сомнение и положение вещей стало неопределенным. Хотя этнографы, антропологи и другие авторы позднеимперского периода, писавшие об этой проблеме, исповедовали в целом терпимое отношение к межэтническому смешению, для них было ясно, что не всякое смешение одинаково. В случае, когда речь шла о народах Северной Сибири, слишком интенсивное смешение их с русскими определенно расценивалось как отрицательное явление. Русские на севере слишком тесно общались со слишком многими местными жителями, которые были чересчур первобытными, — и все это в конце концов привело к их вырождению. Сложившийся на закате империи дис-

курс ассимиляции обычно описывал этот процесс вырождения в терминах как расовой, так и культурной деградации. Русские (по большей части) должны были быть высокими и сильными, похожими на европейцев и культурно развитыми, но когда они попадали под влияние своих первобытных нерусских соседей, они постепенно теряли свою европейскую внешность, физическую силу и культурное превосходство. Именно чувство одновременного расового и культурного вырождения лучше всего характеризует сложившееся тогда восприятие ассимиляции русских местным населением на Севере. Русские, которые «обынородились» и превратились в якутов, самоедов, остяков и других «инородцев», были русскими, которые потеряли расовые и культурные признаки своей «русскости» и потому стали менее русскими, чем должны были быть.

Это явление потому так беспокоило авторов позднеимперского периода, что, как им казалось, оно подчеркивало самые тревожные «слабости» русского «национального характера» и в то же время ставило под сомнение саму дихотомию «первобытный — цивилизованный». В ситуации, когда русские превращались в якутов, можно было задаться вопросом: кто же из них в действительности был цивилизованным, а кто первобытным. Представления об «обынородчивании» русских, сложившиеся на закате существования империи, не всегда давали прямой ответ на этот вопрос; но в них отразилось ясное сознание того, что «русскость», несмотря на все ее предполагаемые достоинства, могла оказаться крайне хрупким качеством.

Примечания

Настоящее исследование финансировалось грантами IREX и Совета по исследованиям в области социальных наук. Первоначальная версия этой работы была представлена на Пятом международном конгрессе по изучению Центральной и Восточной Европы, который проходил в Варшаве в августе 1995 года. Автор выражает благодарность Университету штата Индиана и его Институту России и Восточной Европы за финансирование поездки автора на конференцию. Автор хотел бы также поблагодарить Бена Эклофа, Дэвида Рэнсела, Дэвида Спэдера, Элизабет Лефельдт, Томаса Крагина и двух анонимных рецензентов журнала *Slavic Review* за их ценные замечания.

¹ О русской «ассимиляции с местным населением» на разных рубежах империи см.: Семилуцкий А. Село Покровское, Ставропольской

губернии, Новогригорьевского уезда // Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа. 1897. Т. 23. № 2. С. 316; *Пекарский Е.К.* О религиозном состоянии инородцев Пермской и Оренбургской епархии // Этнографическое обозрение. 1908. Т. 20. № 3. С. 94; *Земляницкий Ф.* Несколько слов о влиянии черемисского общества на живущих в нем русских крестьян в религиозном отношении // Известия по Казанской епархии. 1874. С. 204–206; *Соколов Ф.* Посещение священником русских поселенцев в киргизских аулах Николаевского уезда, Тургайской области // Оренбургские епархиальные ведомости. 1892. № 21. С. 550; *Рыбаков С.Г.* Отчет члена-сотрудника С. Рыбакова о поездке к киргизам летом 1896 по поручению Императорского географического общества. Ч. 1: Общие наблюдения над современным бытом киргиз // Живая старина. 1897. Т. 7. № 2. С. 208; *Кауфман А.А.* Переселенцы-арендаторы Тургайской области. СПб., 1897. С. 108–112. О казачьих общинах, перенимающих «туземные» права, см.: *Логиновский К.Д.* О быте казаков Восточного Забайкалья // Живая старина. 1902. Т. 12. № 2. С. 182; *Потанин Г.Н.* Сибирские казаки // Живописная Россия. СПб.; М., 1894. Т. 11. С. 111–112; *Barret T.M.* Lines of Uncertainty: The Frontiers of the North Caucasus // *Slavic Review*. 1995. Vol. 54. № 3. P. 593–595 | *Barremt T.* Линии неопределенности: северокавказский фронт России // Американская русистика: Вехи историографии последних лет. Императорский период: Антология / Сост. М. Дэвид-Фокс. Самара, 2000. С. 163–194; *Clay C.B.* Ethnography and Mission: Imperial Russia and Muslim Turkic Peoples on the Caspian Frontier in the 1850s // *Turkish Studies Association Bulletin*. 1994. Vol. 18. № 2. P. 36.

2 См. обобщающие исследования по ассимиляции в Сибири: *Armstrong T.E.* Russian Settlement in the North. N.Y., 1965. P. 96–97; *Гуревич И.С.* Этническая история северо-востока Сибири. М., 1966. С. 196–210; Русские старожилы Сибири. М., 1973. С. 121–157; *Сафронов Ф.Г.* Русские на северо-востоке Азии в XVII – середине XIX вв. М., 1973. С. 215, 219, 245; *Forsyth J.* A history of the Peoples of Siberia: Russia's North Asian Colony, 1581–1990. N.Y., 1992. P. 155, 198–199; *Stephan J.J.* The Russian Far East: A History. Stanford, 1994. P. 25. Об ассимиляции с культурологической точки зрения см. захватывающее исследование Ю. Слезкина об истории народов приполярной Сибири: *Slezkine Y.* Arctic Mirrors: Russia and the Small Peoples of the North. Ithaca, 1994. P. 97–98, 119.

3 О теоретических проблемах культурной репрезентации см.: *Said E.W.* Orientalism. N.Y., 1978; *Clifford J.* The Predicament of Culture: Twentieth-Century Ethnography, Literature, and Art. Cambridge, Mass., 1988; *Greenblatt S.* Marvelous Possessions: The Wonder of the New World. Chicago, 1991; *Richards D.* Masks of Difference: Cultural Representations in Literature, Anthropology and Art. N.Y., 1994.

4 Этот обзор сделан на основе следующей работы: *Slezkine Y. Naturalists versus Nations: Eighteenth-Century Russian Scholars Confront Ethnic Diversity // Representations. 1994. Vol. 47. P. 170–195* [см. русский перевод в настоящем издании]. О том общеевропейском контексте, в рамках которого формировалось русское этнографическое мышление в тот период, см.: *Baudet H. Paradise on Earth: Some Thoughts on European Images of Non-European Man / trans. Elizabeth Wentholt. New Haven, 1965. P. 23–53; Duchet M. Anthropologie et histoire au siècle des lumières: Buffon, Voltaire, Rousseau, Helvétius, Diderot. Paris, 1971. P. 229–473; Marshall P.J., Williams G. The Great Map of Mankind: Perceptions of New Worlds in the Age of Enlightenment. London, 1982.*

5 *Slezkine Y. Savage Christians or Unorthodox Russians? The Missionary Dilemma in Siberia // Between Heaven and Hell: The Myth of Siberia in Russian Culture / Ed. by Galya Diment, Yuri Slezkine. N.Y., 1993. P. 18.*

6 О соотношении ассимиляции, слияния, русификации и русского национализма в первой половине XIX века см.: *Becker S. Contributions to a Nationalist Ideology: Histories of Russia in the First Half of the Nineteenth Century // Russian History/Histoire russe. 1986. Vol. 13. № 4. P. 348–351; Kappeler A. Russland als Vielvölkerreich: Entstehung, Geschichte, Zerfall. Munich, 1992. S. 198–200, 204–207* [*Каннелер А. Россия – многонациональная империя. М., 2000. С. 183–186, 203–205*]; *Slezkine Y. Arctic Mirrors... P. 81–82.*

7 Произведения, в которых в той или иной степени указывается на неизбежность превращения восточных народов в русских, см.: *Плещинских В. Нравы и обычаи Бузулукских поселян // Московский телеграф. 1830. Т. 35. № 17. С. 35; Скальковский А. О ногайских турках, живущих в Таврической губернии // Журнал Министерства народного просвещения. 1843. Ч. 40. С. 188–189; Tourgueneff N. La Russie et les russes. Paris, 1847. Vol. 2. P. 105–106* [*Тургенев Н. Россия и русские. М., 2001. С. 387–388*]; *Иславин В. Самоеды в домашнем и общественном быту. СПб., 1847. С. 140–141.*

8 *Лурье С.В. Российская империя как этнокультурный феномен // Общественные науки и современность. 1994. № 1. С. 58.*

9 О сложившихся в России представлениях о возможном влиянии европейских колонистов на их русских соседей см.: *Bartlett R. Human Capital: The Settlement of Foreigners in Russia, 1762–1804. Cambridge, Eng., 1979. P. 214–215; Fleischhauer I. Die Deutschen im Zarenreich: Zwei Jahrhunderte deutsch-russische Kulturgemeinschaft. Stuttgart, 1986. S. 123–133.* О цивилизирующей миссии русских по отношению к восточным «инородцам» см.: *Kappeler A. Op. cit.*

10 *Надеждин Н.И. Об этнографическом изучении народности русской. (Часть I) // Этнографическое обозрение. 1994. № 1. С. 116.* Статья Надеждина впервые была опубликована в журнале «Записки Императорского Русского географического общества» (1847. Т. 2. С. 61–110).

11 О конструировании образа «Другого» в различных частях Российской империи в XVIII – начале XIX вв. см.: *Kappeler A.* Op. cit. P. 141 [*Kanneler A.* Указ. соч. С. 124–126] (о коннотациях термина «инородец»); *Slezkine Y.* Arctic Mirrors... P. 58–60, 73; *Layton S.* Eros and Empire in Russian Literature about Georgia // *Slavic Review.* 1992/ Vol. 51. № 2. P. 212; *Hokanson K.* Literary Imperialism, *Narodnost'*, and Pushkin's Invention of the Caucasus // *Russian Review.* 1994. Vol. 53. № 3. P. 348–349.

12 *Haxthausen A.F. von.* The Russian Empire, Its People, Institutions, and Resources. London, 1856. Vol. 2. P. 4.

13 О русской колонизации Севера см.: *Armstrong T.E.* Op. cit. P. 46–57; *Александров В.А.* Русское население Сибири XVII – начала XVIII в. (Енисейский край). М., 1964. С. 59–77; *История Сибири.* Т. 2: Сибирь в составе феодальной России. Л., 1968. С. 25–60, 181–198, 357–364; *Русские старожилы Сибири...* С. 13, 16, 18–19, 26–27, 33, 43–45; *Миненко Н.А.* Городовые казаки Обского Севера в XVIII в. // *Русское население поморья и Сибири (период феодализма).* М., 1973. С. 336–349; *Lantzeff G.V., Pierce R.A.* Eastward to Empire: Exploration and Conquest on the Russian Open Frontier, to 1750. Montreal, 1973. P. 94–140, 183–219; *Павлов П.Н.* Промысловая колонизация Сибири в XVII в.: Учебное пособие. Красноярск, 1974. С. 79–105; *История крестьянства Сибири.* Т. 2: Крестьянство Сибири в эпоху феодализма. Новосибирск, 1982. С. 36–45, 157–177; *Сафронов Ф.Г.* Распространение земледелия на северо-востоке Сибири в XVII – начале XX в. // *Исторические связи народов Якутии с русским народом.* Якутск, 1987. С. 28–40; *Collins D.N.* Subjugation and Settlement in Seventeenth- and Eighteenth-Century Siberia // *The History of Siberia: From Russian Conquest to Revolution* / Ed. by Alan Wood. N.Y., 1991. P. 37–56.

14 Описание этих групп см.: *Гурвич И.С.* Указ. соч. С. 9–212; *Forsyth J.* Op. cit. P. 10–21, 48–57, 69–75; *Slezkine Y.* Arctic Mirrors... P. 1–7.

15 Эти слова, принадлежащие архиепископу Тобольска (1643), приводятся в следующей работе: *Буцинский П.Н.* Заселение Сибири и быт ее первых насельников. Харьков, 1889. С. 334. О смешанных браках в XVII веке см.: *Collins D.N.* Op. cit. P. 43; *Forsyth J.* Op. cit. P. 67–68; *Slezkine Y.* Arctic Mirrors... P. 43–44.

16 *Крашенинников С.П.* Описание земли Камчатки, сочиненное Степаном Крашенинниковым, Академии наук профессором. Ч. 3, 4 // Полн. собр. ученых путешествий по России, издаваемое Императорскою Академиею наук. Т. 2: Описание Камчатки. СПб., 1819. С. 402 [*Krasheninnikov S.P.* The History of Kamtschatka, and the Kurilski Islands, with the Countries Adjacent. Chicago, 1962. P. 267]; *Зуев В.Ф.* Материалы по этнографии Сибири XVIII века (1771–1772). М., 1947. С. 70; *Паллас П.С.* Путешествие по разным провинциям Российской империи: В 3 ч. СПб., 1773–1788 [*Pallas P.S.* Voyages de M. P. S. Pallas en différentes provinces de

l'empire de Russie, et dans l'Asie septentrionale. Paris, 1793. Vol. 4. P. 392]; John Ledyard's Journey through Russia and Siberia, 1787–1788: The Journal and Selected Letters. Madison, 1966. P. 174.

17 *Gmelin J.G.* Reise durch Sibirien von dem Jahr 1733 bis 1743. Göttingen, 1752. Vol. 2. S. 370.

18 *Castren M. Alexander*: Reiseerinnerungen aus den Jahren, 1838–1844. Leipzig, 1969. S. 280; *Wrangel F.* Narrative of an Expedition to the Polar Sea in the Years 1820, 1821, 1822, and 1823. Fairfield, Wash., 1981. P. 193; *Худяков И.А.* Краткое описание Верхоянского округа. Л., 1969. С. 98; *Erman A.* Travels in Siberia, including Excursions Northwards, down the Obi to the Polar Circle, and Southwards, to the Chinese Frontier. London, 1848. Vol. 2. P. 356; *Middendorff A.T., von.* Reise in den äussersten Norden und Osten Sibiriens. СПб., 1875. Vol. 4. Pt. 2. P. 1546; *Гончаров И.А.* Фрегат «Паллада». Л., 1986. С. 513. Дополнительно о лингвистическом и культурном влиянии якутов на русских в Якутске и Якутской области см.: *Уклонский А.* Краткие медико-топографические и частью статистические замечания о Вилюйском округе Якутской области // Журнал Министерства внутренних дел. 1841. Ч. 39. С. 88; *Макарий.* Заметки о Якутске и якутах // Вестник Императорского Русского географического общества. 1852. Ч. 4. С. 89; *Ditmar K., von.* Reisen und Aufenthalt in Kamtschatka in den Jahren 1851–1855 // Beiträge zur Kenntniss des russischen Reiches und der angrenzenden Länder Asiens. 1890. Ser. 3. № 7. S. 33.

19 *Hartwig G.* The Polar World: Popular Description of Man and Nature in the Arctic and Antarctic Regions of the Globe. N.Y., 1869. P. 228; *Maydell G.* Reisen und Forschungen im Jakulskischen Gebiet Ostsibiriens in den Jahren 1861–1871 // Beiträge zur Kenntniss des russischen Reiches und der angrenzenden Länder Asiens. 1893. Ser. 4. № 1. S. 542–543; *Middendorff A.T., von.* Op. cit. S. 1546.

20 *Швецов С.* Очерк Сургутского края // Записки Императорского Русского географического общества: Западно-сибирский отдел. 1888. № 10. С. 71.

21 *Андреевич В.К.* Сибирь в XIX столетии. СПб., 1889. Т. 6. Ч. 2. С. 349.

22 *Зензинов В.* Русская культура на далекой окраине. Пг., 1915. С. 51–52.

23 *Reclus É.* Nouvelle géographie universelle: La terre et les hommes. Vol. 6: L'Asie russe. Paris, [s.a.]. P. 774.

24 *Зензинов В.* Указ. соч. С. 51; *Бартенев В.* О русском языке в Обдорском крае // Живая старина. 1894. Т. 4. № 1. С. 126.

25 *Головачев И.* Взаимное влияние русского и инородческого населения в Сибири // Землеведение. 1902. Т. 10. № 2/3. С. 67.

26 О важной роли, которую играл язык в понятии национальной идентичности в XIX веке, см.: *Hobshawm E.J.* Nations and Nationalism since 1780: Programme, Myth, Reality. N.Y., 1990. P. 51, 59–62.

27 Попов Е.П. Некоторые данные по изучению быта русских на Колыме // Этнографическое обозрение. 1907. Т. 19. № 1/2. С. 160; Васильев В. Угасшая русская культура на Дальнем Севере // Сибирские вопросы. 1908. Т. 4. № 1. С. 34; Венюков М.И. Россия и Восток: Собрание географических и политических статей. СПб., 1877. С. 77.

28 Лесков Н. О влиянии корельского языка на русский в пределах Олонецкой губернии // Живая старина. 1892. Т. 2. № 4. С. 97.

29 Пыпин А. Русская народность в Сибири // Вестник Европы. 1892. № 1. С. 300; Третьяков П.И. Туруханский край, его природа и жители. СПб., 1871. С. 154.

30 Головачев П. Сибирь: Природа, люди, жизнь. М., 1902. С. 145; Рябков П. Полярные страны Сибири: Заметки и наблюдения в Колымском округе // Сибирский сборник. 1887. С. 16.

31 Рябков П. Указ. соч. С. 16.

32 Анучин Д. Расы // Энциклопедический словарь. СПб., 1899. Т. 26. С. 356–360.

33 Русские общественные мыслители (особенно радикалы) в конце имперского периода обычно отрицали представление о расе как об обязательной научной категории, а также избегали социал-дарвинистских концепций «борьбы за существование» между более развитыми и менее развитыми расовыми группами. См.: *Vucinich A. Darwin in Russian Thought. Berkeley, 1989. P. 384; Graham L.R. Science in Russia and the Soviet Union: A Short History. N.Y., 1993. P. 60–64.*

34 *Weinerman E. Racism, Racial Prejudice, and Jews in Late Imperial Russia // Ethnic and Racial Studies. 1994. Vol. 17. № 3. P. 448.*

35 Примером тому могут служить взгляды известного первооткрывателя и государственного деятеля М.И. Венюкова, который одобрял практику смешанных браков в Средней Азии как средство усиления «русского элемента». Смешение рас в Туркестане, утверждал Венюков, не противоречило «ни законам церкви, ни здравому смыслу», поскольку постепенно оно должно было привести к образованию «более высокой породы людей, например, такой, как мы наблюдаем на берегах Терека, где русские казаки веками заключали браки с дочерьми кавказских горцев» (*Венюков М.И. Поступательное движение России в Средней Азии // Сборник государственных знаний. 1877. Т. 3. С. 61, 64*). Более подробно о взглядах Венюкова см.: *Hauner M. Russia's Geopolitical and Ideological Dilemma in Central Asia // Turco-Persia in Historical Perspective / Ed. by R.L. Canfield. N.Y., 1991. P. 204–205.*

36 О сложившихся в западной науке XIX века представлениях о расах, смешанных браках и расовом вырождении см.: *Stegan N. Biological Degeneration: Races and Proper Places // Degeneration: The Dark Side of Progress / Ed. by J. Edward Chamberlin and Sander L. Gilman. N.Y., 1985.*

P. 97–120; *Stocking G.W.* Op. cit. N.Y., 1987. P. 46–109; *Todorov T.* On Human Diversity: Nationalism, Racism, and Exoticism in French Thought. Cambridge, Mass., 1993. P. 90–170; *Young R.J.C.* Colonial Desire: Hybridity in Theory, Culture, and Race. London, 1995.

37 См., например: *Талько-Грынцевич Ю.* К антропологии великороссов: Семейские (старообрядцы) забайкальские. Томск, 1898; *Зеланд Н.* Антропология западно-сибирского крестьянина // Русский антропологический журнал. 1900. № 3. С. 75–82; *Пантюхов И.И.* Антропологические наблюдения на Кавказе. [Б.м.], 1893; *Анучин Д.Н.* О географическом распространении роста мужского населения России (по данным о всеобщей воинской повинности за 1874–1883 гг.) // Записки Императорского Русского географического общества по отделению статистики. 1889. Т. 7. № 1. С. 1–184.

38 *Воробьев В.* Великороссы (очерк физического типа) // Русский антропологический журнал. 1900. № 1. С. 66.

39 *Анучин Д.Н.* Беглый взгляд на прошлое антропологии и на ее задачи в России // Русский антропологический журнал. 1900. № 1. С. 41.

40 *Троцанский В.Ф.* Якуты в их домашней обстановке (этнографический очерк) // Живая старина. 1908. Т. 17. № 4. С. 445. Свободное от уничижительной лексики описание физических черт якутов см.: *Геккер Н.Л.* К характеристике физического типа якутов (антропологический очерк). Якутск, 1896. С. 89–90.

41 *Третьяков П.И.* Указ. соч. С. 171. На Западе в тот период также часто обращали внимание на форму черепа и выдающуюся («обезьянью») челюсть представителей первобытных или «выродившихся» рас. См.: *Stepan N.* Op. cit. P. 97–98.

42 См., напр.: *Рубакин Н.* Рассказы о Западной Сибири или о губерниях Тобольской и Томской и как там живут люди / 4-е изд. М., 1915. С. 61–62; *Штернберг Л.Я.* Гиляки, орочи, гольды, негидальцы, айны. Хабаровск, 1933. С. 24; *Серожевский В.Л.* Якуты: Опыт этнографического исследования. СПб., 1896. Т. 1. С. 241–242 (о юкагирах и тунгусах); *Bogoras W.* The Chukchee [1904–1909]. N.Y., 1975. P. 33.

43 *Рябков П.* Указ. соч. С. 9.

44 *Швецов С.* Указ. соч. С. 6.

45 *Майнов И.И.* Помесь русских с якутами // Русский антропологический журнал. 1900. № 4. С. 42, 57. См. также другую его работу: *Майнов И.И.* Русские крестьяне и оседлые инородцы Якутской области // Записки Императорского Русского географического общества: Отделение статистики. 1912. Т. 12.

46 *Щапов А.П.* Историко-географические и этнологические заметки о сибирском населении // Щапов А.П. Собрание сочинений: Дополнительный том к изданию 1905–1908 гг. Иркутск, 1937. С. 100–104.

47 *Рябков П.* Указ. соч. С. 12–13.

- 48 Патканов С. О приросте инородческого населения Сибири: Статистические материалы для освещения вопроса о вымирании первобытных племен. СПб., 1911. С. 179.
- 49 Ядринцев Н.М. Сибирь как колония. СПб., 1882. С. 28–32.
- 50 Там же. С. 28.
- 51 Ядринцев Н.М. Сибирские инородцы: Их быт и современное положение. СПб., 1891. С. 182, 184.
- 52 Шапов А.П. Указ. соч. С. 123–124.
- 53 Швецов С. Указ. соч. С. 71.
- 54 Головачев П. Указ. соч. С. 146.
- 55 Третьяков П.И. Указ. соч. С. 154.
- 56 Bogoras W. Op. cit. P. 721; N-. Походская виска // Сибирский сборник. 1897. Т. 12. № 1/2. С. 17.
- 57 Богораз В.Г. Русские на реке Колыме // Жизнь. 1899. № 6. С. 121; Рябков П. Указ. соч. С. 36; М.А. Чапличка также отмечала это явление, но сомневалась, что «арктическая истерия» действительно может возникнуть у выходцев из европейской части России. См.: *Czaplicka M.A. Aboriginal Siberia: A Study in Special Anthropology. London, 1914. P. 324.*
- 58 Богораз В.Г. Указ. соч. С. 106. Это явление было отмечено и в других частях Сибири; см.: Ядринцев Н.М. Указ. соч. С. 180–181.
- 59 Бартенев В. На крайнем северо-западе Сибири: Очерки Обдорского края. СПб., 1896. С. 19.
- 60 Головачев П. Указ. соч. С. 146; Азиатская Россия. Т. 1: Люди и порядки за Уралом. СПб., 1914. С. 185; Богораз В.Г. Указ. соч. С. 122; Кирьяков В.В. Очерки по истории переселенческого движения в Сибирь в связи с историей заселения Сибири. М., 1902. С. 81. Один этнограф оспаривал сообщения о русских, практикующих шаманство в регионе северного Енисея; см.: Чеканский И.А. Следы шаманского культа в русско-тунгусских поселениях по реке Чуне в Енисейской губернии // Этнографическое обозрение. 1914. Т. 26. № 3/4. С. 61–80.
- 61 Пыпин А.Н. Указ. соч. С. 294–295.
- 62 Васильев В. Указ. соч. С. 30–31.
- 63 Ядринцев Н.М. Сибирь как колония... С. 10.
- 64 Ядринцев Н.М. Сибирские инородцы... С. 167–168.
- 65 Майнов И.И. Указ. соч. С. 38.
- 66 Йохельсон В. Заметки о населении Якутской области в историко-этнографическом отношении // Живая старина. 1895. Т. 5. № 2. С. 130. Внимание к опасностям колонизации было весьма характерно для русской мысли позднеимперского периода, когда на восточных окраинах империи уже существовали многолюдные поселения русских. О проблемах, с которыми столкнулись русские поселенцы, включая болезни, засуху, наводнения, чуждое окружение, тоску по родине, нехватку церквей (что было зна-

чимой проблемой для Сибири), «туземное» окружение и недостаточный уровень культуры самих поселенцев, см.: *Пантюхов И.И.* Влияние малярии на колонизацию Кавказа // Кавказский календарь на 1899 г. Тифлис, 1898. С. 55; *Муров Г.Т.* Люди и нравы Дальнего Востока: От Владивостока до Хабаровска (путевой дневник). Томск, 1901. С. 149, 158; Колонизация Сибири в связи с общим переселенческим вопросом. СПб., 1900. С. 366; *Куломзин А.Н.* Всеподданнейший отчет о поездке в Сибирь для ознакомления с положением переселенческого дела. СПб., 1896. Т. 1. С. 125; *Дашкевич В.* Переселение в Сибирь. СПб., 1912. С. 74–75; *Липранди А.П.* Кавказ и Россия. Харьков, 1911. С. 253; *Кауфман А.А.* Переселение и колонизация. СПб., 1905. С. 445.

67 *Вруцевич М.С.* Обитатели, культура и жизнь в Якутской области // Записки Императорского Русского географического общества по отделению этнографии. 1891. Т. 17. № 2. С. 27–28.

68 *Jochelson W.* Peoples of Asiatic Russia. [S.a], 1928. P. 134.

69 *Пытин А.Н.* История русской этнографии. СПб., 1892. Т. 4. С. 432.

70 *Харузин Н.* К вопросу об ассимиляционной способности русского народа // Этнографическое обозрение. 1894. № 4. С. 64–70.

71 Там же. С. 76–77.

72 Там же. С. 77–78.

73 Примеры таких взглядов см.: *Буцинский П.Н.* Заселение Сибири и быт ее первых насельников. С. 334–335; *Kravchinskii (Stepniak) S.* The Russian Peasantry. N.Y., 1888. P. 85 [*Стенняк-Кравчинский С.М.* Русское крестьянство // *Стенняк-Кравчинский С.М.* В лондонской эмиграции. М., 1968]; *Разумов Н.И.* Забайкалье: Свод материалов высочайше учрежденной комиссии для исследования местного землевладения и землепользования, под председательством статс-секретаря Куломзина. СПб., 1899. С. 42.

74 *Миронов М.А.* О положении русских инородцев. СПб., 1901. С. 289, 291.

75 *Йохельсон В.* Указ. соч. С. 128; *Пытин А.Н.* Русская народность в Сибири... С. 302. О предполагаемой слабости национальных чувств русских по сравнению с другими «цивилизованными» народами см.: *Миронов М.А.* Указ. соч. С. 288–289.

76 *Ядринцев Н.М.* Сибирь как колония... С. 162; *Швецов С.* Указ. соч. С. 87; Колонизация Сибири в связи с общим переселенческим вопросом. СПб., 1900. С. 372; *Миронов М.А.* Указ. соч. С. 297.

77 *Смирнов И.Н.* Указ. соч.

78 *Bauman Z.* Modernity and Ambivalence // Theory, Culture and Society. 1990. № 7. P. 158. Более глубокий анализ ассимиляции Бауман предложил впоследствии в одноименной книге (Oxford: Polity, 1991).

РОБЕРТ ДЖЕРАСИ

Этнические меньшинства, этнография
и русская национальная идентичность
перед лицом суда:

«мултанское дело» 1892–1896 годов

Обвинение в совершении человеческого жертвоприношения, или ритуального убийства, является одним из самых мощных орудий в риторическом арсенале межэтнических конфликтов Нового времени. Заявить, что какой-либо народ помещает умышленное отнятие человеческой жизни в центр системы своего духовного мировоззрения, означает заклеить этот народ как варварский по сути своей, неспособный на осмысленное или конструктивное взаимодействие с цивилизованным миром. Хорошо известно, что такие обвинения часто выдвигали христиане против евреев¹. Среди наиболее известных таких случаев — дело Бейлиса 1911–1913 годов, когда еврей из Киева был привлечен к суду по обвинению в совершении ритуального убийства русского мальчика. Обвинение, хотя и поддержанное правительством, явно оказалось сфабрикованным, и благодаря протесту, выраженному общественным мнением (в том числе даже международным), Бейлис был оправдан². Однако не столь широко известно, что меньше чем за два десятилетия до дела Бейлиса в России имел место близкий прецедент, затрагивавший не евреев, а одну из малых финно-угорских народностей Поволжья.

Вотяки (известные с советских времен как удмурты) едва ли обладали теми чертами, которые способствовали созданию мифа о «еврейской опасности» в глазах русских, сделав тем самым евреев уязвимыми для антисемитской клеветы. То была небольшая этническая группа — примерно четыреста тысяч человек, сконцентрированная преимущественно в Вятской, Пермской и Казанской губерниях и представлявшая собой коренное население региона, проживавшее здесь задолго до прихода русских в XVI веке. Это

было практически всецело сельское население — земледельцы, охотники, рыболовы, бортники, ремесленники-кустари. Традиционная система их верований была локализованной, политеистической, шаманской и бесписьменной; их контакты с православной церковью начались, вероятно, не раньше XVIII столетия. Только в последней трети XIX века благодаря усилиям миссионеров (во главе с Н.И. Ильминским) у вотяков возникла письменность на родном языке. Вотяки не имели какой-либо диаспоры или «родной земли» за пределами Российской империи, и лишь немногочисленная грамотная элита (подготовленная в школах Ильминского) обладала неким политическим сознанием, о котором могла бы заявить.

Степень христианизации вотяков была предметом дебатов, поскольку национальные и христианские элементы в их культуре часто смешивались друг с другом, формируя своеобразную смесь. Многие русские в Поволжье обычно считали их наименее христианизированным и наименее цивилизованным из финно-угорских народов. После того как в XIX веке царские власти сфокусировали свое внимание на исламе как на главной культурной угрозе в данном регионе, официальный дискурс обычно изображал все финские народы наивными и невинными детьми природы, которых православная церковь обязана спасти от обращения в ислам и превращения в татар и которые в конце концов добровольно поддадутся христианизации и полной русификации, если предоставить им достаточно времени и как следует ими руководить¹.

Если со стороны официальных царских властей вотяки редко воспринимались как источник угрозы, то, тем не менее, некоторые русские крестьяне в своей среде относились к их особенностям со страхом и враждебностью. В XIX веке в губерниях Среднего Поволжья циркулировали слухи о практикуемых вотяками человеческих жертвоприношениях⁴. Рассказы о таких случаях обычно не были столь существенны, чтобы возбуждать уголовное обвинение и начинать следствие, но они просочились в оставленные путешественниками и этнографами описания вотяков⁵. В 1892 году волна подобных слухов совпала с обнаружением изуродованного трупа и с рьяной попыткой местных властей возбудить уголовное дело против группы вотяков на основании недостаточных и даже противоречивых свидетельств. Последовавшее за этим судебное разбирательство продолжалось четыре года; дело слушалось в суде

трижды. Два разных состава присяжных признали семерых вотяков виновными в принесении русского человека в жертву своим «языческим богам». Из-за грубых процедурных нарушений и злоупотреблений властью со стороны местной администрации оба вердикта были аннулированы Правительствующим Сенатом, высшим судебным органом Российской империи. Только на третий раз вотяки были оправданы, большей частью благодаря вниманию общественности, привлеченному к этому делу усилиями известного писателя В.Г. Короленко⁶. «Мултанское дело», названное так по имени села, где проживали обвиняемые, породило в российском обществе долгие и жаркие дебаты. Для историков же это дело проливает свет на целый ряд проблем: на развитие судебных институтов и судебных процедур в России, на роль полиции в жизни сельских общинных институтов, на поведение и влияние прессы и даже на историю судебной медицины. В настоящей статье я обращаюсь к этому делу для того, чтобы осветить концепцию России как многонациональной общности, сложившейся как в образованном обществе, так и в простом народе. Я намерен доказать, что, хотя речь вроде бы шла о виновности или невинности конкретных личностей, обвиненных в конкретном преступлении, в общественном сознании на карту были поставлены гораздо более общие проблемы.

Чтобы представить достоверный мотив убийства, обвинение должно было настаивать, что человеческие жертвоприношения на самом деле являются частью образа жизни вотяков. Во-первых, вследствие этого под судом оказался весь вотяцкий народ и его культура, а возможно — и остальные малые народы России. Как в самом судебном процессе, так и в общественной дискуссии вокруг него стержневую роль играли обобщения, касавшиеся не только вотяцкой культуры, но и человеческих культур в целом, особенно те из них, которые делались учеными-исследователями. Только что оперившаяся молодая наука — этнография — предоставила некоторую основу и методы для формулирования подобных обобщений, хотя ученые, практиковавшие в данной области, не разделяли одного и того же теоретического подхода или хотя бы одного и того же определения поля исследования. На самом деле процесс стал ареной состязания между различными восприятиями этнографии, ее научного базиса и ее социальной пользы. До некоторой степени, таким образом, под судом оказа-

лась и сама этнография. В-третьих, поскольку вотяки в течение нескольких столетий были объектами русского владычества и культурного влияния и поскольку было широко распространено мнение о них как о достаточно русифицированном и христианизированном народе, то для многих утверждения о современных человеческих жертвоприношениях сделали русских и их культурную миссию столь же уязвимыми для обвинений, сколь и вотяков. В более широком смысле само судебное разбирательство стало комментарием к тому, каким именно образом русские как «правлящая нация» управляли своей империей. Несмотря на маргинальное положение самого вотяцкого народа, «мултанское дело» непосредственно затронуло стержневой парадокс разнообразия и идентичности в многонациональной империи в эпоху национализма.

Преступление и наказание

Шестого мая 1892 года на тропе между русскими деревнями Анык и Чулья и неподалеку от села со смешанным русско-вотяцким населением Старый Мултан в Малмыжском уезде Вятской губернии девочка нашла мертвое тело. Труп опознали: это был Конон Матюнин, русский крестьянин из Казанской губернии, который страдал эпилепсией и ушел собирать милостыню. Согласно свидетельству девочки голова и конечности были начисто отрублены, однако на самом теле и вокруг было относительно немного крови. Вскрытие показало, что спина Матюнина была распорота, несколько позвонков и ребер сломано, легкие и сердце вынуты. На его животе были темные пятна⁷. В целом состояние тела, казалось, свидетельствовало об убийстве для некоей оккультной или ритуальной цели.

Как только для расследования дела прибыла полиция, ее встретили русские жители, заявившие: «Это дело вотяков». Некоторые говорили, что они знают или слышали об обычае вотяков приносить людей в жертву своим богам во времена великих лишений (как хорошо известно, 1892 год был голодным во многих деревнях России). Действительно, утверждали, что нищий провел ночь на 5 мая в селе Старый Мултан. На основании этих слухов полиция начала обыск в домах тех вотяков, которые, как было известно, практиковали языческое богослужение⁸. Вскоре Старый

Мултан был переполнен толпами следователей. Расследование убийства, которое продолжалось около двух лет из-за различных перерывов и кадровых перестановок, практически исключительно фокусировало внимание на этом селе. В конечном счете двенадцать мужчин-вотяков из этой деревни были обвинены в преступлении и отправлены в тюрьму (один из них умер до конца следствия и еще один умер в ожидании суда).

Согласно обвинительному заключению, представленному в Сарапульский окружной суд в 1894 году амбициозным товарищем прокурора Николаем Раевским, убийство Матюнина можно было понять лишь как совершенное в целях жертвоприношения вотяцким языческим божествам. Раевский описывал вотяцкие жертвоприношения живых существ, которые совершались по особым случаям, — роль языческих жрецов в заклании жертвы, собирание и питье крови, отсечение головы и изъятие внутренних органов, моления участников ритуала. Помимо определенных регулярных жертвоприношений птиц и овец, писал он, «через известные промежутки времени, года через четыре-пять, совершаются особенные моления, преимущественно в години несчастий... самому главному богу, *злому духу Курбану*. Тогда приносятся в жертву какие-либо крупные животные, вроде быка... Наконец, по удостоверению свидетелей, слышавших об этом от самих же вотяков, лет через сорок или более, в исключительных случаях, в года полного неурожая или мора на людях... приносится тому же Курбану для умиловления его и человеческая жертва»⁹. В числе указанных свидетелей были местный земский начальник; девяностопятилетний русский крестьянин, который заявил, что вотяки чуть было не принесли в жертву его племянника около сорока лет тому назад; и священник, принимавший ранее участие в расследовании подобных случаев, ни один из которых так и не закончился возбуждением уголовного дела¹⁰.

Обвинительное заключение гласило, что 4 мая 1892 года вся вотяцкая община в Старом Мултане собралась и решила, на основании видения, явившегося одному из вотяков во сне, осуществить человеческое жертвоприношение. Против обвиняемых были приведены только косвенные свидетельства. Моисей Дмитриев оказался под подозрением, поскольку он был владельцем «молебного шалаша», который использовался его родом как место для

жертвоприношений, Андриан Александров — поскольку он был жрецом в роду Дмитриева. Кузьма Самсонов был известен как лучший мясник в деревне, а состояние трупа было таким, что, предположительно, только он мог осуществить расчленение. Другие были названы двумя вотяками, якобы присутствовавшими при совершении преступления, но не принимавшими участия в нем. Прокурор также опирался на обрывки разговоров, нечаянно подслушанные русскими на протяжении нескольких лет и во многих случаях вырванные из контекста, чтобы доказать, что подсудимые сами сознались в совершенном преступлении. Приводились также различные вещественные доказательства: волосы в корыте, следы крови на одежде, сырой земляной пол в шалаше Дмитриева (предположительно вымытый для удаления крови)".

Неосновательность заключений прокурора прошла незамеченной для большинства наблюдателей, и по вопросу о виновности вотяков было достигнуто согласие подавляющего большинства. 10 и 11 декабря в Сарапульский окружной суд вызывались свидетели, чтобы процитировать те же самые слухи, которые упоминались в обвинительном заключении. Раевский ссылаясь на предположительные ритуальные убийства детей, осуществляемые евреями, как на доказательство правдоподобности предполагаемого мотива убийства. Он также применил к религиозным обычаям вотяков свою собственную логику. «Года за четыре до убийства Матюнина, — сказал Раевский, — в шалаше кр. Моисея Дмитриева... был принесен в жертву бык. Но от быка не так далеко и до человеческой жертвы, особенно после таких тяжелых годов, какими по справедливости считаются в Малмыжском уезде 1891 и 1892 годы».

Вотяки мало что могли противопоставить сценарию прокурора, кроме заверений в своей невиновности. Несведущие в юридических процедурах, они нашли защитника, М.И. Дрягина, только в последнюю минуту перед судом. Таким образом, защита пропустила установленный законом срок для вызова свидетелей, и суд не согласился изменить эту техническую сторону процесса. Дрягин доказывал, что человеческих жертвоприношений не существует ни у вотяков, ни у евреев, но не ссылаясь ни на какие авторитетные мнения по данному вопросу. Его речь, согласно прессе, «произвела на публику прекрасное впечатление». Тем не менее присяжные, большей частью крестьяне, после двухчасового сове-

щения постановили, что семь из десяти обвиняемых «виновны в том, что они с заранее обдуманном намерением лишили жизни Матюнина с целью принесения жертвы своим языческим богам». В то же время присяжные считали этих семерых «заслуживающими снисхождения», предположительно из-за их невежества. Шестеро были приговорены к десяти годам каторжных работ и один (девяностолетний) — к ссылке в Сибирь¹².

Известия об этом деле вызвали настоящий взрыв в местной прессе; и мнения о виновности или невиновности привлеченных к суду вотяков разделились. Тем не менее было очевидно, что в глазах общественности на карту поставлены гораздо более масштабные вопросы. Казанская газета «Волжский вестник» опубликовала резко критическую статью с требованием больше заботиться о русификации «инородцев» (термин, который обычно использовался для обозначения нерусских народов азиатской части империи). «Кто будет спорить, — писал автор, потрясенный варварством предполагаемого преступления, — что эти несчастные, жалкие вотяки с православными именами, — эти Иваны, Семены, Василии и так далее, с которыми и вам, мой читатель, случайно, может быть, приходилось стоять в народной толпе, — не принадлежат умом и сердцем к тем тихоокеанским дикарям, описание нравов которых вы читали, содрогаясь? Трудно отрешиться от мысли, что подобный факт происходил не где-нибудь в Центральной Африке, Индии или Полинезии, а в 300 верстах от университетского города, от центра миссионерской деятельности, направленной на просвещение инородцев... А между тем это факт, не вызывающий сомнения в своей подлинности. Как же после этого какому-нибудь заезжему европейцу не сказать про нас, что мы варвары или что по крайней мере среди нас есть таковые? И он будет прав»¹³. Статьи, подобные этой, вызвали ответы читателей и тем самым открыли полемику, которая проникла в самую суть представлений русских о самих себе и поставила под вопрос саму сущность их империи.

В своей апелляции по делу, поданной в Правительствующий Сенат, Дрягин заявлял, что в ходе следствия и судебного процесса были нарушены бесчисленные законодательные нормы и юридические требования. Судья продемонстрировал явное предубеждение в пользу обвинения, периодически прерывая и запугивая защитника, когда тот обращался к присяжным, и отказав

защите в праве вызова свидетелей. Более того, суд не потребовал доказать, что у вотяков существует практика человеческих жертвоприношений, и нарушил закон, приняв к рассмотрению показания, основанные только на необоснованных слухах. Такие нарушения, намекал Дрягин, предназначались для того, чтобы скрыть упущения местных властей в ходе расследования преступления и искажение фактов со стороны прокурора. Полиция выбросила улику, показывавшую, что следы крови вели от тела не в Мултан, а в русскую деревню Анык. Существовали разногласия по вопросу о том, в какой деревне ночевал Матюнин накануне своей гибели. Показания девочки о том, что она видела труп дважды в разные дни, наводили на мысль, что труп переместили и переодели в промежуток между этими днями. Тело почти целый месяц хранилось в ожидании вскрытия. Только после этого кто-то заметил, что легкие и сердце отсутствуют, и это противоречило заявлению Раевского о том, что органы отсутствовали уже при обнаружении тела. Другие вещественные доказательства не были собраны в течение нескольких месяцев со времени убийства, и место, где было найдено тело, не было изучено с соблюдением должных процедур вплоть до следующей зимы, когда его покрыл снег¹⁴.

В мае 1895 года Сенат аннулировал приговор и потребовал повторного рассмотрения дела в другом городе с участием других судей и присяжных. Перечисляя многочисленные нарушения судебных уставов, допущенные судебным следователем, прокурором, товарищем прокурора и самим Сарапульским окружным судом, Сенат специально требовал, чтобы при повторном слушании дела было исключено использование необоснованных слухов о преступлении и о религиозных верованиях вотяков и чтобы вместо того в суде были заслушаны консультации и показания экспертов как в сфере этнографии, так и медицины¹⁵.

Некоторые периодические издания одобрили действия Сената. Народнический толстый журнал «Русское богатство» писал в редакционной статье: «Будем надеяться, что сама наука подаст голос... Наука имеет некоторые данные и могла бы вероятно дать более достоверную картину и жертвоприношения, и других суеверных идей и обрядов»¹⁶. Наука вскоре действительно подала голос или, скорее, ввязалась в драку. «Волжский вестник», выражая уверенность, что вердикт был обоснованным, цитировал

этнографические труды о вотяках, написанные профессором Казанского университета И.Н. Смирновым¹⁷. Точка зрения Смирнова оказалась решающей для дела, и потому она заслуживает детального рассмотрения.

Иван Смирнов и эволюционизм в этнографической науке

Иван Николаевич Смирнов, сын священника, родился в Казанской губернии в 1856 году. После окончания Казанской духовной семинарии он отказался от священнического сана и поступил в Казанский университет, чтобы изучать историю. Там он получил степень доктора наук за исследование по истории венецианско-далматских отношений в эпоху Ренессанса. В 1886 году он стал ординарным профессором всеобщей истории в Казанском университете¹⁸.

В 1878 году местные энтузиасты основали Общество археологии, этнографии и истории при Казанском университете — одну из первых подобных организаций за пределами Санкт-Петербурга и Москвы. Занимая пост президента Общества и редактора его журнала в течение многих лет, Смирнов стал считать изучение национальных меньшинств региона гражданским долгом русского общества. Он не видел противоречий между профессионализацией этнографии посредством повышения ее научных стандартов, с одной стороны, и расширением ее популярности и практических занятий ею в кругу образованных любителей — с другой. В 1891 году в публичной лекции на тему «Задачи и значение местной этнографии» Смирнов призвал профессионалов среднего класса принять участие в этнографических исследованиях и делать это с должной научной строгостью: описывать все явления полностью, когда это возможно — делать зарисовки, отмечать местоположение всех находок и записывать устную традицию как она есть, без литературного приукрашивания¹⁹.

После интенсивного чтения английской литературы по антропологии²⁰ и социальной теории, Смирнов сам начал предпринимать полевые экспедиции по изучению финно-угорских народов Волго-Уральского региона. Его исследования финансировались Казанским учебным округом, и его важнейшими плодами стали

труды по четырем наиболее крупным группам финно-угорского населения: «Черемисы» (1889), «Вотяки» (1890), «Пермяки» (1891) и «Мордва» (1895). Каждая из этих работ публиковалась серийно в казанских «Известиях Общества археологии, этнографии и истории» и выходила отдельной книгой.

Исследования Смирнова представляли собой по большей части образцы «кабинетной этнографии», то есть скорее носили синтезирующий характер, чем базировались на оригинальных исследованиях. Смирнов не имел ни времени, ни достаточно лингвистических навыков, чтобы предпринять более доскональное полевое исследование²¹. Его работы тем не менее часто удостоивались высокой оценки ученых за их систематичность, организацию материала и обзоры существующей литературы. Рецензируя «Вотяков», один исследователь назвал книгу «первым обращением науки к вотяцкой этнографии» и предрек, что она «заметно продвинет вперед изучение этого народа»²².

В этих монографиях отразился энтузиазм, который Смирнов испытывал по отношению к эволюционистской модели, ассоциировавшейся с именами многих английских и американских антропологов (этнологов) 1860–1880-х годов. Признанным лидером эволюционистской школы был Эдвард Б. Тайлор, первый ученый, занявший университетскую кафедру антропологии (в Оксфорде). В 1889 году, обобщая эволюционистскую точку зрения, Тайлор писал: «Учреждения человеческие состоят из таких же отдельных наслоений, как и земля, на которой люди живут. Рядами, существенно однообразными для всего земного шара, учреждения эти сменяют друг друга, как независимые от сравнительно поверхностного различия рас и языков, но создаваемые повсюду одинаковой человеческой природой, проявляющейся в последовательной смене дикого, варварского и цивилизованного состояний»²³.

Смирнов, сам считавший себя тайлорианцем, сознательно стал первым последователем Тайлора в России²⁴. Влечение к эволюционизму было последствием его интереса к существовавшим тогда европейским теориям постоянного и неизбежного прогресса. Его также привлекали концепции Маркса и Спенсера, и он отзывался об эволюционизме как об «английской ереси», поскольку историческая непрерывность, которую это учение видело между примитивными и цивилизованными культурами, могла быть

интерпретирована как отстаивание светского, демократического мировоззрения²⁵. Однако, возможно, даже в большей степени, чем Тайлор и другие эволюционисты, Смирнов балансировал между просвещенческой верой в «психическое единство человечества» и в принцип «независимого изобретения», с одной стороны, и пониманием различий внутри человечества и важности распространения культуры, с другой²⁶. Хотя он верил в единую эволюционную последовательность развития народов, он полагал, что различные народы могут обладать неодинаковым потенциалом для достижения следующих стадий на этом пути. Только немногие народы, считал он, способны к новшествам до такой степени, что их эволюционная судьба может считаться предопределенной. Менее одаренные народы достигают стадий более высоких аналитических и технических возможностей только путем заимствования у более преуспевших на этом пути соседних народов²⁷. Так, согласно Смирнову, единообразие эволюционных стадий на всем земном шаре объясняется скорее превосходством и влиянием немногих культур на все прочие, чем единообразием человеческой расы.

Именно таким образом Смирнов рассматривал историю народов Поволжья. Менее способные по своей природе, по его мнению, финно-угорские народы нуждались во влиянии славян (русских), чтобы вступить на путь культурной эволюции. Поэтому цивилизирующий процесс для финнов был равнозначен русификации. То, что Смирнов интерпретировал эволюционизм именно таким образом, неудивительно. Российские историки XIX века часто описывали свою страну как одну из тех, где культурная экспансия идет рука об руку с экспансией географической: русский народ органически рос по мере того, как он цивилизовал и абсорбировал малые, менее развитые этнические группы²⁸. Этот динамичный процесс, включавший даже возможные смешанные браки и смешение малых народов с русскими, писатели-этнографы в России конца XIX века считали само собой разумеющимся. Новации Смирнова состояли, скорее, в использовании этнографической теории и методологии при разработке деталей этой культурной истории.

Каждая из монографий Смирнова начиналась с главы, описывавшей общую историю изучаемого народа, где стержневой линией повествования была история контактов данного народа с русскими. За ней следовала глава об условиях окружающей среды

и материальных изобретениях. Затем шли отдельные главы, посвященные структуре семьи, религиозным верованиям, народному литературному творчеству, где процесс русификации-цивилизации был представлен более детальным образом. Здесь Смирнов был правоверным сторонником теорий западных эволюционистов. К примеру, главы по истории семьи всегда воспроизводили порядок развития, описанный Генри Льюисом Морганом: начиная с примитивного общего брака, матриархата и терминов родства, основанных на указании возраста, через стадии левирата и полигамии, и заканчивая моногамией, патриархатом и признанием только кровнородственных отношений, достигнутых под влиянием христианства. В главах о религиозных верованиях Смирнов следовал идеям Тайлора о происхождении веры в существование души, о последовательном прохождении через стадии фетишизма (обожествления явлений природы), анимизма (антропоморфного политеизма) и спиритуализма (монотеизма), опять-таки отражающего христианизующее влияние русских⁹. Смирнов полагал, что финские народы Поволжья достигли к настоящему времени различных стадий эволюционного развития, и он объяснял это существованием различных форм взаимодействия с русским народом, обусловленных разными историческими и географическими условиями. В большинстве случаев Смирнов рассматривал этот процесс как до сих пор не завершенный, с сохранением разнообразных примитивных обычаев (таких, как языческие ритуалы немонагамных половых отношений), все еще существующих в том или другом племени и уживающихся с христианскими нормами (что Смирнов часто называл «компромиссной» позицией)¹⁰.

По своим представлениям о трансляции культур Смирнов был бескомпромиссным народником. Он верил, что русификация происходит вследствие спонтанного, непосредственного влияния русской «крестьянской массы» на «инородцев», но не вследствие государственной или церковной политики. «Ассимиляция совершается самой жизнью, помимо всяких предписаний». Финские племена «русифицирует... не чиновник, а колонист»¹¹. Смирнов допускал, что государство может играть какую-либо роль в процессе русификации только потому, что оно «не желает оставаться безучастным зрителем того, что происходит в жизни»¹².

Лучшим рассадником русификации, как он думал, всегда была деревня с этнически смешанным населением. Создание подобных деревень и, таким образом, сама русификация были результатом постепенных экономических процессов³³. Через совместное проживание финские племена могли наблюдать преимущества, которыми обладают русские в повседневном материальном быту — в одежде, орудиях труда, строительстве жилья, — и могли вовлекаться тем самым в более тесный контакт и более интенсивные заимствования. Процесс неизбежно должен был завершиться смешением «инородцев» с русскими путем межэтнических браков. Новые поколения представляли бы собой расовые гибриды, но их культура должна была быть совершенно русской. Эта этническая абсорбция там, где она уже имела место, была столь полной, что ее последствия часто ошибочно принимали за бегство или биологическое вымирание малого народа³⁴. Непосредственное отношение ко всему этому имеет прогноз, который Смирнов сделал на страницах книги «Вотяки»: «Вотяки находятся на пути слияния с русским народом; не пройдет, может быть, столетия до тех пор, пока последний вотяк сделается русским». В некоторых случаях Смирнов предусматривал даже вариант более быстрого прогресса, как, например, в одной местности, где, как он предсказывал, «пройдет два-три десятилетия, и о существовании вотяков в этом приходе останется смутное воспоминание»³⁵.

Человеческое жертвоприношение и «пережитки»

Смирнов заинтересовался темой человеческих жертвоприношений еще до «мултанского дела», и, возможно, его озабоченность ею даже сыграла определенную роль в возбуждении этого дела. В публичных лекциях и опубликованных работах он умело использовал сенсационный характер этой темы, чтобы привлечь к этнографии интерес аудитории среднего класса. Более того, сам Тайлор обсуждал тему человеческих жертвоприношений со всеми подробностями в работе «Первобытная культура» при раскрытии своей концепции «survivals» и в своем обзоре эволюции религиозных верований.

Тайлор определял «survivals» (на русский это слово переводилось как «пережитки» или «переживания» — мы будем обсуж-

дать это ниже) как «те обряды, обычаи, воззрения, и пр., которые силой привычки были перенесены в новое состояние общества, отличное от того, которому они были свойственны, и остаются, таким образом, в виде доказательств или примеров прежнего состояния культуры, из которого развилось новейшее»¹⁶. Кажущаяся бессмысленность пережитков, отсутствие у них современной функциональной необходимости, согласно Тайлору, позволяет этнографу идентифицировать их как точки проникновения в прошедшие стадии развития культуры. Другое средство, которое Тайлор использовал для реконструкции более ранних стадий истории культуры, было известно в XIX веке как «сравнительный метод». Идея состояла просто в том, что синхронистическое сравнение культур, стоящих на различных стадиях эволюции, представляет собой способ выявить более или менее универсальные стадии этого процесса. Более цивилизованные народы, как верил Тайлор, могут увидеть, как жили и что испытывали их предки, глядя на современных «дикарей» или «первобытных людей»¹⁷.

Чтобы проиллюстрировать эту концепцию, Тайлор анализировал «обряд, требующий при закладке здания человеческой жертвы». Цитируя различные европейские легенды, он утверждал, что оно практиковалось в далеком прошлом как способ обеспечить постройке покровительство богов. Отдельные привычки и суеверия девятнадцатого века выражали память о жертвоприношении: паломничество к местам древних жертвоприношений, замена человеческой жертвы при закладке фундамента пустым гробом или жертвенным животным, поверье, что закладка фундамента вызовет смерть прохожего¹⁸. Это были конечные продукты той прогрессивной эволюции, которую Тайлор назвал «жертвенным замещением», в ходе которой человеческая жертва постепенно замещалась менее ценными, менее жестокими жертвоприношениями. Необходимое убийство члена семьи идолопоклонника могло быть заменено убийством преступника, пленного врага или даже захоронением чучела. Другим вариантом замены могли быть «ритуальные увечья» — отрезание человеческих волос, пальца, собирание капель крови или принесение в жертву животного. Жертвоприношение животных могло заменяться принесением в жертву изображений животных или небольшого количества еды и питья. Смысл жертвоприношений, согласно Тайлору, также эволюцио-

нирует от «существенной ценности» (удовлетворение потребности божества в человеческой плоти для поддержания существования божества) к «почитанию» (символическому жесту, требуемому божеством) или даже к «отречению» (жертвоприношению, необходимому для умиротворения совести дарителя, но не для удовлетворения божества). Как и в случае с жертвоприношением при закладке фундамента, поздние, чисто символические формы, как и живучие суеверия, представляют собой пережитки настоящих жертв. Человеческое жертвоприношение — наиболее существенная форма, как утверждал Тайлор, — в Европе полностью свелось к пережиткам, хотя, возможно, все еще практикуется в реальности в отдельных частях Африки и Азии¹⁹.

Из двух русских слов, которыми русские этнографы переводили тайлоровский термин «survivals», «пережитки» более точно соответствуют оригинальному понятию. Оно относится к явлению, которое остается от прежней стадии, с уничижительным смысловым оттенком. «Переживание» — термин, который чаще использовался в русском переводе работы «Первобытная культура», вышедшем в 1872 году, — может также относиться к тому, что пережило свое время, но в принципе означает сам акт выживания, не обязательно с уничижительным оттенком. В этом переводе термин «переживание» использовался в единственном числе, даже когда на английском языке речь шла о «survivals» во множественном числе. Смирнов в своих работах использовал для обозначения понятия, разработанного Тайлором, оба термина как взаимозаменяемые⁴⁰.

Начиная с 1889 года, Смирнов читал публичные лекции, посвященные человеческим жертвоприношениям (такие, как «Следы человеческих приношений в поэзии и религиозных обрядах приволжских финнов» или «Воспоминания об эпохе каннибализма в народной поэзии вотяков»), где опирался на идеи Тайлора для объяснения этнографических данных из своих собственных исследований. Он также упоминал о человеческих жертвоприношениях и их пережитках в своих монографиях о финских народах Поволжья. При этом, изображая прошлое края в зловещих красках, Смирнов не утверждал, что местные народы до сих пор практикуют человеческие жертвоприношения. Он считал несомненным, что этот обычай отмер и что выявить его следы можно

лишь при помощи определенных методов, таких, как изучение пережитков или сравнительный метод⁴¹.

В работе «Вотяки», тем не менее, сообщения Смирнова становятся довольно двусмысленными. Как мы видели, в этой книге уверенно прославлялось прогрессивное движение вотяков к превращению в русских; не было похоже, чтобы Смирнов считал, что вотяки по-прежнему приносят людей в жертву. Однако в этой книге Смирнов небрежно завуалировал различие между прошлым и настоящим. В своем ревностном желании доказать, что вотяки действительно практиковали когда-то ритуальные убийства, Смирнов использовал некоторые этнографические источники, восходившие к совсем недавнему времени — 1840–1880-м годам, где утверждалось, что жертвоприношения происходили и в XIX веке, несмотря даже на то, что эти источники были туманными, недостоверными или анонимными. Смирнов также воспроизводил слухи, которые он слышал в ходе полевой экспедиции в район проживания вотяков, о недавних жертвоприношениях или о попытках жертвоприношения, когда предполагаемой жертве удалось чудом спастись⁴². Несмотря на противоположные утверждения, Смирнов все-таки намекал, что отказ от этой практики в вотяцком религиозном культе мог быть еще неполным.

Путаница, допущенная Смирновым, касалась не просто одного из аспектов вотяцкой культуры; скорее она пронизывала все его понимание этнографии в целом, ее методов и ее научных заключений. В следующей своей книге, «Пермяки», он обсуждал вопрос о существовании у этого народа в настоящее время христианских свадебных обрядов со свободной внебрачной половой жизнью, включая инцест, оргии и внебрачные рождения. Это поведение он отождествлял с тем, что эволюционисты называли «первобытными» половыми отношениями, и говорил о них как о «переживании» дохристианской эпохи⁴³. Однако, согласно Тайлору, упоминание о пережитках должно было относиться к элементам культуры, которые в настоящие дни больше не имеют какого-либо смысла или отношения к практике, тогда как те явления, к которым это определение относил Смирнов, очевидно, были вполне жизнеустойчивы. Смешивая антропологическое определение «переживания» с обычным значением этого слова, Смирнов создавал впечатление, что промискуитет у пермяков был переживанием (пережитком) не по-

тому, что он потерял свой смысл и свою функциональную необходимость, но потому, что он не потерял их. (Перевод термина Тайлора с английского на русский двумя разными словами не только не помог устранить такую путаницу, но, возможно, даже усугубил ее.) Если и те культурные черты, которые существуют до сих пор, и те, которые сохранили только некоторые незначительные аспекты своей изначальной формы, могут быть названы «пережитками» или «переживаниями», то нетрудно увидеть, как Смирнов путал «пережитки» человеческих жертвоприношений с заявлениями о том, что такая практика до сих пор «переживает» свое время.

Тайлор, тем не менее, и сам отчасти заслужил эти упреки за допущенную им путаницу с метафорами. Выбрав археологию в качестве модели для обрисовки схемы человеческой эволюции, он искал аналог тем кусочкам древней керамики или окаменелым организмам, которые помогают археологам реконструировать историю. Он пришел к выводу, что осколочные, мертвые, отвердевшие аспекты нематериальной культуры, обнаруживаемые в современном обществе, могут играть подобную роль. Но в то же самое время Тайлор был склонен использовать для описания культурных перемен биологические метафоры, поскольку артефакты, интересовавшие его, не были погребены в земле, но неким образом все еще присутствовали в человеческой жизни — отсюда выбор им термина «survivals». Ни одну из этих аналогий нельзя назвать полностью приемлемой, и они, кроме того, противоречат друг другу — сам по себе термин означает сохранение жизнеспособности, в то время как подразумеваемым критерием, по которому можно идентифицировать «пережиток», является нефункциональность⁴⁴. Даже предложенное самим Тайлором разъяснение смысла термина «пережитки» в «Первобытной культуре» до известной степени страдает отмеченной двусмысленностью⁴⁵.

Если Смирнов занимал неопределенную позицию по вопросу о сохранении или прекращении человеческих жертвоприношений в религиозной практике вотяков, то обвинения по «мултанскому делу» нарушили равновесие. После изучения последующих стадий дела, мы увидим, что колебаться Смирнова (и многих других) заставляла не только неопределенность в научном плане, но также и двусмысленность преобладавших у русских представлений об их империи и ее народах.

Этнографы на свидетельском месте

Повторное рассмотрение дела проходило с 29 сентября по 1 октября 1895 года в Елабуге, небольшом городе Вятской губернии. В процедурном отношении оно едва ли было более справедливым, чем первое рассмотрение. Использовалось то же самое обвинительное заключение, в котором без изменений приводились те же смутные слухи о существовании человеческих жертвоприношений. На слушании, вопреки закону, председательствовал тот же самый судья. Позволив прокурору вызвать двух новых свидетелей, он в то же время вновь отклонил все требования защиты пригласить свидетелей — включая трех человек, оправданных при первом рассмотрении дела, которым по закону должны были предоставить право дать свидетельские показания⁴⁶. В соответствии с инструкциями Сената, суд разрешил дать свидетельские показания этнографам-«экспертам». Обвинение пригласило Смирнова, а защита вызвала Григория Верещагина, обрусевшего вотяка, учителя и этнографа⁴⁷.

Большинство свидетелей обвинения были теми самыми деревенскими жителями, которые давали показания на суде в Сарапуле, в то время как защите было отказано вызвать соответствующих свидетелей, которые могли представить противоположную точку зрения⁴⁸. Но рассмотрение дела принесло обвинению некоторые приводящие в замешательство открытия. Стоя на свидетельском месте, два свидетеля-вотьяка, которые в 1893 году в деталях рассказывали полиции о принесении Матюнина в жертву, внезапно отказались от своих прежних показаний, заявив, что они дали их под пыткой, которой их подверг полицейский чиновник Раевский, посланный в Мултан из другого уезда после того, как предыдущие следователи не смогли найти неопровержимых улик против обвиняемых⁴⁹. Доктор, который проводил вскрытие тела Матюнина и который прежде заявлял, что есть доказательства, что Матюнин был еще живым повешен вниз головой, чтобы его кровь могла вытечь наружу, также отказался от своих показаний. Теперь он утверждал, что сделал предыдущее заявление под влиянием предварительного заключения следователя: в действительности кровь могла вытечь уже после смерти, и пятна на животе могли быть не следами проколов, а сыпью.

Этнографы давали свидетельские показания последними. Смирнов настаивал, что представленным в обвинительном акте описанием состояния тела Матюнина «рисуетя полная картина жертвоприношения». Профессор был озадачен некоторыми деталями сценария обвинения, которые отклонялись от того, что он знал о вотяцких жертвоприношениях. Будучи подвергнут перекрестному допросу, он, тем не менее, намекнул, что эти противоречия могут быть объяснены «компромиссом, допускаемым под давлением обстоятельств». Раевский признал это необходимой лазейкой для его дела⁵⁰.

Смирнов также использовал теоретические аргументы в поддержку того, что вотяки практикуют человеческие жертвоприношения. «В литературе, начиная с 50-го года, есть указания на то, что такие жертвы приносились вотяками, — заявил он. — То, что говорит литература, может, конечно, возбудить сомнение, так как указания ее крайне неточны, и я обязан поэтому подтвердить сказанное. У нас в науке существует прием, по которому, если имеется неясность по отношению к какой-нибудь стороне изучаемого быта, то мы обращаемся к быту родственных народов и чертами этого быта дополняем недостающее. В этом и состоит так называемый сравнительный метод изучения. Этим приемом мы находим то, чего не хватает нам в литературе о вотяках, — а именно, что боги требуют человеческих жертв»⁵¹.

Следуя этой логике — которая в реальности не является сравнительным методом — Смирнов кратко изложил черемисскую народную сказку, в которой больная жена обманом вынуждает мужа принести в жертву собственного сына (пасынка жены), убеждая его, что это необходимо для ее излечения. Также, чтобы продемонстрировать, что вотяцкие божества являются каннибалами, Смирнов упомянул различные вотяцкие поверья о том, как божества похищали людей, чтобы их съесть. Другой тип легенд, о героях, поедающих сердце или другие части тела поверженного врага, чтобы приобрести определенные черты характера, как свидетельствовал он, существуют «у всех первобытных народов, не чуждо и европейцам, например, германцам, а также встречается у эстов (и распространено даже у средневековых христиан)». Сэтим Смирнов заключил: «Я мог бы значительно продолжить эти примеры, но это может показаться лишним, а мое положение и без того достаточно доказано»⁵².

Свидетель-этнограф со стороны защиты, Григорий Верещагин, был более скромн, нежели Смирнов, как в своей научной деятельности, так и в своей манере держаться. Как и Смирнов, он полагал, что период каннибализма был в истории вотяков, и отмечал традиции одной местности, которые могли быть расценены как пережитки существовавших в прошлом человеческих жертвоприношений³³. Но, поскольку он не любил обобщений и основывался только на собственных наблюдениях, сделанных в определенных местностях, он не смог убедительно опровергнуть Смирнова. Он скромно заявил: «О малмыжских вотяках не знаю, но вообще вотяцкие боги не требуют человеческой жертвы». Свидетельские показания Верещагина заняли всего несколько минут и прошли почти незамеченными³⁴. После того как прокурор в своем финальном заявлении неискренно попытался преуменьшить зависимость своей позиции от показаний Смирнова и судья произнес приводящее в замешательство напутствие присяжным об основаниях, на которых должно быть принято их решение, присяжные вынесли в равной степени приводящий в замешательство вердикт: семь обвиняемых были признаны виновными в убийстве Матюнина, но «без заранее обдуманного намерения»³⁵. Суд приговорил четверых из них к десяти годам каторжных работ, двоих — к восьми годам и одного — к ссылке в Сибирь³⁶.

Перед повторным слушанием дела вятские журналисты А.Н. Баранов и О.М. Жирнов, убежденные в невинности вотяков, собрали материалы по делу и отыскиали широко известную фигуру, которая могла бы привлечь к нему больший интерес публики. В августе 1895 года они вступили в контакт с Владимиром Галактионовичем Короленко, народническим писателем, известным своими рассказами, написанными в сибирской ссылке. Короленко немедленно согласился предоставить им свою поддержку; он направил прошение в суд с просьбой позволить ему выступить на стороне защиты в Елабуге, но его просьба была отклонена. В качестве альтернативной стратегии Короленко Баранов и юрист В.И. Суходоев решили собрать подробный отчет о процессе, чтобы облегчить последующее обсуждение дела в случае второго обвинительного приговора. «Почти стенографическая запись», которую они сделали, была опубликована вначале в московской газете «Русские ведомости», затем в губернских газетах и, наконец, отдельной книгой³⁷.

Короленко также начал публиковать свои собственные комментарии к делу. Эти статьи, как вспоминал Баранов в своих мемуарах, «как камень, брошенный в стоячее болото, заставили встрепенуться всю печать»⁵⁸. В первой статье, опубликованной рядом с отчетом процесса, Короленко призвал, чтобы злоупотребления, обнаруженные Сенатом, были исправлены, поскольку «приговор по этому делу будет приговором не над обвиняемыми только вотяками, но и над школой с. Мултана, и над священником, 40 лет уже проповедующим в этом храме... и над всей нашей культурной миссией среди инородцев!». Он призывал: «Обращаемся за помощью ко всей русской прессе. Пусть юристы оценят вероятность улик, пусть врачи и этнографы разберут изумительную экспертизу, послужившую к обвинению вотяков в каннибализме... Света, как можно больше света на это темное дело, иначе навсегда над ним нависнет страшное сомнение в том, где искать истинных жертв человеческого жертвоприношения!»⁵⁹.

Короленко приехал в Мултан, чтобы поговорить с вотяками об их обычаях и религиозных верованиях. На страницах «Русского богатства», редактором которого он недавно стал, он опубликовал развернутый критический выпад против Смирнова, отрицая достаточность показаний профессора для доказательства факта совершения человеческого жертвоприношения. Дело, как заявлял он, «предполагает не переживание только, а настоящий культ, еще живой и общий всей вотской народности»⁶⁰. Путаница между этими двумя смысловыми оттенками, которую с легкостью допускает Смирнов, принижает серьезность предполагаемого преступления. «Нет, нельзя закрывать глаза на весь ужас этого явления [человеческого жертвоприношения], если оно существует, нельзя сравнивать его ни с какими суевериями! Суеверия вы найдете еще во всех слоях общества; каннибализм отодвинулся от нас на тысячелетия»⁶¹.

Короленко доказывал, что Смирнов неверно интерпретировал черемисскую народную сказку, ставшую центральным пунктом его свидетельских показаний. Эта история выставляет на смех человека, который принес в жертву своего сына. Он не соблюдал нормальных религиозных ритуалов своего народа, но был убежден своей лживой женой, что такое жертвоприношение необходимо для ее выздоровления. Таким образом, доказывал Короленко, сказка в действительности является свидетельством того, что

человеческое жертвоприношение у черемисов вышло из употребления. Вотяки, настаивал он, были искренними христианами, даже если в чем-то и невежественными. Хотя они все еще поклоняются своим родным богам, они прекратили признавать наиболее могущественных из них, за исключением высшего божества Инмара, который не принимает кровавых жертвоприношений и которого этнографы считали воплощением христианских представлений о Боге⁶². Если убийство Матюнина каким-либо образом казалось преследующим ритуальные цели, заключал он, то это произошло потому, что кто-то изуродовал труп, пытаясь симулировать человеческое жертвоприношение и опорочить вотяков.

Как народник, Короленко чувствовал, что доверчивость как официальных кругов, так и общественности в отношении предполагаемого человеческого жертвоприношения отражает презрение не только к маргинальной этнической группе, но также ко всей массе русского крестьянства⁶³. В своих интервью и очерках об этом деле Короленко настойчиво повторял, что если и возможно поверить во всё еще существующие человеческие жертвоприношения у сибирских народов, живущих далеко от русских и порознь с ними, — таких, как чукчи, — то эти жертвоприношения немыслимы среди народа, который столетиями жил бок о бок с «чисто русскими общинами» и сам достиг сельскохозяйственной стадии существования. В Старом Мултане, постоянно подчеркивал Короленко, православная церковь существовала вот уже пятьдесят лет, а русская школа — тридцать лет. Но даже если деятельность русских школ и миссионеров оказалась безуспешной, само по себе присутствие русских должно было оказать заметное цивилизующее воздействие на вотяков⁶⁴. В сущности, Короленко разделял эволюционистскую веру в неизбежный прогресс, совершающийся по универсальному сценарию. Станным образом он считал, что работы самого Смирнова по русификации финских «инородцев» вполне могут служить задаче отстаивания этого оптимистического мировоззрения перед лицом циничной позиции, которую занял в «мултанском деле» сам Смирнов.

Несколько человек, которые сами охарактеризовали себя как этнографов и экспертов по вотякам, также опубликовали критические выступления против позиции, занятой Смирновым, его логики и методологии. Иркутский политический ссыльный и этнограф Дмитрий Клеменц задался вопросом, почему казанский

профессор предположил, что темы из народных сказок, которые он цитировал, являются специфически черемисскими (еще не говоря об их отношении к вотякам): ученым известно, что различные народы интенсивно перенимают друг у друга темы для фольклорной литературы. Поскольку многие сюжеты русских сказок, например, оказались азиатского происхождения, «никак нельзя утверждать ни про один сюжет — местный ли он, оригинальный или заимствованный» без широких исследований. Клеменц тем самым поставил под сомнение убеждение, что сказки, каким бы ни было их происхождение, могут многое рассказать о прошлом или настоящем. «А перенять сюжет еще не значит усвоить и возвести в культ все верования и обряды, о которых в данном сказании идет речь», — писал он. В любом случае Клеменц дистанцировался от того преувеличенного представления о возможности применения в этом деле этнографических знаний, которое было присуще Смирнову: «Дело шло не о создании гипотезы, подлежащей проверке, а о решении судьбы живых людей!»⁶⁵.

Но Клеменц не мог разделять ни уверенности Короленко, что принципы этнографии достаточны для доказательства невиновности обвиняемых, ни его убеждения, что вотяки в культурном отношении стоят приблизительно на том же уровне развития, что и русские. Он симпатизировал «понятному во всяком чутком человеке страху за русскую культуру, страх перед перспективой признания каннибализма среди народа, уже сотни лет живущего между русскими». Но даже и без каннибализма или человеческих жертвоприношений, настаивал Клеменц, культурный уровень «инородцев» не представляет собой предмета для гордости; «языческое мирозерцание» вотяков было все еще весьма могущественным, поскольку русское культурное влияние на них было столь слабым. «Плохо еще мы знаем наших инородцев, плохо относимся к ним — вот почему и культура к ним прививается так медленно. Наше незнание и неумение сказывается даже и там, где мы подходили к ним с добрыми намерениями»⁶⁶. Клеменц, по крайней мере, соглашался с Короленко, что дело может стать источником позора для русских, даже если и по несколько другой причине.

Павел Луппов, чиновник Святейшего Синода по школьному делу, выступал перед Русским географическим обществом и опубликовал несколько газетных статей в защиту вотяков,

используя примерно такую же логику, что и Короленко. Архивные разыскания Луппова выявили существенный уровень местного сожительства и смешанных браков между русскими и вотяками с 1830-х годов (Луппов отметил, что это наблюдение было сделано и в монографии Смирнова). Он воспринимал это как доказательство того, что вотяки оставили позади ту стадию развития, на которой могли бы практиковаться человеческие жертвоприношения. Исследование Луппова также не выявило ни одного официального упоминания о вотяцких ритуалах человеческих жертвоприношений⁶⁷. Московский этнограф Петр Богаевский опубликовал целую книгу с критикой показаний Смирнова на суде, выявив ошибки профессора в использовании фольклорных данных и в его утверждениях, что вотяки могли допустить отступления от своего обычного порядка ритуальных жертвоприношений при заклинании Матюнина⁶⁸.

В.М. Михайловский, лектор Московского университета, должностное лицо Московского общества любителей естествознания и автор книги о шаманизме, утверждал, что Смирнова завела в тупик его приверженность европейским теориям и проявившееся в его работах стремление к «литературному блеску» в ущерб эмпирическим данным. В действительности, писал он, Смирнов смог достичь лишь неглубоких знаний из первых рук, поскольку его знание финно-угорских языков в лучшем случае было посредственным⁶⁹. Другой этнограф, С.К. Кузнецов, доказывал, что знакомство Смирнова с вотяцкими ритуалами жертвоприношений было лишь поверхностным. Кузнецов, в прошлом секретарь Общества археологии, этнографии и истории при Казанском университете, а ныне — библиотекарь Томского университета, родился и вырос недалеко от Мултана и глубоко изучал вотяцкие жертвоприношения, ухитрившись даже увидеть некоторые из самых тайных ритуалов⁷⁰. В своей речи перед Томским обществом естествоиспытателей и врачей Кузнецов осудил неспособность Смирнова отделить прошлое вотяков от их настоящего. Даже в далеком Томске, вспоминал позже Кузнецов, эмоции по отношению к этому делу были столь взвинчены, что позиция, занятая им, вызвала его ссору с попечителем Томского учебного округа, который столь ревностно верил в виновность вотяков, что каждый раз говорил об этом деле «с пеной у рта»⁷¹.

К весне 1896 года мнение прессы явно склонилось в сторону защиты мултанских вотяков. Гипотеза Короленко о том, что тело Матюнина было обезображено ради грубой имитации жертвоприношения, приобрела мощную поддержку, в том числе со стороны специалистов-медиков⁷². Среди этнографов России Смирнов оказался практически единственным, кто публично поддержал сторону обвинения и настаивал на существовании у вотяков человеческих жертвоприношений в настоящее время. Его ответы на различные выпады и обвинения в его адрес только глубже выявляли противоречия в его собственных воззрениях. Казалось, что он больше не считает вотяков вообще способными на какую-либо заметную культурную эволюцию. Он намекал, что спекуляции, касающиеся современной системы верований вотяков, неуместны; в целом «природа» или «сущность» их богов является не исторически изменчивой, но вневременной и может быть открыта путем сбора информации, относящейся к разным периодам времени. По поводу гипотезы об имитации жертвоприношения Смирнов заметил: «Для семерых мултанцев такая постановка дела, без сомнения, выгодна, и их частное дело, если г. Короленко докажет свое положение, будет, без сомнения, выиграно, но вотяки вообще, вотский культурный тип, русский культурный тип — взятые им одновременно под защиту, от этого окажутся не в авантаже: симулируется лишь то, что имеет место в действительности»⁷³.

Если Смирнов когда-либо действительно разделял принципиальные догмы эволюционизма, то теперь он отверг их. Вопреки предложенной Тайлором эгалитарной доктрине универсального эволюционного пути, он, очевидно, полагал, что общества, стоящие на разных ступенях эволюционной лестницы, различаются не только по историческим условиям своего существования, но и по самой своей сути. Он создавал впечатление, что прошлое вотяков было *более* примитивным, чем прошлое других народов — таких, как русские, — и ему не приходило в голову возлагать на русских ответственность за их фольклор, как он делал в случае с финскими народами Поволжья. По существу, он искажил эволюционистские методы таким образом, что любой народ, который Смирнов по сохранившимся «пережиткам» идентифицировал как ближе стоящий к своим первобытным истокам, чем другой народ, мог быть охарактеризован как «первобытный» в абсолютном смысле.

Дрягин вторично подал апелляцию по делу, не только детально описывая различные процедурные нарушения, которые сохранились с первого слушания дела или появились при втором, но также оспорив достоверность ссылок на этнографические данные о вотяцких человеческих жертвоприношениях, которые цитировал Смирнов⁷⁴. 22 декабря 1895 года перед огромной толпой Сенат аннулировал второй приговор и направил дело в Казанский окружной суд на следующее повторное рассмотрение. Для русской юриспруденции это было в высшей степени нетипичное событие. Сенатор А.Ф. Кони, прославленный юрист и глава Уголовно-кассационного департамента Сената, представил неординарный взгляд на сущность дела: «Судебным расследованием устанавливается здесь не одна лишь виновность тех или иных определенных лиц, фигурирующих в качестве подсудимых, а констатируется известное *бытовое явление*, производится суд над *целой народностью* или *целым общественным слоем*, и создается *прецедент*, могущий иметь на будущее время значение судебного закрепления виновности той или иной группы населения. Результатом деятельности суда в таких случаях является не только *res judicata*, но историческое свидетельство за или против той или иной морально-бытовой оценки данного уровня культуры — в целой народности или в отдельных ее классах... Основания приговора... должны быть подвергнуты гораздо более строгому испытанию, чем те мотивы и данные, по которым выносятся обвинения в заурядном убийстве»⁷⁵. Кони намекал, что заметную роль в деле сыграли этнографические обобщения, а именно — как замена конкретных доказательств вины вотяков, которые, несмотря на их тщательную фабрикацию, не выглядели убедительно.

Кони также говорил о более широком смысле, который он видел в этом деле, взятом с точки зрения относительного престижа различных этнических групп в России. Сознывая, что русские шовинисты рассматривают осуждение вотяков как победу, Кони высказывал опасения, что, с другой точки зрения, приговор заставляет поставить вопрос о том, «приняты ли были достаточные и целесообразные меры для выполнения Россией, в течение нескольких столетий владеющей вотским краем, своей христианско-культурной и просветительной миссии»⁷⁶.

Как сообщали, К.П. Победоносцев был особенно недоволен последним замечанием (как обер-прокурор Святейшего Синода,

Победоносцев подталкивал церковь к более агрессивным миссионерским действиям в отношении народов нехристианских вероисповеданий)⁷⁷. Министр юстиции Н.В. Муравьев счел, что Кони слишком резко осудил оплошности Сарапульского суда. Согласно одному источнику, Победоносцев, Муравьев и, возможно, другие петербургские сановники вмешивались в ход дела, чтобы предотвратить изменение вердикта. Они не просто пытались защитить юридическую систему от утраты кредита доверия: они также считали пропаганду против этнических меньшинств политически полезной, а Муравьев еще и опасался, что огласка, которая последует за оправданием обвиняемых, сможет испортить его собственные отношения с императором⁷⁸. В результате всего этого, несмотря на ошеломляющий поворот в общественном мнении, в местных судах все карты вновь были сданы на руки обвинению.

Защита обратилась к Казанскому окружному суду с просьбой заслушать дело в самой Казани, где присяжные, скорее всего, будут более образованными людьми, чем в предыдущих случаях, и будут в большей степени удалены от провинциальных слухов насчет вотяков. Слушание дела, тем не менее, проходило в городе Мамадыш, в далеком восточном конце губернии⁷⁹. Суд также попросил разрешения позволить Раевскому еще раз представлять обвинение, учитывая (как это объяснялось) предшествующие успехи Раевского в сборе следственных материалов, его мастерскую аргументацию и его солидные знания о жизни вотяков. В свете полученных Сенатом сведений о Раевском даже компромисс, предложенный министром юстиции, который позволил Раевскому выполнять в окружном суде обязанности товарища прокурора, был примечателен⁸⁰. Суд также поспешил отвергнуть обвинения в неправильных действиях полиции в ходе следствия с тем, чтобы защита на следующем слушании не могла связать их с вопросом о виновности или невиновности вотяков⁸¹.

Защите разрешено было обратиться к помощи известного петербургского юриста Н.П. Карабчевского и В.Г. Короленко. Но все ее просьбы вызвать нового свидетеля-этнографа (Кузнецова взамен Верещагина), новых свидетелей-медиков и некоторых других, кто мог бы опровергнуть важные детали обвинительного акта, были отклонены — даже после того, как Дрягин предложил сам оплатить все связанные с этим расходы. Обвинению же было позволено вызвать

десять новых свидетелей⁸². По требованию суда казанским газетам было запрещено публиковать или перепечатывать статьи, касающиеся дела, до начала слушаний. В зале суда Дрягину позволили цитировать только источники, не относящиеся к делу напрямую; все, написанное в пользу обвиняемых, было под запретом⁸³.

Несмотря на эти процедурные выгоды, ко времени слушания дела (которое проходило с 28 мая по 4 июня 1896 года) доказательства, подрывавшие позиции обвинения, преобладали. Даже без подходящих свидетелей, защита извлекла всю возможную выгоду из дискредитации обвинения на предшествующем слушании дела и в промежуток времени между слушаниями. Обвинение безрезультатно попыталось представить новые этнографические свидетельства в свою пользу, которые защита с легкостью дисквалифицировала как не относящиеся к делу⁸⁴. «Фактическая часть обвинения, — позже вспоминал Баранов, — рушилась как карточный домик»⁸⁵.

По ходу этнографической части слушаний стало очевидным, что точка зрения Смирнова лишь окрепла в его баталиях в прессе. Если прежде он делал некоторые оговорки относительно связи между фактами дела и типичным вотяцким человеческим жертвоприношением, то на третьем слушании дела, согласно Баранову, Смирнов «уже не сомневался ни в чем». Он предлагал объяснения любым возможным противоречиям. «Черпая доказательства из обвинительного акта, он [Смирнов] стал доказывать, что все данные обвинения с несомненностью устанавливают, что мултанские вотяки действительно принесли в жертву [Матюнина]». Он был настроен столь решительно, что даже судья был вынужден ему напомнить: «Вы призваны не в качестве обвинителя, а в качестве эксперта, который должен сказать, что ему известно о человеческих жертвоприношениях»⁸⁶.

И вновь этнографические выкладки Верещагина, вызванного защитой, были невнятными и неубедительными⁸⁷. Но Короленко также подготовил этнографическую защиту. Говоря об эволюции религиозных верований и цитируя опубликованные работы самого Смирнова, Короленко доказывал, что вотяки проделали заметный путь прогрессивного развития от грубого язычества до христианского единобожия⁸⁸. Он попросил Смирнова объяснить противоречие между его позицией по данному делу и его же ранее высказанным мнением о том, что человеческие жертвоприноше-

ния у вотяков давным-давно прекратились. «Прежде я думал так, — ответил Смирнов, — но из данного процесса я убедился, что человеческие жертвоприношения существуют и ныне»⁸⁹. Карабчевский, в своей речи, обращенной к присяжным, заметил, что материалы дела резко изменили определения, которые Смирнов давал пережиткам или переживаниям. «Из его собственных работ [Смирнова] я почерпнул, что „переживание“ — уцелевшая форма, когда дух [обычай] уже отлетел. Это своего рода окаменелые древности или скелет допотопного мамонта, по которым мы судим о том, что было, но чего уже нет. Теперь в его глазах „переживание“ — это своего рода „доисторическая отрыжка“, возникающая реально, заново, во всей своей плоти и крови»⁹⁰.

4 июня Короленко выступил с заключительной речью в поддержку защиты. Признав доказанным, что вотяки некогда практиковали человеческие жертвоприношения, он перешел в атаку, заявив, что, напирая на этот пункт, обвинение «стучится в открытую дверь»: практически каждое человеческое общество некогда практиковало их, включая и русских с их сказкой о людоедке Бабе-яге⁹¹. В заключение, чтобы поразить присяжных искренней христианской верой и детской невинностью вотяков, Короленко процитировал вотяцкую молитву на русском языке. Его изображение наивности синкретических анимистически-христианских верований «инородцев», как и весь пафос его выступления, должно бы напомнить рассказ самого Короленко о коренном сибиряке, «Сон Макара», опубликованный одиннадцатью годами ранее⁹². «Волнение Влад. Галакт. все росло, — вспоминал Баранов. — Наконец он не мог справиться с ним, — заплакал и вышел из залы... Все были захвачены, потрясены». После совещания, продолжавшегося всего пятьдесят минут, присяжные объявили всех семерых подсудимых оправданными, и ликование охватило большую часть зала судебных заседаний⁹³.

Два конструкта русской идентичности

Перипетии «мултанского дела» находили отзвук в русском общественном мнении еще долгие годы. В долговременной перспективе два обвинительных приговора, вынесенных подсудимым, возможно, произвели более сильное впечатление, чем их финаль-

ное оправдание. Позже, в 1896 году, было сообщено о том, что найдена голова Матюнина и что русский человек сознался в убийстве. Он и его сообщник оклеветали вотяков, потому что село Старый Мултан отказалось принять их после того, как их выгнали из их родной деревни Анык; преступники надеялись получить земельные наделы, которые освободятся, когда вотяков отправят в тюрьму за убийство. Эта история осталась по большей части неизвестной, и дело не было вновь открыто⁹⁴. Хотя большинство образованной публики было убеждено, что дело было сфабриковано, в печати продолжали появляться голословные заявления о виновности мултанских вотяков и всего вотяцкого народа в целом⁹⁵. Уже в 1910 году Кузнецов писал, что многие «даже вполне интеллигентные люди» до сих пор «тщательно подкарауливают еще до сих пор всякую возможность обвинить вотяков в человеческих жертвоприношениях»⁹⁶. Действительно, в 1913 году в «деле Бейлиса» обвинение использовало «мултанское дело», несмотря на его исход, как возможный прецедент ритуального убийства в современной России⁹⁷.

Даже в глазах его критиков дело драматическим образом поставило в повестку проблему эффективности усилий по обрусению «инородцев». «Из каких бы источников ни появилась на свет легенда о вотяцком каннибализме, — утверждал иллюстрированный еженедельник «Нива», — несомненно одно: что та тьма, во власти которой находятся вотяки, создает удобную и, пожалуй, правдоподобную *почву* для возникновения таких легенд»⁹⁸. В отношении церкви страх перед человеческими жертвоприношениями у вотяков был отмечен в отчете на съезде миссионеров, состоявшемся в Казани в 1897 году, и архивные данные показывают, что приблизительно на рубеже веков некоторые приходы начали агрессивно подавлять «языческие» традиции своих нерусских членов⁹⁹. Советский этнограф, работавший в 1930-х годах, писал, что продолжающие ходить в сельской местности Поволжья слухи о человеческих жертвоприношениях у вотяков даже влияли на ход коллективизации в этом регионе¹⁰⁰.

Со своей стороны, Смирнов утратил доверие своих коллег-этнографов и вскоре оставил изучение финских народов и саму этнографию как таковую, вернувшись к своим первоначальным научным интересам¹⁰¹. В стенах правительственных учреждений, тем не менее, престиж Смирнова рос не по дням, а по часам, и его осыпали наградами и званиями¹⁰².

Мобилизовав свои силы на выявление ошибок Смирнова и на дискредитацию его понимания теории, русские этнографы смогли спасти свою честь и престиж в глазах либеральной общности. Они делали это не как профессиональная группа, поскольку их поле деятельности еще не было определено в таких терминах. Некоторые из них, используя свои детальные знания вотяцких верований и ритуалов, напрямую оспаривали достоверность свидетельских показаний и тем самым — достоверность реконструированного обвинением сценария убийства. Некоторые из тех, кто сыграл ключевую роль в опровержении этнографических воззрений Смирнова, такие, как Короленко и Баранов, не были специалистами по этнографии вотяков, но они были способны разоблачить злоупотребления этнографической экспертизой, допущенные обвинением, с помощью здравого смысла. Временами они признавали, что место этнографии в зале суда (если ей вообще там место) должно быть весьма ограниченным.

Поскольку мы не знаем точно, какие именно доказательства или аргументы в этом деле сыграли решающую роль и определили его ход, и поскольку мы к тому же интересуемся не только юридическим исходом дела, но также и различными его интерпретациями, ни одно мнение о «сущности» дела не будет достаточным. С одной точки зрения, это была напряженная борьба между субъективным предубеждением и объективными доказательствами, между коррупцией и справедливостью в юридических процедурах. Но это было также состязание между *различными* субъективными верованиями и предубеждениями. Поскольку доступные источники по делу достаточно убедительно показывают, что жители Старого Мултана не убивали Матюнина и что два вынесенных им обвинительных приговора были судебными ошибками, легко проследить, в каких именно аспектах защитники вотяков не меньше, чем их обвинители, полагались на тенденциозные верования и совершали логические сальто-мортале.

Обе стороны в этом деле, хотя и в неравной степени, злоупотребляли авторитетом этнографической науки, преувеличивая ее возможность доказать или опровергнуть обвинения, выдвинутые против вотяков. Смирнов утверждал, что пережитки обычая в фольклоре являются неопровержимым доказательством объективного продолжающегося существования этого обычая, пренеб-

регая тем, что даже это еще не давало логических оснований для решения настоящего дела. Возможно, что именно из-за впечатляющих полномочий Смирнова и авторитарного стиля его поведения в суде защита не имела иного шанса, кроме как использовать силу науки на свой лад, предполагая, что должная интерпретация эволюционизма докажет, что вотяки *не могли* совершить человеческого жертвоприношения¹⁰³. Вероятность того, что эта логика была скорее тактическим выбором защиты, нежели чистосердечным убеждением, конечно, не снижает ее важности для дела.

Подобным образом обе стороны основывались на субъективном восприятии русских как сообщества. Для большинства этнически русской публики и официальных кругов (и, возможно, также и для других национальностей) возбуждение дела о ритуальном убийстве, помимо отвлечения внимания от политических разногласий и социальных беспорядков, служило опорой национальной гордости, поскольку подчеркивало предполагаемое варварство соседнего народа. В более общих терминах обладать империей означало иметь в своем распоряжении другие народы, для того чтобы идентифицировать их как стоящих на ступень ниже русских. Престиж русских и престиж других народов в сумме неизбежно должны были давать ноль; порицать и наказывать других означало возвышать самих себя. Для этой цели обвинения по «мултанскому делу» были временным средством, последовавшим за голодом, который разорил многих крестьян коренных территорий России и поставил вопрос, может ли уязвимость самого русского народа быть индикатором отсталости или первобытности.

Альтернативным видением империи было такое, в котором престиж русских находился скорее в отношениях симбиоза, нежели соревнования, с образами национальных меньшинств, таких, как вотяки, подчеркивая роль русских как благодетелей в деле прогресса колонизированных народов. Эта цивилизующая миссия была центральной темой большинства русских историографических и этнографических работ конца XIX века (включая труды Смирнова). Для многих русских, предположительно, эта историческая роль и гордость, ассоциирующаяся с ней, были определяющими элементами национальной идентичности. В соответствии с пословицей «Яблоко от яблони далеко не падает», судьба «иностранцев», подверженных русскому влиянию в течение десятилетий

и столетий, могла отражать достоинства или недостатки самих русских. Отчасти именно таким образом защитники вотяков — такие, как Короленко или Кони, — пытались переломить общественное мнение в «мултанском деле». Мы никогда не узнаем, конечно, насколько решающим был этот аргумент, но мы можем с большой степенью вероятности предположить, что он скорее носил стратегический, чем искренний характер. Защита хотела сделать так, чтобы осуждение вотяков выглядело *противоречащим* интересам самих русских, чтобы тем самым перехватить инициативу у русских шовинистов, позволивших своей гордости помешать справедливой оценке дела. Опять-таки эта неискренность просто подчеркивает вероятную веру защиты в то, что с помощью подобной риторики можно управлять общественным мнением и голосами присяжных.

Одним из наиболее ироничных аспектов дела было то, что, опровергая постулаты обвинения как относительно применимости этнографии к данному делу, так и относительно отразившегося в этом деле восприятия русских как народа, защита твердо полагалась на высказанные прежде идеи ключевого свидетеля обвинения — Смирнова. Нет сомнений, что этнографическое мышление Смирнова в период между 1890 и 1896 годами и его поведение на суде отражают неординарную личность. Как представляется, все «мултанское дело» целиком вышло из его головы — он не только был ответственен за ключевые линии аргументации как обвинения, так и защиты, но даже восприимчивость к подобному делу местных властей и общественного мнения можно приписать его влиянию. Соблазнительно было бы поразмышлять на тему, было ли бы это дело возбуждено вообще, если бы Смирнов никогда не занимался этнографией. В любом случае дальнейший ход дела подтверждает, что путаница в воззрениях Смирнова заключала в себе в миниатюре конфликт ценностей, который уже существовал тогда в русском обществе.

И в этой путанице была определенная логика. Как бы то ни было, различные понимания русской идентичности, лежавшие в основе позиций обвинения и защиты, объединяло общее чувство, что «инородцы» не должны просто *быть*; тем или иным способом они должны были служить престижу господствующей нации империи. Для Смирнова выбор между этими двумя способами выражался в колебаниях между различными интерпретациями

эволюционистской терминологии и контрастирующих друг с другом описаний вотяков. Смирнов думал, что завершение процесса приобщения к цивилизации и русификации финских народов Поволжья может быть делом нескольких десятилетий, и в результате эти якобы низшие народы просто перестанут существовать. Но его интуиция могла подсказать ему, что ретроспективная гордость культурным преобразованием первобытных народов никогда не будет сопоставима с удовольствием всегда иметь под рукой примитивные народы, чтобы с легкостью сравнивать их с господствующей нацией. В Западной Европе угроза традиционным ценностям и верованиям со стороны эволюционизма в принципе лежала в плоскости его восприятия прошлого. Даже если существенные культурные различия были в некотором смысле иллюзией (как подразумевали эволюционисты), по меньшей мере британцы и французы могли сделать выбор в пользу сохранения этой иллюзии, игнорируя свое собственное первобытное прошлое и оставаясь в относительной изоляции от народов, которые, по их мнению, до сих пор коснеют в первобытном состоянии. В Российской империи, тем не менее, с ее различными этническими группами, сосуществующими бок о бок и смешивающимися друг с другом в гораздо большей степени, чем то было в других европейских странах и их колониях, эволюционистская этнография представляла собой дополнительную угрозу — предсказания незнакомого *будущего* порядка вещей¹⁰⁴. Ошибочная интерпретация и ошибочное использование идей и методов эволюционизма со стороны Смирнова, а также его попытка обречь вотяков на вековую дикость были с его стороны способом уверить русских в том, что они всегда будут оставаться особенными.

Примечания

¹ Обзор по этой проблеме см.: *Dundes A. The Ritual Murder or Blood Libel Legend: A Study of Anti-Semitic Victimization through Projective Inversion // The Blood Libel Legend: A Casebook in Anti-Semitic Folklore / Ed. by Dundes. Madison, 1991. P. 336–376.*

² См.: *Tager A.C. Царская Россия и дело Бейлиса. М., 1934.* В английском переводе: *Tager A.S. The Decay of Tsarism: The Beiliss Trial. Philadelphia, 1935.* См. также: *Lindenmann A.S. The Jew Accused: Three Anti-Semitic Affairs. Cambridge, England, 1991. P. 174–193; Rogger H. Jewish Policies and Right-Wing Politics in Imperial Russia. Berkeley, 1986. P. 40–55.*

3 О проекте Ильминского и об идеализации им малых финских народов Поволжья см.: *Geraci R. Window on the East: National and Imperial Identities in Late Tsarist Russia*. Ithaca, N.Y., 2001, особенно гл. 2. В этой книге, тем не менее, я также доказываю, что приблизительно в конце XIX века в полемике вокруг наследия Ильминского отразилось снижение симпатии многих русских к этим народам. Хотя тому и мало прямых свидетельств, «мултанское дело» может рассматриваться отчасти и как осадок этой полемики (Там же, гл. 7).

4 После шквала обвинений в ритуальных убийствах, возбужденных против евреев в середине XIX века в Нижнем Поволжье, страхи русских перед такими преступлениями распространились севернее и стали возникать по отношению к другим народам. См.: *Худяков М.Г. Политическое значение мултанского дела и его отголосков в настоящее время* // Советская этнография. 1932. Январь – март. С. 49–50.

5 Там же. С. 44–49; *Магницкий В.К.* Из быта казанских инородцев. (К вопросу о человеческих жертвоприношениях) // Этнографическое обозрение. 1894. Июль – сентябрь. С. 136–141.

6 Наиболее подробные отчеты о ходе дела см.: *Луппов П.Н.* Громкое дело мултанских удмуртов (вотяков), обвинявшихся в человеческом жертвоприношении (1892–1896 гг.). Ижевск, 1925; *Шатеништейн Л.С.* Мултанское дело, 1892–1896 гг. Ижевск, 1960. См. также: *Geraci R. Window on the East: Ethnography, Orthodoxy, and Russian Nationality in Kazan, 1870–1914* <Ph.D. diss., University of California, Berkeley, 1995>, гл. 4.

7 *Баранов А.Н., Короленко В.Г., Суходоев В.П.* Дело мултанских вотяков, обвинявшихся в принесении человеческой жертвы языческим богам. М., 1896. С. 3–6.

8 Дело о человеческом жертвоприношении в Малмыжском уезде // Казанский телеграф. 1895. 21 января.

9 *Баранов А.Н. и др.* Указ. соч. С. 9–10. Оказалось, что вотяки не молятся богу по имени Курбан. Татарское слово «курбан» означает «жертвоприношение», а весеннее празднество местных мусульман известно как Курбан-байрам. Эта деталь указывает либо на определенную степень татарского языкового и религиозного влияния на вотяков, либо на склонность русских крестьян огульно и беспорядочно смешивать веру и обычаи местных народностей.

10 Там же. С. 10–11.

11 Там же. С. 12–23.

12 Дело о человеческом жертвоприношении // Казанский телеграф. 1895. 24 января. Полной записи этого процесса не существует.

13 *Б[абушкин] И.И.* Человеческое жертвоприношение языческим богам в Волжско-Камском крае // Волжский вестник. 1894. 15 декабря.

14 *Короленко В.Г.* Предисловие к отчету о мултанском деле // *Короленко В.Г. Полное собрание сочинений.* СПб., 1914. Т. 4. С. 370–371.

15 Суд ответил на перечисленные упреки только через пять с половиной месяцев, после того как вотяки уже были осуждены вторично.

См.: *Луппов П.Н.* Казанские судебные учреждения и Министерство юстиции в третьем судебном разборе мултанского дела // *Архив Российской академии наук в Санкт-Петербурге [далее – АРАН].* Ф. 811. Оп. 1. Д. 71. Л. 24–25; см. также: *Баранов А.Н.* Из воспоминаний о мултанском деле // *Вестник Европы.* 1913. Сентябрь. С. 150–151.

16 Из современной хроники // *Русское богатство.* 1895. Июнь. С. 159–160.

17 *Луппов П.Н.* Громкое дело... С. 17; *Мандельштам М.* Легкомысленная публицистика // *Казанский телеграф.* 1895. 8 июля.

18 Российский государственный исторический архив [далее – РГИА]. Ф. 733. Оп. 151. Д. 583. Л. 48 об. – 49 об.; *Кузнецов С.К.* Некролог И.Н. Смирнова // *Этнографическое обозрение.* 1904. Апрель – июнь. С. 214–216.

19 *Смирнов И.Н.* Задачи и значение местной этнографии. Казань, 1891.

20 Английское слово «anthropology» обозначает описание и изучение человеческих культур в целом (в русском языке эту роль выполняет термин «этнография» или, скорее, «этнология») и поэтому не соответствует определению «антропологии» на континентальных языках (в том числе и русском), которое подразумевает изучение только физических черт людей.

21 *Кузнецов С.К.* Указ. соч. С. 215; *Он же.* Успехи этнологии в деле изучения финнов Поволжья за последние тридцать лет // *Этнографическое обозрение.* 1910. Январь – июнь. С. 130.

22 *Богаевский П.* [Рец. на:] *Смирнов И.Н.* Вотяки // *Этнографическое обозрение.* 1890. Январь – март. С. 216.

23 *Tylor E.B.* On a Method of Investigating the Development of Institutions, Applied to Laws of Marriage and Descent // *Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland.* 1889. Vol. 18. P. 245–272. Цитата – из русского перевода статьи: О методе исследования развития учреждений // *Этнографическое обозрение.* 1890. Апрель – июнь. С. 1–31; цитата на с. 30–31.

24 «Примитивная культура» Тайлора (Primitive Culture) появилась в русском переводе в 1872 году, раньше, чем перевод на какой-либо другой язык; его «Антропология» (1881), первый тщательный обзор данной области, была переведена на русский в 1882 году. См.: *Hodgen M.* The Doctrine of Survivals. London, 1936. P. 36.

25 Джордж Стокинг показал, что эволюционизм в действительности имел двоякое влияние на английскую культуру XIX века, предоставив

аргументацию и для ниспровержения, и для повторного обоснования таких ценностей, как патриархальность, христианство, классовая иерархия. См.: *Stocking G.* Victorian Anthropology. N.Y., 1987. P. 186–237.

26 *Stocking G.* Race, Culture and Evolution: Essays in the History of Anthropology. Chicago, 1982. P. 79–80; *Harris M.* The Rise of Anthropological Theory: A History of Theories of Culture. N.Y., 1968. P. 173–179.

27 См., напр.: *Смирнов И.Н.* Черемисы. Казань, 1889. С. 24, 69; *Он же.* Вотяки. Казань, 1890. С. 174, 185.

28 См.: *Becker S.* The Muslim East in Nineteenth-Century Russian Popular Historiography // Central Asian Survey. 1986. Vol. 5. P. 25–47; *Weinerman E.* Russification in Imperial Russia: The Search for Homogeneity in the Multinational State. <Ph.D. diss., Indiana University, 1996>. P. 179 (о «естественной русификации»).

29 Эта последовательность представлена в наиболее четкой форме в работе Смирнова «Вотяки» (гл. 4). Следуя теории Тайлора, гласившей, что культ умерших был истоком веры в богов, Смирнов включил в свою монографию «Мордва» (Казань, 1895) целую главу, посвященную погребальным ритуалам.

30 *Смирнов И.Н.* Вотяки... С. 141.

31 Там же. С. 71.

32 *Он же.* Обрусение инородцев и задачи обрусительной политики // Исторический вестник. 1892. № 47. С. 761.

33 *Он же.* Мордва... С. 635; *Он же.* Вотяки... С. 72.

34 *Он же.* Пермяки... С. 181–183.

35 *Он же.* Вотяки... С. 260, 270.

36 *Тайлор Э.Б.* Первобытная культура / Пер. Д.А. Коропчевского. СПб., 1872. т. I. С. 15. Оригинал: *Tylor E.B.* Primitive Culture. Boston, 1874. Vol. 1. P. 16.

37 *Harris M.* Op. cit. P. 150–165.

38 *Tylor E.B.* Op. cit. P. 97, 105–106.

39 *Ibid.* Vol. 2. P. 393–408; Vol. 1. P. 106–108. Из-за широко распространенного убеждения, что боги в первобытных религиозных культах являются антропоморфными существами, Тайлор и другие (включая Смирнова) считали само человеческое жертвоприношение свидетельством того, что первобытные люди на определенной стадии развития практиковали каннибализм. Эта ассоциация была причиной того, что представления о каннибализме и о человеческом жертвоприношении часто смешивались в ходе общественной дискуссии о мултанском деле. См.: *Смирнов И.Н.* Следы человеческих приношений в поэзии и религиозных обрядах приволжских финнов. Казань, 1889. С. 19–21.

40 См.: *Geraci R.* Op. cit. P. 301–304. Только в переводе 1939 г. слово «пережитки» заменило слово «переживание» при переводе термина «survivals».

41 Смирнов И.Н. Черемисы... С. 182–186; Шмурло Е.Ф. Восьмой археологический съезд. СПб., 1890. С. 41–42; Смирнов И.Н. Задачи и значение местной этнографии... С. 7–9; Он же. Пермь... Казань, 1891. С. 283–284; Он же. Мордва... С. 308–312; Он же. Следы человеческих приношений... С. 21–22.

42 Смирнов И.Н. Вотяки... С. 231–233, 235; Верещагин Г. Вотяки Сосновского края // Записки Императорского Русского географического общества по отделению этнографии. СПб., 1886. Т. 14. № 2. С. 80–81.

43 Смирнов И.Н. Пермь... С. 207–211.

44 Hodgen M. Op. cit. P. 141, 145–148. Согласно Ходжен, некоторые критики этого понятия отрицают, что какие бы то ни было культурные черты, даже те, которые кажутся неуместными, могут быть совершенно бесполезными или бессмысленными (Ibid. P. 154–173). Марвин Харрис защищает понятие пережитков от подобных критиков, утверждая, что эволюционисты всегда признавали, что «и в биологических и в социокультурных пережитках есть спектр полезности, а не просто противоположность полезного и бесполезного» (Harris M. Op. cit. P. 166).

45 См. у Тайлора описание женщины, использующей устаревший ткацкий станок вместо новомодного: «эта старуха не отстала на сто лет от своего времени, но она представляет собой пример пережитка» (Tylor E.B. Op. cit. Vol. 1. P. 16; эта фраза неправильно переведена в обоих русских изданиях книги 1872 и 1939 годов). Хотя женщина остается верной традиции, она сохраняет устаревший ткацкий станок не просто как курьез. Ее станок по-прежнему функционирует, и она по-прежнему использует его для ткацких работ. Похожий пример – сделанное Тайлором описание «пережитков» символической магии, которая, будучи откровенно устаревшей и потеряв доверие большинства, в девятнадцатом веке все еще практиковалась многими доверчивыми людьми (гл. 4).

46 Луппов П.Н. Из истории мултанского дела // АРАН. Ф. 811. Оп. 1. Д. 68. Л. 19–22.

47 Первоначально выбранный защитой Петр Богаевский был отведен судом, возможно, потому, что он уже выступал публично с критикой и самого дела, и позиции Смирнова. После первого приговора, вынесенного по делу, он представил свою точку зрения в Этнографическом отделении Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии при Московском университете и настоятельно потребовал, чтобы в будущих случаях такого рода этнографов приглашали для проведения экспертизы. См.: Богаевский П.М. К Мултанскому делу: Существуют ли человеческие жертвоприношения у вотяков? // Русские ведомости. 1895. 7 ноября. Еще до начала дела, по иронии судьбы, Богаевский критиковал Смирнова за его ожидания, что полная русификация вотяков будет завершена в нереально короткие сроки (Богаевский П. [Рец. на:] Смирнов И.Н. Вотяки... С. 220).

48 Священник, который начал служить в Мултане всего лишь за два года до убийства Матюнина, был вызван свидетелем со стороны обвинения, чтобы подтвердить слухи о ритуальном убийстве. Другой мултанский священник, который служил там в течение сорока лет, письменно предоставил свидетельские показания, чтобы разоблачить эти слухи, но суд пренебрег его показаниями и не позволил защите вызвать священника в качестве свидетеля. См.: Баранов А.Н. и др. Указ. соч. С. 79–82; Кузнецов С.К. Из воспоминаний этнографа // Этнографическое обозрение. 1907. Июль–сентябрь. С. 2; Шатенштейн Л.С. Указ. соч. С. 43.

49 Баранов А.Н. и др. Указ. соч. С. 97–105. Судья пытался воспрепятствовать защите в проверке этих заявлений.

50 Там же. С. 161–164, 167–168, 184. Во-первых, как думал Смирнов, крупные жертвоприношения должны совершаться публично. Они осуществляются усилиями и к выгоде не одного клана, но общины в целом, и ни один клан никогда не позволит членам другого посетить место клановых жертвоприношений. Но обвинение и свидетели назвали местом совершения преступления сарай, принадлежавший только одному клану — клану Моисея Дмитриева. Кроме того, человек, обвинявшийся в непосредственном убийстве Матюнина, не принадлежал к клану Дмитриева, но, по словам других, был нанят. Согласно Смирнову, этнографы знают, что человек на эту роль должен быть выбран и что ему нельзя за это платить.

51 Там же. С. 160–161.

52 Там же. С. 162.

53 Верещагин Г. Указ. соч. С. 80–81; Кузнецов С.К. Успехи этнологии... С. 97.

54 Баранов А.Н. и др. Указ. соч. С. 169–170; РГИА. Ф. 1405. Оп. 96. Д. 5606. Л. 78. Это архивное дело из фонда Министерства юстиции и два дела из фонда Кассационного департамента Правительствующего Сената (РГИА. Ф. 1363. Оп. 2. Д. 452; Оп. 8. Д. 311), являются единственными официальными делами по данному судебному процессу, которые я нашел, и они мало добавляют к моему пониманию дела. Как представляется, в казанских архивах нет ничего, относящегося к делу.

55 «После этих показаний живых свидетелей, — сказал Раевский, — экспертиза ничего нам дать не может, а само дело дает много науке. Единственное ценное в указании г. Смирнова это то, что у родственных вотякам племен те или другие боги не прочь полакомиться человечиною». Он также сообщил присяжным, что «эта цель [мотив убийства] не имеет значения при постановлении вашего приговора», который касается только того, лишили ли обвиняемые Матюнина жизни. Вопрос, поставленный перед присяжными, не содержал слов «человеческое жертвоприношение» или каких-либо указаний на религиозные мотивы. Но буквально несколькими минутами позже Раевский напутствовал их: «Приговора вашего ждут

не одни эти люди — его ждут тысячи вотяков, их соплеменников, чтобы узнать — продолжать ли им этот обряд. Вы не захотите этого, и своим приговором не укажете, что тот Бог, который спас их от голода и мора, тот же Бог спасет их и от обвинительного приговора!» (*Баранов А.Н. и др. Указ. соч. С. 174–178, 193–194*). Судья, со своей стороны, посоветовал присяжным не беспокоиться о том, уличен ли каждый подсудимый в том, что он принимал участие в самом акте убийства, поскольку преступление представляло собой человеческое жертвоприношение (ритуального характера и в высшей степени преднамеренное), любой присутствовавший может расцениваться как активный его участник (Там же. С. 225–227).

56 Слышали, как Смирнов, явно ошеломленный решением присяжных, подавленно бормотал: «Неужели мое заключение могло так повлиять?» (*Баранов А.Н. Указ. соч. С. 160*).

57 Там же. С. 154–155.

58 Там же. С. 161.

59 *Короленко В.Г. К отчету о мултанском жертвоприношении // Короленко В.Г. Полн. собр. соч. СПб., 1914. Т. 4. С. 364–367.*

60 *Короленко В.Г. Мултанское жертвоприношение // Там же. С. 401.*

61 Там же. С. 383.

62 Там же. С. 396, 400.

63 *Бялый Г.А. В.Г.Короленко / 2-е изд. Л., 1983. С. 223–228.*

64 Человеческие жертвоприношения // Санкт-Петербургская газета. 1896. 1 марта; *Короленко В.Г. К отчету о мултанском жертвоприношении... С. 362; Он же. Мултанское жертвоприношение... С. 383.*

65 *Клеменц Д.А. Новая стадия мултанского дела // Восточное обозрение. 1896. 6 марта. Уже в 1890 году Богаевский сделал то же самое замечание о заимствовании фольклора, критикуя работу Смирнова (Богаевский Н.П. Очерки религиозных верований вотяков // Этнографическое обозрение. 1890. Октябрь–декабрь. С. 60). Другой этнограф, Николай Харузин, заметил эту ошибку только в 1897 году, после завершения «мултанского дела». См. его рецензию: Труды VIII-го археологического съезда в Москве 1890 г. Т. 3. // Этнографическое обозрение. 1897. Октябрь–декабрь. С. 146–147.*

66 *Клеменц Д.А. Указ. соч.*

67 *Луппов П.Н. Об обстановке вотских жертвоприношений в связи с данными мултанского дела // Вятский край. 1896. 7 и 9 мая; Он же. Очерк истории вотяков // Вятский край. 1896. 27 июля; 3, 12 и 31 августа; Он же. Приносились ли вотяками человеческие жертвы в XVIII в.? // Вятский край. 1896. 19 и 21 сентября; Он же. Фантастический обычай // Новости и биржевая газета. 1896. 8 и 9 мая; Он же. Из истории мултанского дела // АРАН. Ф. 811. Оп. 1. Д. 68. Л. 32–33 об.; Он же. Письмо в редакцию // Санкт-Петербургские ведомости. 1896. 26 апреля; *Жирнов О.М. Ответ**

г. Поплавскому // Вятский край. 1896. 30 марта; *Луппов П.Н.* По поводу ответа г. Поплавского // Там же. 25 мая.

68 *Богоевский П.М.* Мултанское «моление» вотяков в свете этнографических данных. М., 1896.

69 *Михайловский В.М.* Открытое письмо г. проф. И.Н. Смирнову // Волжский вестник. 1896. 23 апреля.

70 Однажды, в 1885 году, Кузнецов уже использовал свои знания, чтобы разоблачить попавший в газеты слух о якобы совершенном вотяками человеческом жертвоприношении (*Кузнецов С.К.* Из воспоминаний этнографа // Этнографическое обозрение. 1906. Январь – июнь. С. 32–35).

71 *Кузнецов С.К.* Открытое письмо И.Н. Смирнову // Сибирский вестник. 1896. 5 апреля; *Он же.* Из воспоминаний этнографа... С. 34–35. Только один этнограф, Василий Магницкий (отставной инспектор народных училищ и специалист по чувашам), использовал страницы «Известий Общества археологии, истории и этнографии», «родного» журнала Смирнова, для развенчания легенд о человеческих жертвоприношениях у вотяков, и он сделал это без прямых нападок на Смирнова. См.: *Корбут М.К.* Василий Константинович Магницкий и его труды, 1839–1901 гг. Чебоксары, 1929. С. 79.

72 *Шатеништейн Л.С.* Указ. соч. С. 58–61; Человеческие жертвоприношения // Санкт-Петербургская газета. 1896. 1 марта; *Луппов П.Н.* Громкое дело... С. 23–24.

73 *Смирнов И.Н.* [Рец. на:] В.Г. Короленко. О мултанском жертвоприношении // Деятель. 1896. Январь. № 1. С. 45, 47.

74 *Луппов П.Н.* Из истории мултанского дела... Л. 11–19.

75 Цит. по: *Короленко В.Г.* Решение Сената по мултанскому делу // Короленко В.Г. Полное собрание сочинений. СПб., 1914. Т. 4. С. 413–414.

76 Цит. по: *Высоцкий С.* Кони. М., 1988. С. 288.

77 Там же. С. 288–289.

78 *Худяков М.Г.* Указ. соч. С. 56.

79 Переписка по этому вопросу, как показал Луппов, подтверждает, что суд намеревался включить в состав присяжных как можно больше крестьян и как можно меньше горожан (*Луппов П.Н.* Из истории мултанского дела... Л. 37–38).

80 Там же. Л. 34–35.

81 Там же. Л. 28–30.

82 Там же. Л. 38–45.

83 *Баранов А.Н.* Указ. соч. С. 165; *Луппов П.Н.* Из истории мултанского дела... Л. 48–49; *Он же.* Казанские судебные учреждения... Л. 15–18.

84 *Карабчевский Н.П.* Речи, 1882–1902. 2-е изд. СПб., 1902. С. 369–370.

85 *Баранов А.Н.* Указ. соч. С. 167.

- 86 Там же. С. 169–170; *Карабчевский Н.П.* Указ. соч. С. 339.
- 87 Важность исследования вотских религиозных обычаев // *Народ*. 1897. 12 ноября; *Баранов А.Н.* Указ. соч. С. 170; *Кузнецов С.К.* Успехи этнологии... С. 105.
- 88 *Короленко С.В.* Десять лет в провинции. Ижевск, 1966. С. 206.
- 89 *Баранов А.Н.* Указ. соч. С. 170.
- 90 *Карабчевский Н.П.* Указ. соч. С. 357.
- 91 *Короленко С.В.* Десять лет в провинции... С. 207–208;
Батюшков Ф.Д. В.Г. Короленко как человек и писатель. М., 1922. С. 118–120.
- 92 *Короленко В.Г.* Сон Макара (Святочный рассказ) // *Короленко В.Г.* Полное собрание сочинений. СПб., 1914. Т. 1. С. 3–27.
- 93 *Баранов А.Н.* Указ. соч. С. 171–172.
- 94 *Худяков М.Г.* Указ. соч. С. 58; *Он же.* Новое в мултанском деле // Отдел рукописей Российской национальной библиотеки. Ф. 828. Д. 10. Л. 12 об.; *Шатенштейн Л.С.* Указ. соч. С. 6.
- 95 См. серию статей, опубликованных в 1897 году Н.К. Кабардиным в газете «Народ» (14, 20, 25 сентября, 2 октября, 15, 16, 23, 27 ноября, 2, 25 декабря); а также: *Блинов Н.Н.* Языческий культ вотяков. Вятка, 1898. Критический обзор этих публикаций см.: *Короленко В.Г.* Живучесть предрассудков (О докладе священника Блинова: «Новые факты из области человеческих жертвоприношений») // *Короленко В.Г.* Полное собрание сочинений. СПб., 1914. Т. 4. С. 431–449; *Он же.* Из Вятского края («Ученый труд о человеческих жертвоприношениях») // Там же. С. 450–464. Об освещении дела в зарубежной прессе см.: *Он же.* Библиографическая заметка // Там же. С. 421–422; *Шатенштейн Л.С.* Указ. соч. С. 60.
- 96 *Кузнецов С.К.* Успехи этнологии... С. 112.
- 97 В изданной в Германии книге Германа Л. Страка, посвященной кровавым ритуалам, говорилось о мултанском деле как о примере такого ритуала; эта книга была переведена на русский язык, и сторона обвинения в «деле Бейлиса» ссылалась на нее. См.: *Короленко В.Г.* Бейлис и мултанцы // *Короленко В.Г.* Полное собрание сочинений. СПб., 1914. Т. 9. С. 310–314.
- 98 Инородческие школы // *Нива*. 1896. № 45. С. 1124.
- 99 *Дьяконов И.* Верования и культ вотяков – язычников и крещеных. (По поводу мултанского дела) // *Мултанское обозрение*. 1898. Июнь. С. 878–889; Сентябрь. С. 1181–1186; Национальный архив Республики Татарстан. Ф. 4. Оп. 131. Д. 31. Оп. 133. Д. 20, 22; Оп. 134. Д. 34.
- 100 *Худяков М.Г.* Указ. соч. С. 62.
- 101 *Кузнецов С.К.* Успехи этнологии... С. 102–103; *Он же.* Некролог И.Н. Смирнова... С. 216.
- 102 За книги о финских народах Поволжья Смирнову была присуждена Уваровская премия Императорской Академии наук и золотая

медаль Русского географического общества. См.: *Анучин Д.Н.* И.Н. Смирнов: восточные финны. СПб., 1898; *Сетеле Е.Н.* Восточные финны: Историко-этнографические очерки И.Н. Смирнова // Отчет о тридцать восьмом присуждении наград графа Уварова [Б.г., б.м.]. Он также несколько раз назначался на должность попечителя Казанского учебного округа – пост, который он занял через несколько месяцев после второго слушания мултанского дела (РГИА. Ф. 733. Оп. 143. Д. 40; Оп. 142. Д. 938, 1160; Оп. 151, Д. 583. Л. 49–49 об.).

103 Хотя Короленко большей частью предполагал, что так оно и есть, один из ведущих этнографов, комментировавших дело, Петр Богаевский, утверждал это твердо. Оспаривая предложенное Смирновым понимание «пережитков», он делал в равной степени проблематичный вывод: «Наличность «переживаний» известного обычая... служит лучшим указанием на то, что самый обычай исчез из жизни и что допущение его существования должно считаться невозможным анахронизмом». В сущности, Богаевский заключил, что все появляющееся в фольклоре по определению является пережитком и, следовательно, устарелым. (*Богаевский П.М.* Мултанское «моление»... С. 1–2, 101).

104 Именно это различие в условиях существования империй я считаю наиболее важным для определения конкретных искажений эволюционистского учения в этом деле. Я не утверждаю, что ошибочное применение Смирновым идей эволюционизма было результатом так называемой научной отсталости России. Как уже упоминалось выше, некоторые ключевые понятия эволюционизма были слабо разработанными или двусмысленными изначально, и английские этнологи были так же, как и Смирнов, повинны в искажениях теории до такой степени, что стало возможным отбрасывать прочь ее универсалистский замысел и жертвовать «нецивилизованными» народами. См., например, о концептуальной роли эволюционизма в вымирании тасманийцев в работе: *Stocking G.* Op. cit. P. 274–283.

III

ВОСТОК ИМПЕРИИ:

ПРОБЛЕМЫ

ВООБРАЖЕНИЯ

И ПОНИМАНИЯ

От составителей

Статьи данного раздела посвящены разным сторонам отношений России со своими восточными подданными и землями. В этих работах Восток имеет не чисто географическое значение, а обозначает целый ряд предположений и стереотипов об отсталости и невежестве народов, населяющих эти территории, по сравнению с европейской частью страны и с Европой вообще. В этих условиях утверждение о принадлежности той или иной территории к Европе или Азии имело громадное значение для ее восприятия.

В первой статье Марк Бассин рассматривает существенный для русских, ощущающих необходимость определить место своей страны в мире, вопрос: где именно проходит граница между Европой и Азией? По мнению Бассина, этот вопрос не мог быть решен на чисто фактическом основании, поскольку решение это, как бы то ни было, зависело от категорий, носящих сугубо идеологический характер. Вообще Бассин показывает субъективную, но при том весьма важную роль человеческого воображения в решении географических задач. В этом плане данная статья является хорошим примером школы «воображенной географии» и «ментальных карт», пользующейся на Западе известной популярностью в течение последних пятнадцати — двадцати лет¹.

До известной степени школа «воображаемой географии» имеет свои корни во влиятельной теории Эдварда Саида. В вышедшей в 1978 году книге «Ориентализм»² Саид обращает наше внимание на весьма важную связь между наукой и властью, полагая, что в своих исследованиях и поступках западные востоковеды («ориенталисты») представляли Восток как совершенно чужой

мир и тем самым подготавливали и легитимировали установление господства Запада над восточными народами и культурами. В основе ориентализма, по Саиду, лежат полное отделение Востока от Запада и притязание востоковедов представлять Восток, не могущий будто бы сам представлять себя. Словом, речь идет о подчинении Востока Западу посредством изучения и описания первого последним.

В своей работе Саид имел в виду преимущественно ориенталистов Британской и Французской империй. Поэтому неизбежно возникает вопрос: насколько применима теория Саида к условиям Российской империи? К нему и обратился Натаниэль Найт в статье, вышедшей в журнале *Slavic Review* в 2000 году и вызвавшей подробное обсуждение в журнале *Kritika*, помещаемое здесь в русском переводе¹. Вообще говоря, влияние Саида на исследования о Российской империи пока остается скорее косвенным. Безусловно, некоторые ученые ссылаются на Саида или упоминают «ориентализм», несомненно имея в виду его теорию⁴. Но Найт, кажется, впервые прямо поднимает вопрос о степени применимости концепции Саида к России и в этой связи ставит его аргумент под сомнение.

Основой для его критики служит карьера ученого В.В. Григорьева, приехавшего в Оренбург в 1851 году и ставшего председателем пограничной комиссии в 1854-м. С таким назначением, казалось бы, Григорьев должен был служить ясной иллюстрацией модели Саида. Однако Найт полагает, что дело обстоит несколько сложнее. Во-первых, если теория Саида опирается на полное разделение Востока и Запада, то где могла найти свое место Россия, стоявшая между Европой и Азией? Григорьев действительно изучал российский восток (например, быт и культуру казахов), но он сам настаивал на самобытности России, на ее особенностях сравнительно с Западом, подразумевавших особый путь развития. Безусловно, Григорьев был убежден в превосходстве русской культуры над азиатской, но, в отличие от западных ориенталистов, он не настаивал на изолированном характере этих культур и выступал за «естественное» (т.е. относительно медленное) распространение русской цивилизации по степи путем внедрения образования и хорошего управления, основанного, между прочим, на знании традиционного быта и обычного права казахов. Во-вторых,

допуская существование связи между наукой и властью во многих конкретных случаях, Найт отрицает, что такая связь всегда и неминуемо присутствует. Нельзя сказать, что Григорьев особенно заботился о создании научного аппарата для господства над нерусскими в восточных регионах империи. Он даже не был горячим сторонником распространения России на восток, считая, что решительная политика, основанная на знании Средней Азии, могла гарантировать интересы и безопасность России без завоевания этой территории. Сверх того, генерал-губернаторы в Оренбурге далеко не всегда прислушивались к его мнению, и в итоге он сам вышел в отставку в 1862 году и вернулся в Петербург, будучи весьма разочарован своим опытом в Оренбурге. Иначе говоря, знания Григорьева не пригодились администрации империи. Поэтому, считает Найт, мы не можем предполагать, что знания ориенталистов всегда и как бы автоматически входят в тесную связь с имперским управлением. Напротив, исследователи должны в каждом конкретном случае выяснить, как и до какой степени знания востоковедов способствуют господству над восточными подданными. Такое сосредоточение на повседневной практике, полагает Найт, поможет нам гораздо больше, чем изучение метафизики дискурса.

При чтении последующей полемики следует иметь в виду специальности трех участников, явно влияющие на их точку зрения. Сам Найт — историк русской этнографии, и его исследования, как и в данном случае, сосредоточены на середине XIX века⁵. Адиб Халид — историк культурной и политической жизни Средней Азии конца XIX — начала XX века⁶. Наконец, Мария Тодорова — автор известной книги по истории западных представлений о Балканах, к которым она критически применяет идеи Саида⁷.

Последняя статья касается несколько иного вопроса, также связанного с проблемами воображения и понимания Востока. Речь идет об одной из черт казахского обычного права, барымте, позволявшей казаху, недовольному решением местного судьи (бия), угнать скот у своего противника и удерживать этот скот у себя в качестве залога, пока не будет достигнуто справедливое решение дела. Бывшая достойным и даже доблестным деянием в глазах казахов, барымта квалифицировалась законодательством Российской империи как особо тяжкое преступление, наравне с разбоем и государственной изменой. Анализируя дальнейшее развитие

конфликтной ситуации, Вирджиния Мартин показывает, насколько трудным было согласование российских законодательных норм с обычаями кочевых народов востока империи. Она также показывает, что местные обычаи могли измениться под воздействием имперского законодательства, так и не став при этом приемлемыми для имперского представления о законности.

Примечания

1 Книга Бассина (*Bassin M. Imperial Visions: Nationalist Imagination and Geographical Expansion in the Russian Far East, 1840–1865. Cambridge, 1999*) развивает этот подход в отношении Амура в середине XIX века. Такой подход также находит место в исследовании литературоведа Сьюзан Лейтон (*Layton S. The Creation of an Imaginative Caucasian Geography // Slavic Review. 1986. Vol. 45. № 3. P. 470–485*). Следует упомянуть еще один хороший пример этого подхода, теперь доступный на русском языке: Вульф Л. Изобретая Восточную Европу: Карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения. М., 2003. Хороший обзор работ по воображаемой географии см.: Шенк Б. Ментальные карты // Новое литературное обозрение. 2001. № 52.

2 Said E. Orientalism. N.Y., 1978.

3 Knight N. Grigor'ev in Orenburg: Russian Orientalism in the Service of Empire? // Slavic Review. 2000. Vol. 59. № 1. P. 74–100. Мы не имеем возможности поместить эту статью в настоящей антологии, поэтому кратко излагаем ее суть.

4 См., например: *Russia's Orient: Imperial Borderlands and Peoples, 1700–1917 / Ed. by Daniel Brower and Edward J. Lazzerini. Bloomington, Indiana, 1997*; *Jersild A. Orientalism and Empire: North Caucasus Mountain Peoples and the Georgian Frontier, 1845–1917. Montreal, 2002*.

5 См., например, другую его статью «О русском ориентализме...» в настоящей антологии.

6 См. его книгу: *Khalid A. The Politics of Muslim Cultural Reform: Jadidism in Central Asia. Berkeley, 1998*.

7 *Todorova M. Imagining the Balkans. N.Y., 1997*. Книга также принадлежит к числу работ, применяющих подход «воображаемой географии», упомянутый выше.

МАРК БАССИН

Россия между Европой и Азией: Идеологическое конструирование географического пространства

Gehört Russland zu Europa? Der Geograph hat die Antwort
am ehesten zur Hand.

GEORG VON RAUCH

Нам следует помнить, что географический регион
есть в конечном счете абстракция со своей историей,
которая может подчас поведать нам многое о прошлом.
ДЭНИС ХЕЙ

Положение России между Европой и Азией в очередной раз стало злободневным вопросом. На самом официальном уровне оно регулярно фигурирует в заявлениях Михаила Горбачева, касающихся внешней политики: эту тень он вызывает к жизни то в столицах западных стран, чтобы подчеркнуть свое видение «общего европейского дома» от Атлантики до Урала, то на Дальнем Востоке, чтобы настоять на естественном самоопределении Советского Союза как азиатской страны. В то же самое время диссидентские круги интеллектуалов в Советском Союзе, в течение нескольких лет спорившие о сопоставлении «Европа — Россия — Азия», достаточно часто приходили к выводам, весьма отличающимся от выводов генерального секретаря¹. На Западе новое и серьезное внимание привлекает сейчас комплексный блок исторических и стратегических проблем, ассоциирующихся с этим сопоставлением². Таким образом, дискурс об особенных отношениях России к Западу и Востоку всегда был и остается по своим идеологически обусловленным корням той точкой, которая должна быть поставлена, и достаточно

обширная литература, посвященная этому вопросу, в общем и целом до сих пор анализировала его с этой точки зрения¹. Тем не менее вновь начавшаяся дискуссия по этому вопросу дает нам возможность привлечь внимание к одному важному аспекту этого дискурса, который до сих пор постоянно недооценивался, если не игнорировался полностью: глубокое значение специфически *географического* измерения противопоставления Европа — Россия — Азия для более широких идеологических расчетов.

На протяжении столетий русские выработали — в ходе процесса, который можно назвать интерпретацией или конструированием географического пространства, — набор в высшей степени контрастирующих между собой географических или геополитических образов самих себя: восприятия России как особого рода географической целостности⁴. Хотя эти образы основывались на некоторых априорных убеждениях и интересах, которые были обусловлены восприятием прочих аспектов российской идентичности, но, будучи однажды созданными, они тем не менее были окружены определенной аурой объективности и потому казались неоспоримыми в большей степени, чем любой другой фактор. В конечном счете эти образы должны были использоваться — и использовались — для доказательства того, что включение (или исключение) России в состав Европы или Азии, вместо того чтобы быть субъективным и ценностным суждением (каковым оно и было), было скорее дано объективно, задано самой конфигурацией природного мира.

Представление о том, что земная поверхность делится на дискретные территориальные массивы, ведет свое происхождение от древнегреческих географов, которые первыми выделили три «континента» — Европу, Азию и Африку — естественные географические целостности, казавшиеся отделенными друг от друга большими водными пространствами и, тем самым, обладавшими границами, укорененными в физической конфигурации земной поверхности. В то время как Нил и Средиземное море с легкостью были признаны границами, отделяющими Азию и Европу от Африки, граница между Азией и Европой явно оставалась более проблематичной. Греки были уверены, что такой границей можно считать водный путь, проходящий на северо-востоке — по Эгейскому морю, через Дарданеллы и Босфор к Черному морю, но земли за

северными берегами Азовского моря оставались *terrae incognitae*, о которых практически ничего нельзя было сказать с уверенностью. Эта скудость географических знаний оказалась своего рода удобством, поскольку она позволила географам античного мира и их последователям времен раннего Средневековья настаивать на симметричности тройственного разделения континентов. Размер Азовского моря и его протяженность на север значительно преувеличивались, и значительный земельный массив между ним и арктическим побережьем соответствующим образом был уменьшен; действительно, его свели просто к перешейку между Европой и Азией. Эта сжатая территория была затем аккуратно пересечена рекой Танаис (Дон), которая превращалась в важнейший водный поток, протекающий от своих истоков в северном океане к югу, чтобы впасть в Азовское море. Эта Азовско-Донская фантазия довершила северный сегмент границы, разделявшей Европу и Азию, и сохраняла целостность той и другой как автономных, омываемых водой континентов⁵.

Эта фантастическая картина мира удерживала свои позиции больше тысячелетия и получила особенно стилизованное изображение на трехчастных средневековых картах, или картах типа «Т-О»⁶. К XVI веку, тем не менее, улучшения в картографической технике, как и наблюдения, доставленные на Запад несколькими европейцами, посетившими Московию, делали все более и более явными общепризнанные недостатки этой космографии. Европейцы начали понимать, что за северными берегами Черного моря простирается пространство значительных размеров, большее, чем просто перешеек. Также становилось ясным то, что Дон был достаточно скромным и извилистым водным путем, который тек не от северного океана⁷. Все эти новые знания подводили к выводу о том, что, по контрасту с другими континентами, Европа и Азия в действительности не отделены явно друг от друга водным массивом, но вместо того объединяются в весьма существенное пространство непрерывной территории.

Новая географическая картина, тем не менее, все еще не ставила под вопрос легитимность самого различия между Европой и Азией как континентами. С одной стороны, учения авторитетов классической эпохи продолжали сохранять формальную власть, к которой надо было относиться с уважением, независимо

от явного недостатка соответствия наблюдаемому миру. Не менее важен был тот факт, что понятие самой «Европы» начало претерпевать важную трансформацию⁸. *Европа*, как ее идентифицировали и завещали это понятие потомкам греки, была физико-географическим регионом и не несла в себе дополнительных культурных или политических смысловых оттенков⁹. По целому ряду причин эта ситуация изменилась в средние века, поскольку христианская церковь начала терять свои прежние претензии на роль вселенского вероисповедания. Начиная с XIV в. географическое царство Европы все в большей степени идентифицировалось с этим вновь описанным духовным царством крещеного люда¹⁰. Независимо от этой ассоциации стало возникать чувство культурной и политической исключительности и, в конечном счете, превосходства. В последующие столетия это чувство постепенно окрепло до степени нестигаемой уверенности, что Европа является наиболее цивилизованным и наилучшим образом управляемым регионом из всех регионов мира. Составлялись остроумные карты, где Европа персонифицировалась в облике королевы континентов, высоко держащей свой скипетр¹¹, и к началу XVII столетия великий собиратель историй о путешествиях Самюэль Пёрчас просто озвучил то, что уже стало общим настроением, когда он заметил, что «Качество Европы превосходит ее Количество, по второму она последняя, по первому — лучшая в мире»¹².

Так, именно в тот момент, когда классическое разграничение между Европой и Азией как обособленными континентами было усилено возникающим идеологическим измерением, открытия в сфере географических знаний угрожали размыть самое основание этого разграничения. Ответом на проблему, создавшуюся после испарения Азовско-Танаисской границы, стал поиск другой границы, способной ее заменить. В течение XVI и XVII столетий множество различных речных путей — включая Волгу, Каму, Двину, Печору и Обь — предлагали считать северными дополнительными продолжениями линии Дона, чтобы довести допустимую границу до Арктики и сохранить традиционную симметрию континентов¹³.

Может показаться, что допетровская Россия оставалась по большей части незатронутой этой новой догмой европейского превосходства. Изолированная, поглощенная сама собою, страдающая гипертрофированной ксенофобией, Московия выводила

свои культурные и религиозные истоки из Византии и никоим образом не рассматривала себя как часть Европы. Даже когда западное влияние в различных аспектах русской жизни уже стало преобладающим, Московия в целом питала, по выражению В.О. Ключевского, «неодолимую антипатию» к западному миру в целом¹⁴. Европейцы последовательно приравнивались к татарам или туркам: петровские указы о ношении западного платья при дворе, например, встречали то возражение, что только басурманы — термин, обычно относившийся к мусульманам, — носят немецкую одежду¹⁵. За немногими исключениями, москвиты демонстрировали слишком малую субъективную открытость Европе или симпатию к заявлениям о всеобъемлющем европейском преобладании на мировой сцене; напротив, доктрина Москвы — Третьего Рима служила русским завершенной идеологией их собственной национальной исключительности как избранных носителей истинного христианства. До той степени, в какой они вообще заключали в себе какое-то значение для мышления москвитов, категории Европы и Азии сами по себе оставались бесцветными, формальными физико-географическими обозначениями.

Лучшим свидетельством такого внимания было само рассмотрение вопроса о границе между Европой и Азией. Московские книжники были, безусловно, хорошо знакомы с географической литературой Запада, и в России в рукописях циркулировали космографические работы Помпониуса Мелы, Герхарда Меркатора, поляка Мартина Бельского и других. Первые собственно русские космографические сочинения XVI и XVII веков были фактически едва ли большим, чем компиляциями из этих западных источников¹⁶. В них доверчиво воспроизводилось классическое деление мира на три континентальных земельных массива, и Танаис, или Дон, идентифицировался без детальных уточнений с демаркационной линией между Европой и Азией¹⁷. Более того, в России этих ортодоксальных представлений придерживались долгое время после того, как они были поставлены под вопрос на Западе — обстоятельство, достойное внимания, поскольку русские явно должны были обладать более точной топографической информацией об этих территориях, чем западные ученые¹⁸. Причиной такого постоянства, как я могу предположить, было то, что разделение между Европой и Азией, как и проблема границы, разделяющей их,

оставалась в допетровской России схоластическим вопросом, все значение которого проистекало единственно из классических учений. Свидетельством глубокой непоследовательности русских в этом темном географическом вопросе служит их, по-видимому, полное безразличие к тому факту, что принимаемая ими граница по Танаису относила добрую часть исторической сердцевины Московского государства к Азии. По контрасту более проницательные западные путешественники в России придавали этому обстоятельству решающее значение и весьма тщательно его описывали¹⁹.

Воззрения русских на эти проблемы драматическим образом изменились в первой четверти XVIII столетия, когда Петр Великий предпринял далеко идущую реформу российского государства и общества²⁰. Эти реформы подразумевали фундаментально новое понимание различия между Европой и Азией и значение этого различия для России. Новая петровская идеология теперь искренне признавала единственное в своем роде значение европейского континента и безусловное превосходство европейской цивилизации, и настроения, подобные тому, которое было высказано Пёрчасом, были теперь с энтузиазмом поддержаны наиболее влиятельными защитниками нового порядка. Историк и географ В.Н. Татищев, например, описывал Европу 1730-х годов как регион, который «по обилию, наукам, силе и славе, якоже и умеренностию воздуха безспорно... преимуществует» над всеми прочими частями света²¹. Подобное суждение едва ли было мыслимым пятьюдесятью годами раньше. В то время как можно спорить о реальной степени, до которой Петр, по его собственному ощущению, мог европеизировать Россию (или даже о том, до какой степени он желал сделать это), не возникает вопроса о том, что страна должна была получить европейский облик и быть основательно реорганизованной в соответствии с европейскими образцами. Эта направленность проявлялась на всех уровнях, начиная с печально знаменитого бритья при дворе и заканчивая строительством новой столицы — квинтэссенции европейского образа жизни.

Возможно, величайшим выражением этих стараний была попытка придать европейскую форму самому характеру России как политического единства. Вслед за победой над Швецией в 1721 году было формально отвергнуто архаичное наименование Московии

как *царства или царствия*. Взамен этого Россия с огромной помпой и соответствующими церемониями была провозглашена колониальной *империей* в соответствии с европейской моделью, во главе с правителем, который теперь был *императором*, а не царем²². Эта попытка трансформировать политическую идентичность России сделала необходимым переделать и геополитический образ страны, чтобы создать нечто более узнаваемо европейское взамен обширной и довольно бесформенной агломерации земель и народов, раскинувшейся по Восточно-европейской равнине и северной Азии до Тихого океана. В свете этой цели тот факт, что российское государство частично покрывало два континента, приобретал беспрецедентное значение. Он подчеркивал основную дихотомию российского физического тела, которая, по крайней мере внешним образом, казалось, воспроизводила такую же дихотомию западных империй и могла представляться дополнительным доказательством естественного родства с ними. Как Испания или Англия, Нидерланды или Португалия, по самому большому счету Россия также могла быть разделена на два важнейших компонента: с одной стороны — коренные земли или метрополия, которая принадлежала европейской цивилизации, и с другой — обширная, но чужая, вне-европейская колониальная периферия²³.

Эта дихотомия служила основой для дифференциации между европейской и азиатской частями России, дифференциацией, которая была сформулирована впервые за этот период устами Татищева. Татищев, неутомимый приверженец петровских реформ, получил от царя поручение создать полное географическое описание «новой» реформированной России²⁴, и рукописи, подготовленные в 1730-х годах и циркулировавшие среди российской интеллектуальной элиты, сделали новую перспективу ясной. Новое имперское *российское* сознание с очевидностью выявилось в предпринятой Татищевым критике более ранних географических изысканий, которые, фокусируя внимание в первую очередь на лучше известных западных частях страны, представляли в результате неполную картину²⁵. «Российская империя [размещается] не в одной Европе, но обладает также и значительной частью Азии», — утверждал он, настаивая, что надлежащего определения идентичности страны можно добиться только через знание всей полноты ее владений. Татищев изображал различие между

европейской и азиатской частями России как пример чистой географической симметрии: выделенные регионы представляли собой полностью обособленные и контрастирующие друг с другом целостности, и, помимо того факта, что оба они находятся под общей политической эгидой, никакие иные физико- или культурно-географические родственные черты их не объединяют. Татищев особо подчеркнул этот пункт тем, что описывал эти регионы в различных и не связанных друг с другом разделах своей работы⁶⁴.

Новое понимание различия между Европой и Азией придало совершенно новую актуальность старой проблеме той границы, которая разделяет их, проходя через Россию. В отличие от империй Запада, где европейская метрополия была во всех случаях четко отделена от колониальных владений значительными водными пространствами, в России метрополия и колонии сливались в единый смежный земельный массив, и географическая литература XVII столетия не давала определенных указаний на ту границу, которая предположительно могла бы разделить их. Пока этот вопрос не был решен, европеизация представлений россиян о самих себе не могла быть реально завершенной, поскольку не существовало бесспорных географических рамок, к которым эти представления можно было бы приспособить. Утверждения, что Российская империя делится на европейскую метрополию и азиатскую колонию, оставались бессмысленными до тех пор, пока сохранялась столь явная неизвестность по вопросу о том, где же именно кончается одна и начинается другая. Таким образом, в течение чуть большего времени, чем одно поколение, неопределенность, окутывавшая европейско-азиатскую границу, трансформировалась из объекта чисто схоластического интереса в проблему определенно политического характера.

Петровское решение этой проблемы не замедлило воспоследовать и было сформулировано все тем же Татищевым. Отвергая границы по различным водным путям, он настаивал, что «весьма приличнее и натуральным положением сходнее» принять Уральский горный хребет (по отношению к которому он предпочитал использовать архаичное название «Великий Пояс») за важнейший отрезок европейско-азиатской границы, простирающийся от арктического побережья прямо на юг. От южной оконечности Урала татищевская граница продолжалась по реке Урал к Каспийскому морю, где она сворачивала на юго-запад и следовала через

Кавказ к Азовскому и Черному морям⁷. Несколько видоизмененная версия этой границы была предложена в то же самое время Филиппом-Иоганном фон Штраленбергом, шведским офицером, который в период Северной войны провел тринадцать лет в качестве пленника в Западной Сибири. Как и Татищев, с кем он консультировался в Сибири и позднее в Швеции, Штраленберг также предлагал считать Урал важнейшим сегментом границы между Европой и Азией, но от южной оконечности Урала он поворачивал границу на запад, по плоскогорью Общий Сырт и по рекам Самара и Волга до окрестностей Царицына (ныне Волгограда), где Волга сближается с Доном. Отсюда он прочерчивал финальный короткий отрезок границы вниз по течению Дона до Азовского моря и, наконец, до Черного моря⁸.

Уральские горы были в целом логично выбранной границей. Они представляли собой более значительный географический ориентир, чем любая из тех рек, которые предлагались в качестве разделительной линии между Россией и Сибирью и также долгое время служили таковой. Урал, более того, особенно хорошо вписался в новую картину России, которая создавалась в результате открытий в геодезии и картографии на заре XVIII столетия. Русские карты и планы XVII века и более ранних времен были фрагментарными и примитивными; по большей части, они изображали отдельные регионы, а не всю страну в целом. Они были также крайне редкими и неизвестными новинками, что подтверждается сценой из пушкинского «Бориса Годунова», где царь не понимает, что рисунок, выполняемый его сыном, на самом деле является картой его собственных владений. Таким образом, модернизация московитской рудиментарной картографии и производство точных карт составили сферу особых забот Петра, и десятилетия, последовавшие после его смерти, стали свидетелями результатов его усилий. Первая часть незавершенного «Атласа Всероссийской Империи» Ивана Кирилова была опубликована в 1734 году. Более основательный «Атлас российской», составленный вновь образованной Академией наук, вышел в 1745 году⁹. В этих трудах россияне впервые могли увидеть свою империю в целостности, весьма точно представленную на единой карте, и могли получить некоторое представление о реальных географических пропорциях. На этой гигантской трансконтинентальной протяженности от Балтийского моря до

Тихого океана, Урал не только возникал как доминирующая физиографическая черта, но действительно казался рассекающим империю на две симметричные — хотя и не равные — части.

Фундаментальное географическое предположение, что Россия явным и естественным образом делится на азиатский и европейский сектора, легло в самое основание имперской идеологии, которая все более совершенствовалась в течение XVIII столетия. Она распространялась в географических произведениях, которые стали появляться в России во всевозрастающем числе после 1750 года, и к концу столетия стала общепринятым трюизмом¹⁰. Действительно, демаркационную линию между континентами стали изображать преимущественно как основополагающую географическую черту России. Начальные пассажи учебника географии, опубликованного в 1795 году, например, дают хорошее свидетельство этого, поскольку дидактические упражнения книги начинались с признания такого простого, но основополагающего факта:

В. Что есть Россия?

О. Пространная империя, располагающаяся в Европе и в Азии.

В. И каково главное разделение России?

О. На две важнейших части: Европейскую и Азиатскую¹¹.

Признание той специфической границы, которую Татищев предназначил для маркировки этого разделения, тем не менее, не было незамедлительным. На протяжении XVIII столетия относительно нее не существовало согласия. Некоторые географы помещали азиатско-европейскую границу дальше на восток, проводя ее по реке Оби или даже по Енисею, как предлагал авторитетный немецкий естествоиспытатель Иоганн Гмелин. Другие — среди них был не менее влиятельный Михаил Ломоносов — продолжали находить аргументы в пользу традиционной прибрежной границы, целиком простирающейся на запад от Урала. Эта путаница приводила даже к тому, что некоторые авторы допускали существование различных демаркационных линий в различных пассажах одной и той же работы¹². Только после середины столетия Урал был окончательно признан точной границей, и вариант Штраленберга, прочертивший южный сегмент этой границы по Волге и далее по Дону, оказался наиболее популярным¹³.

Перемены в восприятии Европы и Азии, происшедшие в ходе реформ XVIII столетия, оказались продолжительными. Мировое первенство европейской культуры и цивилизации продолжало оставаться общепризнанным, как сохранялась и связанная с этим вера в членство России в братстве стран Запада. Вплоть до революции большинство образованных россиян могли бы разделить дух, если даже и не высокомерную уверенность заявления Екатерины Великой, что «*La Russie est une puissance européenne*»¹⁴. Все же эта точка зрения, хотя и была распространенной, тем не менее не стала всеобщей. В течение XIX столетия оформлялся противоположный довод, возникавший в результате размывания прежней убежденности русских в европейской идентичности их страны и ее едином назначении с Западом. Сомнения в этом были высказаны уже в 1830-х годах, когда славянофилы первыми провозгласили, что в национальном этосе России есть нечто уникальное и определенно не являющееся западным или европейским. После середины столетия их философско-исторические мечтания были развиты и получили более определенное политическое содержание усилиями их духовных преемников, панславистов¹⁵. Панслависты подвергли энергичным нападкам любые намеки на европейское превосходство и оспорили некритичное отождествление России с Европой. Поскольку это отождествление проистекало из геополитического видения России как страны, естественным образом разделенной на западную и восточную части, постольку ревизионистская аргументация пыталась переформулировать сам этот образ.

Первая альтернатива ему появилась в 1869 году, когда в петербургском журнале «Заря» была опубликована работа Николая Яковлевича Данилевского «Россия и Европа». В виде книги эта работа вышла в свет двумя годами позже¹⁶. В ней Данилевский — признанный ботаник, ихтиолог и биогеограф — бичевал преобладавшее у русских позитивное отношение к Европе. Он страстно ополчался на предположение, что Европа представляет собой наиболее величественное воплощение человеческого социального, культурного и интеллектуального развития и категорически отрицал нескромное и не очень-то оправданное самомнение европейцев, смотревших на самих себя как на воплощение всего наилучшего в человеческой цивилизации¹⁷. Вместо того, чтобы рассматривать

Европу как образец прогресса и общественного блага, он определил основополагающие характерные черты ее цивилизации как насильственность, гибельный индивидуализм и практически бесконтрольную жажду материальной выгоды. Русские, провозглашал он, имеют все причины презирать Европу и могут найти удовлетворение в том факте, что они отделены от нее непреодолимой культурной и исторической пропастью. Этому финальному пункту Данилевский придавал особую выразительность, и здесь он явно желал не оставить никаких сомнений в сознании своих читателей. «Принадлежит ли... Россия к Европе? — задавался он риторическим вопросом. — К сожалению или к удовольствию, к счастью или к несчастью — не принадлежит... Ни истинная скромность, ни истинная гордость не позволяют России считаться Европой»³⁸.

В рамках предпринятой им деконструкции мифа о европейском превосходстве Данилевский первым делом пересмотрел правомочность физико-географического определения Европы как континента. Он заметил, что первоначальным критерием для определения континентов было противопоставление суши и воды, и, допуская, что географические знания, доступные географам античности, делали правомочным разделение мира на три обособленных континента, настаивал, что в Средние века такое разделение уже не было состоятельным. «Когда очертания материков стали хорошо известны, отделение Африки от Европы и Азии действительно подтвердилось; разделение же Азии от Европы оказалось несостоятельным»³⁹. В противоположность прежним космографам, которые собирались и действительно страстно стремились разрешить это противоречие, Данилевский не имел намерения увековечивать столь очевидную фикцию. Вместо этого он утверждал перед лицом своих читателей смелый географический нигилизм, присущий его доводам: Европы просто не существует как отдельного континента. В географическом смысле Европа вообще не была континентом, но скорее простым территориальным придатком или полуостровом Азии. Как таковой, он был «менее резко от нее [Азии] отличающимся, чем другие азиатские полуострова». Для Данилевского не было более эффективного способа разрушить блистательный ореол Европы, чем низвести ее до статуса простой «естественной» окончечности того самого региона, который она надеялась превзойти⁴⁰.

другую сторону берегами. Особенно известно за ней только то, что она очень рыбна; но трудно понять, что общего в рыбности с честью разграничивать две части света»⁴¹.

Неизбежным выводом было то, что внутри России не существует противоположности и симметрии между континентами, поскольку традиционное разделение ее европейской и азиатской частей — и вместе с ним сами эти части — было разоблачено как географическая фикция и отвергнуто. Вместе с этим Данилевский эффектным жестом стер с карты империи наиболее важное политико-географическое разграничение и в то же время серьезно подорвал тот довод, что по крайней мере западными своими регионами Россия составляет «естественную» часть Европы.

Чтобы заменить состоявший из двух частей географический образ, который он отверг, Данилевский набросал проект совершенно оригинальной альтернативы. Россия, как настаивал он, представляла собой самостоятельный географический мир, самодостаточный и отличающийся от Европы, равно как и от Азии. Вместо того чтобы делиться «естественным образом» на европейскую и азиатскую половины, большая часть обширной земной поверхности, занятая Российской империей, представляла собой связный, одночастный «естественно-географический регион». При создании этого образа Данилевский полагался главным образом на факторы топографии и геоморфологии. Согласно его описанию, Восточно-Европейская равнина к западу от Уральских гор и Западно-Сибирская равнина к востоку представляли собой две смежные секции единой преобладающей формы земной поверхности: обширной низменности с редкими плоскогорьями, простирающейся от западных приграничных земель глубоко в Сибирь. Этот массив земной суши служил чем-то вроде единообразного географического основания Российского государства, в которое не вторгалась изнутри ни одна какая-либо заметная топографическая черта, включая и сами Уральские горы, но которое было явственно ограничено по большей части своей периферии водными пространствами или высокими горными массивами. В этом смысле Россия была изображена страной, обладающей стихийным единством, дарованным самой Природой. Чтобы прийти к этому финальному заключению, Данилевский понуждал воображение своих читателей к предельному усилию, прося их

Несомненно, определение Европы как полуострова у Данилевского не было особенно оригинальным. Александр фон Гумбольдт и другие немецкие, а также французские ученые уже выдвигали эту идею в первые десятилетия XIX века, и с развитием теории тектонического строения земной коры признание существования единого Евразийского материка было с энтузиазмом подхвачено как геологами, так и географами⁴¹. Ко времени появления работы Данилевского эти идеи даже начали получать некоторое распространение в самой России. Тем не менее, в то время как для его соотечественников это «ниспровержение» статуса порождало очевидный дискомфорт и путаницу⁴², Данилевский с готовностью воспользовался выводами из этой идеи, чтобы оспорить в целом представление о границе между Европой и Азией, проходящей по территории России. Он тщательно рассмотрел интерпретации XVIII столетия и решительно отверг предположение, что важнейшей частью этой границы был Урал, как заявляли Татищев и другие. Какими же особыми качествами обладает этот горный хребет, спрашивал он, «чтоб изо всех хребтов земного шара одному ему присвоивать честь служить границею между двумя частями света, — честь, которая во всех прочих случаях признается только за океанами и редко за морями? Хребет этот по высоте своей — один из ничтожнейших, по переходимости — один из удобнейших; в средней его части, около Екатеринбурга, переваливают через него как через знаменитую Алаунскую плоскую возвышенность и Валдайские горы, спрашивая у ямщика: да где же, братец, горы? Если Урал отделяет две части света, то что же отделять после того Альпам, Кавказу или Гималаю? Ежели Урал обращает Европу в часть света, то почему же не считать за часть света Индию? Ведь и она с двух сторон окружена морем, а с третьей горами — не Уралу чета; да и всяких физических отличий (от сопредельной части Азии) в Индии гораздо больше, чем в Европе».

Если Уральские горы были шаткой опорой для границы между континентами, то предположение, что эта граница продолжается на юг по реке Урал к Каспийскому морю, было откровенно абсурдным: «Но хребет Уральский, по крайней мере — *нечто*; далее же честь служить границей двух миров падает на реку Урал, которая уже — совершенное ничто. Узенькая речка, при устье в четверть Невы шириною, с совершенно одинаковыми по ту и по

вообразить Россию как страну, идентичную Франции по естественному физико-географическому единству и отличающуюся от нее «только в [своих] огромных размерах»⁴⁴.

Дабы украсить эту картину ровного физико-географического единства, Данилевский настаивал также и на историко-этнографическом единстве. Он отверг широко распространенное представление о продвижении русских за Уральские горы как о смелом натиске колониального вторжения в чуждую реальность, аналогичного вторжению европейских империй на американский континент⁴⁵. Вместо этого он настаивал, что исторический захват Сибири продолжался столетия, которые были эпохой крестьянского расселения и колонизации Восточно-Европейской равнины. На востоке от Урала не в меньшей степени, чем на западе, это движение было постепенным, спокойным и беспрепятственным рассеянием или наплывом русско-славянских переселенцев на незанятые территории. По контрасту с европейской территориальной экспансией, которая всегда ассоциировалась с насилием и жестокостью, русская колонизация была органическим и естественным процессом, в ходе которого завоевание не играло вообще никакой роли. Данилевский даже призывал на помощь рудиментарную версию веры в волю судьбы, доказывая, что эти открытые континентальные пространства были попросту «предназначены» для российской колонизации и ассимиляции⁴⁶. Так, русские поселения за Уралом «образуют не новые центры русской жизни, а только расширяют единый, неразделенный круг ее». Результатом стало создание экумены русского заселения, простиравшейся без видимых перерывов от западных границ империи до Тихого океана; историческое и этнографическое единство этого заселения соответствовало существенному физиографическому единству земельного массива, на котором оно возникло⁴⁷.

Зрительно идентичная географическая картина была представлена в другом манифесте российского панславизма — книге «Три мира Азийского-Европейского материка», опубликованной в 1892 году В.И. Ламанским. Сегодня Ламанского помнят преимущественно как филолога и этнографа, но в свое время он был широко известен также и как специалист в области политической географии⁴⁸. Начальные сентенции труда Ламанского задают тон его аргументации. «Европа есть собственно полуостров Азии», —

утверждал он и наименовал эту более значительную географическую целостность «Азийско-Европейским континентом»⁴⁹. Вклинившаяся между Европой на западе и Азией — теперь уже больше не на востоке, но скорее на юге, — Россия составляла независимый географический мир, явственно отграниченный по своим естественным чертам от двух других. «Единство Русской империи обусловлено совершенным почти отсутствием крупных внутренних расчленений. На этом огромном просторе сплошной массы равнин высокие горные хребты встречаются, за исключением сравнительно невысокого и, во всяком случае, непрерывного горного хребта Уральского, только на окраинах... Этим отсутствием богатых расчленений Россия резко отличается как от европейского запада, так и азиатского юга»⁵⁰. Ламанский продолжал упоминать азиатскую и европейскую части России, но очевидным образом хотел выделить их из тех миров, к которым они примыкали, до такой степени, что даже характеризовал их как «антитезы» Азии и Европы «в собственном смысле слова»⁵¹. Ламанский, как и Данилевский, добавил к предполагаемому им физико-географическому единству формы земной поверхности Российской империи культурно-географическое измерение. В результате веков непрерывного движения населения из областей западнее Урала на восток «обе эти России», как он называл их теперь, слились в одно нераздельное целое, сплавленное воедино русской культурой, которую мигранты несли с собой и распространяли в неизменном виде среди своего нового окружения. Повсеместное преобладание «одной веры, одного языка, одной национальности» обусловило «политическое и культурное единство России на восток и на запад от Урала»⁵². Ламанский повторял аргументы Данилевского, что колонизация Россией незанятых пространств за Уралом была всецело естественным и органическим процессом, отличающимся от колонизации европейскими державами заморских земель. Для русского народа в целом, заключал он, территории за Уралом были совершенно такой же «родиной и отечеством», как и Европейская Россия, — постулат, который ни один европеец не сможет повторить по отношению к своим собственным колониям»⁵³.

Таким образом, Данилевский и Ламанский бросили вызов сложившемуся в XVIII столетии образу Российской империи, расколотой Уральскими горами на европейскую метрополию и азиатскую

колонию. Более того, намекая на соответствие характера единой в физико-географическом отношении формы земной поверхности в России и экумены русских поселений, они инициировали концептуальную переориентацию, которая могла бы согласовать географическое пространство империи с культурно-историческим пространством обитания русской нации. Однако в их работах эта концепция оставалась лишь наброском, стимулирующим дальнейшие размышления, поскольку ее развитие было заведено в тупик двусмысленностью и противоречивостью их мнений по этим вопросам. Видение России как автономной, географически самодостаточной целостности было несовместимо с их собственным панславизмом, который рисовал Россию тесно связанной с более широким славянским миром, простирающимся за ее западные пределы. Только как часть этого панславянского мира могла Россия выполнить свое предназначение. «После Бога и Его святой Церкви, — напыщенно провозглашал Данилевский, — идея славянства должна быть вышею идеей, выше свободы, выше науки, выше просвещения, выше всякого земного блага»⁵⁴. Ламанский сделал более точным географическое измерение того же самого суждения. В число «трех миров» в заглавии его труда входила не просто одна Россия, но, скорее, славянский мир, который противопоставлялся Европе и Азии. Границы этого среднего мира простирались значительно дальше границ Российской империи, охватывая большую часть Восточной Европы, западную Турцию и даже западное побережье Сирии⁵⁵.

Значительно важнее, чем это более широкое несоответствие между славянским миром и Россией, был тот факт, что видение этой последней как самодостаточной целостности у Данилевского и Ламанского само по себе было двусмысленным. Они отвергли образ империи, сложившийся в XVIII веке, когда российские колониальные владения за пределами Европы по существу сводились к Сибири. Во второй половине XIX столетия, тем не менее, имперские владения России впечатляюще расширились: в 1860 году на Дальнем Востоке обширные долины рек Амур и Уссури были аннексированы у осажденной врагами и готовой пасть Китайской империи, а ко времени первого издания книги Данилевского в 1871 году уже были заняты русскими войсками Самарканд и Ташкент и шла подготовка к дальнейшей экспансии в Средней Азии. Таким образом, преуменьшая значение Уральских

гор как географического рубежа и подчеркивая физиографическое единство России, панслависты в результате преодолели лишь традиционное разделение между Европейской Россией и азиатской Сибирью в терминах «метрополия» — «колония». Новые имперские приобретения полностью сохраняли свою идентичность как азиатские колониальные владения. Ламанскому в особенности стоило значительных и достаточно изощренных интеллектуальных усилий уяснить некий геополитический смысл этой ситуации. Его заключение было высказано с предельной ясностью: вновь приобретенные Россией территории на Дальнем Востоке и в Средней Азии были «чисто азиатскими землями». Он включал их как составную часть в славянский средний мир исключительно в силу их политического подчинения России. Поступая таким образом, он не оставлял сомнений, что эти земли были чуждыми исторически, этнографически и географически⁵⁶. В конечном счете панслависты сохранили безошибочно узнаваемый элемент традиционно дихотомического видения России как империи с обширными колониальными владениями в Азии, и, хотя Ламанский критиковал использование терминов «азиатский» и «европейский» применительно к России, наиболее существенным здесь является то, что он продолжал использовать их.

На более глубоком уровне эти авторы невольно демонстрируют поразительную противоречивость даже в том, что касалось отношения России к Западу. Независимо от того, насколько искренне они настаивали, что Россия обособлена от Европы и в равной степени от Азии⁵⁷, они определенно считали, что пропасть, отделяющая Россию от Запада, менее глубока, чем та, которая отделяет ее от Востока. Ламанский отвергал азиатскую культуру и цивилизацию с полным презрением. «Миллионы азиатов застыли сегодня в гордом удовлетворении своей дряхлой цивилизацией или прозябают на различных уровнях дикости и грубости, до которых только способен опуститься человек..., лишенные практически всех надежд на независимое и суверенное будущее»⁵⁸. Действительно, панорама Азии не только заставляла Россию казаться более близкой Европе, но подтверждала родство между последними двумя, поскольку обе они приносят в эти темные регионы Востока все блага христианства и современного просвещения. Ламанский с оптимизмом заглядывал в тот день не столь отдален-

ного будущего — он полагал, что оно наступит не позднее чем через двести-триста лет, — когда весь азиатский континент целиком будет процветать под совместным «благородным владычеством» и благотельным преобладанием Европы и России. Призма концепции «среднего мира», сквозь которую Ламанский рассматривал Восток, была, таким образом, практически неотличима от оптики наиболее энтузиастически настроенных европейских империалистов⁵⁹.

Понадобился хаос и изломы Первой мировой войны и революции 1917 года, чтобы на свет появился последовательный и полный антитезис географическому видению России как европейской империи. Этот антитезис был выдвинут сторонниками так называемого евразийства, политического и культурного движения, которое возникло в российских эмигрантских кругах Западной и Восточной Европы в начале 1920-х годов. Евразийцы рассматривали себя как наследников консервативно-националистической традиции русской мысли XIX века и числили среди своих учителей славянофилов и панславистов, включая Данилевского⁶⁰. Они разделяли такую же всеобъемлющую враждебность к Европе и соглашались с вердиктом, что необоснованная попытка России состязаться с Западом и стать частью его была изначальным источником национальной деградации и несчастий. Действительно, их первый манифест — книга Н.С. Трубецкого «Европа и человечество» — был залпом, произведенным совершенно в духе «России и Европы» Данилевского⁶¹. Ссамого начала евразийцы пошли по пути расподобления России и Европы значительно дальше, чем даже наиболее радикальные мыслители XIX века. Подчеркивая различия между западными и южными славянами, которые в полном составе ассимилировали элементы европейской культуры, и русскими, они с особенной настойчивостью отвергали панславистское видение единого мира славянства и настаивали, что определение «славянская» едва ли может быть применено к России вообще⁶². Наиболее драматичным контрастом было то, что они обличали западный колониализм, который всего лишь поколение назад вызывал у их соотечественников чувства солидарности и общей судьбы с Европой, и вместо этого заняли моральную позицию на стороне колонизированного мира против колонизации⁶³.

Евразийство включало в себя географическое измерение, более изощренное и тщательно разработанное, чем любое из рассматривавшихся выше. Их точка зрения была развита в первую очередь в работе П.Н. Савицкого, блестящего специалиста в сфере экономической географии, который был вдохновителем этого движения и стал его главным выразителем в 1930-х годах⁶⁴. Савицкий заимствовал множество воззрений предшественников-панславистов оптом и действительно повторил их аргументы буквально точка в точку. Европа не должна, собственно говоря, рассматриваться как физико-географический континент, отдельный от Азии, поскольку та и другая являются частью единого земного массива⁶⁵. Следовательно, между Европой и Азией не существует никакого географического или естественного разделения. Савицкий следовал Ламанскому и Данилевскому, выводя из этого факта представление, что Россия, вместо того чтобы распадаться на две раздельных части, составляет единый географический мир сама в себе и не принадлежит ни к Европе, ни к Азии. Этот мир назывался «Евразия» или — возможно, чтобы отграничить его от значительно большего Евразийского материка в геологическом смысле слова — «Россия-Евразия». С самого начала, тем не менее, Савицкий настаивал на своем видении Евразии значительно упорнее, чем то делали его предшественники, как было очевидно прежде всего из его призыва полностью отвергнуть старую двусмысленную терминологию, к которой в XIX столетии относились еще терпимо. Он начинал один из своих важнейших очерков по этой теме следующим заявлением: «Евразия цельна. И потому нет России «Европейской» и «Азиатской», ибо земли, обычно так именуемые, суть одинаково евразийские земли... Урал («земной пояс» старых географов) делит Россию на Доуральскую (к западу) и Зауральскую (к востоку)... Скажут: изменение терминологии — пустое занятие. Нет, не пустое: сохранение названий России «Европейской» и «Азиатской» не согласуемо с пониманием России (вместе с прилегающими к ней странами), как особого и целостного географического мира»⁶⁶. Савицкий идентифицировал границы России-Евразии как «приблизительно» совпадающие с современным ему Советским Союзом.

Доказательства, которые использовал Савицкий для изложения своего видения географического единства России-Евразии,

заметно отличаются от доводов его панславистских предтеч. В дополнение к рудиментарным физиографическим факторам, которые отмечали они, он провозглашал, что эти регионы также объединены и в биогеографическом отношении. Выдвигая этот аргумент, Савицкий опирался в основном на исследование по природным или экологическим зонам России, проведенное ученым-почвоведом В.В. Докучаевым и его учениками в предшествовавшие революции десятилетия⁶⁷. Он доказывал, что евразийская земная поверхность может быть разделена на серию примыкающих друг к другу биогеографических регионов или биомов, которые лентообразно тянутся широкими, приблизительно параллельными друг другу полосами от западных границ на восток по Европейской России и Сибири, абсолютно не прерываясь Уралом. Действительно, скорее чем представлять собой географическое разделение, горная цепь, доказывал Савицкий, «теснейшим образом связывает Доуральскую и Зауральскую Россию — лишней раз доказывая, что географически обе они в совокупности составляют в сущности один нераздельный континент Евразии»⁶⁸.

Савицкий группировал эти природные зоны в четыре важнейшие категории, начиная с тундры на Дальнем Севере, продолжая лесом, степью и пустыней. Каждая из них была отдельной и комплексной экосистемой, характеризующейся определенной интеграцией характеристик климата и почвы, флоры и фауны. Савицкий доказывал, что эти четыре зоны были спаяны вместе особым единством, которое он выводил (довольно неясным образом) из физико-географического баланса или «симметрии», обнаруживаемой между самой северной и самой южной зонами, то есть между зоной пустынь Средней Азии и тундрой Крайнего Севера. Таким образом, Туркестан, тщательно исключавшийся из представлений о России у Данилевского и Ламанского как особый географический мир, был теперь определенно включен в состав России-Евразии как совершенно естественный и интегральный компонент. Данная Савицким характеристика Евразии как «четырёхчастной» целостности была основана на компактности и связности этих четырех природных зон, так же как и на естественной симметрии их⁶⁹. В результате был создан образ географического мира, который был не только «миром в себе», но действительно, как Савицкий неоднократно подчеркивал, определенно «замкнутым».

Этот географический образ России-Евразии стал источником вдохновения для радикального переосмысления русского национального этоса. Евразийцы идентифицировали Россию как часть Евразии не только в географическом, но также и в этнографическом, историческом, социальном и экономическом смысле. Взамен отвергнутого родства с большим славянским миром Россия стала теперь частью обособленного и автономного культурно-исторического комплекса, который органически развился за длительный период гомогенизации с другими народами, населявшими обширные пространства того, что они называли евразийским «ассимиляционным котлом»⁷⁰. Российское общество было, следовательно, евразийским обществом: многоячеистой и в высшей степени сложной смесью русско-славянских, финно-угорских, татаро-тюркских и монгольских элементов. Евразийцы выделили широкий спектр родственных связей, которые были показателями смешения этих разнородных групп в единую антропологическую целостность: от общего исторического наследия, которое Трубецкой творчески называл «наследием Чингисхана», до общих черт народных культур, разнообразнейших филологических заимствований и влияний, этнографического родства⁷¹. Действительно, следуя предписаниям *Rassenkunde*, или расовой науки, развивавшейся в это время в Германии, некоторые евразийцы даже пытались научным методом определить характеристики особой евразийской расы⁷².

Результатом было новое видение России как трансцендентального геоисторического, геополитического, геокультурного, геэтнографического и даже геоэкономического единства, определяемого новым общим термином: *месторазвитие*⁷³. Подробное изучение комплексных смешений внутри этого пространства, которое заключало в себе российско-евразийскую «симфоническую личность», полностью выходило за рамки границ любых традиционных дисциплин, и для этой цели Савицкий предложил совершенно новый подход — по сути дела новую дисциплину, которую он назвал *геософией*⁷⁴. В ней география была смешана с историей и философией культуры в грандиозное всеобъемлющее экологическое *Weltanschauung* (мировоззрение).

Евразийцы, таким образом, довели концептуальную перестройку, начатую панславистами, до ее логического завершения и выработали в процессе этого недвусмысленный антитезис дихото-

мическому имперскому видению России, возникшему в XVIII столетии. Все набившие оскомину различия или полуразличия между Европой и Азией, между метрополией и колонией были со всей определенностью отброшены. Гомогенное географическое пространство России как Евразии — теперь полностью отъединенной как от Европы, так и от Азии, — было конгруэнтным не только ее культурно-историческому пространству, но также и ее политическому пространству. Чтобы преодолеть двусмысленности и несообразности идей XIX столетия, евразийцы столь основательно пересмотрели представления о том, что представляет собой Россия как нация и культура, что их воззрения оказались слишком радикальными, чтобы найти продолжение. Несмотря на их собственные повторяющиеся заявления о том, что они продолжают национально-консервативную традицию XIX века, евразийцы воображали на самом деле мир, отличающийся во многих отношениях от мира их предшественников. Во всей своей полноте созданный ими образ России-Евразии был таков, что его с трудом могли бы опознать (тем более — принять) панслависты. Конечно, как отмечает Н. Рязановский, большинство современного евразийцам российского интеллектуального сообщества было попросту поставлено в тупик их теориями и едва ли могло ответить на их эксцентричные призывы к русским поддержать новый паневразийский национализм. Хотя евразийство получило значительное внимание и поддержку в первое десятилетие после 1917 года, к концу 1920-х это движение начало распадаться и не сумело дожить до окончания Второй мировой войны⁷⁵.

Определенные усилия консервативных националистов пересмотреть доминирующий географический образ России и изгнать как Азию, так и Европу с ее территории оказались безуспешны. Сложившееся в XVIII веке имперское видение России как дихотомического единства, поделенного в географическом отношении между двумя большими континентами, сохранилось и остается сегодня общепринятым представлением в Советском Союзе. Термины «европейская» и «азиатская» применительно к России были официально кодифицированы в территориально-административных целях, и эти регионы по-прежнему разделены границей по Уралу — теперь, согласно татищевскому варианту, проходящей прямо на юг по реке Урал (или же — альтернативный вариант — по Эмбе) к Кас-

пийскому морю. На долю воображения действительно больше не оставлено ничего: в Нижнем Тагиле, на Среднем Урале, был воздвигнут памятный обелиск из гранита, со словом «Азия», вырезанным на его восточной стороне и словом «Европа» на противоположной, дабы служить обозначением того воображаемого стыка, где, как предполагается, встречаются континенты. Три популярных издания «Большой советской энциклопедии» описывают Уральский хребет как естественную географическую границу между Азией и Европой, и в недавно изданном учебнике, принадлежащем перу известного советского географа, воспроизводится занимающее целую страницу изображение обелиска в Нижнем Тагиле, дабы поставить в этом вопросе финальную точку⁶.

Примечания

Я приношу свою благодарность Отделению международных исследований Фулбрайта-Хей за предоставленный мне грант на посещение Советского Союза в рамках научного обмена, что дало мне возможность собрать большую часть материалов для написания этого эссе. Эпиграфы можно найти в следующих работах: *Rauch G. von. Studien über das Verhältnis Russlands zu Europa. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1964. S. 201; Hay D. Geographical Abstractions and the Historian // Historical Studies. 1959. Vol. 2. P. 15.*

1 *Gorbachev M. Perestroika. N.Y.: Harper and Row, 1987. P. 180, 191, 194-195, 197-198; Idem. Toward a Better World. London: Hutchinson, 1987. P. 344, 348. О воззрениях диссидентов см.: Сулейменов О. Аз и я: Книга благонамеренного читателя. Алма-Ата, 1975; Несторов Ф. Ф. Связь времен. М.: Молодая гвардия, 1980; Agursky M. The Prospects of National Bolshevism // The Last Empire / Ed. by Robert Conquest. Stanford, Calif.: Hoover Institution Press, 1986. P. 103-105. О Сулейменове см.: Haney J. V. The Consequences of Seeking Roots // Ethnic Russia in the USSR / Ed. by Edward Alworth. N.Y.: Pergamon, 1980. P. 69-76.*

2 *Hauner M. What is Asia to Us? Boston: Unwin Hyman, 1990; Goehrke C. Einige Grundprobleme der Geschichte Russlands im Spiegel der jüngsten Forschung // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. 1986. Vol. 34. S. 225-229.*

3 О России и Европе см.: *Masaryk T. G. Russland und Europa. Jena: Diederichs, 1913. Vol. 1-2; Schelting A. von. Russland und Europa in russischen Geschichtsdarstellungen. Bern: Francke, 1948; Europa und Russland / Ed. by Dmitrii Chizhevsky. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1959; Groh D. Russland und das Selbstverständnis Europas. Neuweid: Luchterhand, 1961, и советский ответ на эту работу: Гольдберг А. Л. Дитер Грох отлучает Россию от Европы // История СССР. 1963. № 5. С. 208-212; Wittram R. Russia*

and Europe / Transl. Patrick and Hanaluise Doran. London: Thames and Hudson, 1973. См. также дискуссию в журнале *Slavic Review* (1964. Vol. 23. P. 1-30). О России и Азии см.: *Bassin M. Asia* // *Cambridge Companion to Russian Culture* / Ed. by N. Rezhevsky. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. P. 57-84; *Utechin S.V. The Russians in Relation to Asia and Europe* // *The Glass Curtain between Asia and Europe* / Ed. by Raghavah Iyer. London: Oxford University Press, 1965. P. 87-101; *Riasanovsky N.V. Russia and Asia: Two 19th Century Views* // *California Slavic Studies*. 1960. Vol. 1. P. 170-181; *Idem. Asia through Russian Eyes* // *Russia and Asia* / Ed. by Wayne S. Vucinich. Stanford. Calif.: Hoover Institution Press, 1972. P. 3-29; *Sarkisyanz E. Russian Attitudes toward Asia* // *Russian Review*. 1954. Vol. 13. P. 245-254; *Idem. Russland und der Messianismus des Orients*. Tübingen: Mohr, 1955; *Stephan J.J. Asia in the Soviet Conception* // *Soviet Policy in East Asia* / Ed. by Donald S. Zagoria. New Haven, Conn.: Yale University Press, 1982. P. 29-56. Менее известны следующие работы: *Dallin D.J. The Rise of Russia in Asia*. New Haven, Conn.: Yale University Press, 1949; *Lobanov-Rostovsky A. Russia and Asia*. Ann Arbor, Mich.: George Wahr, 1965.

4 За исключением новаторских исследований Л. Кристофа, ученые уделяют очень мало серьезного внимания вопросу о географических образах России. См.: *Kristof L.K.D. The Historical and Political Role of a Nation in Space*. <Ph. D. diss., University of Chicago, 1969>; *Idem. The Russian Image of Russia* // *Essays in Political Geography* / Ed. by C.A. Fisher. London: Methuen, 1968. P. 345-387; *Idem. The State-Idea, the National Idea and the Image of the Fatherland* // *Orbis*. 1967. Vol. 11. P. 238-255.

5 *Parker W.H. Europe: How Far?* // *Geographical Journal*. 1960. Vol. 126. P. 278; *Tozer H.F. A History of Ancient Geography* / 2nd ed. N.Y.: Biblo and Tannen, 1964. P. 67-69.

6 Карты типа «Т-О» изображали круглый мир, разделенный на три континентальных сегмента Танаисом, Нилом и Средиземным морем. Изображение рек имело форму, приближавшуюся к силуэту буквы «Т» (*Wright J.K. The Geographical Lore of the Time of the Crusades*. N.Y.: Dover, 1965. P. 66-68, 71 [*Райт Дж.К. Географические представления в эпоху крестовых походов*. М., 1988. С. 67-70]).

7 Ср.: *Герберштейн С. Записка о московитских делах* / Пер. А.И. Маленина. СПб.: А.С.Суворин, 1908.

8 *Gollwitzer H. Zur Wortgeschichte und Sinndeutung von «Europa»* // *Saeculum*. 1951. Vol. 2. № 2. S. 165; *Louis H. Über den geographischen Europabegriff* // *Mitteilungen der Geographischen Gesellschaft in München*. 1954. Vol. 39. S. 75. Об изменениях представлений о Европе см.: *Hay D. Europe: The Emergence of an Idea* / 2nd ed. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1968; *Dawson C. The Making of Europe*. Cleveland: Meridian, 1966; *Gollwitzer H. Europabild und Europagedanke* / 2nd ed. Munich: Beck, 1964; *Fischer J. Oriens-Occidens-Europa: Begriff und Gedanke «Europa» in der*

späten Antike und im frühen Mittelalter. Wiesbaden: Steiner, 1957;
Rougemont D. de. The Idea of Europe / Trans. N. Guterman. N.Y.: Macmillan, 1966; Voyenne B. Histoire de l'idée européenne. Paris: Payot, 1964; Actes du colloque international sur la notion d'Europa (1961). Paris: PUF, 1963.

9 *Hay D. Op. cit. P. 4; Burke P. Did Europe Exist before 1700? // History of European Ideas. 1980. Vol. 1. P. 22-23.*

10 Этот сложный процесс превосходно описан в работе Д. Хей:
Hay D. Op. cit. P. 73-95.

11 *Kiernan V.G. Europe in the Colonial Mirror // History of European Ideas. 1980. Vol. 1. P. 39; Arentzen J.-G. Imago Mundi Cartographica. Munich: Fink, 1984. Plate 76; Hay D. Op. cit. (фронтиспис).*

12 *Purchas S. Purchas his Pilgrimes / Haklyut Society. Glasgow: James MacLehose, 1905. Vol. 1. P. 248; Hay D. Op. cit. P. 120-122.*

13 *Parker W.H. Op. cit. P. 281-283.*

14 *Ключевский В.О. Курс русской истории: В 5 т. М.: Государственное социально-экономическое издательство, 1937. Т. 3. С. 303. О представлениях москвитов о Западе см.: Казакова Н.А. Западная Европа в русской письменности XV-XVI веков. Л.: Наука, 1980; Stökl G. Das Bild des Abendlandes in den altrussischen Chroniken. Cologne: Westdeutscher, 1965; Bickford O'Brien C. Russia under Two Tsars, 1682-1689. Berkeley: University of California Press, 1952. P. 43-61.*

15 *Пыпин А.Н. История русской литературы: В 4 т. / 4-е изд. СПб.: М.М. Стасюлевич, 1911. Т. 3. С. 317; Schaflly D.L. The Popular Image of the West in Russia at the Time of Peter the Great // Russia and the World of the 18th Century / Ed. by R.P. Bartlett et al. Columbus, Ohio: Slavica, 1988. P. 2. О «бусурманах» (вариант слова «басурманы») см.: Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. / 4-е изд. СПб.: Вольф, 1912. Т. 1. С. 134.*

16 *Соболевский А.И. Переводная литература Московской Руси XIV-XVII веков. СПб.: Академия наук, 1903. С. 45-47, 52-78; Лебедев Д.Н. География в России XVII века (допетровской эпохи). М.; Л.: АН СССР, 1949. С. 209.*

17 *Космография сиречь всемирное описание земли // Изборник славянских и русских сочинений и статей, внесенных в хронографы русской редакции / Под ред. А.Н. Попова. М.: Мамонтов, 1869. С. 478; Мордовцев Д.Л. О русских школьных книгах XVII века. М.: Университетская типография, 1862. С. 61-63; Книга Большому Чертежу / Под ред. К.Н. Сербины. М.: АН СССР, 1950. С. 29, 192; Арсеньев Ю.В. Описание Москвы и Московского государства по неизданному списку Космографии конца XVII века // Записки московского археологического института. 1911. Т. 4; Дитмар А.Б. К истории вопроса о границе между Европой и Азией // Ученые записки Ярославского педагогического института. Сер. География. 1958. Т. 20 (30). № 1. С. 38-39.*

18 Вплоть до начала XVIII века в России не появлялось вообще никаких упоминаний о северном продолжении донской границы, точно так же, как и в географических сочинениях, переведенных с голландского и немецкого при Петре Великом: География, или Краткое земного шара описание. М.: В тип. Московской, 1710. С. 11 – 12, 57; *Гибнер И.* Земноводного круга краткое описание... / Пер. П.Б.Иноходцева. М., 1719. Т. 8. С. 311 – 312, 343.

19 *Герберштейн С.* Указ. соч. С. 99, 107. Российский издатель этих текстов в XIX веке, для которого вопрос об отношении России к Азии имел совершенно иное значение, тоже был определенно потрясен этим пунктом (*Мордовцев Д.Л.* Указ. соч. С. 61).

20 Прекрасные обзоры см.: *Sumner B.H.* Peter the Great and the Emergence of Russia. N.Y.: Collier, 1973; *Wittram R.* Peter I: Czar und Kaiser. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 1964. Vol. 1 – 2.

21 *Татищев В.Н.* Лексикон российской... // Татищев В.Н. Избранные произведения. Л.: Наука, 1979. С. 271.

22 Законодательные акты Петра I / Под ред. Н.А. Воскресенского. М.; Л.: АН СССР, 1945. С. 155; *Wittram R.* Op. cit. Vol. 2. P. 462 – 463; *Rollins P.J.* Emperor, Russian use of the title of // *Modern Encyclopedia of Russian and Soviet History* / Ed. by J.L. Wiczynski. Gulf Breeze, Fla.: Academic International Press, 1979. Vol. 10. P. 200 – 201. Об имперских представлениях Петра I см.: *Анисимов Е.В.* Петр I: рождение империи // Вопросы истории. 1989. № 7; *Он же.* Время петровских реформ. Л.: Лениздат, 1989.

23 Это разграничение было отражено в противопоставлении понятий «русский» и «российский», возникшем в XVIII веке. См.: *Pushkarev S.G.* Dictionary of Russian Historical Terms. New Haven: Yale University Press, 1970. P. 31; Россия // Советская историческая энциклопедия. В 16 т. М.: Советская энциклопедия, 1969. Т. 12. С. 210; *Kristof L.K.D.* Op. cit. P. 349 – 353.

24 *Лебедев Д.Н.* География в России петровского времени. М.; Л.: АН СССР, 1950. С. 315; *Корсакова В.* Василий Никитич Татищев // Русский биографический словарь. СПб.: Общественная польза, 1912. Т. 19. С. 339; *Андреев А.И.* Труды В.Н. Татищева по географии России // Татищев В.Н. Избранные работы по географии России. М.: Государственное издательство географической литературы, 1950. С. 5 – 6. О Татищеве см. также: *Юхт А.И.* Государственная деятельность В.Н. Татищева в 20-х – начале 30-х годов XVIII в. М.: Наука, 1985; *Grau C.* Der Wirtschaftsorganisator, Staatsmann und Wissenschaftler Vasilij N. Tatišëev (1686 – 1750). Berlin: Akademie, 1963; *Daniels R.L.* V.N. Tatishchev. Philadelphia: Franklin, 1973; *Thaden E.* V.N. Tatishchev, German Historians, and the St. Petersburg Academy of Sciences // *Russian History / Histoire russe.* 1986. Vol. 13. P. 367 – 398.

25 *Татищев В.Н.* Руссия или как ныне зовут Россия // Татищев В.Н. Избранные работы по географии России... С. 108 – 112; *Daniels R.L.* Op. cit. P. 68 – 69.

26 Татищев В.Н. Указ. соч. С. 112 и след.

27 См. статьи «Дон» и «Европа» в «Лексиконе российском» Татищева (с. 266, 271); а также: Татищев В.Н. Введение к гисторическому и географическому описанию Великороссийской империи // Татищев В.Н. Избранные работы по географии России... С. 156; Дитмар А.Б. Указ. соч. С. 40-41.

28 Strahlenberg P.-J. von. Das Nord- und Ostliche Teil von Europa und Asia... Stockholm: In Verlegung des Autoris, 1730. S. 106-107; Новлянская М.Г. Филипп Иоганн Штраленберг. М.; Л.: Наука, 1966. С. 76-77; Parker W.H. Op. cit. P. 285-286. Штраленберг был, таким образом, первым, кто печатно высказал мнение, что Урал можно воспринимать как границу между Европой и Азией. Несколькими годами позже, тем не менее, Татищев заявил, что он утверждал это раньше Штраленберга. Дитмар ревностно защищает права Татищева на авторство этой идеи, очевидно усматривая в этом победу русской науки. См.: Татищев В.Н. История Российская: В 7 т. М.; Л.: АН СССР, 1962. Т. 1. С. 414; Он же. Общее географическое описание всея Сибири... С. 50; Дитмар А.Б. Указ. соч. С. 40-42. Противоположные воззрения советского историка, тем не менее, можно найти в работе: Боднарский М.С. Очерки по истории русского землеведения. М.: АН СССР, 1985. О Татищеве и Штраленберге см.: Grau C. Op. cit. S. 43, 47-49, 174-177; Новлянская М.Г. Указ. соч. С. 30, 77; Thaden E. Op. cit. P. 374-376.

29 Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: В 10 т. Л.: Наука, 1977. Т. 5. С. 224-225. О картах Московского государства см.: Bagrow L. A History of Russian Cartography up to 1800. Wolfe Island, Ontario: Walker, 1975; Рыбаков Б.А. Русские карты Московии XV - начала XVI века. М.: Наука, 1974. О заботе Петра о точности карт и придании им более современного характера см.: Goldenberg L.A., Postnikov A.V. Development of Mapping Methods in Russia in the 18th century // Imago Mundi. 1985. Vol. 37. P. 63-80; Постников А.В. Развитие крупномасштабной картографии в России. М.: Наука, 1989. С. 33-53. О картографии и имперской администрации в XVIII веке см. побуждающее к размышлениям эссе Дж. Харли: Harley J.B. Maps, Knowledge, and Power // The Iconography of Landscape / Ed. by D. Cosgrove, S. Daniels. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1988. P. 277-312. См. также: Кирилов И.К. Атлас Всероссийской Империи... СПб., 1734; Лебедев Д.Н. Указ. соч. С. 247-250; Атлас российской... СПб.: Академия наук, 1745; Bagrow L. Op. cit. P. 190-192.

30 Полунин Ф.А. Географический лексикон Российского государства... М.: Имп. Мос. Университет, 1773. С. 275, 419; Чеботарев Х.А. Географическое методическое описание Российской империи. М.: Университетская типография, 1776. С. 91. Делая следующий шаг после Татищева, некоторые работы даже разводили два региона России по совершенно разным разделам книги: один - посвященный Европе и другой - Азии. См.: Бауманн Л.А. Краткое начертание географии / Пер. В. Иванова. М.:

Университетская типография, 1788. С. 103–104; Введение в географию... / 2-е изд. СПб.: Компания Типографическая, 1790. С. 146–148, 256 и след.

31 [Антонович М.И. и др.]. Новейшее повествовательное землеописание...: В 5 т. СПб.: Академия наук, 1795. Т. 1. С. 5.

32 Гмелин И.Г. Перевод с предисловия, сочиненного профессором Гмелином к первому тому флоры сибирской. СПб.: Академия наук, 1749. С. 44–47; Винсгейм Х.Н. Краткая политическая география... СПб.: Академия наук, 1745. С. 227; Клевецкий М.Я. Руководство к географии...: В 3 т. СПб.: Сухопутный кадетский корпус, 1773. Т. 1. С. 98; Ломоносов М.В. О слоях земных и другие работы по геологии. М.; Л.: Государственное издательство геологической литературы, 1949. С. 19; Карманный атлас Российской империи. СПб.: Академия наук, 1773 (первая карта на обороте последней страницы текста). См.: Введение к географии... С. 161; Н[ехачин] И.[В.] Способ научиться самим собою географии. М.: Университетская типография, 1798. С. 66, 72, 75 (карта на с. 28–29). См. также: Чеботарев Х.А. Географическое методическое описание Российской империи. С. 50–51, 105–107; Новейшая всеобщая география... / 2-е изд. [Б.м.:] Сытин, 1793. С. 172.

33 Греч И.М., Наковальнин С.Ф. Политическая география...: В 3 т. СПб., 1758. Т. 1. С. 28; Полуниин Ф.А. Указ. соч. С. 275–276; Паллас П.С. Начертание общего топографического и физического описания Российской империи // Академические известия. 1780. Т. 4. С. 108; Яковкин И.Ф. Зрелище света, или Всемирное землеописание. СПб., 1789. С. 5–9; Гакман И.Ф., Янкович Ф.И. Всеобщее землеописание / 2-е изд. В 2 т. СПб.: Вильковский, 1795. Т. 1. С. 19–20; Матинский М.А. Сокращение всеобщей географии... СПб.: Медицинская типография, 1800. С. 20; Гаспари А.Х. Новейшее и подробное землеописание Европы, Азии, Африки, Америки и Южной Индии...: В 3 т. СПб.: Глазунов, 1810. С. 1–2; Зябловский Е.Ф. Землеописание Российской империи...: В 3 т. СПб.: Департамент Народного Просвещения, 1822. Т. 1. С. 203; Т. 3. С. 10; Арсеньев К.И. Краткая всеобщая география / 4-е изд. СПб., 1827. С. 42. Я выявил только одно географическое сочинение той эпохи, где Уральско-Каспийская граница описывается точно так же, как и у Татищева: Севергин В.М. Опыт минералогического землеописания Российского государства. В 2 т. СПб.: Императорская Академия наук, 1809. Т. 1. С. 69.

34 «Россия есть европейская держава» (Instruction de sa majesté impériale Catherine II. St. Petersburg: Académie des Sciences, 1769. P. 3 [Наказ комиссии о составлении проекта нового уложения // Сочинения императрицы Екатерины II. СПб.: изд-е Александра Смирдина, 1849. Т. 1. С. 4]).

35 Petrovich M.B. The Emergence of Russian Pan-Slavism. N.Y.: Columbia University Press, 1956. P. 32–34.

36 Данилевский Н.Я. Россия и Европа: Взгляд на культурные и политические отношения Славянского мира к Германно-Романскому / 5-е изд. СПб.: Пантелеев, 1895. О Данилевском см.: MacMaster R.E.

Danilevsky. Cambridge: Harvard University Press, 1967; *Kohn H.* Pan-Slavism. Its History and Ideology / 2nd ed. N.Y.: Vintage, 1960. P. 190–210; *Petrovich M.B.* Op. cit. P. 69–77; *Sorokin P.A.* Social Philosophies in an Age of Crisis. Boston: Beacon, 1950. P. 49–71.

37 Данилевский Н.Я. Указ. соч. С. 72–75 и след.

38 Там же. С. 60–61.

39 Там же. С. 58.

40 Там же. С. 58–59.

41 *Krause K.C.F.* Das Urbild der Menschheit / 2nd ed. Dresden: Arnold, 1819. S. 251–262; *Peschel O.* Geschichte der Erdkunde / 2nd ed. München: Oldenbourg, 1877. S. 807; *Hahn F.G.* Zur Geschichte der Grenze zwischen Europa und Asien // Mitteilungen des Vereins für Erdkunde zu Leipzig. 1881. S. 83–84; *Parker W.H.* Op. cit. P. 288. В 1870 году известный геоморфолог Оскар Пешель писал, что он может примириться с сохраняющимся определением Европы как континента только «из вежливости», и в следующем десятилетии венский геолог Эдуард Зюсс пустил в обращение термин «Евразия» для обозначения единого европейско-азиатского материка (*Peschel O.* Neue Probleme der vergleichenden Erdkunde. Leipzig: Duncker und Humblot, 1870. P. 153, 167; *Suess E.* Das Antlitz der Erde / 3rd ed. Vienna; Leipzig: Tempsky-Freitag, 1908. Vol. 1. S. 768–771; *Dorr R.* Über das Gestaltungsgesetz der Festlandsumrisse... Liegnitz: Kaulfuss, 1873; *Louis H.* Op. cit. S. 75–76). О Зюссе и его вкладе в теорию тектонического строения земной коры см.: *Greene M.T.* Geology in the 19th Century. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1982. P. 144–191; *Wood R.M.* The Dark Side of the Earth. London: Allen and Unwin, 1985. P. 32ff.

42 Этот дискомфорт явственно проявился, например, в двусмысленных утверждениях ученой энциклопедии 1870-х годов, дошедших до того, что Европа, будучи «по своей особой природе» самостоятельным континентом, является в то же время «по ее местоположению» западным полуостровом Азии. См.: Русский энциклопедический словарь: В 16 т. СПб.: Мордуховский, 1874. Т. 6. С. 599.

43 Данилевский Н.Я. Указ. соч. С. 56–57.

44 Там же. С. 21–22.

45 Там же. С. 531; *Kristof L.K.D.* Op. cit. P. 55. О традиционно колониальном восприятии Сибири см.: *Bassin M.* Inventing Siberia: Visions of the Russian East in the early 19th Century // American Historical Review. 1991. Vol. 96. P. 763–794; *Idem.* Imperialer Raum/Nationaler Raum: Sibirien auf der kognitiven Landkarte Rußlands im 19. Jahrhundert // Geschichte und Gesellschaft: Zeitschrift für Historische Sozialwissenschaft. 2002. Vol. 28. S. 378–403.

46 Данилевский Н.Я. Указ. соч. С. 22.

47 Там же. С. 532.

48 См. высокую оценку, данную ему В.П. Семеновым-Тянь-Шанским: Семенов-Тянь-Шанский В.П. Владимир Иванович Ламанский как

антропогеограф и политикогеограф // Живая старина. 1915. Т. 24. С. 9–20. См. также о Ламанском: *Лантева Л.П.* Владимир Иванович Ламанский // Славяноведение в дореволюционной России. М.: Наука, 1979. С. 214–217; *Petrovich M.B.* Op. cit. P. 63–64ff.

49 *Ламанский В.И.* Три мира Азийского-Европейского материка / 2-е изд. Пг.: Новое время, 1916. С. 1–2. Развивая этот пункт, Ламанский тщательно изучил работы Пешеля и других ученых, перечислявшиеся выше в примеч. 41. См., например, примеч. 31–32.

50 *Ламанский В.И.* Указ. соч. С. 17–18; Он же. Об историческом изучении греко-славянского мира в Европе. СПб.: Тип. Майкова, 1871. С. 42.

51 *Ламанский В.И.* Три мира... С. 5, 53.

52 Там же. С. 9, 17, 19–20.

53 Там же. С. 9; *Семенов-Тянь-Шанский В.П.* Указ. соч. С. 11–15.

54 *Данилевский Н.Я.* Указ. соч. С. 133 (курсив оригинала).

55 *Ламанский В.И.* Три мира... С. 48. Охваченный поэтической лихорадкой, ревностный панславист Федор Тютчев воспроизвел даже еще более высокопарные воззрения в своем стихотворении «Русская география», где его «средний мир» стал почти неузнаваемым: «От Нила до Невы, от Эльбы до Китая — / От Волги по Евфрат, от Ганга до Дуная» (*Тютчев Ф.И.* Стихотворения. Берлин: Слово, 1921. С. 114–115).

56 *Ламанский В.И.* Три мира... С. 49, 52.

57 Там же. С. 56.

58 Там же. С. 15–16.

59 Там же. С. 12, 15, 50–51. О сохраняющейся самоидентификации России как европейской страны, контрастирующей с Азией, см.: *Sarkisyanz E.* Russian Imperialism Reconsidered // Russian Imperialism from Ivan the Great to the Revolution / Ed. by Taras Hunczak. New Brunswick, N.J.: Rutgers University Press, 1974. P. 45–81, esp. 66; *Riasanovsky N.V.* Op. cit. P. 8; *Utechin S.V.* Op. cit. P. 98.

60 *Савицкий П.Н.* Два мира // На путях. М.; Берлин: Геликон, 1922. С. 26; *Pipes R. Struve*, Liberal on the Right. Cambridge: Harvard University Press, 1980. P. 387. Более развернутый анализ евразийства см.: *Böss O.* Die Lehre der Eurasier. Wiesbaden: Harrasowitz, 1961 (= Veröffentlichungen des Osteuropa-Instituts München. Bd. 15); *Riasanovsky N.V.* The Emergence of Eurasianism // California Slavic Studies. 1967. Vol. 4. P. 39–72; *Bassin M.* Classical Eurasianism and the Geopolitics of Russian Identity // Ab Imperio. 2003. № 2. С. 257–267; *Idem.* Eurasianism and Geopolitics in Post-Soviet Russia // Russia and Europe / Ed. by Jakub M. Godzimirski. Helsinki, 1996 (= Norwegian Institute of International Affairs Report. № 210). P. 33–42.

61 *Трубецкой Н.С.* Европа и человечество. София: Российско-Болгарское книгоиздательство, [1920].

62 *Трубецкой Н.С.* Верхи и низы русской культуры // Исход к Востоку. София: Балкан, 1921. С. 93–97, 100; *Böss O.* Op. cit. S. 64.

63 *Трубецкой Н.С.* Европа и человечество... С. 76; *Riasanovsky N.V.* The Emergence... P. 56.

64 В годы, предшествовавшие революции, Савицкий был в числе наиболее одаренных учеников П.Б. Струве в Петербурге (источник информации — личные беседы с Глебом Петровичем Струве, сыном Петра Бернгардовича Струве, в марте 1982 года в Беркли, штат Калифорния); см. также: *Pipes R.* Op. cit. P. 357. О Савицком и Трубецком см.: *N.S. Trubetskoy's Letters and Notes / Ed. by Roman Jacobson.* The Hague: Mouton, 1975. P. 21, 106, 135ff; *Böss O.* Op. cit. P. 7.

65 *Савицкий П.Н.* Географический обзор России-Евразии // Россия: Особый географический мир. Прага: Евразийское книгоиздательство, 1927. С. 27.

66 Там же. С. 25–26.

67 См.: *Докучаев В.В.* Учение о зонах природы. М.: Государственное издательство географической литературы, 1949; *Он же.* Русский чернозем. СПб.: Декларон и Евдокимов, 1904; *Морозов Г.Ф.* Учение о лесе / 3-е изд. Л.: Государственное издательство, 1926; *Глинка К.Д.* Почвы России и прилегающих стран. М., 1923; *Краснов А.Н.* География растений. Харьков: Дарре, 1899. Савицкий постоянно признавал, что он многим обязан этим ученым. Кроме того, он точно следовал работам таких современных ему советских ботаников, как В.А. Келлер и В.В. Алехин, которые продолжали исследования экологических зон, и он страстно желал показать, как их открытия подтверждают фактами его собственные географические выводы. См.: *Савицкий П.Н.* За историческое понимание природы русского мира // Записки Русского научно-исследовательского объединения в Праге. 1940. Т. 10 (15). № 76. С. 155–180; *Евразийская хроника.* 1927. № 9. С. 80–81. См. также новую интересную работу по теории и практике экологии в послереволюционной России: *Wiener D.R.* Models of Nature. Bloomington: Indiana University Press, 1988.

68 *Савицкий П.Н.* Указ. соч. С. 52.

69 Там же. С. 33 и след., 49–51, 53–57. Российский Дальний Восток, например, оставался чуждым Евразии и географически был частью Азии в собственном смысле слова (Там же. С. 47).

70 *Чхеидзе К.А.* Из области русской геополитики // Тридцатые годы. Paris: de Navarre, 1931. P. 113; *Kristof L.K.D.* Op. cit. P. 71.

71 *И.П. [Трубецкой Н.С.]* Наследие Чингисхана. Берлин, 1925; *Riasanovsky N.V.* The Emergence of Eurasianism... P. 51. Евразийская интерпретация русской истории полнее всего была развита в трудах Георгия Вернадского. См.: *Вернадский Г.В.* Опыт истории Евразии. Берлин: Издание Евразийцев, 1934; *Он же.* Начертание русской истории. Прага: Евразийское книгоиздательство, 1927. Ч. 1; *Трубецкой Н.С.* Верхи и низы русской культуры... С. 97–100; *Он же.* О туранском элементе в русской

культуре // К проблеме русского самосознания. Paris: de Navarre, 1927. С. 34–53; *Якобсон Р.О.* К характеристике Евразийского языкового союза. Paris: de Navarre, 1931.

72 *В.Т.* Понятие Евразии по антропологическому признаку // Евразийская хроника. 1927. № 8. С. 26–31.

73 *Савицкий П.Н.* Указ. соч. С. 28–33; *Он же.* Континент-Океан // Исход к Востоку... С. 104–125; *Böss O.* Op. cit. S. 30–33. Постоянно признавая, сколь многим он обязан российским ученым, Савицкий не оставил свидетельств, отдавал ли он себе отчет в том, до какой степени основополагающие аспекты его географического подхода к Евразии гармонируют с концептуальным развитием западной академической географии, особенно немецкой и скандинавской. Бёсс указывает на сходство с *Landschaftskunde*, или науки о ландшафте, и особенно с представлением о *Kulturlandschaft*, которое развивали Фридрих Ратцель, Отто Мауль и другие. Еще более сходной, как может показаться, была примечательная методологическая дискуссия, развернувшаяся в 1920–1930-х годах вокруг понятий *geographische Ganzheiten* или *total geographical regions* («целостных географических регионов»), смысл которых был весьма схож с предложенным Савицким «месторазвитием». См.: *Volz W.* *Geographische Gänzlichkeit* // *Bericht der sächsischen Akademie der Wissenschaft (Math-Physikal Klasse)*. 1932. Vol. 84. S. 91–113; *Hettner A.* *Der Begriff der Ganzheit in der Geographie* // *Geographische Zeitschrift*. 1934. Vol. 40. S. 141–144; *Wörner R.* *Das geographische Ganzheitsproblem vom Standpunkt der Psychologie aus* // *Geographische Zeitschrift*. 1938. Vol. 44. S. 340–347; *Granö J.S.* *Geographische Ganzheiten* // *Petermanns Mitteilungen*. 1935. Vol. 81. S. 295–302; *Idem.* *Reine Geographie* // *Acta Geographica*. 1929. Vol. 2. № 2. S. 35ff; *Hartstone R.* *The Nature of Geography*. Lancaster, Penn., 1949. P. 265–266. Действительно, как Грано, так и Савицкий использовали один и тот же термин, «географическая индивидуальность», для обозначения этих целостностей.

74 *Савицкий П.Н.* Указ. соч. С. 59. Совершенно иное использование термина «геософия» см.: *Wright J.K.* *Terrae Incognitae: The Place of Imagination in Geography* // *Annals of the Association of American Geographers*. 1947. Vol. 37. P. 13–14; *Billinge M.D.* *Geosophy* // *Dictionary of Human Geography* / Ed. by R.J. Johnston et al. Oxford: Blackwell, 1981. P. 138.

75 *Савицкий П.Н.* Указ. соч. С. 65–67; *Чхеидзе К.А.* Указ. соч. С. 108. О Данилевском и евразийцах см.: *Riasanovsky N.V.* *The Emergence of Eurasianism...* P. 60; *Böss O.* Op. cit. S. 123; *Трубецкой Н.С.* Общевразийский национализм // Евразийская хроника. 1927. № 9. С. 28. О враждебной реакции современников на евразийство см.: *Салтыков А.* Предисловие // *Менделеев Д.И.* К познанию России. Мюнхен: Милавида, 1924. С. LXXVI–LXXXII. О крушении евразийства см.: *Азурский М.* Идеология национал-большевизма. Paris: YMCA, 1980. С. 98–102.

76 *Pokshichevsky V. Geography of the Soviet Union / Transl. by D. Fidlou. Moscow: Progress, 1974. P. 223–225; Большая советская энциклопедия / 1-е изд. М.: ОГИЗ, 1926. Т. 1. С. 676; Т. 24. С. 169; 2-е изд. М.: БСЭ, 1950. Т. 1. С. 491; Т. 15. С. 382; 3-е изд. М.: БСЭ, 1970. Т. 1. С. 282; Т. 9. С. 15. В несколько потеплевшей атмосфере послесталинской эпохи вопрос о границе между Европой и Азией был вскоре вновь открыт для обсуждения Географическим обществом. Дебаты по этому вопросу представляют собой достаточно интересное чтение, но отказа от границы по Уральским горам не последовало, и предложенные в конце концов изменения были совершенно незначительного характера. См.: *Ефремов Ю.К.* Обсуждение вопроса о границе Европы и Азии в московском филиале Географического общества СССР // *Известия АН СССР (Серия географическая)*. 1958. № 4. С. 144–146; *Прокаев В.И.* Еще раз о границе между Европой и Азией в связи с вопросом о крупных единицах физико-географической характеристики // *Известия Всесоюзного географического общества*. 1960. Т. 92. № 4. С. 361–365; *Мурзаев Е.М.* Где же проводить географическую границу Европы и Азии? // *Известия АН СССР. Серия географическая*. 1963. № 4. С. 111–119.*

ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО ОЛЬГИ ЛЕОНТЬЕВОЙ

Адиб Халид

Российская история и спор об ориентализме

Николай Петрович Остроумов прибыл в Ташкент в 1877 году, чтобы занять должность инспектора народных училищ в недавно созданном Туркестанском крае. Он был рекомендован генерал-губернатору Константину Петровичу фон Кауфману своим учителем Николаем Ивановичем Ильминским, известным казанским миссионером и востоковедом. Остроумов изучал ислам и тюркские языки, и его знания быстро позволили ему стать ближайшим советником Кауфмана. Остроумов сохранял эту близость к власти в течение всего дореволюционного периода. До 1917 года он служил государству на различных должностях. В 1883 году его назначили редактором «Туркестанской туземной газеты» — официальной газеты на местном языке, с помощью которой он пытался влиять на ход местных дебатов о культуре, направляя их в интересах Российского государства. По отношению к публикациям на местных языках он исполнял роль цензора, и местные администраторы зачастую интересовались его мнением о «туземных» делах¹. Он также был автором многих научных трудов по этнографии и истории Средней Азии, а также по исламу. Остроумов перевел Библию на чагатайский язык, писал антиисламские полемические сочинения на русском языке. В его личном архиве хранилась переписка с русскими и зарубежными коллегами-востоковедами², и его сочинения позволяют нам с достаточным основанием говорить о вкладе Остроумова в развитие востоковедения в международном масштабе.

То, что Остроумов использовал свой востоковедческий авторитет и сочетал свои знания со службой империи, конечно, воскрешает в памяти работу Эдварда Саида, который утверждал,

что между знанием и властью в империях существуют тесные связи³. За последние два десятилетия критика Саида в адрес «ориентализма» оказала чрезвычайно большое влияние на науку. Направления исследований во многих дисциплинах, начиная от литературной критики до антропологии и истории, были пересмотрены в соответствии с положениями его работы «Ориентализм». Учитывая чрезвычайное разнообразие Российской империи, казалось бы, дискуссия об ориентализме могла бы оказаться весьма уместной в применении к изучению России. Однако отклик в лучшем случае оказался едва слышным. Лишь несколько специалистов в области литературоведения опирались на положения, выработанные в ходе дискуссии об ориентализме, чтобы показать русскую литературу XIX века в контексте существования империи⁴. Среди историков интерес к проблемам, поднятым Саидом, до сих пор остается слабым. Несколько превосходных работ, созданных в последнее десятилетие, рассматривают колониальный аспект Российской империи в широкой сравнительно-исторической перспективе, используя для этого выводы, полученные в результате изучения других европейских империй Нового времени⁵. В то же время сохраняются заметные опасения относительно подходов, которые размывают историческую специфику России. Натаниэль Найт, который, возможно, первым попытался серьезно и подробно использовать подход Саида применительно к истории России в своем исследовании, посвященном карьере другого востоковеда на другом конце империи и в другой временной период, пришел к выводу, что «схема, выдвинутая Саидом для понимания западного ориентализма, должна с большой осторожностью применяться — если это вообще следует делать — для изучения России»⁶.

В этом эссе я попытаюсь наметить некоторые направления, в рамках которых многие наблюдения, сделанные в ходе дискуссии об ориентализме, остаются вполне уместными и при изучении России — причем не только взаимоотношений России со своими имперскими владениями, но и России в собственном смысле слова. В частности, я намереваюсь предпринять критический анализ аргументации Найта, которую нахожу неубедительной. Но самой интересной для меня является возможность переосмыслить российскую историю, рассмотрев ее в более широкой сравнительной перспективе. Я выступаю не как историк русской этнографии, но

прежде всего как специалист по Средней Азии, для которого вопросы репрезентации и власти являются первостепенными. Я призываю не к слепому принятию универсальной «модели», но к большему использованию чуткого инструмента междисциплинарного исследования, что должно помочь преодолеть некоторые из тех ограничений историографии российской истории, которые она сама на себя накладывает. Такой подход должен привести к взаимной выгоде — он поможет прояснить содержание самого понятия «ориентализм», когда в фокусе компаративного подхода окажется еще и Российская империя. Этот подход также мог бы избавить исследования постколониальной истории от лежащего в их основе европоцентризма — неизбежного следствия той ситуации, когда огромный пласт литературы сосредоточен на историческом опыте всего лишь двух империй⁷.

Саид и «ориентализм»

Для Саида термин «ориентализм» имеет несколько различных значений. Во-первых, это «востоковедение» — то есть академическая дисциплина, объектом изучения которой является Восток; но одновременно «ориентализм» — это и более широкий и древний «способ мышления, основанный на онтологическом и эпистемологическом различии, проводимом между „Востоком“ и (чаще всего) „Западом“». Эти два значения взаимосвязаны. «Если взять конец XVIII века в качестве приблизительной отправной точки, ориентализм можно рассматривать и анализировать как корпоративное учреждение, созданное для работы над проблемами Востока, для того, чтобы выносить суждения о Востоке, утверждать ту или иную точку зрения на него, описывать его, преподавать знания о нем, колонизировать его, править им: короче говоря, ориентализм можно рассматривать как западный способ доминирования, перестройки и властвования над Востоком»⁸. Две центральные темы работы Саида — репрезентация и власть. Ориентализм претендует на обладание полномочиями представлять Восток и население Востока не только перед Западом, но и перед самим Востоком. Востока как такового не существует; просто, скорее всего, над реальными регионами, сложными по своему характеру, совер-

шается операция «ориентализации» — им придается «восточный» характер. Таким образом, «Восток» является результатом дихотомического разделения сложной человеческой реальности и ее эссенциализации, выделения ее умозраительной сущности. Восток описывается в основном в терминах отсутствия: отсутствия изменений, прогресса, свободы, разума и т.д., то есть тех свойств, которые, в соответствии с правилами диалектики, определяют и характеризуют Запад. В таком эссенциализированном виде Восток затем выносится за рамки истории, которая становится синонимичной Европе. Ориентализм переплетается с самоутверждением Европы, осознающей себя вместилищем истории.

Хотя Саида мало интересует историческая траектория становления и расцвета ориентализма, но бесспорно то, что разделение Старого Света на Европу (Запад) и Азию (Восток) восходит к грекам и что Восток всегда выполнял функцию «Другого», в самопротивопоставлении которому Европа определяла собственную идентичность. Манера, в которой обыгрывалась эта дихотомия, до неузнаваемости изменялась на протяжении веков, но само восприятие Востока как чуждого оставалось неизменным⁹. В связи с этим важно вспомнить некоторые специфические черты ориентализма (как в его академической, так и в художественной формах). Ориентализм обращен только к оставившим литературное наследие цивилизациям Старого Света: древнему Ближнему Востоку, исламскому миру, Индии, Китаю и Японии. Ему неинтересны ни Африка (южнее Сахары), ни те народы Евразии и Америки, которые не создали государственности. (Тюркоязычные степные кочевники Евразии представляют собой внешние границы «Востока» с точки зрения ориентализма.) Ориентализм без особых трудностей признает величие этих цивилизаций; но это величие остается на безопасном расстоянии — в далеком прошлом, прикоснуться к нему возможно лишь через классические тексты, которые и содержат ключ к пониманию как прошлого Востока, так и его дегенерирующего настоящего. Таким образом, центральной дисциплиной для ориентализма была филология, и, поскольку Восток был доступен для понимания лишь через классические тексты, созданные в типичном «восточном» контексте, ориентализм практически не использовал методы, выработанные в более широком кругу научных дисциплин. Изначальная замкнутость ориентализма

являлась одновременно его характерной особенностью. (Читатели «Критики» могут обнаружить здесь очевидное сходство с советологией. И действительно, легко напрашивается вывод о том, что советология была разновидностью ориентализма.)

Особую притягательность рассуждениям Саида придает то, что он разрушает границы между дисциплинами и жанрами и подробно описывает связь между производством знания и властью. Своей методологией он обязан Фуко, Грамши и Реймонду Уильямсу. Хотя он и называет ориентализм дискурсом, он также настаивает на выявлении того «индивидуального отпечатка, который каждый писатель налагает на коллективное собрание текстов, составляющих такое разностороннее образование, как ориентализм, — в противном случае ориентализм рискует остаться анонимным»¹⁰. По большей части, это утверждение строится на гуманистических убеждениях Саида, которые не всегда согласуются с его трактовкой идей Фуко, что приводит к возникновению ряда концептуальных дилемм. Вдумчивые критики указывают и на эту, и на многие другие проблемы, нарушающие стройность системы доводов Саида, — например, на его склонность эссенциализировать ориенталистский дискурс (как, впрочем, и концепцию «Запада»), выделяя лишь существенное, и слишком детерминистически трактовать отношения между ориентализмом и колониализмом. В то же время огромное количество работ по ориентализму, появившихся в разных областях науки, позволило уточнить многие из наблюдений Саида и в то же время использовать критический потенциал его идей во множестве новых направлений. Это здоровое обсуждение проблемы придало понятию ориентализма большую гибкость и чувствительность к историческому контексту, чем было в самой книге Саида.

Ориентализм и Российская империя

С самого начала мы должны принять во внимание двойственное отношение к России самого Саида. В «Ориентализме» Саид неоднократно утверждает, что «британские, французские и американские труды о Востоке имеют явное преимущество в качестве, последовательности изложения и количестве над несомненно зна-

чимыми работами, сделанными в Германии, Италии, России и в других странах»¹¹. В других местах он идет еще дальше, и, без дальнейшего развития этого утверждения, настаивает, что российский империализм был особенным: «Россия, однако, приобрела свои имперские владения почти исключительно по соседству со своими границами. В отличие от Британии или Франции, которые перепрыгивали на другие континенты, за тысячи миль от своих собственных границ, Россия продвигалась на юг и восток ползком, поглощая любые земли или народы, которые находились рядом с ее границами»¹². Здесь самое слабое место в построениях Саида, но ему важны подобные исключения, поскольку они позволяют ему придать вес тем аргументам, которые он выдвигает. Довольно любопытно, что лишь в очень малом количестве работ по России, авторы которых согласны с критическим мнением Саида, на эти противоречия обращали внимание. Забывает об этом и Натаниэль Найт, который категорически предостерегает против использования подхода Саида в российском контексте.

Система доводов Найта строится вокруг опыта петербургского востоковеда Василия Васильевича Григорьева, который находился на государственной службе сначала в Оренбурге, а затем на пограничной заставе в казахской степи. Григорьев надеялся применить свое знание языков и культуры тюркских народов на службе империи и во славу русского народа. Он был приверженцем идеи «народности» и подозревал, что влияние немцев отрицательно сказывается на российской науке; поэтому создание подлинно российской традиции востоковедения было ему по душе. Однако опыт жизни на границе разочаровал его. Пользуясь достаточным авторитетом у казахов, он не нашел общего языка с местными губернаторами, которые, будучи военными, без большого терпения и уважения отнеслись к учености Григорьева и к его попыткам давать им советы в политических вопросах. Через десять лет он вышел в отставку и возвратился в столицу. В этом случае перед нами — «ориенталист», который (согласно Найту) не вписался в предложенные рамки; поэтому, продолжает Найт, «модель ориентализма» нельзя применять к России; более того, она изначально ошибочна. Читатель, знакомый с долгой традицией критики Саида, в которой авторы «для того, чтобы доказать ошибочность суждений Саида, снова и снова возвращаются... к некоему востоковеду девятнадцатого века, который не впи-

сался в обычные рамки, а затем и к современному специалисту, который демонстрирует симпатию к восточным культурам»¹³, может подумать, что мы опять изобретаем колесо.

Но, как показывает пример Остроумова, в Российской империи ориентализм и власть могли весьма плодотворно взаимодействовать. Мы должны учитывать временные и пространственные изменения в российском понимании империи. Если на основании одного только примера мы полностью усомнимся в уместности применения модели ориентализма к изучению России, то нас можно будет, как и самого Саида, обвинить в чрезмерной склонности к обобщениям. Но в аргументации Найта можно найти изъяны даже при изложении истории Григорьева. Я хотел бы обратить внимание на три обстоятельства: 1) Григорьев никогда не смог обратить свои знания востоковеда на службу политической власти; 2) русский ориентализм — частично из-за своей приверженности органической концепции народности — был больше склонен признавать разнообразие мира, чем бинарное деление на «Запад» и «Восток»; и 3) в случае с Россией дихотомия Запад/Восток не была явной; скорее, здесь она заменялась неким «неуклюжим треугольником».

То, что Григорьев так никогда и не достиг успеха вобретении политической власти, на что он очень надеялся, не должно отвлекать нас от того факта, как страстно Григорьев *хотел* этого добиться, и от того, что в течение десятилетия он действительно *служил* на границе империи, располагая при этом значительной властью над казахскими племенами. Но, как предполагает Найт, он не был сторонником дальнейших завоеваний и потому его нельзя считать агентом имперского влияния. Найту требуется доказательство связи между знанием и властью на столь жестко инструментальном уровне, что его смогли бы удовлетворить только такие востоковеды, которые отдавали бы приказы о выступлении войскам, завоевывающим сферы их научных интересов. Его аргумент, что ориентализм не мог использовать свою власть вне государственной службы, поскольку в России научные дисциплины не были независимыми от государства, кажется весомым, но и он тоже отчасти сомнителен. Аргументация Саида не предполагает именно авторитета профессионального, академического востоковедения как научной дисциплины. Скорее, защищая «абсолютную силу стройно

сплетенного ориенталистского дискурса», Саид больше интересовался возможностью показать, что научные дисциплины *не были* столь независимы от государства, как они сами о себе заявляли. Так же, как в Англии или Франции, в России государство сочло знания востоковедов полезными для своих целей и поэтому обеспечило востоковедам дорогу к власти.

Найт рассуждает о «своеобразии» русского ориентализма, сделавшем его более полифоничным, чем его западноевропейские аналоги. Доказывать, что ориентализм создает гомогенный дискурс Востока, вовсе не означает утверждать, что все представления востоковедов о Востоке были идентичны или монолитны или что востоковеды не видели различий между восточными народами. Британское востоковедение хорошо знало различия между бенгальским чиновником и военным патаном или между бедуином и каирцем. В конце концов, это и был хлеб востоковедения. Но все же, несмотря на все свои различия, эти разнообразные жители Востока оставались жителями Востока, и в силу врожденной, присущей им по сути своей «восточности», они жестко вросли в почву «изнаночной» стороны цивилизационного разделения. Найт, по всей вероятности, полагает, что западноевропейские ориенталисты определяли сущность Востока в расовых терминах. На самом деле сущностный фактор они скорее выделяли *по цивилизациям* — жители Востока были таковыми потому, что они принадлежали к цивилизации, которая не имела потенциала для исторического развития и которая не была (или *больше* не была) частью Истории. Конечно, рассуждая о непохожести, можно было затронуть и вопросы расовых различий, но для утверждения дихотомии говорить о расах не было необходимости. Именно поэтому британцы могли признавать индоевропейские корни индийцев, но этот факт никак не мог повлиять на принадлежность Индии к Востоку. Романтические категории нации как органического целого очень хорошо вписываются в бинарное видение ориентализма. Во всяком случае, ориенталистский дискурс очень много внимания уделял романтическим представлениям о подлинности, которая, с точки зрения ориенталистов, подлежала сохранению и контролю. Каждая нация могла бы иметь свой собственный путь в истории, но нет никакой гарантии, что у них у всех будут схожие судьбы, не говоря уже об одинаковых. Отсюда и «люди без истории»; отсюда и жители Востока.

Россия и Европа

Само утверждение, что Россия не вписывается в дихотомию Восток/Запад, поскольку она в действительности к Западу не принадлежит, и что русский ориентализм «особенный», поскольку отличается от «настоящей», европейской, версии, — предполагает, разумеется, что существуют четко определенные границы самой Европы. Как будет показано ниже, представления об этой четкости границ — результат действия самого ориентализма. Но пока позвольте мне несколько иным способом оспорить существование различий между русской и европейской версиями ориентализма. С начала XIX столетия некоторые российские интеллигенты утверждали, что Россия отличается от Европы; и историки России слишком часто принимали это утверждение как оно есть, не исследуя тех целей, которые преследовались этими риторическими заявлениями. Мы часто склонны не замечать совершенно очевидного факта — того, что это заявление о русском «своеобразии» было сформулировано на основе традиции, укорененной в немецком романтизме. Начиная с XVIII столетия российские мыслители, включая и тех, кто настаивал на различиях между Россией и Европой, получали образование, которое мало отличалось от того, что получали их коллеги в остальной части Европы. Поэтому, как мне кажется, продуктивнее было бы рассматривать развитие России как вариацию на общеевропейскую тему, чем как абсолютно инородное по отношению к Европе явление.

Это в особенности касается вопроса об ориентализме. Обычно основанием для утверждения об отличиях России от Европы служит заявление о том, что Россия имеет особенную близость с Азией. В этом последнем суждении важно обратить внимание на то, что и оно само и, конечно же, само восприятие Азии в России имеет к самой Азии мало отношения, и скорее уж связано со странными, часто безответными отношениями России к Европе. Ссылка на «близость» к Азии представляла собой нечто большее, чем оправдание завоеваний, и она всегда была связана с двойственными чувствами русских по отношению к Европе. Согласно часто цитируемым словам Достоевского, «в Европе мы были приживальщики и рабы, а в Азию явимся господами. В Европе мы были татарами, а в Азии и мы европейцы»¹⁴. При этом мы не должны

упустить из вида тот факт, что к началу XIX века «Восток» стал самостоятельной аналитической категорией в русской мысли, ассоциируясь с деспотизмом, фанатизмом, обманом, насилием и эротизмом и ничем не отличаясь от расхожих представлений о «Востоке» в остальной Европе.

Гораздо более плодотворной задачей в отношении России было бы выяснить, почему в русской мысли понятие Востока было столь пластично и каким образом оно менялось с течением времени. Даже всемогущий импульс революции универсальности не смог победить идею Востока (для подтверждения этого можно найти достаточно ориенталистских идей у Маркса), хотя она с трудом сочеталась с универсалистским проектом и вернулась на свое главенствующее место лишь в постсоветский период. Лучший пример этому — журнал «Народы Азии и Африки». Когда настала пора освобождаться от идеологических ограничений, этот журнал поспешил сменить название на «Восток/Oriens»; латинское окончание в данном случае ясно свидетельствует о том, что этот журнал видит свое место на «лицевой» стороне цивилизации.

Ориентализация

В заключение я хотел бы наметить еще несколько областей исследования, где воззрения, почерпнутые из литературы по проблемам ориентализма, могли бы быть применены и к нашей сфере науки. «Воображаемая география», подчеркивающая дихотомию Европа/Восток, чрезвычайно гибка. Ученые, начиная с Саида, исследовали, как менялись эти границы и какую идеологическую работу совершала «ориентализация». На границах нашей научной области появились чрезвычайно результативные работы. Ларри Вульф показал, как Восточная Европа в эпоху Просвещения была конституирована как совершенно особая часть Европы, ее внутренний Восток, в то время как Мария Тодорова исследовала место Балканского полуострова в представлениях Запада. Тодорова рассматривает различия между обычным ориентализмом и явлением, которое она называет «балканизмом». Ее работа — замечательный пример того, как можно критически и одновременно с симпатией использовать мысли Саида, расширяя и углубляя проделанный им

анализ¹⁵. Далее, хотя «ориентализация» и представляет собой установление абсолютной цивилизационной дистанции, развернуть и использовать ее можно как угодно. Милица Бакич-Хэйден исследовала то, как подобная риторика сработала в бывшей Югославии: хорваты «ориентализируют» сербов (поскольку те были под властью Османской империи и являются православными); сербы «ориентализируют» боснийских мусульман (поскольку они мусульмане и, следовательно, азиаты)¹⁶. К сожалению, в применении к России эти подходы не встретили никакого отклика. Но, несмотря на это, в историографии самой России «ориентализация» со всей очевидностью является центральной темой. Например, споры об исторических отношениях России и степных народов — это споры об ориентализации. Те, кто говорят, что Киевская Русь имела со степью только враждебные отношения или что Московское государство ничего не заимствовало у монголов, стремятся снять клеймо, свидетельствующее о связи России с Востоком, и, следовательно, подтвердить, что место России — в «Европе». С другой стороны, признание отношений Московского государства с монголами становится не просто признанием сложности исторического развития, но, прежде всего, признанием «восточности» самого Московского государства (и следовательно, самой России). В существующей историографии этот метаисторический факт все-таки редко признается.

Мы должны также признать существование такого явления, как «самоориентализация», столь распространенного в русской мысли, хотя и не в ней одной. «Самоориентализация» может проявляться в разном отношении к действительности, от удрученного («на что еще можно надеяться таким азиатам, как мы?») до героического («мы лучше, чем Запад»), но в каждом случае она предполагает дихотомию Европы (Запада) и Азии (Востока). Принимая во внимание, что истоки этой дихотомии лежат в европейской традиции, было бы полезно исследовать, каким риторическим целям служит эта дихотомия.

В конечном счете, выйти за пределы этой дихотомии можно не путем развенчания мифа о Востоке, а, наоборот, путем развенчания противоположного ему мифа о той целостности (в равной степени упрощенной и сведенной к единому знаменателю), которая родилась из ориенталистского дискурса — мифа о Западе. Одним из результатов дебатов об ориентализме, в значительной

степени неожиданным и для самого Саида, явилась дестабилизация и внесение исторической перспективы в рассмотрение таких взаимосвязанных понятий, как «Запад» и «Европа». Как утверждает, в числе многих других, Мейда Йегеноглу, ориентализм *создает* Запад как универсальный субъект истории¹⁷. Этот универсальный субъект требует своей противоположности, и это противопоставление порождает целую «политику принадлежности», требует «ориентализации» других для обоснования собственных претензий на место в истории. «Запад» понимается конкретно, как факт природы. «Запад» в соответствии с географическими и картографическими условностями — это «Европа», что означает, что полуостров Евразийского материка имеет континентальный статус, в то время как столь же густонаселенные, обширные и разнообразные регионы — например, Южная Азия — остаются в лучшем случае частью континента¹⁸. Как только мы признаем всю искусственность понятий «Европа» и «Запад», а также «Азия» и «Восток», мы сможем двигаться вперед, к политике их развенчания, и оставим миф об уникальности России покоиться с миром.

Примечания

1 Khalid A. The Politics of Muslim Cultural Reform: Jadidism in Central Asia. Berkeley: University of California Press, 1998. P. 87–89.

2 Центральный государственный архив Республики Узбекистан (Ташкент). Ф. 1009.

3 Said E.W. Orientalism. N.Y.: Random House, 1978.

4 Сьюзен Лейтон (Susan Layton) писала об этой тематике больше, чем кто-либо еще из исследователей. Помимо монографии «Russian Literature and empire: Conquest of the Caucasus from Pushkin to Tolstoy» (Cambridge: Cambridge University Press, 1994), она также является автором многих статей. См. также: Greenleaf M. Pushkin and Romantic Fashion: Fragment, Elegy, Orient, Irony. Stanford: Stanford University Press, 1994; Hokanson K. Literary Imperialism, Narodnost', and Pushkin's Invention of the Caucasus // Russian Review. 1994. Vol. 53. № 3. P. 336–352.

5 Slezkine Y. Arctic mirrors: Russia and the Small Peoples of the North. Ithaca: Cornell University Press, 1994; Russia's Orient: Imperial Borderlands and People, 1700–1917 / Ed. by Daniel R. Brower, Edward J. Lazzerini. Bloomington: Indiana University Press, 1997; Bassin M. Imperial Visions: Nationalist Imagination and Geographical Expansion in the Russian Far East, 1840–1865. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. Другие ученые рассматривали вопросы, касающиеся империи, в рамках устоявшейся историо-

графической традиции изучения России. Пример тому – работа Кэтрин Клей: *Clay C.B. Russian Ethnographers in the Service of Empire, 1856-1862* // *Slavic Review*. 1995. Vol. 54. № 1. P. 45–61.

6 *Knight N. Grigor'ev in Orenburg, 1851–1862: Russian Orientalism in the Service of Empire?* // *Slavic Review*. 2000. Vol. 59. № 1. P. 97.

7 На это указывает Дэвид Ч. Мур: *Moore D.C. Is the Post in Postcolonial the Post in Post-Soviet? Towards Global Postcolonial Critique* // *Publications of the Modern Language Association*. 2001. Vol. 116. P. 111–128.

8 *Said E.* Op. cit. P. 2–3.

9 Превосходный обзор тех значений, которые вкладывались в близкие понятия «Восток», «ориентальный» и «Азия», см.: *Lewis M.W., Wigen K.E. The Myth of Continents: A Critique of Metageography*. Berkeley: University of California Press, 1997 (гл. 3).

10 *Said E.* Op. cit. P. 23.

11 *Ibid.* P. 17.

12 *Said E. Culture and Imperialism*. N.Y.: Knopf, 1993. P. 10.

13 *Prakash G. Orientalism Now* // *History and Theory*. 1995. Vol. 34. № 3. P. 202–203.

14 *Достоевский Ф.М. Геок-Тепе. Что такое для нас Азия* // *Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. Л., 1984. Т. 27. С. 36–37.*

15 *Wolff L. Inventing Eastern Europe: the Map of Civilization on the Mind of Enlightenment*. Stanford: Stanford University Press, 1994 [*Вульф Л. Изобретая Восточную Европу: Карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения. М., 2003*]; *Todorova M. Imagining the Balkans*. N.Y.: Oxford University Press, 1997.

16 *Bakic-Hayden M. Nesting Orientalisms: The Case of the Former Yugoslavia* // *Slavic Review*. 1995. Vol. 54. № 4. P. 917–931; см. также: *Bakic-Hayden M., Hayden R. Orientalist Variations on the Theme “Balkans”: Symbolic Geography in Recent Yugoslav Cultural Politics* // *Slavic Review*. 1992. Vol. 51. № 1. P. 1–15.

17 *Yegenoglu M. Colonial Fantasies: Toward a Feminist Reading of Orientalism*. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. О весьма распространенной неосознанной «оксидентализации» Запада см.: *Carrier J.G. Occidentalism: the world Turned Upside-Down* // *American Ethnologist*. 1992. Vol. 19. № 2. P. 195–212; *Occidentalism: Images of the West* / Ed. by James G. Carrier. Oxford: Clarendon Press, 1995.

18 *Lewis M.W., Wigen K.E.* Op. cit. (гл. 1). Исключительно глубокое исследование по этим вопросам см.: *Hodgson M.G.S. The Venture of Islam: Conscience and History in a World Civilisation*. Chicago: University of Chicago Press, 1974.

НАТАНИЭЛЬ НАЙТ

О русском ориентализме:

Ответ Адибу Халиду

Мы с Адибом Халидом на многое смотрим одинаково. Хотя он находит мои аргументы в последней статье о русском ориентализме не очень убедительными, наши позиции по некоторым ключевым вопросам весьма близки¹. Халида не устраивает, что я ставлю под вопрос применимость концепции ориентализма Эдварда Саида к Российской империи². Но моя критика Саида не была столь уж безапелляционной, как расценивает ее Халид: когда я говорю, что мы должны с осторожностью относиться к модели Саида, это не значит, что ее следует и вовсе игнорировать. Я также не сторонник того, чтобы игнорировать богатую и побуждающую к размышлениям научную литературу по проблемам европейского империализма, которая достигла расцвета со времени появления первой работы Саида. Фактически моя критика Саида имеет много общего с аргументами тех авторов, которые, разделяя многие цели Саида, обвиняют его в теоретической непоследовательности, антиисторических формулировках, склонности к излишним обобщениям и в детерминистском взгляде на личность³. Халид хорошо знает эту критику. Он ссылается на «концептуальные дилеммы», возникающие как из-за способов, при помощи которых Саид использует воззрения Фуко, так и из-за присущей ему склонности «эссенциализировать ориенталистский дискурс (как, впрочем, и „западный“) и слишком детерминистски трактовать отношения между ориентализмом и колониализмом». Халид отмечает, что последующие ученые упорно трудились над углублением идей Саида, придавая им, таким образом, «больше гибкости и чувствительности к историческим

переменам». Надеюсь, что я без опаски могу заключить, что Халид и я сходимся, по крайней мере, в одном существенном пункте: несмотря на всю свою привлекательность, на роль интеллектуального стимула дискуссий и значительное научное влияние, работа Саида «Ориентализм» все-таки содержит существенные методологические и концептуальные недостатки. Ее не следует воспринимать как «универсальную модель» — скорее, следует перечитать ее в контексте последующей критики.

Хотя, может быть, в некоторых существенных вопросах мы и едины, однако в частностях мы расходимся. В этом эссе я рассмотрю некоторые из тех вопросов, которые Халид поднимает в критическом анализе моей статьи, а в заключение выдвину некоторые предложения о том, как понятие ориентализма можно было бы использовать с большей пользой — и в целом, и в плане применимости этого понятия к российскому контексту.

Почему важны исключения: возвращаясь к Григорьеву

В своей недавней статье я подробно останавливаюсь на истории Василия Васильевича Григорьева, ученого и имперского чиновника, чьи идеи и опыт, на мой взгляд, позволяют поставить вопрос о применимости саидовской концепции ориентализма в качестве парадигмы для понимания отношений между академической наукой и имперским господством в России. Халид отвечает на мою статью о Григорьеве, выбирая для анализа пример Николая Петровича Остроумова, другого востоковеда, который в течение 40 лет верно служил делу империализма в Средней Азии. Очевидно, Халид пытается доказать, что судьба Остроумова позволяет сбросить со счетов судьбу Григорьева, — тем самым баланс восстанавливается и парадигма ориентализма остается непоколебимой.

Доводы Халида выявляют определенное недопонимание. Я никогда не пытался представить Григорьева как некий архетип, воплотивший в себе всю полноту востоковедения. Моей целью было бросить вызов чрезмерно детерминистской, универсалистской тенденции, проявившейся в работе Саида, а не заменять набор

одних обобщений другими. Я не отрицаю, что специалисты в области азиатских языков и культуры могли вносить и внесли значительный вклад в практику имперского правления. В этом отношении пример Остроумова неактуален. Пример же Григорьева показывает, что мы не вправе полагать, что сотрудничество власти и знания неизбежно, — бывают случаи, когда знание и власть идти рука об руку не могут. Тем не менее, открытым остается вопрос: разве может опыт отдельного востоковеда стать основанием для того, чтобы усомниться в такой влиятельной концепции, как предложенная Саидом концепция ориентализма? Конечно, это резонный вопрос, и, чтобы ответить на него, нам еще раз придется рассмотреть характер концепции Саида.

Халид прекрасно выделил несколько определений ориентализма, предложенных Саидом. Но он не стал показывать те напряженные отношения, даже противоречия, которые возникают между этими определениями. Для Саида «ориентализм» может означать, по крайней мере, три различные вещи. Это «стиль мысли», основанный на дихотомии между Востоком и Западом; «система знания», через призму которой Запад рассматривает Восток; и, наконец, востоковедение — «корпоративное учреждение, созданное для работы над проблемами Востока»⁴.

Изучение каждой из этих областей в отдельности могло бы принести значительные плоды, но Саид упорно утверждает, что они по своей внутренней сущности сплетены в общий дискурс, отличающийся «крепкой связующей силой» и «несомненной долговечностью»⁵. При рассмотрении ориентализма, как единой связной целостности, Саид каждой его части приписывает качества целого. По сути дела, он предполагает универсальное господство ориенталистского мировоззрения. Ориенталистские тропы, т.е. устойчивые словесные высказывания, для него являются бóльшим, чем простое «мнение», которое другие могут разделять или не разделять. Ориентализм, по мнению Саида, управляет самими когнитивными процессами, через которые Восток может быть «познан», тем самым ориенталистские отношения и мотивы превращаются в неизбежную принадлежность любого человека, сформированного европейской культурой.

Каким образом определить ценность ориентализма как теоретической конструкции, особенно по отношению к России —

ведь российский контекст весьма отличается от того, в котором эта теория было первоначально задумана? Конечно, мы можем выявить примеры, которые вроде бы укладываются в общую тенденцию, как в случае с Остроумовым, но их недостаточно для того, чтобы поддержать универалистские притязания, на которых строится модель. У меня иной подход. Я полагаю, что валидность такой фундаментальной теории, как ориентализм Саида, доказывается не столько наличием подтверждающих ее фактов, сколько отсутствием фактов, ее опровергающих — аномалий, используя терминологию Томаса Куна⁶. Поэтому наиболее значимыми и продуктивными являются именно те данные, которые «не соответствуют» общей картине. Аномалии побуждают нас к дальнейшему размышлению, переосмыслению выдвинутых гипотез и, если необходимо, к отказу от наших теоретических конструкций. Именно в этом духе я и задумывал свою статью. Я не пытался построить позитивную модель «истинного» русского ориентализма. Это был, скорее, интеллектуальный эксперимент, где идеи и опыт Григорьева были противопоставлены универалистским претензиям ориентализма и были расценены как аномальные. Моя цель состояла не в том, чтобы представить некое неопровержимое доказательство, способное избавить дисциплину от империалистических «контаминаций», а скорее показать, что в некоторых случаях возможны другие объяснения.

Конечно, отдельные несоответствия едва ли смогут разрушить всю теорию, но поскольку таких аномалий накапливается все больше, возникает потребность пересмотра парадигмы. Поэтому любопытным является тот факт, что, пытаясь оспорить правомерность обсуждения примера с Григорьевым, Халид указывает на то, что подобные аномалии отмечались многими другими критиками. То, что критики снова и снова возвращались к ориенталистам, которые «не вписывались в рамки», позволяет предположить, что, вероятно, проблематичным является сам способ, которым Саид прилагает мерку «ориенталиста» к отдельным личностям.

Если принять, что аномалии важны, все еще остается вопрос: насколько велика степень аномалии в случае с Григорьевым? Некоторые возражения Халида представляют особую важность и заслуживают внимательного рассмотрения.

Практика ориентализма

Несколько неожиданно было обнаружить, что Адиб Халид является пылким защитником парадигмы ориентализма. В своем замечательном исследовании джадидизма в Средней Азии Халид предлагает детально разработанный подход к определению роли индивидуума в производстве культуры. Опираясь на точку зрения Пьера Бурдьё, Халид предлагает перенести внимание со структур, диктующих «правила общества», на то, как социальные агенты разворачивают свои стратегии действия, основываясь на «логике практики», почерпнутой из собственного опыта. Халид утверждает, что перенесение внимания со структур на практические методы, при учете ограничений, которые налагают структуры, позволяет нам «видеть индивидуума как агента, активно заключающего сделки с социальным миром, а не как простого актера, который разыгрывает сценарий, продиктованный социальными структурами»⁷. Вооруженный теорией практики Бурдьё, Халид решительно отстаивает автономию культурного производства: мусульманская культурная элита, доказывает он, никоим образом сущностно не была замешана в структурах политической власти — союзы были возможны, но ни в коем случае это не происходило «само собой»⁸. Таким же образом джадидское движение было не просто идеологическим знаменем среднеазиатской буржуазии⁹.

Мой подход к русскому ориентализму весьма схож с методологией, которую Халид предлагает для изучения культурного производства в Средней Азии. Я попытался рассмотреть Григорьева как активного агента, чье поведение хотя и было сформировано под влиянием определенных ограничений и диспозиций, но все же не было предопределено четко установленным ориенталистским «сценарием». Моя цель состояла в том, чтобы найти ориентализму место в сфере практики, исследовать связь между знанием специалистов и имперской властью в определенном историческом контексте. Возможно, я упростил идеи Саида, перенес их из дедуктивного размышления в эмпирическую структуру. Но если использовать понятие ориентализма как инструмент исторического объяснения, то мне кажется, что такой перенос не только разумен, но и необходим.

Как и Халид, я признаю, что культурная и академическая элиты могут вступать в союз с государственной властью, но я не

верю, что такие союзы возникают автоматически, что имперская власть и производство знаний являются единым предприятием, где ни одна из сторон не может существовать без другой. Если такие союзы существуют, утверждаю я, то их существование следует продемонстрировать с использованием стандартных методов исторического свидетельства и анализа. Очевидно, Халид воспринимает эти методологические требования как «грубый инструментализм». Тем не менее, мне кажется, что это — просто хорошие навыки практической работы историка.

Основываясь на этом предположении, в своем исследовании пребывания Григорьева в Оренбурге я обнаружил, что он не добился большого успеха в оказании существенного влияния на имперскую политику. Я полагаю, что власть, которой он обладал, в большей степени основывалась не на его знаниях как специалиста, а на его выдающихся административных способностях — редком и ценном достоинстве в пограничных областях. Однако Халид предполагает, что желание Григорьева использовать свою власть и влияние перевешивает отсутствие успеха. Этот аргумент заставляет вспомнить рассказ Халида о том, как один шейх пошел к хану Коканда, чтобы продемонстрировать свои чудодейственные умения и, без сомнения, также в надежде получить власть и влияние. Хан бросил его в пруд и забил до смерти¹⁰. Недруг Григорьева, генерал Безак, не прибегал к таким жестоким методам, но, в конечном счете, столь же успешно отвергал непрошенные советы. В обоих случаях существенную роль играет контекст. Другой хан или другой генерал, возможно, оказались бы более восприимчивы к мнению «эксперта», но их поведение никоим образом не предопределяется дискурсивными структурами.

Вопрос состоит не в том, представлялся ли Халиду, что русский ориентализм был автономным от государства или не был таковым. Проблема, скорее, состоит в восприимчивости государства, в способности научных дисциплин — в силу их владения специализированным знанием — формировать концептуальные и практические проявления государственной власти. В контексте российского самодержавия с присущим ему агрессивным стремлением сохранить исключительные права инициировать и осуществлять политику, уровень его восприимчивости был, я бы сказал, относительно низким, и эта восприимчивость носила скорее эпизодический, нежели системный характер¹¹. Государство определяло свои

действия и политику независимо от какой-либо корпоративной воли академического востоковедения (если бы такое явление существовало и его можно было так назвать), и если даже ученые и участвовали в формировании государственной политики, то это происходило по инициативе государства и на его условиях.

Сторонник воззрений Саида, без сомнения, сказал бы, что такое рассуждение равнозначно тому, чтобы за деревьями не видеть леса, что ученый, чтобы быть «вовлеченным» в имперское правление, фактически и не должен непосредственно в нем участвовать. Ученый вовлекается в дихотомизацию и, следовательно, маргинализацию сложной человеческой действительности уже просто на основании того, что он участвует в интеллектуальном предприятии, которое взяло на себя задачу производства знаний о некоем явлении, известном под названием «Восток». Поэтому ученый несет моральную ответственность за страдания поработанных «Других» в такой же степени, как если бы он послал отряды в сражение¹². Но это метафизика: получается, что разум, вне любой наглядной исторической причинно-следственной связи, действует как инструмент насилия и притеснения. Вопрос о том, каким же образом ориентализм функционирует на практике, остается открытым.

Ориентализм, народность и раса

Понятие народности было дорого сердцу Василия Васильевича Григорьева. Его видение академического востоковедения было неотделимо от поиска самобытности — национальной уникальности России. Однако Халид предлагает не рассматривать русских националистов типа Григорьева слишком буквально. Вне зависимости от того, насколько рьяно Григорьев проповедовал национальную уникальность России, он хорошо знал, что, когда дело касалось отношений с «Востоком», Россия становилась до мозга костей европейской страной. Более того, Халид утверждает, что сама идея о национальной уникальности России была немецким романтизмом «второй свежести», следовательно, она по самой своей сущности была европейской.

Этот аргумент Халида о связи с романтизмом иллюстрирует один из наиболее иронических аспектов работы Саида об ориен-

тализме — тенденцию к эссенциализации тех самых сущностей, которые он пытается деконструировать. Следуя логике Халида, все крупные националисты XX столетия, выступавшие против колониального господства — от Ганди до Насера и Хо Ши Мина, — фактически были европейцами, так как они определяли свои политические цели в соответствии с европейской идеологией национализма. К таким нелепостям приводит любая попытка привязать какую-либо систему идей или комплекс знаний к единственной эссенциализированной идентичности. Но важнее здесь то, что Халид выдвигает ложную дихотомию: Россия должна или полностью быть европейской, или вообще не быть европейской. Если понятие уникальности России — исторический миф, то, значит, мифом является также и идея, что Россия — это просто еще одна европейская империалистическая держава. Если Халид серьезно относится к развенчанию понятий «Восток» и «Запад», то нет лучшего способа начать такое развенчание, чем признать, что Россия одновременно является частью Европы и не являлась таковой. Принятие идеи об особенностях России (в отличие от идеи ее уникальности или отнесения ее полностью к Европе) помогает объяснить многое в том, как русские видели себя и свои отношения с «Другими», которые не являлись при этом европейцами. Важность, которую русские придавали своему присутствию в Азии, описывая его как «цивилизующую миссию», была, как замечает Халид, результатом их «безответных отношений» к Европе. Но есть и еще кое-что, дополняющее картину. Наряду с ориенталистскими тропами, описывающими Восток в терминах отсталости и беспомощности, в идее о том, что Россия является носителем просвещения, зачастую можно было обнаружить и нотки «оксидентализма». Мало того, что Россия несла народам Востока порядок и цивилизацию, утверждали националисты, — она к тому же делала это лучше, чем Англия, Франция и другие колониальные державы. Там, где западные державы преследовали свои имперские амбиции с кровожадным азартом, не позволяя никаким моральным соображениям вставать на пути их хищнических инстинктов, Россия несла миру более добрый, более мягкий империализм, руководствуясь интересами благополучия покоренных народов¹. Таким образом, даже если Россия и несла на Восток плоды цивилизации (что понималось в позитивистских терминах, как универсальные ценности), она

дистанцировалась от источника этих плодов — Запада. В этом отношении мой образ «неуклюжего треугольника» — Запада, России и Востока — весьма уместен, так как это тот самый случай, когда, чтобы узаконить положение России как империалистической державы особого рода, одновременно вступали в действие как оксиденталистские, так и ориенталистские тропы¹⁴.

Пример России хорошо иллюстрирует непостоянный, меняющийся характер границы между Востоком и Западом, которую можно теперь рассматривать «скорее как некий проект, чем как реальное место»¹⁵. Но в чем проявляется сущность ориентализма — в том способе, которым мы определяем границу между Востоком и Западом, или в самом факте поиска такой границы? Фактически Саид пробует рассмотреть обе эти возможности. И в последнюю очередь — рассмотреть ориентализм как «стиль мысли», сопровождающий любую попытку говорить о «Востоке» как таковом. Но Саид также рассматривает ориентализм как специфический способ, с помощью которого Запад создает свои представления о Востоке, как «систему знаний», включающую в себя и содержание этих представлений, и процесс их создания. Что же тогда представляет собой содержание? Халид утверждает, что для Саида граница между Востоком и Западом — в большей степени цивилизационная, чем расовая. Однако полностью отделять ориентализм от расовой идеологии я бы не спешил. Утверждая наличие устойчивого ядра ориенталистского знания, которое он называет «скрытый ориентализм», Саид очень близок к тому, чтобы включить расизм в число неотъемлемых компонентов ориенталистского мышления. Скрытый ориентализм, утверждает Саид, — это несокрушимо твердый набор суждений о Востоке, «единство, стабильность и продолжительное существование [которых] являются более или менее постоянными»¹⁶. Это больше, чем просто «ориентализация». Скрытый ориентализм — это блок позитивного знания, скорее содержание, чем форма, которая пронизывает все размышления жителей Запада о Востоке. Вернее, скрытый ориентализм принимает самые разнообразные формы выражения, но его сердцевиной остается неизменное восприятие Востока и его жителей в терминах пассивности, стагнации, инертности. «За Востоком и обитателями Востока, — пишет Саид, — отрицается сама возможность развития, изменения, человеческого движения в самом глубоком

смысле этого слова»¹⁷. Другими словами, быть жителем Востока означает, с точки зрения ориенталиста, быть по своей природе существом более низкого порядка, совершенно неспособным к положительным изменениям, ни как индивид, ни как часть «нации». Можно спорить о том, надо ли считать положение скрытого ориентализма о природной неполноценности жителей Востока необходимым атрибутом расистской идеологии, но ведь очевидно, что обе теории объединяет убеждение об онтологических ограничениях способности индивидуумов к развитию.

Разложив по полочкам некоторые сложные места аргументации Саида, теперь можно вернуться к В.В. Григорьеву. Если для того, чтобы считать Григорьева воплощением ориентализма, достаточно просто констатировать его привычку при случае упоминать «Азию» и «азиатов», то больше говорить почти не о чем. Но если принять за критерий оценки некоторые более определенные формулировки Саида, особенно идею о скрытом ориентализме, то обращают на себя внимание некоторые явные аномалии. Григорьев, например, полностью отвергал идею о природной ограниченности способности «азиатов» к развитию¹⁸. Напрямую его замечания были направлены против расовой теории, но это в равной степени означало и отвержение идеи о природной неполноценности, присущей «скрытому ориентализму».

Я уже говорил (в статье в журнале *Slavic Review*), что тот факт, что Григорьев выступал за развитие образования среди казахских кочевников, также входит в противоречие с концепцией Саида. Однако Халид выдвигает существенное возражение, утверждая, что деление Восток/Запад является скорее цивилизационным, чем расовым. Если дело обстоит именно так, то следует ожидать, что жители Востока, желающие избавиться от своего низкого происхождения и влиться в состав западной цивилизации, раньше прочих могли надеяться вступить на путь умственного и духовного развития. Но позиция Григорьева сильно отличается от этой формулы, поскольку он не ожидал и не требовал, чтобы казахи отказались от своей родной культуры во имя развития. Напротив, в рамках представлений о «народности как органическом целом», которые с 1830-х годов определяли мировоззрение Григорьева, индивидуум мог духовно и интеллектуально реализоваться только как часть своей нации, а нация могла продвигаться вперед только при условии

сохранения своей культурной самобытности¹⁹. Это убеждение он в такой же мере применял к казахам, сколь и к самим русским²⁰.

Но если, по мнению Григорьева, простая принадлежность к «азиатской» национальности не была препятствием для прогресса, то как обстояло дело с исламом? Так, Роберт Джераси выявил в правительственных и миссионерских кругах наличие распространенного представления, что ислам «органически враждебен образованию». К 1910 году правительственные специалисты были готовы к тому, чтобы устранить все светское образование в исламских школах по, казалось бы, противоречивым причинам: с одной стороны, ими руководило убеждение, что мусульмане неспособны учиться, а с другой — боязнь того, что может случиться, если они все-таки станут учиться²¹. Несомненно, Григорьев был враждебно настроен к исламу. Он надеялся, что благодаря образованию и развитию местных учреждений казахи отвернутся от «татаро-мусульманского» влияния и приблизятся к «российской цивилизации». Все же его план создания казахских школ включал исламское религиозное образование, так что будет трудно утверждать, что он считал ислам во всех его формах естественным препятствием на пути образования²². Ислам был фактом жизни. Григорьев считал, что правительство не должно поощрять эту веру, но при этом оно не должно и пытаться устранять ее²³.

Ориентализм в России: опасности и возможности

Проблемы, которые я поднял выше и в статье о Григорьеве в журнале *Slavic Review*, должны проиллюстрировать некоторые трудности, которые возникают при попытке применить понятие «ориентализм» в российском контексте. Однако это не означает, что для историков России сама эта идея является совершенно бесполезной. Вполне очевидно, что в спорах вокруг ориентализма выявились очень важные проблемы, которые заслуживают более полного исследования. В то же время работа Саида может служить примером тех подводных камней, которых следует избегать при обсуждении отношений России с азиатскими «Другими».

Полностью отделять Россию от европейского «ориенталистского» дискурса было бы тенденциозно и неправильно. Работы

самого Григорьева совершенно явным образом опираются на обширный и глубоко укоренившийся набор культурных стереотипов (который мы могли бы назвать ориенталистским дискурсом), вращающихся вокруг понятий «Азия» и «азиатский». Как и на Западе, ориенталистский дискурс в России основывается на предположении о своем культурном превосходстве и пронизан целым веером различных словесных штампов, обозначающих инертность, деспотизм, непорядочность и развратность «Других» — азиатов. Этот дискурс заслуживает отдельного исследования, и я бы с энтузиазмом поддержал призыв Халида к дальнейшему исследованию понятия «Восток» в русской культуре.

Но хотя ориенталистский дискурс со всей очевидностью присутствует в русской культуре, его не стоит рассматривать в той тоталитарной манере, которую предлагает Саид. В заключение этого эссе я хочу предложить и обсудить пять различных способов, которые могли бы сделать наш анализ российского восприятия Азии более гибким и продуктивным.

1. *Ориенталистский дискурс необходимо поместить в историческую перспективу.* Модель Саида, описывающая стабильный и связный дискурс, восходящий к древним грекам, в любом случае вызывает много вопросов, а в случае с Россией вообще не представляет никакой ценности. Ориенталистский дискурс мог и должен был претерпевать большие изменения. Например, видение Востока в эпоху Просвещения существенно отличалось от восприятия его в конце XIX века, и эти перемены следует очень тщательно проследить²⁴.

2. *Ориенталистский дискурс не должен автоматически приравниваться к востоковедению.* Конечно, ученый, как и любой другой человек, находится под влиянием культурного, политического и профессионального контекста, в котором ему приходится действовать. Но переплавить все эти контекстуальные составляющие в единый всеобъемлющий дискурс, обладающий абсолютной детерминирующей мощью — позиция крайняя, способная вызвать тревогу у каждого, кто занимается наукой. С этих позиций научное знание само по себе не имеет никакого значения и его можно интерпретировать лишь с точки зрения «интересов», которые за ним стоят. Я считаю, что гораздо более продуктивно рассматривать ориенталистский дискурс и научное изучение Востока как

отдельные явления, вовлеченные в сложные и динамичные структуры взаимодействия. Ориенталистский дискурс может найти отражение в востоковедении и в отдельных случаях быть им востребован. Но ориентализм нельзя рассматривать как конституирующий стержень этой дисциплины²⁵.

Следует также обратить внимание на внутреннюю логику востоковедения. Саид определяет ориентализм как «стиль мышления», основанный на различии «Востока» и «Запада». Но я бы сказал, что большинство ученых-практиков в сфере *востоковедения* определяют себя в терминах предмета своих исследований — тюркологи, синологи, индологи, арабисты, иранисты или как специалисты по буддизму, исламу, шаманизму и так далее. Глобальная дихотомия Запад/Восток сыграла малую роль (если вообще сыграла какую-то) в реальном научном производстве, в то время как термин «Восток» продолжал существовать в названии дисциплины скорее по традиции или для институционального удобства²⁶. «Востоковедение» само по себе мало походит на «ориентализм», как его описывает Халид: поле его исследований было гораздо шире, чем только «образованные общества Старого Света» (не следует забывать об интенсивной работе этнографов!), и оно вовсе не было изолировано от теоретических изысканий более широкого масштаба²⁷.

Но если даже ученые и принимали участие в создании ориенталистского дискурса, то мы не должны полагать, что знания, полученные в результате их работы, оставались навсегда привязанными к своему первоначальному контексту. Как указывает Дэвид Луддинс, говоря о примере Индии, сама идеология науки предполагала восприятие востоковедения как «набора утверждений о существовавшей реальности, основанных на фактах и познаваемых вне зависимости от субъективной воли колонизаторов». Эпистемологически отделенное от колониального контекста, востоковедческое знание «плавало далеко от своего порта приписки» и становилось доступным для использования с различными политическими целями, в том числе — с 1900-х годов — и в целях борьбы с Британской империей за национальную независимость²⁸. В российском контексте мы могли бы отметить, что евразийцы, которые, как указывает Николай Рязановский, решительно отмежевались от преобладавшей в России модели восприятия Востока, опирались на давние традиции востоковедческой учености, чтобы

показать всю сложность и запутанность взаимоотношений между Россией и ее азиатскими соседями».

3. *Ориенталистский дискурс нельзя рассматривать как единственный показатель идентичности.* Вероятно, самым большим вкладом «Ориентализма» Саида в развитие науки является то, что ему удалось привлечь внимание к роли дихотомии в словесной артикуляции идентичности. Саид убедительно доказывает, что представления о Востоке сыграли ключевую роль в становлении идеи о том, что Европа является «Западом». Но, несмотря на всю важность дихотомии Восток/Запад, нам не следует забывать, что существуют и другие дихотомии, которые могут играть важную роль в формировании идентичности. Свой и чужой, благородный и простой, мужской и женский, городской и сельский, кочевой и оседлый, образованный и невежественный, прогрессивный и реакционный — все эти дихотомии, как и многие другие, функционировали в Российской империи одновременно, и они далеко не всегда совпадали с делением на Запад и Восток. И каждая дихотомия рождалась из своего собственного дискурса, который сложными и часто нелогичными путями пересекался и взаимодействовал с другими дискурсами. В случае с Григорьевым примером такого рода взаимодействий являются перегруженность его работ ориенталистскими штампами, с одной стороны, и его рассуждения об органической природе народности — с другой. Особенно важными являются в этом отношении исследования по региональной истории, поскольку они позволяют нам увидеть различные способы переплетения дискурсов сходства и различий⁹⁰. Отдавая, подобно Саиду, абсолютное предпочтение дихотомии Восток/Запад, мы рискуем не заметить, что наряду с силами жестокого господства и угнетения всегда существовало множество возможностей для взаимодействия и приспособления⁹¹.

4. *Нельзя рассматривать «ориентализацию» как исключительно западную практику.* Конечно, не Саид обнаружил, что мы определяем мир вокруг нас с помощью бинарных оппозиций. Эта идея была центральной для французского структурализма, на становление которого, в свою очередь, повлияли работы Якобсона, Трубецкого и Пражской лингвистической школы⁹². Поиски интеллектуальных корней идеи «ориентализации» позволяют нам внести значительные коррективы в схему Саида. Вместо того чтобы рассматривать «ориентализацию» исключительно как процесс запад-

ного культурного господства, мы можем посмотреть на это явление более широко, в традициях Яacobсона и Трубецкого, и увидеть в ней основополагающий инструмент человеческого познания. Каждое общество имеет свой образ «Другого». Каждая культура описывает группы, существующие вокруг нее, в более или менее обобщающих терминах, сформулированных как противоположность представлениям этой культуры о себе самой¹³. Концепция «ориентализмов-матрешек» (*nesting orientalisms*), которую благосклонно упоминает Халид, конечно, представляет собой полезное усовершенствование схемы Саида, но все-таки тоже не выглядит достаточно гибкой: «Восток» со всем тем, что с ним ассоциируется, продолжает оставаться центральным объектом маргинализации¹⁴. В этом отношении более продуктивным кажется утверждение Марии Тодоровой о том, что «балканизм» представляет собой особый дискурс «инаковости» — а не просто «разновидность ориентализма»¹⁵. Выход за рамки всеобъемлющей дихотомии Восток/Запад поможет нам увидеть, как действует бинарное мышление при определении идентичности в более широком кругу культурных обстановок.

5. Понятие «ориентализм» не должно закрывать возможности для получения достоверных знаний и значимой межкультурной коммуникации. Основным компонентом теории Саида является идея о том, что ориенталистское знание — это мираж, собрание репрезентаций, которые заменяют отражаемую ими сложную реальность. Как замечает Айяз Ахмад, Саид подчеркивает, что «европейцы онтологически не способны производить какие-либо истинные знания о не-Европе»¹⁶. Результатом такой модели является возведение эпистемологической ограждающей стены вокруг Востока, сущностью которого теперь становится «то, чего мы не можем познать». Естественно, такая позиция порождает парадоксы и противоречия. Взять хотя бы пример из книги Халида о том, как яростно джаиды выступали против практики педерастии в Средней Азии¹⁷. Но те же самые критические выступления, исходившие из уст русского, расценивались бы как изначально фальшивые или, в лучшем случае, как проекция западных эротических фантазий на бессловесного и пассивного «Другого». За этими парадоксами лежит гораздо более глубокий вопрос о самой природе репрезентаций. Для Саида репрезентация, в сущности, является синонимом искажения — и если он вообще проводит различия между ними, то

дело лишь в их степени. Одной из причин искажений является сам процесс использования языка. «Истины, — утверждает Саид, цитируя Ницше, — это иллюзии, о которых забыли, что они таковыми являются»³⁸. Но репрезентации, настаивает Саид, это нечто большее, чем простые искажения. Это инструменты, которые служат особым целям, предопределенным той культурой, институтами и политическим окружением, которыми они были порождены³⁹.

Аргументация Саида вызывает тревогу. Со страниц «Ориентализма» вырастает мрачное и нигилистическое видение профессии ученого. Если истинное знание — только иллюзия, то все научные изыскания сводятся к циничной игре, в которую играют в соответствии с тайными правилами, где объект изучения становится простой бутафорской куклой, которой манипулируют возвеличивающие себя ученые, соревнующиеся в том, чтобы наиболее полно угодить требованиям времени. Отрицается сама возможность понимать другие культуры, глубоко и сочувственно проникаться ценностями и традициями «Других», поскольку это воспринимается или как наивное заблуждение, или как злонамеренный обман. Все знание и поведение людей Запада в отношении «Других» с Востока, вне зависимости от того, насколько нейтральными они кажутся на первый взгляд, в соответствии со схемой Саида неизбежно должны порождаться патологическим желанием господствовать.

У ученых российского и евразийских обществ есть своя, особая причина опасаться эпистемологического нигилизма Саида. Халид мимоходом отмечает, что в «советологии» легко увидеть вариант ориентализма, и здесь он абсолютно прав. Если разделение на Запад и Восток было величайшей дихотомией, формировавшей видение мира в XIX — начале XX века, то в более близкие к нам времена столь же драматическую роль сыграла пропасть между «свободным миром» и «коммунистической Россией». И исследования России представляли собой не что иное, как «корпоративное учреждение», работающее над проблемами России с целью превратить «загадку под покровом тайны» в нечто известное, управляемое, доступное пониманию и предсказуемое для политиков и тому подобной публики. Более того, мы не можем прятаться за удобным утверждением, что в этой практике замешаны только те ученые, чья работа является «актуальной» — кремленологи, занятые подсчетом боеголовок специалисты по вооружениям, экс-

перты по национальным вопросам и прочие гуру от политики. Следуя логике Саида, мы все так или иначе в этом замешаны, изучаем ли мы средневековую иконографию, пушкинские метафоры, полотна символистов, столыпинские реформы или повседневную жизнь в сталинской России. Критик, вооруженный ориенталистской теорией, легко сумеет интерпретировать интеллектуальную продукцию нашего поля исследований как простой эпифеномен маргинализирующей структуры господства.

Даже если оставить в стороне то чувство личного оскорбления, которое мы можем испытать в качестве потенциальных объектов редуктивной теоретической схемы, следует отметить, что модель Саида перечеркивает многие основополагающие ценности, определяющие сферу наших занятий. Будучи учеными, которые посвятили себя исследованию России и Российской империи, мы исходим из базового предположения, что мы *можем* познать «Другого». Может быть, наше знание не будет совершенным или абсолютным, но, подобно тому, как речь с акцентом не исключает возможности осуществлять значимую коммуникацию, так и наша позиция внешних наблюдателей не мешает нам производить значимое и верифицируемое знание. Упрощение, эссенциализация и маргинализация — это вечные ловушки, расставленные на нашем поле исследований с присущим ему стремлением определить, что же представляет собой «русская душа». Даже если ориентализм не имеет никакой другой ценности, дискуссии вокруг ориентализма бесценны уже потому, что они привлекли внимание именно к этим опасностям.

Дилеммы «Другого» не предполагают легких решений. Отрицание эссенциализированных категорий идентичности может легко привести к столь же крайнему решению — отрицанию самой идеи культурных различий, что само по себе является коварной формой неоимпериализма: все в основе своей одинаковы, поэтому каждый похож на нас. Самое лучшее, что мы можем сделать, — это приучить себя ценить сложность и избегать всеобъемлющих обобщенных схем, которые подчиняют различия отдельных людей и культур детерминирующей силе «дискурса»⁴⁰. Критикуя Саида, я и пытался привлечь внимание к этим опасностям. Мои критические замечания не новы и не уникальны. Но в контексте нашей области исследования эти дискуссионные вопросы требуют дополнительного обсуждения.

Примечания

1 Статья, ставшая предметом дебатов: *Knight N. Grigor'ev in Orenburg, 1851 - 1862: Russian Orientalism in the Service of Empire?* // *Slavic Review*. 2000. Vol. 59. № 1. P. 74 - 100.

2 *Said E.W. Orientalism*. N.Y.: Vintage Books, 1979.

3 См., например: *Clifford J. On Orientalism* // Clifford J. *The Predicament of Culture: Twentieth-Century Ethnography, Literature and Art*. Cambridge: Harvard University Press, 1988. P. 255 - 276; *Ahmad A. Orientalism and After: Ambivalence and Metropolitan Location in the World of Edward Said* // Ahmad A. *In Theory: Classes, Nations, Literature*. London; N.Y.: Verso, 1992. P. 159 - 219; *Orientalism and the Postcolonial Predicament: Perspectives of South Asia* / Ed. by Carol A. Breckenridge, Peter van der Veer. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1993; *Figueira D.M. Oriental Despotism and Despotic Orientalism* // *Anthropology and the German Enlightenment: Perspectives on Humanity* / Ed. by Katherine M. Faull. Lewisburg: Bucknell University Press, 1995. P. 182 - 199; *Perloff M. Tolerance and Taboo: Modernist Primitivisms and Postmodernist Pieties* // *Prehistories of the Future: the Primitivist Project and the Culture of Modernism* / Ed. by Elazar Barkan, Ronald Bush. Stanford: Stanford University Press, 1995. P. 339 - 354. См. также краткие, но острые комментарии Джорджа Маркуса и Майкла Фишера: *Marcus G., Fischer M. Anthropology as Cultural Critique: An Experimental Moment in the Human Sciences*. Chicago: University of Chicago Press, 1986. P. 1 - 2.

4 *Said E.W. Op. cit.* P. 2 - 6.

5 *Ibid.* P. 6.

6 *Kuhn T. The Structure of Scientific Revolutions*. Chicago: University of Chicago Press, 1970 [Кун Т. Структура научных революций. М., 2002].

7 *Khalid A. The Politics of Muslim Cultural Reform: Jadidism in Central Asia*. Berkeley: University of California Press, 1998. P. 6.

8 *Ibid.* P. 37 - 39.

9 *Ibid.* P. 220.

10 *Ibid.* P. 39 - 40. Точнее говоря, шейх упал в пруд, переходя его по канату по приказу хана.

11 Эти проблемы становятся предметом более подробного обсуждения в работе Лоры Энгельштейн: *Engelstein L. Combined Underdevelopment: Discipline and the Law in Imperial and Soviet Russia* // *American Historical Review*. 1993. Vol. 98. № 2. P. 338 - 353 [Энгельштейн Л. «Комбинированная» неразвитость: дисциплина и право в царской и советской России // Новое литературное обозрение. 2001. № 49. С. 31 - 49].

12 На примере этого рассуждения мы можем наблюдать, как возможность лавировать между различными определениями ориентализма дает в руки участнику полемики необычайно гибкое полемическое оружие. Говоря о тех ученых, чьи идеи, на первый взгляд, представляли собой явное

расхождение со стандартным набором ориенталистских «истин» (с ориентализмом как «системой знания»), Саид отступает на позиции восприятия ориентализма как «стиля мысли». Согласно такой логике, любые утверждения о «Востоке», или «исламе», или «арабской культуре», вне зависимости от их содержания, по определению являются составной частью «ориентализма» и, следовательно, соучаствуют в самых худших его проявлениях. См., например, высказывания Саида о работах Луи Массиньона (Louis Massignon) и Гамильтона Джибба (Hamilton Gibb). Несмотря на то, что эти ученые предложили комплексную и сочувственную оценку ислама (что Саид и не пытается оспаривать), оба они показаны в работе Саида как типичные представители классической традиции ориентализма — в значительной степени на основании лишь того факта, что они оба считали себя вправе высказывать что-либо об исламе. См.: *Said E.W. Op. cit.* P. 255–284.

13 Хороший пример такой риторики см.: Семенов | Тян-Шанский | П.П. Обзорение Амура в физико-географическом отношении // Вестник Императорского русского географического общества. 1855. Т. 15. № 6. С. 253–254. Цит. в работе: *Bassin M. Imperial Visions: Nationalist Imagination and Geographical Expansion in the Russian Far East, 1840–1865.* Cambridge: Cambridge University Press, 1999. P. 203–205.

14 С точки зрения Средней Азии Россия, возможно, действительно казалась неотличимой от «Запада», но это скорее следует расценивать как проявление «национального дальтонизма» (по определению Уикса), чем как объективное восприятие статуса России. См.: *Weeks T.R. Nation and State in Late Imperial Russia: Nationalism and Russification on the Western Frontier, 1863–1914.* DeKalb, IL: Northern Illinois University Press, 1996. P. 15–16.

15 *Bakic-Hayden M. Nesting Orientalisms: The Case of the Former Yugoslavia* // *Slavic Review*. 1995. Vol. 54. № 4. P. 917.

16 *Said E.W. Op. cit.* P. 206.

17 *Ibid.* P. 208.

18 *Knight N. Op. cit.* P. 95–97. Идеи Григорьева наиболее четко выражены в его статье: *Григорьев В.В. Из зауральской степи* // *День*. 1862. № 28. С. 5–7.

19 См.: *Григорьев В.В. О значении народности* // *Молва*. 1857. № 24.

20 Применение Григорьевым концепции «народности как органической целостности» к кочевым народам можно проследить на примере его статьи «О земледелии в Башкирии»; см.: *Веселовский Н.И. Василий Васильевич Григорьев по его письмам и трудам, 1816–1881.* СПб., 1887. С. 210–212.

21 *Geraci R. Russian Orientalism at an Impasse: Tsarist Educational Policy and the 1910 Conference on Islam* // *Russia's Orient...* P. 138–161. Джераси, характеризуя эту ситуацию как «ориентализм в тупике», следует

идеям Саида об отождествлении «Востока» с исламом и при описании ориентализма в терминологии тех индивидуумов, которые явно демонстрировали «ориенталистский» склад ума. Как показывает сам Джераси, диапазон мнений по вопросам ислама и образования в академических кругах был намного разнообразнее, а сами эти мнения — намного взвешеннее, чем представления правительственных чиновников и миссионеров, взгляды которых и оказались «тупиковыми».

22 | Григорьев В.В. | Открытие киргизской школы в Троицке // Северная пчела. 1861. № 241. С. 2.

23 О том, какую политику в отношении ислама предлагал проводить Григорьев, см.: Веселовский Н.И. Указ. соч. С. 207–208.

24 См.: *Figueira D.M.* Op. cit. P. 191–195.

25 Замечательное теоретическое размышление об отношениях между наукой и культурой см.: *Lenoir T.* Instituting Science: the Cultural Production of Scientific Disciplines. Stanford: Stanford University Press, 1997. P. 1–21. О склонности Саида смешивать дискурс в том значении, которое придает этому термину Фуко, с интеллектуальной традицией см.: *Clifford J.* Op. cit. P. 266–271.

26 Наблюдение Халида относительно переименования журнала «Народы Азии и Африки» в «Восток/Oriens» достаточно интересно, но я весьма сомневаюсь, можно ли это считать доказательством того, «что этот журнал видит свое место на „лицевой“ стороне цивилизации». Наверняка в этом случае можно найти более приземленное объяснение; когда мы не располагаем прямыми свидетельствами, реконструировать возможную мотивацию следует осторожнее.

27 Возможный спектр научных интересов востоковедения можно оценить на примере научной карьеры Василия Васильевича Радлова. См. статью о нем: Библиографический словарь отечественных тюркологов: дооктябрьский период / Под ред. А.Н. Кононова. М., 1989. С. 194–198.

28 *Ludden D.* Orientalist Empiricism: Transformations of Colonial Knowledge // *Orientalism and the Postcolonial Predicament...* P. 252.

29 *Riasanovsky N.* Asia through Russian Eyes // *Russia and Asia: Essays on the influence of Russia on the Asian People* / Ed. by Wayne Vucinich. Stanford: Hoover Institute Press, 1972. P. 26–27. Значительным вкладом в эту научную традицию стали собственные научные труды Григорьева, который всегда в особенности интересовался историческими связями между Россией и Азией. См.: Григорьев В.В. Россия и Азия: Сборник исследований и статей по истории, этнографии и географии, написанных в разное время В.В. Григорьевым. СПб., 1876.

30 Предпринятое Халидом исследование по истории джадидов в Средней Азии — только одно из серии недавних блестящих локальных исследований русского империализма. См. также недавние работы следую-

щих ученых: Томаса Барретта (Thomas Barrett), Пола Верта (Paul Werth), Вилларда Сандерленда (Willard Sunderland), Роберта Джераси (Robert Geraci), Николаса Брейфоля (Nicholas Breyfogle), Линды Парк (Lynda Park), Чарльза Стейнведеля (Charles Steinwedel), Теодора Уикса (Theodore Weeks), Юрия Слэзкина (Yuri Slezkine).

31 Продуктивное обсуждение этой проблемы см.: *Lazzerini E.J. Local Accommodation and Resistance to Colonialism in Nineteenth-Century Crimea // Russia's Orient... P. 169–187.*

32 *Lüvi-Strauss C. Structural Analysis in Linguistics and in Anthropology // Structural Anthropology. N.Y.: Basic Books, 1963. P. 31–54.*

33 Моя точка зрения в этом вопросе чрезвычайно близка позиции Джеймса Кэрриера: *Carrier J. Occidentalism: World Turned Upside-Down // American Ethnologist. 1992. Vol. 19. № 2. P. 195–213.*

34 *Bakix-Hayden M. Op. cit. P. 920–921.*

35 *Todorova M. The Balkans: From Discovery to Invention // Slavic Review. 1994. Vol. 53. № 2. P. 453–482.* Понятие «субальтерн» – «подчиненный» (и особенно «локальные субальтерны») – тоже представляется мне многообещающим, поскольку оно обозначает состояние подчинения, не вызывая ассоциаций с рассекающей весь мир линией, отделяющей «маргиналов» от «нормального» варианта развития. См.: *Lazzerini E.J. Op. cit. P. 75–76.*

36 *Ahmad A. Op. cit. P. 178*

37 *Khalid A. Op. cit. P. 145–146.*

38 *Said E.W. Op. cit. P. 203.* Ради справедливости необходимо отметить двойственное и даже запутанное отношение Саида к этому вопросу. Саид колеблется между ницшеанским представлением об истине как дискурсивной конструкции, с одной стороны, и гуманистической верой в объективную реальность, которую можно правдоподобно отразить, – с другой; отсюда и его заявления о том, что Запад неверно представляет Восток. Фактически Саиду для поддержки его аргументации в равной степени необходимы обе эти позиции, несмотря на их несовместимость. По этому вопросу см.: *Grewgious. Used Books: "Orientalism" by Edward Said // Critical Quarterly. 1994. Vol. 36. № 4. P. 87–98.*

39 *Said E.W. Op. cit. P. 272–273; Ahmad A. Op. cit. P. 193–194.*

40 По иронии судьбы, я практически в точности воспроизвожу здесь идею приоритетной значимости человеческого опыта – самую страстную и заветную цель Саида. См.: *Said E.W. Op. cit. P. 328.* Но, осуждая дегуманизирующий эссенциализм ориенталистского дискурса, Саид сам не может избежать этого эффекта.

МАРИЯ ТОДОРОВА

Есть ли русская душа у русского ориентализма?
Дополнение к спору Натаниэля Найта
и Адиба Халида

За полемикой Адиба Халида и Натаниэля Найта маячит один большой вопрос, вечный вопрос русской истории: насколько уникальной является Россия? Насколько применимы общие исторические категории и модели (особенно те, что были созданы и универсализированы на основе западноевропейского опыта) к российскому случаю? Ответ Халида на этот вопрос однозначен: уникальность России — это миф, который накладывает серьезные ограничения на ее историографию. Эту ограниченность можно преодолеть лишь единственным способом — использованием подходов, которые «размывают историческую специфику России».

Методологическую возможность такого подхода Халид находит в «Ориентализме» Саида. С другой стороны, Найт, хотя и старательно отбрасывая словесные тропы уникальности России, основывает свой подход на идее «особенностей» России, представляя это как среднюю позицию между Сциллой уникальности и Харибдой общеевропейского или универсалистского подхода. Мне кажется, что, совершенно независимо от Саида, именно здесь кроется основное различие (оптическое или философское) между позициями этих двух авторов. Различные интерпретации Саида и различное понимание того, стоит ли и как именно стоит применять его идеи, являются лишь следствиями этого фундаментального несовпадения во взглядах. Поэтому я выскажусь по каждой из этих двух проблем отдельно.

«Особенности» против универсализма

Давайте вспомним, что на практике эпистемология — это применение эвристических средств, которые предлагают схемы, упорядочивающие мир так, чтобы нам можно было его понимать. С этой точки зрения никакие внутренне присущие им черты не позволяют отдать предпочтение ни универсалистскому, ни дистинктивному подходу. Судить о функциях и адекватности этих средств можно лишь применительно к определенному объекту исследования, а также по отношению к объяснительной модели, которую они поощряют. Халид очень ясно обозначил свои мотивы: только в рамках универсалистского подхода возможно использовать живые междисциплинарные связи, которые позволяют делать значимые кроссрегиональные сравнения, помогающие нам преодолеть «те ограничения историографии русской истории, которые она сама на себя накладывает». Ниша понятия «особенности», предложенного Найтом, намного ближе, чем ему самому бы хотелось, к подходу «уникальности»; однако он поднимает классическую и фундаментальную эпистемологическую проблему, с которой сталкивается любой универсализирующий дискурс. Не является ли этот дискурс, в конечном итоге, контрабандным способом навязывания гегемонистских категорий и моделей, превращения объектов изучения в варианты некоего исходного случая, возведенного в степень нормативной модели? Найт считает, что отвергать культурные различия означает впадать в «коварную форму неоимпериализма». Конечно, он в значительной степени прав, хотя есть некая ирония в том, чтобы слышать, как Найт, только что выступавший против повсеместного применения категории ориентализма, тут же описывает «империализм», всецело подпадающий под эту категорию. Но проблема, которую поднимает Найт, действительно существует.

Так или иначе, но это та проблема, с которой в определенные моменты своего развития сталкивались практически все незападноевропейские историографические традиции. Опираясь на мое собственное знание исследований, посвященных Восточной Европе и Османской империи, я могу отметить, что в этой области дискуссия подобного рода постоянно ведется по вопросу о периодизации. Другая подобная дискуссия непрерывно идет вокруг проблемы, является ли категория «феодализм», разработанная главным образом на

французском материале, общей категорией, пригодной для описания структур и отношений в Византийской и Османской империях, а также в средневековых обществах Балканского полуострова. Особенно под воздействием официальной марксистской доктрины (которая сама по себе была и европоцентричной, и универсалистской) появилась тенденция подводить все под стандартную модель, лишь мельком упоминая о локальных «отклонениях». Существовала вместе с тем и естественная склонность противиться официальной доктрине и фокусировать внимание на специфичности. Любопытно, но совершенно предсказуемо, что эти последние усилия совпадали с поиском аутентичности в националистической историографии. Конечно, проблема состояла в том, как выразить эти различия в словесной форме, и в большинстве случаев эту задачу решали с помощью введения специфически местных исторических категорий, настаивая на их принципиальной непереводаемости. Результатом такого вполне объяснимого эвристического сдвига стало появление герметически закрытой, часто рассчитанной на посвященных, замкнутой самой на себе аналитической практики, что в дальнейшем привело к еще большей маргинализации этих историографических традиций.

В то же самое время, как только эти историографические традиции попадали в сферу международного обмена историческими знаниями — в первую очередь в результате обобщающих проектов, исходящих, как правило, из западных академических учреждений, — то формировалось общее убеждение, что непереводаемые категории обозначают непереводаемые явления или институты. В дальнейшем это способствовало тому, что пространство за пределами Западной Европы стало восприниматься как экзотическое, а различия были возведены на степень сущностной несовместимости. Приведу один такой пример, взятый из опыта моих собственных исследований, — попытку обозначить различия в формах семьи в Европе. В этнографических описаниях многосемейной формы, так называемой «задруги» на юго-востоке Европы, свойственная XIX веку тенденция отыскивать уникальность имела своим результатом создание предельно общей схемы, обобщенного научного описания большой или расширенной семьи, в которое укладывались все прочие локальные европейские версии больших семей (*Grossfamilie*, *frèrèche*, *fratellanza*). Тем не менее, к задруге продолжали относиться как к уникальной (и преувеличенно уникальной) особенности

региона, которую невозможно было включить в общий научный дискурс. То же самое произошло и с русским понятием мир (крестьянская община). Нетрудно представить, как подобные конструкции из научного дискурса легко могли перейти на политическую арену¹.

Здесь нет легких решений, и, я боюсь, не дано и третьего пути. На каждом перекрестке необходимо тщательно взвешивать возможные потери и выгоды. Обобщающая идиома и в самом деле открывает перед нами поле исследований. Она служит необходимым и желательным стимулом, она является единственным посредником для настоящего компаративного исследования. Но за ее использование приходится платить свою цену. Ценой становится то, что Лотман называл семиотическим неравенством, а Грамши описал как культурную гегемонию. В равной степени подчеркивались и опасности использования подхода, стремящегося к выделению уникальности или «особенностей». Польза от него состоит в том, что объекту исследования изначально придается бóльшая когнитивная ценность, но такая интеллектуальная автаркия достается ценой изоляции и ограниченности. Методологические перегибы в одном направлении неизбежно вызывают ответное движение в другом направлении. Насколько я пытаюсь быть беспристрастной, настолько же я сама склоняюсь на сторону универалистской обобщающей идиомы (конечно, здесь моя предвзятость смягчается значительным опытом в изучении исторической специфики). В большой мере этому способствует состояние дел в моей области исследований, и я думаю, что это верно и для изучения России, где историография гораздо чаще становилась на сторону изучения специфики. Но также это может быть и следствием оптического эффекта — склонности некоторых людей более видеть сходства, нежели различия, и больше предаваться созданию больших компаративистских полотен, чем интроспективных портретов.

Наконец, трудно ожидать, что разрешение этой неустойчивой ситуации, этих колебаний между двумя эвристическими подходами, придет из недр самих научных дисциплин. Почву для возникновения этой дихотомии создала политическая конъюнктура. Начиная с XIX века дискуссия об «особом пути» Германии (*Sonderweg*) бурно развивалась в немецкой историографии параллельно с дебатами о возможности принятия Германии в европейское сообщество и адаптации в нем. Как только Германия на практике

стала частью Европы, схему немецкой истории перестали объяснять в терминах *Sonderweg*. Скорее, в последнее время преобладают интерпретации истории Германии не как отклонения от магистральной линии европейской истории, а как одной из разновидностей этого пути; чаще указывают на черты, роднящие немецкую историю с общеевропейской, одним словом, немецкую историю приводят в соответствие с «нормой»⁴. Словом, эта методологическая дилемма будет существовать до тех пор, пока отношения России с европейскими и мировыми институтами и ее место в них будут оставаться неопределенными, нестабильными или, по крайней мере, амбивалентными.

«Ориентализм» Саида и ориентализм в России

Получается, что именно через эту линзу преломляются мнения обоих участников дискуссии о работе Саида и возможности ее применения к изучению России. Для Халида труд Саида — один из многих полезных инструментов, позволяющих выработать более адекватное понимание России — как ее отношений с внешним миром, так и с самой имперской властью. Он не слишком глубоко вдается в некоторые недостатки подхода Саида, да ему этого и не нужно. Для Халида работа Саида представляет собой яркий критический очерк, раскрывающий механику того, как власть использует знания для расширения своего господства; Саид для него является скорее источником вдохновения, чем архитектором научной модели. Я полностью подписываюсь под этой точкой зрения. Тем не менее, я не могу согласиться со словами Халида, что «разделение Старого Света на Европу (Запад) и Азию (Восток) восходит своими корнями к грекам» и что «Восток всегда выполнял функцию „Другого“, в самопротивопоставлении которому Европа определяла собственную идентичность». В свое время много и убедительно критиковали попытки возвести появление этой дихотомии к античным временам; более того, европейская идентичность создавалась постепенно, шаг за шагом, в течение только последних двух столетий. По причинам, указанным выше (т.е. из-за факторов, лежащих за пределами научных дисциплин), я не разделяю и оптимизма Халида относительно того, что «как только мы

признаем всю искусственность понятий „Европа“ и „Запад“, а также „Азия“ и „Восток“, мы сможем двигаться вперед, к политике их развенчания, и оставим миф об уникальности России покоиться с миром». Простое понимание искусственности категорий не поможет избавиться от реальности их влияния и, что еще важнее, избавиться от той действительности, которая порождает эти категории (даже если они уже полностью разоблачены). Как ученые, мы, конечно, должны пытаться это сделать, но этого недостаточно. Индивидуальные попытки (ученых) являются нужной и желательной поправкой к всеобъемлющему детерминизму, граничащему с чувством предопределенности, но и в этих попытках необходима некая доля смирения. Мир ставит гораздо более сложные проблемы, с которыми нельзя справиться единственно при помощи разума и доброй воли. Однако это лишь небольшие замечания, способствующие углублению аргументации. В главном я согласна с Халидом: «Ориентализм» Саида определенно релевантен по отношению к России, в той мере, в какой автор описывает отношения власти в конкретном имперском/колониальном контексте и, далее, поскольку он помогает понять специфическую двойственность России, которая выступает одновременно и как субъект, и как объект ориентализма.

Я не думаю, что Натаниель Найт будет против этого возражать. Его беспокоит, что работу Саида могут принять за «универсальную модель», «обобщающую теорию», «всеобъемлющую схему». Он настаивает, что работу Саида следует читать в контексте последующей критики. Но нельзя диктовать, каким именно образом следует читать чьи-либо труды, а Саида нельзя считать ответственным за то, что кто-то, и в немалой степени сам Найт, воспринимает его воззрения как «универсальную модель». Как отмечает Саид в своем послесловии к «Ориентализму», написанном в 1994 году, его «книга является манифестом убеждений, а не теоретическим аппаратом»¹. Несмотря на избыток обобщений, что, я думаю, больше является погрешностью стиля, чем сущности, с самого начала было ясно, что Саид представил нам конкретное, убедительное полемическое произведение, направленное против эссенциализма и дискурса аутентичности в том виде, в каком он сложился за последние два века — по большей части в ходе столкновений Британской и Французской империй с арабами в Восточном Средиземноморье.

Однако вновь именно Найт поднимает важную и сложную проблему взаимоотношений между научным знанием и политикой, между производителями знаний о Востоке и механизмами и терминами ориенталистского дискурса. Воззрения Найта в обобщенном виде были представлены в его статье в *Slavic Review*, положившей начало настоящей дискуссии. В свою очередь, Адиб Халид выдвигает многообещающую идею относительно рассмотрения советологии как варианта ориентализма, но не развивает эту идею. Это — даже если отбросить проблему ограниченности объема статьи — наводит на размышления именно о направленности институциональной власти, о господстве в сфере дискурса и т.п. Одним словом, после окончания холодной войны и после отказа от ее риторики готовы ли мы обсуждать возможности применения советологии как свода гуманитарных знаний? Готовы ли мы сделать это, когда практики-советологи в большинстве еще живы и занимают видные должности, когда перемены политического климата низвели Россию с уровня «империи зла» единственно до уровня «бывшей империи зла»? Сдержанное молчание Халида на этот счет уже говорит само за себя.

Найта по-прежнему беспокоят фундаментальные вопросы возможного пересечения и частого отождествления гуманитарных знаний и политической власти. Он рассматривает «Ориентализм» Саида как пример обвинительной речи против применения таких знаний, несправедливо возведенной в ранг научной модели. В этом отношении я сочувственно отношусь к опасениям Найта и к самому этосу, который пронизывает его работу. Однако некоторые вопросы нуждаются в более развернутых ответах, и в последующих строках я подробнее рассмотрю, как Найт интерпретирует Саида, следуя его же собственному комментарию, состоящему из пяти пунктов:

1) Безусловно, во всех отношениях верно, что ориенталистский дискурс необходимо поместить в историческую перспективу, и, как я уже пыталась показать, сам Саид после выхода первого издания его книги был достаточно осторожен, чтобы ограничиться описанием только арабо-мусульманского опыта в контексте имперской политики последних двух веков. Но пусть исторические свидетельства говорят сами за себя. Вот слова самого Саида о том, что он думал о своей работе до того, как она была опубликована: «Было далеко не ясно, *заинтересует ли* широкую аудиторию исследование о том, какие способы восприятия Среднего Востока, арабов и ислама были вы-

работаны двухвековой традицией власти, научных исследований и воображения в Европе и Америке»⁴. Может быть, я слишком уж сочувственно интерпретирую Саида, но Найт явно ошибается, когда интерпретирует его недостаточно сочувственно. Можно (и нужно) критически относиться к Саиду, но обвинять его в том, что он предлагает «стабильный и связный дискурс», означает недооценивать замечательную гибкость его мысли. Это не означает, что надо пускаться в догадки по поводу того, что именно намеревался или не намеревался сказать Саид. Но это с необходимостью предполагает, что мы должны внимательно вчитываться в собственные тексты Саида, вопреки тому, что его идеи увлекают нас в более обширные сферы.

Огромная работа по различным временным периодам и в различных областях исследований, проделанная за два десятилетия со времени опубликования книги Саида, свидетельствует о том, что «Ориентализм», прежде всего, вдохновил людей на дальнейшее развитие и углубление этой концепции; с этой точки зрения можно утверждать, что Саид достиг своей цели. Как свидетельствуют некоторые блестящие работы, это утверждение справедливо и в отношении исследований по российской истории⁵. Фактически в этих работах уже можно найти матрицу для интерпретации России с универсальной точки зрения, с одновременным указанием на ее особенные черты. Так, Брюс Грант в своем изощренном анализе становления русской и советской этнографии в Сибири демонстрирует огромные различия, существовавшие между пионерами этнографии, что убедительно «заставляет усомниться в правомерности наших предположений об идеологическом образии колониальных обществ и задаться вопросом о том, не была ли этнография России XIX века на самом деле менее статичной, чем это принято думать». Метким и элегантным поворотом фразы он открывает «возможность существования истории пограничных областей, которая будет, по всей вероятности, менее эмпирической, но зато и менее имперской»⁶. Однако он не отрицает, что в науке безраздельно господствовал один — эволюционистский — дискурс, в котором помещались все соперничавшие между собой идеологические подходы. Жесткая ориентация этого дискурса на формулирование законов должна была упорядочить существовавшее хаотичное состояние или, как выразился Слезкин, «состояние неимения, [которое] известно под названием „дикость“»⁷.

2) Ориенталистский дискурс не должен автоматически приравниваться к востоковедению. Таково второе предложение Найта. Совершенно независимо от Саида он поднимает трудную проблему взаимоотношений между научным и другими типами знания. И опять-таки концепция Саида гораздо сложнее, чем это видится Найту. Как писал Саид, «я нигде не утверждаю, что ориентализм порочен, или неуклюж, или имеет одну и ту же форму в работе каждого ориенталиста. Но я утверждаю, что *гильдия* ориенталистов имеет свою особую историю участия в имперской власти, умолчать о которой было бы достойно Панглоса». Он рассматривает ориенталистов, которых, «несмотря на попытки провести тонкую разграничительную линию между востоковедением как невинным научным предприятием и ориентализмом как соучастником имперских завоеваний, никогда нельзя в одностороннем порядке вырвать из общего контекста истории империй, современная глобальная фаза которой начинается со вторжения Наполеона в Египет в 1798 году».

Тем не менее Найт прав, когда напоминает нам, что Саид не предлагает убедительной интерпретации сложных взаимоотношений между ориентализмом как состоянием духа и ориентализмом как научной практикой. Поэтому в своей работе «Воображая Балканы» (*Imagining the Balkans*) я намеренно ухожу от упоминания науки. Мне не хотелось воспроизводить утверждение Саида, что ориентализм (или мой балканизм) является всеобъемлющим и неизбежным дискурсом. Я продолжаю верить, что производство научного знания движется по траектории, которая лишь в случайном порядке пересекается с производством расхожей мифологии (включая журналистику). Это не означает, что многие специалисты по вопросам балканистики (или по востоковедению, или по другим областям) в своей частной жизни не исповедуют огромного числа предубеждений. Однако правила научного дискурса налагают ограничения на открытое высказывание таких предубеждений, и я думаю, что эти правила и то, как мы их формулируем, имеет значение.

3) Саид был бы первым в числе тех, кто согласился бы с суждением, что ориенталистский дискурс нельзя рассматривать как единственный показатель идентичности. Фактически принятая Саидом критика «Кембриджской истории ислама» (*The Cambridge History of Islam*, 1970) как ориенталистского текста как

раз и строится на том, что эта работа полностью основана на дихотомии Восток/Запад. Давайте опять послушаем Саида: «Такие современные ориенталистские тексты, как „Кембриджская история ислама“, поднимают фундаментальный вопрос о том, являются ли этническое происхождение и религия самыми лучшими или, на худой конец, самыми полезными, основными и понятными дефинициями человеческого опыта. Что больше значит для понимания современной политики — знать, что Х и Y определенным конкретным образом подвергаются притеснениям, или знать, что они мусульмане или евреи? Конечно, это спорный вопрос, и если рассуждать рационально, то мы, скорее всего, будем настаивать как на религиозно-этническом, так и на социально-экономическом описании ситуации. Однако ориентализм ясно выдвигает категорию ислама на первый план как доминирующую, и это — главное свидетельство его ретроградной интеллектуальной тактики»⁹.

4) Найт предлагает не рассматривать «ориентализацию» как исключительно западную практику. Это зависит от того, как мы определим ее сущность. Если взять узкий, исторически обусловленный контекст работы Саида (как это подчеркивалось в п. 1), тогда это и *будет* исключительно западной практикой. Даже если ориентализация имеет место в отношениях между группами и обществами, которые по сути своей нельзя считать «западными», то суть проблемы состоит в психологическом самоотождествлении того, кто осуществляет «ориентализацию», с идеализированной или желаемой западной идентичностью. Саида можно обвинить в неприемлемых диахронических эскападах, но, насколько мне известно, он и не претендует на создание теории познания. Более того, я не думаю, что он ставил задачу внести теоретический вклад в область определения различий, даже если он это и сделал. Именно на таком прочтении Саида базируется мое собственное суждение о том, что балканизм — дискурс, отличающийся от ориентализма. Хотя оба эти случая можно отнести под рубрику дискурса власти, исходящего с Запада, между ними существуют фундаментальные структурные различия, вызванные разницей в географическом положении, исторических традициях, этническом и религиозном характере. Поэтому я и предложила провести различие между ними таким образом: если ориентализм занимается различием между (искусственно созданными) типами, то балканизм

концентрирует внимание на различиях внутри одного типа. Я полностью согласна с Найтом, что следует выйти «за рамки всеобъемлющей дихотомии Восток/Запад... [чтобы] увидеть, как действует бинарное мышление при определении идентичности в более широком кругу культурных образований».

5) Согласно Найту, понятие «ориентализм» в том виде, в котором его предлагает Саид, закрывает возможность для получения достоверных знаний и для значимой межкультурной коммуникации. Он даже приписывает Саиду «мрачное и нигилистическое видение профессии ученого» и в соответствии с этим обвиняет его в «эпистемологическом нигилизме». Это уж слишком. Во всяком случае, прежде Саида критиковали за «остаточный гуманизм» и за романтическое отношение к индивидуальному действию, что находится в совершенном противоречии с эпистемологическим нигилизмом Ницше или Фуко. Айджаз Ахмад написал один из наиболее мощных и хорошо обоснованных критических отзывов на работу Саида, но он преувеличивает, приписывая Саиду утверждение, что «европейцы *онтологически* не способны производить какие-либо истинные знания о не-Европе». Саид рассматривает (или, по крайней мере, подразумевает) не отношение Европы ко всему неевропейскому миру, а лишь восприятие в Европе арабских мусульман Ближнего Востока, сложившееся за последние два столетия. Но даже и в этой сфере он благоразумно проследил различия между востоковедами — факт, о котором стараются не упоминать те, кто почувствовал себя обиженным. Уже в работе 1978 года Саид отметил значительные различия между позициями таких востоковедов, как, например, Филипп Хитти из Принстона и Густав фон Грюнебаум из университета Калифорнии в Лос-Анджелесе (UCLA). Но он пошел еще дальше. Он не только не отрицал возможности производства достоверных знаний, а даже назвал тех, кто, по его мнению, их производит: Ануар Абдель Малек, группа Халла по исследованиям Среднего Востока, Жак Берк, Максим Родинсон, Роджер Оуэн и др. По его мнению, исследования этих авторов отличала и оживляла, помимо всего прочего, высокая степень методологического самосознания, и это открывает востоковедческим исследованиям дорогу в широкий мир гуманитарных наук в целом. «Поскольку если исторически ориентализм был слишком самодостаточен, слишком ограничен, слишком позитивистски уверен в своих мето-

дах и предпосылках, то один из способов понять, что же в действительности ты изучаешь на Востоке или о Востоке, — сознательно сделать свой метод объектом критического анализа»¹⁰.

Фактически, совершенно в противоположность тому, что приписывает ему Найт (представлению о том, что истинное знание — это лишь иллюзия, что научные изыскания сводятся к циничной игре), Саид довольно красноречиво говорит о своем оптимизме: «Если мы больше не будем представлять себе отношения между культурами и их приверженцами как прилегающие друг к другу без малейшего зазора, полностью синхронные и соответствующие друг другу, и если мы будем воспринимать культуры как проницаемые и в целом уязвимые защитные границы между политическими образованиями, то возникнет более многообещающая ситуация. Тогда, если мы увидим „Другого“ не как онтологическую данность, а как историческое производное, это будет означать разрушение предрассудков, связанных с исключительностью, которую мы часто приписываем различным культурам, в том числе и своей. Далее культуры можно будет представить как зоны контроля и заброшенности, зоны воспоминания и забвения, силы и зависимости, исключительности и сходства, — всего того, что происходит во всемирной истории и из чего состоим мы сами»¹¹.

Но довольно защищать Саида с помощью его же аргументов. Выйдя далеко за рамки первоначальных намерений Саида, изучение методов конструирования «Другого» с тех пор стало полноправной областью академических исследований, пережило свои моменты триумфа и даже достигло такой стадии, когда смогло подвергнуть сомнению свои собственные предпосылки. Большинство философов до недавнего времени обращались к проблеме различий, исходя из схемы Гегеля. По Гегелю, Geist, универсальный дух, постепенно постигает (совершает *Aufhebung* — завоевание через поглощение) и себя, и реальность в процессе внесения сознания в себя самого и в мир. В результате образуется система, непрерывно расширяющаяся и включающая в себя все новые элементы, где все «Другое» ассимилируется или, по крайней мере, превращается в гармоническую часть все расширяющейся идентичности. Противоположность, множественность и различие, согласно Гегелю, — это моменты движения по направлению к примирению, единству и гармонии. Между «я» и «Другим» существуют диалек-

тические отношения, в которых расширяющееся «я» приспосабливает, одомашнивает «Другое», как будто оно изначально было частью «я»¹². В то же самое время, перед лицом такого победного и оптимистического гуманистического подхода, необходимо осознать, что, даже описывая чужое, «Другое», мы делаем это с помощью своих собственных терминов, с помощью тех известных категорий и методов выражения, которые находятся в нашем распоряжении. «Другое» познается, добавляется к расширяющемуся «я», одомашнивается, как будто оно там и было, но не в его собственных терминах. «Другое» не пытаются понять таким, каково оно есть, а значит, и не пытаются понять совсем: в этом проявляется непреодолимая преграда на пути сознания, даже если мы стремимся вооружиться гармонизирующей терпимостью¹³.

Против гегелевской диалектики понимания как завоевания некоторые философы, занимавшиеся проблемами различий и делений, выдвинули тезис о базовой несводимости «Другого» к «я» (Батай, Сартр, Лиотар, Левинас и, прежде всего, Фуко). Для них место постепенного «усвоения» занял всемогущий механизм исключения и отвержения того, что конституируется как «Другое»; именно этот процесс отвержения, по мнению этих философов, и являет собой акт сотворения идентичности. Так, например, историческое «исключение безумия и сумасшествия является частью самоопределения рационального человеческого идеала, который тем самым подавляет и отрицает часть человеческой личности»¹⁴. Именно в этом свете я рассматриваю свою попытку исследовать дискурс «инаковости» Балкан, который я определила как «балканизм», поскольку он стал побочным продуктом процесса конституирования понятия «Европа» и определения европейской идентичности. «Ориентализм» Саида тоже можно интерпретировать в рамках этой теоретической схемы.

Когда Найт пишет об угрозе, исходящей от модели Саида, поскольку, как он говорит, она «перечеркивает многие основополагающие ценности, определяющие сферу наших занятий», и когда он почти фанатично заклинает, что, «будучи учеными, которые посвятили себя исследованию России и Российской империи, мы исходим из базового предположения, что мы *можем* познать „Другого“», то невольно от удивления поднимается бровь. Саид ставил под вопрос не знание *само по себе*, а *тип* знания. На каких условиях мы приступаем к изучению «Другого»? Какие средства

есть в нашем распоряжении для того, чтобы словесно оформить полученное знание? Категории, которые мы используем, — это не просто невинные лингвистические средства; они несут в себе смысловую нагрузку того дискурса, в котором применялись прежде. Когда Найт уверяет, что мы можем производить «значимое и верифицируемое знание», то вопрос может ставиться не о самом производстве знания, но о его атрибутах — «значимости» и «верификации». Конечно, набор знаний может быть значимым — но для кого? Что и кто делает его значимым? Каковы критерии значимости? Точно так же можно спросить: а каковы средства определения достоверности? Как они применяются — и кто их применяет?

Это не релятивизм, и не цинизм, и даже не скептицизм отчаяния. На самом деле это глубокое уважение к знаниям, заставляющее нас осознавать опасности, возникающие в процессе приобретения знаний, что дает нам некоторую долю смирения и стоицизма. Мы можем смириться с фактом, что «инаковость» — это сущностный факт жизни; она не исчезнет, какие бы усилия мы ни прилагали. Мы также можем присоединиться к скептическому мнению, что «Другого» нельзя познать в его собственных терминах. Но сам процесс ознакомления, попытка со стороны субъекта познать объект изменяет самого субъекта; таким образом, на самом деле мы имеем не что иное, как герменевтические отношения. Хотя этот взгляд может являться отрицанием гегельянской веры в возможность гармонизации через унификацию, он, тем не менее, дает нам другую замечательную возможность: действовать «на основе уважения к независимости „Другого“ и добровольного согласия измениться под влиянием „Другого“»¹⁵.

В таком случае — и это можно считать продуктивным результатом — мы остаемся с этим диалогическим принципом получения знаний. Его целью является не достижение однозначного решения, а признание того, что, прислушиваясь к «Другому», мы неизбежно и даже неощутимо можем изменить свои собственные позиции. Столь оживленные дебаты, развернувшиеся вокруг этих вопросов, можно воспринимать как свидетельство зрелости, достигнутой этой областью познания.

Примечания

1 *Todorova M. Balkan Family Structure and the European Pattern: Demographic Developments in Ottoman Bulgaria. Washington, D.C.: American University Press, 1993; Idem. Zum erkenntnistheoretischen Wert von Familienmo-*

dellen: Der Balkan und die "europäische Familie" // Historische Familienforschung. Ergebnisse und Kontroversen / Hrsg. von Josef Ehmer, Tamara K. Hareven, Richard Wall. Frankfurt; N.Y.: Campus Verlag, 1997. S. 283–300.

2 Bracher K.D. et al. Deutscher Sonderweg: Mythos oder Realität. München: R. Oldenbourg, 1982; Blackburn D., Eley G. The Peculiarities of German History: Bourgeois Society and Politics in Nineteenth-Century Germany. Oxford; N.Y.: Oxford University Press, 1984; Grebin H. Der "deutsche Sonderweg" in Europa, 1806–1945: eine Kritik. Stuttgart: W. Kohlhammer, 1986; Rewriting the German Past: History and Identity in the New Germany / Ed. by Reinhard Alter, Peter Monteath. Atlantic Highlands, Nj: Humanities Press, 1997.

3 Said E.W. Orientalism. N.Y.: Vintage Books, 1994. P. 339. Удивительно, что Найт и Халид — оба историки — цитируют Саида только по изданиям 1978 и 1979 годов. Принимая во внимание, что в издании 1994 года был включен ответ Саида его критикам. Это упущение можно считать существенным, особенно для Найта.

4 Ibid. P. 329.

5 Только ограниченность моих познаний в этой области причиной тому, что я могу назвать лишь несколько отличных работ. Уверена, что их гораздо больше: Russia's Orient: Imperial Borderlands and People, 1700–1917 / Ed. by Daniel R. Brower, Edward J. Lazzerini. Bloomington: Indiana University Press, 1997; Bassin M. Imperial Visions: Nationalist Imagination and Geographical Expansion in the Russian Far East, 1840–1865. Cambridge: Cambridge University Press, 1999; Slezkine Y. Arctic mirrors: Russia and the Small Peoples of the North. Ithaca: Cornell University Press, 1994.

6 Grant B. Empire and Savagery: The Politics of Primitivism in Late Imperial Russia // Russia's Orient... P. 307.

7 Slezkine Y. Naturalists Versus Nations: Eighteenth-Century Russian Scholars Confront Ethnic Diversity // Russia's Orient... P. 43 [см. русский перевод в настоящем издании].

8 Said E.W. Op. cit. P. 333, 341.

9 Ibid. P. 305.

10 Ibid. P. 326–327.

11 Said E. Representing the Colonized: Anthropology's Interlocutors // Critical Inquiry. 1989. Vol. 15. № 2. P. 225.

12 Corbey R., Leersen J. Studying Alterity: Backgrounds and Perspectives // Alterity, Identity, Image: Selves and Others in Society and Scholarship / Ed. by Raymond Corbey, Joep Leersen. Amsterdam; Atlanta, GA: Rodopi, 1991.

13 Полностью ход этого рассуждения см.: Todorova M. Is "the Other" a Useful Cross-Cultural Concept? Some Thoughts on its Implementation to the Balcan Region // Internationale Schulbuchforschung. 1999. Vol. 21. P. 163–171.

14 Corbey R., Leersen J. Op. cit. P. XII.

15 Ibid. P. XVII.

Вирджиния МАРТИН

Барымта: Обычай в глазах кочевников, преступление в глазах империи

В 1822 году русское правительство обнародовало «Устав о сибирских киргизах»¹, где впервые устанавливались административные основы колониального контроля над казахскими кочевниками Среднего жуза. Хотя царский режим пытался использовать законы для контроля своего степного пограничья с тех пор, когда в 1731 году казахские кланы впервые стали подчиняться русскому правлению, Устав 1822 года представлял собой первую систематическую попытку России проводить в жизнь свои имперские цели². Эти цели включали в себя установление и сохранение порядка в дальнем приграничном регионе; приучение кочевников Среднего жуза к русскому, оседлому образу жизни; защиту русского населения; поощрение торговли³. Устав также предусматривал распространение российских правовых норм на коренное население степи, с признанием необходимости уважать особую культуру казахов-кочевников. Эта философия, которую императрица Екатерина Великая проводила через всю свою политику, касавшуюся исламской религии и образования у кочевников, в дальнейшем была выношена генерал-губернатором Сибири М.М. Сперанским, когда он разработал законы для административной инкорпорации всей Сибири в состав империи в 1822 году⁴. Законы Сперанского позволяли коренным народам решать внутренние дела в соответствии с их собственными обычаями, в той степени, в какой они не противоречат целям имперской власти и правам русского населения. Так, согласно Уставу 1822 года, казахи могли решать все гражданские и уголовные дела согласно обычному праву (адату), за исключением особо тяжких преступлений, которые подлежали

преследованию согласно российским правовым предписаниям. Помимо убийства и государственной измены, наиболее важным новым «преступлением» казахов стала *барымта*.

Устав 1822 года определял барымту как разбой или грабеж⁵, акт, который российское правительство рассматривало как дестабилизирующий, затрудняющий управление и контроль над степью и препятствующий торговле в этом регионе. Она рассматривалась как нецивилизованное действие, а те, кто ее совершал — как преступники-варвары. Возведя барымту в ранг преступления, русская администрация надеялась добиться ее окончательного исчезновения. Но для кочевников барымта не была преступлением; это был скорее легитимный правовой обычай, коренившийся в свойственном казахской культуре понимании несправедливости, чести и возмездия. Хотя ее обычно воспринимали как увод домашнего скота другого кочевника, барымта не была просто покражей, поскольку уведенный скот в конечном итоге возвращали владельцу. Она расценивалась как акт самосуда, целью которого было вынудить пересмотр несправедливо решенного или вообще нерешенного дела, и если она осуществлялась успешно, то рассматривалась как достойное и даже героическое деяние. Для русских культурное значение барымты не имело правового значения; для казахов же юридическое определение барымты как преступления не имело смысла. Для русского правительства успешная колонизация степи не могла продолжаться, пока коренные жители ведут себя как преступники. В то же самое время казахи продолжали практиковать барымту как обычай. В течение XIX века эта явная дистанция между казахскими и русскими правовыми и культурными представлениями заставила пересмотреть определение барымты: в то время как барымта по-прежнему продолжала означать одновременно угрозу преступления для русских и героический акт реституции для казахов, на практике она стала не более чем кражей скота, не сопровождавшейся правовой санкцией ни со стороны русских, ни со стороны казахов.

В этой работе будут прослежены изменения в значении слова «барымта», в котором оно использовалось в русскоязычных по большей части записях судебных дел, в этнографических отчетах, в национальной и региональной прессе, а затем будет доказано, что на практике барымта продолжала существовать как казахский обычай, ненаказуемый и героизируемый, внутри исторического

контекста правового синкретизма на территории степи в XIX веке. Колониальные структуры парадоксальным образом послужили тому, чтобы возвести барымту на новый уровень дозволенности в простонародной культуре кочевников. Барымта стала позволительной как воровство в контексте, во-первых, разрушения авторитета традиционного кочевого судьи, *бия*; во-вторых, недостижимости справедливости в рамках русской системы; и, в-третьих, культурной предрасположенности казахов демонстрировать героизм и честь посредством актов возмездия. Изучение существовавшего у казахов-кочевников обычая барымты демонстрирует, что встреча русских и казахов в степи приносила заметные структурные изменения в кочевую жизнь, но не обязательно изменяла культурные ценности, которые определяли понимание справедливости и несправедливости каждой из сторон. Вместо того чтобы привести к правовой ассимиляции (русификации) степи в XIX веке, колонизация предоставила казахам новый контекст, в рамках которого можно было переосмыслить свою культурную идентичность и позволить ей уцелеть.

В этом анализе барымты семантика играет ключевую роль. Когда мы задаемся вопросом: «Чем была барымта?», мы должны знать, кому принадлежали ее определения — русскому или казаху, чиновнику царской администрации, этнографу или кочевнику-судье. Когда мы задаемся вопросом: «Почему барымта продолжала существовать?», мы должны твердо знать, в каком именно качестве она продолжала существовать — как преступление, как обычай или как то и другое? Бесчисленные пласты смысла становятся неясными, поскольку историк вынужден сталкиваться с трудностями — воссоздавать историю колонизируемых, используя тексты, созданные колонизаторами. Анализ семантики слова «барымта» поможет нам понять реалии приграничных столкновений. Извлекая менявшиеся значения этого слова из русскоязычных в большинстве своем документов, мы сможем начать понимать те изоощренные способы, посредством которых Россия осуществляла свою власть как колонизатор, и те способы, которые применяли кочевники в борьбе за существование, несмотря на колониальное угнетение.

Чтобы лучше понять ту угрозу, которую Россия видела в барымте, мы должны вначале рассмотреть барымту с точки зрения коренного населения, как обычай, практиковавшийся кочевниками.

Этимологически казахское слово «барымта» (обычно воспроизводившееся на русском как «баранта») означало «то, что является моим долгом»⁶. В таковом качестве мы можем предварительно определить барымту как один из способов разрешения споров, который воспринимался как акт самосуда, когда другие решения считаются несостоятельными, с конечной целью нанесения ответного удара и поддержания личной и клановой чести.

Как метод решения споров, барымта заключалась в угоне скота обидчика обиженным кочевником, которому обычно помогали члены его клана или аула, чтобы вынудить справедливое решение конфликта. Скот оставался в руках обиженного до достижения согласия, после чего его либо возвращали полностью, либо оставляли в качестве справедливого возмещения за обиду. Хотя барымта почти всегда практиковалась именно таким способом, она могла также быть осуществлена посредством похищения женщины или конфискации имущества из аула, поскольку в главных своих чертах она означала призыв к справедливости, при котором собственность использовалась как залог за то, что являлось причиной спора. Делалось это по множеству причин. Часто представлялось обоснованным предпринимать барымту в том случае, если должник медлил с уплатой долга⁷ или если калым (выкуп за невесту) не был представлен в установленные обычаем сроки⁸. Иногда, когда две стороны не могли прийти к соглашению в земельном споре, одна из них могла прибегнуть к барымте⁹. Если кто-либо чувствовал, что бий несправедливо рассудил его дело и не мог добиться, чтобы его сторону в суде должным образом выслушали¹⁰, или если бий нарушил установленные обычаи¹¹, истец мог собрать мужчин своего клана и организовать барымту. Русский этнограф рассказывает историю барымты, предпринятой одним кланом в ответ на убийство их сочлена: если в обычных случаях клан совершал платеж натурой (*кун* — овцами, лошадьми или верблюдами, число которых зависело от региона и от вовлеченных в это дело людей) другому клану как возмещение за убийство, здесь же члены клана сочли необходимым «омыть кровь убитого» посредством барымты¹². Татарский этнограф и чиновник колониальной администрации в Туркестане И.И. Ибрагимов описывал случай барымты, совершенной в ответ на нарушение «тамырства» («тамырлык») — крепких уз дружбы, символически освященных обменом дарами

(от казахского слова «тамыр», означавшего друга или брата по духу, а также корень). В этом случае один из «тамыров» пренебрег визитом к другому и поднесением должного подарка. Барымта была предпринята, чтобы отплатить за нанесенное оскорбление¹³. Наконец, можно было предпринять барымту, в отместку уведя скот у того человека или из того аула, которые первоначально украли скот из твоего собственного аула.

В этом смысле барымта может рассматриваться просто как возмездие за несправедливость. Она была легитимным отправлением правосудия только при соблюдении определенных условий. Она должна была осуществляться при условии предварительного оповещения бия и собственного аула, с объявлением причин, по которым необходимо добиваться справедливости¹⁴; она должна была осуществляться днем, а не ночью; конфискованных животных или иную собственность следовало возратить полностью (или с учетом компенсации выигравшей стороне), как только будет достигнуто решение дела, удовлетворяющее обе стороны¹⁵. Нельзя было практиковать барымту для личной наживы, как свидетельствует народная мудрость: «Барымтой имущества не умножишь»¹⁶. Барымта не должна была предприниматься против русских или против других некочевых народов. Она осуществлялась только в пределах культурного сообщества казахов; вне этого контекста она не имела правовой ценности. Таким образом, она представляла собой акт самосуда, который вынуждал кочевнического судью и казахское сообщество в целом пересмотреть дело и решить, был ли это обоснованный призыв к «тому, что является моим долгом». Если барымта предпринималась обоснованно, она не подлежала наказанию как преступление: обычай санкционировал ее как способ поиска справедливости.

Барымта была могущественным прибежищем для культуры, где благоденствие чьих-либо стад овец, коз, лошадей и верблюдов могло определять собой благосостояние сообщества в целом. Повседневная жизнь кочевнического сообщества структурировалась вокруг обеспечения обильной пищи и воды для кочевых стад. Сезонные миграции, совершавшиеся по предварительно определенным путям к заранее предназначенным для этого пастбищам, были необходимы для максимальной эксплуатации скудных природных ресурсов степи. Источником почти всех продовольствен-

ных припасов и большей части материалов, использовавшихся для сооружения укрытий, служили домашние животные. Таким образом, поддержание благополучного состояния чьих-либо стад было вопросом жизни и смерти. В этом смысле, мы можем понять, что, когда кочевник отнимал чьих-либо овец при осуществлении барымты, его акция побуждала к немедленному ответу, с требованием, чтобы его соплеменники выслушали его дело. Он использовал богатство сообщества (его скот) как гарантию того, что его призыв будет услышан, не просто ради него самого, но ради его клана или племени.

Тем не менее довольно часто барымта не достигала своей цели: иногда в ходе самого акта происходило убийство (но даже в таком случае осуществление барымты не подлежало наказанию — только само убийство)¹⁷. В других случаях первая акция не приводила к удовлетворительному решению дела и сторона обиженного могла предпринять ответный акт барымты. В ответ барымта могла совершаться повторно, втягивая все больше и больше членов клана с той и другой стороны. Такая эскалация конфликта выходила за пределы законности после двух актов, она считалась подлежащей наказанию посредством выплаты пени¹⁸. Именно обоюдный, долговременный ход барымты, равно как и тенденцию к перерастанию законно санкционированного акта в клановую вражду имел в виду Левшин, когда писал, что «все киргизские законы состоят в произвольной и нерегулируемой баранте»¹⁹. Если это была типичная реакция со стороны чиновника царской администрации на барымту, выходящую из-под контроля, то даже непредубежденному наблюдателю барымта представлялась нарушением обычного права как правовой системы. Ф.И. Леонтович, правительственный чиновник, опубликовавший свои наблюдения над правовой культурой кавказских горцев, доказывал, что общине свойственно неписаное соглашение жить в гармонии, которое называется *маслагат*; когда *маслагат* теряет свою власть, на смену ему приходит самоуправство в форме барымты²⁰. Подобным образом можно было доказать, что путем совершения барымты личность (или клан) заявляет о том, что не может добиться справедливости в рамках существующей системы; в некоторых случаях он напрямую ставит под сомнение авторитет конкретного бия и берет дело правосудия в свои собственные руки.

Я постараюсь доказать, что барымта как самосуд была в действительности интегральной частью системы, а не проявлением ее разрушения. Ключевыми элементами, которые закрепляли барымту в числе легитимных альтернатив решения споров, были, во-первых, необходимость поддерживать личную и клановую честь и, во-вторых, обязанность осуществлять возмездие. В патриархальной культуре кочевников персональный образ человека отражает положение большего сообщества — его аула, клана, племени. Уважение и авторитет даруются тому человеку (и его клану), который либо доказал свою силу и отвагу в битве, либо продемонстрировал сородичам свою мудрость и справедливость, свое знание обычаев. Человек, чье обладание этими качествами стало общепризнанным, одновременно возвышает и образ своего клана. Таким образом, личная репутация воспринимается очень серьезно, поскольку на карту поставлена честь и целостность клана. Когда совершается барымта, она неизбежно представляет собой решение вопроса о чести человека (и его клана): его способности отплатить долг, его желания личной наживы, его понимания обычая, его стремления к поддержке и согласию. Если акт барымты оказался успешным в обличении несправедливости, он должен будет восстановить и сохранить престиж клана, чья честь была поставлена под сомнение.

На другом уровне, барымта была интегральной частью казахской системы права, поскольку обычай обязывал оскорбленную сторону осуществить возмездие. Первая статья «Жети Жаргы» («Семи установлений»), наиболее раннего из известных нам «сводов» казахских законов, созданного ханом Тауке (1680–1718), провозглашала право на справедливое возмездие²¹. Обычай не только позволял возмездие, но и ожидал от обиженной стороны отмщения за несправедливость²². Эта санкция самосуда соответствовала правовой культуре, которая признавала определенное действие преступлением, только если истец сам подает жалобу²³. Таким образом, система не требовала расследования, основанного на всеобъемлющем чувстве закона и справедливости; скорее это было дело отдельного человека — признать то или иное действие оскорбительным, несправедливым, ошибочным для него самого и для его клана. Барымта представляла собой, во-первых, заявление индивида о том, что произошел акт несправедливости; во-вторых, его

попытку отомстить за этот акт; в-третьих, его обязанность защитить честь и престиж сообщества, членом которого он был.

Барымта, следовательно, действовала как одна из альтернатив в рамках более широкой системы правовой практики, которая составляла то, что мы называем «обычным правом». Казахское обычное право (адат) представляло собой набор правил, норм, моральных предписаний, которые руководили должным поведением и предписывали справедливое наказание за недолжное. «Адат был не универсальным набором законов, записанным как руководство для всех его приверженцев, но партикуляристским набором принципов, которые применялись в рамках определенного культурного контекста, который изменялся, как только изменялись социально-экономические и политические условия кочевой жизни в степи»²⁴. Адат передавали в устной форме от поколения к поколению почтенные старцы, называвшиеся биями, которые обладали знанием и мудростью, чтобы передавать обычаи и выносить справедливые судебные решения. Точно так же, как принципы адата были подвержены внутренним и внешним силам перемен, так и барымта была открыта для новых интерпретаций и новых применений. Как одна из возможностей решить спор в рамках адата, она необходимо приспосабливалась к новым социальным условиям по мере их формирования. Вслед за введением в степи в 1820-х годах российской правовой системы и попыткой хоть как-нибудь загнать адат в российские правовые рамки, барымта стала реже практиковаться. Тем не менее, мотивируемая силой чести и возмездия, она не утратила своего места в казахской культурной матрице.

Российская правовая система в казахской степи представляла собой целостность, в административном (и вследствие этого — и в юридическом) отношении отделенную от правовой системы, существовавшей в самой России. Создание особой правовой системы для степного приграничья началось в XVIII веке, в правление Екатерины Великой, которая желала одновременно «смягчить нравы»²⁵ кочевников, приобщив их к российской правовой культуре, и обеспечить мир, избежать сопротивления российскому правлению в регионе, позволив кочевникам практиковать их собственные правовые обычаи²⁶. Это представление о по меньшей

мере частичном сглаживании культурных различий руководило и Михаилом Сперанским, когда он в 1822 году писал Устав для Среднего жуза казахов.

Статья 68 «Устава об управлении инородцев» — широко применявшегося закона, под который подпадал и «Устав о сибирских киргизах», — утверждала, что законы и обычаи всех кочевников собраны местными чиновниками и изучены специальными комитетами с тем, чтобы уничтожить «дикие и жестокие» элементы, которые противостоят усилиям империи принести порядок в этот регион⁷. К 1824 году законы и обычаи казахов Среднего жуза были собраны⁸, изучены временным комитетом в Омске и объявлены адатом этих кочевников. Эта версия адата, подготовленная на казахском языке и переведенная на русский с целью адаптировать ее к существующим русским законам, никогда не была опубликована как кодекс законов и так никогда и не была сделана доступной для местных российских чиновников, чтобы помочь им понять казахские правовые обычаи⁹. Хорошее знание адата должно было служить потребностям местных чиновников, поскольку степное право позволяло казахам, не удовлетворенным решением биев, апеллировать к соответствующему русскому чиновнику местной администрации (окружного приказа) как к судье второй инстанции. Он должен был повторно рассмотреть дело и вынести постановление, подтверждающее или опровергающее решение бия и основанное на его собственном понимании казахских обычаев¹⁰. Только в случаях, затрагивающих преступления, наказуемые по имперским законам, казахи были напрямую подчинены российским правовым кодексам. Как в гражданских, так и в уголовных делах, доказывал Чокан Валиханов, казахский этнограф и чиновник, состоявший на императорской службе, число обращений в русские суды было незначительным, а в функционировании обычного права в первые сорок лет после того, как оно перешло под русский контроль, наблюдались лишь несущественные перемены¹¹.

Согласно всем сообщениям, юридическая система, установленная Уставами 1822 года, не выполняла задач обеспечения в степи достаточного порядка, мира и контроля. В канун Великих реформ и военного покорения Туркестана было решено разработать административные порядки, которые могли бы обеспечить более жесткий надзор за коренными жителями. Степной комитет

1865 года, который был отправлен в степь, чтобы изучать «образ жизни киргизов» и разработать проект «нового положения для управления ими», провозгласил, что, хотя распространить общеимперские юридические реформы на кочевников пока невозможно, потому что они недостаточно развиты для постижения российского права; в конечном итоге это последнее должно будет вытеснить там обычное право. Если только кочевники смогут увидеть преимущества российского правосудия, они научатся жить согласно его принципам³.

В этом духе пассивного стимулирования российского правового сознания путем постепенного введения российских институтов было разработано Временное положение об управлении в Уральской, Тургайской, Акмолинской и Семипалатинской областях⁴ (позднее, в 1868 году, получившее название Степного положения), подписанное 21 октября 1868 года и вступившее в силу 1 января 1869 года⁵. Положение служило цели установления большего правового и административного контроля над обитателями степи с помощью более строго определенных официальных должностей, юридических полномочий и правовых процедур, позволяя в то же время казахам жить согласно их собственным обычаям, истолкованным в контексте российской правовой системы в целом. На бумаге это предоставляло казахам-кочевникам значительное число новых альтернатив для поиска справедливости, решения споров и вынесения заслуженного наказания.

Основным судебным органом для слушания юридических дел между казахами был народный суд, в котором бий, избранный на трехлетний срок, должен был решать большинство гражданских и уголовных дел согласно обычному праву (за исключением барымты, убийства, государственной измены и других дел, которые подлежали юрисдикции имперских законов), а также земельные споры, которые решались в первой инстанции специальными выборщиками, избранными от каждой десяти или пятнадцати юртовладельцев. Согласно статье 137 Степного положения 1868 года, «бием может быть выбран всякий, кто пользуется уважением и доверием народа, не опорочен по суду, не находится под следствием и имеет от роду не менее двадцати пяти лет»⁶. Был создан целый судебный аппарат, с бием в качестве судьи первой инстанции, для рассмотрения дел на сумму до трехсот рублей, далее следовал волостной съезд

биев для рассмотрения дел на сумму до пятисот рублей и далее «чрезвычайный съезд» биев для решения дел на сумму свыше пятисот рублей. Волостной съезд также действовал как апелляционный суд по отношению к суду бия, в то время как чрезвычайный съезд выполнял те же функции по отношению к волостному. Во всех этих судебных инстанциях решения выносились на основании народных обычаев. Тем не менее, если обе стороны были согласны, казахи могли оспорить решение бия в российском суде, а именно — у уездного судьи, который был обязан рассматривать дело согласно «совести, местным обычаям и общим гражданским законам»¹⁶. Это решение могло быть оспорено в областной администрации, где финальное заключение по делу выносилось на основании общеимперских законов, как гражданских, так и уголовных¹⁷.

В дополнение к этой судебной иерархии, представлявшей собой сочетание казахского обычного права и российской судебно-административной процедуры, существовали и некоторые другие альтернативы. Споры могли быть решены напрямую в русском суде первой инстанции (уездный мировой судья, действовавший на основе судебных уставов 1864 года) при согласии обеих сторон. В этом случае судебное решение должно было основываться полностью на законах Российской империи. Казахи также имели возможность решать споры «миром» в «третейском суде» — русский эвфемизм для случаев, когда стороны решали обратиться к уважаемому старейшине в каком-либо ауле или клане, который не был признан колониальными властями как официальный судья, но который мог помочь уладить спор. Наконец, казахи могли обратиться к мулле или кади для руководства в вопросах поведения, предписанного шариатом, особенно в случаях, касавшихся брака, развода или наследства¹⁸. Стараясь отучить казахов от шариата в этих случаях, Степное положение 1868 года позволило казахам, не удовлетворенным решением бия в первой инстанции, обращаться напрямую к уездному начальнику, который мог решить дело, как считал нужным¹⁹.

В 1891 году «Временное положение» 1868 года, которое, как предусматривалось первоначально, должно было быть пересмотрено и заменено всего лишь через два года и которое год за годом выдерживало критику местных чиновников, было в конце концов заменено новым сводом правил, «Положением об управлении Акмолинской, Семипалатинской, Семиреченской, Уральской

и Тургайской областями»⁴⁰. Написанное в духе общеимперского закона 1889 года об участковых земских начальниках, который стремился к более централизованному контролю за местными условиями посредством новоучрежденного института, это Степное положение имело целью усилить власть правительства над коренной администрацией⁴¹ путем увеличения свободы дисциплинарных действий уездного начальника и затянуть узы полицейского контроля над мигрирующими кочевниками. В функционировании системы народного суда, тем не менее, были сделаны лишь небольшие перемены. Еще в 1898 году, когда новый устав окончательно был введен в действие взамен юридических положений судебной реформы 1864 года⁴², народный суд оставался важнейшим органом для разрешения споров среди казахов. Как мы увидим ниже, эффективность судов биев в осуществлении правосудия заметно снизилась к 1898 году.

Возможности, существовавшие у казахов для правового разрешения споров, существенно расширились начиная с 1868 года. В течение века царила атмосфера правового синкретизма: обычно-правовые, российские и шариатские нормы смешивались и действовали бок о бок. Один проницательный русский наблюдатель даже рассуждал о том, что из этой амальгамы правовых альтернатив возник «новый адат», отражающий растущее влияние как русского, так и исламского присутствия в кочевой степи⁴³. Что значило существование множественных правовых альтернатив для ежедневной практики правосудия и разрешения споров в Среднем жузе казахов во второй половине XIX века? И как перемены, принесенные новым восприятием права, воздействовали на культурное значение барымты? Как было установлено в начале этой работы, барымта на практике развивалась в сторону кражи или конфискации скота без правовой санкции казахского бия. Ниже мы попытаемся дать объяснение этим переменам, сперва — через изучение использования термина «барымта» в русском языке, затем — через показ того, что контекст, в котором практиковалась барымта во второй половине XIX века, сделал для казахов-кочевников поиск справедливости как таковой крайне трудным.

Что же именно дает основание заключить, что обычай барымты развивался на практике по направлению к краже скота? Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны внимательно проследить упо-

требление термина «барымта», как и русскоязычной терминологии для обозначения воровства, грабежа и разбойного набега как преступлений степняков.

Во-первых, вокруг слова «барымта» («баранта») возник целый вокабуляр, который служил способом представить казахов-кочевников как нецивилизованных и диких. Барымту осуществляли «барантаци», которые пытались «барантовать» для того, чтобы забрать «отбарантованное» как награду за свой подвиг, а позже «барантующие» делили между собой трофеи. Подобный словарь, когда его использовали грамотные люди и местные чиновники вместо других терминов для обозначения кражи или грабежа, служил демонизации описываемых действий. Чокан Валиханов, писавший о культурных предрассудках, проявляющихся в русском восприятии барымты, заключал: «Криминал заключается не в факте, а в зловещем звуке этого слова»⁴⁴. Например, один источник описывал барымту, сопровождавшуюся убийством, успешно создавая образ более жестокого преступления⁴⁵.

Более того, мы должны отметить в самых разнообразных русскоязычных источниках тенденцию путать термин «барымта» с другими терминами. Центральный Государственный архив Казахстана в г. Алматы и Государственный архив Омской области в г. Омске содержат сотни судебных дел только из Акмолинской и Семипалатинской областей, где слово «барымта» включено в само название дела, но описывается там всего-навсего кража скота. В документах не использовался какой-либо особый язык, который мог бы указать на смысл барымты как казахского обычая, санкционируемого бием⁴⁶. Свидетельства за пределами судебных отчетов также показывают недостаток понимания барымты как обычая кочевников со стороны части русских наблюдателей. Устав 1822 года определял ее как грабеж; Левшин использовал это слово для обозначения «владения преступников или их родственников» и «угона скота»⁴⁷. Статья в «Сибирской газете» в 1886 году использует термин «барымта» для описания повторявшихся среди казахов случаев конокрадства⁴⁸. Местный генерал-губернатор в своем отчете за 1898 год говорил о барымте как о «краже скота»⁴⁹. Военный губернатор Акмолинской области в отчете за 1872 год показал некоторое понимание того, что основа барымты — в обычае, но не проявил полного понимания культурных различий между

внешне похожими действиями, когда он описывал барымту вместе с «воровством» и «конокрадством», квалифицируя их как дерзкие проступки, но не преступления⁵⁰. Часто слова «барымта» и «набег» использовались как взаимозаменяемые. И с явным осуждением правительственный чиновник В. Григорьев в 1870-х годах обвинял русских в том, что они на протяжении более чем столетия использовали термин «барымта», не зная, что же он значит⁵¹.

Несмотря на это очевидно беспорядочное использование слова «барымта», существовали явные различия в русских дефинициях противоправных действий, с которыми она ассоциировалась. Используя словарь Даля⁵², мы нашли два явно отличающихся друг от друга типа воровства. «Воровство» и «кража» определяются как взаимозаменяемые термины для обозначения присвоения чужого имущества, не сопровождающегося насилием, совершающегося тайно, украдкой. С другой стороны, «грабеж», «разбой» и «набег» определяются как присвоение чужого имущества, сопровождающееся насилием или силовым принуждением, часто как нападение, предпринимаемое открыто. В рамках этой схемы барымта представляет собой тип грабежа или набега, мотивом которого является личное возмездие («самоуправная месть»)⁵³.

Эти дефиниции исчезали в правовом использовании. В языке законов в течение столетия барымта выделялась из других «преступлений». В Уставах 1822 года барымта и грабеж были объявлены вне закона. В изданном в 1854 году «Положении о распространении на казахов Сибирского ведомства общих законов Российской империи» барымта и разбой значились как уголовные преступления, подлежащие судебному разбирательству и наказанию согласно общеимперским законам⁵⁴. Все прочие случаи, включая кражу у отдельных лиц, воровство-кражу, конокрадство и скотокрадство, расценивались как гражданские дела и тем самым входили в юрисдикцию суда биев. Степное положение 1868 г. квалифицировало как преступления следующие действия: разбой, грабеж, барымта, нападение на торговые караваны, набег на сопредельные территории. Наконец, в Положении о степных областях 1891 года (и в соответствующем Положении 1886 года об управлении Туркестанским краем, раздел которого о народном суде был адаптирован для степного региона) разбой и грабеж были определены как преступления, но ни одно из прежде идентифицирован-

ных преступлений, связанных с присвоением чужого имущества, включая барымту, упомянуто не было. Интересно, что слово «барымта», кажется, к тому времени исчезло из юридического употребления, как если бы это действие исчезло из сознания законодателей. Однако конокрадство и другие акты грабежа, совершавшиеся без применения насилия, подлежали преследованию по суду бия в соответствии с обычным правом.

К сожалению, применение российского права не обязательно помогает нам идентифицировать, чем была барымта на практике. Например, к концу XIX века наблюдатели провозглашали одновременно и снижение, и возрастание случаев совершения этого действия. Во-первых, значительное число источников указывает на снижение общего числа случаев барымты как результат введения Степного устава 1868 года и рост числа случаев воровства скота, особенно лошадей. Некоторые наблюдатели объясняют упадок барымты появлением альтернативной возможности добиваться справедливости через российский суд⁵⁵. Другие считают российское присутствие в регионе причиной упадка барымты как части практики клановой вражды и роста случаев барымты как сведения личных счетов⁵⁶. С другой стороны, наблюдатели конца XIX века также замечали рост числа случаев барымты. Генерал-губернатор докладывал в 1898 году, что барымта усиливается, принимая характер открытых и вооруженных нападений⁵⁷. Маковецкий заявлял, что каждый год преследуются в судебном порядке сотни и тысячи новых случаев. Барымта стала теперь практиковаться «как торгавля» с *батыром* (героем-воином), возглавляющим банду «барантачей»⁵⁸.

Учитывая недостаток последовательности у российских наблюдателей, мы должны задаться вопросом: чем же была барымта в последней четверти XIX в.? Важный ключ к решению этого вопроса может быть найден, если по казахским голосам, слышащимся в русских текстах, выявить перемены в осознании наказуемости барымты. Отмечая изменения в казахских представлениях о достойном наказании за барымту — особенно в противопоставлении ее воровству, — мы сможем начать выстраивать более широкую картину активного ответа кочевников на вызов колониального контекста.

Перед началом колониального периода барымта была ненаказуема, если она проводилась легитимно, однако воровство подлежало наказанию. В конце XVII века в уложении «Жети Жаргы»,

которое было записано на русском Левшиным, воровство (по-русски «грабеж» и «кража»), предпринятое без достойной причины, расценивалось как преступление, наказуемое смертью, в то время как барымта не считалась ни преступлением, ни наказуемым деянием⁵⁹. К сожалению, мы не располагаем достаточным числом фрагментов уложения «Жети Жаргы» на каком-либо тюркском языке, поскольку это могло бы прояснить понимание самими казахами различия между этими действиями. Советский ученый Культелеев отстаивает мнение, что все преступления против собственности в целом назывались по-казахски «урлык»⁶⁰. Гродеков выяснил, что «урлык» означало воровство-кражу или грабеж. В любом случае они отделялись от барымты в силу их наказуемости, в то время как в течение XIX века барымта оставалась ненаказуемой. Например, Валиханов утверждал, что «после примирения убарантованный [отнятый] скот возвращался сполна, но без всякого аипа»⁶¹. Более того, в 1863 году, когда казахские султаны собрались, чтобы ответить на вновь разработанные «Основные начала» судебной реформы в империи, они пришли к согласию в том, что воровство представляет собой наказуемое правонарушение, но защищали барымту, доказывая, что это не воровство⁶². Подобным же образом источники XIX века показывают, что воровство подлежало шкале наказаний: сама пеня (аип) измерялась в «тогузах» (девятках) — сочетаниях овец, лошадей и верблюдов, варьиовавшихся в соответствии с тяжестью кражи. Особенно же тяжкие преступления или такие, которые были направлены против наиболее уважаемого члена сообщества, могли наказываться штрафом обвиняемого в размере трех тогузов (двадцати семи животных).

К началу XX века, тем не менее, мы наблюдаем, что казахи теперь считали воровство при определенных обстоятельствах ненаказуемым. Во-первых, в местных высказываниях, записанных Ахметом Байтурсиновым, мы слышим голоса в защиту воровства: «Айтып истеген урлыктынг айыбы йок» («Никакой платы за объявленную кражу») и «Урлык тюби-корлык» («Корень кражи — оскорбление/бесчестие»)⁶³. Во-вторых, в 1907 году комитет казахов доказывал своим русским противникам, что «скотокрадство» среди казахов обычно не наказывается, и по этой причине оно должно подлежать юрисдикции народного суда, а не российских судов⁶⁴. Приблизительно в то же самое время газетная статья утверждала,

что жители аулов повсеместно укрывают конокрадов от следствия со стороны русских чиновников, пытающихся привлечь преступников к суду, указывая на благосклонное отношение среди кочевников к воровству, не признаваемому преступным деянием⁶⁶. Доказывая его ненаказуемость, эти казахи указывали на его культурную ценность: они хотели теперь считать воровство скота культурно приемлемым; барымта как воровство была ни много ни мало дерзким деянием молодости. В поддержку этого заключения один правительственный чиновник заметил, что «в народной памяти большое число батыров, героев, постоянно растет, [и их] прославляют не за битвы с врагом, тигром или вепрем, но за успешный угон скота»⁶⁶.

К началу XX века барымта еще не покинула лексикона ни русских, ни казахов, но на практике она теперь означала благородное дело угона скота. Она по-прежнему была преступлением для России, хотя и не такой серьезной угрозой, как ранее, и по-прежнему была обычаем для казахов, но только в той мере, в которой служила выражением мести. Семантически барымта по-прежнему ассоциировалась с возмездием; на практике ее цель сместилась от открытой демонстрации последствий несправедливости до тайного акта, заявляющего о героизме и славе преступника. Пока месть оставалась мотивом, она находила свой конец в себе самой. Результатом стало то, что по внешнему обличью барымта превратилась теперь всего-навсего в воровство. Этот сдвиг произошел не только в русских источниках, склонных разъяснять преступную сущность барымты, но и в голосах самих казахов, звучащих со страниц русских источников, которые пытались оправдать воровство указанием на то, чем традиционно была барымта прежде: ненаказуемым обычаем, оправданным актом возмездия. Что же вызвало этот сдвиг и почему воровство стало теперь приемлемым для казахов?

Под колониальным управлением в казахскую культуру были принесены тонкие, но важные перемены. В период после 1868 года, и особенно в последние два десятилетия века, поиск казахами способов разрешения споров друг с другом разворачивался на правовой арене, которая была плюралистической, но и была наводнена столькими проблемами, что отыскать справедливое решение было трудно. Ни адат, ни российская система не функционировали эффективно, как мы сможем увидеть ниже⁶⁷. В системе казахской кочевой культуры, где личная и клановая честь должны

были поддерживаться, казахи продолжали полагаться на возмездие путем барымты.

Чтобы объяснить неэффективность адата в конце XIX века, мы должны обратить внимание прежде всего на ослабление авторитета бия. Как мы уже видели, в доколониальный период оспаривание судебного решения бия часто оправдывало применение барымты как легально санкционированного самосуда; оспаривание самого авторитета не было чем-то новым. Но с введением российских правовых норм в Степное положение 1868 года, это оспаривание стало более обычным явлением; случаев его становилось все больше. Со вступлением в действие Положения 1868 года бий (называвшийся по Положению 1891 года «народным судьей») официально избирался на трехлетний срок. Судья был обязан поддерживать догмы и принципы обычного права, за исключением тех случаев, когда они вступали в конфликт с политическими и правовыми принципами колониального режима. Местные русские чиновники имели право объявлять выборы бия недействительными, если они считали, что цели колониального режима (или их личной власти) скомпрометированы данным выбором. Местные чиновники таким образом стремились поддержать политически уступчивых биев, которыми не всегда оказывались люди, наилучшим образом знавшие обычное право. Все в большей и большей степени «лучшие люди... удалялись с выборных постов, сменяясь людьми с сомнительной репутацией»⁶⁸. В результате получение места бия превращалось в битву между жаждущими власти, а не выбором наиболее уважаемого судьи⁶⁹. Несовершенства избирательной системы были полностью очевидны всем, кто пытался обращаться к судам бия; люди начали избегать их путем обращения в российские суды. Но обращение к российской системе было юридически оправданным только в случаях иска на определенную сумму или в случае брачно-семейных споров (действительно, женщины начали обращаться в российские суды, чтобы те помогли им избежать готовящегося брака, а дела о наследстве направлялись в колониальную администрацию в тех случаях, когда наследники жаловались, что бий не решил дела справедливо, в соответствии с законами шариата)⁷⁰. Тем не менее жалобы переполняли канцелярии уездных и областных чиновников. Многие из этих дел направлялись на повторное слушание в суд бия или на съезд биев, и историку трудно проследить их исход.

Однако не все казахи прибегали к помощи российской правовой системы. По-прежнему доступным как альтернатива для решения споров был приговор уважаемого старейшины аула или клана. Действительно, мы можем доказать, что для казахов, ищущих справедливости, существовали два суда первой инстанции: суд официального бия и суд «реального» бия⁷¹, который российские ученые-правоведы называли судом аксакалов или третейским судом⁷². Должным ли образом функционировала эта традиционная форма решения споров в эпоху колониального правления? Если да, то мы можем доказать, что казахи были способны искать справедливости и гарантированного возмещения ущерба в пределах своего собственного сообщества, вне колониального контекста, независимо от попыток местных русских чиновников направлять их в «официальные» суды. Крайне трудно рассуждать об этом вопросе, потому что у нас не имеется записей дел, слушавшихся в устном «суде аксакалов». Мы имеем лишь некоторые свидетельства, которые могли бы помочь нам сделать выводы о том, насколько широко распространенным оставалось доверие к старейшинам клана. Учитывая, что тогда повсеместно отмечалось полное крушение клановой структуры в результате административного деления земель кочевников, могло быть так, что старейшины теряли основу своей власти в клане и тем самым прекращались и обращения к ним как к знающим, вызывающим доверие судьям. Из архивных документов, тем не менее, мы можем уверенно сделать вывод о том, что казахи настойчиво обращались в официальные суды — в народный суд, к уездному начальнику и даже к генерал-губернатору в Омске. Из судебных дел и слов официальных наблюдателей выясняется также неспособность российской системы обеспечить казахам ту справедливость, которую они искали в колониальных учреждениях.

А.К. Гейнс, член Степной комиссии 1865 года и губернатор Тургайской области в 1870-х годах, в 1878-м написал резко критический отзыв о колониальной администрации и ее способности удовлетворять как казахским нуждам, так и российским целям. Хотя, бесспорно, создавая этот документ, он был лояльным правительственным чиновником, который оправдывал «европеизацию» кочевников, приучение их к оседлому образу жизни, привнесение порядка в степную жизнь. Гейнс хотел, чтобы эти цели дости-

гались способами, которые не отдаляли бы кочевников от российских имперских идеалов. Его очерк был предостережением в адрес местных чиновников, которые толкают казахов на «степной самосуд, или баранту»⁷¹. Пункт, который он отметил, нашел отзвук и в судебных делах: например, один особенно запутанный земельный спор перерос в случай взаимной барымты, в то время как противоборствующие стороны ждали решения их дел вначале со стороны уездного начальника, а затем — военного губернатора⁷⁴. Явным образом казахи не питали слепого доверия к российской колониальной системе. Как гласила казахская поговорка, «Солжешь русскому — отвяжешься от него» («Орыска ётирик айтсанг, кутыласынг»). На это Байтурсынов замечает: «Если русские чиновники были справедливыми и действовали правильно, откуда же произошла такая поговорка?»⁷⁵. Казахи рассматривали альтернативу обращения в российский суд как прагматический шаг, часто как последнее средство (и такое, которым по временам можно было манипулировать к своей выгоде), но не как спасительное прибежище в поисках справедливости.

Хотя Степное положение 1868 года обеспечило казахам возможность обращаться к российской судебной системе на самых различных уровнях, по самым различным делам, многие дела оставались нерешенными, и справедливость для казаха-кочевника оставалась неуловимой. Причин тому было несколько. Степной район был плохо укомплектован штатами чиновников, и штат, ответственный за судебные дела казахов, был незнаком с законами адата, которых хотели придерживаться истцы-казахи⁷⁶. Высокопоставленные чиновники демонстрировали в преобладающем большинстве недостаток знаний о коренных народах, вверенных их попечению⁷⁷. Местные же чиновники, по свидетельству многих наблюдателей, вмешивались в ход судебного разбирательства, процедуру выборов, вынесение приговоров, влияя на решения и нарушая предполагаемый законный ход дела. Независимо от внимания, которое уделялось этой системе со стороны царских чиновников, казахи сами считали российскую юстицию слишком труднодоступной, поскольку они едва ли знали ее законы или процедуры, не говоря уже о языке⁷⁸. Гейнс дошел даже до заявления, что казахи «отрицали возможность установления их собственных жизненных прав через хорошо организованный суд»⁷⁹.

Если подобный сценарий точно отражает попытки казахов Среднего жуза отыскать справедливость в последней четверти XIX века, то для них вполне логично было взять правосудие в свои собственные руки. Закон не действовал, поэтому надо было действовать в обход закона. Тем не менее, как я доказала, брать правосудие в свои собственные руки, предпринимать барымту как акт возмездия, принимать личное решение увести чьих-либо овец после того, как их владелец отказался уплатить калым полностью, не означало забвения обычая; скорее, это означало усиление обычной практики поддержания своей чести и престижа своего сообщества. Необходимость поддерживать свою честь перевешивала желание поддерживать справедливость в атмосфере, где система, воздвигнутая для охраны справедливости, не функционировала. В то время как прежде барымта была легитимной, только если она предпринималась определенным образом, теперь она просто совершалась так, как считал нужным отдельный человек (вместе со своим кланом или без него).

В этой обстановке беспорядка, дополнительно осложненной драматическими переменами в последнем десятилетии века, когда славянские поселенцы стали вторгаться на земли кочевников и на пути их кочевий, образ героя приобрел новое значение. Ключевым понятием стало теперь выживание. Прославлялся тот кочевник, который мог поддержать свою честь и честь своего клана перед лицом серьезной угрозы кочевому существованию, и барымта как героическое деяние нашла широкий резонанс в воображении степных кочевников. Один шестидесятилетний бывший барантач описывал барымту как «защиту прав и интересов своего клана, где девизом было „око за око, зуб за зуб“, где месть считалась не только правом, но и обязанностью, где права сильного не имели границ... Успешная баранта приносила гордую славу предприимчивому наезднику»⁸⁰. Русские наблюдатели часто замечали, что барымта была тем материалом, из которого делали героев. Румянцев описывал батыров как людей, бывших «влиятельными благодаря храбрости и проворству в рейдах и грабежах (барантах)»⁸¹. Гейнс сравнивал уважение, оказывавшееся удачливому барантачу, с тем, которое оказывалось участникам дуэли⁸². Ученый-юрист А.А. Леонтьев заметил в 1890 году, что барымта была «продуктом степной жизни». «Еще до сих пор... [киргиз] считает

своим долгом отомстить своему врагу „барантой“, или угоном скота... Баранта и в настоящее время имеет в глазах киргиз что-то привлекательное, „молодеческое“. Недаром песнь народная воспекает молодеческие набеги барантачей, и подвиги их приобретают широкую известность в степи!»⁸³

Одним словом, даже в конце столетия барымта была деянием, которое создавало батыров и фольклорных героев степи; только теперь эти герои были ворами. Барымта по-прежнему представлялась русским, которые пытались управлять этим регионом, угрозой стабильности в степи, и теперь она воспринималась как демонстрация того, что честь казахов может существовать бок о бок с российским правосудием. Помимо всего прочего, барымта как возмездие была героическим деянием, будь то в культурном контексте легитимных альтернатив решению споров или в колониальном контексте поддержания чести, когда отстоять честь было нельзя никаким иным способом.

В этой работе я доказала, что в то время как практика барымты продолжала существовать, приспособившись к новому колониальному контексту, казахское культурное понимание важности чести, справедливости и возмездия оставалось тем же самым. Изучение барымты показывает, что колонизация принесла колонируемым новые правовые структуры, но не обязательно новое восприятие права. В течение XIX века введение колониальной судебной корпорации в казахской степи представляло собой отдельную попытку управлять этой приграничной территорией на более эффективном и упорядоченном образом. Разрешение коренному населению сохранять свое обычное право в форме, приспособленной к российской системе, было одной из стратегий таких попыток. Порядок мог быть утвержден, если новшества приносились постепенно. С другой стороны, цели русификации в правовой сфере не могли быть достигнуты, доколе правосудие в рамках российской правовой системы оставалось недостижимым для среднего казахского кочевника. Таким образом, казахский обычай означал, что, если правосудия нельзя добиться от людей, которые представляют живой закон страны, на обиженного возлагается обязанность взять правосудие в свои собственные руки.

Я также показала, что в то время как «обычай» был непреходящей ценностью кочевого образа жизни казахов Среднего жуза, то конкретный смысл обычая и его действие на данном временном отрезке могли быть адаптированы к меняющемуся социальному контексту. Барымта пережила колониальное вмешательство, поскольку она поднялась до статуса оплота чести, который не требовал правовой санкции, если та была недостижима. В ином смысле барымта пережила колониальное вмешательство, поскольку имперские власти оказались бессильны с нею бороться. Россия не могла обеспечить альтернативы самосуду в рамках системы, которая в лучшем случае функционировала неэффективно. Вместо этого Россия объявила преступлением акт, которого в действительности не понимала, и тем самым приписала этому акту множественные значения, обсуждая проблему его искоренения. Российские чиновники пытались сделать барымту наказуемой и отдавать совершивших ее преступников под суд, но в этих попытках упускали из виду тот факт, что это действие имеет культурное значение, которое не так-то просто поставить вне закона.

Выживание барымты как обычая кочевников демонстрирует одновременно пределы политической власти и способности колониального контекста определять культурные ценности коренных жителей степи. В семантическом плане барымта была колонизирована имперскими имиджмейкерами и была использована для того, чтобы представить кочевников как преступников. На практике барымта продолжала существовать как акт, который представлялся тем, кто его предпринимал, достойным и героическим — а это были основополагающие качества патриархального кочевого образа жизни. В этом колониальном столкновении казахи Среднего жуза не позволили сфабриковать свою культурную идентичность с помощью имперских мошеннических уловок, и в то же время они были вынуждены выработать новые способы выражения своей идентичности как колонизированные подданные Российской империи. Столкновения вокруг обычая барымты демонстрируют, что казахи не принимали колониальное правление пассивно, не сопротивлялись ему открыто, но активно взаимодействовали с ним, вырабатывая для себя уровень понимания, который мог бы обеспечить выживание их культуры в заданных ей границах.

Примечания

1 Устав о сибирских киргизах // Полное собрание законов Российской империи [далее — ПСЗРИ] / Изд. 1-е. Т. 38. № 29172, 22 июля 1822 года. Текст приводится в приложении к изд.: *Левшин А.И.* Описание Киргиз-Казачьих или Киргиз-Кайсацких орд и степей. СПб., 1832. Т. 3. С. 243–301. В новом административном контексте термин «сибирские киргизы» использовался для обозначения казахов Среднего жуза, в противопоставление казахам Младшего жуза, которых называли «оренбургские киргизы». После 1868 года территориальные определения были отброшены и все казахи стали просто называться «киргизами» Младшего, Среднего или Старшего жуза; это обозначение сохранялось до большевистской революции. Я сфокусировала в этой главе свое внимание на казахам Среднего жуза, определив его в соответствии с российскими административными описаниями, чтобы обеспечить своему исследованию работоспособную структуру. Хотя не все казахи Среднего жуза мигрировали в пределах границ, установленных колониальным режимом, большинство из них находились на территории, управлявшейся из Омска. Поэтому практически все архивные и большинство этнографических источников, цитируемых здесь, относятся к этой территории.

2 Для проведения в жизнь законов на территории степи в XVIII веке были созданы по меньшей мере два судебно-административных органа, хотя эта и другие попытки правового контроля над коренным населением степи были направлены большей частью на казахов Младшего жуза, чьи летние пастбища были в тесном соседстве с Россией и чьи частые межродовые распри и стычки с казаками (в числе прочих) из-за земли и влияния препятствовали торговле в данном регионе. Этими органами были Пограничный суд, созданный в 1784 году, и Оренбургская комиссия пограничных дел, созданная в 1799 году. Ни один из них не оказался эффективным в решении споров или в установлении стабильности и мира в регионе (см.: *Левшин А.И.* Указ. соч. С. 276–280; *Крафт И.И.* Судебная часть в Туркестанском крае и степных областях. Оренбург, 1898. С. 36–39). Иные судебные структуры на территориях Младшего жуза не создавались вплоть до 1828 года.

3 Устав 1822 года, ст. 293; *Левшин А.И.* Указ. соч. С. 296; Материалы по истории политического строя Казахстана. Алма-Ата, 1960. Т. 1. С. 260; *Крафт И.И.* Указ. соч. С. 2, 24, 40–41.

4 *Абдурахманов Б.М.* Разработка М.М. Сперанским «Устава о сибирских киргизах» 1822 года и социально-политические институты Казахского общества // Вестник Московского университета. Сер. История. 1991. № 4. С. 49–58; *Добромыслов А.* Заботы императрицы Екатерины II о просвещении киргизов // Труды Оренбургской ученой архивной комиссии. Оренбург, 1902. Вып. 9. С. 51–63; *Raeff M.* *Siberia and the Reforms of 1822.* Seattle, 1956.

- 5 Устав 1822 года, ст. 287. См.: *Левшин А.И.* Указ. соч. С. 294.
- 6 *Ибрагимов И.И.* Заметки о Киргизском суде // Записки Русского географического общества по отделению этнографии. 1878. № 8. С. 235.
- 7 Центральный государственный архив Казахстана [далее – ЦГАКаз]. Ф. 345. Оп. 1. Д. 1608. Л. 15.
- 8 *Валиханов Ч.Ч.* Записки о судебной реформе // Валиханов Ч.Ч. Собр. соч.: В 5 т. Алма-Ата, 1985. Т. 4. С. 96.
- 9 ЦГАКаз. Ф. 15. Оп. 1. Д. 1862. Л. 2; *Красовский.* Область сибирских киргизов. СПб., 1868. Т. 3. С. 14.
- 10 *Ибрагимов И.И.* Указ. соч. С. 235.
- 11 *Максимов Н.* Народный суд у киргизов (суд биев) // Журнал юридического общества. 1897. № 7. С. 65.
- 12 *Изразцов Н.* Обычное право («адат») киргизов Семиреченской области // Этнографическое обозрение. 1897. № 4. С. 19.
- 13 *Ибрагимов И.И.* Этнографические очерки киргизского народа // Русский Туркестан: Сборник, изданный по поводу политехнической выставки. М., 1872. Вып. 2. С. 133–134.
- 14 Чокан Валиханов добавляет, что барымта должна проводиться «втайне», но в течение трех дней должно быть объявлено, что скот был уведен как «барымта» по определенной причине. См.: *Валиханов Ч.Ч.* Указ. соч. С. 97.
- 15 *Гродеков Н.И.* Киргизы и каракиргизы Сыр-Дарьинской области. Т.1: Юридический быт. Ташкент, 1889. С. 170–171.
- 16 *Смирнова Н.С.* Казахская народная поэзия. Алма-Ата, 1967. С. 29.
- 17 *Культелеев Т.М.* Уголовное обычное право казахов. Алма-Ата, 1955. С. 248.
- 18 *Ибрагимов И.И.* Заметки о Киргизском суде... С. 236. Также см.: ЦГАКаз. Ф. 15. Оп. 1. Д. 85. Л. 5.
- 19 *Левшин А.И.* Указ. соч. С. 182.
- 20 *Леонтович Ф.И.* Адаты киргизских горцев: Материалы по обычному праву северного и восточного Кавказа. Одесса, 1882. С. 18.
- 21 «Сохранялся принцип талиона: „за кровь мстить кровью, за увечье – таким же увечьем“» (цит. по-английски: *Riasanovsky V.A.* Customary Law of the Nomadic Tribes of Siberia. Bloomington, 1965. P. 9 <= Indiana University Publications, Uralic and Altaic Series. Vol. 48>). Дополнительные сведения о «Жети Жаргы» см.: *Султанов Т.И.* «Семь установлений» – памятник права казахов XVII в. // Страны и народы Востока. М., 1980. Вып. 22. С. 252–262.
- 22 *Гродеков Н.И.* Указ. соч. С. 142.
- 23 Там же. С. 141.
- 24 *Geertz C.* Local Knowledge: Fact and Law in Comparative Perspective // *Geertz C.* Local Knowledge: Further Essays in Interpretive Anthropology.

N.Y., 1983. P. 167–234; *Bourdieu P. Outline of a Theory of Practice*. Cambridge, 1977. P. 17. Казахское обычное право легко сопоставляется с обычным правом других кочевых и земледельческих народов, включая русских крестьян. Из недавних западных исследований по обычному праву русских крестьян см., напр., серию статей и дискуссию М. Левина, К. Воробек, Дж. Ейни и М. Конфино (M. Lewin, C. Worobec, G. Yaney, M. Confino) в журнале *Russian Review* (1985. Vol. 44. P. 1–43). См. также: *Worobec C. Horse Thieves and Peasant Justice in Post-emancipation Imperial Russia // Journal of Social History*. 1987. Vol. 21. P. 281–293; *Frierson C. Crime and Punishment in the Russian Village: Rural Concepts of Criminality at the End of the 19th Century // Slavic Review*. 1987. Vol. 46. № 1. P. 55–69. Пример огромного массива литературы по обычному праву, созданной антропологами-африканистами, см.: *Moore S.F. Social Facts and Fabrications: “Customary” Law on Cilimanjaro, 1880–1980*. Cambridge, 1986.

25 Левшин А.И. Указ. соч. С. 276.

26 *Raeff M.* Op. cit. P. 104.

27 Материалы по истории политического строя Казахстана... С. 111.

28 Уставы 1822 года послужили обособлению казахов Среднего жуза от Младшего и Старшего жузов. Тем не менее в реальности они были обособлены друг от друга лишь в той степени, в какой российские административные границы совпадали с естественным разделением между жузами. Более того, административные границы, идентифицировавшиеся с территориями различных жузов, игнорировали тот факт, что пути сезонных миграций части Младшего и Среднего жузов пролегали по Сырдарьинской области (которая до 1865 года даже не была частью Российской империи), Старшего жуза – по северу Семипалатинской области и т.д. Административные границы, вероятно, не могли точно отражать размещение жузов и кланов, учитывая, что некоторые из них пересекали огромные территории от летних до зимних пастбищ.

29 Материалы по казахскому обычному праву. Сб. 1 / Под ред. С.В. Юшкова. Алма-Ата, 1948. С. 29. Не вполне ясно, почему эта версия адата никогда не была опубликована и никогда не стала доступной для местных чиновников. Тем не менее из замечаний Омского комитета 1824 года ясно, что он намеревался полностью переработать казахский «кодекс» так, чтобы приноровить его к российским законам того времени. Таким образом, представляется, что обеспечение местных российских чиновников кодексом казахских правовых обычаев могло вступить в противоречие с задачей комитета -- внести изменения в эту версию адата. Замечания комитета см.: Материалы по казахскому обычному праву... С. 31–69.

30 Устав 1822 года, ст. 219; см.: Левшин А.И. Указ. соч. С. 282.

31 Валиханов Ч.Ч. Указ. соч. С. 89, 90, 97–98.

32 Российский государственный исторический архив [далее — РГИА]. Ф. 1291. Оп. 82 (1865 г.), Д. 5а, 5б, 5с.

33 Согласно этому положению, Оренбургское генерал-губернаторство было разделено на Уральскую и Тургайскую области, а область сибирских киргизов — на Акмолинскую и Семипалатинскую области. Эти границы подчеркнули существовавшее ранее приблизительное разделение казахов Младшего жуза на две западные области, а казахов Среднего жуза — на Акмолинскую и Семипалатинскую. (Старший жуз обитал большей частью в Семиреченской области, находившейся до 1882 года под административным контролем властей Туркестанского края.)

34 Временное положение об управлении в Уральской, Тургайской, Акмолинской и Семипалатинской областях // ПСЗРИ / 3-е изд. Т. 38. № 46380.

35 Материалы по истории политического строя Казахстана... С. 332.

36 Там же. С. 331–332.

37 Там же. С. 332.

38 В этом исследовании барымты как правового выбора из анализа будет полностью исключена одна величина — исламское право. Тем не менее оно сложным образом было вплетено в ткань обычного права. Если кто-либо захочет предпринять исследование правил адата и их применения, зафиксированного в источниках XIX века, он сможет найти прямые доказательства того, что моральные предписания и принципы базировались на понимании шариата.

39 Материалы по истории политического строя Казахстана... С. 334.

40 Положение об управлении Акмолинской, Семипалатинской, Семиреченской, Уральской и Тургайской областями // ПСЗРИ / 3-е изд. Т. 11. № 7475.

41 *Леонтьев А.А.* Реформа управления и суда в сибирских степях // Юридическая летопись. 1892. № 7. С. 22.

42 Временные правила о применении судебных уставов к Туркестанскому краю и степным областям // ПСЗ / 3-е изд. № 15439, 2 июня 1898 года.

43 *Гродеков Н.И.* Указ. соч. С. 22.

44 *Валиханов Ч.Ч.* Указ. соч. С. 96.

45 ЦГАКаз. Ф. 338. Оп. 1. Д. 302: «Переписка с генерал-губернатором Западной Сибири, Омским областным судом и др. о палате тюленгутов и детей хана Валиева на Балта-Киреевскую волость с целью баранты».

46 См., например: ЦГАКаз. Ф. 4. Оп. 1. Д. 3953: «Дело о взаимной барымте между казахами Оренбургского и Сибирского ведомств» (1863); ЦГАКаз. Ф. 369. Оп. 1. Д. 3558: «По предложению Степного генерал-губернатора о принятии мер к удержанию от барант и грабежей казахов Анакульской волости Атбасарского уезда» (1896–1897); и в других архивах,

включая Государственный архив Омской области. Ф. 3. Оп. 10. Д. 16454: «По представлению военного губернатора Семипалатинской области о банте и грабеже между киргизами Аркатской волости... отнял денег 225 р. и одежду... лошадей... и верблюдов».

47 Левшин А.И. Указ. соч. Т. 2. С. 195, 270.

48 Корреспонденция из Кокпекты // Сибирская газета. 1886.

№ 45. С. 1309.

49 РГИА. Библиотека. Оп. 1. Д. 91. Л. 90.

50 РГИА. Ф. 1284. Оп. 69 (1873 г.). Д. 283. Л. 86.

51 Grigorief V. The Russian Policy regarding Central Asia: An Historical Sketch // Schuyler E. Turkestan. London, 1876. Appendix IV. P. 411.

52 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1955.

53 Там же. Т. 1. С. 47.

54 Материалы по истории политического строя Казахстана... С. 183-184.

55 Гродеков Н.И. Указ. соч. С. 14; Маковецкий П.Е. Материалы для изучения юридических обычаев киргизов // Материалы по казахскому обычному праву... С. 275; Жиренчин К.А. Реформы управления 60-х годов XIX века в Казахстане и их политические и правовые последствия. <Дисс. ... канд. ист. наук. Алма-Ата, 1979>. С. 46.

56 Гейнс А.К. Мотивы к временной инструкции уездным начальникам Тургайской области и соображения по управлению киргизами. Оренбург, 1878. С. 74.

57 РГИА. Библиотека. Оп. 1. Д. 91. Л. 90.

58 Маковецкий П.Е. Указ. соч. С. 283.

59 Левшин А.И. Указ. соч. С. 170.

60 Культелеев Т.М. Указ. соч. С. 248.

61 Валиханов Ч.Ч. Указ. соч. С. 97.

62 ЦГАКаз. Ф. 345. Д. 1608. Л. 14 - 15, 22 - 23.

63 Байтурсынов А. Мынг бир макал // Юлдыз. 1993. № 2. С. 31.

64 Труды частного совещания, созванного 20-го мая 1907 года Степным генерал-губернатором по вопросам о нуждах киргизов Степного края. Омск, 1908. С. 47.

65 Киргизская степная газета. 1900. 2 апреля. № 12. С. 3. Что касается защиты воров, то это хорошо вписывалось в тот контекст, когда казахи крали лошадей у русских в борьбе с новыми поселенцами за скудные ресурсы. Лошади обладали рыночной ценностью, которой не имел другой домашний скот, и конокрадство было мотивировано экономической необходимостью. Таким образом, можно интерпретировать защиту конокрадов как культурную приемлемость воровства, только если эти действия были направлены против русских; это можно рассматривать как форму

сопротивления российскому колониальному правлению, а не как форму возмездия, — то был мотив барымты. Например, Маковецкий писал о «закоренелых конокрадах» (Материалы по казахскому обычному праву... С. 280). Ясно, что здесь смешивались два отдельных типа воровства. Более широкое изучение изменений, произошедших в казахской культуре под российским владычеством, должно будет сопровождаться и более глубоким обращением к этим вопросам.

66 *Маковецкий П.Е.* Указ. соч. С. 276.

67 И снова я оставляю до другого случая анализ важности исламского права в конце XIX века. Я только хотела бы заметить, что некоторые наблюдатели констатировали рост его применения в среде казахов. Крафт, например, доказывал, что шариат стал набирать силу как прямой результат неэффективности народного и российского судов. См.: *Крафт И.И.* Указ. соч. С. 91–92.

68 *Леонтьев А.А.* Указ. соч. С. 24.

69 *Леонтьев А.А.* Обычное право киргиз. Судостроительство и судопроизводство // Юридический вестник. 1890. № 5. С. 125.

70 См., например: ЦГАКаз. Ф. 345. Оп. 1. Д. 453; Ф. 369. Оп. 1. Д. 1868; Госархив Омской области. Ф. 3. Оп. 9. Д. 14797.

71 Киргизский суд и присяга // Восточное обозрение. 1884. № 19. С. 8.

72 *Сабатаев С.* Суд аксакалов и суд третейский у киргизов Кустанайского уезда Тургайской области // Этнографическое обозрение. 1900. № 3. С. 66–72.

73 *Гейнс А.К.* Указ. соч. С. 64.

74 ЦГАКаз. Ф. 15. Оп. 1. Д. 1862.

75 *Байтурсынов А.* Ак джол: Оленгдер мен тезхимелер, публистикалык макалалар джане аедеби зерттеу. Алматы, 1991. С. 211.

76 *Крафт И.И.* Указ. соч. С. 64.

77 *Жиренчин К.А.* Указ. соч. С. 80.

78 *Ибрагимов И.И.* Заметки о Киргизском суде... С. 250–251.

79 *Гейнс А.К.* Указ. соч. С. 64.

80 Сибирский вестник. 1890. 15 апреля. № 42. С. 2.

81 *Румянцев П.П.* Киргизский народ в прошлом и настоящем. СПб., 1910. С. 17.

82 *Гейнс А.К.* Указ. соч. С. 72.

83 *Леонтьев А.А.* Обычное право киргиз... С. 139.

IV

ИМПЕРИЯ

И НАЦИОНАЛИЗМ

От составителей

Проблематика национализма занимает одно из ключевых мест в современных исследованиях истории Российской империи. Она так или иначе присутствует в целом ряде статей этой антологии. Но в особый раздел «Империя и национализм» включены четыре работы, из которых три — переводы с немецкого. Отчасти это сделано для того, чтобы подчеркнуть высокое качество и большой объем литературы по национализму, которая выходит в последние годы на немецком языке и с которой российский читатель знаком гораздо меньше, чем с английскими публикациями.

Первая статья написана Андреасом Каппелером — одним из наиболее заслуженных и вместе с тем продолжающих активно работать исследователей истории России как империи. Многие его работы переведены на русский, в том числе и *opus magnum* о Российской империи как полиэтническом государстве¹. В публикуемой статье Каппелер рассматривает национализм и процессы формирования наций у русских, белорусов, украинцев, грузин и мусульман Поволжско-Уральского региона. Особое внимание уделено в статье роли национализма в революционное десятилетие. В статье дан весьма подробный обзор новейшей литературы.

Среди методологических выводов автора выделим два. Во-первых, Каппелер подчеркивает, что «образование русской нации находилось в тесной взаимной связи с образованием наций и национальными движениями народов Российской империи». Это полезно помнить многим российским авторам, которые пытаются писать историю русских в рамках национального

нарратива, где проблемы империи и межэтнического взаимодействия игнорируются или отодвигаются даже не на второй, но на третий план.

Во-вторых, Каппелер приходит к заключению, что разработанные на материале Западной и Центральной Европы модели для описания и анализа национальных движений лишь отчасти подходят к России, где политическая сфера слишком долго была блокирована самодержавием. «Именно в данном случае, — подчеркивает он, — особенно плодотворными оказываются конструктивистские культурологические подходы».

Андреас Каппелер подготовил целый ряд учеников, которые сегодня уже зарекомендовали себя как сильные и оригинальные исследователи истории Российской империи. К их числу принадлежит и Андреас Реннер, работающий теперь в Кельнском университете. Реннер недавно издал весьма ценную книгу «Русский национализм и общественность в царской империи», в которой рассматривает бурное развитие публичной сферы в 1855–1875 годах². В этой статье он развивает некоторые идеи книги на более широком в хронологическом отношении материале, сосредоточив свое внимание на изобретении прошлого как важном элементе формирования национальной идентичности. Название статье дала цитата из Мандельштама: «Вспомнить — значит тоже изобрести, вспоминающий тот же изобретатель». Реннер подчеркивает, что в националистических системах взглядов определяющим является не то, что можно научно обосновать, а то, во что верят; в этом смысле нации представляют собой сообщества, «созданные волей и верой». В эпоху Великих реформ в России произошла «этнизация национализма» — общество обрело самосознание и представление о собственной значимости в качестве «русского» и национально-этнического. В результате всего этого с быстрым развитием средств информации, в особенности ежедневных газет, с середины 1860-х годов расширился круг «вспоминающей» интеллигенции (интеллигенции, активно воспринимающей и создающей национальную идентичность). Из элитарного дискурса «народность» как субъект переместилась в новую форму обыденной культуры. При этом национализм ни в коей мере не подчинялся воле режима: у русского национализма были весьма сложные и напряженные отношения с имперским патриотизмом. Автор считает, что

в дискурсивном плане трактовка прошлого русским национализмом близка к немецкому опыту и отличается от французского и британского.

Ульрике фон Хиршхаузен работает в Риге. Ее статья посвящена взаимодействию немцев, латышей и русских в этом городе во второй половине XIX и начале XX века. Фон Хиршхаузен показывает, как конструирование идентичностей у этих групп было обусловлено не только этническими, но также, причем иногда в решающей степени, социальными и политическими факторами: немцы были по преимуществу дворяне, латыши — крестьяне и представители низших городских слоев, а русские — имущие и образованные горожане. «Одновременность неодновременного» в названии статьи указывает как на разные уровни культурного развития, так и на сложное сочетание современных и традиционных элементов в идентификации каждой из групп. Бурный процесс формирования современной национальной идентичности у латышей использовал элементы традиционной крестьянской культуры. Немцы пытались создать особый региональный тип идентичности — «балтийский» (показательны названия «Балтийский ежемесячник», «Балтийский политехнический институт» и т.п.), опираясь на свою традиционную доминацию в администрации остзейских губерний, корпоративную солидарность. Лояльность по отношению к российской монархии сочеталась у немцев с сильнейшей неприязнью и презрением к русской бюрократии. Русские долгое время были совершенно пассивными и разобщенными в социально-политическом смысле, чувствовали себя чужаками. Будучи новичками в этом регионе, русские скорее делали акцент не на национализме, но на лояльности империи и идее равноправия наций. С 1860-х годов наметился альянс русских и латышей в общей борьбе против «немецкого засилья»; на рубеже XIX–XX веков его неожиданно сменил немыслимый прежде предвыборный альянс немцев и русских — во-первых, как те, так и другие опасались эксцессов нарастающего латвийского национализма, во-вторых, их объединяло участие в осуществлении «муниципального социализма» — социальной политики современного типа.

Статья демонстрирует возможности ситуационного подхода к изучению процессов идентификации не в рамках одной этнической группы, а через анализ структуры взаимодействия разных

этнических и социальных групп. Как и Каппелер, Хиршхаузен подчеркивает, что национальные идентичности отнюдь не всегда были доминирующим фактором. Стоит отметить, что статья выиграла бы от расширения контекста — то есть учета фактора объединяющей Германии, с одной стороны, и отношения к остзейским проблемам в имперских центрах, как на уровне бюрократии, так и на уровне общественного мнения.

Последняя из статей этого раздела написана американским исследователем Джоном Слокумом и уже довольно широко известна среди специалистов по истории Российской империи. Речь в ней идет о том, как менялось содержание знаменитого термина «иностранцы». Первоначально он был правовым и применялся к довольно узкому кругу лиц, но с течением времени получил в формировавшемся русском националистическом дискурсе весьма расширительную трактовку и использовался для обозначения всех нерусских. Слокум показывает, что такая националистическая трактовка в начале XX века постепенно вытесняла узкую правовую интерпретацию термина даже в административной сфере. Статья анализирует противоречия, возникавшие при применении термина «иностранцы» к различным этническим группам, в том числе евреям, полякам, немцам, украинцам, народам Поволжья.

Примечания

¹ *Kappeler A. Russland als Vielvölkerreich, Entstehung, Geschichte, Zerfall. München, 1992; Каппелер А. Россия — многонациональная империя: Возникновение, история, распад. М., 2000.*

² *Renner A. Russischer Nationalismus und Öffentlichkeit im Zarenreich, 1855–1875. Köln, 2000.*

АНДРЕАС КАППЕЛЕР

Образование наций и национальные движения в Российской империи

I Национальный вопрос в Российской империи

Национальный вопрос в Российской империи не получил до сегодняшнего дня достаточного внимания в международных исследованиях. Причина этого кроется в том, что, в отличие от империи Габсбургов и Османской империи, становление наций и национальные движения в империи Романовых протекали без театральности. Только небольшая часть национальных движений в период до 1914 года стали массовыми, и только поляки и отчасти финны ставили себе целью образование самостоятельного независимого национального государства. Старый режим был свергнут в первую очередь не национальными движениями, а обострившимися в результате Первой мировой войны социальными и политическими противоречиями в центре. Хотя после Октябрьской революции Россия и потеряла многочисленные области на периферии, большевикам все-таки удалось реинтегрировать большую часть территорий.

Невнимание к становлению наций и национальным движениям в царской империи объясняется еще и тем, что традиционное мышление долгое время затрудняло видение национальных феноменов. Это не всегда было так: например, Макс Вебер или Отто Хетч называли национальный вопрос одной из центральных проблем царской империи¹. Недооценка национального фактора получила далеко идущее влияние благодаря марксизму. Трактовка национализма как вторичной силы, производной от социальных противоречий буржуазного общества, до нынешнего дня характеризует отдельные высказывания на Востоке и Западе. Победа

интернационалистской большевистской рабочей партии еще более усилила убеждение в приоритете социальных факторов. Именно в Германии в отношениях с Восточной Европой по-прежнему присутствует ставшая очевидной еще при Марксе и Энгельсе надменность крупных наций по отношению к малым народам. Объединение крупных национальных государств, таких как Германия, считается прогрессивным, а сегрегационные движения малых наций, напротив, реакционным.

Самое позднее со Второй мировой войны национальный вопрос в Советском Союзе, и внутри страны, и за ее пределами, считался решенным. В СССР его исследование было табуировано, а на Западе мало кто этим интересовался. Советский эксперимент слияния наций в единое наднациональное сообщество людей — в «советский народ» — был встречен в Западной Европе, которая тоже стремилась к созданию наднациональных структур, с симпатией, а эмансипационные стремления отдельных наций Советского Союза, напротив, натолкнулись на непонимание.

Таким образом, национальные движения отдельных народов Советского Союза, стремительно возникающие с 1988 года, и связанный с ними развал империи оказались неожиданными. Теперь все 15 советских республик смогли провозгласить себя национальными государствами (более или менее стабильными) и утвердиться в этом качестве (по меньшей мере, на какое-то время). Драматические события 1988–1991 годов и возникшая вслед за этим необходимость заниматься новыми государствами и нациями заставили общественность, политиков и исследователей за рубежом обратиться к историческим предпосылкам, к процессам становления наций и национальным движениям в царской империи и в Советском Союзе. Со своей стороны, историографам новых постсоветских национальных государств было необходимо подтвердить легитимность молодых наций и государств с исторической точки зрения.

Внимание стали обращать на бросающиеся в глаза параллели между событиями последнего времени и 1917–1920 годами; в то же время подчеркивалось, что исторический контекст в начале и в конце «короткого XX века» фундаментально изменился. Исследователи сходятся в том, что национальные движения оказали существенное влияние на развал царской и советской империй. Но это явилось все-таки только вторым шагом после того, как пра-

ващий центр развалился или был существенно ослаблен изнутри. События в центре, Февральская и Октябрьская революции, горбачевская перестройка и августовский путч 1991 года, а не возмущение наций стали толчком к дезинтеграции обеих многонациональных империй. «Оба раза толчок исходил не от периферии, а от метрополии, оба раза импульс национальным силам дала агония центра»³. Национальные факторы поэтому не являются первичными причинами кризиса обеих систем. Этот тезис является исходным и в кратком емком обзоре Манфреда Хильдермайера⁴.

Вследствие всего вышесказанного в исследованиях, посвященных причинам русской революции, национальные факторы, как правило, остаются на втором плане. На это обратил внимание Альфред Рибер, когда постулировал, что широко признанное социально-историческое объяснение Леопольда Хаймсона должно быть путем включения региональных и этнических критериев преобразовано в многомерную модель⁵. Вышедшая в 1954 году монография Ричарда Пайпса, которая сосредоточивает внимание на периоде после 1918 года, до сегодняшнего дня является единственной попыткой такого синтеза. В классическом произведении о русской революции 1905–1907 годов Эйбрехема Эшера или в общем обзоре Манфреда Хильдермайера о периоде с 1905 по 1921 год национальный вопрос упоминается только вскользь и не используется при общей интерпретации феномена. Насколько мне известно, такую попытку впервые предпринимает Гельмут Альтрихтер в своем новом полном описании революции 1917 года⁶.

Исследователи по-прежнему концентрируют внимание на социальных проблемах царской империи, аграрном вопросе, рабочем движении и оппозиционной интеллигенции, которые рассматриваются как главные движущие силы революции. Здесь не преследуется цель принципиально оспорить эту точку зрения. Но, как представляется, данный вопрос ставится и ответ на него дается слишком одномерно. В дальнейшем я хотел бы указать на другие возможные постановки вопроса, в тезисной форме дать некоторые ответы и затронуть связанные с этим проблемы.

1. Господствующая интерпретационная модель двух ступеней революции не дает ответа на вопрос, почему национальные движения уже в революции 1905–1907 годов и впоследствии — особенно в 1917–1918 годах (и в 1988–1991 годах) — смогли так быстро

развернуться и иметь такое сильное мобилизующее действие, хотя до ослабления центра или до краха старого режима они, согласно господствующей точке зрения, не были силой, заслуживающей какого-либо внимания».

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно принять в расчет неблагоприятные предпосылки образования наций и национальных движений, которые имели место в Российской империи (раздел 2). Это изменилось только в 1905 и 1917 годах, когда пали или по меньшей мере были ослаблены правовые и политические оковы. Следовало бы переместить фокус внимания с центра на периферию империи и задаться вопросом о тех силах, которые сконцентрировались там к 1905 году, а также о процессах образования нации в репрессивных условиях царской автократии и о национальной мобилизации в изменившихся условиях первой русской революции (раздел 3).

2. Царская империя представляет собой уникальную для Европы картину структурной неоднородности и этнического многообразия: наличие, по данным переписи населения 1897 года, свыше ста языков; разнообразие мировых религий, таких как христианство (православная, католическая, протестантская и армяно-григорианская церкви), ислам, иудаизм, буддизм, язычество; соседство таких форм жизни и экономики, как промышленность и кустарничество, оседлые крестьянские хозяйства, кочевые хозяйства и восточное земледелие с системой искусственной ирригации, горное скотоводство, охота и собирательство⁷. Такое многообразие делает Российскую империю потенциальной экспериментальной площадкой для исследования национализма. По разным причинам здесь существует многообразие форм и типов, здесь одновременно обнаруживаются различные фазы становления наций и национальных движений. Российская империя как лаборатория национального — это могло бы дать возможность проверить разные подходы в теории национализма на новых предметах исследования.

В рамках данной статьи можно лишь обозначить это огромное многообразие, к тому же состояние теории и разработка источников находятся на очень разных этапах развития. После кратких общих замечаний приводятся отдельные случаи образования наций, которые были исследованы в последние годы прежде всего

молодыми немецкими историками с применением новых методологических и теоретических подходов. Мы не остановили свой выбор на примерах так называемого «нормального» восточноевропейского развития нации в Польше, Финляндии, Эстонии, Латвии и Литве, которые уже давно являются предметом научных исследований, но обратились к до сих пор обделенным вниманием феноменам украинцев и белорусов, грузин и мусульман Поволжско-Уральского региона и Закавказья, а также русских как основного народа государства. При этом нам также хотелось бы привести некоторые результаты новых исследований.

2 Условия образования наций в царской империи

В период с XVI по XIX век относительно единая в этническом плане Московская Русь стала империей многих народов. По результатам единственной всеобщей переписи населения 1897 года русские как «основной народ государства» составили всего лишь около 44% населения, в то время как украинцев насчитывалось 18%, поляков — 7%, белорусов — 5%, евреев — 4%, финнов, эстонцев и латышей вместе взятых — 5%, и мусульман Средней Азии, Кавказа и Поволжско-Уральского региона — около 12% населения. При этом, по мнению правительства и некоторых частей русского общества, украинцы и белорусы относились к «русской нации», которая в таком случае составляла значительное большинство (две трети) населения⁸.

При этом не очевиден тот факт, что в России еще в конце XIX века сохранялось такое большое этническое многообразие, что не удалось ассимилировать значительную часть нерусского этноса. Вопрос о причинах этого до сих пор едва ли ставился, не говоря уже об ответе⁹. Объяснение, вероятно, связано с феодальным и донациональным характером царской империи, в которой, с одной стороны, отсутствовали такие важные инструменты ассимиляции, как всеобщее обязательное школьное образование, высокая урбанизация, индустриализация и демократизация, а, с другой стороны, эта империя и в XIX веке продолжала держаться за традиционные принципы династии, избранного Богом правителя и его страны, за принцип сословий. Этнические и религиозные факторы играли, напротив, лишь

подчиненную роль, культурная русификация и форсированная цивилизующая миссия не были первичными целями российской политики. Вторым объяснением является недостаточная привлекательность ассимиляции в русском народе. Только вступление в дворянство давало привилегии, большинство же русских к концу XIX века состояло из экономически отсталых, брошенных центром, безграмотных людей без политических прав.

Экономические, социальные и политические отношения в царской империи в принципе мало способствовали становлению наций и национальных движений. Большинство элементов модернизации общества, которые Карл Дейч, Эрнест Геллнер и Бенедикт Андерсон считают предпосылками возникновения наций и национальных движений, были развиты слабо либо отсутствовали вовсе¹⁰. Это касается общих экономических, социальных и культурных условий (замедленная и неравномерная индустриализация и урбанизация, позднее освобождение крестьянства, массовая неграмотность, слабо развитое книгопечатание). Хотя Великие реформы 1860–1870-х годов дали определенные импульсы модернизации, социальная мобильность обществ(а) и его комплементарная коммуникация вне сословных и региональных границ даже в конце XIX века находились еще в зачаточном состоянии.

Еще бóльшим препятствием к становлению наций и национальных движений были политические условия царского самодержавия. До 1905 года у Российской империи не было конституции. Отсутствие гарантированных гражданских прав и свобод препятствовало действию таких решающих для становления нации факторов, как возникновение организаций (союзов, обществ), наличие коммуникативных сетей (прессы), проведение крупных собраний и манифестаций. Отсутствие массового участия в политической жизни, выборов, парламентских учреждений и легальных политических партий было дополнительной помехой политической мобилизации. Централизованная политическая система царской империи к тому же затрудняла процесс кристаллизации региональных идентичностей и интересов.

К таким структурным условиям добавилась «национальная политика» царской России. Национальные движения русских и нерусских своим демократически освободительным и сепаратистским потенциалом представляли опасность для авторитарной

монополии власти. С 1863 года постепенно ужесточается политика по отношению к западным пограничным областям, на первом этапе — с целью модернизации империи. Вековые традиции толерантности и сотрудничества с другими национальными элитами заменяются форсированной интеграцией и — все в большей мере — языково-конфессиональной ассимиляцией. Хотя такая политика русификации проводилась без определенной системы и плана, массовое подавление национальных языков и национальных школ значительно затрудняло становление наций. Хотя на короткое время цель поддержания спокойствия и порядка и была достигнута, все же такая непоследовательная национальная политика до некоторой степени имела дестабилизирующий эффект. Тем самым удалось затормозить пока еще слабые национальные движения — украинцев, белорусов и румын Бессарабии. Важнее, однако, было то, что нерусские элиты на западе и юге империи (поляки, прибалтийские немцы, шведы в Финляндии, армяне), которые были гарантами ее стабильности, теперь были отчуждены от царского режима. В свою очередь, и нерусские нижние слои общества (поляки, литовцы, финны, армяне, грузины), которые частично использовались в игре против верхних слоев, из-за насильственных мероприятий, направленных против неправославных церквей, и из-за ассимилирующей языковой политики стали мобилизоваться в национальном плане.

3 Национальные и социальные факторы революции 1905–1907 годов

Революция 1905 года и завоеванные ею уступки царского правительства (конституция с гарантией прав человека и гражданина, выборный парламент, более свободная национальная политика) почти по всей России привели к сильной социальной и политической мобилизации всех слоев общества и к запоздалой «весне народов»¹¹. Уступки правительства на первых порах дали возможность легального образования национальных организаций, в том числе национальных партий, а также развития национальной коммуникации и агитации. Кульминацией национальных манифестаций были школьные забастовки и возрождение национальных

партий в Польше, массовые собрания национальных организаций финнов, эстонцев, латышей и литовцев, а также акции армянских дашнаков в Закавказье¹².

Но и представители интеллигенции слабо мобилизованных крестьянских народов на западе и востоке империи теперь тоже предъявили национальные требования и основали национальные организации. Выход первых периодических изданий на родном языке и выступления целого ряда специфических национальных организаций и партий были особенно важны для украинцев, которые сильно пострадали от репрессивной национальной политики. Примечательно, что в неблагоприятных условиях интеллигенция даже таких социально слабо дифференцированных групп, как белорусы, чуваш и черемисы (мари) Поволжского региона, осетины на Кавказе, якуты и буряты Сибири, предъявила культурные и политические требования и основала периодические издания на родном языке и национальные организации. Однако следует заметить, что относительно большие свободы с 1907 года снова ограничиваются, что вновь мешает повсеместной широкой национальной мобилизации.

В национальных движениях народов царской империи, которые к 1905 году находились на разных стадиях своего развития, проявляется «одновременность неодновременного»: от массовых национальных движений поляков и финнов, которые уже стремились к созданию независимого национального государства, массовых движений эстонцев, латышей, литовцев и армян, которые предъявляли единые культурные и умеренные политические требования, от элитного в основе своей национализма украинцев, мусульман и грузин до национально-культурных манифестаций отдельных представителей интеллигенции слабо мобилизованных крестьянских народов на востоке и западе. Между тем необходимо учитывать тот факт, что, независимо от различий в степени национального становления, почти все этнические группы империи были национально мобилизованы во время «весны народов» в 1905–1907 годах. Это была (пусть даже не в ленинском понимании) генеральная репетиция «весны народов» 1917–1920 годов, когда крушение центральной власти дало возможность для значительно более сильной и более радикальной национальной мобилизации, которая привела к отде-

лению (зачастую временному) большинства периферийных областей от России.

Национальные движения в 1905–1907 годах преследовали в основном культурные цели, а их умеренные политические требования не носили разрушающего систему характера. В связи с этим возникает вопрос о том, имела ли бурная социальная революция на периферии империи национальные элементы.

Сначала следует констатировать, что в акциях протеста крестьян и рабочих в ходе революции 1905 года виден явный недостаток исследованный историками перевес периферии по отношению к центру. Еще до революции, в 1902–1903 годах, самые сильные крестьянские волнения проходили не в этнической России, а на Украине¹³. В ходе самой революции крестьянские движения в отдельных периферийных областях империи имели более глубокие корни, отличались более насильственным характером и более сильной политизацией, чем в центральных районах России¹⁴. На петербургское Кровавое воскресенье в январе 1905 года нерусские крестьяне отреагировали значительно быстрее, чем русские. Латышские и эстонские земледельцы и крестьяне уже с марта массово восстали против прибалтийских немецких помещиков и пасторов¹⁵. Крупные забастовки украинских земледельцев, занятых на угодьях польских, русских и русифицированных украинских помещиков, потрясли в начале лета Правобережную Украину¹⁶. В последние месяцы 1905 года аграрные выступления на Украине, в Прибалтийских губерниях и в Западной Грузии, а также одновременно среди русских крестьян Черноземья достигли своей кульминации.

С подобным протестом выступили и рабочие. Уже в конце XIX века городские волнения преобладали в западных областях империи: из 59 уличных демонстраций 1895–1900 годов лишь три состоялись в Центральной России¹⁷. В первые годы XX века городские волнения концентрируются в Закавказье, особенно в Баку, на Украине и в Царстве Польском. Хотя массовые забастовки и кровавый итог массовых демонстраций 9 января 1905 года в Петербурге и дали толчок к революции, рабочие периферии отреагировали быстрее и сильнее, чем российский центр. Уже в январе в Царстве Польском прошли массовые демонстрации и кровавые столкновения, которые многократно повторялись в последующие месяцы¹⁸. Рабочие Лифляндии и Закавказья с января 1905 года

постоянно организовывали новые забастовки и массовые демонстрации. Рабочие российского центра, за исключением Петербурга, однако, всегда опаздывали. Но осенью, во время всеобщей стачки, ставшей кульминацией революции, вначале именно они были определяющей силой. И лишь в дальнейшем забастовочные движения в Царстве Польском, в Лифляндии и в Закавказье вновь приобрели бóльшую интенсивность, чем в России.

Тот факт, что революция крестьян и рабочих в отдельных периферийных регионах империи проходила более интенсивно и в более насильственных формах, чем в собственно России, сам по себе еще ничего не говорит о силе национальных факторов. Бóльшую силу революции в Польше, Лифляндии и в Баку можно объяснить и тем, что эти регионы были более индустриализованы, чем многочисленные регионы России. Именно в этих областях и национальные движения поляков, латышей и армян уже приобрели массовый характер.

По трудному вопросу о весомости социальных и национальных факторов в российской революции Рональд Григор Суни приводит ценные методологические размышления¹⁹. Он рассматривает категории «класс» и «национальность» (*class* и *nationality*) как принципиально равноположенные и напоминает о том, что обе они не являются объективными, тем более вечными историческими силами, а представляют собой социальные и интеллектуальные конструкты, воображенные группы с воображенными традициями. Концепт горизонтальной интеграции класса или социальных групп, их отграничения и социальной эмансипации конкурирует с концептом вертикальной интеграции национального общества, его отграничения и политического самоопределения. Оба концепта выступали с претензией на замену отжившего сословного принципа царской империи. В исторической реальности же социальная и национальная эмансипация смешались. Они могли взаимно нейтрализоваться, либо использоваться в игре друг против друга; когда рушились этнические и социальные границы, они, как правило, взаимно усиливались.

Предпосылкой этого были сложная социально-этническая структура Российской империи и обусловленные ею антагонизмы. Тогда как в центре русские доминировали во всех социальных слоях, на периферии этнические и социальные границы часто сов-

падали. При этом региональные элиты лишь в меньшинстве своем состояли из русских, а в большинстве — из поляков, прибалтийских немцев, говорящих по-шведски жителей Финляндии, грузин, говорящих на тюркских языках мусульман. Городское население, как правило, было этнически пестрым, причем особую роль играли мобилизованные группы-диаспоры евреев, армян и немцев. Многочисленные этнические группы украинцев, белорусов, литовцев и чувашей состояли, напротив, почти исключительно из крестьян. Этим объясняется то, что конфликты интересов в многочисленных регионах Российской империи первично существовали не между нерусскими и государством или государствообразующей народностью, а между этнически различными низшими, средними и верхними слоями, то есть, например, между эстонскими и латышскими крестьянами — и прибалтийскими немецкими дворянами и горожанами; между украинскими, литовскими и белорусскими крестьянами — и польской знатью и городским еврейским населением; между грузинскими и мусульманскими крестьянами и дворянами — и армянским городским населением. Такое положение дел облегчало задачи царского правительства, которое — сначала через сотрудничество с лояльной элитой, а позднее все более при помощи политики *divide et impera* — могло держать под угрозой различные группы нерусского населения.

Социальные и этнические противоречия существовали латентно, интенсивность социальной и национальной мобилизации, как замечает Суни и как показал 1917 год, зависела от исторической ситуации, от внешних факторов, от специфического опыта и конфликтов. Суни приходит к заключению, что социальные факторы в преимущественно аграрной Российской империи в целом играли более важную роль, чем национальные, правда, не для всех национальностей и не всегда. Из этого следует, что вопрос о преимущественном значении социальных или национальных факторов в российской революции не приводит к более глубокому пониманию проблемы, а это значит, что исследование взаимозависимости социальной и национальной эмансипации в рамках того или иного конкретного исторического контекста представляется более разумным, чем эксклюзивный анализ одной из этих двух сил.

Историография России была и остается нацеленной на центр государства и до сегодняшнего дня пренебрегает перифе-

рией. Так, еще мало исследованы взаимовлияния периферии и центра в русских революциях, как, например, взаимозависимость между национальными и социальными движениями русских и нерусских, между партиями в центре и на периферии. Такое взаимодействие нашло отражение в общественном мнении не только в пограничных областях, но и в политических дебатах внутри самой России, в которых все более важную роль играли евреи, поляки, немцы, армяне и прочие «инородцы». В свою очередь, это отразилось и в мировосприятии правительства, которое видело потенциальную угрозу исходящей, прежде всего, с периферии, а своими врагами считало «инородцев» — поляков, евреев, кавказцев и мусульман, которые рассматривались как подстрекатели, изменники и часто как «пятая колонна» иностранных властей.

Революция и политическая либерализация одним разом мобилизовали угнетенные политической системой и репрессивной политикой национальные движения. Даже если за короткое время невозможно было восполнить упущенное веками и, за исключением Польши, предъявить сепаратистские требования, потенциальная взрывная сила многонациональной империи стала очевидной. Революция 1905 года ускорила становление наций, которое в последующие десятилетия хотя и тормозилось регрессивной политикой правительства, но не могло быть остановлено.

Национальные движения взорвали Российскую империю хоть и не так, как империю Габсбургов, но все же представляли собой — по крайней мере, с начала XX века — дестабилизирующий потенциал, который в значительной мере способствовал системному кризису царизма.

Следовало бы подвергнуть более точному анализу то, какую мобилизующую роль играли этнические и национальные цели для отдельных социальных и религиозных групп русских и нерусских. Это могло бы привести к тому, что заявленная в начале двухступенчатая модель русских революций, совершившихся в начале и в конце XX века, должна быть перепроверена и дифференцирована в пользу такой интерпретации, которая трактовала бы социальную, религиозную и национальную эмансипации как равноположенные и взаимозависимые, а также сильнее учитывала бы национальный фактор в условиях революций.

4 Исследования отдельных национальных феноменов

Российская многонациональная империя со своим уникальным (по крайней мере, для Европы) многообразием языков, религий, жизненных форм и способов хозяйствования до сих пор лишь в ограниченной мере становилась экспериментальной площадкой для изучения национализма. И в методическом плане большинство работ по Российской империи отстают от уровня аналогичных работ.

До сегодняшнего дня превалирует традиционный подход к национализму как к политической идеологии, а также к его диффузии с Запада на Восток. Основными темами постсоветской национальной историографии являются «национальное возрождение», открытие народной культуры, народного языка и истории отдельными представителями этой нации, а также основание национальных организаций и формулирование национальных программ с целью создания национального государства. Таким же в большинстве случаев является и подход зарубежных историков, которые, исходя из западноевропейской и центральноевропейской перспектив, вписывают отдельные феномены царской империи в историю национальных движений.

Социально-исторический подход, реагирующий на историю идей и организаций и получивший особую значимость благодаря Карлу В. Дейчу, в некоторых работах переносился на многонациональную империю России. Функционалистское соединение модернизации и становления нации, как его точнее всего сформулировал Эрнест Геллнер, и заложившие основы нового подхода сравнительные штудии Мирослава Хроха о деятелях национального движения малых народов Европы соответствовали общественно-исторической тенденции 1970-х годов и могли быть интегрированы в марксистскую точку зрения²⁰. Так, подход Хроха еще до распада Советского Союза был воспринят в отдельных республиках, таких как, например, Эстония, и не потерял своей привлекательности у постсоветских и западных историков²¹. Сам Хрох в своих исследованиях принимал во внимание историю отдельных этносов царской империи (эстонцев, литовцев и белорусов), а немецкие историки добавили исследования по истории других этносов (украинцев, белорусов, грузин, мусульман) по методу Хроха²². Несколько лет тому

назад я попытался выделить следующие группы в национальных движениях царской империи по несущим социальным слоям: дворянский тип (поляки, грузины), крестьянский тип (финны, эстонцы, латыши, литовцы, белорусы, украинцы, многочисленные малые этносы) и «религиозный» тип (мусульмане, буряты)⁴¹.

В отличие от идейно-, организационно- и социально-исторического подходов, конструктивистски-волютаристские подходы до сих пор лишь в отдельных случаях применялись для изучения национальностей царской империи. Постановка вопросов об *invention of tradition* — изобретении традиции (Хобсбаум/Рейнджер) и *imagined communities* — воображенных сообществах (Б. Андерсон)⁴² противоречит примордиальной самоидентификации молодых национальных историографий, которые как раз и заняты конструированием своей национальной истории; и западные историки тоже нерешительно принимают такую постановку вопросов. Ввиду ограниченных политических возможностей самодержавной системы, может быть, именно исследования конструирования национальных традиций (символы, мифы, чувства, представления, церемонии) и национальной переинтерпретации коллективной памяти позволят более глубоко понять процесс становления наций⁴³. При этом необходимо брать во внимание реакцию, направленную против преувеличенного конструктивизма, волютаризма и функционализма, которая, как настаивает Энтони Смит, подчеркивает преемственность между домодерными этносами и модерными нациями⁴⁴.

УКРАИНЦЫ И БЕЛОРУСЫ Оба восточнославянских этноса — украинцы и белорусы — демонстрируют особенности, влияющие на становление этих наций⁴⁵. Во-первых, их большая численность придает им статус важного звена многонациональной империи. По данным первой и единственной переписи населения, в 1897 году в Российской империи было 22,4 млн. «малороссов» (официальное наименование украинцев в то время) и 5,9 млн. белорусов. В совокупности оба этноса составляли 40% нерусского и 22,5% всего населения империи⁴⁶. Несмотря на свою многочисленность, украинцы и белорусы принадлежали к так называемым «малым» или «молодым» народам Европы. В начале XIX века у них обнаруживалось три дефицита, которые Хрох приписывает этому типу и кустранению которых стремились национальные движения:

«незавершенная» социальная структура, в особенности отсутствие в большой мере собственной этнической элиты, отсутствие непрерывных традиций государственности, а также отсутствие собственного литературного языка и высокой культуры»⁹.

Как подтверждают данные переписи населения, украинцы и белорусы по преимуществу были безграмотными крестьянами, в то время как в больших городах на их территории проживания доминировали русские, евреи и поляки¹⁰. Православное восточнославянское дворянство Великого княжества Литовского в XVI и XVII веках было полонизировано и перешло в католицизм. На Украине вместе со становлением гетманской верхушки днепровских казаков в XVII веке возникает новая элита, которая в XVIII веке кооптируется в российское дворянство и впоследствии в значительной мере русифицируется. Однако же отдельные ее представители остались приверженцами «малороссийского» патриотизма, который продолжал хранить воспоминания об автономном гетманстве в рамках Российской империи, существовавшем вплоть до второй половины XVIII века¹¹. Восточнославянская украино-белорусская высокая культура в Речи Посполитой, достигшая своего расцвета в XVI–XVII веках, в XIX веке, напротив, почти исчезла.

Следующей особенностью, отличающей украинцев и белорусов от всех других этносов царской империи, является их языковая, конфессиональная и культурная близость к великороссам: родство восточнославянских языков и общая православная конфессия, которая в результате упразднения униатской церкви была восстановлена в западных губерниях империи в 1839 году (лишь часть белорусов осталась в католицизме). Следствием такой близости было то, что украинцы и белорусы, в отличие от других национальностей, менее четко могли отграничить себя от доминирующего русского этноса. В российском государстве и российском обществе они считались частью русского народа, который объединял в себе великороссов, малороссов и белорусов¹². С одной стороны, вследствие этого их как отдельных лиц, как «русских», не подвергали дискриминации, а при условии владения русским языком они могли подниматься по социальной лестнице. Как правило, это приводило к их ассимиляции. Тем не менее некоторые из «малорусских» представителей интеллигенции и чиновников все-

таки сохранили региональный патриотизм, который активизировался в изменившихся условиях 1917 года.

Поначалу Россия с симпатией относилась к малороссам и белорусам, их фольклору, их танцам и песням. Когда же национальное украинское движение к середине XIX века сформулировало свои политические цели и заявило о стремлении к отделению от русской нации (как минимум, предполагаемому), царское государство забило тревогу и перешло к репрессивным мерам, таким, как запрет изданий на украинском и белорусском языках. То, что эти запреты были изданы сразу же после польского восстания 1863 года, указывает на тесную взаимосвязь с польским вопросом. По отношению к украинцам и белорусам самодержавное государство вплоть до 1905 года вело особенно репрессивную политику русификации, которая тормозила национальные движения: занятия в школах и периодические издания на обоих языках не допускались.

Таким образом, кроме общих условий относительно отсталой в социально-экономическом плане самодержавной России, исторический контекст для украинского и белорусского национального движения был особенно неблагоприятным. При этом у украинцев, в отличие от белорусов, имелись некоторые преимущества (традиция гетманства и гетманская элита, украинский «Пьемонт» в Австрии). Украинское национальное движение действовало уже к началу XIX века, тогда как белорусское — самое раннее — в 30-х годах XIX века. Первая украинская национальная организация с политическими целями возникла в 1846 году, белорусская — лишь в 80-х годах XIX века. Хотя периодические издания на родном языке, национальные союзы и национальные партии (в большинстве своем социалистической направленности) у обоих этносов возникают почти одновременно к началу XX века, однако их воздействие на белорусов было намного слабее, чем на украинцев. Но при этом и украинское национальное движение в царской России до 1917 года не стало массовым национальным движением (в отличие от Галиции)³³.

Оба национальных движения до сегодняшнего дня недостаточно исследованы. В Советском Союзе эта тема была табуирована, а на Западе не проявляли интереса к истории украинцев и белорусов, которых по обыкновению считали русскими³⁴. Эту тематику затрагивали в основном историки украинской и (в значительно

меньшей степени) белорусской диаспор в Северной Америке. В своих работах, отличавшихся традиционным подходом к истории идей и организаций, они концентрировали внимание на истории раннего этапа национального движения, на открытии народа, языка, культуры и истории, которые достигли своих вершин в творчестве национального украинского поэта Тараса Шевченко и в Кирилло-Мефодиевском братстве, а также на этапе политической мобилизации, произошедшей к началу XX века⁵. В монографии Ярослава Грицака постсоветская украинская историография получила такое общее описание, которое удачно подытоживает исследования о формировании современной украинской нации⁶. Из работ о белорусском национальном движении до 1917 года можно назвать лишь две изданные в последние годы статьи немецких авторов⁷.

В двух других современных работах делается попытка применить социально-исторический подход Хроха к украинскому и белорусскому национальным движениям⁸. Авторы этих исследований, выполненных в жанре коллективной биографии, приходят к заключению о том, что в качестве национальных активистов прежде всего действовали наиболее образованные представители интеллигенции. Типичным для ранней фазы национального движения был высокий процент участников из числа студентов и гимназистов. У белорусов в период до 1914 года он составлял более половины всех активистов, в то время как у украинцев доля таких участников в течение второй половины XIX века сокращалась. На место студентов здесь пришли «национальные коммуникаторы» в лице публицистов и учителей разных ступеней, что объясняет опережающее развитие украинцев. Среди активистов обоих национальных движений едва ли были представлены священники, ведущие самостоятельное хозяйство средние слои горожан, крестьяне и рабочие. При этом, однако, после 1905 года примерно четверть национальных активистов обоих этносов происходила из крестьян и еще меньшая часть — из членов семей священнослужителей. Большинство украинских активистов, в отличие от белорусских, происходило из дворянского сословия, что подчеркивает значение казацкой знати как связующего звена между автономным гетманством и национальным движением.

Для украинцев и белорусов история была центральным элементом современного национального сознания. Конструиро-

вание истории стало центральной задачей еще и потому, что другие элементы менее годились для этого: православие, элементы народной культуры, высокую культуру и литературный язык украинцы и белорусы делили с русскими, их языки не были кодифицированы в качестве литературных и официально долгое время рассматривались лишь как диалекты русского. Необходимо было развивать и национальную историю, отграничивая ее от доминантных концепций русской и польской историографии, поглощающих белорусов и украинцев.

Украинцы раньше белорусов подошли к конструированию или реконструированию своей национальной истории. Возникшая к началу XIX века анонимная «История Русов» восходила к так называемым казацким хроникам XVII–XVIII веков и одновременно закладывала основы украинской исторической мифологии, связанной с казаками и с наследием Киевской Руси. Авторы последующих произведений по истории рекрутировались поначалу из казацкой знати, затем — из числа молодой интеллигенции. Николай Костомаров, Владимир Антонович и прежде всего Михаил Грушевский ратовали за главенство народнической школы в украинской историографии, в центре внимания которой находился народ, его страдания, его идеалы свободы и его борьба против социального и национального угнетения. Большое значение истории для формирования украинской нации подчеркивает тот факт, что все три историка были также выдающимися активистами украинского национального движения; Грушевский в 1918 году даже стал первым президентом независимой Украинской народной республики⁹.

Первое описание истории Белоруссии появилось только в 1857 году, и в последующие десятилетия белорусская национальная история была сконструирована историками-любителями Адамом Киркором и Вацлавом Ластовским (позже он тоже станет известным политиком), профессиональным историком Митрофаном Довнар-Запольским, киевским учеником Антоновича, и языковедом Ефимом Карским. Их произведения и целый ряд историко-публицистических работ, которые впервые были подвергнуты тщательному анализу в тюбингенской диссертации Райнера Линднера, в отличие от украинской историографии этой эпохи не имели высокого научного уровня и рассматривали историю белорусского народа преимущественно как историю страданий под

польским и русским господством. Несмотря на свой скромный потенциал, ранние национальные белорусские историки, как и украинские, создали целый ряд исторических мифов, которым предстояло стать существенными, до сегодняшнего дня действенными составляющими национального сознания⁴⁰.

Наряду с многочисленными референциями к народу шел процесс поиска исторических предшественников белорусской и украинской государственности. Дальше других здесь пошел Грушевский, который радикально поставил под вопрос общепринятую в России историческую картину преемственности русской истории от Киевской Руси через Московскую Россию к петербургской империи и заявил, что средневековая Киевская Русь, центр которой находился на территории Украины, относится исключительно к украинской истории. Следующими звеньями украинской государственности он считал западное Галицко-Волынское княжество XIII–XIV веков, автономные украинские княжества Великого княжества Литовского и гетманщину днепровских казаков XVII–XVIII веков. Не только Грушевский, но и другие подчеркивали свободолюбивые традиции и западную ориентацию украинской истории, отграниченной от самодержавных великороссов северо-востока.

Эти ценности ранняя национальная белорусская историография, отчасти перенимая украинские взгляды, находит уже в частично независимом княжестве Полоцком IX–XII веков, в котором племя кривичей основало белорусскую государственность. Еще более важным для белорусского национального сознания стал «литовский миф». Тот факт, что в Великом княжестве Литовском XIV–XVI веков в большинстве проживало восточнославянское население и официальным языком считался близкий белорусскому восточнославянский язык, принимает национальную окраску и трактуется как доказательство преимущественно белорусского характера Великого княжества Литовского. Считалось, что Люблинской унией 1569 года этот золотой век якобы заканчивается и начинается негативная история страдающего народа.

В украинском историческом сознании этот пробел заполнился золотым веком казачества, который занимает значимое место в конструкции современной украинской нации⁴¹. «Миф казачества» выполняет при этом центральную функцию: гетманство

днепровских казаков раннего Нового времени и Запорожская Сечь считаются прообразами национальной государственности, их элита — политической нацией раннего Нового времени, а их связь с украинской культурой — доказательством наличия высококультурных традиций. Казачья традиция была привнесена в эпоху образования современных наций последующими представителями этой дворянской элиты. Однако впоследствии в народнической историографии стали акцентироваться социальные компоненты казачества, его борьба против крепостного права и угнетения, его демократические традиции равенства. Этот образ казачества, социально-революционная тенденция которого сильнее отвечала чаяниям украинских крестьян, чем государственно-культурный компонент, окончательно превратился в национальный миф в творчестве национального поэта Шевченко. Несколько десятилетий спустя Шевченко и его трагическая судьба — крепостного крестьянина, ставшего мучеником, — сами стали мифом. Торжества по случаю его дня рождения и смерти впоследствии стали важными веками национальной памяти, а его могила, как пишет Сергей Екельчик, стала центральным «*lieu de mémoire*» (местом памяти, по терминологии Пьера Нора) и национальной святыней украинцев⁴².

В других своих новаторских работах Екельчик указывает на другие компоненты в конструкции украинского национального сознания. На языковых примерах (собираение элементов народного языка, изобретение новых слов), переводах, романах, на примере театра и живописи он показывает, как из элементов народной культуры создается новая высокая украинская культура⁴³. В репрессивных условиях царской империи национальные манифестации вытеснялись в частную сферу. Детально интерпретируя различные тексты, он показывает, как украинские патриоты в своей одежде, еде и питейных традициях пытаются соединить исторические казачьи символы с современными крестьянскими в единый национальный миф и тем самым противостоять облику русских угнетателей⁴⁴.

Эти и другие новейшие исследования показывают, что архитекторы нации в царской империи, в которой гражданские права и свободы не гарантировались, демонстрации и партии запрещались, а национально-языковой коммуникации, как в случае с украинцами и белорусами, чинились препятствия, вынуждены были искать другие каналы и формы, отличные от средневропей-

ских моделей. Однако конструкция национальной культуры и национальных мифов, состоявшаяся не в политической сфере, явилась решающей предпосылкой того, что национальные движения смогли раскрыться в более свободных условиях в 1905–1907 годах и в 1917-м. В этой связи сравнение украинцев и белорусов является показательным. Хотя до 1917 года ни те, ни другие не достигли стадии массового национального движения, на Украине, в отличие от Белоруссии, образование собственной нации было подготовлено настолько хорошо, что после февральской революции там смогла состояться широкая национальная мобилизация.

ГРУЗИНЫ Примерно 1,4 млн. (к 1900 году) православных грузин по своему вероисповеданию, как и украинцы и белорусы, были близки русским, но их язык, их история, до XIX века отдельная от истории России, их древняя христианская культура, которая в плавильне Южного Кавказа была подвержена влиянию со стороны многочисленных других народов, намного сильнее отграничивали их от русского народа. Кроме того, грузины не были «малым народом», а имели традиции собственной государственности и высокую культуру, у них была своя собственная дворянская элита. Становление нации и национальное движение грузин вне Грузии до сих пор практически не исследовались: диссертация Оливера Райснера в Геттингене является первой современной работой по этой теме⁴⁵.

Методологически Райснер использует социально-исторический подход Карла Дейча и Мирослава Хроха. В центре его внимания находится ведущая группа социально дифференцированного дворянства, которое составляло более 5% грузинского населения, а также дворянская интеллигенция, формировавшаяся в процессе реакции на интеграцию в Российскую империю и на европеизированную русскую культуру. Из их среды вышла группа «Странники между двумя мирами», которая в 1860-х годах оформила грузинское национальное сознание и стремилась к «возрождению Грузии». В конце 70-х годов они основали ведущую национальную организацию «Общество по распространению грамотности среди грузин», которая просуществовала до 1920 года. Общество, которое рассматривается в диссертации Райснера, выступало, в первую очередь, за ведение занятий в начальной школе и за публикации на

грузинском языке и стало «школой нации». Коллективная биография членов общества (в 1879 году — 245 человек, а в 1888-м — 447) представляет собой социальный профиль грузинского национального движения, участники которого, как и в случае украинцев и белорусов, отличались высоким образовательным уровнем. При этом, однако, $\frac{3}{4}$ национальных активистов (учителя, священники, служащие и военные) находились на службе в царской администрации; к ним примыкали представители свободных профессий, в то время как ведущие самостоятельное хозяйство средние слои не принимали участия в национальном движении и в Грузии. По происхождению, как и следовало ожидать, сначала доминировали сыновья и дочери дворян и духовных лиц, доля которых впоследствии постепенно сокращалась в пользу представителей других сословий.

Тщательно проработанная Райснером и методологически обоснованная социальная история грузинского национального движения представляет собой пример феномена, до сих пор не получившего достаточного внимания в компаративных исследованиях. Для становления нации в Российской империи подтверждается значимость политического контекста, будь то всеобщая либерализация 1860-х и революция 1905 года, или же репрессивная политика русификации в 1880–1890-х. В общеевропейском контексте грузины представляют собой дополнение к типу «дворянский национализм», основные черты которого были выделены на примере поляков и мадьяр.

МУСУЛЬМАНЕ РОССИИ Образование наций и национальные движения мусульман Российской империи в немецкоязычных исследованиях долгое время не были представлены, за исключением вышедшей более 60 лет назад работы Герхарда фон Менде⁴⁶. Тем более удивительно, что в последние годы целый ряд молодых немецких историков и исламистов в тесном сотрудничестве с учеными из США, Франции и России обратился к этой тематике и уже представил достойные внимания, методологически качественные результаты. Важным связующим элементом этих новых работ является то, что взгляд историка не направлен больше из русского центра на периферию, что в трактовке образования мусульманских наций не только отмечается перенимание европейских образцов или влияние модернизации, но даются ссылки на

автохтонные культурные корни, на эндогенные перемены и специфические формы антиколониального сопротивления, а также то, что национальности периферии понимаются теперь не как объекты, а как субъекты своей истории. Здесь же следует отметить, что ученые не довольствуются только русскоязычными источниками, а используют свидетельства представителей исламских этносов, сделанные на их родных языках⁴⁷.

Около 15 млн. мусульман, которые к 1900 году составляли 12% населения Российской империи (без Бухарского эмирата и Хивинского ханства) никоим образом не представляли собой единства. Они существенно отличались друг от друга образом жизни и формами хозяйствования, социальной структурой, степенью интеграции в российскую административную систему и сословную иерархию, языками и культурными традициями⁴⁸. В данной работе я ограничусь мусульманами Поволжско-Уральского региона и Закавказья, не рассматривая крымских татар, горные народы Кавказа, казахов и оседлых мусульман юга Средней Азии.

Мусульмане Поволжско-Уральского региона (примерно 3 млн. к началу XX века) — сегодня это поволжские татары и башкиры — начиная с X века были форпостом ислама в Европе и с XVI века находились в тесном взаимодействии с Россией и с русскими, которые в большом количестве осели в местах их проживания. Поволжские татары, которые до покорения их Россией представляли господствующую группу независимого Казанского ханства, были в большинстве своем оседлыми крестьянами, рассеянными по обширной территории. Сюда же следует отнести элиту из купцов и предпринимателей, малый слой дворянства и мусульманское духовенство⁴⁹. В свою очередь, башкиры, которые были окончательно подчинены лишь в течение XVIII века, имели более сильные кочевнические традиции.

Представители крупнейшего мусульманского этноса Закавказья — азербайджанцы, насчитывавшие в 1897 году около 1,5 млн. человек, — в языковом отношении стояли близко к туркам, а по своей религии (шиитское большинство) и историческим традициям — к Ирану. До завоевания Россией они существовали в виде нескольких ханств под иранским господством. Большинству крестьянского населения противостояла землевладельческая аристократия, которая частично была кооптирована в российское дво-

рянство. Отдельные состоятельные купцы и предприниматели региона конкурировали с армянскими горожанами средних слоев⁵⁰.

Поволжские татары были главными носителями мусульманского национального движения в России⁵¹. Начальный период образования их нации освещается в двух недавних диссертациях по исламу⁵². Так как татарская знать как сословие была в значительной степени элиминирована в XVIII веке, исламскому духовенству выпала главенствующая роль хранителя коллективной памяти. Вследствие инициированного Екатериной II прагматического сотрудничества России с новой мусульманской элитой и ученым сообществом (улема) в первой половине XIX века в Поволжско-Уральском регионе произошел своего рода исламский ренессанс. Мусульманские ученые, отграничивая себя от России, от русских и от других мусульман, конструировали религиозную идентичность мусульманской диаспоры на основе мифа о происхождении от волжских булгар, исповадовавших ислам с начала X века. Такая мусульманская идентичность объединила различные в языковом и социальном отношениях региональные группы и создала основу для образования наций.

Подобным образом исламские ученые делают попытку обнаружить автохтонные корни национального образования у мусульман Закавказья, в данном случае — еще в уходящем в иранские времена «исламском просвещении» XVIII века, которое вызвало обновление исламской идентичности в этом регионе. Вторым корнем могли бы считаться суфийские братства, которые обосновались в Азербайджане и заявили о себе во время многочисленных локальных антиколониальных восстаний, связанных со «священной войной» имама Шамиля в Дагестане. В условиях русского господства в качестве реакции на встречу с европейским образом мышления последовала фаза открытия языка, истории и фольклора отдельными учеными, которые зачастую учились в российских образовательных учреждениях⁵³.

Форсированная модернизация России и тенденции более жесткой политики по отношению к исламу дали толчок движению джадидизма, которое хотело реформировать мусульман России, перенимая западные методы и технологии, но не ставя под вопрос культурные основы и не нанося урон исламскому своеобразию⁵⁴. Созданный представителем крымских татар Гаспринским джади-

дизм преимущественно концентрировал внимание на реформе школы и создании единого тюркского письменного языка. Он пересмотрел региональные исламские идентичности и впервые создал национальную программу мусульман России. Очертания сконструированной заново нации мусульман России, в которой конфессиональные элементы смешались с языковыми, этнокультурными и историческими, остались между тем нечеткими. Джадидизм нашел в системе образования и в публицистике мусульман Поволжско-Уральского региона больший отклик, чем в тех же сферах в Закавказье. Здесь проблема религиозного обоснования нации состояла в том, что мусульмане были расколоты на шиитов и суннитов. Возможно, поэтому представители интеллигенции уже на раннем этапе форсировали этнизацию идентичности: в 1850-х годах возникли литературные произведения на народном языке, и уже в 1875 году в Баку выходила первая в Российской империи газета на тюркском языке. Однако широкие слои сельского населения, которые оставались верными мусульманской идентичности, были лишь в малой степени затронуты этими процессами.

Только либерализация, произошедшая вследствие революции 1905 года, позволила политизировать культурный мусульманский национализм. Выборы в имперскую Думу, региональные собрания и организации, три всероссийских мусульманских конгресса, которые привели к созданию мусульманского союза («иттифак»), мобилизовали широкие слои на национальное дело. В Поволжско-Уральском регионе учителя (а после 1907 года — и учительницы) и *шакирды* (учащиеся медресе) образовали радикальное крыло, которое, однако, находилось в меньшинстве по сравнению с представителями духовенства, купечества и дворянства. Среди мусульман Закавказья доминировали предприниматели и либеральная светская интеллигенция. Такому социальному профилю соответствовала умеренная джадидистская программа мусульманского национализма, который требовал равноправия мусульман и тесно связал себя с русскими либералами-кадетами.

Большое значение для национального мусульманского движения имел расцвет региональной прессы — прежде всего в Баку и Казани, в результате чего формировалась политическая общественность⁵⁵. Противоречия между всероссийским и региональным направлениями мусульманского национализма смягчались тем,

что мусульмане Поволжско-Уральского региона доминировали в движении «иттифак» и частично использовали его как свой инструмент. Элитным слоям, которые выступали за единство мусульман и старые лояльные условия, удалось частично привлечь на свою сторону сельское большинство населения, но не удалось национально мобилизовать его на длительный срок.

Мусульмане Закавказья, напротив, концентрировались в большей мере в том регионе, который сотрясся во время революции 1905 года кровавыми столкновениями между мусульманами и армянами. Они выступали за солидаризацию, национальную мобилизацию и политизацию.

Период реакции после 1907 года привел к деполитизации и распаду мусульманского движения в Поволжско-Уральском регионе. Тем самым распространялась регионализация и этнизация, которые нашли свое новое символическое выражение в подъеме казанского татарского письменного языка и этноцентричной историографии. Тенденция этнизации усилилась также и в Закавказье, о чем свидетельствовали дискуссии о языках и все более широкое распространение среди интеллигенции этнонима «кавказские турки».

До 1914 года, несмотря на этнокультурную редифиницию джадидистской нации в Поволжско-Уральском регионе, мусульманская идентичность по сравнению с тюркской или татарской оставалась доминирующей. Важным итогом вышеназванной диссертации Кристиана Ноака⁶ является разработка убедительного тезиса о далеко идущей конгруэнтности и одновременности образования мусульманской и тюркско-татарской наций при долговременном доминировании мусульманского компонента. Этот тезис опровергает бытовавшее до сих пор мнение о конкуренции обоих концептов и о ранней замене мусульманской идентичности этнической. Тем самым расхожие национально-исторические ретроспективы татарской и башкирской историографии ставятся под вопрос. Поиски идентичности мусульман Закавказья также не были завершены к 1914 году, и массы еще не были мобилизованы национальным движением. Вплоть до Первой мировой войны исламский и этнически тюркский концепты противостояли друг другу, причем эта конкуренция, как и в случае с поволжскими татарами, могла оказаться историографическим мифом.

Образование наций и национальные движения отдельных мусульманских групп в результате конфронтации с царской автократией, ее интеграционной политикой и «цивилизующей миссией» («*mission civilisatrice*») получили важные импульсы, причем мусульмане России лишь отчасти были охвачены процессом модернизации по европейскому образцу и оставались гражданами второго класса. Таким образом, национальные движения мусульман, как считает Йорг Баберовский, с одной стороны, были попыткой ответить на вызов современной европейской действительности и, с другой стороны, антиколониальной реакцией на давление «цивилизующей миссии», такой соответствующей реакцией, которая обращалась к исламским традициям старого времени и конструировала антиевропейский национализм⁷.

ОБРАЗОВАНИЕ РУССКОЙ НАЦИИ Образование русской нации находилось в тесной взаимной связи с образованием наций и национальными движениями народов Российской империи. Это происходило либо напрямую в форме двусторонних отношений «вызов — ответ», как в случае между русскими и поляками, либо в опосредованной форме — через национальную политику царизма, претерпевавшую изменения вслед за эволюцией национализма русских и нерусских. Соревнование между русским национализмом и нерусскими национальными движениями является одной из основных тем для исследований по истории России конца имперского периода. Также и в рамках исследований Российской империи как лаборатории национальных феноменов русская нация заслуживает внимания.

Образование русской нации и конструкция русского национализма до сих пор на удивление мало исследованы. Прежде всего это касается решающей фазы этого процесса — второй половины XIX века. Из имеющихся работ в первую очередь следует назвать трактаты по истории духовной жизни — о славянофилах, западниках и о панславизме⁸. Отчасти это связано с тем, что вопрос об образовании нации вытесняется вопросом о революции, а в Советском Союзе тема национализма была табуирована. В первую очередь, однако, это определяется изменчивым, многогранным, хамелеоновым характером русского национализма, который не укладывается в рамки привычных моделей.

Российское государство, существовавшее задолго до русской нации, до самой своей кончины держалось за династически сословный имперский патриотизм (в целом успешно выполнявший свою миссию). Поэтому в самодержавной России до 1905 года не могли возникнуть национальные русские организации, деятельность, члены и программы которых представляли бы собой классический объект исследований по истории национализма. Любые национальные движения — и русское в том числе — могли подрывать основы империи, имперскую идею о династии, господствующую форму самодержавия и сословный порядок. Поэтому государство боролось с ними или, по крайней мере, относилось к ним с недоверием. Государственный гражданский национализм с его постулатами народного суверенитета и демократии был несовместим с самодержавной формой правления, а этнический национализм — с многонациональным характером империи. Достижению цели любого национального движения — мобилизовать и объединить все слои нации — в случае русского национализма препятствовали к тому же особые трудности, так как русский этнос в социальном плане был начиная с XVIII века глубоко расколот на европеизированный верхний слой и традиционалистский нижний.

Я сознательно не буду обрисовывать историю запоздалого образования русской нации⁹, но ограничусь ссылкой на одно заслуживающее внимания новое исследование. Билефельдская диссертация Андреаса Реннера, соединившая модернизационно-теоретический и конструктивистски культурологический подходы, является на настоящий момент самой перспективной попыткой интерпретации возникновения современного русского национализма⁶⁰. Реннер рассматривает период реформ 1855–1875 годов в качестве решающей фазы становления национализма, когда расцвела русская пресса, а политическая общественность (количественно небольшая, отчасти ограниченная цензурой) создала коммуникационное сообщество и «в продолжающемся творческом процессе отбора интерпретации меняющихся тем» сконструировала модерную русскую нацию. Исходным пунктом было возникновение целеустремленной общественности в фазе прорыва после проигранной Крымской войны и под впечатлением итальянского Рисорджименто. Решающий толчок для политизации дало польское восстание 1863 года. Реагируя на этот вызов, Михаил Катков

в «Московских ведомостях» развил демотический, а Иван Аксаков в «Дне» — этнический концепт русской нации, развязав тем самым дискуссию в прессе о новой категории понятия нации. Во второй половине 1860-х годов немецко-балтийская элита стала катализатором рождения русского национализма, в котором теперь смешались многочисленные государственные и этнические элементы.

Отношение напряженности между этническим (русским) и демотическим (российским) концептами до сегодняшнего дня является актуальной константой образования наций. Самым значимым при этом является то, что единство в толковании современной русской нации возникло не в противовес, а в тесной связи с самодержавным Российским государством. Воображенная нация, которая стала новым ведущим представлением политической общественности, вобрала в себя традиционные интеграционные идеологии лояльного имперского патриотизма и религиозно-языковой культурной нации и соединила их воедино. Русская нация должна была реализоваться в собственном государстве и в союзе с самодержавием объединить нерусскую периферию и русский народ.

Теоретически и эмпирически хорошо обоснованная, дифференцированная интерпретация Реннера дает новую базу исследованиям в области образования русской нации. Она подтверждает мнение о том, что существовавших до сих пор западно- и восточноевропейских моделей национализма недостаточно для полного объяснения русского феномена, который представляет собой самостоятельный вариант, соединяющий элементы обоих идеальных типов со специфическими собственными традициями. Тем самым в наше распоряжение предоставляется дифференцированный инструментарий, который позволяет анализировать дальнейшее развитие русского национализма, хотя этот инструментарий, несомненно, претерпит модификации⁶¹.

5 Выводы

Краткий и никоим образом не претендующий на полноту обзор истории образования наций и национальных движений в царской империи убеждает нас в том, что наши знания в этой области все еще ограничены. И все же последние работы, среди которых есть

целый ряд немецких диссертаций, сигнализируют о том, что поле исследования находится в движении и что возможно достичь прогресса в познании. Полученная до сих пор картина никоим образом не является единой.

С одной стороны, феномены образования наций и национальных движений в царской империи вписываются в общеевропейские типологии и схемы, подтверждают их и дифференцируют. Это касается этапов протекания (со смещением этапов) и социально-исторической типологии Хроха, которая до сих пор представляет собой лучший подход в сфере сравнительных исследований национализма. В случае с Россией также подтверждается ключевая роль интеллигенции, занятой в сфере образования. Исламские ученые Поволжско-Уральского региона, однако, представляют собой особый, примечательный случай. Дворяне, их сыновья и дочери сыграли важную роль в национальных движениях поляков, русских, грузин и украинцев, тогда как средние слои были более значимыми только у армян и мусульман Поволжско-Уральского региона и Закавказья.

С другой стороны, становится ясным, что в царской империи обнаруживаются особенности, которые требуют расширения границ привычных моделей. Российская многонациональная империя во второй половине XIX века представляла собой смешение «восточноевропейских» (замедленное социально-экономическое развитие, недостаток модернизации) и «западноевропейских» (централизованное бюрократическое государство, форсированная интеграция национальностей) элементов; сюда же следует добавить специфические условия доконституционной самодержавной формы правления и высокую неоднородность культур, религий, экономических укладов и форм жизни. В структурно гетерогенной Российской империи мы наблюдаем не только одновременность антифеодального движения крестьян, демократических перемен буржуазной революции и борьбы интеллигенции и рабочих за социалистическую революцию, но и одновременность и взаимное смешение этнических конфликтов, антиколониального сопротивления и национальных движений (соответственно находившихся на различных стадиях развития).

Особого внимания заслуживает вопрос о взаимосвязи процессов образования русской и нерусских наций в империи, причем

не только в случае с украинцами и белорусами, чьи сознательные национальные элиты сопротивлялись объединению всех восточных славян в одну русскую нацию. По всей видимости, представители нерусских этносов не взяли для себя в качестве образца слишком тесно связанный с самодержавным государством русский национализм. Более важным было влияние, оказанное на национальные движения всероссийскими социалистическими течениями, что хорошо заметно у украинцев, белорусов, грузин, армян и латышей. Вследствие своего запоздалого развития процессы формирования нации у русских и нерусских этносов находились в своей решающей фазе под влиянием конкурирующего социалистического движения, в то время как большинство западно- и центральноевропейских национальных движений еще характеризовалось связью с либерализмом.

Эти и другие особенности позволяют сделать вывод о том, что выстроенные для Центральной и Западной Европы модели в данном случае представляются неполными и, более того, даже традиционные методы исследования национализма могут использоваться лишь отчасти. В государстве без конституции и участия граждан в политической жизни, без гарантий гражданских прав и свобод не совсем уместно ставить вопрос о национальных организациях, их программах, членах и средствах коммуникации. Если образование нации в значительной мере осуществляется не в публичном пространстве, то необходимо найти другие подходы для толкования подобных феноменов.

Именно в данном случае особенно плодотворными оказываются конструктивистские культурологические подходы. Культура в России — стране, в которой политическая активность подавлялась, — всегда играла компенсирующую роль и брала на себя функции политической общественности⁶². Представляется целесообразным проследить процессы образования нации во всех сферах культурной жизни, в создании «высокой культуры» в литературе, театре, искусстве, музыке, в области народной культуры, в таких научных дисциплинах, как история, языковедение, этнография и археология, и, кроме того, в символических репрезентациях повседневной жизни, таких как одежда, традиции кухни и потребления напитков⁶³. Конструирование национальной истории с эксклюзивными мифами о происхождении народов и о государствен-

ности, с ритуалами и памятными местами, с представлениями о золотом веке и эпохах страданий также имело центральное значение; нередко здесь существовало соревнование в области мифов, как, например, между украинцами и русскими, белорусами и литовцами, армянами и азербайджанцами. Особое значение имели вероисповедание и религия, которые в царской империи традиционно пользовались определенной, пусть и ограниченной свободой. Богослужения, религиозные ритуалы, мифы и праздники получили национальную значимость. Здесь особый интерес представляют этносы нехристианских религий, но не только мусульман, о которых уже написано много важных работ, а буддистов (буряты и калмыки)⁶⁴ и язычников России (частично формально считавшихся православными), как, например, якутов или черемисов/мари, которые использовали либерализацию 1905–1906 годов для религиозно окрашенных национальных манифестаций. Российская многонациональная империя очень хорошо подходит для сравнительного исследования взаимных отношений между конфессией/религией и нацией.

Россия в качестве исследовательской лаборатории дает возможность расширить спектр наших знаний об образовании европейских наций. С ее помощью можно сделать выводы о внеевропейских национальных движениях, которые по времени следовали за национальными движениями в России. К примеру, концепты колониализма и антиколониального сопротивления пригодны для этносов южной и восточной периферии царской империи. Как и для частей внеевропейского пространства, необходимо тщательно проанализировать возможность проецирования на прошлую историю современных наций и их идентичностей, которые отчасти являются продуктом лишь XX века.

Приведенное выше описание различных примеров, однако, указывает и на границы конструктивистского подхода. Хотя и подтверждается, что элементы национальной идентичности заменяемы, даже если в большинстве случаев речь идет о языке, истории, религии/вероисповедании и территории, однако ясно, что нации не создавались просто волюнтаристски. Национальные идеологии должны были ориентироваться на запас культурных традиций, на вековую коллективную память. В таком случае вопрос ставится о том, какие элементы и в каких ситуациях выбирались для

обоснования национальной идентичности. Украинский пример показывает, что были веские причины использовать именно миф о казачестве (а не миф об украинской Киевской Руси) в качестве центрального отправного пункта украинского национального сознания и что те или иные национальные идеологи в различном историческом контексте наполняли миф о казачестве различным содержанием. Одновременно, как показывают новейшие исследования, ни миф о казачестве, ни мусульманская нация не были «изобретены» вдруг. Здесь речь шла о длительных процессах.

Мне представляется важным всё усиливающееся стремление современных исследователей освободиться от только европоцентричного взгляда. История национализма более не рассматривается лишь как явление, сопутствующее неудержимому победному шествию модернизации из Западной Европы в Восточную и далее по всему миру; большое внимание уделяется специфическим феноменам и предпосылкам. Эмпирические штудии выявляют границы применения модернизационной теории. Образование наций в царской империи было «также, но не только» следствием модернизации и социальной мобилизации; национальные движения были «также, но не только» реакцией на вызов европейской современности.

Вопрос о том, какое значение придается национальному феномену как определяющему фактору русской революции, связан с названными особенностями. Если верно, что образование наций в условиях царского самодержавия протекало в более скрытой форме, чем в конституционных государствах, и потому национальная мобилизация к моменту изменения внешних условий только казалась неподготовленной, то это можно было бы считать поводом для перепроверки бытующего среди исследователей мнения. В этом случае украинцы, грузины и мусульмане России были не просто «неудавшимися нациями», а нациями, которые гибко приспособляли формы своих национальных образований к существующим условиям и оказались готовы к стремительной национальной мобилизации, как только пали сдерживающие ее оковы. Но все-таки не следует придавать слишком большую важность тезису о значении национального фактора для русской революции и представлять национальный вопрос центральной проблемой России. Скорее всего, можно было бы воспользоваться аргументом

Суни, что национальный фактор действовал в сложном переплетении со многими другими определяющими факторами и мог выйти на поверхность в зависимости от ситуации. Характер смешения социальных и национальных факторов, их масштаб и взаимодействие были от случая к случаю различны, так же как и размах и формы национальных движений от поляков до белорусов, от латышей до мусульман Поволжско-Уральского региона, от русских до якутов.

Возможно, эта проблема менее интересна, чем вопрос об эндогенных и экзогенных причинах отдельных формирующих нацию процессов, о содержании коллективной памяти, ее избирательности, национальной нагрузке и политизации. Эта задача актуальна при взгляде на постсоветский мир. У большинства этносов, которые когда-то принадлежали к царской империи, сейчас вновь идут процессы образования наций и государства. Подобно самодержавной монархии, Советская власть, по крайней мере с 1940-х годов, препятствовала образованию наций и вытесняла их из общественного пространства. Ставшая возможной с конца 80-х национальная мобилизация почти повсеместно снова обратилась к дореволюционным опыту, памяти и мифам. Исследование основ образования наций может способствовать пониманию и критическому анализу современного состояния украинской, белорусской, грузинской, татарской, азербайджанской, русской и других постсоветских наций.

Примечания

1 *Hoetzsch O.* Russland. Eine Einführung auf Grund seiner Geschichte vom Japanischen bis zum Weltkrieg, 2. Aufl. Berlin, 1917. S. 333, 337; *Weber M.* Zur Lage der bürgerlichen Demokratie in Russland (1906) // *Zur Russischen Revolution von 1905: Schriften und Reden 1905–1912* / Hrsg. von W.J. Mommsen, D. Dahlmann. Tübingen, 1989 (= Gesamtausgabe. Abt. I. Bd. 10). S. 86–279, особ. с. 129–151.

2 *Geyer D.* Der Zerfall des Sowjetimperiums und die Renaissance der Nationalismen // *Nationalismus Nationalitäten Supranationalität* / Hrsg. von H.A. Winkler, H. Kaelble. Stuttgart, 1993. S. 156–186, особ. с. 171.

3 *Hildermeier M.* Verhinderte Nationen: Zu einigen Merkmalen und Besonderheiten nationaler Bewegungen in Russland und der Sowjetunion // *Archiv für Sozialgeschichte*. 1994. Vol. 34. S. 1–17.

4 *Haimson L.* The Problem of Social Identities in Early Twentieth-Century Russia // *Slavic Review*. 1988. Vol. 47. P. 1–20; *Rieber A.J.* Landed Property, State Authority, and Civil War // *Ibid.* P. 29–38.

5 *Pipes R.* The Formation of the Soviet Union: Communism and Nationalism, 1917–1923. Cambridge, Mass., 1964; *Ascher A.* The Revolution 1905–1921. Frankfurt/Main, 1989; *Altrichter H.* Russland 1917: Ein Land auf der Suche nach sich selbst. Paderborn, 1997.

6 Этот вопрос применительно к украинцам ставит Дэвид Сондерс: *Saunders D.* What Makes a Nation? Ukrainians since 1600 // *Ethnic Studies*. 1993. Vol. 10. P. 101–124.

7 См. также: *Kappeler A.* Russland als Vielvölkerreich: Entstehung, Geschichte, Zerfall. München, 1992; *Каннелер А.* Россия — многонациональная империя: Возникновение, история, распад. М., 2000.

8 См.: *Kappeler A.* Op. cit.; *Die Nationalitäten des Russischen Reiches in der Volkszählung von 1897* / Hrsg. von H. Bauer, A. Kappeler, B. Roth. Stuttgart, 1991. Bd. A–B.

9 Этот вопрос ставится в изданиях: *Kappeler A.* Russlands erste Nationalitäten: Das Zarenreich und die Völker der Mittleren Wolga vom 16. bis 19. Jahrhundert. Köln etc., 1982. S. 505–507; *Миллер А.И.* Россия и русификация Украины в XIX веке // *Россия — Украина: История взаимоотношений*. М., 1997. С. 145–156.

10 *Deutsch K. W.* Nationalism and Social Communication: An Inquiry into the Foundations of Nationality. Cambridge, Mass., 1966; *Gellner E.* Nations and Nationalism. Oxford, 1983 [Геллнер Э. Нации и национализм. М.: Прогресс, 1991]; *Anderson B.* Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London, 1983 [Андерсон Б. Воображаемые сообщества: Размышления об истоках и распространении национализма. М., 2001].

11 *Ascher A.* Op. cit. Vol. 1. P. 152–162; *Формы национального движения в современных государствах: Австро-Венгрия, Россия, Германия* / Под ред. А.И. Кастелянского. СПб., 1910; *Kappeler A.* Russland als Vielvölkerreich... S. 268–281; *Каннелер А.* Указ. соч. М., 2000. С. 241–251.

12 Некоторые новые описания русской революции 1905 года на периферии, на которые не было ссылок в моей работе «*Russland als Vielvölkerreich...*», см: *Benz E.* Die Revolution von 1905 in den Ostseeprovinzen Russlands: Ursachen und Verlauf der lettischen und estnischen Arbeiter- und Bauernbewegung im Rahmen der ersten russischen Revolution. Diss. Mainz, 1990; *Blobaum R. E.* Rewolucja: Russian Poland, 1904–1907. Ithaca; London, 1995; *Pogroms: Anti-Jewish Violence in Modern Russian History* / Ed. by J. Klier, S. Lambroza. Cambridge, 1992; *Weinberg R.* The Revolution of 1905 in Odessa: Blood on the Steps. Bloomington, Indianapolis, 1993.

13 *Анфимов А.М.* Экономическое положение и классовая борьба крестьян Европейской России, 1881–1904 гг. М., 1984. С. 212–216; *Крестьянские движения 1902 года. (Новые материалы)*. М.; Л., 1923.

14 В связи с общим контекстом революции см.: *Ascher A.* Op. cit.; *Shanin T.* Russia, 1905–1907: Revolution as a Moment of Truth. London, 1986

[Шанин Т. Революция как момент истины: Россия 1905–1907 – 1917–1922. М., 1997].

15 *Raun T.U.* The Revolution of 1905 in the Baltic Provinces and Finland // *Slavic Review*. 1984. Vol. 43. P. 453–467; *Benz E.* Op. cit.

16 *Edelman R.* Proletarian Peasants: The Revolution of 1905 in Russia's Southwest. Ithaca; London, 1987. Следует заметить, что Эдельман явно не приписывает этническим антагонизмам мобилизующую силу для украинских земледельцев и крестьян.

17 *Курьянов Ю.И.* Уличные демонстрации рабочих в России в 1895–1900 гг. // Рабочий класс Урала в период капитализма (1861–1917): Сборник научных трудов. Свердловск, 1988. С. 45–62.

18 *Kalabicski S., Tych F.* Czwarte powstanie czy pierwsza rewolucja: Lata 1905–1907 na ziemiach polskich. Warszawa, 1969; *Blobaum R.E.* Op. cit.

19 *Suny R.G.* Nationalism and Class in the Revolution of 1917. Ann Arbor, 1988 (= Center for Research on Social Organization. Working Paper № 365); сокращенный вариант: *Idem.* Nationality and Class in the Revolution of 1917: A Reexamination of Social Categories // *Stalinism: Its Nature and Aftermath: Essays in Honour of Moshe Lewin*. Basingstoke, 1992. P. 211–242; *Idem.* The Revenge of the Past: Nationalism, and the Collapse of the Soviet Union. Stanford, 1993. P. 1–19, 76–83. Ср. о революции на Украине: *Himka, J.-P.* The National and the Social in the Ukrainian Revolution of 1917–1920: The Historiographical Agenda // *Archiv für Sozialgeschichte*. 1994. Vol. 34. P. 95–110.

20 *Deutsch K.W.* Op. cit.; *Gellner E.* Op. cit.; *Hroch M.* Die Vorkämpfer der nationalen Bewegung bei den kleinen Völkern Europas: Eine vergleichende Analyse zur gesellschaftlichen Entwicklung der patriotischen Gruppen. Praha, 1968; *Idem.* Social Preconditions of National Revival in Europe: A Comparative Analysis of the Social Composition of Patriotic Groups among the Smaller European Nations. Cambridge, 1985.

21 Ср., например, отдельные статьи в следующем изд.: *National Movements in the Baltic Countries during the 19th Century* / Ed. by A. Loit. Stockholm, 1985; *Loit A.* Der Nationbildungsprozeß im Baltikum 1850–1914 // *Entwicklung der Nationalbewegungen in Europa 1850–1914* / Hrsg. von H. Timmermann. Berlin, 1998. S. 333–364.

22 В ходе последующего изложения я анализирую соответствующие работы.

23 *Kappeler A.* Op. cit. S. 177–202; *Каппелер А.* Указ. соч. С. 156–181.

24 *The Invention of Tradition* / Ed. by E. Hobsbawm, T. Ranger. Cambridge, 1983; *Anderson B.* Op. cit.

25 Ср. примерную постановку вопросов в следующей работе: *Nation und Emotion: Deutschland und Frankreich im Vergleich. 19. und 20. Jahrhundert* / Hrsg. von E. François, H. Siegrist, J. Vogel. Göttingen, 1995.

26 *Smith A.D.* The Ethnic Origins of Nations. Oxford, 1986; *Idem.* National Identity. Reno: University of Nevada Press, 1991. Ср. также: *Armstrong J.A.* Nations before Nationalism. Chapel Hill, 1982; *Hastings A.* The Construction of Nationhood: Ethnicity, Religion and Nationalism. Cambridge, 1997.

27 Для общей информации ср.: *Subtelny O.* Ukraine: A History. Toronto etc., 1994; *Magocsi P.R.* A History of Ukraine. Toronto etc., 1996; *Kappeler A.* Kleine Geschichte der Ukraine. München, 1994; *Vakar N.P.* Belorussia: The Making of a Nation: A Case Study. Cambridge, Mass., 1954.

28 *Kappeler A.* Russland als Vielvölkerreich... S. 323–331; *Каннелер А.* Указ. соч. С. 208–223.

29 *Hroch M.* Die Vorkämpfer der nationalen Bewegung...; *Idem.* Social Preconditions...; *Kappeler A.* Ein «kleines Volk» von 25 Millionen: Die Ukrainer um 1900 // Kleine Völker in der Geschichte Osteuropas: Festschrift für Günther Stökl zum 75. Geburtstag / Hrsg. von M. Alexander, F. Kämpfer, A. Kappeler. Stuttgart, 1991. S. 33–42.

30 *Guthrie S.L.* The Belorussians: National Identification and Assimilation, 1897–1970. Part 1: 1897–1939 // Soviet Studies. 1977. Vol. 29. P. 37–61; *Krawchenko B.* Social Change and National Consciousness in Twentieth-Century Ukraine. Basingstoke, 1985.

31 *Kohut Z.E.* Russian Centralism and Ukrainian Autonomy: Imperial Absorption of the Hetmanate 1760s–1830s. Cambridge, Mass., 1988.

32 *Каннелер А.* Мазепинцы, малороссы, хохлы: Украинцы в этнической иерархии Российской империи // Россия – Украина... С. 125–144.

33 Об обоих национальных движениях см.: *Kappeler A.* Die ukrainische Nationalbewegung im Russischen Reich und in Galizien: Ein Vergleich // Entwicklung der Nationalbewegungen... S. 175–196; *Idem.* Kleine Geschichte... S. 114–123, 129–144; *Mark R.A.* Die nationale Bewegung der Weißrussen // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas [далее – JBfGOE]. 1994. Vol. 42. S. 493–509; *Lindner R.* Historiker und Herrschaft. Nationsbildung und Geschichtspolitik in Weißrussland im 19. und 20. Jahrhundert. München, 1999.

34 См. далее: *Kappeler A.* Die Ukraine in der deutschsprachigen Historiographie // Österreichische Osthefte. 2000. Vol. 42. S. 161–178.

35 *Pelech O.* Toward a Historical Sociology of the Ukrainian Ideologues in the Russian Empire of the 1830s and 1840s <Ph. Diss. Princeton, 1976>; *Luckij G.S.N.* Young Ukraine. The Brotherhood of Saint Cyril and Methodius, 1845–1847. Ottawa etc., 1991; *Rudnytsky I.L.* Essays in Modern Ukrainian History. Edmonton, 1987; *Boshyk G.Y.* The Rise of Ukrainian Political Parties in Russia, 1900–1907: With Special Reference to Social Democracy <Ph. Diss. Oxford, 1981>; *Andriewsky O.* The Politics of National Identity: The Ukrainian Question in Russia, 1904–1912 <Ph. Diss. Harvard, 1991>. Ср. также краткий обзор: *Remer C.* Die Entfaltung der ukrainischen Nationalbewegung in Russland von der Mitte

des 19. bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts // Entwicklung der Nationalbewegungen... S. 155–174.

36 *Грицак Я.* Нарис історії України. Формування модерної української нації. Київ 1996; Нариси з історії українського національного руху: Колективна монографія. Київ, 1994. Ср. также: *Касьянов Г.В.* Український націоналізм проблема наукового пересмыслення // Український Історичний Журнал. 1988. № 2. С. 39–54.

37 *Mark R.A.* Op. cit.; *Lindner R.* Op. cit. Что касается современной белорусской историографии, см. статью Ришарда Радзика о причинах слабости белорусского национализма: Беларускі гістарычны агляд. 1995. № 2. С. 195–227. Ср. также: *Yekelchik S.* Nationalisme ukrainien, biélorusse et slovaques // Histoire des idées politiques de l'Europe centrale. Paris, 1988. P. 377–393.

38 *Kappeler A.* The Ukrainians of the Russian Empire, 1860–1914 // The Formation of National Elites / Ed. by A. Kappeler. N.Y., Dartmouth, 1992. P. 105–133; *Mark R.A.* Op. cit. S. 507–509.

39 *Velychenko S.* National History as Cultural Process: A Survey of the Interpretations of Ukraine's Past in Polish, Russian and Ukrainian Historical Writing from the Earliest Times to 1914. Edmonton, 1992. По украинской историографии ср. также: *Кравченко В.В.* Нарысы з української історіографії епохи національного відродження (друга половина XVIII – середина XIX ст.). Харків, 1996; *Kohut Z.E.* The Development of an Ukrainian National Historiography in Imperial Russia // Historiography of Imperial Russia: The Profession and Writing of History in a Multinational State / Ed. by T. Sanders. Armonk etc., 1999. P. 453–477.

40 О Белоруссии в первую очередь смотри работы Линднера. Ср.: *Wilson A.* Myths of National history in Belarus and Ukraine // Myths and Nationhood / Ed. by G. Hosking, G. Schöpflin. London, 1997. P. 182–197.

41 *Sysyn F.* Die Kosaken: Akteure und Symbole der Entwicklung der modernen ukrainischen Nation // Ukraine: Gegenwart und Geschichte eines neuen Staates / Hrsg. von G. Hausmann, A. Kappeler. Baden-Baden, 1993. S. 49–69; *Gerus O.W.* Manifestation of the Cossack Idea in Modern Ukrainian History: The Cossack Legacy and its Impact // Украинский историк. 1982. № 1–2. С. 22–39; *Plochy S.M.* Historical Debates and Territorial Claims. Cossack Mythology in the Russian-Ukrainian Border Dispute // The Legacy of History in Russia and the New States of Eurasia / Ed. by S. Frederick Starr. Armonk etc., 1994. P. 147–170.

42 *Grabowicz G.G.* The Poet as a Mythmaker: A Study of Symbolic Meaning in Taras Ševcenko. Cambridge, Mass., 1982; *Yekelchik S.* Creating a Sacred Place: The Ukrainophiles and Shevchenko's Tomb in Kaniv (1861 bis ca. 1900) // Journal of Ukrainian Studies. 1995. Vol. 20. P. 15–32.

43 *Yekelchyk S.* The Nation's Clothes: Constructing a Ukrainian High Culture in the Russian Empire, 1860-1900 // *Jahrbücher für Geschichte Ost-europas*. 2001. Vol. 49. S. 230-239.

44 *Yekelchyk S.* The Body and the National Myth: Motifs from the Ukrainian National Revival in the Nineteenth Century // *Australian Slavonic and East European Studies*. 1993. Vol. 7. № 2. P. 31-59.

45 *Reisner O.* "Die Schule der georgischen Nation": Entstehung und Entwicklung der nationalen Bewegung in Georgien 1850-1918 Eine sozialhistorische Studie der Alphabetisierungsgesellschaft <Phil. Diss. Göttingen, 2000>. Cp.: *Idem.* The Terqdaleulebi: Founders of the Georgian National Identity // *Forms of Identity. Definitions and Change* / Ed. by L. Löb, I. Petrovics, G. Szönyi. Szeged, 1994. P. 125-137; *Die Entstehungs- und Entwicklungsbedingungen der nationalen Bewegung in Georgien bis 1921* // *Krisenherd Kaukasus* / Hrsg. von U. Halbach, A. Kappeler. Baden-Baden, 1995. S. 63-79; *Die georgische Alphabetisierungsgesellschaft: Schule nationaler Eliten und Vergemeinschaftung* // *JBfGOE*. 2000. Bd. 48. S. 66-89.

46 *Mende G. von.* Der nationale Kampf der Rußlandtürken: Ein Beitrag zur nationalen Frage in der Sowjetunion. Berlin, 1936.

47 Cp.: *Russia's Orient: Imperial Borderlands and Peoples, 1700-1917* / Ed. by D. Brower, E. Lazzerini. Bloomington etc., 1997; *Muslim Culture in Russia and Central Asia from the 18th to the Early 20th Centuries* / Ed. by A. von Kügelgen, M. Kemper, A. Frank. Berlin, 1996-1998. Vol. 1-2.; *Baberowski J.* Auf der Suche nach Eindeutigkeit: Kolonialismus und zivilisatorische Mission im Zarenreich und in der Sowjetunion // *JBfGOE*. 1999. Bd. 47. S. 482-504.

48 См. обзор: *Kappeler A.* Russland als Vielvölkerreich...

49 По истории татар см.: *Kappeler A.* Russlands erste Nationalitäten...; *Rorlich A.-A.* The Volga Tatars: A Profile in National Resilience. Stanford, 1986.

50 Cp.: *Altstadt A.L.* The Azerbaijani Turks: Power and Identity under Russian Rule. Stanford, 1992.

51 Cp.: *Christian N.* Muslimischer Nationalismus im Russischen Reich: Nationsbildung und Nationalbewegung bei Tataren und Baschkiren, 1860-1917. Stuttgart, 2000. Cp. также: *Idem.* Russische Politik und muslimische Identität: Das Wolga-Ural-Gebiet im 19. Jahrhundert // *JBfGOE*. 1999. Bd. 47. S. 525-537. Докторские диссертации Евы-Марии Аух (Бонн) и Йорга Баберовски (Тюбинген) об образовании нации мусульманами Закавказья к моменту написания настоящей работы были еще не закончены.

52 *Kemper M.* Sufis und Gelehrte in Tatarien und Baschkirien, 1789-1989: Der islamische Diskurs unter russischer Herrschaft. Berlin, 1998; *Frank A.J.* Islamic Historiography and "Bulghar" Identity Among the Tatars and Bashkirs of Russia. Leiden, 1998. Cp. также отдельные статьи в следующих

изд.: L'islam de Russie: Conscience communautaire et autonomie politique chez les Tatars de la Volga et de l'Oural depuis le XVIII^e siècle: Actes du colloque international de Qazan, 29 avril – 1 juin 1996 / Ed. sous la dir. de Stéphan A. Dudoignon, Dämîr Is'haqov et Răfyq Möhammâtshin. Paris, 1997.

53 Auch E.-M. Aserbaidshanische Identitätssuche und Nationswerdung bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts // Krisenherd Kaukasus... S. 94–109; Baberowski J. Nationalismus aus dem Geist der Inferiorität: Autokratische Modernisierung und die Anfänge muslimischer Selbstvergewisserung im östlichen Transkaukasien // Geschichte und Gesellschaft. 2000. Bd. 26. Ср. также: Swietochowski T. Russian Azerbaijan, 1905–1920: The Shaping of National Identity in a Muslim Community. Cambridge, 1985; *Idem*. Der Islam und die Entwicklung nationaler Identität in Aserbaidshan // Die Muslime in der Sowjetunion und in Jugoslawien: Identität-Politik-Widerstand / Hrsg. von A. Kappeler, G. Simon, G. Brunner. Köln, 1989. S. 49–62.

54 Ср.: Lazzerini E.J. Reform und Modernismus (Djadidismus) unter den Muslimen des Russischen Reiches // Die Muslime in der Sowjetunion und in Jugoslawien... S. 35–48.

55 Ср.: Usmanova D.M. Die tatarische Presse 1905–1918: Quellen. Entwicklungsetappen und quantitative Analyse // Muslim Culture in Russia and Central Asia... Vol. 1. P. 239–278; *Idem*. The Activity of the Muslim Faction of the State Duma and its Significance in the Formation of a Political Culture among the Muslim Peoples of Russia (1906–1917) // Ibid. Vol. 2. S. 417–455.

56 Ср. примеч. 51.

57 Baberowski J. Op. cit.

58 Ср.: Thaden E.C. Conservative Nationalism in Nineteenth-Century Russia. Seattle, 1964; Boro Petrovich M. The Emergence of Russian Panslavism, 1856–1870. N.Y., 1956; Zimbajew N. Zur Entwicklung des russischen Nationalbewusstseins vom Aufstand der Dekabristen bis zur Bauernbefreiung // Die Russen: Ihr Nationalbewusstsein in Geschichte und Gegenwart / Hrsg. von A. Kappeler. Köln, 1990. S. 37–54.

59 Ср.: Kappeler A. Bemerkungen zur Nationsbildung der Russen // Die Russen: Ihr Nationalbewusstsein in Geschichte und Gegenwart... S. 19–35; *Idem*. Some Remarks on Russian National Identities (Sixteenth to Nineteenth Centuries) // Ethnic Studies. 1993. Vol. 10. P. 147–155; *Idem*. Russland als Vielvölkerreich... S. 198–201. Ср.: Rogger H. Nationalism and the State: A Russian Dilemma // Comparative Studies in Society and History. 1961/1962. Vol. 4. P. 253–264; Geyer D. Der russische Imperialismus: Studien über den Zusammenhang von innerer und auswärtiger Politik 1860–1917. Göttingen, 1977. S. 43–54; *Idem*. Nation und Nationalismus in Russland // Nation und Geschichte in Deutschland: Historische Essays / Hrsg. von M. Hettling, P. Nolte. München, 1996. S. 101–114; Hosking G. Russia, People and Empire, 1552–1917. London, 1997. P. 271–311 | Хоскинг Дж. Россия: Народ и империя

(1552–1917). Смоленск: Русич, 2000]; Russischer nationalismus: Die russische Idee im 19. und 20. Jahrhundert. Darstellung und Texte / Hrsg. von F. Golczewski, G. Pickhan. Göttingen, 1998.

60 Renner A. Russischer Nationalismus und Öffentlichkeit im Zarenreich, 1855–1875. Köln etc., 2000.

61 Примечательную работу с конструктивистским подходом к русскому патриотизму в Первой мировой войне опубликовал Хубертус Ян: *Jahn H.F. Patriotic Culture in Russia during World War I*. Ithaca; London, 1995.

62 Ср. также: *Hildermeier M.* Op. cit. S. 6–8.

63 В качестве образца может служить изд.: *Nation und Emotion...* См. также: *Nationalism and Archeology in Europe* / Ed. by M. Diaz-Andreu, T. Champion. London, 1996 (содержит, помимо прочего, статьи о России и Литве).

64 Ср.: *Schorkowitz D. Staat und Nationalitdten in Russland: Der Integrationsprozess der Burjaten und Kalmьcken, 1822–1925*. Stuttgart, 2001.

ПЕРЕВОД С НЕМЕЦКОГО ВАСИЛИЯ НИКИТИНА

АНДРЕАС РЕННЕР

Изобретающее воспоминание: Русский этнос в российской национальной памяти

Изобретение и воспоминание идут в поэзии рука об руку,
вспомнить значит тоже изобрести, вспоминающий
тот же изобретатель¹.

Если национализм является религией модерна, то античный мастер превращений Протей считается одним из его главных богов. Из соображений метафоры этому греческому морскому богу приходится потрудиться, чтобы подчеркнуть флюидоподобный, семантически едва фиксируемый характер нации и национализма². Длительное время национализм считался, по крайней мере, в двух первых сообществах послевоенного устройства мира политически скомпрометировавшим себя движением и мировоззрением прошлого. Понятие нации превратилось в штудиях экспертов в абстракцию, в синоним способности современных государств и обществ к интеграции³. Гораздо меньше внимания было уделено конкретным признакам «народной нации» (Volksnation), таким как язык, религия или происхождение. Их слишком поспешно, полагают теоретики этнонационализма, объявили идеологией и исследовали, в лучшем случае, как фольклорные реликты или просто придуманные традиции⁴. Эта критика подверглась в новейшей истории одновременно с предполагаемыми атавизмами неожиданной переоценке. Казалось, будто другой бог античности, Эол, «ветром перемен» поздних 1980-х годов развеял искусно сотканные теории национализма и открыл истинный или, скорее, природный облик нации. Усилием сознания этнос возвращен воспоминанию. Наконец-то, говорится в одном исследовании о распавшемся

Советском Союзе, ему уделяется достойное внимание как «основной структурной единице развития человечества»⁵.

То, что обнаруживается с этого момента — в чудовищном ли образе «этнических чисток» или в румяной мине невинности вновь рождающихся государств — вовсе не отвечает природе человечества, но являет собой двухвековой «лик Януса» национализма. Его амбивалентность проглядели прежние исследователи, сведя из функциональных соображений Эолово элементарное насилие к структурным условиям возникновения, таким как индустриализация и революция в коммуникации, к процессам социальных или государственных преобразований. Преимущество подобных воззрений заключалось, без сомнения, в возможности отделить национализм от его разнообразных протеевых форм существования и сконцентрироваться на его поразительной способности к социальной интеграции. Национализм с его проектом «общества равных» апеллировал к свойственному Просвещению пониманию власти как репрезентативной структуры и становился тем самым одной из самых успешных версий самоинтерпретации обществ и государств нового времени. Будучи объявленной их естественно-правовым основанием, с этого момента «нация» со свойственной ей доступной идеей национального государства предлагает, во-первых, новую политическую легитимацию, но одновременно и новые инструменты власти. Она создает, во-вторых, коллективный субъект, который обещает достижение идентичных ценностей, несмотря на социальные и правовые различия и события политической жизни. Рука об руку с этой исторической способностью идет, в-третьих, просветительская деятельность относительно прошлого и будущего, вплоть до политического мессианства⁶.

Это основополагающая триада национализма с обозначаемой ею четкой границей по отношению к прежним формам лояльности не опровергает самого весомого из аргументов этнонационалистического толка. В конце концов, речь идет не о доказательстве природного национального происхождения сообщества, а об анализе действенности подобных представлений. Определяющим, согласно существующим представлениям, является не то, что может получить научное обоснование, а то, что предполагается, во что верят и что, наконец, может получить реализацию в политике⁷. В гиперболизированной форме: националистические реминисцен-

ции о прошлом, для которого этнологи с целью эвристики вначале предложили понятие «этноса», вполне достаточны, чтобы сформировать этническое сознание. Это действительно якобы оттого, что понятие «нация» связано с чем-то природным, в любом случае, покоящимся на традиционных представлениях исчезнувших языковых, религиозных и территориальных сообществ⁸. И действительно, монады с национально культурными характеристиками входят в основной репертуар интерпретаций любой формы национализма. Вопросом остается только то, для кого и почему «воображаемое воспоминание» подобных критериев должно приобрести особый смысл, если только они не представляют собой просто осознание существующих фактов. Ибо то, что подобные признаки очень скоро могут стать реальностью, не вызывает сомнения. Не в последнюю очередь это предстоит узнать тому, кто, будучи «чужим», не вписывается в схему интерпретации.

Естественная природа понятия «нации» становится, тем самым, ключевым вопросом исследования национализма. Если понимать нацию (в двойственном смысле) как схему интерпретации модерна, растущая самостоятельность этого понятия нуждается в комментарии. Этнос действительно занял уже в силу переживаемого им политического ренессанса важную дискурсивную позицию в «картине мира» национализма. Он внес решающий вклад в то, чтобы нация в качестве основной действующей силы мировой истории превратилась из представлений нескольких интеллектуалов в признанный факт социальной действительности. Этот тезис должен получить в последующем изложении подтверждение на примере истории русского национализма. Основное внимание исследования будет уделено девятнадцатому веку, в течение которого сформировались определяющие его суть элементы национализма. Тот факт, что положение этноса в центре национальной «картины мира» вызывало и прежде сомнения, отражает современное положение дел, в котором не наблюдается тотального этнического распада, в особенности в бывшей советской Российской Федерации⁹.

Российская государственная мысль образует в содержательном плане оппозицию этническим, в узком смысле слова русским, критериям «нации». Она примыкает, с одной стороны, к государственному патриотизму самодержавия. С другой стороны,

прослеживается ее связь, как и в других странах, с XVIII веком, с обозначившимися в ту пору требованиями к современному национальному государству. Из этих отношений возникло нечто новое, российский национализм, который, точно так же, как его предшественник, русский национализм, исходил не от царской монархии, а от передовой части постепенно формирующегося общества. В конце концов, обе национальные теории дополняют друг друга и могут быть разделены только в целях анализа. Их нельзя свести к традиционному противопоставлению Российского государства и русской нации¹⁰. Скорее, они представляют собой иную интерпретацию и, тем самым, предъявляют иные требования к понятию наднационального царского государства. Взаимосвязь русского и российского национализма требует раскрытия и решения вопроса о ее последствиях. Степень успеха может быть измерена общественным признанием топосов интерпретации. С этой целью на втором этапе анализа детально исследуется заметно изменившееся положение понятия «этнос» в национализме 1860-х гг. и ставится вопрос о возможной связи данного обстоятельства со свойственным этому времени кризисом реформ царизма.

1 Национализм как система интерпретации

Термином «национализм» обозначен базовый концепт, который требует пояснений. Исследователи национализма в последние годы особо тщательно занимаются субъективной внутренней стороной национализма, т.е. вопросами его ментального обоснования и его способностью определять идентичность индивидуумов и общества. За всем этим скрывается, с одной стороны, секрет того, как эта сравнительно простая идеология могла иметь столь исключительный успех, с другой стороны — понимание того, что необходимых для этого условий явно недостаточно. Это касается в равной мере как этнических признаков, так и современных структур¹¹. В изменившейся перспективе нации приобретают характер сообществ, созданных волей и верой на базе крупных анонимных союзов. Обещанное равенство их членов — все равно, на каких критериях выбора — создает обоснование «воображенного сообщества», как его определяет известный афоризм¹². Именно этот способ

видения проблемы предполагает обозначенное в первой строке сравнение национализма с религиозной системой верований¹³.

Одновременно подобным исследованиям свойствен умеренный конструктивизм, который трактует «нацию» в последней инстанции как результат коллективной интерпретации. Она становится тогда приемлемым концептом, с помощью которого в одном простом понятии объединены сложные социальные и политические отношения и которое как само собой разумеющееся не требует дальнейшего определения. Категориальную власть подобных постулатов следует понимать не как идеологическое отклонение, но как элемент интерсубъектной реальности. Их близость к религии объясняется притязаниями на исключительность и трансцендентным качеством, приписываемым обычно понятию «нация». Упорное настаивание на основополагающем истолковании миропорядка не только отличает национализм от других политических систем, но и отсылает к дотеоретическим позициям.

Только национализм придает условиям своего возникновения особую содержательность. Его история является историей предпосылок, интерпретированного смысла и осуществляющей интерпретацию группы. Именно таким путем понятие «нация» возвращается в исследование национализма в качестве культурно-исторического субъекта, не отменяемого гражданством или социальными функциями¹⁴. Соответствующие штудии, имеющие целью создание и инсценировку национальной идентичности, множатся на рынке исследований¹⁵. Идентичность понимается нами, аналогично биографическому усилию, создающему идентичность личности, как последовательный, но ни в коем случае не прямолинейный и одномерный процесс коллективного самоосознания и самоутверждения. Собственно говоря, национализм означает всегда нечто большее, чем идентичность, и в качестве национального модное понятие приобретает недоступный изменениям характер¹⁶. И все-таки в этом необъятном проблемном поле можно выделить концепт культурной памяти для того, чтобы исследовать этнос как компонент воспоминания (русско-российского) национализма, который подводит предполагаемую прочную базу под понятие равенства.

Уже самые ранние теоретики национализма связывали его достоверность с постоянным, носящим характер заклинаний воспоминанием о судьбоносном прошлом. Эрик Хобсбаум создал

часто используемую формулу для описания выдуманных национальных традиций¹⁷. С ее помощью было найдено не столько антиидеологическое средство против национальных легенд о шотландском плеле и битве Арминия, сколько успешная стратегия национальной идентичности. Националистическое — селективное, но не всегда общепризнанное — обращение к истории использует с особым успехом прием групповой психологии, позволяющий формировать ценности ориентации и собственные образы и вновь и вновь возрождать их. Именно к этой способности отсылает модель культурной памяти. Она описывает воспоминания не о вещах и их возможном употреблении, а о системе понятий, которые подлежат запоминанию, — понятий, конститутивных для группы¹⁸. Группа сама не становится метасубъектом особой надындивидуальной памяти, которая покоится на воспоминаниях членов сообщества. Память образует пространство опыта и «горизонт ожидания», содержащие, с одной стороны, представления о сегодняшнем состоянии социума, а с другой — помещающие «вспоминающее» сообщество в диахронические, нарративные связи и придающие ему тем самым статус субъекта. Культурная память является тем самым *не* состоянием, *не* архивом неизменных воспоминаний, но приемом реконструкции, культурой воспоминания. Эта форма воспоминания зависит от настоящего, но она независима от фактичности или от фиктивности воспоминаемого. Она является, как подчеркнул Ян Ассманн, «воспоминанием, рождающим чувство сопричастности»¹⁹.

Нация также может становиться темой подобной памяти, создающей группу, в момент, когда прошлое «сгущается» до состояния мифа. Этот миф становится тогда частью особого интериоризированного фонда знания и управляющим воспоминанием способом интерпретации с характерной пространственной и временной референцией. Участие в этом мире понятий возможно через коммуникацию и поддерживается ею, рефлексивное представление о ней циркулирует в текстах, картинах, а также в ритуалах и других практиках. В какой бы мере культурная память ни определялась социальной ролью ее носителей и имеющимися у них средствами, речь идет о чем-то большем, чем создаваемое ими коммуникативное сообщество, как это уже давно известно из штудий национализма²⁰. Она относится в большей степени к виду идентификации, без которого не может возникнуть идентичность.

Следует различать два основных варианта²¹. Нация может получить статус внеисторической, неизменной сакральной ценности, с которой настоящее находится в неизменном отношении. В ином случае она может получить интерпретацию как начало и движущая сила продолжающегося в настоящем времени развития.

Различие между статическим и динамическим представлениями о нации следует понимать как идеально-типическое, необходимое для определения смешанных отношений. Таким образом оно может быть применено к упомянутому противопоставлению русских и российских элементов. Культурная память связывает тем самым в диалектическом единстве то, что националистическая традиция в целях анализа разделяла и изучала в отрыве друг от друга. Другое достоинство этой модели следует видеть в том, что она объясняет приемлемость понятия нации не только с помощью убедительных выводов, но и на основе оправдавшего себя конструкта идентификации. Она в меньшей степени связана с тщательно сформулированными системами идей, чем с неосознаваемыми контурами схемы интерпретации. Модель оперирует, в-третьих, не определенными признаками нации, а (в широком смысле слова) дискурсами о ней. Пока вообще ведется дискуссия в отношении понятия нации, оно сохраняет свое значение и тем самым реальность бытия. Это означает вместе с тем, в-четвертых, что курсирующее значение не является случайным, но прочитывается в определенной диалогической связи. Именно здесь обнаруживаются точки соприкосновения с другими, возможно конкурирующими «вспоминающими сообществами», с которыми индивидuum связан множеством нитей. В-пятых, в культурной памяти снимается типичное для исторической исследовательской традиции России противопоставление между нормальным и внешне лишенным проблем национальным сознанием и политически акцентированным национализмом. Оба представления содержат воспоминание о нации как о данном, подверженном изменениям субстрате.

В качестве предмета культурной памяти нация трансформирует свое свойство данности в историчность, но иную историчность, чем та, которую приписывает ей национализм. Особенность национальной культурной памяти состоит в том, что она, будучи созданной первоначально экспертами-интеллектуалами, вскоре превращается в традиционный прием сакрализации прошлого²².

Названные пять аспектов охватывают, конечно, только часть проблем национализма. Их следует поэтому комбинировать с другими идеями в области социальной и политической истории, а также истории средств массовой информации, с тем чтобы точнее определить истоки масштабов воспоминания. Однако прежде в диахроническом исследовании на примере России должны быть выделены центральные элементы национальной памяти.

2 Дискурсивный эскиз русско-российского национализма

Если в последующем изложении будет предпринята попытка включить русско-этнические и российско-политические признаки нации в систему культурной памяти, следует иметь в виду следующий принципиальный момент. Так же как и «нация», «этнос» и «Россия» в той мере, в какой это может быть доказано этимологически, обладают в системе представлений национализма иной реальностью, чем тождественные понятия в аналитических концептах исследований национализма. Эти последние на определенном историческом отрезке сводят калейдоскопические нюансы в типологические различия. С другой стороны, они содержат отсылку не к объективным свойствам, а к интерпретирующим дефинициям. Следствием этого является необходимость интенсивных исследований с целью проверки понятий «народ», «государство» или «общество» на наличие национальных коннотаций. Кроме того, за хамелеоноподобным образом нации обнаруживается принципиально конфликтное отношение между этническим и политическим представлениями о нации. Оно основывается не на противоречии между взаимоисключающими принципами, а на их неустранимой комплементарности.

«Этнос» в качестве одного из полюсов спектра интерпретации национализма означает не природное единство происхождения народной нации, а целую совокупность приписываемых признаков, образ группы, сложившейся естественным путем в процессе обособления от других. Данное представление связано с относительной дефиницией этнических сообществ, с которой давно имели дело антропологи культуры, прежде чем она вновь появилась в спекуляциях новейших направлений национализма²³. В качестве

так называемого мифомоторного комплекса «этнос» включает, подобно культурной памяти, символические интерпретации, фигуры воспоминания и традиционные интерпретации⁴. На противоположном полюсе политические националистические идеалы могут образовать союз с абстрактным понятием «демос». Его целью в перспективе является гражданская нация, объединяющая политически равноправно действующих лиц, и в нем прослеживается связь с принципом народного суверенитета. В любом случае «демос» как единство политической воли отличается от кажущихся объективными внутренних связей народной нации. Следует добавить, что «демотическая» или политическая нация представляет собой первоначально только проект будущего и тем самым, на первый взгляд, вовсе не предмет культурной памяти⁵. Однако она в принципе обладает референцией к прошлой, требующей реконструкции или существующей, требующей преобразования государственности.

В отношении России можно признать однозначный примат исторических связей в форме имперского патриотизма⁶. Он ориентировался на фигуру монарха и автократическую традицию царского самодержавия как важнейшие предпосылки быстро растущей и принимающей все более гетерогенный характер империи. Ее импозантное восхождение к положению великой европейской державы могло компенсировать для многих вызывающую нарекания отсталость и превратиться в своего рода величие. Исключительно обременительная обязанность имперско-патриотической лояльности объединяла те три (длительное время аристократические) элиты, которые со времен Петра I и, по сути дела, до 1917 года поддерживали царский абсолютизм: бюрократию, военных и дипломатов. В этом стабильном, династически неизменном конгломерате для новой, возникающей интеллектуальной элиты — интеллигенции — не было определенного места. Собственно говоря, она вышла из аристократических кругов, получила и использовала новые шансы для карьеры в автократической системе и оставалась, как правило, к ней лояльной. Однако из осмысления того особого деятельностного и образовательного потенциала, которым она располагала, развилось притязание не только на социальное признание этого потенциала, но и на статус авангарда национальной культуры⁷. Именно в этом контексте следует рассматривать тематизацию идеи русского народа с его исключительными качествами в истории идей XVIII века.

Это могло быть связано с религиозным представлением о «святой Руси» и обладало тем самым важнейшей вневременной референцией по отношению к доминантному государству²⁸. Но с переносом на народ территориальных и религиозных критериев избранности возникло новое коллективное представление. В исторической системе понятий «народ», как обозначение для множеств и подмножеств, избрал тем самым типичный для национализма путь демократизации и в конечном итоге политической переоценки²⁹.

Особые обстоятельства формирования государства и монархии под знаком отсталости и этническое понимание народа стояли у истоков истории русского национализма. Это связывало его с народным характером дискурсивной истории немецкого национализма и отличало его от развития во Франции и Великобритании, где национализм был связан с крепким государством, в то время как русский национализм первоначально противопоставлял этому государству народ как политическую силу³⁰. Этническая базовая дефиниция (русского) народа восходила к трансформации определения существующего союза подданных. Напротив, западные проекты нового государственного народа, признаваемые и в царской России, не смогли освободиться от суггестивной природности русского этноса. Речь шла в них о сохранении — и реформировании — монархии и империи от имени и при участии общества. Эти характеристики проектов оставались настолько аморфными без поддерживающего корсета сверхмощного царского государства, что они нуждались в дополнительной оценке со стороны еще не вовлеченного в обсуждение сообщества.

Тематически можно проследить моменты пересечения этнически-русских и политически-российских признаков нации начиная с эпохи Просвещения³¹. Например, Денис Фонвизин, один из наиболее известных критиков Екатерины II, призывал к правовому обоснованию ее правления. Согласно Фонвизину, даже самоуправная полнота ее власти является, в конце концов, как и любое другое легитимное правление, только заимствованной у нации. Этого вполне хватило в качестве скрытого афронта как против харизмы властительницы, так и против отживших автократичных и религиозных институтов, на которые могла опереться династия Романовых. Кроме того, такие деятели Просвещения, как Фонвизин и Новиков, открыли уникальный и естественный характер на-

рода, который позволял надеяться на великое будущее. С позиций критики цивилизации эта мысль была направлена против слепого, поверхностного подражания Европе и, в первую очередь, против франкофильской аристократической культуры¹². В идеализации христианско-православного, восточнославянского крестьянского народа содержался зародыш принципиального противостояния жизненному принципу царского самодержавия, основанному на гибкой интегративной стратегии по отношению к элитам союзных территорий с их существенно различающимися экономическими, общественными и культурными устройствами¹³.

Никто не помышлял, без сомнения, о том, чтобы признать подвергшийся двойной идеализации народ, в его подавляющей численности, основной действующей силой. Однако для его интеллектуальных первооткрывателей народ быстро превратился в опорную схему для формирования личных обязательств. В качестве базовых понятий следует назвать, с одной стороны, дополнительную легитимацию абсолютизма через идею всеобщего блага, сформулированную просвещенческой критикой, и через объединенную творческую силу путешественников, филологов и беллетристов, с другой. От них исходили различные политико-философские, литературно-романтические или научно-этнографические дискурсы о народе и нации. Поддержкой им служило сравнение с соответствующими проектами нации в западноевропейских обществах, равно как и конкурентная игра в европейской государственной системе, в которой все более осознанно принимала участие власть гарантов Венского конгресса. Сила, с которой она утверждалась, придавала автократии способность интегрироваться во многие представления о нации в качестве неотъемлемого исторического принципа, канонизированного историком Карамзиным в начале XIX века. Лишь аристократы-революционеры 1825 года осмелились создать столько же радикальный, сколько и бесполезный проект нации, который предусматривал насильственное свержение царской монархии¹⁴. Но и без этого понятие «нация» обладало оппозиционным содержанием, потому что оно представляло собой хронологически более раннюю и независимую от государства и самодержавия понятийную величину. Оба понятия оставались обязательными, но были объявлены зависимыми переменными, своего рода «защитной оболочкой» власти.

Таким образом, там, где имперский патриотизм ограничился внешними интеграционными рамками, нация пропагандировала новое, внутреннее единство. Этнические компоненты приобрели дополнительный семантический вес после того как в восстании декабристов идея суверенитета политической нации потерпела поражение. Перенос центра тяжести совершился, когда в годы после Французской революции сомнения в благе растущего западного влияния на Россию соединились с давно существующей риторической фигурой относительно привилегии отсталости¹⁵. Особый, не испорченный европейскими влияниями потенциал развития России, казалось, сохранился в чистой форме только в народе, которому приписывались романтические, идеальные свойства. Если Новиков говорил только о «народе россиян»¹⁶, очень скоро «русский» стало постоянным эпитетом для обозначения народа. В правопатриотическом смысле «русский» могло означать «российский»¹⁷, однако коннотация этого понятия в обществе существенно изменилась. Этому обстоятельству соответствовало вытеснение понятия «национальности», связанного первоначально с петровской идеей государственности, неологизмом «народность». Он означал сумму всех негосударственных характеристик народа и приобрел особую ценность в первых этнографических штудиях, в литературных сюжетах или историографических спекуляциях об индивидуальности русского народа¹⁸. Эти разнообразные усилия со стороны интеллигенции стали основополагающими для стандартизированной, пусть даже первоначально элитарной национальной культуры, и они были связаны с литературно-научной общественной жизнью в аристократических салонах, полулегальных литературных кружках и академической среде. Своего высшего уровня ранний интеллектуальный национализм достиг в известном, задававшем тон в 1830–1840-х годах споре между «славянофилами» и «западниками».

Истоком ключевой конфигурации русско-российского национализма считается опубликованное в 1836 году «Философическое письмо», в котором отставной гвардейский офицер Петр Чаадаев подвел катастрофический баланс российскому национальному строительству. Все другие нации достаточно рано, согласно Чаадаеву, сумели обозначить свой характер, свой определенный исторический принцип: «*Nous autres, nous n'avons rien de tel. Une brutale barbarie d'abord, ensuite une superstition grossière, puis une domination*

étrangère, féroce, avilissante, de l'esprit de laquelle le pouvoir national a plus tard hérité, voilà la triste histoire de notre jeunesse. Cet âge d'activité exubérante, du jeu exalté des forces morales des peuples, rien de semblable chez nous»³⁹. Пессимистический вердикт, отказывающий русской нации в ее роли в мировой истории, провоцировал двойные возражения: как со стороны тех, кто делал ставку на возможность достижения по меньшей мере такой же зрелости, как и соседние европейские народы, так и со стороны тех, кто видел в предполагаемом отсутствии историчности своего рода избранность, даже мессианство⁴⁰. В упрощенном виде речь идет об основных интерпретациях западников и славянофилов. Если для одних европеизация царизма в традициях Петра I была явно недостаточной, то для других она становится угрозой потери самобытности по сравнению с Европой.

Если говорить еще более упрощенно, то западники выступали за последовательную модернизацию царизма в соответствии с общеевропейскими масштабами, славянофилы же, напротив, представляли, в лучшем случае, «наивное» понимание допетровской Руси⁴¹. Однако именно в этом случае противопоставление просвещенного космополитизма и националистической отсталости привело к искаженному, одностороннему облику русского национализма. Ситуация не поддается исправлению путем ссылки на «либеральное» примирение между западниками и славянофилами при формулировании теми и другими требований реформ⁴². Ибо западники с их идеалом правопорядка и благоразумия индивидуумов стояли гораздо ближе к европейскому либерализму, чем славянофилы с их верой в общественную силу праславянского религиозного народного духа. С другой стороны, представляется целесообразным объединить оба движения на основе упомянутого выше нейтрального понимания национализма. Их влияние, сохранившееся до сегодняшнего дня, основывается на том, что оба представляют собой фундаментальные национальные проекты корректировки имперского патриотизма, не находясь при этом в оппозиции к имперскому государству. Западный национализм развивал российское, политически общественное представление о нации, его славянофильский оппонент — этнически русское. Однако оба предлагали существующему государству новую форму легитимации и провозглашали существование коллективного субъекта с особым историческим путем развития.

Это отвечало идее только обозначившейся, националистической базовой триады, которая в ходе диспута западников и славянофилов получала противоположные интерпретации. Однако именно из этого возникло дискурсивное сообщество, в котором нация превратилась в центральную ценность культурной памяти. Царизм, нуждающийся в реформах, занимал подобающую ему позицию, равно как и теория культуры, в отношении понятия «народность». Из философско-литературной абстракции оно превратилось в предположительно соотносящееся с реалиями понятие, воспринятое без возражений передовыми западниками, вроде гегельянца-историка Грановского или раннего социалиста Герцена⁴³. И даже министр просвещения в правительстве Николая I Уваров в конце концов признал его государственную значимость и внес тем самым вклад в новое определение России по контрасту с существующими западноевропейскими национальными государствами⁴⁴. В любом случае эта признанная государством «народность» означала не больше, чем долг служения и занимала вследствие этого, как и православие, только подчиненное положение в авторитарном и имперском самосознании режима, который, вплоть до своей гибели, сохранял династически имперскую дистанцию по отношению к государственному национализму⁴⁵.

Но небольшая группа интеллигенции, внутри которой имели место сближения славянофилов и западников, обнаружила в понятии «нация» и в особенности в понятии «народность» не только обязательный антипод государства, но и концепт, позволяющий преодолеть свойственную ей общественную и культурную дистанцию по отношению к большинству населения. В свете общего этнически религиозного прошлого все вышесказанное казалось не только более простым, чем будущие политико-общественные реформы, но и обещало, кроме того, стабильность взамен собственного неустойчивого социального положения. Идентификация с нацией становилась процессом компенсации в культурной «социализации» и не отменялась поэтому «наивным» разъяснением народности. В ней сохранялось притязание на право говорить от имени народа и участвовать в определении политики. Понятие «этнос» придавало легитимность целям образованной общественности, получающей возможность опереться на экономически передовую буржуазию. С другой стороны, равенство в понятии

«народность» искусно скрывало ограниченные возможности доступа к немногим общественным аренам⁴⁶.

Несмотря на проблемы политического резонанса, понятие «нация» в 1840-х годах в других странах превратилось в ценность, выходящую за рамки рефлексии интеллигенции и созданной ею национальной культуры. Одной из причин этого явилась институционализация школьного образования и науки, вследствие чего последние в качестве культурного капитала обрели особую ценность в элитарной среде. С другой стороны, национальные интерпретации превратились за пределами обозримого пространства социального опыта современников в определенные «фигуры воспоминания», которым в конфликте западников и славянофилов была придана жесткая форма. Они были включены тем самым, подобно лишь немногим темам бытового сознания 80-х годов, в обязательный состав культурной памяти⁴⁷. Культурная память отделилась от непосредственного воспоминания находящихся в коммуникативном контакте поколений, оформив смысл коммуникации в понятиях и категориях. Биографический «горизонт воспоминания» был сохранен в средствах массовой информации, получив тем самым доступ к абстрактной, охватывающей несколько поколений группе индивидуумов. Из противостояния между интеллектуалами возникла таким образом стабильная интеллектуальная система координат.

Поляризация славянофилов и западников была в меньшей степени противопоставлением ясных позиций, к которым могли присоединиться эпигоны в сфере гуманитарных наук, чем подсознательно действующим духовным горизонтом политической культуры⁴⁸. В нем содержались славянофильские клише о свойствах русской души, равно как центральный западнический миф о царе-Прометее Петре I. И «народность», потерявшая в качестве официально признанного понятия в годы реакции после европейских революций 1848 года свою притягательную силу, сохранилась как базовая категория в (последующем) литературно-научном дискурсе. Во второй половине XIX столетия она приобрела в связи с растущими проблемами нации невиданное прежде политическое значение (об этом подробнее в разделе 3). Против этого выступали со славянофильской последовательностью такие религиозные философы, как Соловьев или, позднее, Николай Бердяев (впрочем,

без особого успеха)⁴⁹. Представление о преимущественных государственных правах русской «народности» принимало в дискуссиях с нерусскими национальными движениями все более очевидные программные формы и блокировало тем самым, вплоть до Октябрьской революции — иным способом, чем в то же время в государстве Габсбургов, — серьезную дискуссию относительно государственно-правовых моделей.

Политизация славянофильских воззрений отвечала задачам этнизации политических целей. Не только публицист с неоднозначной репутацией Михаил Катков с 1860 года без стеснения использовал «народность» как основную ценность в своем проекте мощного русского национального государства. Ибо то, что Катков с поразительным упорством использовал для оправдания государственной политики унификации, обнаруживает себя в качестве предпосылки в немногих дискредитировавших себя проектах русского либерализма: этнос в качестве исторически сложившегося свойства, позволяющего славянскому народу существовать вовсе без государства. Здесь следовало бы проанализировать еще одну линию развития, которая охватывает период от ранних осторожных размышлений историка права Бориса Чичерина о целесообразности и преимуществах народного представительства до великорусского конституционализма либеральных партийных политиков, подобных Петру Струве⁵⁰. Подобного рода национализм в представлениях об эмансипации буржуазного государства идеологи прежнего режима, в частности, постоянный советник царя Константин Победоносцев, воспринимали в качестве одного из самых больших заблуждений времени. Победоносцев, как и Уваров за полстолетия до этого, прибегал для опровержения этой «лжи» к понятию «народность»⁵¹. Без сомнения, царское государство продолжало оставаться в центре внимания, однако его выросшая из автократии стабильность должна была получить гарантии через систематические мероприятия по административно-культурной «русификации». В качестве индикатора этого может служить официально признанный антисемитизм⁵². После революции 1905 года премьер-министр Столыпин все чаще делал ставку именно на эту карту и, используя избирательное право, прилагал серьезные усилия к созданию националистической опоры во вновь учрежденном парламенте⁵³.

Однако национализм ни в коей мере не подчинялся воле режима. В нем сохранялись элементы традиции, но нация в качестве легитимирующей ценности обладала собственной динамикой, не поддающейся учету. В отличие от признанного аристократического консерватизма, который поддерживал Столыпина, народный и военизированный национализм в лице фашиствующей «черной сотни» настаивал на реформах более радикально, чем это мог сделать либеральный национализм в традициях Каткова и Струве с моделью сильного европейского единого государства⁴. Системно совместимыми обе разновидности национализма были в той мере, в какой обе решительно выступали за сохранение империи. Только в радикальном левом спектре были готовы пожертвовать государственным единством в угоду национальному многообразию⁵. Это делалось, возможно, из тактических соображений — подобно тому, как в 1917 году будет поступать и ленинская социал-демократия в связи с убеждением, что (понятая как этническое образование) нация как определенная ступень развития общества должна быть быстро преодолена наступающим социализмом. В аграрном социализме социал-революционеров сохранялось революционное народничество 1870-х годов, пытавшееся с помощью агитации мобилизовать особый потенциал развития русского народа. Славянофильско-религиозные топосы уникальности крестьянской общины были трансформированы в политический механизм и восприняты как особый путь русского социализма. Последовательно ориентируясь только на самого себя, это провидческое осознание имело изоляционистский характер и относилось с пониманием к возникающим нерусским революционным партиям. Подобным образом славянофильский публицист Иван Аксаков поддержал в своем анализе Польского восстания 1863 года требование независимости Польши⁶.

В раскладе политических сил перед Первой мировой войной «народность» уже не являлась особым полюсом, а играла, скорее, роль привычного национального древнего мифа. Ее изначальная данность обладала такой же фундаментальной очевидностью для ответа на вопрос национализма «что есть Россия?», как и критический диалог с Западом. Кроме того, оба аспекта в связи с требованиями осознающего себя сообщества приобретали политический характер — не в последнюю очередь, в национальном вопросе.

Выявление природных национальных корней, помогавших интеллигенции становиться социальной действенной силой, стало темой для обсуждения широкой политической общественности. Активность и устойчивость этой идеи требует объяснения, заставляя обращать взор к тому времени, когда связь народности и политики была столь же неожиданной, как и выступление Аксакова в поддержку польской нации.

3 Нация как живая легенда

Предсказание вечной юности, а также насыщенное мифами и непреходящее прошлое — таковы два свойства нации, особо выделяемые этносом. Они не только связывают нацию как народно-национальное образование с идеальным прошлым или находящейся под угрозой нормой, но и придают ей в значительной степени персональность действующего субъекта. Подходящие для этого образа качества составляют основу приключенческой коллективной биографии, участие в которой возможно не только благодаря праву рождения, но и благодаря идентифицирующему действию нарративных связей. Дополнением к «воспоминанию» национального сообщества становится прогноз обязательного будущего, желательно отдельно от других сохранившихся наций. Внутри европейской уникальной государственной системы, в которой первоначально возник национализм, долгосрочная политическая перспектива является необходимостью.

В национализме оба элемента объединены в мифе исторического обновления, который может получить тематизацию самым разнообразным образом и по-разному сочетаться с требованиями. Кроме того, можно выделить фазы изменения акцентуации, участников событий и интенсивности. Параллели с ренессансом в проблематике национальности обнаруживаются в современной русской публицистике с 1860-х годов, когда политический вопрос вообще впервые был поставлен на повестку дня и стал широко обсуждаемой темой. «Эол открыл свой грот, — нашел один из наблюдателей уже тогда подходящую метафору, — и из нее извергся ураган *национальной проблемы!* Когда же ураган промчится?» — вопрос завершался обращением к итальянским освободительным

войнам и конфликтам, существовавшим в империи Габсбургов. Повсюду пробивала себе дорогу новая форма политики: национальная политика. «Мы видим происходящее, но мы не можем его объяснить. В чем заключается суть национальности, каковы ее так называемые первородные элементы? В какой сфере она действует, как привлекает людей и сводит их в группы, получающие наименование нации, и, в конце концов, что же такое нация?»⁷.

Даже если этот вопрос редко ставится прямо, он становится лейтмотивом публицистики десятилетия. Для ответа на него используются спекулятивные категории 1840-х годов, приобретающие неожиданную политическую актуальность. В особенности это касается народности, лишавшей государство, по всей видимости, статуса национального мифа. В национальных движениях на Балканах, в государствах Германского Союза или Италии, резюмировал журнал «Отечественные записки», распространилась особая энергия, от которой следует ожидать полного преобразования европейского государственного устройства. «Эта сила — народность. История и политика не хотели признавать ее длительное время, однако она демонстрирует свое существование»⁸. В течение нескольких лет, казалось, на смену равновесию европейских сил, по крайней мере в публицистике, пришла народность⁹. В центре внимания оказалась не только международная политика. Программные публикации и вновь созданные периодические издания, такие как «День» Аксакова и «Время» Достоевского, посвященные теме русской народности, смогли быть представлены заинтересованной публике весьма доходным тиражом в 4 000 экземпляров¹⁰. Причина этого может крыться в возрожденном панславянском пророчестве, с помощью которого, в первую очередь, «День» комментировал освободительное движение на Балканах. Но и во внутренней русской политике прежние критики отдавали теперь литературную дань «народности» как славянофильской идее о персональности нации¹¹.

Воздействие «народности» как источника восхищения тем более удивительно, что она в годы после проигранной Крымской войны, казалось, была преодолена и забыта, подобно спору славянофилов и западников об определении нации вообще в качестве далекой от реальности дискуссии о принципах. Оба лагеря имели еще право на публикацию журналов как форумов, служащих целям формирования мнения¹². В действительности реальный успех имел

только западнический, но имеющий ориентацию на Россию «Русский вестник», который трактовал «народность» иначе, чем славянофильская «Русская беседа». Она, иронизировал Чичерин, тем больше утрачивала свое значение «зачатка» России в конкуренции с западниками, чем заметнее страна продвигалась по пути европеизации. Именно таким мыслилось возрождение нации после проигранной войны. Народные корни славянофильского «позолоченного» прошлого не простирались столь далеко⁶³. По-настоящему никто не понимает сегодня, вторили «Отечественные записки», что вообще должна означать «народность»⁶⁴. Оба либеральных журнала высказывали тем самым мнение большинства представителей растущей прессы, которое очень скоро взяло на себя роль лидера в дискуссии о давно забытых и ожидаемых втайне реформах.

Поражение в войне обнажило военно-техническую отсталость царизма и на фоне успеха европейских наций вновь поставило вопрос об основах этого успеха. Однако осуществленные, наконец, реформы (отмена крепостного права, переустройство юстиции, управления, образования и цензуры) явились компромиссом в пользу прежнего порядка и серьезно отставали от ожиданий⁶⁵. Для части чутко откликающейся общественности, которой было отказано в участии в политическом процессе принятия решений, это было началом определенной радикализации вплоть до революционного восстания. Для монархического большинства, напротив, «народность» могла, как несколько десятилетий назад, предложить концепт, позволяющий утверждать притязания на уникальность, невзирая на политическое бессилие. Таким образом, было сохранено общественное давление на царское правительство с требованием легитимации, получившее широкое распространение благодаря быстрой концентрации социальной коммуникации⁶⁶.

В набирающем силу общественном мнении «народность», с одной стороны, как предсказывал «Русский вестник», была утрачена как концепт воспоминания элитарного дискурсивного сообщества. Однако ее осколки приобрели статус элементов национальной культуры и литературы в особом масштабе⁶⁷. Если славянофилы и западники обнаруживали «народность» еще в общем багаже понятий, то прираставшей читательской публике это понятие было знакомо только понаслышке. С другой стороны, после Крымской войны «народность», пусть даже с опозданием, оказалась в перспективе

политики. Она представляла собой пусть не ядро кристаллизации организованного национального движения, как в Италии или Германии, но все же легитимирующую ценность все более политизированной или рефлектирующей общественности. Мысль об этом первым высказал и наиболее последовательно развил в серии передовых статей издатель еженедельника «День» Иван Аксаков⁶⁸.

«Общество» Аксаков понимал не в гегельянском смысле как диалектическую пару государству, но как моральную величину, демонстрирующую свою действенность в общественном мнении. «Общество, по нашему мнению, является той сферой, в которой совершается осознанная, духовная деятельность народа... Другими словами, общество есть народ в другое время, на другой ступени развития, сам себя познающий народ». Если государство образует внешнюю, материальную «защитную оболочку» народа, то общество гарантирует внутреннее единство. Оно превращает естественную, существующую сама по себе «целостность» в обладающий национальным самосознанием народ. Благодаря этому новому «народному самосознанию» возникает общество, объединяющее народ — «моральное и физическое единство происхождения и вероисповедания» — с искусственными государственными формами⁶⁹.

Следует выделить в аксаковском понимании народной нации не только то, что ему свойственно выраженное внесловное содержание. Оно содержало сильный аргумент естественного права, позволяющий требовать для общества полной свободы мнений. Ареной для решений должна была стать пресса, что Аксаков умел доказывать с неопровержимой ясностью. Впрочем, он понимал свою газету не как компенсацию отказа от участия в политической жизни и приветствовал монополию правительства на власть как определенное облегчение для общественности⁷⁰. Вместе с тем даже это лояльно понимаемое разделение труда имело непосредственной целью изменение автократически формируемой политики под воздействием критически настроенного общественного мнения. Эти притязания стали дурным сном для правительства, и тот факт, что «народность» снова оказалась на поверхности, не делало их более приемлемыми. И все-таки провокации Аксакова были частично приняты, хотя «никакое другое издание не доставляло цензуре столько хлопот, как газета „День“». Ее аргументации относительно неполитической «народности» приписывались достойные ува-

жения, патриотические мотивы⁷¹. Здесь следует предположить наличие одного из тех звеньев, которые могли позволить преодолеть аподиктическое противоречие между предполагаемой вечной реакционностью государства и прогрессивностью общества⁷².

Если во внутренней политике «народность» имела статус беспроblemного, признанного понятия, то министр внутренних дел Валуев предостерегал относительно «революционных теорий народности», которые могли скрываться в самых безобидных сообщениях из-за границы⁷³. Действительно, успехи, достигнутые национальным героем Италии Гарибальди с его армией добровольцев продемонстрировали пример того, как быстро национальное движение способно выйти за рамки правил игры кабинета министров. В харизматической фигуре генерала нашло воплощение естественное стремление итальянского народа к единству, против чего были бессильны и дипломатическая интервенция Франции и Австрии, и сопротивление многочисленных малых государств Апеннинского полуострова. Даже «Русский вестник» должен был уступить неудержимому воздействию «кровного родства» народности⁷⁴.

Российский национальный проект, конечно, не был воспринят «Русским вестником» как поражение. Если журнал одним из первых выразил восторги по поводу итальянского национального движения, то это проистекало непосредственно от восхищения реформаторским национализмом в том виде, в каком его представлял премьер-министр Сардинского королевства Кавур. Только после (вынужденных) дипломатических компромиссов журнал принял участие в восторгах по поводу движения Гарибальди⁷⁵. «Русский Вестник» приветствовал создание закрытого в территориальном отношении государства не только как запоздалое признание естественных границ итальянским — в спешке обнаруженным — народом, но, в первую очередь, как прекрасный исходный базис для проведения либеральных реформ в облиции просвещенного монархизма. Этот желанный для России идеал реформ ориентировался на основные ценности буржуазного национального государства, такие как правовая государственность и свобода мнений. Журнал не хотел вторить последовательной этнизации международной политики. Вместе с тем он был готов признать за предполагаемым атавизмом «народности» элементарную, необузданную силу, которую не может обойти никакое правительство, не

освоив ее и направив в мирное русло⁷⁶. Стагнирующая политика реформ в качестве национальной могла получить новый импульс и обрести новые основания для легитимации.

Журнал обозначил тем самым позицию, которую представлял его издатель Катков в качестве редактора «Московских ведомостей» в ходе Польского восстания против царской власти (1863–1864). Государству газета отводила главную роль, однако оно не могло, согласно данной позиции, безнаказанно игнорировать существование многочисленных народностей. Более того, только государство, которое само вышло из «народности», обладало возможностями выживания; оно могло выжить только в том случае, если оно сумело в конкурентной борьбе предотвратить притязания чужой «народности» на политическую роль. Такая «народность», как русская, которая с большим трудом и в течение веков создавала и защищала государство, должна, по мнению журнала, требовать от живущих на ее территории «народностей» (например, польской) признания ее исторических заслуг. В государстве, таков был основной тезис Каткова, разрешено существование только одной «народности» с государственным статусом, только одной «политической национальности». Сложившись однажды, такая «национальность» автоматически становится обязательной для всех граждан государства. Имперский патриотизм был, таким образом, национализирован: *Cuius regio, eius natio*⁷⁷.

Отношение Каткова к национальной государственной власти было однозначным, его требования соответствующего правового, административного и языкового объединения не предусматривали компромиссов. Эта негибкая позиция в отношении польских повстанцев принесла англофилам-западникам славу либерализма с неустойчивыми принципами, которая основывается, при близком рассмотрении, только на свойственной ему склонности к словесной полемике против инакомыслящих⁷⁸. В содержательном плане Катков высказывался за проект национального государства с современной системой управления и судопроизводства, государственной системой образования и постепенным ограничением сословных прав. Никогда «Московские ведомости» не выступали с пропагандой подавления или безоглядной русификации польского народа, имея в виду не больше чем правовую унификацию на государственном уровне. Этой перспективе (долгосрочной)

интеграции всех частей государства ничего не могли противопоставить критики в более либеральных «Санкт-Петербургских ведомостях»⁷⁹. Однако тот факт, что Катков выдвигал для обоснования господства над Польшей только национальные аргументы, никто в России не ставил ему в вину. Это было вполне достаточное обоснование.

Катков был не единственным, для кого Польское восстание 1863 года явилось поворотным событием и стало наряду с неразрешенным кризисом реформ во внутренней политике и потрясениями в европейской системе государств третьим импульсом для переоценки понятия «народность». Однако основной вклад Каткова в историю русского национализма состоял в том, что он не удовлетворился простым возрождением «народности», но включил это понятие в политическую программу, которая носила как имперский, так и реформаторский характер. Конкурирующая славянофильская газета «День» утратила тем самым свои преимущества в качестве признанного интерпретатора «народности», которую она использовала чаще прежнего в качестве базовой ценности для объяснения и преодоления кризиса. Ее редактор Аксаков, как было упомянуто, зашел слишком далеко в вопросах признания за польской «народностью» таких же политических прав, что и за русской. Господство над «чужой, враждебной нам польской национальностью» он заклеил как постоянную угрозу «свободному развитию русских национальных основ» (русских народных начал). Даже «русский царь является вождем, главой и представителем русского народа — а никаких других прочих народов»⁸⁰. Это означало не только вытеснение польского чужеродного образования из «тела» российской нации, но и придание российскому императору статуса русской символической фигуры.

Неудивительно, что эти тезисы последовательного этнического национализма были слишком вольными, как в смысле цензуры, так и в смысле политики⁸¹. Аксаков мог публиковать их фрагментами, из которых легко можно было сделать выводы⁸². Ведущее положение «Московских ведомостей» невозможно было предотвратить. В заметном отличии от «Дня» газета связывала имперское единство России с государственным существованием русской нации. Она обращалась к этническим аргументам, например, в споре относительно притязаний польских повстанцев на те губернии,

в которых население по языковым и религиозным критериям было русским⁸¹. Но для «Московских ведомостей» смысл нации получал прежде всего политико-географическое определение. «Территория нации священна». Даже перспектива утраты императором власти только над коренной Польшей (Царством Польским, или так называемой «Конгресувкой») сравнивалась в этом случае с четвертованием живого тела в угоду ищущему мести врагу⁸⁴.

Катков сместил акценты лояльности внутри имперского патриотизма не с помощью замены его этническим императивом, но добавлением триады из династии, государственных сословий и монархии к понятию нации. Это предъявляло неслыханные доселе требования к политическим и интеграционным силам отсталого и гетерогенного царского государства. Нация могла бы в качестве своего рода обязательства общества мобилизовать его силы, как это продемонстрировало, не в последнюю очередь, польское национальное движение. Это не отличалось по своему пафосу от прежних призывов «Русского вестника» к гражданскому чувству его читателей, разве что вместо него выступало «русское национальное чувство» с мифологическим ядром «народности». «Не то чтобы внутренние предпосылки нашего существования или действительные силы нашей „народности“ недостаточны, они просто не овладели нашим общественным сознанием»⁸⁵.

Подобно «Дню»⁸⁶, «Московские ведомости» движутся по пути этнизации национализма. Общество, которое вопреки оптимизму послевоенных лет ощущало независимость от государства, должно было обрести самосознание и представление о собственной значимости в качестве «русского» и национально-этнического. При этом не имело значения, что последователь Гегеля (в прошлом преподаватель философии) Катков, в отличие от Аксакова, имел социологические представления об обществе. Оба видели важнейшее для общества поле деятельности в свободной прессе. Действительно, требование национального единства в общественном мнении получило всеобщую поддержку, которая могла интерпретироваться как доказательство существования нации и подчеркивала, кроме того, ведущую роль органов прессы как «голоса нации»⁸⁷. Множество факторов действовало в одном направлении: разочарование польской «неблагодарностью» по отношению к петербургской политике реформ, возмущение вмешательством евро-

пейской дипломатии, бесспорно русский характер западных губерний империи, надежда на признание со стороны правительства. В итоге обе действенные силы, общество и «народность», слились неразрывно в понятии «нации».

Если созданное таким образом понятие «народности» было окончательно возведено в ранг коллективного архетипа, который мог употребляться вместо «народа» и «нации», то общество обрело понятное естественное основание и тем самым дополнительный смысл, который не отвечал ни его масштабам, ни непрочной правовой базе. Если образ буржуазного общества в реформируемой России после Крымской войны оставался бессильной абстракцией⁸⁸, то кровопролитие Польского восстания возродило его к новой «русской» жизни. Представление об этносе («народности») побудило даже сдержанные «Санкт-Петербургские ведомости» возвестить: «Сейчас как никогда Россия нуждается в собственном обществе, необходим истинный голос русского племени»⁸⁹. Представление о борющейся за право существования русской народности не только свело комплекс причин и явлений, связанных с польским вопросом, к кажущимся значимыми фактам, но и обрело смысл и образность, создающие возможность сопереживания.

Все сказанное должно продемонстрировать неполноту триумфа этнического русского национализма. Бесспорно, для «Московских ведомостей» и либеральных газет, подобно «Санкт-Петербургским ведомостям» и «Голосу», великие реформы имели преимущественной целью интегрировать, а не подавлять чужие народности. Однако не только автократическое государство сопротивлялось идеалам государственной буржуазной нации, но и внутри общества не существовало консенсуса относительно ее путей и содержания, в то время как естественное существование «народности» не вызывало споров. Эта несогласованность выступила еще более отчетливо в другом национальном вопросе — в получившем развитие в публицистике споре об особом положении балтийских губерний империи и их немецко-балтийских элит. Тогда очень скоро возникли два лагеря, которые в меньшей степени противостояли друг другу в деловых вопросах и вопросах реформ, чем в эмоционально окрашенном противостоянии немецкой самобытности, с одной стороны, и русской народности, с другой⁹⁰. Вскоре точно так же еврейский вопрос сфокусировался на этническом антисемитизме⁹¹.

Непредубежденный наблюдатель мог обнаружить уже в польском вопросе следы «странной теодицеи», которая приписывается в настоящее время этносам⁹². В саморефлексии тогдашнего русского общества эта краткая, содержательная оценка, бесспорно, была вызвана накладывающимися друг на друга политическими и военными событиями. Однако объяснить их невозможно простым рассуждением. Для этого представленная (в разделе I) модель культурной памяти предлагает два аргумента с продолжением. С одной стороны, следует подробнее изучить средства информации, в которых нация обрела очертания концепта интерпретации. Решающим моментом в исследуемых связях становится возникновение современной газетной публицистики, поставлявшей актуальные отчеты о борьбе «народностей». Дневная газета превратила тем самым нацию в привычную категорию процесса чтения в доступной форме продолжающейся легенды. Культурная память по-прежнему задававшая тон интеллигенции стала, в другом агрегатном состоянии, доступной более широкому кругу, приобретя свойство воспроизводимости⁹³.

С другой стороны, в кризисную пору великих реформ статичные, русские «фигуры воспоминания» приобрели больший вес по сравнению с динамичными, российскими. В рамках культурной памяти это означало смещение акцентов, а не полностью неожиданную интерпретацию. В активном общественном употреблении 1860-х годов этнос вошел в расширявшееся дискурсивное сообщество не по причине естественного стремления к самопознанию, да и не как идеологическая маска, но как напоминание о незабываемом. В тогдашних условиях миф о природной коллективной Самости обладал в большей мере надежностью, чем политической новизной. С помощью этой оправдавшей себя риторической фигуры самоутверждения должны были быть внесены изменения не только в существовавший до настоящего момента интеллектуальный дискурс «народности», но и в критерии принадлежности к нему его участников.

4 Выводы

Согласно простой мысли, все гениальные идеи просты. Вопреки этому национализм долгие годы считался «слишком простым, чтобы быть истинным», и только в последние годы становится очевид-

ной основная предпосылка его успеха⁴. Этот как политический, так и теоретический рефлекс на непредусмотренное возвращение этноса вовсе не является его первым ренессансом. В общественной жизни царского государства суггестивная природность русского этноса, «народности» уже в 1860-х годах обрела неожиданное политическое звучание. Империя после поражения в Крымской войне переживала глубокий кризис реформ, который можно сравнить с трансформационными процессами современности. Масштаб русской «народности» изменил реальность сложного устройства царского многонационального государства. Следовало не просто признать ей — что до определенной степени оставалось предметом спора — предпочтительный политический статус по сравнению с чужими, присоединившимися народностями. Она была к тому же прибежищем на перспективу для выбирающей аргументы общенности, которая неспособна была иным образом подчеркнуть свои притязания на уникальность.

Природность «народности» была важнейшим условием ее успеха. Она скрывала то обстоятельство, что речь идет как о (богатой последствиями) новой интерпретации царской политики, так и о социально конструируемой рефлексии сословий, являющихся основой тогдашней общественной жизни. Модель культурной памяти, описывающая воспоминание как форму коммуникации, создающей группы, содержит другой аспект. Конструкт общего национального прошлого возник внутри литературных и культурных теорий малой группы интеллигенции, определившей в размышлениях о «народности» свое собственное социальное положение. В царском государстве этот интеллектуальный дискурс был важнейшим двигателем возникновения общества, которое не могло опереться на сословную или экономическую традицию автономии, как в Западной Европе. Самодержавие отрицало новые возможности для политического формирования нации, так что этнос из предполагаемого исторического принципа превратился в важнейший полюс задающего тон правого патриотизма. В традиционной линии развития от Уварова до Победоносцева режим открыл «народность» для себя, однако она никогда не возвысилась до официального государственного национализма. Это понятие ослабляло жизненно важные правопатриотические тиски царского многонационального государства и было тем самым, скорее, условием

возникновения национального вопроса, чем реакцией отторжения против них⁹. С быстрым развитием средств информации, в особенности ежедневных газет, с середины 1860-х годов расширился круг «вспоминающей» интеллигенции. Из элитарного дискурса «народность» как субъект переместилась в новую форму обыденной культуры. Она жила этим и продолжала существовать благодаря тому, что читатель вспоминал о ее существовании как о чем-то само собой разумеющемся и одновременно постоянно открывал ее для себя вновь.

Примечания

1 Мандельштам О.Э. Литературная Москва // Мандельштам О.Э. Сочинения: В 2 т. Т. 2: Проза, переводы. М., 1990. С. 276.

2 Ср.: *Smith A.D. Nationalism and the Historian* // *Smith A. Ethnicity and Nationalism*. Leiden, 1992. P. 58–80.

3 Итоги этого исследования см.: *Alter P. Nationalismus*. Frankfurt/Main, 1985. Новые обзоры: *Langewiesche D. Nation, Nationalismus, Nationalstaat: Forschungsstand und Forschungsperspektiven* // *Neue Politische Literatur*. 1995. Vol. 40. S. 190–236; *Smith A. Nationalism and Modernism: A Critical Survey of Recent Theories of Nations and Nationalism*. London, 1998 [Смит Э. Национализм и модернизм: Критический обзор современных теорий наций и национализма. М.: Праксис, 2004].

4 Основные критические обзоры см.: *Connor W. A Nation is a Nation, is a State, is an Ethnic Group, is a ...* // *Ethnic and Racial Studies*. 1978. Vol. 1. P. 377–400; *Armstrong J. Nations before Nationalism*. Chapel Hill, 1982; *Smith A. The Ethnic Origins of Nations*. Oxford, 1987.

5 *Mastyugina T., Perepelkin L. An Ethnic History of Russia: Pre-Revolutionary Times to the Present*. London, 1998. P. 1. Ср. также: *Mirskii G.I. On Ruins of Empire: Ethnicity and Nationalism in the Former Soviet Union*. Westport, 1997. P. 39.

6 Ср.: *Breuilly J. Approaches to Nationalism* // *Formen des nationalen Bewußtseins im Licht zeitgenössischer Nationalismustheorien* / Hrsg. von E. Schmidt-Hartmann. München, 1994. S. 15–38; *Wehler H.-U. Deutsche Gesellschaftsgeschichte*. München, 1995. Bd. 3. S. 941 ff.

7 *Connor W. Ethnonationalism* // *Connor W. Ethnonationalism: The Quest for Understanding*. Princeton, 1994. P. 68–86, особенно с. 75. Ср. также: *Elwert G. Nationalismus und Ethnizität: Über die Bildung von Wir-Gruppen* // *Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie*. 1989. Vol. 41. S. 440–464, особенно с. 441; *Kaschuba W. Wiedergewinnung der Gemeinschaft. Ethnisierung als Identitätsstrategie* // *Ethnologia Europea* / Hrsg. von K. Beitzl, O. Bockhorn. Wien, 1995. S. 123–142.

8 Ср. обобщение итогов: *Elwert G.* Op. cit. P. 443 ff.; *Heckmann F.* Ethnos, Demos und Nation, oder: Woher stammt die Intoleranz des Nationalstaats gegen ethnische Minderheiten? // Das Eigene und das Fremde: Neuer Rassismus in der Alten Welt / Hrsg. von U. Bielefeld. Hamburg, 1992. S. 51–78, особенно с. 66.

9 Контраргумент против подобных поспешных выводов см.: *Connor W.* Beyond Reason: The Nature of the Ethnonational Bond // *Connor W.* Ethnonationalism... P. 196–209.

10 См. по этому поводу: *Renner A.* Russischer Nationalismus und Öffentlichkeit im Zarenreich 1855–1875. Köln, 2000. S. 35, а также вновь появившиеся исследования: *Simon G.* Rußländische Nation – Fiktion oder Rettung für Rußland? // Berichte des Bundesinstituts für Ostwissenschaftliche und Internationale Studien. 1999. № 11.

11 Ср.: *Billig M.* Banal Nationalism. London, 1995. P. 5 ff.; *Hutchinson J.* Modern Nationalism. London, 1994. P. 29 ff. В качестве обзора см.: *Haupt H.-G., Tacke C.* Die Kultur des Nationalen // Kulturgeschichte heute (GG, Sonderheft 16) / Hrsg. von W. Hardtwig, H.-U. Wehler. Göttingen, 1996. S. 257–285.

12 В немецкой версии: *Anderson B.* Die Erfindung der Nation. Frankfurt/Main, 1988 | *Андерсон Б.* Воображаемые сообщества: Размышления об истоках и распространении национализма. М., 2001 |.

13 Ср.: *Lemberg E.* Der Nationalismus. Bd. 1: Psychologie und Geschichte. Reinbek, 1964. S. 20 ff.; *Smith A.* Nationalism and Modernism... P. 97 ff.

14 *Smith A.* Memory and Modernity: Reflections on Ernest Gellner's Theory of Nationalism // Nations and Nationalism. 1996. Vol. 2. P. 371–388, особенно с. 382.

15 В декабре 1999 года книжный каталог www.amazon.com предлагал 221 соответствующее наименование (на немецком и английском языках). В качестве введения в тему см.: *Assmann A.* Zum Problem der Identität aus kulturwissenschaftlicher Sicht // Die Wiederkehr des Regionalen: Über neue Formen kultureller Identität / Hrsg. von R. Lindner. Frankfurt/Main, 1994. S. 13–35; *Eisenstadt S.N., Giesen B.* The Construction of Collective Identity // Archives Européennes de sociologie. 1995. Vol. 36. P. 72–102.

16 Критические замечания по этому поводу: *Handler R.* Is "Identity" a Useful Cross-cultural Concept? // Commemorations: The Politics of National Identity / Ed. by J.R. Gills. Princeton, 1994. P. 27–40.

17 См. знаменитый доклад Э. Ренана «Что такое нация?» (1882), опубликованный в след. изд.: *Grenzfälle: Über alten und neuen Nationalismus* / Hrsg. von M. Jeismann. Leipzig, 1993. S. 290–311; а также: *Bauer O.* Die Sozialdemokratie und die Nationalitätenfrage. Wien, 1924. S. 112 ff.; *Hobsbawm E.J.* Das Erfinden von Traditionen // Kultur und Geschichte / Hrsg. von C. Conrad, M. Kessel. Stuttgart, 1998. S. 97–118, особенно с. 114.

18 Ср. основополагающую идею следующей работы: *Halbwachs M.* Das kollektive Gedächtnis. Stuttgart, 1967; историческая перспектива дана в следующих работах: *Assmann J.* Das kulturelle Gedächtnis. München, 1999 [Ассман Я. Культурная память: Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности. М., 2004]; *Idem.* Kollektives Gedächtnis und kulturelle Identität // Kultur und Gedächtnis / Hrsg. von J. Assmann, T. Hölscher. Frankfurt/Main, 1985. S. 9–19; *Assmann A.* Erinnerungsräume: Formen und Wandlungen des kulturellen Gedächtnis. München, 1999. S. 130 ff.

19 *Halbwachs M.* Das Gedächtnis und seine sozialen Bedingungen. Berlin, 1966. S. 203; *Assmann J.* Erinnern, um dazuzugehören: Kulturelles Gedächtnis, Zugehörigkeitsstruktur und normative Vergangenheit // Generation und Gedächtnis / Hrsg. von K. Platt, M. Dabag. Opladen, 1995. S. 51–75.

20 Основополагающая публикация по данной теме: *Deutsch K. W.* Nationalism and Social Communication. Cambridge, Mass., 1966.

21 Ср.: *Assmann J.* Kulturelles Gedächtnis... S. 77 ff.

22 Ср. иную точку зрения: *Ibid.* S. 50; противоположную позицию: *Nora P.* Zwischen Geschichte und Gedächtnis. Berlin, 1990. S. 11.

23 Ср., например, введение к следующей работе: *Ethnic Groups and Boundaries* / Ed. by F. Barth. Cambridge, 1969. P. 14 ff. Введение и развитие темы: *Kohl K.-H.* Ethnologie – die Wissenschaft vom kulturell Fremden. München, 1993.

24 Ср.: *Smith A.* The Ethnic Origins of Nations... P. 57 ff.; *Kashuba W.* Volk und Nation: Ethnocentrismus in Geschichte und Gegenwart // Nationalismus, Nationalitäten, Supranationalität / Hrsg. von H.A. Winkler; H. Kaelble. Stuttgart, 1993. S. 56–81, особенно с. 60.

25 По поводу противопоставления «демоса» и «этноса» см. основные положения следующего труда: *Francis E.* Ethnos und Demos: Soziologische Beiträge zur Volkstheorie. Berlin, 1965. S. 34 ff.

26 См. указание литературы к данной теме: *Renner A.* Russischer Nationalismus und Öffentlichkeit... S. 28 ff.

27 Ср. общие положения: *Confino M.* Idéologie et mentalités: Intelligentsia et intellectuels en Russie aux XVIII–XIX siècles // Confino M. Société et mentalités collectives en Russie sous l'Ancien Régime. Paris, 1991. P. 389–422, а также аргументы, касающиеся всего аристократического сословия в работе: *Greenfeld L.* Nationalism: Five Roads to Modernity. Cambridge, 1992. P. 215 ff.

28 Все еще стандартное представление об этом: *Rogger H.* National Consciousness in Eighteenth-Century Russia. Cambridge, Mass., 1960. P. 126 ff.; *Cherniavsky M.* Between Tsar and People: Studies in Russian Myths. New Haven, 1961. P. 101 ff.

29 См. общие положения: *Koselleck R.* Volk, Nation // Geschichtliche Grundbegriffe / Hrsg. von R. Koselleck. Stuttgart, 1992. Bd. 7. S. 141–431, особенно с. 147.

30 Ср.: *Schulze H.* Staat und Nation in der europäischen Geschichte. München, 1994. P. 127 ff.; по поводу немецкого национализма см.: *Kaschuba W.* Op. cit. P. 58 ff.

31 Современные обзоры состояния исследований, главным образом в гуманитарных науках, см.: *Seton-Watson H.* Russian Nationalism in Historical Perspective // *The Last Empire: Nationality and the Soviet Future* / Ed. by R. Conquest. Stanford, 1986. P. 14–29; *Die Russen: Ihr Nationalbewußtsein in Geschichte und Gegenwart* / Hrsg. von A. Kappeler. Köln, 1990; новейший обзор: *Golczewski F., Pickhan G.* Russischer Nationalismus: Die russische Idee im 19. und 20. Jahrhundert. Darstellung und Texte. Göttingen, 1998.

32 *Фонвизин Д.И.* Рассуждение о истребившейся в России совсем всякой формы государственного направления, и от того о зыблемом состоянии как империи, так и самих государей // *Фонвизин Д.И.* Избранные сочинения и письма. М., 1947. С. 176–188, особенно с. 181, 184. Ср.: *Rogger H.* Op. cit. P. 70 ff.

33 О дальнейшем развитии см.: *Kappeler A.* Rußland als Vielvölkerreich: Entstehung, Geschichte, Verfall. München, 1992 [*Кappelер А.* Россия – многонациональная империя. М., 2000. С. 125–126]; *Hosking G.* Russia: People and Empire, 1552–1917. London, 1997 [*Хоскинг Дж.* Россия: народ и империя (1552–1917). Смоленск, 2000].

34 Подробнее об этом см.: *Lemberg H.* Die nationale Gedankenwelt der Dekabristen. Köln, 1963.

35 *Hildermeier M.* Das Privileg der Rückständigkeit. Anmerkungen zum Wandel einer Interpretationsfigur der neueren russischen Geschichte // *Historische Zeitschrift*. 1987. Bd. 244. S. 557–603.

36 См. предисловие Н.И. Новикова к его сатирическому произведению «Биржа»: *Новиков Н.И.* Сатирические журналы. М.; Л., 1951. С. 477.

37 Письмо Александра II генералу М.Д. Горчакову от 11 декабря 1855 года // *Русская старина*. 1883. Т. 39. С. 604–608, особенно с. 605.

38 Ср.: *Сорокин Ю.С.* Развитие словарного состава русского литературного языка, 30–90-е годы XIX века. М.; Л., 1965. С. 205 и след.; *Пыпин А.И.* История русской этнографии. СПб., 1890. Т. 1. С. 17 и след.; *Mills Todd W.* Fiction and Society in the Age of Pushkin. Cambridge, Mass., 1986. P. 19 ff.; *Martin A.M.* Romantics, Reformers, Reactionaries: Russian Conservative Thought and Politics in the Reign of Alexander I. DeKalb, 1997. P. 30 ff.

39 *Чаадаев П.Я.* Сочинения и письма. М., 1913. Т. 1. С. 74–93, цитата на с. 79 («Lettre première sur la philosophie de l'histoire») [«Мы, напротив, не имели ничего подобного. Сначала дикое варварство, затем грубое суевение, далее иноземное владычество, жестокое и унижительное, дух которого национальная власть впоследствии унаследовала, – вот печальная история нашей юности. Поры бьющей через край деятельности, кипучей игры нравственных сил народа – ничего подобного у нас не было»].

40 Ср. из бесконечного списка литературы великое предреволюционное сочинение Иванова-Разумника «История русской общественной мысли» (М., 1997. Т. I. С. 353), а также систематическое изложение противоположной точки зрения у Анджея Валицкого: *Walicki A. The Slavophile Controversy: History of a Conservative Utopia in Nineteenth Century Russian Thought*. Oxford, 1975. P. 447 ff.

41 Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры. Т. 3: Национализм и европеизм. СПб., 1903 (или издание: М., 1995); *Shapiro L. Rationalism and Nationalism in Russian Nineteenth Century Political Thought*. New Haven, 1967.

42 Об этом см.: Цимбаев Н.И. Славянофильство. М., 1986. С. 58.

43 *Renner A. Russischer Nationalismus und Öffentlichkeit...* S. 53.

44 Десятилетие министерства народного просвещения, 1833–1844. СПб., 1864. С. 2. По этой теме см.: *Riasanovsky N.V. Nicholas I and Official Nationality in Russia*. Berkeley, 1967.

45 Различные варианты обобщения см.: *Kappeler A. Russland als Vielvölkerrreich...* S. 224 ff. [*Канпелер А.* Указ. соч. С. 236]. Другую точку зрения см.: *Anderson B.* Op. cit. S. 90 ff. (возрожденный тезис о царском национализме) [*Андерсон Б.* Указ. соч. С. 109–110].

46 Подробнее см.: *Renner A. Russischer Nationalismus und Öffentlichkeit...* S. 64 ff.

47 По поводу разграничения обыденной, или коммуникативной, и культурной памяти ср.: *Assmann J. Kulturelles Gedächtnis...* S. 49 ff.

48 Цит. по: *Rohe K. Politische Kultur und ihre Analyse // Historische Zeitschrift*. 1990. Bd. 250. S. 321–346.

49 *Solov'ev V.S. Die nationale Frage in Rußland // Solov'ev V.S. Werke*. München, Freiburg, 1972. Bd. IV. S. 7–99; *Berdjaev N.A. Die russische Idee*. St. Augustin, 1983 [*Соловьев Вл. Национальная проблема в России; Бердяев Н.А. Русская идея // О России и русской религиозной культуре: Философы русского послеоктябрьского зарубежья*. М., 1990. С. 43–271].

50 *Чичерин Б.Н.* О народном представительстве. М., 1866; *Струве П.Б.* Великая Россия: Из размышлений о проблеме русского могущества // *Русская мысль*. 1908. № 1. С. 143–157; *Hamburg G.M.* Boris Chicherin and Early Russian Liberalism. Stanford, 1992. P. 347 ff.; *Ferenczi C.* Nationalismus und Neoslavismus in Rußland vor dem Ersten Weltkrieg // *Forschungen zur Osteuropäischen Geschichte*. 1984. Vol. 34. S. 7–127, особенно с. 19. Новейший обзор: *Boobbyer P.* Russian Liberal Conservatism // *Russian Nationalism: Past and Present* / Ed. by G. Hosking, R. Service. London, 1998. P. 35–54.

51 *Победоносцев К.П.* Великая ложь нашего времени // *Победоносцев: Pro et contra*. Антология. М., 1996. С. 99–114. В качестве обзора по этой проблеме: *Byrnes R.* Pobedonostsev: His Life and Thought. Bloomington, 1968.

52 *Klier J.D.* Imperial Russia's Jewish Question, 1855–1881. Cambridge, 1995; *Löwe H.-D.* Antisemitismus und reaktionäre Utopie. Hamburg, 1978.

53 *Edelman R.* Gentry Politics on the Eve of the Russian Revolution: The Nationalist Party, 1909–1917. New Brunswick, 1980.

54 Ср.: *Löwe H.-D.* Nationalismus und Nationalitätenpolitik als Integrationsstrategie im zarischen Rußland // *Die Russen: Ihr Nationalbewußtsein in Geschichte und Gegenwart...* S. 55–79, особенно с. 66; *Carter S.K.* Russian Nationalism: Yesterday, Today, Tomorrow. N.Y., 1990. P. 29 ff.

55 *Duncan P.J.S.* Changing Landmarks? Anti-Westernism in National Bolshevik and Russian Revolutionary Thought // *Russian Nationalism: Past and Present...* P. 55–76; также: *Heller K.* Revolutionärer Sozialismus und nationale Frage. Frankfurt/Main, 1977.

56 Например, в одной из передовых статей для его газеты «День» (1863. 27 апреля. № 17. С. 3–5).

57 См.: *Щебальский П.* Польско-русский вопрос // *Русский вестник.* 1861. Т. 36. Литературное обозрение и заметки. С. 27–38, цитата на с. 28.

58 Политическое обозрение // *Отечественные записки.* 1861. Т. 136. С. 2.

59 Ср.: Современное обозрение // *Современник.* 1863. Т. 99. С. 271.

60 Ср.: *Шеппинг Д.О.* Русская народность в ее повериях, обрядах и сказках. М., 1862; *День.* 1861. 15 октября. № 1. С. 15; Критическое обозрение // *Время.* 1861. № 1. С. 1–34; Российский государственный исторический архив [далее – РГИА]. Ф. 775. Оп. 1. Д. 83. Л. 4 (Годовой отчет цензуры за 1862 г.).

61 *Бестужев-Рюмин Н.Н.* Славянофильское учение и его судьбы в русской литературе // *Отечественные записки.* 1862. Т. 140. Отд. 3. С. 679–719, особенно с. 684.

62 Ср.: Исторические сведения о цензуре. СПб., 1862. С. 65; *Walicki A.* Op. cit. P. 466 ff.

63 *Чичерин Б.Н.* Критика господина Крылова и способа исследования «Русской беседы» (часть II) // *Русский вестник.* 1857. Т. 11. С. 174–208, цитата на с. 180, 206. Ср. также: *Розенталь В.Н.* Общественно-политическая программа русского либерализма в середине 50-х годов XIX века (по материалам «Русского вестника» за 1856–1857 гг.) // *Исторические записки.* 1961. Т. 70. С. 197–222.

64 Литературные и журнальные заметки; Библиографическая хроника // *Отечественные записки.* 1856. Т. 107. С. 43–54.

65 В качестве обзора по эпохе Великих реформ см.: *Bruce L.W.* The Great Reforms: Autocracy, Bureaucracy, and the Politics of Change in Imperial Russia. DeKalb, 1990; *Толмачев Е.П.* Александр II и его время. В 2 т. М., 1998.

66 Подробнее об отношениях коммуникации см.: *Renner A. Russischer Nationalismus und Öffentlichkeit... S. 118 ff.*

67 Ср.: *Brooks J. Russian Nationalism and Russian Literature: The Canonization of the Classics // Nations and Ideology / Ed. by I. Banac et al. Boulder, 1981. P. 315–334.*

68 См.: *День. 1862. 3 марта. № 21; 10 марта. № 22; 17 марта. № 23; 26 марта. № 24.*

69 Там же. 10 марта. № 22. С. 1. Курсив оригинала.

70 Там же. 17 марта. № 23. С. 2.

71 Характерна амбивалентность Меморандума министра народного просвещения А.В. Головнина от 22 июня 1862 года: РГИА. Ф. 773. Оп. 1 (1862 г.). Д. 377. Л. 110–111, а также оценка в годовом отчете цензуры за 1863 год: РГИА. Ф. 775. Оп. 1 (1864 г.). Д. 1. Л. 124–130, цитата на л. 129.

72 Ср. последнее по времени возражение против подобных клишированных интерпретаций (*Riasanovsky N. V. A Parting of Ways: Government and Educated Public in Russia, 1801–1855. Oxford, 1976*) в следующей работе: *Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи: В 2 т. СПб., 1999. Т. 2. С. 215, 247.*

73 Об этом см. в отношении министра народного просвещения Головнина Петербургскому цензурному комитету от 21 сентября 1862 года: РГИА. Ф. 777. Оп. 2 (1862 г.). Д. 1. Л. 167–167 об., цитата на л. 167 об.

74 *Бестужев-Рюмин К.П. Итальянский вопрос // Русский вестник. 1856. № 4. С. 127–144, цитата из политической хроники «Русского вестника» (Современная летопись: Политическое обозрение // Русский вестник. 1859. № 20. С. 274).*

75 Ср.: *Современная летопись: Политическое обозрение // Русский вестник. 1859. № 19. С. 62 и след.; Современная летопись: Политическое обозрение // Русский вестник. 1859. № 20. С. 78 и след.; Современная летопись: Политическое обозрение // Русский вестник. 1859. № 22. С. 88, 182, 222.*

76 *Современная летопись: Политическое обозрение // Русский вестник. 1859. № 20. С. 275; Там же. 1859. № 21. С. 89.*

77 См. программную статью М.Н. Каткова: [*Катков М.Н.*] Что нам делать с Польшей? // *Русский вестник. 1863. № 44. С. 469–506, а также передовую статью в «Московских ведомостях»: Московские ведомости. 1863. 9 марта. № 53. С. 2; 12 апреля. № 78. С. 1; 14 мая. № 103. С. 1. О М.Н. Каткове см.: Renner A. Russischer Nationalismus und Öffentlichkeit... S. 210 ff.*

78 Дополнительно об этом см.: *Golczewski F., Pickhan G. Op. cit. S. 35.*

79 Ср.: *Санкт-Петербургские ведомости. 1863. 4 апреля. № 73. С. 305; 21 апреля. № 87; 15 мая. № 108. С. 445.*

80 Из запрещенной передовой статьи в «Дне» от 20 апреля 1863 года; см. корректуры: РГИА. Ф. 775. Оп. 1 (1863 г.). Д. 129. Л. 7.

81 Собрание отчетов цензора И.А. Гончарова за 1863 год // РГИА. Ф. 774. Оп. 1 (1863 г.). Д. 8. Л. 14.

82 Например: *День*. 1863. 27 апреля. № 17. С. 3–5; 11 мая. № 19. С. 2.

83 *Московские ведомости*. 1863. 23 августа. № 184. С. 1.

84 Там же. 11 апреля. № 77. С. 2; 22 мая. № 109. С. 1 (цитата).

85 Там же. 1864. 15 марта. № 60. С. 2 (цитата); 1863. 4 мая. № 96. С. 2 (цитата); 22 мая. № 109. С. 1.

86 Ср. напр.: *День*. 1863. 18 мая. № 20. С. 3.

87 Истинная сила России // *Голос*. 1863. 17 апреля. № 81. С. 321; *Современное обозрение* // *Отечественные записки*. 1863. Т. 149. С. 72; *Санкт-Петербургские ведомости*. 1863. 16 октября. № 229. С. 935.

88 См. письмо И.С. Аксакова графине А.Д. Блудовой от 7 декабря 1861 года: *Аксаков И.С.* Иван Сергеевич Аксаков в его письмах. СПб., 1892. Т. 4. С. 200–206.

89 *Санкт-Петербургские ведомости*. 1863. 4 мая. № 99. С. 411.

90 Ср. обобщение в след. работе: *Renner A.* Russischer Nationalismus und Öffentlichkeit... S. 293 ff.

91 См. в качестве обзора: *Klier J.D.* Op. cit. P. 32 ff.

92 *Пыпин А.Н.* Вопрос о национальности и панславизме // *Современник*. 1864. Т. 100. Отд. 1. С. 185–214, особенно с. 209.

93 Ср.: *Assmann J.* Kulturelles Gedächtnis... S. 22 f., 56 ff.; *Renner A.* Russischer Nationalismus und Öffentlichkeit... S. 174, 177.

94 Критические возражения по этому поводу см.: *Jeissmann M.* Alter und neuer Nationalismus // *Grenzfälle: Über alten und neuen Nationalismus...* S. 9–26, особенно с. 12.

95 Подобные клише о русском национализме см.: *Sakharov A.N.* The Main Phases and Distinctive Features of Russian Nationalism // *Russian Nationalism: Past and Present...* P. 7–18.

УЛЬРИКЕ ФОН ХИРШХАУЗЕН
Сословие, регион, нация и государство:
Одновременность неодновременного
в локальном пространстве
Центральной Восточной Европы.
Пример Риги 1860–1914 годов

Источник современного национализма —
индустриальное общество

Этим тезисом Эрнест Геллнер предложил исследователям национализма теорию, которая до сих пор в значительной степени определяет их попытки объяснить этот долговечный феномен¹. Перенос исторического интереса на такие конституирующие культурные признаки современного формирования нации, как язык или конструирование прошлого, не поставил под вопрос причинную взаимосвязь между индустриальной современностью и возникновением новейших национализмов². Особые пространства внутри крупного полиэтнического региона — Центральной Восточной Европы — указывают, однако, на то, что и в высокоразвитых индустриальных обществах развитие вовсе не обязательно вело к формированию национальной идентичности, что традиционные формы создания общностей, напротив, могли составить конкуренцию процессам формирования нации.

Эта работа является попыткой на примере Риги, которая была торгово-промышленным центром на северо-западной периферии Российской империи, развить тезис о том, что возникновение индустриального общества в специфически сформировавшемся историческом пространстве могло привести не только к формированию национальных идентичностей, но и параллельно — стать фактором стабилизации или развития старых интеграционных форм³.

В дополнение к этому, именно в Риге модернизация успешно осуществлялась усилиями традиционных элит, что нельзя

объяснить с помощью господствующих теорий модернизации. Как представляется, конфликтующее соседство «современных» и «устаревших» форм идентичности скорее указывает на *«одновременность неодновременного»* как на характеристику данного пространства, то есть на категорию исторического мышления, с помощью которой далее можно объяснить специфическую структуру этих идентичностей и которая указывает на пределы применимости теорий модернизации⁴.

«Одновременность неодновременного» — аналитическая категория, впервые использованная Эрнстом Блохом в 1937 году⁵ и связанная с сосуществованием конкурирующих «современных» и «устаревших» моделей восприятия в многонациональном пространстве Риги, — требует применения сравнительного метода исследования. В этой статье будет поставлен вопрос о том, какие модели идентичности способствовали в то время ускорению исторических изменений в этнической среде Риги; какая идентичность — немецкая, латышская или русская — была при этом принесена в жертву; и как эти представления проявлялись на практике в политической, социальной и культурной сферах.

Благодаря такой постановке вопроса можно одновременно затронуть центральную эвристическую и аналитическую проблему историографии истории Балтийского региона. До сегодняшнего дня история этого полиэтнического пространства распадается на противоречащие друг другу историографические традиции, поскольку каждая нация признавала и изучала лишь свою собственную историю⁶. Однако структурные проблемы региона легче выявить в европейском контексте (а некоторые из них можно увидеть лишь при соблюдении этого условия), если рассматривать конкурирующие и сотрудничающие национальности не только индивидуально и изолированно, но и в их взаимодействии и взаимобусловленности. Юрген Кокка своей идеей «переплетающейся истории» дал импульс попыткам рассмотрения взаимосвязей, взаимовлияния, кооперации, взаимного восприятия и всеобщей зависимости различных наций и культур восточной части Центральной Европы⁷. Именно для изучения Балтийского региона, чьи национальные историографии всегда несут в себе только часть исторического целого, такой методический прием дает большие возможности: доселе разделенные национальные истории можно

будет объединить, регион вновь обретет свою историческую специфику и станет одним из объектов сравнения для «транснациональной истории в общеевропейском масштабе».

Модернизация городского пространства

В политическом отношении Рига была частью Российской империи, юридически город вплоть до последней трети XIX века смог сохранить свою сословную конституцию, восходящую к XIII веку, а в культурном плане его скорее всего можно было сравнить с немецким торговым городом⁸. За период между 1867 и 1913 годами население Риги увеличилось в пять раз, составив 500 000 человек. Движителем иммиграции первоначально была мощная индустриализация Риги, которая привлекала в город прежде всего низшие сельские слои населения из Лифляндии и Курляндии, а с 1890-х годов — также из Литвы и Белоруссии. Если по местной переписи населения 1867 года здесь насчитывалось 42% немцев, 24% латышей, 25% русских и 8% прочих народов, то уже после начала Первой мировой войны в Риге было 13% жителей немецкой национальности, 41% латышей, 19% русских и 27% лиц других национальностей, большей частью поляков⁹. Вместе с тем стремительная индустриализация привела и к коренным изменениям социальной структуры. Хотя и торговцы, и ремесленники извлекали выгоду из динамичной индустриализации, все же треть занятых в этих сферах работала теперь на новых больших фабриках на городской окраине или по ту сторону реки Двины. Эти изменения повлияли на социокультурный рост многих латышей, принадлежавших дотоле к крестьянским и другим низшим социальным слоям, и сделали Ригу, где в 1913 году проживало около 20% всего латышского населения, кристаллизующим пространством для формирования латышской нации. Это было обусловлено, в первую очередь, индустриализацией, коммуникативным многообразием и упразднением сословного самоуправления, что дало возможность каждому человеку в отдельности выстраивать свою жизнь по своему усмотрению.

Введение в 1877 году нового общероссийского городского положения, что было частью политики административной русификации империи, дало толчок политической модернизации. Поскольку

до сих пор категории сословия и национальности в значительной степени совпадали, то прежнее избирательное право, основывавшееся исключительно на сословных критериях, отстраняло от участия в политической жизни всех не являвшихся немцами. Поскольку же новое положение отныне признавало критерием предоставления избирательного права способность субъекта платить налоги, участие в политической жизни теперь уже было открыто примерно для 13% взрослого мужского населения, независимо от их национальности. Было создано открытое пространство политического действия, которое в равной мере использовалось немцами, латышами и русскими для артикуляции их политических представлений и целей, а также для идеологического размежевания. Через посредство многотиражной прессы политизация охватывала не только небольшой электорат, но и воздействовала на группы мелкой буржуазии и низшие сословия¹⁰.

Если административная русификация привела к постепенному упразднению сословной власти и к политизации общественного пространства, то культурные мероприятия, проведенные в 1880–1890-х годах, были направлены на утверждение языковой, школьной и региональной автономии балтийских губерний. В 1887 году русский язык становится единственным языком преподавания в дотолем немецкоязычных школах города, а также в сельских народных школах, где прежде преподавание велось на латышском языке. Несколько позже русский становится официальным языком делопроизводства для всех органов городского самоуправления в Прибалтике. Наконец, в 1880-х годах новое царствование началось с судебных преследований реконвертитов (латышей и эстонцев, ранее перешедших в православие, а теперь захотевших вновь вернуться в лоно лютеранской церкви) и евангелических пасторов, занимавшихся миссионерской деятельностью среди православных. Это религиозное преследование немцев, латышей и эстонцев пошло на спад после смерти Александра III в 1894 году¹¹. С 1905 года было вновь разрешено преподавание на родном языке в народных школах. Тесная взаимосвязь этих политических, экономических и культурных процессов уже указывала на потенциальную опасность национальных и социальных трений, которые будут сопровождать рижское общество на его пути в современность. Десятилетия между 1860 и 1914 годами были отмечены теми «стремительными переменами, которые разрушают основы»¹².

Нация как обещание социокультурного взлета: латыши в Риге

Модернизация городского пространства стала для латышей, происходивших преимущественно из крестьянских и мелкобуржуазных слоев, катализатором процесса осознания себя как национальной общности¹³. Как и в большинстве случаев национального становления крестьянских народов, в латышском варианте социальные интересы формулировались прежде всего в национальной оболочке, чтобы придать им большую весомость при столкновении с этнически чуждым (немецким) верхним слоем общества. Следовательно, социально-экономическая эмансипация от сословной зависимости превращается тем самым в решающий фактор раннего периода образования латышской нации¹⁴. Имея перед глазами пример концентрации немецкой сети корпораций, рижские латыши также пытались осуществить эту цель в социальной практике посредством устройства касс взаимопомощи и обществ взаимного кредита, а также страховых обществ и всевозможных обществ взаимопомощи. С 1880-х годов латыши все сильнее доминировали в сфере торговли и ремесел, в то время как в секторах, предполагавших наличие капитала и технических ноу-хау, они первоначально оставались в роли рабочих, категории зависимых. Если в начале XX века в немецкой среде корпоративные цели все еще отстаивали гильдии и объединения городских ремесленников, то классовые интересы латышей защищала одна партия, основанная в 1904 году, — латышская социал-демократия. Ее мобилизующая сила проявилась не только в регулярно повторявшихся с конца 1890-х годов массовых забастовках, но и в невероятно интенсивном приросте числа членов партии: с 1500 человек в 1904 году до 8500 в 1907-м¹⁵.

Второй отличительной структурной чертой формирования латышской нации стало развитие разносторонней латышской культуры¹⁶. Прежде всего это было связано с деятельностью Рижского латышского союза (*Rīgas Latviešu Biedrība*)¹⁷, учрежденного в 1868 году. Культурная активность и политика органов правления Союза были направлены на преобразование устных диалектов в единый латышский письменный язык, что в значительной степени способствовало расцвету латышской литературы. В 1887 году в Лифляндии существовала уже 231 латышская организация. Они служили самым

различным целям — образования, организации выдачи пособий и общения¹⁸. Наряду с этими союзами газеты также содействовали пропаганде представления о том, что надо становиться членом латышской нации. По сравнению с российской глубинкой тираж латышских газет был весьма высок; в 1878 году он составил примерно 40 000 экземпляров, а в последующие годы продолжал увеличиваться, что свидетельствовало о невероятном общественном резонансе этих средств массовой информации¹⁹. Наконец, и мероприятия символического характера — например, практика проведения массовых песенных фестивалей — способствовали тому, что и те, кому доселе мысль о существовании латышской нации была чужда, позволяли себя убедить в необходимости ее²⁰.

Между тем социокультурная эмансипация и развитие национальной культуры проходили успешно только в борьбе против сословного господства немцев, при этом немецкая сословная верхушка воспринималась как образ коллективного врага латышского национализма. «Национальное самосознание возникает в борьбе народа против других народов», так писал Фрицис Файнбергс, один из протагонистов латышского национализма²¹. Царское правительство и его местные представители, напротив, рассматривали латышских интеллигентов как союзников в борьбе против немцев; на локальном уровне, в Риге, это представление выливалось в русско-латышский предвыборный альянс.

Формирование национальной идентичности и в латышском варианте не обошлось без «изобретения традиции» (Хобсбаум/Рейнджер). Латышские националисты считали своей миссией на современном этапе осуществление идеи разрыва с собственной историей, поскольку в последние 700 лет это была совместная история латышей и немцев; взамен они предлагали вымышленную историю, где латыши времен прихода средневековых крестоносцев описывались как родовая общность, уже весьма похожая на национальное сообщество. Это построение восходило к краеугольному труду латышской историографии, к «Латышам» лифляндского просветителя Гарлиба Меркеля, который впервые сформулировал этот миф в 1796 году: «Хотя латыши не переставали ощущать себя нацией, но, вытесненные в низшее сословие до сих пор не изменившимися законами, они столетиями были принижены почти до положения скота»²².

Прошлое латышей представало тотальным опытом утрат. Нация и ее история изображались нетождественными для того, чтобы оправдать тезис о радикально новом начале латышской нации³. Обращение к мифу, который отразил представления о существовании латышской нации еще в средние века, также принесло этим воззрениям признание и убедительность; укреплению этой точки зрения способствовало издание в 1888 году латышского национального эпоса «*Lāčplēsis*» («Убийца медведей»), а после создания независимой Латвийской Республики в 1989–1990 годах это представление временно вошло в латышские школьные учебники⁴.

Если первоначально в основу латышского национализма легли социокультурные претензии, то политические требования, выходявшие за рамки требований участия в местном управлении, сыграли свою роль в фазе формирования нации. Конфликт, в котором национальные идеалы столкнулись с сословно-региональными принципами, иллюстрируют прения по вопросу о границах. Границы, проведенные в начале Нового времени между Эстляндией, Лифляндией и Курляндией, были узаконены с историко-правовой точки зрения и гарантировали, прежде всего, сословную власть эстляндского, лифляндского и курляндского рыцарства, объединявшего немецко-балтийское дворянство⁵. Однако в умах латышских националистов возникло совершенно иное представление о территориальном делении. Усилиями их картографов были выдвинуты проекты проведения границ по этническим разграничительным линиям, что разделило бы три губернии на эстонскую и латышскую территории. Десять тысяч подписей латышей стояло под соответствующей петицией 1882 года, которая была в категоричной форме отклонена российским правительством⁶. Идея проведения границ по этническому признаку создавала угрозу не только для правительства многонациональной империи; она также угрожала и сословному господству немецко-балтийского дворянства, поскольку появление на карте «Латвии» — единой территории, заселенной латышами, — стало бы жестким отрицанием немецко-балтийского построения трех балтийских губерний, которое ранее обосновывало воображенное единство этого пространства его исторически сложившимися властными структурами.

Сразу после всплеска политизации в ходе революции 1905 году снова встали на повестку дня представления о латышской терри-

тории. Проблема установления этнических границ рассматривалась не только в программах вновь созданных политических партий⁷. Само переименование ведущего национального органа *Baltijas Vēstnesis* («Балтийский вестник») в *Dzimtenes Vēstnesis* («Вестник Отечества») в 1905 году и возникновение средств массовой информации под такими названиями, как *Latvija* («Латвия») или *Tēvija* («Отечество») указывают на территориальные, этнически выстроенные планы урегулирования, сложившиеся в остром противостоянии с национально индифферентной, обоснованной с исторической и политической точек зрения территориальной системой немцев. Только образование Латвийской Республики в 1918 году должно было положить конец этой системе.

В 1890-х годах мощная индустриализация и сильное влияние латышской социал-демократии привели к ярко выраженной идеологической сегментации латышского населения. «Нация» как исходная точка интеграции в этих условиях утратила свое значение. Напротив, различные идеологические лагеря толковали понятие нации по-своему. Если антиконституционно настроенные правые националисты высказывались за экономически сильную нацию внутри самодержавной монархии, то конституционные демократы и социалисты выступили за «свободную Латвию в свободной России», по-разному расставляя при этом акценты⁸. Даже наличие устойчивого обобщенного образа врага в лице немцев не помогло политически сплотить эти идейные лагеря. В предвыборной борьбе на локальном уровне и на уровне государственном националисты-консерваторы и националисты-демократы выступили друг против друга как противники, что существенно содействовало победам на выборах замкнутой немецкой среды, выдвинувшейся на первый план.

Поляризация и фрагментация проектов толкования нации стали явными и в культурном пространстве. Песенные фестивали, игравшие прежде социально интегрирующую роль, более не могли объединять разделенное по классовому признаку латышское общество и слабым эхом повторились в начале XX века всего лишь один раз. Вслед за созданием национальных мифов, образцом которых был *Lāčplēsis*, уже в начале 1890-х годов последовало их разрушение усилиями отдельных национальных интеллигентов: «То, чего не желает сделать история, должна сотворить мифо-

логия. Поэтому первые национальные вожди так охотно говорили о древних богах и высоком уровне развития латышей во времена их свободы. Но людей, живущих в период паровых механизмов, уже не может воодушевлять древность»²⁹. Подобно тому, как осуществленное Масариком разоблачение поддельной «Краледворской рукописи» знаменовало вступление процесса формирования чешской нации в прогрессивную стадию, так и развенчание латышских национальных мифов указывало на то, что понятие нации потеряло свою первоначальную однозначность. Национализм как инструмент мобилизации изжил себя раньше, чем исчерпал всю свою потенциальную силу воздействия на массы.

Наконец, в этом отношении революцию 1905 года можно рассматривать как цезуру в процессе создания латышской нации, когда вновь сформулированный лозунг политической и культурной автономии в составе России приобретал все больший отклик в городской среде Риги. Но этот ограниченный национализм до начала Первой мировой войны все же не предполагал стремления к отделению. Если в понимании будущей автономии и существовало очевидное единство с аналогичными представлениями немецких либералов, то содержательное оформление этого требования ни в коем случае не допускало солидарности с немцами. Группы демократического толка внутри разобщенного латышского общества добились поддержки большинством голосов населения требования создания латышского самоуправления. В противоположность этому новый регионально сформированный либерализм немецкого меньшинства стремился нейтрализовать понятие нации отсылкой к наднациональному «общему благу», что было на руку русским, заинтересованным в равноправии наций в локальном пространстве³⁰.

Сословие и регион как центральные модели самосознания немецкой среды

Если мощная модернизация Риги в латышской среде привела прежде всего к появлению национального единства, равно как и к его размыванию, то она столь же глубоко повлияла и на традиционные представления о ценностях и о собственном лице в немецкой среде. Уменьшение степени культурной и политической авто-

номии вследствие мер по русификации поставило под вопрос вообразенную реальность балтийских губерний как самостоятельного «национального государства»¹. Если исходить из традиций политической независимости эпохи Средневековья и начала Нового времени, то, начиная с момента присоединения этих губерний к Российской империи (1710–1795), это представление о региональной автономии более ни в коей мере не соответствовало государственно-политическим реалиям.

Эта иллюзия сохранялась прежде всего потому, что царское правительство до последней трети XIX века предоставляло достаточно свободу действий немецко-балтийским административным органам. Ландшафтная независимость здесь существовала в реальности. Тем сильнее реагировала немецкая городская буржуазия Риги на постепенное упразднение сословного городского самоуправления, когда в 1877 году поступило распоряжение о введении общероссийского Городового положения. Это продемонстрировали первые муниципальные выборы, произведенные на основе бессословного избирательного ценза, где латышские и русские представители имущих слоев и чиновники совместно противостояли немецкой господствующей элите.

Если лозунгами латышей были борьба за прогресс, достойное будущее и национальные интересы, то за этим скрывались претензии на расширение доступа к образованию, доступ к участию в муниципальном самоуправлении и улучшение инфраструктуры в латышских кварталах города. Апелляции немцев ко всеобщему благу, опыту и неразрывности должны были скрыть аналогичные интересы: продолжение сословного господства и в бессословном облачении, а в дальнейшем — предоставление управления городом традиционной городской буржуазии и, по возможности, отстранение от участия в управлении преуспевающих латышских фирм. Особенно четко просматриваются эти мотивы в письме рижского интеллигента Георга Беркхольца, написанном в 1877 году под впечатлением предстоящих выборов: «Этот Совет Риги, который когда-то единственный непосредственно управлял городом, вел войны с могущественным тевтонским орденом, отправлял делегатов на собрания Ганзейского союза, отстаивал независимость города в течение двадцати лет во времена крушения старого лифляндского государства... наконец, капитулировал при Петре Великом, —

теперь он должен отступить перед „думой“, которая была избрана политически необразованной массой! Чем старше становятся, тем консервативнее. Мое сердце всецело принадлежит старому городскому порядку, как и сердце Катона Младшего, который, поверженный Цезарем, умер со словами: „Боги одобрили новый порядок вещей, Катон голосует за прежний“»¹². Продолжающиеся правовые тяжбы с петербургской бюрократией, а также публичный отказ рижского бургомистра Роберта Бюнгнета использовать в переписке с царским правительством русский язык, что привело в 1885 году к его громкой отставке, показали, как истолкование региональной автономии входило в противоречие с российской политикой имперской интеграции губерний. Этот конфликт временно вызвал создание образа врага — самоуправного, продажного и ленивого русского служащего, типичного «чиновника». Лояльность по отношению к русской монархии меж тем оставалась неизменной.

Как национальная идентичность латышей не могла сформироваться без обращения к прошлому, так и сословное самосознание немцев нуждалось в исторических экскурсах. Заставить прошлое служить современным целям утверждения идентичности особенно эффективно удалось дерптскому историку Карлу Ширрену в его известной работе «Лифляндский ответ господину Юрию Самарину» (1869)¹³. Толкование Ширреном балтийской истории, реалии которой он учитывал лишь избирательно, значительно принижая роль в ней Российской империи, а также эстонцев и латышей, было искусственно созданной конструкцией, внушавшей мысль о неразрывности принципов сословного господства и региональной автономии. Эта модель с успехом утвердилась как главенствующий образец интерпретации истории в немецкой среде.

То, со сколь различными целями обращались немцы и латыши к политической практике прошлого, очень отчетливо показывают предвыборные дебаты 1877–1878 годов. Если латыши выдвигали концепцию своей роли в современном мире в форме разрыва с собственной историей, то немцы пошли противоположным путем. Свое политическое существование они считали продолжением собственной истории и этим сознательно поставили себя в неразрывную связь с упомянутой историей. Итак, избирательное отношение к прошлому, которое в латышском варианте было построено как «принципиальная неидентификация... нации

со своей собственной историей» (как пояснил Андреас Зутер, обратившись к примеру Франции¹⁴), также сумело изобрести и такую традицию, с которой немецкая среда могла осознавать свою неразрывность. Обе стратегии — национальная идентичность как осознание исторической непрерывности или как разрыв с собственной историей — в высшей степени успешно сыграли свою роль в мобилизации сил противоборствующих сторон.

Чем меньше была дозволенная степень автономии действий в политическом и культурном пространстве, тем чаще на передний план выступала региональная принадлежность. Примером тому может послужить популяризация вновь изобретенного термина «балтийский». Под знаком видимого разрыва непрерывности, который централизованная политика царского правительства, направленная на модернизацию, представляла как антинемецкую агитацию популярного русского национализма¹⁵, уже невозможно было добиться стабильности, опираясь на провинциальную идентичность лифляндцев, курляндцев или эстляндцев. Были необходимы новые формы групповой идентификации. В конце 1850-х годов с изобретением термина «балтийский», охватывавшего три российских губернии на побережье Балтийского моря, местной немецкой интеллигенции удалось понятийно провозгласить политическое единство, которое стояло выше, чем просто географическая близость. Неважно, что поиски семантического единства, как это открыто признал издатель «Балтийского ежемесячника» Георг Беркхольц, протекали неблагоприятно «для нашего балтийского дела»: «Возникший слишком далеко отсюда, чтобы изначально считаться обозначением наших местностей, термин „балтийский“ прежде... уже использовался для обозначения того, что находилось на другой, противоположной стороне моря. Если мы не можем выступить с законным притязанием, то своей цели попытаемся достичь и без такового, так как представленное нашими тремя губерниями историко-политическое единство... нуждается в новом общем имени»¹⁶. Популярность, которую это понятие завоевало с 1860-х годов и о которой с тех пор свидетельствовали такие бесчисленные названия, как «Балтийский ежемесячник», «Балтийский политехнический институт», «Балтийский женский журнал», — привела к быстрому исчезновению его первоначального географического значения (датское слово для обозначения двух проливов — «Бельт»)¹⁷.

То, что ментальная модель «балтийского» исторического пространства смогла приобрести такое сильное влияние, объясняется как ее функциональной связью с интересами, так и тем, что на деле остзейские губернии существовали как единое пространство, отделенное от пограничных российских губерний значительными политическими, экономическими и культурными отличиями. Это упростило немцам ответ на вызов со стороны национальной идеи, исходил ли он от российского централизма или от формирующейся латышской нации. Они ответили на этот вызов, предложив свою интерпретативную модель региона: это было структурообразующее высказывание, требовавшее лояльности, обосновывавшее властные притязания и опиравшееся на «изобретение традиций».

Такая ориентация способствовала осознанию «сословия» как категории социального порядка. Сословные модели мышления смогли перешагнуть за границы немецкой среды прежде всего потому, что власть в балтийских губерниях вплоть до 1870-х годов, а в сельской местности отчасти и до 1917 года держалась на сословном фундаменте³⁸. Социальные реалии жизненного пространства также были в высшей степени отмечены печатью корпоративности. Особенно отчетливо это проявлялось в жизни городских объединений, которая оставалась четко регламентированной сословными границами. Неоднократные попытки преодолеть это общественное разделение с помощью союзов, носивших национальную направленность и появившихся после 1905 года³⁹, имели скромный успех: «Однако немецкий союз... не сумел одного: действовать слаженно в социальном отношении. Напротив, неизбежные в частном общении клики демонстрировались отныне открыто... Тут — столы так называемых сливок общества, там — группы ремесленников... а между ними холодная и стеклянная, не всегда и не всем заметная, разделяющая стена»⁴⁰. Симптоматичным для оценки степени сословного разделения немецкой среды кажется и отсутствие праздников, охватывавших все слои населения. Если в сословных объединениях всегда сохранялись сословные границы, то непредвиденная динамика больших праздников могла легко размыть социальные разделительные линии, которые, с точки зрения немцев, все еще были национальными. Показательно, что первый городской праздник, 700-летие Риги, состоялся под эгидой нового поколения, ориентированного на реформы, пытавшегося погасить национальные

конфликты, прежде всего, с помощью проведения торгово-промышленной выставки. Проведенная в то же самое время реконструкция «старой Риги», включавшая возведение образцового квартала XVII века, дала немцам исходную точку для символического перехода сословных традиций в современность. Предложение немецкого городского руководства объединить юбилей города с фестивалем латышской песни было отклонено национально-консервативными кругами и Латышским союзом⁴¹.

Сословные институты оказывали значительное влияние и на экономическую сферу. Несмотря на то что немецкая буржуазия превратилась в преуспевающий класс предпринимателей⁴², она все еще оставалась связанной системой цехов и гильдий. Правда, с 1877 года гильдии и цехи утратили свои политические функции, однако от них как от неформальных органов все еще зависело принятие решений в сферах тяжелой промышленности и оптовой торговли, банковской деятельности, т.е. в сферах влияния немцев. Профиль их задач определяли теперь менее корпоративные функции контроля над сферой рыночных коммуникаций и политикой в области образования. Полная адаптация к условиям индустриальной современности также позволила гильдиям и цехам перейти в новый производственный мир⁴³.

Наконец, вследствие смены идентичности в немецкой среде возникло представление об обязанностях перед общим «балтийским» благом. Поскольку понятие «балтийский» утверждало законность власти, основанной не на национальном, а на сословном и региональном базисе, то тем самым оно утверждало представление о том, что носители власти отвечают не только за собственное благо, но и за благо всех сословий, конфессий, национальностей и партий данного региона. Реализация на практике этого представления о власти одновременно указывает на его специфическую связь со сферой интересов.

Уже в 1866 году в Риге заработало статистическое ведомство, по инициативе которого в балтийских губерниях прошли первые в рамках империи систематические переписи населения⁴⁴. Ведомство по преимуществу сконцентрировало внимание на научно-социологической основе тех «социальных проблем, разрешение которых, по мере превращения Риги в большой промышленный город, относится к наиболее сложным и значимым задачам

современности»⁴⁵. Хорошо отлаженная городская система попечительства о бедных пополняла свою казну за счет взносов финансирувавшихся частным образом благотворительных союзов, которые предоставляли средства прежде всего немечским группам населения⁴⁶. Если речи о балтийском общем благе в благотворительной сфере и не были лицемерными заявлениями, то за ними стояли очевидные сословные интересы в культурном пространстве. Несмотря на то что неоднократно заявлялось о насущной потребности в школах, где обучение велось бы на латышском языке, консервативные немецкие политики города в 1870–1880-х годах в этом вопросе оставались бездейственными⁴⁷. Образование на латышском языке в пределах города казалось им бесполезным, так как социальный взлет до сих пор практически всегда был связан с ассимиляцией в немецкую культуру. Тот факт, что «сословие» и «национальность» в свете активного национального формирования перестали быть равны друг другу, был данностью, которая пока лежала за пределами немецкого горизонта ожиданий.

Стремительные исторические перемены, катализатором которых служили переплетающиеся процессы индустриализации, русификации и формирования латышской нации, заставили немецкую элиту пересмотреть свою коллективную идентичность. Контрреформа городского самоуправления 1892 года лишила небогатую интеллигенцию права голоса, из-за чего в политической сфере все в большей степени тон стали задавать состоятельные горожане. Для карьеры новой немецкой элиты было характерно обращение к технической, коммерческой и юридической сферам. Большой профессиональный опыт, полученный в России, и господство русского языка были основными причинами того, что для этой элиты, ориентированной на индустриализацию, понятия сословной власти и политической автономии больше уже не были направляющей максимой. Кроме того, представлялось, что огромный промышленный успех немецкой городской буржуазии, чьи предприятия извлекали существенную выгоду из протекционистской таможенной политики империи, в большей степени компенсировал негативное воздействие культурной русификации в городском пространстве, чем в сельской местности. Когда же политика русификации в середине 1890-х годов пошла на спад, образ врага в лице русской бюрократии также поблек. Введение конституции

в России с 1905 года генерировало новую волну верноподданнических чувств по отношению к Российскому государству, которые выходили далеко за пределы прежней формальной «лояльности» царю⁴⁸. То, что каждый третий рижский немец состоял членом Балтийской конституционной партии (БКП), показывает, что активное участие в борьбе за национальные интересы также в значительной степени становилось обязанностью⁴⁹.

Смена интересов повлекла за собой изменение способов восприятия себя и чужих. Постепенный отказ от ориентации на исторические принципы руководства, поблекший образ русского врага, а также мощное давление легитимации, исходившее из требования активного участия в латышском национальном движении, стали причиной появления новой интерпретации понятия балтийского общего блага. Уже не патриархальная благотворительность, но только прогрессивная социально-культурная политика могла обеспечить достижение целей политического господства в локальном пространстве: «Развитие нашего города незаметно вступило в новую фазу, новое время требует и новых людей... Прошрое, сколь бы много мы ни почерпнули из него, чтобы создать истинно гражданское сознание, не должно определять развитие нашего города и потребностей его населения... Будущее, а именно далекое будущее — вот на что, прежде всего, городская администрация должна устремить свои взоры, так как именно оно содержит масштабные задачи для нашего сообщества... Необходима не только неразрывная связь с прошлым, но и, главным образом, неразрывная связь с будущим»⁵⁰. Под умело выбранным предвыборным лозунгом «Непрерывность прогресса», который грозил парализовать латышей в предвыборной борьбе, русские, которые начали уже опасаться крайностей латышского национализма, начали добиваться компромисса с немцами⁵¹. На основе стабильной русско-немецкой коалиции в рижской ратуше на рубеже веков начала строиться современная наднациональная социально-культурная политика, напоминавшая муниципальный социализм немецких метрополий.

Под руководством энергичного бургомистра Георга Армистеда, немца-евангелиста, активно основывались народные школы с преподаванием на латышском языке, а также столовые для рабочих, больницы, народные библиотеки или общественные «народные бани». Рабочим безвозмездно предоставлялись земельные

участки, прививки против эпидемий были бесплатными, 50% всех городских учащихся в 1913 году не платили за обучение в школе. В 1902 году был открыт русский театр, возведенный на городские средства, спустя некоторое время объявили конкурс архитектурных проектов латышского театра, строительство которого также финансировалось городом. Этот муниципальный социализм финансировался, во-первых, за счет высоких прибылей от городских транспортных предприятий и предприятий снабжения; во-вторых, за счет миллионных займов, полученных немецкой элитой благодаря ее обширным связям с финансовым миром Петербурга, Лондона и Берлина. Смена политического курса от сословно ориентированной благотворительности к современной социальной политике достигла кульминации в 1908 году, когда, с появлением первой в империи системы социального страхования, рабочие и служащие были застрахованы от несчастных случаев, болезней и старости⁵².

Чрезвычайно прогрессивное по сравнению с российской глубиной муниципальное попечительство вновь указывает на одновременность неодновременного как на характеристику данного городского пространства. Возможно, рижский муниципальный социализм мог существовать лишь в условиях весьма недемократичного избирательного права, которое в начале XX века давало право голоса лишь 4% мужского населения⁵³. Подобно коммунам Германской империи, где только значительное повышение ценза позволило либералам организовать социальное обеспечение⁵⁴, так и в Риге начала XX века политический традиционализм явился предпосылкой для подготовки к большим социальным реформам.

Равноправие национальностей и интеграция в империю: русские в Риге

Русские вплоть до последней четверти века играли в жизни Риги лишь маргинальную роль. Узкой прослойке солидных купцов и лиц свободных профессий до 1877 года было запрещено принимать участие в политической жизни города, и, за исключением некоторых высокопоставленных чиновников, этот небольшой круг не оказывал никакого влияния на культуру и общество Риги: «Общественная жизнь была почти невозможна. Русские были

религиозны, работающи... расколоты на группы по признакам образования и профессии. Купцы не общались со служащими, старообрядцы с православными. Чиновники не знали, что в городе имелись русские»⁵⁵. Этот вакуум политической активности и организационной деятельности был в 1868 г. впервые с негодованием отмечен в книге русского националиста Юрия Самарина «Окраины России»⁵⁶, на которую так возмущенно отреагировал Ширрен в своем лифляндском письме. Самаринская критика, основанная на действительном знакомстве с политическим и культурным развитием балтийских губерний и доходившая до необоснованных подозрений в националистических стремлениях к отделению, являла собой интерпретационную модель, которая уже потому представлялась привлекательной на рижской периферии, что здесь ее можно было наблюдать изо дня в день: «[русских] купцов и мещан держали, конечно, в черном теле, им не давали хода в общественных делах»⁵⁷. Язык «Рижского вестника», до 1896 года единственной русской газеты, а также скупые свидетельства русской элиты показывают, как ключевые доводы Самарина были приспособлены к условиям рижской периферии и, таким образом, легко смогли войти в орбиту ожиданий местного общества.

В качестве центрального требования была выдвинута основная идея Самарина об упразднении региональной автономии и сословной власти. Теперь за этим стояло новое представление о политически неделимой русской нации, которое трансформировало прежние формы лояльности — такие как отношение к российской империи и к личности царя. Местная элита воспользовалась ревизией сенатора Манасеина в балтийских губерниях в 1882 году, чтобы заявить о своих претензиях, таких, как, например, требование разграничения административной власти и судопроизводства — функций, которые до 1889 года нераздельно находились в руках рижского Совета⁵⁸.

Во-вторых, локальные элиты настаивали на усиленной культурной интеграции губерний в Российское государство, что казалось особенно безотлагательным ввиду явного преобладания здесь немецкого языка, религии и культуры. Попытки русской интеллигенции самостоятельно осуществить подобные идеи через различные объединения или прессу оставались совершенно безуспешными, тем более что они не нашли поддержки у русской

финансовой буржуазии. Тем не менее интеллигенцию и помещиков объединял общий образ врага в лице немцев, с сословным господством которых следовало бороться. Клишированность данного представления даже побудила русского цензора упрекнуть «Рижский вестник» в том, что «самым крупным недостатком газеты является то, что она постоянно воспринимает все немецкое в Германии и в Прибалтийских губерниях как нечто отрицательное. Она тормозит сближение немцев и русских. Она превращает крошечную группу немецких читателей газеты во врагов и оказывает крайне негативное влияние на русское и немецкое население Риги»⁵⁹.

Тем не менее первоначальное требование равноправия наций в локальном пространстве могло, по меньшей мере на время предвыборной борьбы, временно интегрировать разнородные сегменты социального спектра. Правда, уже Юрий Самарин в своей балтийской истории активно выступал за «мирную эмансипацию латышей в области мысли и слова»⁶⁰, однако еще сильнее развитию этого понятия способствовали местные условия сосуществования многих наций. Русское население переживало социальное расщепление, оно пока что не могло экономически конкурировать ни с немецкими крупными коммерсантами, ни с латышскими ремесленниками и, кроме того, было расколото в религиозном плане на православных и старообрядцев. Поэтому и идея нации не могла ни в коей мере приобрести в русском рижском обществе ту интеграционную силу, о которой писали на страницах московских и петербургских газет⁶¹. Напротив, более реалистичной в местных условиях представлялась мысль о равноправии наций, которую необходимо было претворить в жизнь прежде всего для борьбы против немецкого засилья. Результатом такого совпадения интересов явился латышско-русский выборный альянс, существовавший в период с 1878 по 1900 год, а также русофильские симпатии первых поколений латышских националистов.

Выдвинутые русскими требования упразднения сословного господства и культурной интеграции в империю сложились в определенный дискурс и при случае доводились до сведения столичной бюрократии и прессы; тем не менее на культурную или социальную практику будней местного общества они едва ли оказывали какое-либо влияние. В то время как немцы и латыши имели в своем распоряжении сотни союзов самого разнообразного

толка, в рижской адресной книге конца 1880-х годов насчитывалось только 7 русских союзов, преследовавших почти исключительно благотворительные цели⁶². Западноевропейская и средневропейская «союзность» (Т. Ниппердей) немецкой среды, которую латыши переняли как могущественный инструмент национального развития и прямо-таки интернационализировали ее, не нашла большого резонанса в русской среде. Ясно то, что «дефицит независимых обществ» (Д. Гейер) еще долго мог существовать в русской среде балтийских городов империи. Местный купец повествовал: «Купцы ходили на богослужения или в гости друг к другу, у нас не было тогда собраний, я должен признаться, что мы и не хотели иметь никаких клубов»⁶³. Только с наступлением нового столетия и, прежде всего, с установлением конституции в империи в 1905 г. организация русских союзов получила свой импульс, что привело к появлению свыше 25 союзов: благотворительных, общественных, образовательных, в которых на 1913 год состояло приблизительно 100 000 членов⁶⁴.

Как и в немецкой среде, в русском обществе политическая и экономическая модернизация региона также повлекла за собой изменения «типичного» течения жизни и моделей ориентации. С 1890-х годов решающую роль в местном социуме играли не только местные торговцы и изолированные от общества интеллигенты, но и, в первую очередь, либерально настроенные крупные коммерсанты и промышленники, которые были связаны с немцами многочисленными экономическими связями и чувствовали себя намного увереннее перед журналистами только что основанных либеральных русских газет, чем перед всё более агрессивным анти-семитским тоном «Рижского вестника», чей интегральный русский национализм оставался в специфических условиях многонационального сообщества исключительным явлением⁶⁵. Вследствие этого умеренный либерализм приобретал все больший резонанс в русских буржуазных кругах. За этим либерализмом скрывалось представление скорее о федеральном имперском сознании, нежели понятие русского национального государства, которое утвердилось после 1905 года в рижских филиалах крупных русских партий — октябристов и кадетов. И прежний образ врага в лице немцев уже не играл столь важной роли в условиях постепенной утраты сословной автономии.

С возрастающей политизацией и одновременно внутренним размежеванием латышского национализма этот партнер в борьбе против прежнего немецкого господства утратил теперь свою надежность, как это выразительно продемонстрировала революция 1905 года⁶⁶. Если представления латышей о национальной культуре еще были совместимы с федеральным имперским сознанием либеральной русской буржуазии, то исключительные притязания демократизированного национализма, которые впоследствии нашли свое отражение в требованиях создания латышскоязычных школ, судов и администраций, едва ли содействовали появлению больших возможностей консенсуса с русским меньшинством. Экономические и культурные интересы последнего можно было скорее реализовать совместно с либеральной немецкой буржуазией, чей наднациональный нейтралитет изо дня в день подтверждала местная политика: «Немцы руководят городским хозяйством довольно удовлетворительно, и нет никаких оснований полагать, что латыши окажутся в состоянии успешнее управлять городом и справедливее учитывать потребности других национальностей»⁶⁷.

Не в последнюю очередь все новые и новые точки соприкосновения между немецкой и русской буржуазией создавала и их общая лояльность по отношению к династии, о чем свидетельствовали совместно инициированные мероприятия по созданию памятника Петру Великому (1910) или возведению статуи фельдмаршала М.Б. Барклая де Толли (1913). Именно открытое для интерпретаций значение обоих монументов делало возможным единение. Если памятник императору у русских пробуждал осознание имперского величия, то немцы видели в лице царя прежде всего гаранта максимально возможной балтийской автономии. Если русским фигура Барклая де Толли напоминала об их победе над «европейской угрозой», имя которой Наполеон, то немцы могли с удовлетворением вспоминать о балтийском происхождении этого русского фельдмаршала. Если образованных и состоятельных горожан немецкого и русского происхождения в начале века связывал стабильный союз на уровне муниципального самоуправления, а все большему сближению их способствовали такие находившиеся под влиянием местной буржуазии организации, как Рижский промышленный клуб или Общественное объединение

досуга, то общие классовые интересы и борьба против монархии в то же самое время объединяли латышскую социал-демократию с членами Российской рабочей партии. Демократическому латышскому понятию нации представители русской буржуазии противопоставили понятие конституционной монархии, которое способствовало их максимально тесному сотрудничеству с немцами в данном регионе.

Выводы

Современные исследования национализма с акцентом на культурных конструкциях национального исходят из необходимой причинной связи индустриального общества и современного национализма. Пример Риги, с одной стороны, может подтвердить эту парадигму, но, с другой стороны, указывает на ограниченность ее интерпретационных возможностей.

В случае с латышским вариантом формирования нации классические процессы модернизации — такие, как миграция, урбанизация, индустриализация, коммуникативное сгущение и социальная мобильность, — создали необходимые условия для возникновения латышского национализма. Сначала он выступал как социокультурная идеология эмансипации; после цезуры 1905 года все больше приобретал политическую окраску, но до 1917 года не выдвигал требований государственного обособления, а развивался как национально-партикуляристский феномен. Тем не менее последствия индустриальной современности, в частности, формирование латышского классового общества, одновременно привели к расщеплению этого национального движения на идеологически враждебные лагеря, рознь между которыми уже нельзя было преодолеть с помощью апелляций к нации. Этот специфический феномен латышского формирования нации скорее объясняется временным отставанием в индустриализованном пространстве. На развитие латышской нации больший отпечаток наложило социалистическое движение, а не средневропейский либерализм.

В противоположность латышскому варианту, немецкий вариант показывает, что модернизация приводила здесь не к на-

ционализации: акцент был поставлен на обращении к категориям сословия и региона. Причины этому лежат в непрерывной традиции сословного самоуправления и региональной автономии, что накладывало существенный отпечаток на политическое, общественное и культурное самосознание немцев. С другой стороны, не следует недооценивать общность интересов и региональных идентичностей. Если бы можно было нейтрализовать демократическую концепцию латышской нации с помощью либерализованного и наднационального понятия региона в том виде, как его пропагандировал новый немецко-балтийский либерализм, тогда у немецко-балтийского национализма не было бы никаких шансов ввиду структурного соотношения населения. В то же время, если бы, апеллируя к наднациональному понятию региона, удалось установить контакт с русскими, тогда для их федерального имперского сознания опасным смог бы стать, пожалуй, не региональный либерализм, а демократический национализм, основанный на доступе к избирательному праву.

Не только одновременные проявления национализма, регионализма и сословной идентичности, но также модернизационные достижения рижского коммунального социализма, который, однако, создавался на недемократической основе традиционными элитами, противоречат нормативному представлению о гомогенной картине модернизации.

В индустриализованном пространстве Риги скорее столкнулись друг с другом в напряженном противостоянии латышское понятие национализма, немецкое сословно-региональное и русское имперское сознание. Эта одновременность неодновременного указывает на то, что возникновение индустриального общества в специфических условиях может и породить современные идеологии интеграции (например, национализм), и привести к стабилизации мнимо «предмодерных» исходных понятий, таких как сословие и регион. Только обращение к переплетенным историям может дать дифференцированную картину взаимосвязи индустриализации и национализма. В этом методическом постулате заложен аналитический потенциал, который может открыть новые перспективы не только для исследований национализма в центральной части Восточной Европы.

Примечания

1 См.: *Gellner E. Nationalismus mid Moderne*. Berlin, 1995.

2 См.: *Langewiesche D. Nation, Nationalismus, Nationalstaat: Forschungsstand und Forschungsperspektiven // Neue Politische Literatur*. 1995. Bd. 40. S. 190–236; а также: *Benedict A. Die Erfindung der Nation: Zur Karriere eines folgenreichen Konzepts*. Frankfurt/M., 1988 [Андерсон Б. Воображаемые сообщества: Размышления об истоках и распространении национализма. М., 2001]; *The Invention of Tradition / Ed. by E. Hobsbawm, T. Ranger*. Cambridge, 1983.

3 Понятие идентичности будет использоваться в дальнейшем в значении: самосознание социальных групп, определяющее их поступки и базирующееся на различных принципах. Дискуссию о пригодности этого понятия см. в сборнике «Nationalismen in Europa. West- und Osteuropa im Vergleich» (Hrsg. von U. Hirschhausen, J. Leonhard. Göttingen: Wallstein Verlag, 2001); *Langewiesche D. Sttatsbildung und Nationsbildung in Deutschland – ein Sonderweg? Die deutsche Nation im europäischen Vergleich*; *Ther P. Die Grenzen des Nationalismus: Der Wandel von Identitäten in Oberschlesien von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis 1939*; *Geppert A.C.T. Exponierte Identitäten? Imperiale Ausstellungen, ihre Besucher und das Problem der Wahrnehmung, 1870–1930*; а также: *Niethammer L. Kollektive Identität. Heimliche Quellen einer unheimlichen Konjunktur*. Я благодарю Ёрна Леонхарда и Маттиаса Мезенхоллера, побудивших меня к написанию этой статьи.

4 Вернер Конце впервые в 1952 году указал на то, что в центральной части Восточной Европы Балтийский регион представляет собой важный предмет исследования вследствие «проникновения социальных структур, связанных сословными узами, в (модернизирующееся) движение прошлого века»; см.: *Konze W. Kann es heute noch eine lebendige Geschichte des Deutschtums geben?* [доклад на 5-м Конгрессе историков по Балтийскому региону, в сокращенном варианте см.:] // *Baltische Briefe*. 1952. Vol. 5. № 8/9. S. 8. За исключением небольшого очерка Герта фон Пистолькорса, рассмотревшего данное наблюдение по отношению к немецко-балтийскому обществу, никто больше не обращался с тех пор к мысли Конце; см.: *Pistohlkors G. von. Das “Hineinragen” standischer Strukturen in die sich modernisierende baltische Region. Die gescheiterte standische Justizreform in den 1860-er Jahren // Pistohlkors G. von. Vom Geist der Autonomie. Aufaatze zur baltischen Geschichte*. Köln, 1995. S. 43–54.

5 Впервые понятие «одновременность неодновременного» употребил Эрнст Блох в эссе: *Ungleichzeitigkeit und Berauschung // Bloch E. Erbschaft dieser Zeit, Gesamtausgabe*. Frankfurt/M., 1962. Bd. 4. Сегодня это понятие употребляется, прежде всего, как знак эпохи в немецкой истории XIX века; см.: *Hardtwig W. Der deutsche Weg in die Moderne: Die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen als Grundproblem der deutschen Geschichte 1789–1871 //*

Deutschlands Weg in die Moderne. Politik, Gesellschaft und Kultur im 19. Jahrhundert / Hrsg. von W. Hardtwig, H.-H. Brandt. München, 1993. S. 9–31.

6 См. применительно к XX веку: The Baltic Lands, National Histories, and Politics in the “Short Twentieth Century” / Ed. by E. Mühle // Journal of Baltic Studies. 1999. Vol. 30. № 4. О проблеме исследования Востока см.: Zwischen Konfrontation und Kompromiss: Oldenburger Symposium: Interethnische Beziehungen in Ostmitteleuropa als historiografisches Problem der 1930^{er}/1940^{er} Jahre // Hrsg. von M. Garlef. München, 1995; Mühle E. “Ostforschung”: Beobachtungen zu Aufstieg und Niedergang eines geschichtswissenschaftlichen Paradigmas // Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung. 1997. Bd. 46. S. 317–350. Вышедшая под редакцией Георга фон Пауха Geschichte der Deutschbaltischen Geschichtssreibung (Köln, 1986) еще совсем не касается этой проблемы.

7 См.: Kocka J. Das östliche Mitteleuropa als Herausforderung für eine vergleichende Geschichte Europas // Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung. 2000. Bd. 49/2. S. 159–174, см. там же следующую цитату на с. 174.

8 В литературе о Риге ясно отражается меняющаяся идеология историографии. Небольшая книга Вильгельма Ленца не отличается аналитическим содержанием, но содержит относительно взвешенные положения: Lenz W. Die Entwicklung Rigas zur Großstadt. Kitzingen, 1954; под влиянием социалистической концепции классовой борьбы находится не рассматривающая национальную проблематику работа Яниса Крастыня: Krastinc J. Riga, 1860–1917. Riga, 1978; в том же направлении написана глубокая работа, затрагивающая немцев: Ozolina D. Rigas pilsetas tevi un vinu komunala politika. Riga, 1976. Единственным аналитически плодотворным является следующее исследование, свободное от идеологии и апологии, но рассматривающее лишь одну нацию: Henriksson A. The Tsar’s Loyal Germans: The Riga German Community: Social Change and the Nationality Question, 1855–1905. Boulder, 1983. Работы, где рассматривались бы все национальности, не существует.

9 См.: Die Resultate der am 3.3.1867 in den Städten Livlands ausgeführten Volkszählung. Riga, 1871; Перепись населения в городе Рига и рижском патримониальном округе от 5 декабря 1913 года. Рига, 1914. Ч. I; часть II (рукописная) хранится в: Latvijas Valsts Vēstures Arhīvs. F. 2791. Apr. I. Liet. 164. Евреи и прочие национальности не рассматриваются в рамках данной статьи.

10 См.: Ozolina D. Op. cit.; Wittram R. Meinungskämpfe im baltischen Deutschum während der Reformepoche des 19. Jahrhunderts. Riga, 1934. S. 18–136.

11 См.: Garve H. Konfession und Nationalität. Ein Beitrag zum Verhältnis von Kirche und Gesellschaft in Livland im 19. Jahrhundert. Marburg, 1978.

12 См.: Kosseleck R. "Neuzeit": Zur Semantik moderner Bewegungsbe-
griffe // Kosseleck R. Vergangene Zukunft: Zur Semantik geschichtlicher Zei-
ten. Frankfurt/M., 1979. S. 329.

13 Актуальное представление об образовании латышской нации
отсутствует. Но см.: Henning D. Nationalbewegung und Nationalstaatswerdung
Lettlands: Fazit der Forschung // Nationalbewegung und Staatsbildung. Die
baltische Region im Schulbuch / Hrsg. von Robert Maier. Frankfurt/M., 1995.
S. 95–109. Релевантной по отношению к этой теме является статья А. Пла-
канса: Plakans A. The Latvians // Russification in the Baltic Provinces and Fin-
land, 1855–1905 / Ed. by E. Thaden. Princeton, 1982. P. 207–284. А также: Pla-
kans A. The Latvians. Stanford, 1995; см. также: National Movements in the
Baltic Countries during the 19th Century / Ed. by A. Loit. Stockholm, 1985.

14 См.: Christian W. Vaterländisches und Gemeinnütziges. Moskau, 1871.

15 См.: Красынь Я.П. Революция 1905–1907 гг. в Латвии. М., 1952.
С. 250 и след.; Henning D. Die lettische sozialistische Bewegung: Von den
Anfängen bis zur Gründung der ersten sozialistischen Parteien, ungedr. Mag.
Arbeit. Münster, 1986.

16 См.: Plakans A. The Latvians. Stanford, 1995. P. 91–101.

17 Самостоятельной монографии по этой важнейшей организации
раннего национального образования не существует. Источник: Rīgas Lat-
viešu biedrība sešos gadu desmitos, 1868–1928. Rīga, 1928.

18 См.: Plakans A. Op. cit. Stanford, 1995. P. 97.

19 Тираж латышских газет см.: Arveds Š. Latvijas Vēsture
1800–1914. Uppsala, 1958. S. 429. Количество грамотного населения соста-
вляло в Риге 82% и тем самым уступало лишь среднеевропейскому стан-
дарту; в европейской части России оно составляло 21%. См.: Bilmanis A. Lat-
viešu Avīžniecība // Latvieši. Bd. 2. / Hrsg. von Fr. Balodis u. a. Rīga, 1932.
S. 354–374; Arons M. Latju preses 100 gadi. Rīga, 1922. Ср. тираж российской
национальной прессы по всей империи на 1876 год: «Голос» – 17 000 экз.,
«Московские ведомости» – 12 000 экз. См.: Renner A. Russischer Nationali-
smus und Öffentlichkeit im Zarenreich, 1855–1875. Köln, 2000. S. 180.

20 См.: Muceniece A. Dziesmu svētku simtgade. Rīga, 1973.

21 Veinbergs F. Niedra versus Veinbergs. Rīga, 1909. S. 6.

22 Helweg G. Die Letten / Hrsg. von Thomas Taterka. Hannover, 1998. S. 14.

23 См.: Baltijas Vēstnesis. 1901. 19 июня: «Что такое латышская
история? Является ли она тем же самым, что и балтийская история? Дол-
жно ли все относящееся сюда быть важным для латышей? Если рассматри-
вать и изучать историю из патриотических побуждений, то видно, что
в течение многих веков балтийская история не была историей нашего Оте-
чества. Латыши как бы исчезли из истории, пока Меркель не вернул их из
забвения и не напомнил миру об их существовании. Лишь в XIX веке латы-
ши постепенно вернулись в историю».

24 См.: *Henning D.* Op. cit.

25 См.: *Pistohlkors G. von.* Historische mid ethnische Grenzenim baltischen Raum // Grenzen in Ostmitteleuropa im 19. und 20. Jahrhundert. Aktuelle Forschungsprobleme / Hrsg. von H. Lemberg. Marburg, 2000. S. 149- 158; *Lemberg H.* Grenzen und Minderheiten im östlichen Mitteleuropa – Genese und Wechselwirkungen // Ibid. S. 159 – 82; см. также: *Schmidt C.* Über die Grenze zwischen Estland und Livland und ihre Bedeutung für die Agrar- und Religionsgeschichte // Zeitschrift für Ostforschung. 1991. Bd. 40. S. 500–521.

26 См.: *Thaden E.C. M.A.* Maaseins Senatorenrevision in Livland und Kurland während der Zeit von 1882 bis 1883 // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. 1969. Vol. 17. S. 45 – 48.

27 См.: *Ronis J.* Latviešu buržuayijas politika 1907– 1914. Riga, 1978.

28 См.: *Dribins L.* Nacionālais jautājums Latvija 1850–1940. Riga, 1997.

29 См.: *Olavs V.* Gurdenums tautikos centienos // Kopoti Raksti, 4. Sējums. Riga, 1924. S. 109.

30 Относительные показатели на латышскоязычной территории Лифляндии и Курляндии в 1897 году составляли: 68% латышей, 6,2% немцев, 12% русских, 7,5% евреев, 6,3% прочих. В Риге данное соотношение в 1897 году составляло: 42% латышей, 26% немцев, 17% русских, 6% евреев, 9% прочих.

31 См.: *Haltzel M.* Der Abbau der deutschen ständischen Selbstverwaltung in den Ostprovinzen Rußlands 1855–1905. Marburg, 1977; Russification in the Baltic Provinces and Finland...

32 Baltische Briefe aus zwei Jahrhunderten / Hrsg. von Alexander Eggers. Berlin, 1918. S. 166 (письмо Г. Беркхольца Эдите фон Раден от 1 мая 1877 года).

33 *Schirren C.* Livländischen Antwort an Herrn Juri Samarin. Leipzig, 1869.

34 См.: *Suter A.* Der Nationalstat und die “Tradition von Erfindung” – Die Schweiz, Frankreich und Deutschland im Vergleich // Nationalismen in Europa: West- und Osteuropa im Vergleich / Hrsg. von U. Hirschhausen, J. Leonhard. Göttingen: Wallstein Verlag, 2001. S. 74.

35 См.: *Renner A.* Op. cit.; Russification in the Baltic Provinces and Finland...

36 *Berkholz G.* Geschichte der Wortes “baltisch” // Baltische Monatschrift. 1882. Vol. 29. S. 519 – 530, цитата на с. 528. См. также высказывание Юлиуса Эккарда (1862): «Характерным для той эпохи, в которую мы живем, является заново созданное, всего за несколько лет вошедшее в обиход понятие “балтийский” – постоянный эпитет всех новых институтов, встречаемый почти на каждой странице истории новой и новейшей провинциальной жизни» (цит. по: *Wittram R.* Deutsch und baltisch. Zum Verständnis der deutschbaltischen politischen Tradition // Baltische Monatshefte. 1933. S. 187 – 200, цитата на с. 196).

37 *Berkholz G.* Op. cit. S. 527.

38 См.: *Haltzel M.* Der Abbau der deutschen ständischen Selbstverwaltung // Deutsche Geschichte im Osten Europas: Baltische Länder / Hrsg. von Gert von Pistohlkors. München, 1994; *Whelan H.* Adapting to Modernity: Family, Caste and Capitalism among the Baltic German Nobility. Köln, 1999.

39 См.: *Kroeger G.* Die Deutschen Vereine in Liv-, Est- und Kurland 1905/06–1914 // Jahrbuch des baltischen Deutschtums. 1970. Vol. 27. S. 22–30.

40 *Audnik E.* Zur nationalen und sozialen Lage des deutsch-baltischen Handwerkerstandes: Einseitige Betrachtung eines Handwerkersohns // Baltische Monatshefte. 1934. Heft 5. S. 243–256. См. также: *Schiemann P.* Zwischen zwei Zeitaltern. Lüneburg, 1979; Kritik der Rigaer Neuesten Nachrichten. 1909. 24 августа: «Во многом тому виной злополучная сословная политика. Дворяне смотрят сверху вниз на интеллигентов, интеллигенты на купцов, купцы на ремесленников, а ремесленники на немецких рабочих, и все отгородились друг от друга».

41 См.: *Mettig C.* Erinnerungen an das siebenhundertjährige Jubiläum der Stadt Riga // Rigaer Almanach. 1902. S. 99–114; *Ronis J.* Rigas 700 gadu jubileja. Svinobas un sabiedrobas nostāja. // Vestis. 1992. Vol. 10. S. 29–32; *Wittram R.* Zur Geschichte Rigas. Schicksale und Probleme im Rückblick auf 750 Jahre Stadtgeschichte, 1201–1951. Bovenden, 1951. S. 10–15.

42 См.: *Henriksson A.* Op. cit.

43 См.: *Brunstermann F.* Die Geschichte der Kleinen oder St. Johannis-Gilde in Wort und Bild. Riga, 1902.

44 В 1867 и 1881 годах прошли переписи населения трех балтийских губерний, перепись же всего населения России, инициатива которой исходила из Петербурга, была впервые проведена лишь в 1897 году.

45 *Carlberg N.* Der Stadt Rige Verwaltung und Haushalt in den Jahren 1878 bis 1900. Riga, 1901. S. 179.

46 См.: *Tobien A. von.* Das Armenwesen der Stadt Riga: Eine historisch-statistische Studie. Riga, 1895; *Carlberg N.* Op. cit.

47 *Gerstfeldt P.* Zur Schulfrage in Riga // Baltische Monatsschrift. 1885. Vol. 32. S. 293–316, 513–534. См. на с. 294: «В Риге велика необходимость образования детей ненемецкоязычных групп».

48 Противоположное мнение о лояльности, проявленной немцами после 1905 года, см. у Крёпера: *Kroeger G.* Op. cit.; см. также: *Lundin L.* The Road from Tsar to Kaiser: Changing Loyalties of the Baltic Germans 1905–1914 // Journal of Central European Affairs. 1950. Vol. 10. S. 223–255. Оба уделяют особое внимание интеллигенции и дворянству, на которых русификация и революция подействовали особенно сильно; большая часть состоятельных горожан, а также дворян и интеллигенции остались верными императору. См. также: Deutsche Geschichte im Osten Europas...

49 См.: *Hirschhausen U.* Baltischer Liberalismus im frühen 20. Jahrhundert. Ein regionales Konzept zwischen Nationalismus und Demokratie // *Geschichte und Gesellschaft*. 2001. Bd. 27.

50 См.: *Düna-Zeitung*. 1901. 1 марта.

51 В 1901 году немецкая коалиция против латышско-русского альянса сменилась немецко-русской коалицией против латышей. Эта коалиция сохранялась до 1914 года.

52 Николай II назвал Ригу в 1913 году «наилучше управляемым городом страны». См.: *Rigasche Rundschau*. 1913. 5 марта. См. также: *Carlberg N.* George Armistead als Sozialpolitiker. Riga, 1913; *Armistead G.* Über die bisherigen Arbeiten mid Einrichtungen der Rigaschen Stadtverwaltung auf sozial-politischem Gebiet. Riga, 1907. Ср.: *Lindenmeyer A.* Poverty is not a Vice: Charity, Society and the State in Imperial Russia. Princeton, 1996; *Kommunale Sozialpolitik in verglcichender Perspektive* / Hrsg. von D. Langewiesche. Göttingen, 1995.

53 В 1878 году право голоса имело 13% взрослого мужского населения. Избирательная реформа 1892 года, строившаяся на принципе имущественного ценза, снизила это количество до 4%. И хотя электорат вырос в абсолютной численности вследствие индустриализации (в 1913 году насчитывалось 5 тыс. избирателей), одновременный приток мигрантов стал причиной того, что процентный состав избирателей (4%) оставался стабильным.

54 *Langewiesche D.* Liberalismus in Deutschland. Frankfurt/M., 1988. S. 210.

55 *Пшеничков И.* Русские в Прибалтийском крае. Рига, 1910. С. 23. Столь же бедны и литературные источники; см.: *Volkovs V.* Krievi Latvijā. Riga, 1996. S. 14 f.

56 См.: *Самарин Ю.* Окраины России. Сер. 1: Русское балтийское поморье. Вып. 1. Прага, 1868. Книга Самарина тут же появилась и в немецком переводе под заголовком «Das russisch-baltische Küstenland im gegenwärtigen Augenblick» (Leipzig, 1869); см. также: *Thaden E.* Samarins "Okrainy Rossii" and Official Policy in the Baltics // *Russian Review*. 1974. Vol. 33. P. 405–415.

57 *Samarin J.* Das russisch-baltische Küstenland. Münster, 1996. S. 92 [*Самарин Ю.Ф.* Сочинения. Т. 8: Окраины России. М., 1890. С. 104].

58 См.: *Russification in the Baltic Provinces and Finland...*

59 *Latvijas Valsts Vēstures Arhivs. Fonds II. № 55.* Управление по делам печати.

60 *Samarin J.* Op. cit. [*Самарин Ю.Ф.* Указ. соч.].

61 См.: *Renner A.* Op. cit. Отсутствие в русском обществе 1870–1880-х годов активистов даже латвийского национализма навело Вальдемара на следующую мысль: «Маназейн сказал мне несколько лет

назад, где-то в 1882 году, что странно то, что среди всех без исключения русских, живущих в Риге, нет ни одного руководящего лица, способного мыслить грамотно в политическом плане... С. уже давно нет, и абсолютная посредственность царит и оказывает влияние даже на „Московские ведомости“» (*Valdemārs K. Lietiškā un privātā Sarakste. Sējums I. Vēstules*, Rīga, 1997. S. 545).

62 См.: Рижская адресная книга 1885 и 1887–1888 годов...; см. также слова либерала Василия Чешихина, сына консерватора, издателя газеты «Рижский вестник»: «Среди латышей издание газеты — очень доходное предприятие... Одна из самых замечательных особенностей Прибалтийского края — это необычайное обилие и процветание разных обществ... Перечислить все прибалтийские, немецкие, эстонские, а также и русские общества нет возможности... Привычка для каждого дела, в котором заинтересовано много народу, устраивать особое общество... вошла в плоть и кровь местного населения» (*Ветринский Ч. | Чешихин В. | Среди латышей*. М., 1910. С. 29).

63 Рижский Вестник. 1907. 17 октября.

64 *Rigaer Adreßbuch*. 1913.

65 Этот русский антисемитский национализм, представители которого придерживались правых взглядов, едва ли оказывал влияние на политическую и культурную жизнь рижского общества. В предвыборной борьбе его представители не принимали участия и не входили в число членов коалиции.

66 См.: *Benz E. Die Revolution von 1905 in den Ostseeprovinzen Rußlands* <Diss. Mainz, 1990>; *Красынь Я.П.* Указ. соч.

67 Письмо читателя, руководителя русского избирательного комитета в «Рижский вестник» (1913. 11 марта): «Почему русские идут на выборы вместе с немцами?»

ПЕРЕВОД С НЕМЕЦКОГО ВАСИЛИЯ НИКИТИНА

Джон У. Слокум

Кто и когда были «иностранцами»?

Эволюция категории «чужие» в Российской империи

Кто были «иностранцы»? В ходе истории Российской империи слово «иностранцы» (которое часто переводят на английский язык как «aliens» — чужие) использовалось в нескольких значениях. В формальном, официальном контексте оно использовалось для обозначения ряда этнических меньшинств, которые в период с 1822 по 1917 год составляли определенную юридическую категорию. Юридически иностранцы представляли собой четко обозначенную и ограниченную группу народов, которые не подчинялись общим законам империи, сохраняли свои местные обычаи и традиционное управление и обладали определенными привилегиями, самой значительной из которых было освобождение от воинской повинности. Неформально слово «иностранцы» использовалось, часто с уничижительным оттенком, для обозначения всего нерусского населения империи.

Обычная трактовка национальной политики имперской России склонялась к тому, чтобы либо применять строго юридическое определение «иностранцы», либо просто отмечать существование формального или неформального значения этого термина. В последнее время историки обратили внимание на сдвиг, произошедший в использовании термина в конце XIX — начале XX века, когда формальное значение термина постепенно уступило место неформальному¹. За XIX век юридическая классификация иностранцев расширилась, чтобы включить новых подданных царя в Туркестане и на Дальнем Востоке. Неформально этот термин стал все чаще появлялся в контексте полемики, направленной против все более беспокойных национальных меньшинств России, и использовался для обозначения всех нерусских народов независимо

от того, были ли они юридически классифицированы как инородцы или нет. Даже в административном контексте узкая юридическая трактовка термина «инородцы» в начале XX века уступала место более широкой трактовке.

В этой статье представлены предварительные итоги исследования того, как расширялось значение термина «инородцы», — явления, которым сопровождалось более крупные изменения в национальной политике России конца императорского периода. В официальных документах и публицистике различные варианты более широкого значения этого слова утвердились в период существования Государственной Думы (1906–1917), когда российская правящая верхушка «столкнулась с необходимостью заниматься вопросом, крайне чуждым ее консервативному и династическому менталитету, — проблемой национальности»¹. Изменения в употреблении термина позволяют предположить, что то был филологический коррелят к провалу русификаторской политики и росту как нерусских национальных движений, так и беспокойства русских националистов в последние годы существования царского режима. Если в своем первоначальном юридическом значении этот термин относился к еще не ассимилированным народам на азиатских границах России, то к началу XX века он уже обозначал не поддающиеся ассимиляции народы всех пограничных территорий. Таким образом, история термина «инородцы» позволяет пролить свет на воображаемую карту империи, эволюционировавшую в сознании правительственной администрации в ходе ее борьбы за контроль над сложной этнической мозаикой Российской империи.

Термин «инородцы» впервые получил строгое правовое определение в 1822 году, с введением «Устава об управлении инородцев». К категории «инородцев» устав относил различные «восточные» народы, в основном кочевые и полукочевые коренные народы Сибири, чей образ жизни базировался на скотоводстве, охоте и рыболовстве. Последовавшая в XIX веке экспансия на юг и восток привела под власть империи новые этнические группы, и в каждом конкретном случае необходимо было принимать решение, может ли данная этническая группа быть причислена к категории «инородцев». В 1835 году в инородцы были определены российские евреи, несмотря на тот факт, что евреи были оседлым народом и населяли скорее европейскую, нежели азиатскую территорию.

Классификация евреев как инородцев указывает на фундаментальную двусмысленность во внутренней логике этой категории: была ли она показателем предполагаемого уровня цивилизованности данного народа или юридическим знаком расовых различий? Если справедливо первое, то группа народов, обозначавшаяся как инородцы, могла в принципе постепенно подготовиться к «повышению в статусе», учитывая представления о социальной эволюции, присущие эпохе Просвещения. Но если статус «чужого» являлся показателем расовых различий, он мог оказаться обозначением постоянной, неустранимой разграничительной категории. Ниже я постараюсь доказать, что по отношению к «восточным» инородцам (нееврейам) предполагалось, что они со временем превратятся в оседлые сельскохозяйственные народы, не нуждающиеся более в специальных юридических нормах, но подчиняющиеся общим законам империи. Однако идея неустранимых различий стойко прилипла к этому термину в самых различных его употреблениях. В первоначальном законодательном акте ничего не было сказано о том, как инородец, ставший оседлым, мог бы смыть клеймо «чужака»; в случае же с евреями русские ученые-правоведы утверждали, что они продолжают оставаться инородцами даже после обращения в христианскую веру.

Со второй половины XIX века термин претерпел дальнейшее размытие первоначального значения, что отражалось и в официальном его употреблении, особенно в области образовательной политики, применительно к группам, которые не имели юридического статуса инородцев. В конце концов, к началу XX века термин приобрел более широкое и более политизированное значение, поскольку он стал использоваться как синоним «национальных меньшинств», выделенных по лингвистическому признаку. Каждая из этих перемен в смысловом значении (или, точнее, перемены в составе референтной группы, обозначавшейся термином «инородцы») детально рассматривается в последующих разделах данной статьи. Однако с самого начала следует отметить, что появление дополнительных смысловых оттенков этого термина не упраздняло его использования в более ранних значениях. Правовой статус инородцев оставался частью российского законодательства вплоть до 1917 года, но в случаях менее формального употребления термина «группа», к которой относился этот термин,

попросту расширилась, чтобы вобрать в себя все народы, казавшиеся не поддающимися ассимиляции, радикально отличающимися от других подданных царского режима.

Изменения в использовании термина «иностранцы» были связаны с изменениями в концепциях «русскости» и русского народа, с развитием понятий национальности и народности (nationhood). Исследование всех этих связей выходит за рамки данной статьи, но доказательства, представленные здесь, касаются также и более широких вопросов, связанных с изменениями в концепциях идентичности, различий и «инаковости» в российской истории.

Термин «иностранцы» возник из контекста эпохи до начала Нового времени, «когда не проводилось четких различий между этнической, экономической и религиозной идентичностью»¹. Историки, изучающие историю России на заре Нового времени, доказывают, что в Московском государстве важнейшим признаком «русскости» была религия и что для того, чтобы стать русским, было вполне достаточно обращения в православие⁴. Хотя подавляющее большинство иностранцев (в соответствии с классификацией Устава 1822 года) не было христианами, логика классификации опиралась на более широкие критерии, чем только религиозная идентичность, и для превращения «иностранцев» в русских было недостаточно крещения самого по себе⁵.

К началу XX века слово «иностранцы» — в его неформальном использовании — приобрело значение «национальные меньшинства», то есть нерусские национальности, группы, определявшиеся прежде всего по их языковой идентичности. Так же, как язык начал преобладать над религией в качестве основного показателя «русскости», так и национальность, определяемая на основе языка, оттеснив религиозную принадлежность, стала служить основным показателем «этнической» идентичности, отделяющей друг от друга различные нерусские народы империи⁶.

Согласно юридической терминологии, «иностранцы» представляли собой сословие, то есть группу, чей статус определен государством⁷. С недавних пор историки начали исследовать сложное сплетение процессов, в ходе которых в конце XIX — начале XX века иерархия сословных категорий становилась все более и более неадекватным инструментом для описания российского общества⁸. Сословия начали уступать место классам, и в результате

для России конца императорского периода была характерна «сложная, разнородная структура общества — „смешанная система“ сословий и классов»⁹. Данная статья имеет целью внести свой вклад в исследование более широкой проблемы — того, как этнические различия переплетались с этой системой; как система социальной классификации, основанная на принципах сословия и религии, частично уступала место системе, основанной на принципах класса и национальности¹⁰.

Определение «Другого» на восточных рубежах

История термина «иностранцы» тесно связана с процессами, посредством которых Московское государство и Российская империя распространяли свое военное присутствие и колониальное правление на восток от сердцевины русских земель по направлению к Волге, Уралу и далее в Сибирь. Согласно строгому юридическому определению термина «иностранцы», которое возникло и развивалось в течение XIX века, этот термин применялся почти исключительно к коренным народам, с которыми русские сталкивались в ходе своей экспансии на Восток¹¹. Таким образом, происхождение термина неразрывно связано с историей российской колониальной политики и, в частности, с попытками установить не прямой административный контроль над колонизованными областями. Многообразные цели колониальной политики включали умиротворение пограничных областей, получение доходов от их обитателей, приведение местного населения в соответствие с основными направлениями развития российской цивилизации посредством политики выборочного кооптирования и постепенной ассимиляции и, в ходе этих процессов, включение в сферу русской аграрной колонизации новых земель, занятых различными кочевыми и полукочевыми народами. Эти разнообразные цели стимулировали применение путаной терминологии; в отношении любой конкретной группы населения могли использоваться различные термины в зависимости от того, какой аспект идентичности этой группы — политический, экономический, религиозный или этнолингвистический — был наиболее значим в контексте определенного типа взаимодействия с Российским государством¹². Слово «иностранцы» было всего

лишь одним из бесчисленных ярлыков, использовавшихся для описания нехристианских народов Востока России.

Среди ученых нет единого мнения по вопросу о том, когда термин «инородцы» впервые вошел в русский лексикон. Майкл Ходарковский отмечает, что этот термин «вошел в употребление в XVII столетии», но его невозможно обнаружить в важнейшем собрании законов Московского государства — Соборном уложении 1649 года¹³. В контексте начала российской экспансии в Сибири термин «инородец», вероятно, вначале появился как разговорный, неформальный, соответствующий по значению своему семантическому близнецу, французскому слову *allogène*. Оба эти слова могут быть переведены на английский язык или как «native» (коренной), или как «alien» (чужой), но заметьте, сколь велико смысловое различие этих двух вариантов перевода. «Инородец», в буквальном смысле слова, это человек «иногo происхождения». Называть жителей Сибири инородцами, как обычно и делали русские, означало подчеркивать коренные цивилизационные отличия этих народов от самих русских¹⁴.

Вплоть до XIX в. термин «инородцы» не имел строгого правового определения. «Полное собрание законов Российской империи» содержит несколько правовых актов XVIII века, касавшихся инородцев, но ни в одном из них не использовался этот термин для обозначения определенной правовой категории подданных империи. Скорее вопросом первостепенного беспокойства для первых представителей российской администрации, столкнувшихся с коренным населением Сибири, был религиозный статус местных жителей и механизм их экономической эксплуатации¹⁵. Они гораздо в большей степени интересовались сибирскими народами как *иноверцами* (неправославными) или как *ясачными народами* (или *ясачными людьми*), то есть плательщиками ясака, дани пушниной¹⁶.

Несколько превосходных научных работ, посвященных российскому управлению Сибирью, детально воссоздают запутанную историю *ясака*, дани пушниной, которой были обложены коренные народы Сибири¹⁷. Для наших целей достаточно обратить внимание на то, что в практике XVII и XVIII веков термины «инородцы», «иноверцы», «иноземцы» и «ясачные народы» были тесно связаны. Они применялись приблизительно к одним и тем же коренным народам, но не были точными эквивалентами друг друга.

Например, если местный житель обращался в православие, то он часто в награду хотя бы временно освобождался от уплаты ясака и, конечно, переставал быть иноверцем. Но крестившихся аборигенов продолжали называть инородцами, что свидетельствует о том, что это слово еще до того, как оно было узаконено, использовалось для обозначения некоего типа приписываемого «различия», которое является более существенным или, по крайней мере, труднее устранимым, чем чья-либо религиозная идентичность. Хотя и была надежда, что сибирские аборигены смогут «стать русскими» путем религиозного обращения, на практике два столетия миссионерских усилий принесли скудные плоды, и инородцы остались «прирожденными и, очевидно, вечными чужаками»¹⁸.

Появление юридической категории «инородцы»

Изменения в российской колониальной политике, которые в конечном счете привели к узаконению категории «инородцы», начались во времена правления Екатерины Великой (1762–1796), когда интенсификация российского проникновения в Азию потребовала более «гибкой и прагматичной политики» в отношении нерусского коренного населения¹⁹. В этот период усиленное заселение русскими земель, занятых сибирскими кочевниками, в соединении с идеями эпохи Просвещения, отождествлявшими прогрессивное социальное развитие с переходом к оседлому образу жизни, привело к закреплению нового способа классификации населения²⁰. Так, «образ жизни» (оседлый или кочевой) начал оттеснять религию в качестве «существенного критерия различий» между русскими и нерусскими на восточном пограничье, представляя собой такой способ классификации, который наилучшим образом способствовал достижению долгосрочной цели российского правительства — завоеванию земель на севере степной зоны для сельскохозяйственного освоения²¹.

Первые пробные шаги к узаконению термина «инородцы» в качестве особого юридического статуса можно обнаружить в проекте закона, составленном в 1798 году, «Проекте устава о сибирских инородцах», который был первым проектом, предусматривавшим необходимость замены существующего беспорядка в юридической терминологии — «иноземцы», «иноверцы», «ясач-

ные люди» — на единую юридическую категорию «иностранцы»²². Но категория «иностранцы» получила юридическую силу только благодаря усилиям М.М. Сперанского, который служил генерал-губернатором Сибири с 1819 по 1821 год. Возвратившись в Санкт-Петербург в 1821 году, Сперанский завершил разработку ряда административных реформ для Сибири, включая «Устав об управлении иностранцев» от 22 июля 1822 года²³.

Сперанский чувствовал, что более ранние законы, касавшиеся коренных жителей Сибири, не смогли учесть огромного разнообразия местных культур и образов жизни. Более эффективное управление (включая более точный расчет ясачных сборов, регулирование торговли и разрешение пограничных споров) требовало более тонких способов классификации²⁴. Алексей Конев доказывает, что авторы устава (включая Сперанского и его младшего сослуживца, будущего декабриста Гавриила Батенькова) руководствовались тремя основными принципами: сохранение существующих традиционных общественных учреждений коренного населения, «частичная рационализация» административной практики и дифференцированный подход к управлению сибирскими народами²⁵.

Преследуя эти цели, Устав разделил «все обитающие в Сибири иностранные племена, именуемые поныне ясачными», на три взаимно исключаящие категории «иностранцев»: оседлых, кочевых и бродячих. Предполагалось, что эти категории отражают градацию «гражданского их образования и по настоящему образу жизни» местных жителей Сибири²⁶. Устав специально приводил под каждой категорией иностранцев список народов, отнесенных к ней. Этот перечень не рассматривался как исчерпывающий; при применении Устава губернаторам вменялось в обязанность «определить о каждом роде и племени, к какому именно разряду по вышеозначенному разделению должны быть оные отнесены», оставив на усмотрение соответствующих местных властей, должны ли члены определенного местного рода быть охарактеризованы как оседлые, кочевые или бродячие²⁷.

В категорию оседлых иностранцев были зачислены постоянные жители деревень и городов, включая крестьян, купцов и представителей коренного населения, которые жили вразброс среди русских поселений. Единственными народами, определенно обозначенными в Уставе как оседлые иностранцы, были татарские и бух-

тарминские земледельцы и купцы из Бухары и Ташкента²⁸. Некоторые специально не обозначенные малочисленные ясачные племена Бийской и Кузнецкой областей также были классифицированы как оседлые инородцы²⁹.

Считалось, что оседлые инородцы достигли уровня цивилизационного развития, позволяющего квалифицировать их как юридически равных с основным русским населением. Оседлых инородцев необходимо было рассматривать как равных «россиянам в правах и обязанностях по сословиям, в которые они вступают»³⁰. Большинство оседлых инородцев следовало включать в сословие государственных крестьян, другие были включены в сословия купцов или казаков³¹. Единственный пункт, в котором юридический статус оседлых инородцев отличался от статуса остального населения — это то, что они, вместе с другими двумя категориями инородцев, были освобождены от рекрутских наборов³². Для административных целей их этническая идентичность была в других отношениях несущественна; как и у «природных граждан», их юридические права и обязанности различались только в соответствии с религиозной и сословной принадлежностью.

Основная часть Устава была посвящена разработке прав, привилегий и обязанностей второй и третьей категорий инородцев. Вторая, кочевая, категория определялась как охватывающая инородцев, «занимающих определенные места, по временам года переменяемые». Список народов, причисленных к этой категории, включает бурят (нескольких территориальных группировок), тунгусов (эвенков), якутов, остяков (хантов), вогулов (манси) и множество ясачных народов южной Сибири, обозначенных по их территориальной (но не этнической) принадлежности³³. И опять-таки этот перечень не был исчерпывающим: список заканчивался словами «и проч.»³⁴. Третья категория, «бродячие инородцы», включала самоедов (ненцев) Обдорской области, коренное население Туруханского края, коряков, ламутов (эвенков и эвенов) и других уроженцев Якутской области, аборигенов Камчатки и народы побережья Тихого океана — Охотска и Гижики³⁵.

Устав содержал детальное перечисление обязанностей, прав и привилегий второй и третьей категорий инородцев. Кочевые инородцы подлежали двум формам налогообложения, ясаку и местным налогам; бродячие инородцы облагались только ясаком. Управление

как кочевыми, так и бродячими инородцами должно было осуществляться не напрямую: их традиционная племенная верхушка оставалась неприкосновенной. В целях сбора ясака и отправления правосудия к традиционному управлению племенем была добавлена новая система учреждений самоуправления коренного населения¹⁶.

Процесс введения Устава сопровождался трудностями. Зачастую произвольные решения о причислении групп коренного населения к той или иной категории инородцев вызывали справедливый поток жалоб со стороны самого коренного населения¹⁷. Но классификация инородцев была относительно простым бюрократическим процессом в сравнении с гораздо более трудной задачей создания новых структур для управления ими. Детальное исследование Конева показывает, что реально действующий аппарат управления к середине столетия заметно отклонялся от образцов, предписанных Уставом; тщательно составленные юридические инструкции определенно не соответствовали административным, социальным, географическим и культурным реалиям Сибири XIX века¹⁸. Все же, несмотря на различные несообразности при его исполнении, Устав долгое время оказывал влияние на российскую административную практику и юридическую мысль и с незначительными поправками оставался вплоть до 1917 года базисом управления инородцами. Конев дает в основном положительную оценку системе местного управления на северо-западе Сибири, характеризуя ее как способствовавшую эффективному «синтезу элементов государственного и традиционного управления»¹⁹. А Каппелер усматривает значение Устава в создании «новой юридической категории, которая исключила часть нерусских народов из группы населения, обладавшей полными правами „природных“ подданных империи», в создании категории населения с определенно второсортным статусом²⁰.

Насколько трудно было избавиться от этого статуса? В этом отношении в особенно трудном положении оказалась категория «оседлых инородцев». В Уставе, как отмечает Слезкин, «не предусматривалось возможности для оседлых инородцев стать русскими», — ситуация, которая кажется тем более любопытной, что Сперанский и его коллеги, казалось бы, руководствовались тем принципом, что инородцев следует постепенно поднимать на более высокий уровень цивилизации²¹. Конев приводит документальные свидетельства нескольких «повышений» отдельных групп

инородцев из категории «бродячих» до категории «кочевых», имевших место в конце XIX века, но он также упоминает попытки формально уравнивать статус оседлых инородцев со статусом русского крестьянства, встретившие жесткое бюрократическое сопротивление⁴². По мнению Слезкина, «ожидалось, что русификация будет происходить путем *индивидуального* обучения, обращения в православие и, возможно, через смешанные браки»⁴³. Но по мере того, как XIX столетие подходило к концу, само понятие «русскость» все более и более часто осмыслялось в этнических категориях, затрудняя для любого «чужака» возможность стать русским.

Имперская экспансия и инородцы

С 1822 по 1917 год термин «инородцы» стал применяться ко все увеличивающемуся числу этнических групп. На уровне формального юридического и административного дискурса это изменение было прямым следствием расширения границ империи, охвативших теперь новые группы населения; те этнические группы, чья социальная структура была в достаточной мере чужда российской модели, классифицировались как «инородцы». Например, после десятилетия длившейся борьбы за усмирение Кавказа, горцы этого региона вошли в империю в качестве инородцев⁴⁴. Российские завоевания в Средней Азии и на Дальнем Востоке привели к притоку в состав империи населения, образ жизни которого во многих случаях был похож на образ жизни обитателей соседних территорий — тех народов, которые уже были юридически признанными инородцами. Между 1822 и 1848 годами ханы четырех киргизских жузов (орд) из Казахской степи были один за другим низложены, и их подданные получили статус «инородцев» и подпали под действие Устава 1822 года⁴⁵. А когда Россия в 1850-х годах приобрела у Китая территории по берегам реки Амур и Уссурийский край, большинство коренных жителей этого региона было классифицировано как «бродячие инородцы»⁴⁶.

В 1850–1860-х годах укрепленная военная граница России передвинулась дальше на юг, в Среднюю Азию. Завоевание Туркестана и распространение российского владычества на Кокандское и Хивинское ханства и на Бухарский эмират привело в состав импе-

рии оседлые народы с культурной, грамотной элитой. Прежде — за одним существенным исключением в лице евреев — определение «иностранцев» применялось преимущественно к неоседлым народам. Решение обращаться с оседлым населением Средней Азии как с иностранцами означало, что «впервые оседлые представители великой культуры оказались исключены из круга „природных“ обитателей России», разрушив, таким образом, изначальную связь между статусом «иностранца» и неоседлым образом жизни⁴⁷.

Когда в конце XIX века российская имперская экспансия достигла апогея, список народов, официально признанных иностранцами, включал тринадцать категорий: (1) сибирские иностранцы, (2) чукчи, (3) дзюнгорцы (Алтай), (4) жители Командорских островов, (5) самоеды (ненцы) Архангельской губернии, (6) кочевники Ставропольской губернии, (7) калмыки Ставропольской и Астраханской губерний, (8) киргизы внутренней орды, (9) кочевники Акмолинской, Семипалатинской, Семиреченской, Уральской и Тургайской областей, (10) уроженцы Туркестана, (11) ордынцы Закаспийской области, (12) горцы Кавказа и (13) евреи⁴⁸.

Евреи как иностранцы

Напряженность между первоначальным официальным определением категории «иностранцы» и последующим официальным использованием этого термина можно проиллюстрировать не только на примере отнесения к иностранцам оседлых народов Средней Азии, но также и ненормальным положением евреев в рамках этой категории. Отнесение некоторых народов к категории «иностранцев» создавало юридическую границу, разделявшую население империи на две юридические категории — иностранцев и природных подданных⁴⁹. Царские ученые-юристы последовательно признавали второе фундаментальное юридическое различие — между евреями и всеми прочими иностранцами, которых они определяли как «восточных иностранцев».

Устав 1822 года не распространялся на евреев; впоследствии также не появилось законодательных актов, где евреи и другие иностранцы упоминались бы в одном ряду. Вместо этого еврейскому населению России был посвящен большой блок отдельных

законодательных актов, полное описание которого выходит далеко за рамки задач данной статьи⁵⁰. Русские евреи «стали» инородцами только в 1835 году, когда существовавшие на тот момент законы, имевшие отношение к евреям, были сгруппированы под рубрикой «Учреждение по управлению инородцев» в первом издании «Свода законов Российской империи». В последующих переизданиях «Свода законов» предписания, касавшиеся евреев, оставались помещенными рядом с теми предписаниями, которые распространялись только на «восточных инородцев»⁵¹.

Наиболее очевидным общим признаком евреев и практически всех «восточных инородцев» была их нехристианская религиозная идентичность, что показывает значительное семантическое взаимоналожение терминов «инородцы» и «иноверцы». Но, в отличие от всех прочих инородцев, еврейское население по большей части было сконцентрировано на западных границах. Впрочем, одни лишь географические отличия не опишут поистине аномального положения евреев в категории «инородцев». Джон Клиер полагает, что отнесение евреев в одну категорию «с народами „низкого культурного уровня“ было преднамеренным унижением» и отмечает, что другие народы, отнесенные к этой категории, имели местное самоуправление и были освобождены от рекрутских наборов — привилегии, которых евреи либо не имели изначально, либо потеряли⁵².

В соответствии с юридическим обоснованием категории «инородцы», граница, отделяющая инородцев от основного населения России, проходила скорее через различия в образе жизни, чем через религиозные или этнические различия. Под инородцами подразумевались народы, чей существенно «низкий уровень цивилизации» ставил их перед необходимостью выступать в роли подопечных по отношению к Российскому государству⁵³. Такие народы могли в конечном итоге быть ассимилированы и подпасть под действие общих законов империи. Отдельный инородец теоретически мог стать «природным подданным», но условия пересечения этой разделительной черты для еврея и «восточного инородца» существенно разнились. Согласно мнению выдающегося ученого-юриста Николая Коркунова, еврей, который обратился в христианскую веру, «перестает в глазах закона быть евреем и инородцем»⁵⁴. Для «восточных инородцев» за религиозным обращением

не следовало автоматически избавление от статуса «инородца», но восточные инородцы могли, в случае перехода к оседлому образу жизни, «без всякого ограничения или стеснения вступать в сословия городских и сельских обывателей», в то время как «евреи же, несмотря на то, что они все оседлые, не могут по своему желанию выйти из состояния инородцев»⁵⁵.

Коркунов далее отмечает, что «самое важное различие евреев и восточных инородцев заключается в том, что принадлежность к еврейству обуславливается не одним племенным происхождением, но также и религией»⁵⁶. Это означает, что основополагающим критерием для отнесения народа в категорию «инородцев» было родовое или этническое происхождение и что евреи составляли особую категорию «инородцев», отличаясь от русских как в этническом, так и в религиозном отношении. Но если статус «инородца» был показателем этнических различий, то как можно было от него избавиться? Разве этнические особенности как еврея, так и «восточного инородца» не оставались очевидными даже после их обращения в христианство или перехода к оседлому образу жизни?

Возможно, скрытым резонансом для включения евреев и «восточных инородцев» в одну и ту же категорию было то, что российские власти воспринимали обе эти группы как опасные чужеродные элементы, присутствующие в политическом теле империи. Эти идеи пропитывают относящиеся к данной теме работы наставника Коркунова, Александра Градовского. В первом томе своего труда «Начала русского государственного права» (1875) Градовский пишет, что Российское государство в своей политике в отношении евреев со времен Екатерины II руководствовалось двумя основными принципами: во-первых, что «евреи, по самому существу своей религии, суть противники христианства и притом противники опасные для господствующей церкви», и, во-вторых, что «евреи по роду своей жизни и занятиям суть непроизводительный и вредный элемент народонаселения, который предстоит обратить к полезному для государства и общества труду»⁵⁷. Что касается «восточных инородцев», то Градовский считает как их присутствие в составе империи, так и привилегии, которыми они пользуются, пережитком истории российской имперской экспансии. Их сохраняющиеся привилегии фактически свидетельствовали о прежней слабости Российского государства, были «воспоминанием о том

времени, когда Московское государство было еще слишком слабо, чтобы окончательно ассимилировать эти племена в этнографическом и политическом отношении»⁵⁸.

Для Градовского продолжающееся существование инородцев в пределах России служило напоминанием ни много ни мало о величайшем унижении в российской истории — падении Киевской Руси под натиском татаро-монгольских завоевателей в XIII веке. По словам Градовского, Киевская Русь «утратила свою политическую самостоятельность под наплывом инородческого населения, непрерывно подвигавшегося в Европу из степей Средней Азии»⁵⁹. Инородцы были угрозой не только в отдаленном прошлом, но и в сравнительно недавнее время. Вслед за завоеванием Россией Казани и Астрахани, несмотря на «выгодные условия», предоставленные российским правительством местным татарскому и финским народам, «инородческое население... всегда готово было подняться против власти Московского государства»⁶⁰.

В российской юридической мысли XIX века инородцы были не просто неассимилированными «чужаками», чей теперешний образ жизни препятствовал их незамедлительной интеграции в российское общество, российскую сословную систему и общеимперское законодательство. Инородцы также представляли собой существенную угрозу, реальную или воображаемую, безопасности Российского государства и русского народа. Важнейшей задачей российской политики было нейтрализовать эту угрозу, в идеале — через ассимиляцию, поскольку, пока инородцы оставались неассимилированными, ощущение угрозы сохранялось. И все же термин «инородцы» все в большей степени начинал обозначать ряд народов, чью чуждость невозможно было преодолеть, несмотря на огромные усилия преисполненных благими намерениями имперских администраторов.

Свидетельство пробуксовки: народы Поволжья как инородцы

Большинство недавних исследований, посвященных политике по отношению к инородцам, фокусируют внимание на работе педагога Николая Ильминского (1822–1891), которому приписывают

честь введения «системы» русских школ с обучением на родном языке для коренных жителей Волго-Уральского региона. Система Ильминского была принята за образец для создания «Правил о мерах к образованию инородцев», опубликованных Министерством народного просвещения 26 марта 1870 года. Эти правила предусматривали учреждение школ для крещеных татар по образцу школ Ильминского, создание институтов для татарских учителей в Казани и Оренбурге и учреждение русско-татарских школ, где предусматривалось бы обучение как на русском, так и на татарском языках, наряду с обучением основам мусульманской веры⁶¹. Для задач данной статьи система Ильминского имеет значение, главным образом, лишь в том отношении, что она раскрывает определенные тенденции в определении категории «инородцы» в последние десятилетия XIX века. Коротко говоря, в число народов, воспринимавшихся как инородцы в образовательной политике, с 1860-х годов входило некоторое число этнических групп, которые не были обозначены как инородцы в существовавшем тогда юридическом определении этого термина.

Этническими группами, подпадавшими под школьные правила для инородцев, были нерусские жители Поволжья — татары, башкиры, мордва, чувашаи, удмурты и черемисы (мари). Что касается второй половины XIX века, то башкиры, чувашаи и другие нетатарские народы этого региона не были классифицированы как «инородцы» в юридическом смысле этого слова. Хотя согласно Уставу 1822 года татары первоначально были отнесены к категории «оседлых инородцев», это обозначение, как представляется, применялось только по отношению к сибирским татарам. В середине XIX века татары Поволжья (в отличие от оседлых инородцев) подлежали рекрутским наборам, и официальная статистика населения второй половины XIX столетия не причисляла их к инородцам⁶².

Хотя развитие и дальнейшая судьба школьной системы Ильминского в значительной мере выходит за рамки данной статьи, этот эпизод из истории российского образования представлял собой существенный шаг к расширению круга тех, к кому официально применялся термин «инородцы». Обозначение коренных жителей Поволжья как инородцев в законах об образовании и в министерской переписке, кажется, можно наилучшим

образом интерпретировать как вторжение в формальный правительственный обиход широкого, неофициального значения термина «инородцы» (нехристианские народы, восточные «чужаки»).

Когда все нерусские стали инородцами

В первом десятилетии XX века слово «инородцы» стали использовать в различных контекстах для обозначения всех нерусских народов империи. В этом смысле, как заметил Андреас Каппелер, «данное понятие постепенно потеряло свое исконное нейтральное значение, а служило для пренебрежительного отграничения от охваченного теперь идеей национализма „государственного народа“ всех „чужих“, принадлежавших к иному роду, племени, образу жизни, а потенциально — и к другой расе»⁶¹. Для великорусских националистов того периода вопрос: «Должна ли Россия отказываться от своих пограничных земель в пользу „инородцев“?», — относился ко *всем* этническим меньшинствам России, и ответом на него мог быть только клич «Россия для русских»⁶².

События первого десятилетия XX в. привлекли внимание к неустойчивости царского режима и к потенциальной угрозе, которую многонациональный характер империи представлял для целостности Российского государства. Поражение в русско-японской войне 1904–1905 годов возродило расистские страхи перед огромным азиатским населением Российской империи, а активизация пантюркизма, примером которой могла служить деятельность Исмаил-бея Гаспринского, все в большей степени привлекала внимание официальных кругов к вопросу о лояльности мусульманского населения России⁶³. Широкое участие нерусского населения в революционных волнениях 1905–1906 годов, особенно в Польше, Финляндии, Прибалтике и Закавказье, также рассматривалось как опасный признак, и то же самое можно было сказать об общем росте активности нерусских националистов⁶⁴. Более того, данные переписи населения 1897 года (публикация которых была завершена в 1907-м) дали ясное демографическое свидетельство того, что этнические русские вот-вот составят меньшинство населения империи. Поскольку показателем национальной принадлежности считался родной язык, результаты переписи показали,

что русские могут составить явное большинство населения империи только в том случае, если белорусов и украинцев («малороссов») определять как членов русской нации, «русского народа» и если низвести их языки до статуса диалектов⁶⁷.

Поскольку этнические различия стали в большей степени осмысливаться в терминах языка, чем религии, слово «иностранцы» все чаще использовалось для обозначения всех нерусских (определяемых по языковому признаку). В разных контекстах все этнические группы, за исключением восточных славян, были теперь причислены под одну гребенку «чужих». Такое использование термина было отмечено в статье «Иностранцы» энциклопедии, изданной в 1911 году, которая заключалась указанием, что «в разговорном языке (не в законе), термин И[ностранцы] иногда применяется к культурным народностям неславянского происхождения, живущим в империи (финляндцам, полякам, прибалтийским немцам, армянам и др.). Такое словоупотребление, ввиду специального смысла, присвоенного этому слову, нельзя признать правильным»⁶⁸.

Один из примеров такого «неправильного» словоупотребления можно найти в программе 1906 года реакционного Союза русского народа, который предпочитал максималистскую расовую дефиницию иностранцев и определял иностранца «как человека полностью или частично нерусской крови, живущего в пределах границ Российской империи». Определенные таким образом иностранцы не допускались к членству в Союзе, за исключением случаев, когда за их вступление специально голосовало правление Союза⁶⁹. Другой пример: трактат 1902 года, выступавший за политику языковой русификации школ в Прибалтике, описывал иностранцев как «различные племена, чуждые русскому народу по происхождению, языку и вере», и включал в эту категорию поляков, литовцев, латышей, эстонцев, татар и финские племена, все из которых рассматривались как фактически или потенциально враждебные российским государственным интересам⁷⁰. Автор, Н. Ч. Зайончковский, также использовал слово «иностранцы» и производные от него как общий эквивалент для понятия «национальные меньшинства», когда утверждал, что «вопрос о языке преподавания в иностранческих школах в западноевропейских государствах можно считать определенно решенным в пользу государственного языка»⁷¹. А в 1906 году А. Е. Алекторов, представитель второго

поколения последователей Ильминского, разработавший школьную систему, приспособленную к условиям Казахской степи, опубликовал книгу «Иностранцы в России», в которой он рассматривал нерусские народы как восточных, так и западных приграничных областей как сопоставимые элементы сложной системы национальных меньшинств, включавшей финнов, поляков, латышей, евреев, армян и татар⁷².

В некоторых сферах слово «иностранцы» проявляло тенденцию к сохранению своего более узкого значения. Например, правила об иностранных школах, которые подверглись придирчивому пересмотру в 1905–1907 годах, продолжали относиться только к восточным иностранцам⁷³. Можно также отметить журнал «Иностранческое обозрение», который издавался миссионерским отделом Казанской духовной академии с 1912 по 1916 год как приложение к журналу «Православный собеседник». «Иностранческое обозрение» было посвящено «обычаям и нравам иностранцев европейской России и азиатской России», но, судя по содержанию журнала, его издатели не включали «западные» национальности в число иностранцев Европейской России; скорее их преимущественно заботило расширение воздействия русской культуры (и русского православия) среди народов, находящихся в татарско-мусульманской сфере влияния.

Более широкое значение слова «иностранцы» было подхвачено не только националистами правого толка, но также и левым крылом российских деятелей народного образования, ратовавшим за распространение обучения на национальных языках, и нерусскими националистами, кое-кто из которых стал рассматривать этот термин как знак почета. Примером могут служить несколько статей, опубликованных в журнале «Русская школа», организация секции по вопросам «иностранческих школ» на Всероссийском учительском съезде в 1913 году и осуществленное этой группой в 1916 году издание тома «Иностранческая школа»⁷⁴. Что касается нерусских националистов, тут можно отметить два события: создание в годы войны в Швейцарии, по инициативе литовского националиста Юозаса Габриса, «Ligue des peuples allogènes de Russie» («Лиги иностранных народов России», основанной в 1916 году), а также издание в Берне книги «La Russie et les peuples allogènes», которую написал Габрис под псевдонимом «Иноходец»⁷⁵. Когда деятели оппозиции использовали слово «иностранцы» в более

широком смысле, они обычно поступали так при выдвижении требований, базировавшихся на понятии национальности, включая громкое требование создания «национальных школ» с обучением на родном языке. Таким образом, можно проследить связь между использованием слова «инородцы» оппозиционерами и возрастанием значения языка как первостепенного критерия этнических различий в Российской империи.

Даже правительственные органы начали использовать этот термин как синоним понятия «нерусский». Так, под эгидой Министерства народного просвещения и по инициативе премьер-министра Столыпина было созвано «Межведомственное совещание по вопросам о постановке школьного образования для инородческого, инославного и иноверного населения», в рамках которого с ноября 1910 года по декабрь 1911-го состоялось более тридцати заседаний⁷⁶. В своем заключительном отчете участники совещания выдвинули ряд рекомендаций, которые были направлены на введение большего единообразия в огромное количество правил, касавшихся языка преподавания в школах для нерусских народов. В опубликованных протоколах конференции термин «инородцы» применяется ко всем национальностям империи, кроме великороссов, украинцев и белорусов. Участники конференции отказались делать какие-либо уступки в языковой сфере украинцам и белорусам, группам, которых «отнюдь нельзя причислить к инородцам»; среди этих народов «первоначальное обучение должно вестись на русском языке»⁷⁷. Эта формулировка не только отрицала особый статус украинского и белорусского народов, но еще и делала это таким образом, что превращала язык в основу национальной идентичности и в ключевое отличие русских от нерусских.

Восприятие украинцев (или, что равнозначно, белорусов) как инородцев — как «чужих» — означало бы поражение на некоем глубоком, ментальном уровне для тех русских националистов и высших бюрократов, которые потратили так много сил на отрицание существования особой украинской национальности. По мнению русских националистов, украинцы были «малороссами», нераздельной частью русского народа, и украинский язык был просто крестьянским диалектом русского языка. Правительственные чиновники последовательно сопротивлялись классификации украинцев как инородцев, несмотря даже на то, что это все в большей

степени становилось общей практикой, например, у тех реформаторов в сфере образования, которые поощряли движение за создание «национальных» школ с преподаванием на родном языке⁷⁸.

Но в 1910 году усилия правительства исключить «малороссов» из разряда инородцев едва не свела на нет бюрократическая ошибка. 20 января, в контексте «общего выступления против всех нерусских гражданских организаций», Столыпин выпустил циркуляр, сам язык которого подразумевал, что среди «инородческих» организаций были и украинские⁷⁹. Хотя это прозвучало в контексте призыва к репрессивным действиям, украинские националисты могли ухватиться — и ухватились — за тот факт, что украинцы оказались одним миром мазаны с прочими инородцами, как за официальное признание их нерусскости⁸⁰. Но, как указывает Томас Приймак, «несколькими месяцами позже правительство вернулось к своей более ранней позиции и провозгласило, что украинцы больше не инородцы, но часть великого русского народа, чье единство должно быть неприкосновенным»⁸¹.

Политически спорный статус слова «инородцы» в последние годы существования царизма нигде не описывается лучше, чем в статье, написанной в 1910 году выдающимся этнографом Львом Штернбергом, карьера которого складывалась в конце императорского и начале советского периода российской истории: «Термин *инородец* понимается на языке правительства и националистической прессы в двояком смысле — политическом и технико-юридическом. В политическом и главнейшем значении этого слова основным признаком инородчества является *язык*. Только население, говорящее на великорусском наречии, имеет привилегию на звание русского народа. Ни раса, ни даже религия, ни политическая лояльность не играют существенной роли. Поляки, будучи славянской крови, говоря на славянском диалекте, все же считаются инородцами. Грузины, хотя и православные, все же остаются инородцами. Даже украинцы, родные братья по крови с великороссами, такие же православные, как последние, но имеющие дерзость говорить на собственном малорусском наречии, хотя и столь близком великорусскому, не перестают во многих отношениях считаться на положении инородцев. Остзейские немцы, славящиеся своей лояльностью, остаются такими же инородцами, как и «бунтовщики» поляки. Но русские сектанты, даже самые яростные враги

православия, даже самые подозрительные в глазах правительства по своим социальным учениям, но сохранившие великорусский говор, остаются неизменно в списках настоящего русского народа. И всем хорошо известно, что за этой классификацией кроется серьезная политическая сущность, целый комплекс политических отношений огромной важности»⁸².

Этим «целым комплексом политических отношений» было не что иное, как нерешенный национальный вопрос в России конца императорской эпохи. Термин, введенный первоначально для обозначения наиболее радикально отличающихся «других» подданных империи, превратился в обозначение непреодолимой преграды, разделившей восточных славян и всех прочих обитателей империи. В начале XIX века российские власти надеялись, что те народы, которые подпадали под вновь установленную юридическую категорию «иностранцев», в конечном счете будут переведены в категорию «русский народ». К началу XX века рост национального самосознания со стороны как русских, так и многих нерусских наций заострил вопрос о границах национальной идентичности до такой степени, что население империи можно было представить как стержневую группу русских, окруженную большим числом неассимилированных, политически равноправных иностранцев.

В советский период слово «иностранцы» вышло из официального употребления. Несмотря на то, что Ленин за всю жизнь так и не смог вычеркнуть это слово из своего собственного лексикона, этот термин считался политически некорректным⁸³. В языке советской эпохи те народы, которые при старом режиме юридически определялись как «иностранцы», были объединены под новым термином: «отсталые народы»⁸⁴. Этот термин, возможно, был столь же пренебрежительным, как и «иностранцы», но это целиком оправдывалось концептуальными канонами марксистской исторической науки. Старый уничижительный смысл слова «иностранцы» сохранился в разговорной речи и пережил краткое полуофициальное возрождение в последней сталинской кампании против «иностранцев-космополитов» (евреев).

Постоянные темы различия и угрозы кроются в разнообразных смыслах, содержащихся в слове «иностранцы». Юридическая категория включала в себя тех жителей империи, которые наиболее

радикально отличались от основного русифицированного населения социальной структурой, системой верований и способами использования земли. Эти различия воздвигали препятствия на пути прямого имперского господства. Присутствие неаккультурированных, неассимилированных «других» в пределах границ империи пробуждало воспоминания о давних угрозах русскому государству. Эра национализма пробудила к жизни ряд новых тревог, выявив, что единству империи могут угрожать даже ее самые лояльные, «цивилизованные» нерусские подданные. Язык «чуждости», первоначально применявшийся к источникам прежних тревог, мог быть столь же успешно применен и к новым опасностям.

Ни одно из трех изданий «Большой советской энциклопедии» не содержит статьи об инородцах; на ее месте можно найти медицинские рассуждения об «инородных телах». Это подсказало заключительную метафору данной работы: при всех изменениях значений, вкладывавшихся в термин «инородцы», он всегда использовался для того, чтобы показать, что российские официальные круги думали об этих народах как об инородных элементах в политическом теле Российской империи.

Примечания

1 См.: *Kappeler A. La Russie: Empire Multiethnique / Trans. Guy Imart. Paris, 1994. P. 149–150* [*Канпелер А. Россия — многонациональная империя. М., 2000. С. 125–126*]; *Slezkine Y. Arctic Mirrors: Russia and the Small Peoples of the North. Ithaca, 1994. P. 53, note 32*. Настоящая статья задумана как шаг к заполнению того пробела в историографической литературе, который отметил А. Канпелер: *Kappeler A. Czarist Policy toward the Muslims of the Russian Empire // Muslim Communities Reemerged: Historical Perspectives on Nationality, Politics, and Opposition in the Former Soviet Union and Yugoslavia / Ed. by Andreas Kappeler, Gerhard Simon, Georg Brunner. Durham, 1994. P. 155, note 29*.

2 *Weeks T.R. Defending Our Own: Government and the Russian Minority in the Kingdom of Poland, 1905–1914 // Russian Review. 1995. Vol. 54. October. P. 550*.

3 *Khodarkovsky M. "Ignoble Savages and Unfaithful Subjects": Constructing Non-Christian Identities in Early Modern Russia // Russia's Orient: Imperial Borderlands and Peoples, 1700–1917 / Ed. by Daniel R. Brower and Edward J. Lazzerini. Bloomington, 1997. P. 21–22*.

4 См., например: *Hellie R. Slavery in Russia, 1450–1725. Chicago, 1982. P. 3*.

5 Юрий Слэзкин утверждает, что для россиян XVI–VII веков религиозная идентичность представляла неразрывно связанной с целым рядом обычаев, касавшихся еды, половых отношений, использованию земли. См.: *Slezkine Y. Naturalists versus Nations: Eighteenth-Century Russian Scholars Confront Ethnic Diversity // Russia's Orient... P. 32* [русский перевод см. в настоящем издании].

6 Более развернутое доказательство этого тезиса см. в моей работе: *Slocum J. The Boundaries of National Identity: Religion, Language and Nationality Politics in Late Imperial Russia* <Ph.D. diss., University of Chicago, 1993>.

7 Более детальный анализ сословной системы в России см.: *Freeze G.L. The Soslovie (Estate) Paradigm and Russian Social History // American Historical Review. 1986. Vol. 91. P. 11–36* | *Фриз Г. Сословная парадигма и социальная история России // Американская русистика: Вехи историографии последних лет: Императорский период: Антология / Сост. М. Дэвид-Фокс. Самара, 2000. С. 121–162*].

8 Общие исследования см.: *Freeze G.L. Op. cit.* | *Фриз Г. Указ. соч.*; *Haimson L.H. The Problem of Social Identities in Early Twentieth Century Russia // Slavic Review. 1988. Vol. 47. Spring. P. 1–20*. По истории отдельных сословий см.: *Rieber A. Merchants and Entrepreneurs in Late Imperial Russia. Chapel Hill, 1982*; *Becker S. Nobility and Privilege in Late Imperial Russia. DeKalb, 1985* | *Беккер С. Миф о русском дворянстве: Дворянство и привилегии последнего периода императорской России. М., 2004*; *Wirtschaftser E.K. Structures of Society: Imperial Russia's "People of Various Ranks". DeKalb, 1994* | *Виртшафтер Э. Социальные структуры: Разночинцы в Российской империи. М.: Логос, 2002*]. Работа Элис Виртшафтер, в частности, представляет собой образцовый пример исследования запутанной эволюции юридической терминологии (в данном случае, категории «разночинцы») и российской социальной структуры.

9 *Freeze G.L. Op. cit. P. 36* | *Фриз Г. Указ. соч. С. 162*].

10 Как указывает Шейла Фицпатрик, «национальность, как и класс, была категорией, которая приобрела полное правовое признание только после революции [1917 года]» (*Fitzpatrick S. Ascribing Class: The Construction of Social Identity in Soviet Russia // Journal of Modern History. 1993. Vol. 65. December. P. 770* | *Фицпатрик Ш. Приписывание к классу как система социальной идентификации // Американская русистика: Вехи историографии последних лет: Советский период: Антология / Сост. М. Дэвид-Фокс. Самара, 2001. С. 200*]).

11 Большинство этих народов можно классифицировать по лингвистическому признаку как принадлежащие к финно-угорской, самоедской, тюркской, тунгусской, монгольской или палосибирской языковым семьям (*Slezkine Y. Arctic Mirrors... P. 2–3*).

12 Таков важнейший тезис работы Ходарковского: *Khodarkovsky M. Op. cit.*

13 *Ibid.* P. 15

14 Определение коренных жителей Сибири как «инородцев» отделило их от категории «истинно» русских — «русского народа». В своем исследовании, посвященном коренным народам Сибири, Николай Ссорин-Чайков обнаружил, что термин «инородцы» совершенно не встречался в XVII веке; принимая во внимание семантическое происхождение термина от идеи «рода» (в его этническом значении), он предположил, что слово «инородцы» принадлежит скорее петровской России, чем Московской Руси (Ссорин-Чайков, электронное письмо автору от 23 июля 1997 года). Эта интерпретация соотносится с утверждением Слезкина, что образованные русские XVIII века все более и более интересовались проблемой упорядочения этнических групп империи согласно научным таксономиям. См.: *Slezkine Y. Naturalists versus Nations...* P. 27–57.

15 Примером может служить указ 1712 года, где упоминаются сибирские «инородцы»: О поиске верных людей для проповеди Евангелия сибирским *инородцам* и китайцам, и относительно возведения торгового поста на границе для торговли с Китаем // Полное собрание законов Российской империи [далее — ПСЗ]. Собр. 1. Т. 4. № 1800.

16 В некоторых случаях термин «иноверцы» употреблялся по отношению ко всем нерусским и неправославным народам, включая как нехристианские народы, так и неправославных христиан (католиков, лютеран и т.д.). В других случаях для обозначения неправославных христиан использовалось особое слово — «инославные», а термин «иноверцы» сохранялся только для нехристиан.

17 См., например: *Slezkine Y. Arctic Mirrors...*, *passim*. Заметим также, что «если русские власти воспринимали выплату ясака как дань, то коренные жители Сибири расценивали это как торговлю». См.: *Khodarkovsky M. From Frontier to Empire: The Concept of the Frontier in Russia, Sixteenth-Eighteenth Centuries* // *Russian History*. 1992. Vol. 19. P. 126.

18 *Slezkine Y. Arctic Mirrors...* P. 53.

19 *Kappeler A. La Russie...* P. 147 [*Каннелер А. Указ. соч. С. 122–123*]. Одним из аспектов данного изменения в политике было ослабление религиозных преследований поволжских татар, что было результатом признания со стороны Екатерины Великой роли татар как экономических посредников в отношениях между Россией и Средней Азией, равно как и осознания ею того факта, что татары могут сослужить хорошую службу в роли орудия просвещения языческих народов Востока. См.: *Rorlich A.-A. The Volga Tatars: A Profile in National Resilience*. Stanford, 1986. P. 42–43; *Kappeler A. La Russie...* P. 148 [*Каннелер А. Указ. соч. С. 124*].

20 О демографических переменных в XVIII веке см.: *Kahan A. The Plow, the Hammer, and the Knout: An Economic History of Eighteenth-Century Russia / With Richard Hellie. Chicago, 1985. P. 16–17.*

21 *Kappeler A. La Russie... P. 147–148 | Каннелер А. Указ. соч. С. 124–125*; см. также: *Slezkine Y. From Savages to Citizens: The Cultural Revolution in the Soviet Far East // Slavic Review. 1992. Vol. 51. Spring. P. 55.* Во времена правления Екатерины II различие кочевых и оседлых народов служило средством для отбора, какие группы нерусских народов будут представлены в Уложенной комиссии 1767 года — когда дело дошло до выборов депутатов в эту комиссию из числа коренных сибирских народов, то к выборам были допущены только «некочевые» народы. См.: *Федоров М.М. Правовое положение народов восточной Сибири (XVII — начало XIX века). Якутск, 1978. С. 164–165.*

22 *Федоров М.М. Указ. соч. С. 181–182.* Федоров интерпретирует ранние пометки на архивных копиях данного законопроекта как доказательство того, что он служил образцом для последующего закона об «иногородцах», составленного Сперанским в 1822 году.

23 Устав об управлении инородцев // ПСЗ. Собр. 1. Т. 38. № 29126. О реформах, проведенных Сперанским в Сибири, см.: *Raeff M. Siberia and the Reforms of 1822. Seattle, 1956.*

24 См.: *Федоров М.М. Указ. соч. С. 184–186.* О недостатках тех мер по управлению коренными народами Сибири, которые принимались в конце XVIII века, см.: *Конев А. Коренные народы северо-западной Сибири в административной системе Российской империи (XVII — начало XX вв.). М., 1995. С. 75–78.*

25 *Конев А. Указ. соч. С. 90.*

26 Устав об управлении инородцев... Ст. 1.

27 Там же. Ст. 7.

28 *Бухтарма* были особой по своей культуре группой старообрядцев из Центральной России, которые поселились в Сибири в XVI–XVII веках. См.: *Wixman R. The Peoples of USSR: An Ethnographic Handbook. Armonk, N.Y., 1984. P. 32, 169, 180.*

29 Устав об управлении инородцев... Ст. 2.

30 Там же. Ст. 13.

31 Там же. Ст. 14–16, 17, 19. См.: *Raeff M. Op. cit. P. 116.*

32 После введения всеобщей воинской повинности в 1874 году оседлые «инородцы» больше не освобождались от военной службы. Большинство же других «инородцев» продолжали пользоваться этой льготой вплоть до Первой мировой войны, хотя российские законы с конца 1880-х годов начали понемногу урезать данную официальную привилегию отдельных народов из числа «инородцев». См.: *Ядринцев Н.М., Якоби А.М. Инородцы // Энциклопедический словарь Брокгауза-Эфрона. СПб., 1894. Т. 26. С. 224–225.*

33 Соответствующие современные обозначения приводятся в скобках. О подробностях изменения этнонимов см.: *Wixman R.* Op. cit., passim.

34 В примечании к списку кочевых инородцев указывается, что «киргиз-казахов» (современных казахов), «которые управляются по особому о них Уставу», необходимо причислять к кочевым «инородцам» (Устав об управлении инородцев... Примеч. 23).

35 Там же. Ст. 4.

36 Более детальный анализ Устава см.: *Raeff M.* Op. cit. P. 112–128; *Slezkine Y.* Arctic Mirrors... P. 83–89; *Конев А.* Указ. соч. С. 79–93. Описание «Устава об управлении инородцев» учеными-юристами XIX века см.: *Градовский А.* Начала русского государственного права / 2-е изд. СПб., 1892. Т. 1. С. 398–401; *Коркунов Н.М.* Русское государственное право / 4-е изд. СПб., 1901. Т. 1. С. 330–340.

37 *Slezkine Y.* Arctic Mirrors... P. 88.

38 *Конев А.* Указ. соч. С. 103. См. также: *Slezkine Y.* Arctic Mirrors... P. 88.

39 *Конев А.* Указ. соч. С. 123.

40 *Kappeler A.* La Russie... P. 150 [*Каннелер А.* Указ. соч. С. 126].
Ученые-юристы в конце XIX века фактически считали, что население империи делится не на две, а на три взаимоисключающие и исчерпывающие категории: натуральные подданные, «инородцы» и жители Финляндии (*Коркунов Н.М.* Указ. соч. С. 260).

41 *Slezkine Y.* Arctic Mirrors... P. 85.

42 *Конев А.* Указ. соч. С. 120, 129–132.

43 *Slezkine Y.* Arctic Mirrors... P. 85.

44 Ibid. P. 162.

45 Ibid. P. 166–167.

46 Ibid. P. 95.

47 *Kappeler A.* La Russie... P. 183 [*Каннелер А.* Указ. соч.].

48 *Ядринцев Н.М., Якоби А.М.* Указ. соч. С. 224.

49 Существовала также и третья категория: жители Финляндии (см. примеч. 40).

50 Обзор царского законодательства по отношению к евреям см.: *Greenberg L.* The Jews in Russia: The Struggle for Emancipation. N.Y., 1976.
Компендиум российских законодательных актов относительно евреев, которые имели силу закона на 1915 г., см.: *Гимпельсон Я.И.* Законы о евреях: Систематический обзор действующих законоположений о евреях с разъяснениями Правительствующего Сената и Центральных правительственных установлений. Пг., 1915.

51 *Klier J.* The Concept of “Jewish Emancipation” in a Russian Context // Civil Rights in Imperial Russia / Ed. by Olga Crisp and Linda Edmundson. Oxford, 1989. P. 132. См. также: *Kappeler A.* La Russie... P. 232.

52 *Klier J.* Op. cit. P. 133.

53 *Жданко Т.А.* Этнические общности и этнические процессы в до-революционной России // Современные этнические процессы в СССР / Под ред. Ю.В. Бромлея. М., 1975. С. 38–39.

54 *Коркунов Н.М.* Указ. соч. С. 331. Однако в конце XIX – начале XX века русские националисты стали гораздо с большей подозрительностью относиться к крещеным евреям и лоббировать официальное признание еврейства не религиозным, а скорее этническим признаком. См.: *Wienerman E.* Racism, Racial Prejudice and Jews in Late Imperial Russia // *Ethnic and Racial Studies*. 1994. Vol. 17. July. P. 359–362.

55 *Коркунов Н.М.* Указ. соч. С. 332.

56 Там же. С. 331.

57 *Градовский А.* Указ. соч. С. 406.

58 Там же. С. 394.

59 Там же.

60 Там же. С. 395.

61 *Rorlich A.-A.* Op. cit. P. 45–46. Заметим, что большинство этих школ было предназначено не для мусульман, а для тех, кто номинально крестился в православную веру, и кто, как этого опасались, был слишком тесно связан с социальной и культурной сферой влияния татар-мусульман. Сам факт обращения в православную веру явно не стирал с человека клейма «инородца»; это могло быть достигнуто только в ходе длительного, постепенного процесса приобщения к соответствующей культуре. Детальное исследование школьной системы Ильминского см.: *Kreindler I.T.* A Neglected Source of Lenin's Nationality Policy // *Slavic Review*. 1977. Vol. 36. Spring. P. 86–100; *Idem.* Nikolai Il'minskii and Language Planning in Nineteenth-Century Russia // *International Journal of the Sociology of Language*. 1979. Vol. 22. P. 5–26; *Geraci R.P.* Window on the East: Ethnography, Orthodoxy and Russian Nationality in Kazan, 1870–1914 <Ph.D. diss., University of California, Berkeley, 1995>.

62 Краткий перечень этнических групп, освобожденных от рекрутской повинности в середине XIX века, см.: *Wirtschaftler E.K.* From Serf to Russian Soldier. Princeton, 1990. P. 156, note 45. При проведении девятой ревизии, в 1851 году, татары Поволжья не были включены в число 760 663 мужчин-инородцев, населявших Российскую империю. См.: *Кеннен П.* Девятая ревизия: Исследование о числе жителей в России в 1851 году. СПб., 1857. С. 21–22. Более подробные сведения можно получить из переписи населения 1897 года. Перегруппировав выявленные в ходе переписи группы носителей определенных языков по сословному признаку, можно обнаружить, что из 1 040 151 татар (выявленных по указанному ими родному языку) Среднего Поволжья только 714 человек числилось как «инородцы» – подавляющее большинство татар было включено в крестьянское

сословие. Зато подавляющее большинство татар, проживавших в Сибири (134 748 из 171 733 человек), было причислено к инородцам. См.: Die Nationalitäten des Russischen Reiches in der Volkszählung von 1897 / Hrsg. von Henning Bauer, Andreas Kappeler, Brigitte Roth // Ausgewählte Daten zur sozio-ethnischen Struktur der Russischen Reiches – Erste Auswertungen der Kölner NFR-Datenbank. Stuttgart, 1991. S. 371, 369.

63 Kappeler A. La Russie... P. 150 [Kannelер А. Указ. соч. С. 126].

64 Ibid. P. 293 [Kannelер А. Указ. соч. С. 254].

65 См.: Zenkovsky S.A. Pan-Turkism and Islam in Russia. Cambridge, MA, 1960.

66 О революционной деятельности в нерусских местностях империи в эру революции 1905 года см.: Ascher A. The Revolution of 1905: Russia in Disarray. Stanford, 1988. P. 152–174; Conolly V. The “Nationalities Question” in the Last Phase of Tsarism // Russia Enters the Twentieth Century / Ed. by George Katkov et al. London, 1971. P. 17–18.

67 См.: Weeks T.R. Op. cit. P. 548. Перепись населения также послужила катализатором процесса замены понятия «народы» при обозначении этнических групп империи понятием «национальности».

68 Корф С.А. Инородцы // Новый энциклопедический словарь. СПб., 1911. Т. 19. С. 487.

69 Spector S.D. The Doctrine and Program of the Union of Russian People in 1906. Thesis, Columbia University, 1952. P. 20, note 1.

70 Зайончковский Н.Ч. К истории сельской инородческой школы в Прибалтийских губерниях и ее реформ. Рига, 1902. С. 5.

71 Там же.

72 Алекторов А.Е. Инородцы в России: Современные вопросы. СПб., 1906. О карьере Алекторова см.: Греховодов М. Киргизы-мусульмане (Народное образование среди киргизского населения Петропавловского уезда Акмолинской области // Инородческое обозрение. 1913. Кн. 2. Март. С. 83–112.

73 См.: Правила о начальных училищах для инородцев. Оренбург, 1907.

74 Инородческая школа: Сборник статей и материалов по вопросам инородческой школы / Под ред. Г.Г. Тумима, В.А. Зеленко. Пг., 1916.

75 Inorodetz [Габрис Ю.]. La Russie et les peuples allogènes. Bern, 1917. Allogènes -- французский эквивалент слова «инородцы». В отношении «Лиги инородческих народов России» Альфред Эрих Сени выяснил, что деятельность Габриса субсидировалась немецкими деньгами; французский текст «La Russie et les peuples allogènes» был в действительности вольным переводом немецкого оригинала, написанного, вероятно, Фридрихом фон дер Роппом, балтийским немцем с неустойчивой этнической

КТО И КОГДА БЫЛИ «ИНОРОДЦАМИ»?

принадлежностью. См.: *Senn A.E. The Russian Revolution in Switzerland, 1914–1917. Madison, 1971. P. 176–189.*

76 Пример использования Столыпиным термина «инородцы» в его широком значении можно обнаружить в его письме министру просвещения Шварцу в январе 1909 года, где Столыпин отметил, что «вопрос о правильной постановке... школьного образования на окраинах и вообще среди инородческого населения... не являясь вопросом ни отдельного исповедания, ни местного значения для одних только губерний Привислинского края и Поволжья... должен быть подвергнут всестороннему обсуждению по отношению ко всем местностям с инородческим населением». Столыпин порицал недостаток «общей административной основы» для образования нерусских народов и призывал к «единообразному применению» законов о языке. См.: РГИА. Ф. 821. Оп. 10. Д. 517. Л. 3–4.

77 Там же. Д. 524. Л. 53–54.

78 См. статьи того периода в журнале «Русская школа». Участники Первого Всероссийского съезда по вопросам народного образования, проходившего в Петербурге в 1913 году, включили и украинцев в состав инородцев. См.: *Инородческая школа...*

79 *Prymak T. Mykhailo Hrushevsky: The Politics of National Culture. Toronto, 1987. P. 84.*

80 Там же.

81 Там же. С. 85.

82 *Штернберг Л. Инородцы: Общий обзор // Формы национального движения в современных государствах / Под ред. А.И. Кастелянского. СПб., 1910. С. 531.*

83 Ленин использует слово «инородцы» в значении «нерусские» в своей работе: *Ленин В.И. К вопросу о национальностях или об «автономизации» [30 декабря 1922 года] // Ленин В.И. Полн. собр. соч. / 5-е изд. М., 1964. Т. 45. С. 357.*

84 В этом случае замечание Шейлы Фитцпатрик о том, что «показывается интригующая возможность проследить, как принцип *сословности* [в сталинский период] наложил свой отпечаток на процесс искусственного созидания не только социальной, но и национальной идентичности», кажется особенно уместным (*Fitzpatrick S. Ascribing Class: The Construction of Social Identity in Soviet Russia. P. 770 [Фитцпатрик Ш. Указ. соч. С. 200].*

ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО НАТАЛИИ БОДЯГИНОЙ

НА ПЕРЕКРЕСТКЕ
КОНФЕССИИ
И НАЦИИ

Распад СССР привлек особое внимание исследователей к национальному вопросу в Российской империи. Вслед за этим историки по ряду причин стали более активно заниматься конфессиональным вопросом. Во-первых, как утверждает молодой американский историк Роберт Круз в недавно вышедшей статье, Российская империя была «конфессиональным государством» вплоть до конца своего существования. Иными словами, политика и устройство империи продолжали основываться на религии — и при том не только на православии — до 1917 года¹. Учитывая это обстоятельство, историки должны внимательно анализировать изменения религиозной ситуации в стране. Авторы статей данного раздела так и делают.

Что касается ислама, следует указать прежде всего на достижения немецких и французских историков, изучающих разные стороны жизни мусульман в Российской империи на основании источников на татарском, арабском и других языках². К этой группе исследователей относится Агнес Кефели-Клай, в данное время работающая в Государственном университете штата Аризона. В своей статье Кефели-Клай рассматривает народную религиозность «кряшен» (крещеных татар) Поволжья: историю формирования этой общности, попытки повторного обращения в ислам, политику властей по отношению к православным татарам и к вероотступникам, социальный облик вероотступников. Кефели-Клай указывает на устные основы народного ислама среди кряшен, на переплетение исламских понятий с местными преданиями и традициями, на социальную и родственную сеть, которая поддер-

живала и развивала отступническое движение. Имея в виду эти обстоятельства, можно легко понять, какая трудная задача предстояла православным миссионерам, стремившимся удержать лишь номинально крещеных татар в православии.

Конфессиональный вопрос требует нашего внимания, еще и потому, что он является ключевым для полного освещения и национального вопроса. Андреас Каппелер показал в статье, включенной в этот том, что мусульмане Волжско-Уральского региона и Закавказья строили свое «национальное» движение именно на религиозной почве, стремясь выработать общемусульманскую идентичность. Переплетение национального и конфессионального вопросов также ярко прослеживается в статьях Дариуса Сталюнаса и Теодора Вика, рассматривающих ситуацию в западных губерниях. Сталюнас анализирует весьма любопытный проект властей ввести русский язык в католическое богослужение в 1860-х годах. Сторонники такой политики были убеждены в том, что язык является более важным для установления культурной идентичности и политической благонадежности, чем религиозная принадлежность. Но вопрос, поставленный Сталюнасом в названии своей статьи — «Может ли католик быть русским?», — сам собою говорит о глубоких сомнениях у некоторых чиновников по поводу этого проекта. И действительно, Вика также утверждает, что (бело)русские католики составляли, пожалуй, самую глубокую эпистемологическую проблему для царских властей в их попытках определить границы «русской нации». Заключив, что в конце концов в сознании русских властей возобладала формула «католик = поляк», Вика доказывает, что в основе политики в регионе лежал все-таки «не национальный, а вероисповедный принцип»¹.

В то же время, если конфессия действительно оставалась основой имперской политики и устройства даже в начале XX века, все же наблюдается определенная тенденция к классификации народонаселения по национальному признаку не только среди этнографов (как мы установили раньше), но и в официальных документах. Эту тенденцию исследует Чарльз Стейнведер, рассматривающий попытку царского режима определить состав населения в последнее столетие существования империи. Вплоть до 1917 года главными документами, удостоверяющими личность их владельцев, оставались метрические книги, которые велись духо-

венством и поэтому жестко связывали человека с определенной конфессией, и паспорта, удостоверявшие сословную принадлежность и вероисповедание владельца. Но примерно с 1905 года эти категории утратили свою прежнюю силу — и взамен стала распространяться идентификация подданных государства по этническому и национальному признакам, выраженным в словах «народность» и «национальность». Как Сталюнас и Викс, Стейнведел показывает одновременное существование двух основ — национальной и конфессиональной — для определения личности подданных империи. Но Стейнведел также доказывает, что царским режимом было сделано больше в отношении строительства национальной политики, чем многие историки советского периода готовы признать.

Переплетение национального и конфессионального принципов также сказывалось на евреях, составляющих одновременно вероисповедную общину на основе иудаизма и «иностранческую» группу, подлежащую известным ограничениям и стеснениям, причем все более именно по этническому признаку. В своей статье Бенджамин Натанс рассматривает самое значительное в России еврейское сообщество за чертой оседлости — петербургское, которое в конце XIX — начале XX века приобрело ведущую роль как представительство интересов российских евреев в целом. Автор анализирует появление и расселение еврейских мигрантов в российской столице, показывает место еврейского сообщества в городской топографии Петербурга, а также реконструирует историю как быстрой культурной ассимиляции столичных евреев, так и постоянно сохраняющейся обособленности. В статье раскрыты социальные и религиозные противоречия внутри еврейской общины Петербурга, представлена история борьбы за создание еврейских общинных институтов и детально изложена история конфликта еврейской общины и властей вокруг строительства петербургской синагоги. Натанс исследует, как под влиянием взаимодействия с петербургским еврейским сообществом в сознании русских второй половины XIX века на смену традиционному образу еврея — «отсталого сепаратиста-фанатика, зачастую живущего в крайней бедности», — приходил образ так называемого «нового еврея», «современного, космополитичного, преуспевающего в таких типично городских сферах деятельности, как банковское дело, юриспруденция и жур-

налистика». При этом, однако, сам Натанс показывает относительность и условность каждого из этих образов: «Факт наличия раскола среди евреев по признаку религиозных привычек, социального статуса и языка повседневного общения вынуждает заключить, что в одном и том же городе существовало *несколько* еврейских сообществ»⁴.

Вместе взятые, предлагаемые здесь статьи дают богатый материал для размышлений о меняющемся соотношении между религией и национальностью в последнее столетие Российской империи.

Примечания

1 *Crews R. Empire and the Confessional State: Islam and Religious Politics in Nineteenth-Century Russia // American Historical Review. 2003. Vol. 108. № 1. P. 50–83.*

2 Некоторые из их работ имеются уже на русском языке в сборнике: *Ислам в татарском мире: История и современность / Под ред. С. Дудоигнов, Д. Исхакова, Р. Мухаметшина. Казань, 1997.*

3 Здесь следует заметить, что Виск в свое время тоже анализировал вопрос о введении русского языка в католическое богослужение. См.: *Weeks T.R. Religion and Russification: Russian Language in the Catholic Churches of the "Northwest Provinces" after 1863 // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. 2001. Vol. 2. № 1. P. 87–110.*

4 Книга Б. Натанса о еврейском вопросе готовится к печати на русском языке.

АГНЕС Н. КЕФЕЛИ-КЛАЙ

Народный ислам

у крещеных православных татар в XIX веке

Введение

С момента завоевания Казани в 1552 году Российское государство при поддержке православной церкви старалось оторвать татар-мусульман и коренных жителей-язычников от культуры предков, обращая их в христианство. Находясь под угрозой распада, татары начали сопротивляться, удерживая неофициально в общине тех, кто от нее отдалился, и продолжая обращение в ислам коренных жителей татарских, башкирских, черемисских, чувашских деревень, по-прежнему преданных языческой вере, и все это — несмотря на установленные законом ограничения по отношению к исламскому прозелитизму.

Основной движущей силой духовного возрождения в стране неверных стал народный ислам или, точнее, ислам просвещенных людей, такой, каким он воспринимался и существовал среди крестьян, посещавших «кораническую» начальную школу (мектеб) лишь две или три зимы или слышавших лишь приукрашенные рассказы странствующих мулл или бродячих суфиев. Этот ислам выполнял тройную функцию: боролся с привязанностью волжских крестьян к древней языческой вере; вводил среди них элементарные понятия о мусульманской вере; создавал возможности для продолжения обучения коренного населения в медресе — высших духовных школах. Несмотря на то что народный ислам передавался в основном в устной форме, он всегда основывался на мусульманских книгах, как высшей гарантии его авторитета, способствуя, таким образом, внедрению письменности в деревнях

и появлению местных групп образованных людей среди крещеных. Затем эти люди начали возглавлять движения коллективного вероотступничества, которые становились все шире. Присоединяя новые деревни к *дар ал-ислам* — территории ислама, они одержали победу над методами ассимиляции, применяемыми «неверным» правительством, и защитили татарскую исламскую самобытность.

Анализируя народный ислам у православных крещеных татар, мы попытаемся оценить религиозную культуру татарских крестьян и определить методы их самозащиты от Российского государства. Мы постараемся для этого выявить культурные и экономические интересы, которые связывали крещеных православных татар с исламским миром, и выявить, таким образом, пути распространения грамотности на Средней Волге. Несмотря на свой динамизм, народный ислам вызывал сомнения у джадидов, татарских реформистов конца XIX века, и в причинах этого мы попытаемся разобраться.

Обращение в православие и законы, запрещающие возврат к прежней вере

Насчитывается две волны обращения в православную веру. Первая волна прошла в XVI веке под патронажем архиепископов Гурия (1555–1563) и Германа (1564–1565); вторая — в 1740 году под патронажем Новокрещенской конторы. Обращенные первой волны получили имя *старокрещеные*, по-татарски *таза кряшен*, означающее дословно «настоящие (чистые) крещеные», а обращенные второй волны — *новокрещеные* или по-татарски *янга кряшен*.

Первое время старокрещеных обращали в христианство силой на землях, которые Иван IV даровал монастырям в Заказанье — регионе к северу от слияния Волги и Камы, бывшей территории Казанского улуса, и на оборонительных линиях. Затем, начиная с XVII века, коренных жителей стали побуждать к принятию крещения денежными дарами и одеждой, освобождением от налогов и воинской повинности на три года. Некоторые помещики были вынуждены обращаться в христианство, чтобы сохранить свое родовое имение. Однако в начале XIX века большинство старокрещеных татар были по происхождению язычниками, так

как большое количество коренных жителей мусульманского вероисповедания вернулось к исламу в 1570–1580-х годах, когда татарские феодалы попытались вновь захватить власть над территорией бывшего ханства, и в XVII веке в связи с восстанием Степана Разина. Эти старокрещенные татары жили в поселениях, обособленных от русских и татар-мусульман, возможно, из-за предпринятых религиозными властями мер по их изоляции, но также потому, что многие среди них происходили из добулгарских тюркских племен, которые называли себя собекуляне, челмата и темтюзи. Речь шла о народах, которые упоминались в русских хрониках XII века, расселение которых предшествовало расселению камских булгар и которые как до, так и после монгольского нашествия в 1236 году вели особый образ жизни'.

Что касается новокрещенных татар, то все они были по происхождению мусульманами. Как и раньше, частичное освобождение от уплаты налогов и воинской службы побуждало их к обращению в христианство. В начале XIX века новокрещенные татары населяли территории Заказанья, восточное Закамье, правый берег Волги. Они редко образовывали изолированные поселения и жили маленькими группами среди мусульман. Вопреки тому, что предполагалось, Новокрещенская контора была вынуждена отказать от перемещения крещеных в русские деревни, после обращения более чем трех семей, так как возмещение убытков стало бы слишком дорогим мероприятием для церкви и государства'. Результатом стало то, что многие из обратившихся в православие стали меньшинством в среде, где преобладали мусульмане, создавая тем самым ситуацию, считавшуюся опасной по причине возможного возвращения в ислам, которое эта ситуация предполагала.

Для решения этой проблемы начиная с XVI века русским законодательством налагался запрет на любые формы возвращения в ислам и мусульманского прозелитизма среди язычников и крещеных. На основании мало оптимистичного доклада о «возможности выхода из исламской веры» обращенных царь Федор в 1593 году издал указ, согласно которому отступники должны быть брошены в тюрьму, биты и закованы в кандалы. Суровые меры были приняты для того, чтобы изолировать крещеных от мусульман, выделяя для них отдельные поселения. Брак между обращенным в православную веру лицом и лицом необращенным

подлежал расторжению³. Позднее, на основании Уложения 1649 года, любой мусульманин, считавшийся виновным в том, что он отвращает русского человека от его веры, безжалостно приговаривался к сожжению⁴. Речь шла о крепостных христианах, которые по-прежнему принадлежали помещикам-язычникам и мусульманам. В 1740-х годах Новокрещенская контора взимала штрафы и подвергала телесным наказаниям тех, кто выбрал своей религией ислам, среди чувашей из Свияжска, астраханских калмыков и башкир из восточной части Казанской губернии. Осужденные также разлучались с семьей в случае смешанных браков, их отправляли в монастырь на покаяние, а самых непокорных ссылали в Сибирь⁵. Татарские мечети были разрушены, а возведение новых культовых строений было строжайшим образом ограничено⁶.

После второго башкирского восстания в 1755 году и восстания Емельяна Пугачева в 1773–1775 годах, в которых принимало участие коренное население, государство вынуждено было пойти на уступки. Екатерина II провозгласила свободу вероисповедания и способствовала экономическому и духовному развитию татарских торговых колоний, разрешая возведение мечетей в Башкирии, Сибири и казахских степях⁷. Отныне и впредь право контролировать распространение ислама не находилось в руках церкви, но переходило под контроль только государства. Епископальные власти потеряли право вмешиваться в возведение мусульманских молитвенных домов, они стали отныне гражданским объектом⁸, и под нажимом татар в 1789 году должность проповедника была упразднена⁹. Однако законы, ограничивающие число мечетей из расчета, что на количество верующих от 2 до 300 приходится одна мечеть, и запрещающие их строительство в деревнях, где проживали крещеные, независимо от их количества, по-прежнему сохранялись, несмотря на прошения татар, которые пытались отменить запреты. Наконец, если прозелитизм татар поощрялся среди языческого населения территорий, представлявших, по мнению властей империи, экономический и политический интерес, то он был решительно запрещен в Поволжье. Указы, запрещающие обращение язычника в любую другую веру, кроме христианства греческого обряда, и наказывающие виновных ссылкой, по-прежнему не были отменены. То же законодательство не давало крещеным возвращаться в прежнюю веру и вступать в межконфессиональные

браки, и оно никогда не подвергалось сомнению до 1905 года и даже — в отдельных случаях — до 1917-го, о чем свидетельствуют архивы Министерства внутренних дел¹⁰.

Вероотступничество крещеных татар

В начале XIX века потомки крещеных татар стали в массовом порядке отрекаться от православной веры, чтобы приобщиться к исламу. Эти коллективные акты вероотступничества часто повторялись: сначала в 1802–1803 годах, затем в 1827–1830-м, затем в 1858–1870-м, наконец в 1905-м. Они совпадали либо со сменой правления, либо с переписями прихожан, которые обязывали крещеных определиться перед законом либо в качестве «татар», либо «крещеных», то есть в качестве мусульман или православных христиан, либо с периодами конфликтов между Россией и Турцией.

Акты вероотступничества с каждым разом приобретали все больший размах. Первая волна поднялась в Нижегородской губернии в деревне Моклоково, в которой проживали новокрещеные татары. Вторая волна в Казанской епархии также коснулась новокрещен, но только на более обширной территории, включающей Казанскую и Симбирскую губернии, а также Уральскую область. Также начавшись в Казанской губернии, третья волна охватила приходы, которые участвовали в предыдущих актах вероотступничества, и распространилась на соседние деревни, причем впервые и на поселения старокрещеных татар, чувашей и вотяков. Четвертая волна в 1905 году коснулась не только казанских крещеных татар, но и уфимских. Все больший размах движения, эпицентр которого перемещался к востоку, в основном объяснялся подвижностью распространителей ислама — странствующих мулл, мелких торговцев и сезонных рабочих. Кроме того, в 1830–1850 годах русские широко способствовали такой подвижности, переселяя крещеных, виновных в вероотступничестве. Эти переселенцы, мученики борьбы за свою веру, становились лидерами будущих вероотступничеств и служили связующим звеном между крещеными и мусульманами¹¹.

Акты вероотступничества проходили по определенному сценарию, который напоминал утопистские или милленаристские

мусульманские движения народного типа и схему русских крестьянских бунтов. Например, перед Крымской войной, в 1865 и 1867 годах, а также около 1905 года среди самарских чувашей и черемисов из Царевококшайского уезда можно было увидеть, как бродячие суфии и муллы уговаривали жителей уехать в Турцию в ожидании дня воздаяния. Таким образом, они следовали традиции хиджры, которой дал начало Пророк, когда в 622 году противники заставили его бежать из Мекки в Медину. Они напоминали верующим об обязательстве осуществить волю Аллаха на земле — *джихад* (священную войну). Они беспрерывно провозглашали наступление конца света при полной победе ислама, страстными речами воскрешая в памяти людей пророчества *махди* (своего рода Мессии или Спасителя), который, согласно преданиям, восстановит справедливость на земле после конца света. Турецкий султан, по их словам, завладеет мусульманскими землями и восстановит Казанское ханство до пришествия Антихриста и его предания смерти Иисусом (*Гайса*). Эпидемии холеры, которые поражали Казань и Казанскую губернию в 1830, 1849 и 1853 годах, подхлестывали этот вид воззваний¹².

Среди крещеных имела хождение молва об императорском указе, который будто бы позволял им официально исповедовать ислам. Возможно, имелись в виду коронационные и прочие манифесты императоров, которые подтверждали соблюдение свободы вероисповедания своих подданных, но ни в коем случае не разрешали православным христианам становиться мусульманами. Крещеные татары иногда ссылались на законы об открытии мечетей, обращенные непосредственно к мусульманам, интерпретируя их в свою пользу, чтобы оправдать открытие тайных молитвенных домов. Возможно, также имелся в виду Указ от 20 февраля 1764 года, говорящий, что иноверец не может быть насильно обращен в христианскую веру восточного обряда¹³. Акты вероотступничества крещеных татар свидетельствовали о несостоятельности русского законодательства и его внутренней противоречивости в отношении свободы вероисповедания.

Новость об «указе» впоследствии была прокомментирована в приходах. Тогда собиралась деревенская община и в зависимости от того, насколько она была предана исламу, решала, присоединяться ли ей к другим восставшим деревням. Наиболее

убежденные подписывали прошение не о своем возвращении в ислам, но о признании их исламской самобытности, унаследованной от предков. Священники, по их мнению, ложно выдавали их за православных христиан с целью увеличения своего жалованья. Затем крещеные татары отправляли свое прошение в Петербург и за время до прибытия войска официально оформляли свои моленные дома, открывали *мектебы* (начальные духовные школы), выбирали муллу и муэдзина. Они обривали голову и надевали тюбетейку или *кяляпуш*, круглую шапочку из войлока, которую носят мужчины в знак своей принадлежности к исламу, и, наконец, собирали милостыню для самых бедных, заранее соблюдая таким образом религиозный обряд *садака*. Открытие нового культового строения и отказ от внешних признаков принадлежности к православной вере, таких как ношение пояса, длинных волос и бороды, сопровождалось также отказом платить приходские сборы и сожжением книг, написанных кириллицей¹⁴.

КОЛИЧЕСТВО ВЕРООТСТУПНИКОВ В КАЗАНСКОЙ ГУБЕРНИИ В 1901 ГОДУ

Уезд	Крещеные	Вероотступники	Мусульмане
Царевококшайский		195	29 472
Цивильский		1952	12 950
Чебоксарский		800	3040
Чистопольский	5565	8200	91 193
Казанский	1521	1541	151 576
Лаишевский	12 957	1746	63 027
Мамадышский	22 125	3515	115 050
Свияжский		6743	37 462
Спасский	1397	514	55 647
Тетюшский	5	6531	94 237
Всего	43 570	31 737	653 654

Источник: Памятная книжка Казанской губернии на 1901 год. Казань, 1901. С. 18–23¹⁵.

Народное учение Корана и методы его передачи

Подписание прошения и создание мусульманской общины в деревне стало для старокрещеных татар и коренных язычников (нетатар) последней стадией долгого процесса обращения в мусульманскую веру и возвращения к ней новокрещеных татар, которые, не

имея прочных культурных связей, могли бы окончательно потерять связь с сообществом своих предков.

Исламизация начиналась в устной форме, вокруг семейного стола, на деревенских собраниях, между родителями и детьми, старшими и младшими. Книга была в основе распространяемых рассказов. Это мог быть Коран, *хадисы* — предания, обозначающие речи и деяния Пророка, или суфийские учебники, такие как *Мухаммадия* (Книга Мухаммеда) турецкого поэта XV столетия Мухаммада Челеби¹⁶. Например, вероотступники ссылались на Коран (27:17), рассказывая, как царь Соломон победил демонов¹⁷. В дальнейшем рассказы распространялись мусульманами в местах паломничества и на кладбищах, которые были и для татар, обращенных в христианскую веру, и для татар-мусульман священными местами, которыми они пользовались сообща. Наконец, студенты духовных школ (*шакирды*) и странствующие муллы дополняли эту устную религиозную культуру и окончательно закрепляли ее, вводя в деревнях азы письменности и чтения.

Устный ислам крещеных татар

Говорить об исламе крещеных татар значит косвенно подойти к содержанию веры сельских татар Средней Волги, а также выявить защитный механизм народного ислама по отношению к православию. Татары распространяли этот ислам в устной форме. Речь шла не о том исламе, каким его преподавали учителя теологии (*мударрис*) в знаменитых медресе в Среднем Поволжье или в Бухаре и Хиве, но о том исламе, каким его представили и запомнили крещеные вероотступники. Это был ислам, четко определившийся по отношению к своему ближайшему врагу — русской православной вере.

Этот ислам был описан в записках о путешествиях, в результате случайных столкновений с ним, миссионерами, например, такими, как старокрещеный Василий Тимофеев (1836–1895), родившийся в селе Никифорово Мамадышского уезда, черемис П. Ерусланов и русские Николай Ильминский (1822–1891), Евфимий Малов (1835–1918) и Михаил Машанов (1852–1924). В сравнении с интересом миссионеров, интерес этнографов к влиянию мусульман в общине крещеных татар был ограниченным. В самом

деле, те предпочитали исследовать языческие верования, еще живущие среди крещеных. Интерес самих татар к своей национальной истории проснулся поздно, только в последней трети XIX века. Во время правления Александра II крещеные татары по-прежнему вызывали среди мусульман двойственные чувства: одни считали их вероотступниками (*муртадд*), другие возводили в ранг мучеников, но в любом случае их имплицитно полагали принадлежащими к общине Пророка (*умма*). Татары-мусульмане не пытались объяснить, почему ислам выжил среди новообращенных, несмотря на давление со стороны русских, и почему он завоевал новых обращенных среди старокрещеных татар.

Только миссионеры, находясь под угрозой мусульманского прозелитизма, чутко реагировали на различную степень исламизации крещеных и, следовательно, на распространение среди них историй религиозного характера. К сожалению, они записали лишь небольшую их часть, отбрасывая те, которые, по их мнению, противоречили логике и даже были еретическими с точки зрения как христианина, так и мусульманина. Хотя и неполные, иногда повторяющиеся и немногочисленные, свидетельства Малова или Тимофеева остаются тем не менее полезными, так как они дают нам возможность говорить об образе ислама крещеных татар. Именно по рассказам, которые миссионеры расценивали как «языческий вздор», мы восстановим этот образ, возвращаясь к его письменным корням и принимая во внимание особенности крещенской среды.

Ислам крещеных татар строился вокруг трех важных вопросов. Речь шла о Боге и его атрибутах, о Божественном Откровении и Страшном суде.

БОГ Образ Бога у крещеных вероотступников не отличался от суннитского понимания Бога, но в нем делался акцент на различиях между христианским Богом и мусульманским Богом, причем подчеркивалось милосердие Аллаха. Крещеные татары усвоили, что Бог Единствен, Всеведущ, Всемогущ. Крещеные полагали, что концепция Единства Бога, которую пытались заставить их принять православные священники, заслуживала критики. Ее сравнивали с концепцией, преобладавшей у татар, живших вокруг них, чьи толкования они приводили. Христиане верят, что Бог похож на человека телом¹⁸, что он занимает определенное пространство —

небо. Однако Бог не является частью мира сотворенных существ, ограниченных телом и пространством. Никто не может указать, где Он находится, на небе или на земле, слева или справа, объяснял один татарин из Артыка¹⁹. Бог в силу своей единственности не может иметь детей или жены, так как в этом случае речь шла бы о человеческом способе зачатия, сравнимом с происхождением богов в языческих пантеонах — так говорили крещеным татарам, ссылаясь на знаменитую суру 112 Корана. Однако Иисус (*Гайса*) отождествлялся русскими с Сыном Божиим и, что было еще более богохульным, с Богом в человеческом облики²⁰.

Миссионеры с сожалением отмечали, что крещеные приравнивали таинства Троицы и Воплощения к идолопоклонству на том же основании, что и поклонение русских кресту. Для отступников крест представлял путь, который позволил сыну Марии подняться к небу, и, по их мнению, поклонение русских кресту было нарушением первой заповеди и полностью противоречило *шахаде* «Нет божества, кроме Бога. Мухаммед — посланник божий»²¹.

Единственный Бог — это Бог, которого следует бояться. Аллах видит все, слышит все, знает все. Один сезонный портной, из семьи крещеных, рассказывал, что мулла приказал трем из своих учеников украсть курицу и отрубить ей голову так, чтобы никто их не видел. Два ученика исполнили это, в то время как третий под страхом не подчиниться мулле принес ему украденную курицу, сказав: «Я не нашел такого места (где бы мог отрубить ей голову); если из людей никто не видит, то Бог может видеть». Мулла ответил тогда: «Вот ты догадался, а те двое не знают, что Бог везде видит»²². Эта любопытная история (*хикея*), очевидно услышанная в начальной духовной школе (*мектебе*), была рассказана на местном наречии. Муллы обожали такие истории, позволявшие приобщать детей к сущности мусульманской веры.

Бог милосерден, говорили мусульмане, и не делает крещеных татар ответственными за ошибки отцов, и в случае раскаяния им обеспечено наилучшее место в Божьем доме. Кроме того, так как Бог не требовал от простых созданий больших усилий, крещеным татарам достаточно было читать *шахаду* как можно чаще: утром и перед сном, чтобы попасть прямо в рай с мусульманами²³. Уфимским черемисам, которым мусульманские молитвы были трудны для заучивания, советовалось повторять 99 раз

без перерыва на татарском языке: «Эй, Алла сакласын» («Аллах, храни нас»)⁴.

ОТКРОВЕНИЕ По словам одного старокрещеного из Елышева, Бог открывался неоднократно, в четырех божественных книгах, а именно: *Таура* (Торе, то есть Пятикнижии Моисея); *Забур* (Псалмах Давида), *Инджил* (Евангелии) и Коране⁵. Коран был предметом поклонения как для неграмотных, так и для тех, кто посещал начальную духовную школу (*мектеб*). Одна старая женщина из той же деревни была взволнована чтением второй суры Маловым. Когда миссионер заметил ей, что она ничего не понимала в арабском языке, женщина задрожала и ответила: «Возможно, это и так, но я знаю, что это Слово Корана»⁶.

Коран для крещеных татар, принявших ислам, являлся последней и самой возвышенной из божественных книг и заменял все предыдущие книги, которые, по словам татар, подделали христиане и иудеи. Таким образом, крещеные повторяли слухи, распространяемые мусульманами, согласно которым русские, например, изменили в Евангелии имена пророков Ибрагима, Исаака, Иосифа, Сулеймана, в результате чего Ибрагим стал Авраамом⁷. Эта же старая женщина спряталась за занавесью в углу избы, отведенном для женщин, когда Малов принялся читать Евангелие, переведенное Ильминским на татарский язык. Миссионерам приходилось также встречаться с людьми, владеющими русским и татарским языками, которые знали учение Корана и сравнивали Библию с мусульманскими книгами, отдавая предпочтение последним. Один крещеный татарин из Никифирово заметил Тимофееву тоном, не терпящим возражения, что в Книге Иосифа (*Юсуф китабы*), поэме татарского суфия Кол Гали (начало XIII века), состоящей из одиннадцатисложных четверостиший на тюркском языке, история Иосифа была описана более обстоятельно, чем в книге Бытия, что доказывает в его глазах превосходство Корана⁸.

Так как Бог говорил через пророков, в татарских деревнях можно было услышать и другие притчи из Корана — об Адаме, Ное, Аврааме (особенно популярной была история о жертвоприношении Ибрагима), Моисее, Ионе, Соломоне и Иисусе. Многие из них основывались на произведениях кади (судьи) Назируддина Рабгузи, родом из Хорезма, который в 1310 году закончил сборник рассказов

о Пророках по просьбе одного монгола, недавно принявшего ислам. Эти рассказы во многом напоминали чудесные писания древних народных арабских экзегетов Корана, и их с благоговением читали в начальных духовных школах (*мектебах*)²⁹. Вот почему миссионер Знаменский с грустью отмечал тот факт, что Иисус Христос был знаком старокрещеным татарам лишь как один из пророков³⁰. Действительно, иногда эти рассказы настолько укоренялись в народном сознании, что могли служить аргументом против миссионеров. Татары и вероотступники обращались, например, к истории Иосифа, чтобы осудить поклонение православных русских иконам, напоминая, что, когда Иосиф жил в Египте, жена фараона собственноручно разбила свои идолы, которые оказались неспособными дать ей любовь Иосифа. Соответственно они сделали вывод о том, что деревянные божества, т.е. иконы, никогда не придут на помощь русским³¹.

Что же касается личности Мухаммеда, наиболее просвещенные в вопросе вероотступничества крещеные татары считали его настоящим Пророком, так как он был Последним Пророком. Это значило, что его завет был совершенным и непреложным. Рожденный в Греции для одних, татарин по происхождению для других, но араб для самых просвещенных, Мухаммед воспринимался самыми преданными исламу как настоящий пророк, так как его вера была «древней». Некоторые могли указать продолжительность его жизни — 63 года, имена его отца и матери³².

Для крещеных татар, менее просвещенных в вероотступничестве, Мухаммед не считался Пророком, однако почитался как святой³³, так как неоднократно божественное Провидение являлось в его жизни. Ночное путешествие (*ал-исра*), о котором имеются многочисленные свидетельства в *хадисах*, имело самобытные продолжения в рассказах, привезенных из Уфы мамадышскими крещеными. Там сравнивались мучения Иисуса (*Гайсы*) и Мухаммеда, преследуемого и изгнанного из Мекки, и подчеркивалось, что Мухаммед, как и Иисус, вознесся на небо. Говорили, что скала, откуда он вознесся, следовала за ним в течение некоторого времени, а потом навсегда замерла и стала для всех верующих знаком вознесения Пророка. Четыре столба, отделенные от основания скалы промежутком высотой в четверть ведра, помешали ей упасть на тех, чья вера колеблется. Аллах, таким образом, оставил крещеным татарам последнюю возможность раскаяться³⁴.

Кроме «ночного путешествия», Мухаммед был героем множества других «чудесных рассказов», по-татарски *карамат* (слово арабского происхождения, обозначающее слова или действия, уместность которых такова, что они кажутся боговдохновенными). Пророк в них появляется на службе обездоленным или сомневающимся, как, например, в той истории, где Мухаммед, переполненный состраданием к голодному нищему, предлагает, чтобы он — Мухаммед — стал ему рабом, от продажи которого бедняк смог бы разбогатеть. Сделка была заключена, бедняк продает Мухаммеда и по дороге оказывается в великолепном саду, который символизировал рай. Охваченный испугом, он узнает в молящемся человеке того, которого он только что продал, и спрашивает у него: «За кого мы должны принять тебя?» Пророк отвечает словами *шахады*: «Говорите обо мне: ля иля ала, Мухамед шагид (нет Бога, как только Бог, Магомет свидетель)»⁵⁵. Поэтому с того момента, как люди начинают исповедовать ислам, нищета, убожество и рабство перестают существовать. Такие рассказы сверхъестественного характера имели своей задачей призывать нерешительных к обращению в ислам.

СТРАШНЫЙ СУД В соответствии с характером предыдущего рассказа татары повторяли крещеным татарам, что они попадут в рай, если они будут читать *шахаду*, а крещеные портные из Старой Икшурмы Мамадышского уезда перевозносили перед коренным населением из Крещонских Билятлей действенность татарских молитв по сравнению с русскими молитвами для избежания ада. Татарское учение о загробной жизни также поощряло крещеных татар к обращению в ислам, провозглашая окончательную победу ислама как достоверность. «Пред кончиной мира», говорила одна крещеная учительница (*абыстай*) тайной «коранической» школы, «все люди сделаются мусульманами». А старокрещеные татары из Елышева знали мессианическое предание о Махди (Спасителе), согласно которому Иисус (*Гайса*) вернется на землю и будет счастливо жить 40 лет до конца света. Так, крещеный портной, основываясь на суфийской книге *Ахыр заман китабы* (Книга конца света, XII век?), утверждал, что Мухаммед и Иисус (*Гайса*) должны находиться на одном уровне, поскольку верующие будут вынуждены прославлять их обоих, чтобы избежать мук ада⁵⁶.

Что касается идеи о вознаграждении или наказании на том свете, крещеные татары усвоили, что грехи будут прощены тем, кто станет мусульманином, и тем, кто уйдет из земной жизни преждевременно по Божьему Провидению, как, например, умершие при родах женщины, погибшие от удара молнии или утопленники⁷. Но, говоря о вероисповедании русских, крещеный портной замечал, что отпущение грехов может быть получено и у татар. Так, тот, кто хотел освободиться от греха, должен был сознаться в его совершении перед свидетелем, предлагая лошадь или корову тому, кто поклянется взять на себя ответственность за него на том свете. Этот рассказ, несмотря на всю его странность и толкование, на первый взгляд противоположное Корану, подчеркивает понятие искупления — понятие, тесно связанное с милосердием Аллаха и особенно стойкое в татарском прозелитизме в отношении крещеных татар⁸.

Именно при упоминании Апокалипсиса проявляется превосходство завета Мухаммеда. «В день страшного суда будет величайший жар, солнце станет нестерпимо жечь. Тогда наш пост, как тень от дуба, будет закрывать нас от жара и прохлаждать», — говорила одна татарка Тимофееву. Другие шли еще дальше, вспоминая о том, что по этому поводу говорилось в мусульманских книгах. Так, один мусульманин мог бросить в ад двух неверных, но, если обнаруживалось, что один из них был другом мусульманина, ангелы смогут спасти его при условии, что мусульманин попросит за него. Здесь необходимо заметить, что только ислам признается религией на Божьем суде, но на основе других рассказов о загробной жизни, ценимых крещеными татарами, можно утверждать, что понятие искупления остается⁹.

Святые места

Распространение мусульманских преданий было не единственной заботой священников и миссионеров, которые также отмечали посещение мусульманских святых мест крещеными татарами. Почти все татарские деревни, и особенно самые древние, располагали могилами одного, двух, иногда трех мусульманских святых. Это могли быть обыкновенный надгробный камень с надписью времен

Волжской Булгарии или Казанского ханства, кладбище, источник, сочащийся или бьющий из земляного пригорка, курган или ров, свидетельствующие о существовании древних поселений, городов или крепостей, стертых с лица земли походами Тамерлана или Ивана Грозного. Эти места привлекали множество татарских паломников и обращенных в мусульманскую веру коренных жителей Казани и соседних уездов. Нередко карта святых мест в Татарском крае совпадала с картой археологов, разыскивающих останки древних городов Булгарского и Казанского царств⁴⁰. Эти святые места служили местом встречи распространителей мусульманской веры и язычников из окрестностей.

Когда археологи и миссионеры расспрашивали крещеных о происхождении святых мест, те часто ссылались не на крещенские, а на татарские предания, даже если эти места были предметом поклонения до распространения ислама, как это часто случалось. Например, старокрещеные татары села Владимирово Мамадышского уезда, которые поклонялись источнику «святой воды» в окрестностях, объясняли священное происхождение этого места, рассказывая, что в момент Сотворения мира Аллах создал воду, которая давала человеку вечную жизнь, но человек был обречен умирать потому, что *Иблис* — дьявол — попробовал ее до него⁴¹.

Крещеных татар и мусульман объединяли не только общие космогонические рассказы, но и историческое наследие, как, например, рассказ о насильном обращении в христианство Тубылгы-тау (по-русски Верхней Никиткиной) в Чистопольском уезде или же история *ишана*, главы одного суфийского братства, умершего в бою с неверными. Прийти к могиле мусульманского святого означало для них вновь пройти по старым дорогам Булгарии или Казанского ханства, снова стать хозяевами территорий, которых они лишились во время русского завоевания. Так, в 1870 году старокрещеные татары, жившие в деревне Ташкирмень (Каменная крепость) Лаишевского уезда, присоединились к паломникам татарам-мусульманам родом из Казани, чтобы попытаться остановить раскопки на древнем кладбище, где покоились останки одного мусульманского святого⁴².

Мусульмане получили обратно большинство святых мест, которые первоначально представляли собой центры языческого

поклонения, и определенное количество паломников среди крещеных татар и чувашей признавали их право на эти места. Так, на «горе *худжей*», то есть «горе знатоков исламского учения» рядом с Бильярском в Чистопольском уезде крещеные татары и чувашаи передавали свои подношения муллам, которые служили им посредниками⁴³. Также можно было увидеть в Мамадышском уезде крещеных татар, которые соблюдали христианский пост и посещали церковь, но при этом регулярно приносили дары на могилу *хальфы* (мусульманского учителя, просвещенного человека), умершего 150 лет назад недалеко от деревни Чаллы⁴⁴.

Татары-мусульмане и крещеные поклонялись одним святым. Если обратиться к преданиям, которые окружали могилы самых известных из них, то это были ученые или отшельники, деяния которых говорили о высокой духовности, а сверхъестественные способности которых продолжали существовать после их кончины. Это также могли быть мученики веры, убитые неверными незадолго до или во время взятия Казани, чья смерть была отмечена необыкновенными особенностями. Способности предвидения и излечения, которыми их наделяли, предполагали существование сверхъестественного знания, хранителями которого они являлись и которое они передавали своим ученикам. Таков случай Насреддина в легенде, рассказываемой крещеными татарами из Тавелей Чистопольского уезда, или случай *хальфы* (учителя) из Чаллы. Согласно исламской теологии, святой является пассивным посредником Бога, чудеса — это проявление Божественной силы, а не творение святого. Крещеные татары, мало знавшие ислам, поклонялись святому так же, как и умершим предкам. Они приносили ему пожертвования, чтобы защитить свои семьи от болезней и неурожаяев, которые могли им угрожать в случае пренебрежения или забвения святого.

Несмотря на эти различия восприятия, святые места, которые посещали крещеные татары, служили местом встречи между распространителями мусульманской веры и язычниками. Но особенно из-за того, что они разделяли общие с другими народами Средней Волги историю и космологию, татарские мусульмане, представляемые муллами или наследниками святого, пользовались большей властью над местами паломничества, чем сама Православная церковь.

Письменные основы народного ислама

Исламская письменная культура, начавшись с надгробных надписей, продолжилась распространением муллами талисманов, содержащих строфы из Корана, и продажей святых изображений на городском рынке. Представленные в виде иллюстраций к текстам, написанным на арабском языке (самой распространенной был камень Кааба), они находили свое место в домах вероотступников Казанской губернии⁴⁵. Мулла из дер. Бягитонова, уважаемый в Уфимской губернии за святость и целительские способности, снабжал черемисов из двух волостей, Усы-Степановской и Мшикинской, сокращенными сурами и молитвами о защите от злых духов, взятыми также из Корана⁴⁶. Наконец, у некоторых крещеных татар были дома мусульманские книги⁴⁷, а те, у кого их не было, приводили из них выдержки, чтобы дать основание преданиям, которые они рассказывали. Мусульманская книга также присутствовала в погребальных обрядах крещеных татар, когда, исполняя желание некоторых семей, мулла или просвещенный крещеный отваживался тайком прочесть *Ясин*, 36-ю суру Корана.

Сложно определить дату начала распространения мусульманских книг в христианской среде. Однако возраст первого лидера вероотступников, Василия Естифеева, знавшего арабский и персидский языки, которому было в 1803 году 23 года, показывает, что крещеные татары имели доступ в мусульманскую школу даже до появления азиатской типографии в Казани в 1802 году, в то время, когда в школах еще пользовались рукописными изданиями, привезенными из Средней Азии торговцами⁴⁸. По мнению миссионеров, типография сделала доступ к татарской литературе еще более легким и способствовала татарскому прозелитизму среди крещеных татар, тем более что цена на книгу была незначительной: Коран продавался по цене от 75 копеек до рубля⁴⁹. Статистические данные подтверждают это мнение. В 1802 году мусульманский букварь Шараиту'ль-иман (Условия веры), обычно называемый на татарском языке *Иман Шарты* (Основы веры), был напечатан тиражом в 11 000 экземпляров, в 1806 году их было 19 000, а между 1855–1864 годами — 147 000. Также в 1802 году вышла *Гафтияк* (7-я часть Корана) в количестве 7000 экземпляров, в 1806-м — в количестве 3000, в 1846-м — в количестве 4000, в 1847-м — 5400 и, на-

конец, между 1855–1866 годами — в количестве 70 000 экземпляров. Другая книга, след которой был найден у крещеных татар, — это история Иосифа (*Юсуф китабы*), издававшаяся очень часто, вышла тиражом 21 000 экземпляров между 1854–1864 годами⁹⁰.

Иман Шарты был первой книгой для чтения у татарских детей и крещеных вероотступников, которую разработал, по мнению татарского энциклопедиста Каюма Насыри (1825–1902), муллы Ишнияз родом из Хорезма, который поселился в Каргале в 1776 году⁹¹. Целью этого учебника, кроме обучения чтению, что было сложно сделать на основе Корана, было распространение среди народа знаний, внушение детям на понятном языке, то есть литературном языке эпохи, заповедей веры, необходимых для личной и общинной жизни мусульманского верующего. Автор приводил, например, молитву на чагатайском (одном из тюркских) языке для тех, кто погребал близкого и испытывал трудности в прочтении *Ясин*. Основы веры были написаны на тюркском языке в форме диалога, с последующим кратким изложением в стихах, и включали список четырех юридических школ, имена пророков и святого суфия Ахмада Ясави, умершего в 1166 году⁹². Что касается отрывков на арабском языке, нужно заметить, что в татарских деревнях ходили рукописи с тесно переплетающимися переводом и оригинальным текстом⁹³.

Юсуф китабы, написанная также на тюркском языке, принадлежала перу татарского поэта Кол Гали, который брал за образец произведения Абу Хамид ал-Газали (1059–1111), Ясави⁹⁴ и его ученика Хаким Аты, более известного среди татар под именем Сулейман Бакырганный (умер в 1186 году). Сюжеты книги, простые и непосредственные, делали упор на веру в Единственного Бога, на борьбу с многобожием, чудеса, сотворенные пророком Иосифом, и прощение на примере самого Иосифа, который простил своих братьев, продавших его в рабство. Поэма завершалась рассказом о чудесах, которые окружали могилу Иосифа⁹⁵. Крещеные вероотступники находили в этой книге соответствующее их потребностям учение, которое они легко усваивали, как мы увидели это ранее.

Часто издавалось и другое произведение, отрывки из которого передавались устно и которое вызвало движение вероотступничества. Речь идет об *Ахырзаман китабы* — Книге конца света — пророческой поэме Хакима Аты, предвещающей пришествие

Махди (Спасителя) и настаивавшей на превосходстве Мухаммеда над другими пророками и превосходстве мусульман над другими верующими. Хаким Ата провозглашал в ней свое убеждение, что все мусульмане, в том числе самые презренные, которые не следовали всем заповедям Аллаха, будут спасены⁵⁶. Однако, по мнению специалиста по исламу Луи Гарде, преобладающее мнение среди мусульман гласило, что для них предусмотрено временное пребывание в аду⁵⁷. Расходясь с правилом, Хаким Ата учитывал тот факт, что среди обращенных в исламскую веру были те, кто оставался еще привязан к вере своих предков. И уровень их исламизации, следовательно, был различным. Подобное расхождение способствовало новым обращениям в ислам среди крещеных и язычников.

Во время коротких перерывов между выучиванием наизусть молитв на арабском языке в тайных начальных духовных школах (*мектебах*)⁵⁸ учитель — крещеный или татарин, мужчина или женщина — брали из этих книг, написанных на чагатайском языке, притчи или басни, чтобы дать детям уроки религиозного и нравственного воспитания. Учитель заменял архаичный язык, рассказывая детям на их родном языке (чагатайский язык несколько отличался от местного татарского наречия), а те, в свою очередь, повторяли их родителям, возвращаясь домой, что способствовало закреплению учения Корана.

Наконец, переход от письменной культуры к устной был облегчен тем, что суфийские книги часто распевались во время народных праздников, которые собирали несколько деревень. Религиозные песнопения, например *мунаджат*, непосредственно брали за образец и составляли основной репертуар бродячих суфиев, который крещеные татары и татары-мусульмане могли выучить наизусть, даже не умея читать⁵⁹. Позднее, в конце XIX и начале XX века, джадидские студенты и интеллигенция насмехались над традиционными школами и суфийскими учебниками, повторяя их шаблонные припевы⁶⁰.

Эти произведения в самом деле содержали элементы, которые с ортодоксальной точки зрения не всегда соответствовали Корану и, следовательно, давали повод для критики. Они подвергались сомнению татарскими реформистами за то, что питали веру в чудеса, которые окружали могилы святых. В одной аллегорической сказке энциклопедист и педагог Насыри напоминал, например,

своим читателям, что вера не нуждается в подпитывании таким родом доказательств. Кади Ризаэтдин Фахретдин (1858–1936), ставший главным редактором джадидской газеты «Совет» («*Шура*»), в свою очередь, опасался, что в сознании народа постепенно сотрется различие между чудом, сотворенным Богом, и чудом, ошибочно приписываемым пророку или святому из-за того, что они обладают незаурядными качествами. Несмотря на эту критику, суфийские книги, как мы это увидели, служили своему предназначению, завоевывая новых обращенных и вводя первые элементарные понятия в чтении на тюркском языке⁶¹.

Представители народного ислама

Основными участниками вероотступничеств среди крещеных татар были сезонные рабочие, в частности портные, а также ссыльные, наказанные за нарушение закона, касающегося вероотступничеств.

Хотя миссионерские источники склонны излишне связывать любую форму торможения распространения православной религии скорее с экономическими факторами, нежели чем с религиозными, объясняя, например, случай старообрядцев, протестантов и католиков, тем не менее экономические интересы сыгнали первостепенную роль в распространении ислама среди коренного населения Средней Волги и Южного Урала.

За исключением крещеных купцов из Буинска, крещеные, симпатизирующие мусульманской вере, были в большей части государственными крестьянами. Из-за низкой урожайности земель большое число их покидало свои села в качестве сезонных рабочих на «мертвый сезон» — осень и зиму — и возвращалось на весенние работы и на жатву. Продолжительность отсутствия в каждом конкретном случае могла варьироваться от двух до семи месяцев. Большинство среди них составляли портные. Они отправлялись по двое, хозяин и подмастерье, деревенский ребенок в возрасте от 9 до 14 лет, уже способный работать, присутствие которого дома не было необходимым. В путь отправлялись иногда на лошади, но чаще всего пешком. Найдя место, портные оставались у нанимателя до тех пор, пока заказ не выполнялся. Плата была сдельная или,

реже, поденная. В среднем оба ремесленника зарабатывали вместе до 5 рублей в месяц, что составляло от 15 до 25 рублей с октября по март и равнялось средней стоимости коровы или лошади⁶². Если семья была большой, она легко могла рассчитывать на 3–4 заработка и тем самым повысить свой доход.

Если не считать некоторых различий, одежда, которую носили крещеные татары, была похожа на одежду татар. Это шуба — верхняя одежда, которую в основном носили женщины (разновидность верхнего платья с длинными рукавами, прямой спиной и узким воротником), казакин — верхняя мужская одежда (разновидность очень длинного камзола с рукавами), и, наконец, шубы, отороченные каракулем (*тун*), с прямой спиной, и бешметы — зимняя одежда, тулупы, которые имели похожий крой. Крещеным понадобилось мало времени, чтобы привыкнуть к более широким и длинным мужским рубашкам и изготовить тюбетейки⁶³.

Крещеным татарам казалось естественным наниматься на службу к татарам-мусульманам из Казани, Уфы, Мензелинска, Оренбурга, тем более что они разговаривали на одном языке, а татары не занимались этой работой, предпочитая мелкую торговлю. Чтобы иметь доступ к татарскому рынку, портные покидали свою родную деревню уже в узнаваемой тюбетейке, с бритой наголо головой и в одежде без пояса, и после того как их приняли на работу, они подчинялись правилам жизни мастерской или принимающей их семьи. Они умывались перед молитвой, молились пять раз в день, соблюдали Рамадан и, в случае необходимости, посещали мечеть. В течение долгих часов работы взрослый и подмастерье постепенно усваивали рассказы и предания о Пророке. Ребенок даже посещал начальную духовную школу (*мектеб*), чтобы обеспечить себе заработок на будущее⁶⁴.

Многих крещеных татар нанимали муллы и даже муфтий, который в России был главой мусульманской общины. Они нанимались также на службу к таким значительным татарским предпринимателям, как купец Мусяев в Касимове и братья Рамиевы, держатели золотых приисков⁶⁵.

Разбогатец, сезонные портные в свою очередь могли открывать собственную лавку и нанимать своих односельчан, как, например, Михаил Матвеев из Елышева⁶⁶. Так как в этом случае возможность их улучшить свою жизнь в будущем была более

надежной, чем с помощью только работы на земле, они быстро образовывали особую группу достаточно зажиточных людей в своей родной деревне. Их связи за пределами деревни расширяли не только их экономические, но и культурные перспективы. В основном именно они передавали рассказы суфиев. Носители нового учения, они были живым доказательством его действенности, так как их семьи ни в чем не нуждались.

В целом, чем большим становилось количество этих портных, тем большей была возможность обращения деревни в ислам. Так, старокрещенные деревни Мамадышского и Лаишевского уездов, затронутые в первый раз вероотступническим движением в 1866 году, были территориями, на которых проживало большое количество портных. Таков был случай, например, Елышевской волости, где 16 деревень из 21 были вовлечены в сезонные переезды, коснувшиеся в некоторых из этих деревень почти половины жителей. Показательным был случай волости Кибяк-Кози Лаишевского уезда, которая насчитывала наибольшую долю портных — 1122 человека. Тамошние крестьяне проявили себя более настойчиво в своем стремлении сменить веру, чем жители соседних деревень. Так, в отличие от Елышева, Кибяк-Кози отказалась вернуться в лоно Православной церкви, несмотря на вмешательство вице-губернатора и войск в июне 1866 года⁶⁷.

Сезонные портные, которые были среди лидеров крещеных вероотступничеств, пользовались тем, что они хорошо знали местность, чтобы ускользнуть от полиции. Некоторые вероотступники, высланные в 1837 году, предстали перед священником своего нового прихода лишь в 1846-м, а многие так и не отправились на место ссылки. Так, например, случилось с переселенцами в Спасский уезд в 1843, 1849, 1856 годах. Другие же появлялись в деревнях, где им было определено место жительства, оставались там лишь на непродолжительное время и вновь исчезали в неизвестном направлении. Они не обрабатывали землю, которая им была предоставлена, и отказывались пользоваться общинным сеном. Например, Ивановы, которые были переселены из Алмурзины Спасского уезда в поселок Тоябу Тетюшского уезда, ограничивались появлением в поселке только для того, чтобы уплатить подати и получить выходные паспорта, а затем заняться своими делами. В поселке у них не было родственников, и они не занимались там своим домом⁶⁸.

Джыены, которые были другим путем распространения исламского учения, внешне проявлялись как народные татарские праздники, которые родственники и близкие друзья отмечали вместе перед жатвой, на протяжении четырех — семи недель в конце мая — начале июня. Деревня, которая принадлежала определенному округу *джыен*, принимала гостей в течение трех или четырех дней, с пятницы, затем ее сменяла другая деревня, принадлежавшая этому же округу. *Джыены* были возможностью для молодых татар встретиться с целью объявления помолвки, нормы здесь были менее строгими, чем в обычной жизни, и способствовали заключению браков между семьями. Кроме того, это был повод для торговли, танцев, рассказов эпических и религиозных поэм⁶⁹.

Согласно интерпретации советских антропологов Н.И. Воробьева и Г.М. Хисамутдинова, *джыены* соответствовали первым территориальным делениям Булгарской эпохи в X веке. Чем ближе мы подходим к центру округа *джыен*, тем древнее встречающиеся там археологические следы, такие как кладбища, которые были предметом местного паломничества и служили местом встречи кряшен и татар. Однако с 1839 по 1849 год Министерство внутренних дел и Святейший Синод, надеясь изолировать вероотступников из мусульманской среды, выслали их в русское село Благовещенское, известное у татар под названием *Омара*, которое было центром округа *джыен*. Таким образом, сосланные оказались в сердце крупного экономического округа татар-мусульман. Спустя поколение, во время вероотступничества 1865–1867 годов, татары-мусульмане воспользовались этим путем, чтобы распространять новости, касающиеся вероотступничества новокрещеных из Чистополя среди старокрещеных Мамадышского уезда, которые, ободренные слухами, в первый раз отказались от своей принадлежности к Православной церкви⁷⁰.

Заключение

Несмотря на свой динамизм, народный ислам ставился под сомнение джадидами, которые разделяли мнение православных миссионеров, приравнивая его к суевериям. Но главным образом считалось, что он является причиной исламофобии западных народов

того времени, в нем не признавали ни выражения настоящих законов исламской жизни, обусловленных религиозным окружением волжских деревень, ни основного средства обучения грамотности в татарских и языческих поселениях.

Однако народный ислам, в том виде, в каком он появился в среде крещеных и татарских крестьян, выражал на своем собственном языке жизненную сущность завета Корана, определившись по отношению к языческой культуре волжских народов, а также в силу своих связей с православным христианством. Учение, которое он нес, отражало такую же иерархию знаний, что и у обычных мулл до начала реформистского движения. Совсем как шакирды в медресе, будущие вдохновители крещеных вероотступничеств постепенно овладевали различными уровнями знаний: от устного к письменному, от Корана и суфийских книг, которые читались вслух или рассказывались наизусть, к чтению и толкованию священных текстов с помощью *тафсир* (комментариев).

Пропитанные языческой культурой, они придавали предписаниям Корана магический характер. Муллы, впрочем, поощряли такой способ толкования, также приписывая стихам Корана чудотворные свойства. Татары-христиане, как и татары-мусульмане, живущие по соседству, искали посредничества *ишанов* и умерших святых мусульман, чтобы снискать помощь и защиту Аллаха.

Религиозные чувства вероотступников были похожи на чувства татар-мусульман и вдохновлялись тем же магическим исламом, являющимся посредником между Аллахом и людьми, общающимся к таинствам, написанным аллегорическим языком, испытывавшим глубокое влияние суфизма и язычества. С 1860 года русские миссионеры, поняв, что народный ислам тормозит распространение православной веры среди коренного населения, стали высказываться против него, руководствуясь аргументами рационального характера. Так, путешествуя по Средней Волге, они доказывали крещеным татарам, что татары-мусульмане приписывали Корану *хадисы* сомнительного происхождения или связывали его с суевериями доисламского периода. Эти ошибки, заключали они, связаны с тем, что Коран был написан на чужом для татар языке, в то время как Библия уже была доступна, по крайней мере частично, на местном татарском (кряшенском) наречии.

В этой борьбе за завоевание душ свою западную концепцию воспитания миссионеры противопоставили обучению, которое они считали механическим, заключающимся в повторении священных текстов традиционного ислама. Они сделали ставку на три школьных приема, не применяемых в начальных духовных школах (*мектебах*): фонетическое обучение чтению на народном татарском языке; мгновенное понимание прочитанного текста; одновременный перевод православных книг. Возникал новый вид местного христианского учения, которое могло вызвать появление верующих, осознанно подходящих к своей вере, способных ее защитить и понятным языком объяснить ее своей семье, соседям — но и ее хулителям. Татарское сопротивление этой новой форме прозелитизма осуществлялось джадидами, которые, со своей стороны, добивались распространения ясного, понятного учения Корана, критикуя в первую очередь магический характер того ислама, который руководил вероотступничествами, и беря за образец западные методы воспитания.

Примечания

1 *Nolde B.* La formation de l'Empire russe. Paris: Institut d'Etudes slaves, 1952. Vol. I. P. 118; *Баязитова Ф.С.* Говоры татар-крещен в сравнительном освещении. М.: Наука, 1986. С. 15–16.

2 *Малов Е.* О Новокрещенской конторе // Православный собеседник. 1878. 12 декабря. № 24. С. 46.

3 *Можаровский А.Ф.* Изложение хода миссионерского дела по просвещению казанских инородцев с 1552 по 1867 годы // Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских. 1880. Т. 1. С. 26–27.

4 См. гл. 22, ст. 24 Соборного уложения: Соборное уложение 1649 года / Под ред. М.Н. Тихомирова, П.П. Епифанова. М., 1961. С. 291.

5 *Малов Е.* Указ. соч. С. 107.

6 Полное собрание законов Российской империи [далее — ПСЗ]. Т. 11. № 8664. С. 719–720; Татары Среднего Поволжья и Приуралья. М.: Наука, 1967. С. 376.

7 *Lemercier-Quelquejay C.* Les missions orthodoxes en pays musulmans de Moyenne et Basse-Volga, 1552–1865 // Cahiers du Monde russe et soviétique [далее — CMRS]. 1967. Vol. VIII. № 3. P. 369–403.

8 Указ от 17 июня 1773 года // ПСЗ. Т. 19. № 13 996. С. 775–776.

9 *Малов Е.* Православная противомусульманская миссия в Казанском крае в связи с историей мусульманства в первой половине XIX-ого века // Православный собеседник. 1870. Т. 16. Ч. 2. № 5. С. 234.

10 О предупреждении и пресечении отступления от православной веры // Свод законов Российской империи. СПб.: Тип. Второго отделения Собственной его Императорского величества Канцелярии, 1857. Т. 14. Гл. 3. Разд. 1. Ст. 47–54. С. 11–12 (отступления от православной веры в общем); Разд. 2. Ст. 55–59. С. 12–13 (отступничество от православной веры в язычество, ислам, иудаизм); *Палибин М.Н.* Устав Духовных консисторий. СПб., 1900. С. 23–30; Российский государственный исторический архив [далее – РГИА]. Ф. 821. Оп. 133. Д. 454. Ч. I. Л. 6–13, 155–163; Д. 455. Ч. II. Л. 1–308 (не принятые ходатайства старокрещеных татар и чувашей за 1908–1913 годы; их случай усугублялся тем, что их предки не были по происхождению мусульманами).

11 Там же. Д. 454. Ч. I. Л. 298–302 об.; Опыты переложения христианских вероучительных книг на татарский и другие инородческие языки в начале текущего столетия: Материал для истории православного русского миссионерства. Казань: Тип. Императорского университета, 1883. С. 15; *Малов Е.* Православная противомусульманская миссия в Казанском крае // Православный собеседник. 1868. № 8. С. 325–327, 338; *Можаровский А.Е.* Указ. соч. С. 116; Отпадения из православия в магометанство и их причины // Православный благовестник. 1908. Т. 2. Кн. 2. 16 августа. С. 314.

12 *Лантев.* Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами Генерального штаба: Казанская губерния. СПб.: Военная типография, 1861. С. 232; *Иванов А.* Отступническое движение крещеных и некрещеных чувашей Самарской губернии в магометанство: Деревня Алексеевка Бугульминского уезда // Православный благовестник. 1914. № 1. С. 151; *Багин С.* Об отпадении в магометанство крещеных инородцев Казанской епархии и о причине этого печального явления // Православный собеседник. 1910. Т. 56. № 2. С. 227; Приволжские города и селения в Казанской губернии. Казань: Тип. Губернского правления, 1892. С. 132–133.

13 ПСЗ. Т. 16. № 12 126. С. 704–707; *Можаровский А.Ф.* Указ. соч. С. 125–126; *Малов Е.* Православная противомусульманская миссия в Казанском крае // Православный собеседник. 1869. Т. 10. Ч. I. С. 151–154; Представление исправлявшего должность Казанского губернатора, вице-губернатора Е.А. Розова от 5 декабря 1866 года за № 5505 // Казанская центральная крещено-татарская школа: Материалы для истории христианского просвещения крещеных татар / Под ред. Н.И. Ильминского. Казань: Тип. В.М.Ключникова, 1887. С. 291.

14 См., например, о кряшенской деревне Елышеве в Мамадышском уезде (Казанская губерния): *Малов Е.* Очерк религиозного состояния крещеных татар, подвергшихся влиянию магометанства: Миссионерский дневник // Православный собеседник. 1871. Т. 17. № 11. С. 234–255; № 12. С. 397–418; 1872. Т. 18. № 1. С. 62–78; № 2. С. 124–139; № 3. С. 237–250; № 4. С. 377–405; № 5. С. 38–78.

15 Что касается 1860-х годов, можно привлечь к рассмотрению следующую таблицу: *Saussay J. L'apostasie des Tatars christianisés en 1866 // CMRS. 1968. Vol. XIX. № 1. P. 22.*

16 Эти суфийские книги включали также Фазаилеш-шохур (Характеристики месяцев) муллы из Мамадыша, Джамалетдина Бикташи (впервые опубликовано в 1854 году); Бакырган китабы (Книга Бакыргана), антология суфийской поэзии Хакима Аты (умер в 1186 году), ученика святого суфия Ясави; Бадавам шариф китабы (Священная книга Бадавам) неизвестного автора (X век?).

17 Малов Е. Очерк религиозного состояния крещеных татар // Православный собеседник. 1871. № 11. С. 241.

18 Инверсия строки из Книги Бытия, где говорится, что человек был создан «по образу и подобию Божию».

19 Тимофеев В. Дневник старокрещеного татарина // Казанская центральная крещено-татарская школа... С. 52.

20 Знаменский П.Б. Казанские татары // Живописная Россия: Отечество наше в его земельном, историческом, племенном, экономическом и бытовом значении. Т. 8: Среднее Поволжье и Приуральский край. Ч. 1: Среднее Поволжье. СПб.; М.: Изд-во Товарищества М.О. Вольф, 1910. С. 140.

21 Малов Е. Очерк религиозного состояния крещеных татар // Православный собеседник. 1872. Т. 18. № 5. С. 42; Тимофеев В. Указ. соч. С. 58.

22 Казанская центральная крещено-татарская школа... С. 132.

23 Там же. С. 39.

24 Ерусланов П. Магометанская пропаганда среди черемис Уфимской губернии. (Из личных наблюдений) // Православный благовестник. 1895. Т. IX. № 18. С. 87. В тексте Ерусланова указано: 96 раз, но, очевидно, это ошибка. Молитвы, которые татары предлагали черемисам, состояли из 99 частей, которые соответствуют 99 именам Аллаха. Кроме того, постоянное повторение одной и той же короткой молитвы напоминает вокальную технику, которая используется суфийскими братствами во время совместных молитв (зикр). См.: *Bennigsen A., Lemerrier-Quelquejay C. Le soufi et le commissaire: les confréries musulmanes en URSS. Paris: Seuil, 1986. P. 135–136.*

25 Малов Е. Очерк религиозного состояния крещеных татар // Православный собеседник. 1871. № 12. С. 412.

26 Там же. 1872. № 1. С. 75.

27 Там же. № 5. С. 42.

28 Тимофеев В. Указ. соч. С. 72; Кол Гали. Юсуф китабы [Рассказ об Иосифе]. Казань, 1880.

29 Речь идет о Кыйссассу 'л-анбия [Рассказы Пророков]. См.: *Bombaci A. Histoire de la littérature turque. Paris, C. Klincksieck, 1968. P. 93.*

Выдержки из них можно найти в след. изд.: *Катанов Н.Ф.* Мусульманские легенды: Тексты и переводы. СПб.: Тип. Императорской Академии наук, 1894; *Остроумов Н.* Критический разбор Мухамеданского учения о пророках // Миссионерский противомусульманский сборник. Казань: Университетская типография, 1874. Т. IV. С. 67–195.

30 *Знаменский П.Б.* Указ. соч.

31 *Кол Гали.* Указ. соч. С. 47; *Тимофеев В.* Указ. соч. С. 59.

32 *Малов Е.* Очерк религиозного состояния крещеных татар // Православный собеседник. 1871. № 12. С. 412; 1872. № 1. С. 67; № 5. С. 44–45; *Тимофеев В.* Указ. соч. С. 45.

33 *Знаменский П.Б.* Указ. соч.

34 *Малов Е.* Очерк религиозного состояния крещеных татар // Православный собеседник. 1872. № 1. С. 67. В преданиях ал-Бухари не найдено ни одного упоминания этого эпизода (*Houdas Q., Marcais W.* ElBokhari: Les traditions islamiques, traduites de l'arabe avec notes et index. Paris: Imprimerie Nationale, 1903–1914. Vol. 1–4); то же у Муслима, если обратиться к рассказам Мухамеда Хамидуллы, которые основывались на собрании последнего и на Коране (*Le prophète de l'Islam.* Paris, 1959. Vol. 1. P. 92–95). Тем не менее эта легенда могла, вероятно, быть связанной с Каабой, черным камнем из Мекки. По словам крещеных татар из Мамадыша, Кааба – камень, висящий в воздухе. Бог помешал ему упасть на верующих. См.: *Машанов М.* Заметка о религиозно-нравственном состоянии крещеных татар Казанской губернии Мамадышского уезда // Известия по Казанской епархии. 1875. 1 января. № 1. С. 27. Речь может идти о шакра, или камне Иакова в Иерусалимском храме. На него, по мусульманским преданиям, опирается лестница из света, которая ведет на первое небо и по которой Мухаммед поднялся во время своего ночного путешествия. См.: *Малов Е.* Ночное путешествие Мухаммеда в храм Иерусалимский и на небо // Миссионерский противомусульманский сборник. Казань, 1876. Т. XII. С. 9–10.

35 *Тимофеев В.* Указ. соч. С. 68–69.

36 Там же. С. 39, 50, 75, 157; *Хаким Ата [Сулейман Бакырганы]*. Ахыр заман китабы. Казань: Тип. Казанского ун-та, 1847.

37 *Малов Е.* Очерк религиозного состояния крещеных татар // Православный собеседник. 1872. № 5. С. 65–66.

38 *Тимофеев В.* Указ. соч. С. 157. Этот рассказ несомненно противоречит писанию Корана, который отрицает любое заступничество, не отвергая все же молитву за умерших: «Родитель не возместит за ребенка, и рожденный не возместит ничем за своего родителя» (*Coran*, XXXI, 33 / Trad. D. Masson. Paris, 1967. P. 509 [Коран / Пер. и коммент. И.Ю. Крачковского; 2-е изд. М.: Наука, Гл. ред. восточной лит-ры, 1990. С. 340]). Возможно, этот крещеный татарин во время своих странствий присутствовал

на татарских похоронах, где за каждую молитву, которой в течение жизни пренебрегал умерший, семья дает мулле вознаграждение, чтобы тот прочел молитвы, предназначенные для того, чтобы облегчить наказание умершего на том свете. (Этот ритуал называется *фидиа*, что на арабском языке означает «искупить», «заплатить выкуп».) См.: *Коблов Я.Д.* Религиозные обряды и обычаи татар-магометан // Известия Общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете. 1909. Т. 24. № 6. С. 552–553; однако это не объясняет искупления грехов среди живых.

39 *Тимофеев В.* Указ. соч. С. 55, 57.

40 *Шпилевский С.М.* Древние города и другие болгарско-татарские памятники в Казанской губернии. Казань: Унив. тип., 1877.

41 *Тимофеев В.* Указ. соч. С. 143–146.

42 *Износков И.А.* Материалы для истории христианского просвещения инородцев Казанского края // Православный благовестник. 1893. Т. 4. Кн. 2. С. 35–36.

43 *Софийский И.М.* О киреметях крещеных татар из деревни Тавель, Чистопольского уезда Казанской губернии // Труды Четвертого археологического съезда в России. Казань: Тип. Казанск. ун-та, 1891. Т. 2. С. 73–75.

44 *Чичерина С.* У приволжских инородцев: Путевые заметки. СПб.: Тип. В.Я. Мильштейна, 1905. С. 107.

45 Там же. С. 155.

46 *Ерусланов П.* Указ. соч. С. 83.

47 РГИА. Ф. 821. Оп. 8. Д. 763. Л. 59 об.

48 *Рыбаков С.* Отпадение крещеных инородцев в ислам и их просвещение // Православный благовестник. 1899. Т. 2. Кн. 2. 14 июля. С. 243.

49 Материалы по истории Татарии второй половины XIX века: Аграрный вопрос и крестьянское движение в Татарии XIX века. М.; Л.: Изд. АН СССР, 1936. С. 223.

50 Ерусланов дает более полный список мусульманских книг в среде язычников и крещеных (*Ерусланов П.* Указ. соч. С. 276). Статистические данные взяты у Ильминского: *Ильминский Н.И.* О количестве печатаемых в Казани магометанских книг и о школе для детей крещеных татар // Казанская центральная крещено-татарская школа. С. 113–114; и у Малова: *Малов Е.* Православная противомусульманская миссия в Казанском крае // Православный собеседник. 1868. Т. 14. Ч. 2. № 7. С. 230, 232, 242–244, 246–249, 250–253.

51 *Малов Е.* Мухаммеданский букварь. Казань: Типо-литография Императорского университета, 1894. С. 21.

52 *Шарайту'ль-иман.* Казань: Лито-типография И.Н. Харитонova, 1904. С. 14–15, 17, 26, 31–32.

53 *Малов Е.* Мухаммеданский букварь... С. 60.

54 Ахмад Ясави создал в XII веке братство среди тюрок-кочевников Средней Азии, приспособляясь к их обычаям. Его ученики проповедовали ислам на Средней Волге, в Анатолии и Азербайджане.

55 *Кол Гали*. Указ. соч. С. 64.

56 *Хаким Ата | Сулейман Бакырганый*]. Указ. соч.

57 *Gardet L. L'islam, religion et communauté*. Paris: Desclée de Brouwer, 1967. P. 99.

58 Среди тайных начальных духовных школ (мектебов) можно назвать школы в Елышеве и в Трех Соснах Мамадышского уезда, в Кибяк-Козях и в Янасале Лаишевского уезда, в Азяках Казанского уезда. См.: РГИА. Ф. 821. Оп. 8. Д. 763. Л. 288 об., 289 об., 299–299 об., 300–301 об.

59 *Раимова С.И.* К вопросу о татарском детском музыкальном фольклоре // Вопросы истории, теории музыки и музыкального воспитания: Ученые записки Казанского государственного педагогического института. Казань, 1972. Т. 104. С. 43.

60 См., например, стихотворения Габдуллы Тукая (1860–1913): Ысул-ы Кадимче [Старометодник] // *Тукай Г.* Произведения. Казань, 1955. Т. 1. С. 160, 270; Печян Базары, яхут янга Кисекбаш [Сенный базар, или Новый Кисекбаш] // Там же. С. 1–99; Хатиря-и 'Бакырган' [В память о Бакыргане] // Там же. С. 32–33, 251.

61 *Каюм Насыри*. Маджмагу 'л ахбар [Сборник рассказов]. Казань: Тип. Университета, 1895. С. 44–45; *Иванов М.* Святые в исламе и их почитание в Персии, Крыму и русском Туркестане // Православный благовестник. 1915. № 3. С. 131–132.

62 Материалы для сравнительной оценки земельных угодий в уездах Казанской губернии. Т. 6: Уезд Мамадышский. Казань, 1888. С. 61; *Мухаметшин Ю.Г.* Татары-кряшены: Историко-этнографическое исследование материальной культуры: Середина XIX – начало XX века. М.: Наука, 1977. С. 54.

63 Там же. С. 103–107; Татары Среднего Поволжья и Приуралья... С. 118–126.

64 Во время праздника, который завершает Рамадан, крещеные портные, которые работали в татарских пригородах Казани, переодевались в самые красивые одежды, чтобы пойти в мечеть, в то время как женщины занимались столом. См.: О школе для первоначального обучения детей крещеных // Казанская центральная крещено-татарская школа... С. 92.

65 Там же. С. 131; *Доронкин В.* Касимовская противомусульманская миссия // Православный благовестник. 1899. Т. 2. Кн. 2. 16 августа. С. 370–373; Отпадения из православия в магометанство... С. 356.

66 *Малов Е.* Очерк религиозного состояния крещеных татар // Православный собеседник. 1872. № 4. С. 399.

67 Материалы для сравнительной оценки земельных угодий в уездах Казанской губернии. Т. 6. С. 61; Т. 7: Уезд Лаишевский. Казань, 1889. С. 119; Казанская центральная крещено-татарская школа... С. 275.

68 Малов Е. Приходы старокрещеных и новокрещеных татар в Казанской епархии // Православное обозрение. 1865. Т. 17. № 8. С. 479; Т. 18. № 10. С. 286–289.

69 Джыен Кыйссасы. Казань: Тип. Казанского университета, 1881.

70 Малов Е. Приходы старокрещеных и новокрещеных татар в Казанской епархии // Православное обозрение. 1865. Т. 18. № 12; Он же. Очерк религиозного состояния крещеных татар // Православный собеседник. 1872. № 3. С. 239; Татары Среднего Поволжья и Приуралья... С. 195–217.

ПЕРЕВОД С ФРАНЦУЗСКОГО НАТАЛИИ ЛИПАТОВОЙ

ДАРИУС СТАЛЮНАС
Может ли католик быть русским?
О введении русского языка
в католическое богослужение
в 60-х годах XIX века

Восстание 1863–1864 годов принудило имперские власти искать новые подходы к решению «польского вопроса»¹. «Мятеж», как его называли российские чиновники, ясно показал несостоятельность прежней национальной политики не только в Царстве Польском, но и в Западном крае, который, по словам виленского генерал-губернатора М.Н. Муравьева (1863–1865), был «издревле русским»². Нужны были новые подходы, которые после подавления восстания должны были гарантировать политическую стабильность в бывших землях Великого Княжества Литовского. Поэтому российские чиновники, сочувствовавшие, как и многие в русском обществе, «русскому делу» на западных окраинах империи, занялись подготовкой разнообразных, иногда очень радикальных, проектов социальной инженерии.

Одной из самых явных помех на пути «русификации края» была католическая церковь, которая, по словам того же М.Н. Муравьева, была в этом крае не чем иным, как «политическою ересью»³. Российские власти, как известно, не только предпринимали репрессивные меры по отношению к католическому духовенству, но разрабатывали и осуществляли различные меры, которые должны были дать долговременный эффект, т.е. снизить влияние католицизма до такого уровня, чтобы он не представлял никакой опасности для империи. Выдвигались даже радикальные предложения, предусматривавшие упразднение католической церкви в Российской империи. По отношению к Царству Польскому, насколько мне известно, такие проекты не разрабатывались⁴.

Существенных результатов можно было достичь двумя способами. Во-первых, можно было попытаться принудить всех католиков Западного края принять православие. Этого можно было достичь, либо заставляя или поощряя отдельных лиц, а лучше — целые римско-католические приходы переходить в православие, либо при помощи церковной унии. Сторонников имел как первый, так и второй подход. Некоторые чиновники, служившие в Северо-Западном крае в середине 1860-х годов и ратовавшие за поощрение процесса перехода в православие, надеялись на окончательный успех в этом деле⁵. Сторонники второго подхода — как ни странно, местные католики — предлагали властям проект церковной унии, который предусматривал упразднение католической церкви в Российской империи (не считая Царства Польского) не позднее чем через двенадцать лет⁶.

Другим способом давления на католическую церковь было введение русского языка в католическое богослужение⁷. В этом случае власти сталкивались не только с сопротивлением католического населения, но и были вынуждены переосмысливать понятие русскости. Ведь до этого времени все было, казалось бы, очень просто: поляк — католик, а русский — православный.

Задача этой статьи — выяснить, какая мотивация подталкивала российских чиновников и вообще интеллектуальную и политическую элиту к допущению русского языка в богослужении «иностранных» исповеданий, в первую очередь — в католическом, а с другой стороны, что побуждало возражать против этой меры.

Как известно, в 1848 году Николай I запретил употребление русского языка в богослужении «иностранных» исповеданий («порусски запретить; можно говорить проповеди на всех иностранных языках»⁸). Нетрудно догадаться, что имперские власти в этом случае боялись прозелитизма со стороны «иностранных» церквей. Православная церковь, как и некоторые чиновники, боялась, что при допущении русского языка учение этих «иностранных» исповеданий станет доступным и русским, которые могут быть таким образом «свертаны»⁹ в другие исповедания. Доминирование польского языка в католицизме не вызывало в то время больших опасений со стороны властей. Но еще до восстания 1863–1864 годов в этом соединении польского языка и католицизма обнаружились небольшие трещины.

Дело в том, что еще до крестьянской реформы 1861 года имперские власти стали беспокоиться по поводу, как мы бы сказали сегодня, этнокультурной ориентации тех недоминирующих этнических групп, которые находились под польским влиянием, в первую очередь — литовцев. Еще в 1832 году Николай I указал перевести на «самогитский язык» молитву за царствующий дом¹⁰. В 1852 году власти вновь должны были вернуться к этой проблеме. Хотя все началось с предложения виленского генерал-губернатора И.Г. Бибикова о неупотреблении в католическом богослужении «самогитского языка»¹¹, центральные власти, имея в виду кроме всего прочего еще и то, «что распространение польского языка, а с ним и польского духа между жмудским народом составляло предмет постоянной заботливости бывшей Польской республики», указали «латинскому духовенству произносить молитву о благоденствии Августейшего дома не исключительно по-польски, а в каждом приходе на том языке, на котором говорят прихожане»¹². Итак, имперские власти боялись, что устранение «самогитского языка» привело бы к нежелательным последствиям (на современном научном языке — к ассимиляции литовцев).

Еще одна группа католиков, которую нужно было защитить от влияния польских идей и польского языка, ученики военно-учебных заведений. Закон Божий католического исповедания в этих учебных заведениях до середины XIX века преподавался на польском языке. В 1853 году при одобрении властей и старшего иерарха в католическом клире империи, митрополита И. Головинского, П. Стацевич составил на русском языке пространный катехизис, который и стал употребляться в военно-учебных заведениях¹³. В этом случае, скорее всего, важны были не только мотивы политического толка (т.е. ограждение неполяков от влияния польских идей), но и практические соображения. Вероятно, российские чиновники не искажали истины, когда писали, что многие из этих учеников просто не знают польского языка при поступлении в военно-учебные заведения и вынуждены учить его только для того, чтобы понимать преподавание Закона Божия. С другой стороны, надо отметить, что, по указанию царя, перевод этого катехизиса можно было только литографировать, но не печатать. Это показывает, что имперские власти, как и раньше, боялись распространения католических идей на русском языке.

Новая ситуация в Западном крае возникла в связи с освобождением крестьян от крепостного права, а также восстанием 1863–1864 годов. Уже освобождение крестьян поставило перед властями вопрос о будущем этнокультурном и политическом развитии этого многочисленного социального слоя. Еще более эту проблему заострил «польский мятеж». С одной стороны, он показал непоколебимость поляков в их стремлении к независимости (значит, надо было искать опору против них); а с другой, не было никакого секрета в том, что поляки, особенно с начала 1860-х годов, начали учреждать школы, в которых, употребляя терминологию властей, «русские» крестьяне обучались польскому языку, что было чревато их полонизацией. По этой причине будущее этнокультурное и даже политическое развитие «русских» крестьян не могло не волновать как центральные, так и местные власти.

Как раз здесь российские чиновники наталкивались на проблему русскости этих крестьян. Проблематична была даже принадлежность к русским тех православных — бывших униатов, которые часто были индифферентны к своей религии, не говоря уже о католиках. Оберегая этих крестьян от польского влияния, власти вынуждены были определить, на каком языке им преподавать Закон Божий католического исповедания в создаваемых с начала 1860-х годов народных школах. Польский язык, чаще всего употребляемый до того времени¹⁴, по понятным причинам уже не годился. В дискуссии, проходившей еще до восстания, при виленском генерал-губернаторе В.И. Назимове, как альтернатива русскому при преподавании Закона Божия белорусам некоторыми чиновниками также предлагалась и возможность употребления «белорусского наречия». Особенно интересны в этом отношении метаморфозы во взглядах местного начальства. Попечитель Виленского учебного округа А.П. Ширинский-Шихматов в отчете за 1861 год предлагал преподавать Закон Божий на этом наречии¹⁵, то же самое он повторил и в апреле 1862-го¹⁶, а в конце того же года уже отдавал предпочтение русскому. Правда, здесь как будто не преобладали идеологические мотивы: по мнению попечителя, можно было бы ввести это преподавание и на «белорусском языке», но это вызвало бы затруднение потому, что нет «одного общего для всех белорусов языка»¹⁷. Во время «мятежа» Ширинский-Шихматов уже твердо высказывается за русский язык¹⁸.

В другом направлении изменялись взгляды генерал-губернатора. Если до начала восстания Назимов высказывался за преподавание всех предметов на русском языке, то в начале февраля 1863 года он предложил, чтобы в Гродненской губернии и восточной части Виленской, то есть там, где «за исключением жителей городов и местечек, остальное население говорит языком белорусским и почти наполовину принадлежит православной церкви», преподавание Закона Божия установить «на местном белорусском языке»¹⁹. Но вряд ли можно трактовать это как принципиальное изменение позиции. Скорее всего, Назимов не видел большой разницы в преподавании этого предмета на белорусском или русском. Такую гипотезу подтверждают некоторые факты. Во-первых, в цитированном документе генерал-губернатор указал, что в этом отношении он разделяет взгляды попечителя округа, а тот, как уже отмечалось, в конце 1862 — начале 1863 года предлагал вводить русский язык. Во-вторых, в том же отношении В. Назимов предлагал «распространить между сельским белорусским населением, сколь возможно в большем количестве русские буквари, молитвенники и издаваемое ныне Библейским обществом Евангелие <...>». Значит, белорусский язык для генерал-губернатора был, скорее всего, только необходимостью при первоначальном обучении, а стратегия осталась та же самая — заменить польский язык русским при преподавании Закона Божия католического исповедания. Вероятно, и попечитель держался подобных взглядов.

После назначения в мае 1863 года виленским генерал-губернатором М.Н. Муравьева «наступление» русского языка в учебных заведениях продолжалось. В циркуляре от 1 января 1864 года виленский генерал-губернатор запретил обучать православных крестьян в народных школах «Закону Божию по польским катехизисам»²⁰. Поскольку в циркуляре это запрещение касалось только православных учеников, то из этого следует, что католики и в дальнейшем должны были учиться Закону Божию по польским катехизисам. В то же время допускалось преподавание этого предмета на «языке жмудском» для «литовско-жмудского населения» (как и вообще преподавание этого языка как отдельного предмета)²¹. С 1864/1865 учебного года также в гимназиях и прогимназиях, по указанию М.Н. Муравьева от 26 июня, вводилось преподавание Закона Божия на русском языке²². Самое интересное, что при

М.Н. Муравьев так и не последовало указания вводить русский язык при преподавании Закона Божия римско-католического исповедания в народных училищах. Такой шаг был сделан только при его преемнике К.П. Кауфмане, хотя «инициатива снизу» обнаружилась еще в то время, когда «главным начальником края» был Муравьев.

Директор училищ Могилевской губернии Глушицкий по своей инициативе дал указание с начала 1865 года преподавать этот предмет ученикам-католикам не на польском, а на русском языке²³. Попечитель Виленского учебного округа И.П. Корнилов, горячо поддерживавший эту инициативу, убедил нового генерал-губернатора Кауфмана²⁴ распространить эту меру на весь Северо-Западный край с начала 1865/1866 учебного года²⁵. При этом Корнилов был озабочен «ложным» понятием русскости, бытующим в головах местного населения: «<...> каждый римский католик в Западном крае есть поляк; отсюда следует, что римско-католическая религия служит здесь к ополячению народа и определяет национальность. Полагаю, что было бы весьма важно уничтожить означенное мнение и провести в народное сознание ту мысль, что русский народ, принадлежащий по вере к римскому обряду и живущий в некоторых местностях Западного края, есть такой же русский народ, как и те русские, которые исповедуют православную веру <...>»²⁶. Как временная мера, исключение делалось для «Жмуди», где «народ не везде еще усвоил себе этот [русский] язык», поэтому здесь «может быть допущено преподавание катехизиса в народных школах на жмудском языке с разрешения учебного начальства»²⁷.

Но и в этом случае власти должны были лавировать между двумя взаимоисключающими задачами: «защитить» крестьянское население от полонизации и в то же время не допустить распространения католических идей на русском языке. Поэтому сначала было дано указание только отлитографировать, но ни в коем случае не печатать не только пространный катехизис П. Стацевича, но и краткий катехизис и «Краткую Священную историю римско-католического исповедания» на русском языке. Кроме того, по инициативе попечителя, катехизис выдавался ученикам «под расписку, для временного пользования»²⁸ с тем, чтобы он не распространялся за стенами учебных заведений. Однако 8 октября 1865 года последовало высочайшее разрешение печатать пространный римско-католический катехизис на русском языке, а 16 декабря 1866 года — и краткий²⁹.

Итак, русский язык вводился при преподавании Закона Божия римско-католического исповедания. Но в то же самое время местные власти не предприняли другого, казалось бы, напрашивающегося шага в том же самом направлении — замены польского языка русским в дополнительном католическом богослужении⁹. Решительности, как известно, М.Н. Муравьеву хватало, а значит, здесь были более веские причины. В учебных заведениях можно было легко контролировать, чтобы ученики посещали только уроки Закона Божия своего исповедания, а следить за тем, чтобы православные крестьяне не посещали католических костелов, было намного труднее. Кроме того, в то время действовал указ 1848 года, не позволявший употреблять русский язык в богослужении «иностранннх» исповеданий. Поэтому потребовалось несколько лет интенсивных дискуссий, пока власти определились по отношению к богослужебному языку в католических церквях Западного края.

Дискуссия о языке проповедей в католическом богослужении, кроме печати, велась в Вильне, в Ревизионной комиссии по делам римско-католического духовенства Северо-Западного края (далее — Ревизионная комиссия), учрежденной в начале 1866 года Кауфманом. Вскоре свое мнение высказали главы православных епархий западных окраин Российской империи. Толчком к обсуждению этого вопроса могло стать обращение генерального викария Могилевской римско-католической епархии епископа Ю. Станевского от 2 ноября 1865 года, в котором он информировал о ходатайстве католического духовенства Витебской и Могилевской губерний о допущении проповедей на «белорусском языке»¹⁰. Но можно выдвинуть и другую версию, по которой инициатива принадлежала А.П. Владимирову, в то время работавшему в Виленском учебном округе, который свои соображения по этому поводу вручил генерал-губернатору в конце января 1866 года¹¹. В этих дискуссиях окончательно выкристаллизовались аргументы как сторонников, так и противников введения русского языка в католическое богослужение¹².

Нет сомнений, что идеологические основы кампании за «разъединение католицизма и польской национальности» заложил редактор «Московских ведомостей» М.Н. Катков, высказывавшийся в первую очередь за политическую интеграцию Российской империи¹³. По мнению редактора «Московских ведомостей»,

нужно стремиться к тому, чтобы все подданные этого государства были интегрированы в одну «политическую национальность». Содержание этого термина в идеологии Каткова было полиэтническим и поликонфессиональным: даже «русские подданные католического исповедания» должны считать себя «вполне русскими людьми»³⁵. Итак, всех подданных Российской империи должна сплотить лояльность этому государству, а объединяющим началом должен стать русский язык: «Самое прочное из всех завоеваний есть завоевание, делаемое языком какого-нибудь народа»³⁶. В этом отношении ему вторил и А. Владимиров: «Язык есть сильнейший проводник национальности»³⁷. Поэтому Катков поддерживал идею о введении русского языка в католическое богослужение³⁸. Те же самые аргументы мы находим в высказываниях некоторых членов Ревизионной комиссии³⁹.

Заменяя православие русским языком в качестве главного интегрирующего начала русскости, Катков имел в виду и весьма прагматические мотивы. Традиционное отождествление православия и русскости оставляло католиков-белорусов за чертой русских и, по мнению многих российских чиновников и влиятельных публицистов, делало их легкой добычей полонизаторов⁴⁰. С прагматической точки зрения можно было заменить польский язык в католическом богослужении белорусским⁴¹, как и предлагал епископ Станевский. Но в середине 1860-х годов перспективы признания за белорусским языком какого-то публичного статуса были еще меньше, чем в начале этого десятилетия. Хотя большинство епископов Православной церкви поддерживало идею выдворения польского языка из католического богослужения, ни один из них не видел возможности введения белорусского языка. Начальство Православной церкви утверждало, что русский язык понятен белорусскому крестьянину (так же как и ксендзам), а белорусский язык, «как грамматически и филологически необработанный», годен только «для домашнего сельскохозяйственного обихода»⁴². Кроме того, в белорусском языке «много польских слов и оборотов»⁴³, что делает его орудием в руках полонизаторов: «Этот язык, будучи сам в себе наречием общего славянского языка, в Западном крае издавна был подготовляем в орудие римской пропаганды, чтобы народ обратить в католичество и ополячить»⁴⁴.

Хотя Катков не верил в возможность (и даже в необходимость) «возвращения» католического населения Западных губерний в православие, но для некоторых других адептов введения русского языка в католическое богослужение этот шаг означал первую ступень в переходе католического населения в православие⁴⁵.

Оппоненты введения русского языка в католическое богослужение придерживались этноконфессионального понятия русскости. Для И.С. Аксакова, попечителя Виленского учебного округа И. Корнилова, митрополита Литовского и Виленского Иосифа (Семашко), некоторых членов Ревизионной комиссии главной отличительной чертой русского было православие. Как писал И. Аксаков, «в наших Западных губерниях <...> вероисповедание остается единственным и почти безошибочным качественным признаком — к какой народности причисляет себя человек». Поэтому надо поддерживать «возвращение» католического населения Западного края в православие, а не вводить русский язык в католическое богослужение⁴⁶. Проблема была не только в том, что после претворения в жизнь этого замысла трудно было бы отделить поляка от русского. Введение русского языка в католическое богослужение, по мнению этих деятелей, было бесполезно и даже опасно. Бесполезно в том смысле, что оно не может привести к «обрусению»: по замыслу, русский язык будет вводиться в католическое богослужение только там, где «народ говорит по-русски», а там, где он был бы полезным, предполагалось оставить «местные наречия»⁴⁷. А опасно потому, что православие еще не окрепло настолько, чтобы могло наравне конкурировать с католицизмом, да еще пропагандируемым на русском языке: «Делая католицизм понятнее и доступнее для православных, оно облегчает пропаганду между ними католического учения; в этом смысле католицизм на русском языке грозит опасностью не только здешнему краю, но и всей России. Русский язык в католицизме придаст последнему еще более силы, сделав его понятнее и так сказать *народнее* для здешнего белорусского населения»⁴⁸.

«Возвращение» белорусов-католиков Западного края в православие предполагало и лингвистическую русификацию. В начале 1860-х годов обсуждалась мысль о допущении других языков, в первую очередь литовского, в православном богослужении⁴⁹. Но она, как известно, не была воплощена в жизнь.

Итак, введение русского языка в католическое богослужение — этот «меч обоюдоострый»⁵⁰ — для его сторонников ассоциировалось с успешной лингвистической ассимиляцией белорусов, а для противников — с опасностью прозелитизма со стороны католической церкви. Кроме того, как отмечалось выше, в этой дискуссии столкнулись две концепции русскости. Своеобразное решение этой проблемы предложили несколько членов Ревизионной комиссии. Как утверждал один из них, автор официальных трудов о «польском мятеже» генерал-майор В. Ратч, «вера и язык столбы национальности». С одной стороны, они тоже признавали необходимость защитить белорусов от полонизации, но с другой — отмечалось, что замена польского языка русским не может принести желаемых результатов: «На высшие сословия, говорящие польски, действует польский язык, но его не изгоним из общества, изгнав из костела, а на простолюдина-латинянина, говорящего по-белорусски, действует костел, и польский язык в нем никакого ни патриотического, ни религиозного фанатизма не возбуждает. Для него польская справа — вся в справе костела»⁵¹. Поэтому возникло оригинальное предложение — заменить польский язык латинским, который и так употреблялся в литургии, а в проповедях — белорусским. Тогда не возникнет никаких ассоциаций между католичеством и русскостью и, что, наверное, даже важнее, это приведет к упадку католической церкви в Западном крае⁵².

Поскольку мнения членов Ревизионной комиссии разделились, дальнейшее продвижение этого дела зависело уже от более влиятельных лиц в структуре имперской власти. Генерал-губернатор Кауфман, создавший эту комиссию, в принципе одобрял идею введения русского языка в католическое богослужение⁵³. Правда, И.П. Корнилов хотел убедить имперские власти в Петербурге, что генерал-губернатор «недоверчиво смотрит на популяризацию католичества путем русского языка»⁵⁴, но можно предположить, что Корнилов в этом случае просто хитрил, стараясь посеять сомнения в отношении этой идеи. Во время обсуждения этого вопроса в Ревизионной комиссии пришли одобрительные для сторонников введения русского языка в католическое богослужение сигналы из Петербурга: Синод высказался за допущение перевода проповедей М. Бялобржеского и А. Филипецкого на русский язык. Изданию этих проповедей на русском языке Православная церковь все еще

противилась. Мотивы остались те же, что и раньше. Такие книги, по мнению Синода, имели бы «последствием распространение их не только в Западном крае, но и во всей Империи, и при том главным образом в среде простого народа, предпочитающего вообще книги духовного содержания книгам светским, и таким образом могло бы послужить в пользу латинской пропаганды и ко вреду Церкви Православной»⁵⁵.

Но с назначением на пост виленского генерал-губернатора Э.Т. Баранова сторонники введения русского языка в католическое богослужение на первых порах получили в его лице серьезного оппонента. Баранов, в принципе не отвергая самой идеи, все-таки видел и негативные стороны проекта. К старым аргументам, которые уже звучали и раньше: об опасности распространения католицизма на русском языке для Православной церкви, о том, что после введения русского языка в католическое богослужение станет сложнее отделить польскость от русскости, — новый генерал-губернатор добавил опасение, что такими мерами можно настроить против себя народ⁵⁶. В это же время в Петербурге небольшим тиражом (всего в 28 экземпляров⁵⁷) была напечатана брошюра «О введении русского языка в римско-католическое богослужение», где были помещены четыре записки тех членов Ревизионной комиссии, которые возражали против этой меры.

Но позднее, возможно, и Баранов стал более позитивно относиться к введению русского языка в католическое богослужение. Еще во время его службы в Вильне Ревизионная комиссия предложила перевести молитвы за императора и царствующий дом на русский язык и запретить такие молитвы на латинском и польском языках в Северо-Западном крае⁵⁸.

После назначения 2 марта 1868 года на пост виленского генерал-губернатора А.Л. Потапова⁵⁹ инициатива в этом деле сместилась в Петербург, где в конце 1869 года Александром II был создан Особый комитет по вопросу об употреблении русского языка в делах религий иностранных исповеданий. Еще в начале 1868 года было дано указание при исполнении духовных треб для воинских чинов католического исповедания вместо польского языка употреблять русский⁶⁰. После одобрения Синодом были переведены на русский язык и напечатаны молитвенник («Алтарик для

юношества») и требник⁶¹. Кроме того, инициативу проявляли и некоторые католические священники⁶².

В конце 1869 года было принято окончательное решение. Министерство внутренних дел признало, что «в последнее десятилетие взгляд министерства в этом отношении совершенно изменился»⁶³. Упомянутый выше Особый комитет под председательством князя П.П. Гагарина решил, что прежняя практика, когда «сделаться русским значит то же, что переменить свою веру», устарела и было бы желательно, чтобы, «напротив того, вошло в сознание тамошнего населения, что можно быть католиком и вместе с тем и русским»⁶⁴. Предложение Комитета об отмене указа 1848 года царь одобрил 25 декабря 1869 года, но введение русского языка в богослужении «иностраннх» (а не только католического) исповеданий предусматривалось только как рекомендательная мера⁶⁵. Это было акцентировано и в циркуляре виленского генерал-губернатора Потапова: для тех из жителей Северо-Западного края, которые «родным языком своим считают русский», разрешается произносить проповеди и совершать дополнительное богослужение на русском языке, но такое употребление русского языка не делается «обязательным»⁶⁶.

Обобщая, можно заметить, что в начале 1860-х годов «польский вызов» повлиял на общероссийский официальный и общественный дискурс: имперские власти и политическая элита, озабоченные этнокультурным и этнополитическим будущим крестьянского населения, были вынуждены переосмыслить содержание русскости. Считать русскими только православных делалось неразумным и даже опасным. Из-за этого, по мнению многих российских чиновников, усиливалась угроза «ополячения» белорусов-католиков. Поэтому неудивительно, что после восстания 1863–1864 годов все более и более популярной становится во многом вполне современная концепция нации, одним из основных критериев которой выступает язык. Как раз сторонники такой концепции и добились допущения русского языка в католическом и других «иностраннх» богослужениях. Если в высказываниях противников этого мероприятия речь шла, можно сказать, о концепции русской, т.е. этнокультурной, нации, то идеи сторонников введения русского языка в католическом богослужении в некотором смысле была ближе концепции российской, т.е. политической,

нации. Но разногласий между сторонниками двух концепций русскости ни в коем случае не надо преувеличивать: многие из сторонников введения русского языка в католическое богослужение надеялись, что это будет только первым шагом к «возвращению» «русских» в православие. Но, как было показано выше, сторонники этой идеи столкнулись с серьезным сопротивлением. Противники указывали на осторожность, с которой надо подходить к религиозным вопросам, чтобы не вызвать народного сопротивления, а также на опасности для Православной церкви. Эти опасения и привели к тому, что в Петербурге в конце 1869 года было принято не радикальное решение о «введении» русского языка в католическом богослужении, как предлагалось, а только факультативное допущение его.

Примечания

- 1 Эта статья впервые была опубликована на литовском языке: *Staliūnas D. Kalba ar konfesija? (Sumanymas įvesti rusų kalbą Vakarų krašto pridėtinėse katalikiškose pamaldose) // Lietuvos istorijos metraštis 1999. Vilnius, 2000. P. 125–137.* При подготовке новой публикации были учтены некоторые новые статьи по обсуждаемой проблеме: *Григорьева В.В.* Из истории располычения костела в белорусских губерниях (взгляд на проблему через деятельность каноника Ф. Сенчиковского) // Наш радавод. 1992. Кн. 4. Ч. 3. С. 655–658; *Grigorjeva V.* The Russification of the Roman Catholic Church in Belorussia (the Second Half of the 19th and the Beginning of the 20th Centuries) // Churches-States-Nations in the Enlightenment and in the Nineteenth Century / Ed. by M. Filipowicz. Lublin: Instytut Europy Ѓbrodkowo-Wschodniej, 2000. P. 184–186; *Weeks T.R.* Religion and Russification: Russian language in the Catholic Churches of the Northwest Provinces after 1863 // *Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History.* 2001. Vol. 2. № 1. P. 87–110; *Смоленчук А.* Попытки введения русского языка в католическое богослужение в Минской и Виленской диоцезиях в 60–70-е годы XIX в. // *Lietuvių katalikų akademijos metraštis.* Vilnius, 2002. T. 20. P. 141–154; *Dolbilov M.* Russification and the Bureaucratic Mind in the Russian Empire's Northwestern Region in the 1860s // *Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History.* 2004. Vol. 5. № 2. P. 249–258. Но надо отметить, что в большинстве этих статей речь в первую очередь идет уже о введении русского языка в католическое богослужение, а не о подготовке этого шага.
- 2 Всеподданнейший отчет графа М.Н. Муравьева по управлению Северо-Западным краем (с 1 мая 1863 г. по 17 апреля 1865 г.) // *Русская старина.* 1902. Т. 110. С. 503.

3 Там же.

4 О политике по отношению к католической церкви в Царстве Польском см.: *Кострыкин А.Н.* Формирование новой конфессиональной политики России в Царстве Польском. (Середина 60-х годов XIX века) // Вестник Московского университета. Сер. 8: История. 1995. № 4. С. 57–69.

5 Государственный архив Российской Федерации [далее – ГАРФ]. Ф. 109, 1 экспедиция. Оп. 39 (1864 г.). Д. 82. Л. 64.

6 Более подробно об этом проекте: *Staliūnas D.* Bažnytinės unijos projektas (1865–1866) // *Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis*. 2002. № 20. Р. 127–140; *Долбилов М.Д., Сталюнас Д.* Минская инверсия Брестской унии: Проект присоединения католиков к православной церкви в Российской империи (1865–1866 гг.) // *Славяноведение*. 2005 (в печати).

7 Речь шла о так называемом дополнительном богослужении, в котором допускались «местные языки». Литургическим языком католической церкви, как известно, был латинский. Очень тесно с этой проблемой был также связан и вопрос о языке преподавания Закона Божия в учебных заведениях.

8 Российский государственный исторический архив [далее – РГИА]. Ф. 821. Оп. 125. Д. 277. Л. 233.

9 Переход православных в другие исповедания в официальном, и, в некоторой степени, в общественном дискурсах, описывался при помощи слова «сращение», в то время как принятие католическим населением Западного края православия чаще всего называлось «возвращением» или просто «переходом».

10 *Lietuvos valstybės istorijos archyvas* [Литовский государственный исторический архив; далее – LVIA]. F. 378 (bs, 1867 m.). B. 1372. L. 7.

11 Виленский генерал-губернатор информировал царя, что «молитвенные книги, издаваемые на самогитском языке, заключают в себе часто молитвы в неблагонамеренном духе», а, кроме того, нет возможности контролировать проповеди на этом языке: РГИА. Ф. 821. Оп. 125. Д. 323. Л. 3–5.

12 LVIA. F. 378 (bs, 1867 m.). B. 1372. L. 7.

13 РГИА. Ф. 821. Оп. 125. Д. 277. Л. 234; О печатании римско-католического «Катехизиса» на русском языке // Вестник Западной России: Историко-литературный журнал. 1865/1866. Год IV. Кн. IV. Т. 2. Вильна, 1865. С. 94–95.

14 Только для литовцев он преподавался на литовском языке: LVIA. F. 378 (bs, 1862 m.). B. 629. L. 39. Употреблялось ли «белорусское наречие», еще предстоит выяснить.

15 LVIA. F. 567. Ар. 1. B. 111. L. 6. Хотя еще в сентябре 1861 года он предлагал заменить польский язык русским: *Ibid.* L. 48.

16 *Корнилов И.П.* Русское дело в Северо-Западном крае. СПб., 1908. С. 20.

17 LVIA. F. 378 (bs, 1862 m.). B. 629. L. 40.

18 Ibid. L. 181; F. 567. Ap. 21. B. 15. L. 21–22.

19 Ibid. F. 378 (bs, 1862 m.). B. 629. L. 84, 92–93. Это отношение виленского генерал-губернатора министру народного просвещения, датированное 1 февраля 1863 года, ясно отражает изменения в этнополитической программе В.И. Назимова. В этом документе он тоже сначала высказал такую мысль: «И хотя совершенное запрещение обучать польскому языку было бы в некоторых местностях неудобным, но в сем последнем случае обучение это должно идти наравне с языком русским, с тем только различием, что русский язык должен быть обязательным для всех без исключения», но потом это место зачеркнул и вписал строки о преподавании Закона Божия на белорусском языке.

20 Lietuvių spaudos draudimo panaikinimo byla, spaudai parengė A. Tyla. Vilnius, 1973. P. 66 (текст циркуляра Муравьева от 1 января 1864 года).

21 Там же; Общие замечания о Виленском учебном округе из отчета попечителя за 1864 год // *Корнилов И.П.* Памяти графа Михаила Николаевича Муравьева: К истории Виленского учебного округа за 1863–1868 гг. СПб., 1898. С. 59–60.

22 LVIA. F. 567. Ap. 1. B. 199. L. 52–52a. Вскоре эта мера была распространена и на уездные дворянские училища: Ibid. L. 57. Хотя еще в отчете за 1863 год попечитель Виленского учебного округа высказывался за замену польского языка при преподавании Закона Божия в средних учебных заведениях для литовцев литовским или русским языком, в дальнейшем на просьбы епископа М. Волончевского (Валанчюса, Valančius) о введении литовского языка Муравьев отвечал отказом. См.: *Корнилов И.П.* Указ. соч. С. 14; LVIA. F. 567. Ap. 1. B. 199. L. 52–52a; F. 1671. Ap. 4. B. 98. L. 66. Корнилов по своей инициативе распространил эту меру и на преподавание катехизиса для реформатов в Слуцкой гимназии, но Муравьев приказал отменить это указание: Ibid. F. 567. Ap. 1. B. 199. L. 27, 34. В 1865 году генерал-губернатор также приказал все предметы в римско-католических семинариях преподавать на русском и латинском языках: *Merkys V. Motiejus Valančius: tarp katalikiško universalizmo ir tautiškumo.* Vilnius, 1999. P. 604. Интересно, что позднее апологеты Муравьева утверждали, будто бы он противился введению преподавания Закона Божия католического исповедания на русском языке: *Миловидов А.* Заслуги графа М.Н. Муравьева для Православной церкви в Северо-Западном крае. Харьков, 1900. С. 36.

23 LVIA. F. 567. Ap. 1. B. 239. L. 1–2. Такое усердие этот чиновник показал после получения двух запросов в конце 1864 года: «На каком языке преподается катехизис римско-католического исповедания в учебных

заведениях вверенной вам дирекции» и о том, какое влияние имели меры «к искоренению из учебных заведений польского языка и к укреплению в них языка русского».

24 Пока трудно сказать, как отреагировал на эту инициативу Муравьев. В черновике своего отношения к К.П. Кауфману И.П. Корнилов упомянул, что об этой инициативе директора училищ Могилевской губернии он проинформировал в свое время и Муравьева, но в этом документе не указана ни дата, ни номер этого отношения (LVIA. F. 567. Ap. 1. B. 239. L. 9). Поэтому можно допустить, что Муравьев и не был проинформирован об этой инициативе. Нетрудно предположить, что он мог бы очень негативно отнестись к своеволию местного чиновника уже потому, что такой шаг был предпринят без его ведома. Даже попечитель учебного округа не мог предпринимать таких шагов без предварительного согласования с «главным начальником» края. Но если Муравьев и был проинформирован об этой инициативе, то при нем не последовало никаких указаний к распространению такой меры на народные школы Северо-Западного края.

25 LVIA. F. 567. Ap. 1. B. 239. L. 4–9, 10, 20. Но нужно сразу отметить, что попечитель не поддерживал идеи введения русского языка в католическое богослужение, опасаясь, что в таком случае контроль был бы невозможен.

26 Ibid. L. 8.

27 LVIA. F. 567. Ap. 1. B. 239. L. 20. Кауфман придерживался позиции, что обучение Закону Божию на литовском языке допустимо только на первом году обучения: *Merkys V. Op. cit.* P. 671–672.

28 LVIA. F. 439. Ap. 1. B. 69. L. 9.

29 Ibid. F. 567. Ap. 1. B. 239. L. 60, 173. Но и в дальнейшем власти боялись распространения католических идей между православными в Западном крае. При подготовке уже третьего издания краткого катехизиса из Петербурга последовало указание, что можно «выпустить третье издание катехизиса, с тем чтобы, кроме обозначения названия книги на заглавном листке, было напечатано на *каждом листке этого руководства*, под последнею строкою листка: „Краткий римско-католический катехизис“» (Ibid. B. 370. L. 98).

30 Помощник Муравьева генерал-адъютант Н.А. Крыжановский увязал эти две сферы напрямую: «Для простолюдинов Западных губерний польский язык должен быть языком совершенно иностранным. Кроме Жмуди, все говорят и понимают по-русски, а потому следует стремиться к тому, чтоб в здешнем крае ксендзы читали проповеди не на польском, а на народном языке, в Жмуди по-жмудски, а во всех остальных губерниях по-русски. На тех же народных языках обязаны они преподавать религию в школах, гимназиях и даже в частных домах» (Ibid. F. 439. Ap. 1. B. 43. L. 12).

31 Ibid. F. 378 (bs, 1866 m.). B. 1360. L. 72.

32 Такой версии придерживался сам А.П. Владимиров: *Владимиров А.П.* История располычения Западнорусского костела. М., 1896. С. 67–70. Его соображения датированы 25 января 1866 года: РГИА. Ф. 821. Оп. 150. Д. 584. Л. 1–4. Некоторые другие источники до известной степени подтверждают эту версию. В указания генерал-губернатора Ревизионной комиссии от 31 января 1866 года пункт о «неупотреблении польского языка в проповедях произносимых ксендзами народу» был вписан позднее (LVIA. F. 378 (bs, 1866 m.). B. 1340. L. 3). Кроме того, и следующий генерал-губернатор Баранов упоминал о том, что Кауфман дал указание обсудить этот вопрос Ревизионной комиссии после того, как получил записку по этому поводу (РГИА. Ф. 797. Оп. 37, I отделение, 1 стол. Д. 156. Л. 1).

33 Ревизионная комиссия уже 7 марта 1866 года решила, что «польский язык, официально уже отвергнутый в Северо-Западном крае, окончательно изгнать и из римско-католического богослужения, а также из молитвенников и проповедей» (LVIA. F. 378 (bs, 1866 m.). B. 2522. L. 8). Но и в дальнейшем комиссия обсуждала этот вопрос (в заседаниях с 7 марта по 27 октября 1866 года): LVIA. F. 378 (bs, 1866 m.). B. 1340. L. 44. Может быть, что возвращение к этой проблеме было связано с активной деятельностью профессора Петербургской духовной академии М. Кояловича, который, по словам А. Владимирова, лето 1866 года провел в Вильне: *Владимиров А.П.* Указ. соч. С. 71.

34 Нужно сразу оговориться, что М.Н. Катков понимал: такое «разъединение» — дело скорее будущего. В то время «Московские ведомости» признавали, что «католицизм в Западном крае служит теперь признаком польской национальности»: [Катков М.] Москва, 4-го декабря // Московские ведомости. 1865. № 268.

35 [Катков М.] Москва, 1-го августа // Московские ведомости. 1863. № 168.

36 [Катков М.] Москва, 2-го апреля // Московские ведомости. 1864. № 75.

37 РГИА. Ф. 821. Оп. 150. Д. 584. Л. 1.

38 [Катков М.] Москва, 1-го февраля // Московские ведомости. 1866. № 26 и др.

39 Более подробно об этом: *Staliūnas D.* Op. cit. p. 129–130. Вот мнение большинства этой комиссии: «Польский язык римско-католического исповедания неизбежно связывает дело католической религии с делом полонизма, делает католичество носителем и пропагандистом польских притязаний, обращает католицизм из религии, самой по себе неопасной и невраждебной русскому государству, в агента революционных и вредных начал <...> русский язык, введенный в католицизм взамен польского, упразднит все вышеизложенное и поможет делу государственного объединения здешнего края с остальной Россией, а тем самым

и полному со временем обрусению его» (LVIA. F. 378 (bs, 1866 m.). В. 1340. L. 45–46. Вообще нужно отметить, что за публикациями по этому вопросу в «Московских ведомостях» в Вильне пристально следили (РГИА. Ф. 821. Оп. 150. Д. 584. Л. 147). С другой стороны, и сам Катков интересовался, какое мнение преобладает в Вильне. Он, например, обращался к виленскому генерал-губернатору Э. Баранову, пробуя через третье лицо узнать его мнение по этому поводу (Там же. Ф. 797. Оп. 37, I отделение, 1 стол. Д. 156).

40 | Катков М. | Москва, 9-го августа // Московские ведомости. 1863. № 174.

41 Объем статьи не позволяет тщательно обсудить языковую ситуацию в белорусской деревне.

42 LVIA. F. 378 (bs, 1866 m.). В. 1360. L. 93–94 (мнение митрополита Киевского Арсения).

43 Ibid. L. 97 (мнение архиепископа Минского и Бобруйского Михаила); *Миловидов А.И.* Распоряжения и переписка гр. М.Н. Муравьева относительно римско-католического духовенства в Северо-Западном крае. Вильна, 1910. С. 17–18.

44 LVIA. F. 378 (bs, 1866 m.). В. 1360. L. 102 (мнение архиепископа Могилевского Евсевия). Подобное мнение также высказывал и уже упоминавшийся архиепископ Минский и Бобруйский Михаил: Ibid. L. 97; *Смоленчук А.* Указ. соч. С. 145.

45 РГИА. Ф. 821. Оп. 150. Д. 584. Л. 3, 12 (записки А. Владимирова, А. Стороженко).

46 Еще о польских притязаниях на Западно-Русский край...; Католицизм самое могучее средство ополячения...; *Аксаков И.С.* Желательно ли введение русского языка в латинское богослужение? // Аксаков И.С. Сочинения. Т. 3: Польский вопрос и Западно-русское дело, 1860–1886: Статьи из «Дня», «Москвы», «Москвича» и «Руси». М., 1886; *Корнилов И.П.* Русское дело в Северо-Западном крае / 2-е изд. СПб., 1901. С. 219–222; LVIA. F. 378 (bs, 1866 m.). В. 1360. L. 100 (мнение митрополита Литовского и Виленского Иосифа); РГИА. Ф. 821. Оп. 150. Д. 584. Л. 38–53 (записка В.П. Кулина).

47 LVIA. F. 378 (bs, 1866 m.). В. 1360. L. 100 (мнение митрополита Литовского и Виленского Иосифа).

48 Ibid. В. 1340. L. 46.

49 РГИА. Ф. 796. Оп. 143. Д. 2082; Ф. 797. Оп. 32. Д. 370; LVIA. F. 378 (bs, 1865 m.). В. 1775. L. 41–42; *Merkys V.* Knygnešić laikai 1864–1904. Vilnius, 1994. P. 37; *Аксаков И.С.* Желательно ли введение русского языка в латинское богослужение? // Аксаков И.С. Сочинения... Т. 3. С. 475.

50 РГИА. Ф. 821. Оп. 150. Д. 584. Л. 80 (записка П. Рощина).

51 Там же. Л. 63, 68–69 (записка В. Ратча).

52 Там же. Л. 77, 15–22 (записка В.Ф. Самарина); LVIA. F. 378 (bs, 1866 m.). В. 1340. L. 80.

53 LVIA. F. 378 (bs, 1866 m.). В. 1360. Л. 74–75. Кауфман, одобряя эту идею, все-таки указал на необходимость согласовать такие меры с Синодом.

54 Корнилов И.П. Указ. соч. С. 222.

55 LVIA. F. 378 (bs, 1866 m.). В. 1360. Л. 87–88.

56 РГИА. Ф. 797. Оп. 37, I отделение, I стол. Д. 156. Л. 1–6.

57 Там же. Л. 15.

58 Там же. Ф. 821. Оп. 125. Д. 277. Л. 2; Жиркевич А.В. Из-за русского языка. (Биография каноника Сенчиковского, в двух частях, с алфавитным указателем и тремя фотографиями). Ч. 1: На родине Белоруссии. Вильна, 1911. С. 121–122.

59 РГИА. Ф. 821. Оп. 125. Д. 277. Л. 34–40, 51, 52; LVIA. F. 378 (bs, 1866 m.). В. 1372. Л. 65–71. А.Л. Потапов 6 июня 1869 года докладывал министру внутренних дел, что введение русского языка в католическое богослужение необходимо «в деле обрусения Западного края»; такая мера должна «возвысить значение его в глазах народа и скрепить родственную связь населения здешнего края с остальной Россией».

60 РГИА. Ф. 821. Оп. 125. Д. 277. Л. 15; LVIA. F. 669. Ар. 3. В. 1141. Л. 1.

61 РГИА. Ф. 797. Оп. 37, I отделение, I стол. Д. 156. Л. 39–40; LVIA. F. 567. Ар. 21. В. 82. Л. 12–13, 107–108; О введении русского языка в римско-католическом богослужении в России // Вестник Западной России: Историко-литературный журнал. 1868. Год VI. Кн. 8. Т. 3. Вильна, 1868. Отд. IV. С. 246; Вильна, 5-го октября // Виленский вестник. 1868. № 112.

62 РГИА. Ф. 821. Оп. 125. Д. 277. Л. 65–66; *Vidmantas E. Religinis tautinis sąjūdis Lietuvoje XIX a. antrojoje pusėje – XX a. pradžioje*. Vilnius: Lietuvių katalikų mokslo akademija, 1995. P. 121; Смоленчук А. Указ. соч. С. 143.

63 РГИА. Ф. 821. Оп. 125. Д. 277. Л. 58.

64 Там же. Л. 68.

65 Там же. Л. 69.

66 Там же. Л. 176–177.

ТЕОДОР Р. ВИКС

«Мы» или «они»?

Белорусы и официальная Россия, 1863–1914

В последние десятилетия XIX века значительным фактором имперской политики России в качестве «принципа упорядочения» впервые стала национальность. Среди наиболее острых вопросов, с которыми пришлось столкнуться имперским чиновникам, оказалась проблема определения границ «русской нации». Как известно, ни украинцы (в то время их чаще всего называли «малороссами»), ни белорусы никогда не воспринимались Петербургом как отдельные нации¹. С другой стороны, официальная Россия полностью не отрицала языкового и культурного своеобразия этих двух народов. Это было отражено в тех категориях, которые использовались в переписи населения 1897 года: на вопрос о «родном языке» (неудивительно, что категории «национальность» или «народность» не были предусмотрены) респонденты могли дать следующие ответы: «великорусский», «малорусский» или «белорусский». Эти три категории объединялись затем в одну общую категорию — «русский»². Чиновники в России также никогда не отрицали, что в определенных аспектах белорусы отличались от своих собратьев в Центральной России. Однако они с негодованием отвергали даже мысль о том, что эти различия настолько велики, что могут служить основанием для исключения белорусов из состава русской нации.

В данной работе я буду главным образом рассматривать белорусов с точки зрения царских чиновников, как на местном уровне, так и на столичном. В качестве корректив к этой явно предвзятой точке зрения, я хочу привести некоторые статистические данные о белорусском населении Российской империи. Сразу хочу предупредить, что в точности этих статистических данных — как

и любых статистических данных по вопросам о национальной принадлежности, собранных в условиях не слишком-то свободного режима, — можно усомниться, но в целом критики и того времени, и более позднего периода соглашались, что перепись проводилась профессионально и без предубеждений. Во всяком случае, эти статистические данные предоставляют нам возможность посмотреть на «белорусский вопрос», о котором вели спор царские чиновники, с еще одной стороны. Последующая часть работы включает три раздела. Вначале мы рассмотрим общее отношение и примеры тропов, которые русские чиновники использовали для описания самих белорусов и политики России по отношению к ним. Во-вторых, мы затронем проблематичный вопрос о белорусах-католиках и о том, причисляли ли их к русским. И наконец, мы рассмотрим связанную с этим проблему «спасения белорусов от ополячения».

Анализ различных аспектов восприятия белорусов официальной Россией позволяет заключить, что в течение всего этого периода Петербург не уделял белорусам особенного внимания (если не считать риторических фраз!), поскольку почти всегда белорусский вопрос заслоняли более жгучие еврейский и польский вопросы. Кроме того, пример белорусов еще раз показывает, что в Российской империи практически невозможно было разделить религию и национальность: несмотря на все риторические попытки включить белорусских католиков в лоно русской нации, в конце концов возобладала формула «католик = поляк». Как и во многих других случаях, официальная российская риторика и политика по отношению к белорусам показывают, что «русификация» — даже когда ее проводили применительно к предполагаемым «русским» — в последний период существования императорской России едва ли была последовательной и наступательной политикой¹.

Белорусы в Российской империи: немного статистики

Любая попытка «научно» установить границы этнокультурных групп по определению обречена на провал. Тем не менее важно обозначить некоторые параметры, в рамках которых данная национальная группа может рассматриваться как существующая.

Для белорусов это были географические и социальные параметры. Как мы увидим, белорусы в большинстве своем принадлежали к крестьянскому сословию, жили в сельской местности и лишь в малой степени демонстрировали наличие «национального самосознания». Даже в конце XIX века белорусы продолжали жить в обществе, где «национальность» и «социальный класс» были почти взаимозаменяемыми понятиями: они составляли крестьянское сословие, в городах преобладали евреи, и их занятия, такие как торговля и коммерция, позволяли отнести их к «среднему классу», а к «высшему классу» — чиновникам или местным помещикам — принадлежали только поляки и русские.

В соответствии с переписью 1897 года белорусский язык составлял четвертую по величине группу среди «родных языков», при этом насчитывалось шесть миллионов носителей языка, или 4,57% всего населения империи⁴. Основная часть белорусов — около 90% — проживала в пяти губерниях Северо-Западного региона — Могилевской, Минской, Гродненской, Витебской и Виленской⁵. Все эти губернии были в основном сельскохозяйственными, с низким уровнем урбанизации. Мы не можем точно установить, каков был процент белорусов среди городских жителей, поскольку официальная статистика часто не позволяла четко разделить группы русских и белорусов, но представляется очевидным, что их число было невелико. В любом случае, если взять данные по самым большим городам региона — Вильне, Витебску, Могилеву, Гомелю, Минску и Белостоку, — мы обнаружим, что «русские» (конечно, в эту категорию включали белорусов и украинцев) нигде не составляли большинства городского населения. В каждом случае евреев среди городского населения было больше, чем всех «русских», вместе взятых (правда, в некоторых случаях это преобладание было небольшим)⁶. Из этих пяти губерний наиболее урбанизированной была Гродненская, доля городского населения которой составляла 16%, но это было следствием того, что на западной границе Гродненской губернии находился нетипично большой для этого региона текстильный город Белосток. Доля городского населения в Виленской и Витебской губерниях составляла от 10% до 15%, а соответствующие показатели по Минской и Могилевской губерниям колебались от 5% до 10%⁷. Ни один из этих городов не имел населения, хотя бы немного превышающего 200 000 человек

(Вильна была ближе всех к этой цифре), и только Вильна и Витебск превысили черту в 100 000 человек (хотя Минск был близок к этому)*. Если взять всех белорусов империи на 1897 год, то в больших и малых городах проживало менее 3% из них — по сравнению с 5,6% городских жителей среди украинцев и 18,3% среди поляков⁹.

Совершенно неудивительно, что белорусы, будучи в основном сельским, крестьянским населением, демонстрировали очень низкий уровень грамотности. Как известно, обучение в школе в Российской империи не было достаточно развито (хотя в конце века в этом направлении и были сделаны довольно значительные шаги), и тот факт, что в школах преподавание велось на русском языке, наверняка еще больше сокращал шансы белорусских детей на получение грамотности. Во всяком случае, в 1897 году подавляющее большинство белорусов (85,04%) были неграмотны. Для сравнения следует заметить, что уровень неграмотности среди украинцев был даже выше, хотя и ненамного (86,16%). Только 0,35% всех белорусов имели образование выше начального¹⁰. Почти 80% белорусов зарабатывали себе на жизнь сельским хозяйством, и едва 0,5% заявили, что являются лицами свободных профессий¹¹.

Однако в некотором смысле было бы анахронизмом и ошибкой говорить о «белорусах» как о реально существующей и неоспоримой этнической категории. И в последний период существования империи, и значительно позже различные свидетельства подтверждают тот факт, что у белорусов не было развито национальное самосознание¹². В целом идентичность *белорусских крестьян* (до 1914 года само это выражение в некоторой степени являлось тавтологией) складывалась из отождествления самих себя с деревенским укладом, религией и социальным положением, — но никак не с «национальностью», категорией, которая почти не имела смысла в их повседневной жизни. В то же время столичные чиновники определенно называли крестьян этих губерний — людей, которых мы теперь называли бы «белорусами», — «русскими». Эти чиновники — и, скорее всего, все образованное российское общество — были твердо уверены в том, что белорусы, как и украинцы, в культурном, языковом и (по большей части) религиозном отношении были настолько близки своим собратьям, скажем, в Курской, Рязанской и Тверской губерниях, что при правильном

функционировании образовательной и административной систем государства они скоро полностью инкорпорируются в русскую нацию. Именно к чиновникам и к их пониманию места белорусов внутри русской нации мне и хотелось бы сейчас перейти.

Российское правительство и белорусы

Как мы могли убедиться, белорусы составляли значительную процентную долю населения так называемых северо-западных губерний. Несмотря на это, официальные доклады, поступавшие из этого региона, больше сообщают о евреях или поляках, чем о белорусах. Здесь вновь имеет место некое подобие оптической иллюзии: о белорусах упоминают под рубриками «крестьяне» или «русские», но сравнительно редко речь идет о белорусах *как таковых*. Кроме того, для правительства белорусы не составляли проблемы первостепенной важности, как это было в случае с поляками и евреями. Наконец, поскольку белорусы в целом подпадали под категорию «русских», общая политика правительства, направленная на «усиление русского землевладения» в регионе, тем самым подразумевала и их. Можно констатировать усиление интереса к этническим различиям между белорусами и русскими, и само признание этого отличия, произошедшее приблизительно на исходе века; но мысль о том, что белорусы представляют собой нечто большее, чем просто подгруппу русской нации, так никогда и не была сформулирована. Вместо этого более «либеральные» чиновники указывали, что правительству в своей политике необходимо признать различия между Центральной Россией и белорусскими губерниями для того, чтобы успешнее убедить белорусов считать самих себя русскими, а не — страшно вымолвить! — поляками. Какой-либо озабоченности проблемами белорусской национальной идентичности *как таковой* почти невозможно было обнаружить. В целом, усиление осознания белорусами своей белорусской идентичности обычно расценивали просто как неразрывную часть усиления русского самосознания — т.е. основной цели правительственной политики в регионе. Белорусское национальное самосознание в глазах властей становилось проблемой только тогда, когда чиновники видели, как поляки и другие «негодяи» пытались

использовать ее в качестве клина, чтобы расколоть «очевидную, естественную и исторически сложившуюся» связь белорусов с великой русской (или великорусской) нацией.

Непосредственным следствием польского восстания 1863 года явилось то, что политика российского правительства в белорусских губерниях была направлена в первую очередь на снижение степени польского экономического и культурного господства. Усилия власти были обращены на подавление активности католического духовенства, закрытие всех монастырей, уличенных в помощи восставшим, и в целом на максимально возможное ограничение способности католических священников распространять «полонизм». В то же время Петербург настаивал на том, что власть не желает нарушать права католиков молиться по-своему, а желает лишь защитить представителей иных конфессий от хищнической практики известных «ловцов душ» — иезуитов и им подобных. Тогда, как и позже, католическая церковь напрямую ассоциировалась — как в официальных кругах, так и в народе — с Польшей и польской культурой. И действительно, католические семинарии в Российской империи имели репутацию «очагов полонизма», и официальная политика после 1863 года была направлена на уменьшение их влияния. И в то время и позже католических священников часто упрекали в том, что они обязывали прихожан, не принадлежащих к польской нации, читать молитвы на польском языке. Для русских патриотов сама мысль о том, что таким образом происходит ополячение белорусских католиков, выглядела совершенно оскорбительной. Многие из них горячо согласились бы со следующим предложением, содержащимся в анонимном послании, которое поступило в Министерство внутренних дел в конце 1865 года: «...Каждому католику должна быть предоставлена полная свобода молиться на любом языке, хотя бы на китайском и татарском, но правительством содержимые священники во время исполнения своих официальных обязанностей должны обращаться ко всем католикам на общем государственном языке, понятном для всех без исключения, находящимся в России»¹³. Но даже в этом проекте ни разу не упоминается слово «белорусский».

Сходную ситуацию можно обнаружить и при анализе ежегодных докладов губернаторов. В частности, в течение десятилетий после 1863 года прилагательное «белорусский» практически

не употребляется в этих докладах, а если и используется, то чаще как название области, а не народа¹⁴. Позже, в особенности в начале XX века, слово «белорусский» начинают использовать чаще, но даже после 1905 года многие ежегодные доклады при достаточно детальном описании евреев и поляков обходят молчанием большинство населения, ограничиваясь иногда лишь небольшими упоминаниями о местном русском населении. Одним словом, белорусское крестьянство не составляло для властей проблемы — ни как организованная «группа со своими интересами», с которыми необходимо было бы считаться, поскольку русские официальные лица относились к белорусам как к изначально «нашим», ни даже просто как пассивная угнетенная масса, которая ожидает некоего мощного стимула «сверху», чтобы расцвести и стать настоящими русскими.

За несколько месяцев до начала Первой мировой войны в правительственном докладе об этом регионе говорилось следующее: «Проявление национального движения среди белоруссов слабо, в народной массе его почти нет, и лишь часть белорусской интеллигенции, путем печати и другими способами, пытается пробудить среди белоруссов национальное самосознание». Низкий уровень национального самосознания у белорусов противопоставлялся в докладе ситуации, сложившейся среди литовцев, где «это движение проявляется более интенсивно»¹⁵. Хотя только в Вильне в 1914 году выпускалось два периодических издания на белорусском языке («Наша нива» и «Беларус»), влияние их на крестьян представляется очень слабым. В любом случае даже у литовцев в Вильне было восемь периодических изданий, а русские и поляки могли похвастать соответственно 14 и 22 изданиями, что дает нам представление об относительно крупных размерах читательской аудитории¹⁶. В докладе также содержалась жалоба на то, что, когда у белорусов-католиков спрашивали, на каком языке они разговаривают дома, они часто отвечали, что «на панском», или «на польском», хотя на самом деле это было не так. Обычно вину за это явление списывали на «полонизирующую» деятельность католических священников¹⁷.

Когда в докладах специально упоминались сами белорусы, то эти упоминания обычно были очень краткими и не особенно положительными по характеру. Например, в 1911 году могилевский губернатор доложил, что белорусское население — в противо-

положность полякам и евреям — было политически благонадежно. Но в то же время он упомянул, что в его губернии «культурный уровень» и моральные устои были очень низкими и что насущной потребностью губернии является увеличение числа школ, для того чтобы вывести местное население из мрака невежества¹⁸. В этот же ряд можно поставить и доклад местного генерал-губернатора за 1906 год: «Белорусское племя... по языку и нравам представляет нечто среднее между коренными русскими и поляками». Не желая принижать белорусов, генерал-губернатор К. Кшивицкий в то же время заметил, что если правительство не предпримет энергичных мер по ограничению польской культуры и не будет «всеми культурными мерами пробуждать сознание в Белоруссии и сохранять белоруссов для восприятия русской культуры», то более развитые поляки ассимилируют белорусов. Интересен тот факт, что генерал-губернатор выступал за использование белорусского языка в школе и церкви, а также за то, чтобы правительство оказало белорусским крестьянам помощь в покупке земли¹⁹.

Лишь немногие официальные лица разделяли эту точку зрения. Чаше можно было обнаружить расплывчатые рассуждения об «обрусении края», которое, как докладывал минский губернатор в 1902 году, происходило очень медленно из-за того, что русские помещики в большинстве своем уклонялись от участия в этом процессе. Тот факт, что белорусы, или, по официальным представлениям, «русские» составляли подавляющее число крестьянского населения губернии, вообще не упоминается²⁰. Или, например, в обширном докладе генерал-губернатора П.Д. Святополк-Мирского за 1902–1903 годы можно найти призыв к тому, чтобы католики в губернии молились «на их родном языке», что в данном контексте могло означать только «на белорусском» (или «русском») — но это не было сказано прямо²¹. Несколько более определенно звучит заключение комитета, занимавшегося пересмотром ограничений по отношению к полякам, от 1905 года, которое гласит, что хотя следует как можно больше допускать «местные языки» (т.е. нерусские), в том числе и в образовательном процессе, нет ни необходимости, ни надобности вести преподавание на украинском и белорусском языках. «Малороссийское и белорусское наречия столь близки русскому языку, что совместное преподавание их не вызывается потребностями дела; белорусское наречие к тому

же, не имея литературы, едва ли даже может быть преподаваемо самостоятельно»²².

Это мнение нашло себе подтверждение в докладе виленского губернатора от 1910 года. В нем губернатор жалуется на то, что престиж польской культуры по-прежнему высок, поэтому каждый крестьянин, который получил хоть какое-то образование, тут же начинает усваивать характерные черты польской культуры, включая язык²³. С другой стороны, этот доклад содержит одно из редких негативных упоминаний о развитии белорусской интеллигенции, указывая на неблагоприятное влияние социализма в ее среде. Однако еще худшим, заключает губернатор, является появление «нового типа сельского учителя», который делает вид, что он патриот и человек из народа, а на самом деле очерняет всех помещиков, какой бы национальности они ни были²⁴. Может быть, эта не слишком ясно выраженная жалоба относится к новому — политизированному — типу белорусских национальных чувств, которые появились у молодых, радикально настроенных белорусских учителей?

С 1863 по 1914 год ход официальных дискуссий по поводу белорусов оставался во многих отношениях неизменным. Для русского чиновничества белорусы оставались «темной» крестьянской массой, подверженной польско-католическому влиянию, но в целом пассивной и неспособной к самостоятельному развитию. Несмотря на все разглагольствования правительства о необходимости восстановить «изначально русский характер» этих провинций, самому белорусскому населению в реализации этого проекта отводилась очень малая роль. Скорее напротив: часто упоминаемое в Петербурге *обрусение края* должно было осуществляться над белорусами и для белорусов, но не ими самими.

Белорусы-католики — «мы» или «они»?

По всей вероятности, той группой среди белорусов, которая наиболее часто вызывала дискуссии и порождала противоречивые оценки, были белорусы-католики. В то время, как большинство белорусов были православными (хотя многие из них были потомками униатов, переведенных обратно в православие в 1839 году)²⁵, более миллиона (около 18% всех белорусов на 1897 год) были ка-

толиками»²⁶. Если учесть достаточно жесткое соотношение между религией и национальностью в этом регионе, становится неудивительным пристальное внимание правительства к этой особой и своеобразной категории — «русским» католикам. Типичным было высказывание минского губернатора в 1901 году о «белоруссах-католиках, считающих себя поляками» и о деятельности римско-католического духовенства, «все еще не перестающего отождествлять веру с национальностью, понятие о католицизме с понятием о полонизме»²⁷. Однако не только католические священники отождествляли веру и национальность. В докладе от 1908 года начальник Могилевской губернии утверждал, что ни единому католику не следует позволять покупать землю в губернии, поясняя далее, что в основу такого разрешения «должен быть положен не национальный, а вероисповедный принцип»²⁸. Примерно в это же время губернатор Минска смело заявил: «В западных губерниях католик и поляк — синонимы»²⁹.

С одной стороны, и «общество», и чиновничество в подавляющем большинстве случаев отождествляли католическое вероисповедание с польской национальностью и «полонизмом». С другой стороны, правительство едва ли могло позволить, чтобы «католики-русские» были бы ассимилированы поляками. Но, даже если официальная риторика оспаривала тождество «католик = поляк», в нее тем не менее прокрадывались странные двусмысленности и противоречия. Например, твердо выступая против уравнивания религии и национальности, виленский генерал-губернатор князь Святополк-Мирский закончил свои рассуждения так: «При этом я не могу не высказать уверенности, что в то время, когда белорусское племя впитает в себя сознание, что оно есть племя русское, оно само обратится в лоно православной церкви»³⁰. Другими словами, даже для такого либерально настроенного сановника, как Святополк-Мирский, соотношение «католик-русский» в конечном итоге выглядело нежизнеспособным.

Подобную же противоречивость можно обнаружить в мемуарах Фердинанда Сенчиковского, католического священника, который пользовался дурной славой среди католиков из-за того, что с энтузиазмом использовал русский язык во время служб. Сенчиковский, который закончил тем, что рассорился со своим высшим духовным начальством и был вынужден покинуть этот край,

в весьма противоречивых терминах характеризует свою собственную религиозную и национальную принадлежность. Родившийся в 1837 году в семье униатов (хотя, возможно, его мать была православной), Сенчиковский в 1861-м окончил семинарию. Во время восстания 1863 года, если судить по его рассказу, он в церкви пользовался «русским и белорусским [языком] вместо польского», пытаясь сохранить католические церкви открытыми, в то время как правительство угрожало их закрыть¹³. Он описывал свою программу в следующих словах: «Я желал прежде всего уничтожить *польщизну*, обрусить ополяченный русский народ в Белоруссии, и, оставляя западную обрядность в догматах [sic], объединить ее с православием, дабы этим навсегда вырвать темный народ из политическо-польской пропаганды»¹⁴. Достаточно странно для католического священника отстаивать объединение своей паствы и православия, но еще более странно то, что несколько ниже Сенчиковский начинает перечислять своих многочисленных родственников, которые были православными, как будто пытаясь создать себе достойную «русскую» родословную. Затем, опять меняя линию, Сенчиковский яростно выступает против той идеи, что неправославные не могут принадлежать к русской нации: «Да, наконец, неужели только православный может быть русским?!... Неужели религия делает истинно-русским? А, разве, мало русских по фамилии и православных, но изменников России?»¹⁵. На случай, если кто-то все еще не уловил смысл сказанного, несколькими страницами ниже издатель торжественно отмечает: «Несомненно, что с ранних лет, под влиянием матери, душа Сенчиковского тяготела к православию. А, между тем, он, как рожденный католиком, понимал, что ему суждено, навсегда суждено остаться в чуждой ему, римско-католической Церкви»¹⁶. Вновь мы видим, что статус католика можно было принять как временное состояние, но никогда «настоящий русский» не мог принять его как постоянный и носить его с гордостью.

Однако правительственные чиновники скорее стремились избегать такого «самокопания». После 1863 года главная проблема для них состояла в стремлении уменьшить польское влияние там, где только это было возможно. Из-за отсутствия хорошо развитой школьной системы, католическая церковь, со всей очевидностью, была самым значительным польским культурным учреждением в регионе. Учитывая то, что белорусы составляли большинство

католиков в большинстве уездов северо-западных губерний (конечно, не беря в расчет литовцев в Ковенской губернии и других местах), стремление правительства снизить влияние поляков в католической церкви (в терминах того времени — провести *располячение костела*) было совершенно естественным. В конце 1869 года был издан закон о добровольном использовании русского языка в католических церквях, если того желают местный священник или приход¹⁵.

Эта мера оказалась, мягко выражаясь, неэффективной. Несмотря на усилия энтузиастов, подобных Сенчиковскому, русский или белорусский языки не были особенно популярны среди католических прихожан; местные католические иерархи стойко выступали против использования русского языка в церковных песнопениях, молитвах и проповедях и просто-напросто вытесняли из приходов или иными способами заставляли молчать священников, которые, подобно Сенчиковскому, пытались внедрить белорусский или русский языки в обиход католической церкви. Ватикан пошел еще дальше, выпустив 11 июля 1877 года правила для закрытого пользования, в соответствии с которыми категорически запрещалось использование русского языка в «дополнительном богослужении» (т.е. в проповедях, молитвах, песнопениях и др.). В середине 1890-х годов губернатор Минской губернии констатировал, что, несмотря на попытки ввести русский язык в тридцати из пятидесяти католических церквей его губернии, к тому времени «едва ли десять» церквей использовали для песнопений, проповедей и тому подобного какой-либо другой язык, кроме польского¹⁶.

Правительство воспринимало белорусских католиков как ненадежную в политическом отношении группу, и такое восприятие усилилось после подписания закона от 17 апреля 1905 года, который разрешал переход из православной веры в другую веру (прежде разрешалось обращение из других христианских и нехристианских конфессий в православие, но не наоборот). Губернатор Витебской губернии в 1905 году сообщал о «массовых обращениях» в католичество — жалоба, типичная для 1905 года и последующих лет¹⁷. Два года спустя губернатор Гродно жаловался, что католические священнослужители все еще пытаются «ополячить» область¹⁸. В 1910 году витебский губернатор доложил, что католические священники делают попытки обратить православных крестьян в католичество и преподают уроки Закона Божия исключительно на польском языке¹⁹.

Правительство было чрезвычайно озабочено проблемами «родного языка» и языка катехизации (преподавания Закона Божия). Католические священники, как докладывали многие губернаторы, заставляли своих прихожан указывать в качестве родного тот язык, на котором они молились⁴⁰. Поскольку все белорусские католики читали молитвы только на польском языке, то такая дефиниция в дальнейшем отторгла бы эту группу от русской культуры. Местные чиновники опасались, что от провозглашения польского языка «родным языком» (для молитв), останется всего только один шаг до требования осуществлять преподавание в начальной школе на польском языке — что в принципе и произошло после 1905 года. Чиновники боялись, что если не предпринять твердых и энергичных контрмер, то можно потерять миллион «русских людей». Процитируем слова минского губернатора, писавшего накануне Первой мировой войны: «Белорусский римско-католического исповедания народ — ветвь чисто русского происхождения; кроме религии, от православных белорусов он ничем не отличается: тот же народный белорусский язык, те же домашние обряды, песни, одежда, обычаи и одинаковое житейское положение в обществе»⁴¹. Этот губернатор всячески поощрял использование русского языка в католических церквях своей губернии, назначая в местные приходы белорусских священников и поставив неполяка — пусть даже литовца! — главой Минской католической семинарии⁴². Короче говоря, правительство ощущало необходимость делать все возможное для того, чтобы вбить клин между поляками и белорусами, подчеркивая, что даже те белорусы, которые исповедовали католичество, тем не менее очень схожи с остальными «русскими» в отношении языка, культуры и даже в политической сфере. Этих русских католиков необходимо было любой ценой защитить от полонизма.

Спасение белорусов от полонизма

После 1905 года призывы «спасти белорусов от полонизма» стали звучать все чаще и настойчивее. Иногда при этом открыто использовалось слово *полонизм*, хотя чаще чиновники писали о чрезмерном экономическом, культурном и религиозном засилье поляков в западных губерниях. Начиная с 1863 года, да и ранее,

обычным выразительным средством при описании данной проблемы служило создание образа антирусски настроенного польского помещика или священника, который «иезуитскими» методами пытается перетащить «темных крестьян» на сторону поляков — и эта риторика, безусловно, в некоторой степени соответствовала реальности. Подобные риторические выражения всплывали в докладах губернаторов — например, в докладе минского губернатора от 1895 года, где тот заявил, что белорусские католики не «самостоятельны» в своих мнениях и действиях из-за сильного влияния польско-католических священников⁴³. Губернатор Могилевской губернии, обладавшей наименьшим числом как польского, так и католического населения, в 1900 году отмечал, что, несмотря на то, что поляки составляют всего-навсего 3% населения, влияние их несоразмерно велико, в особенности из-за фанатично патриотичных полячек⁴⁴. Годом позже из Гродненской губернии поступил доклад, что антирусская настроенность католических священнослужителей и экономическая мощь польских помещиков взаимно усиливают друг друга и что те и другие совместно пытаются распространять антирусские настроения среди местного (белорусского) католического крестьянского населения⁴⁵.

После 1905 года количество и, если можно так выразиться, объем подобных жалоб значительно выросли. Могилевский губернатор сокрушался по поводу того, что католические священники в деле «ополячения» белорусов действуют намного успешнее, чем их православные коллеги, пытавшиеся распространить среди белорусов русские национальные настроения⁴⁶. Виленский губернатор в своих докладах от 1907 и 1909 годов развил эту тему более детально. Суть его подхода к проблеме была выражена ясно: «Вообще в настоящее время термин „поляк“ в Виленской губернии утратил характер этнографический и сделался почти исключительно термином политическим»⁴⁷. Поэтому, исходя из политической целесообразности, правительство должно поддерживать и защищать местных белорусов, включая и католиков, в которых все еще живет «вековое чувство преданности и любви к России». Для этого правительству следует способствовать развитию у белорусов национального самосознания, требовать, чтобы в местных церквях пользовались белорусским языком, и назначать в местные приходы белорусских священников⁴⁸. Словно дополняя эти строки, два

года спустя губернатор отметил, что многие местные белорусские крестьяне сильно «ополячены» и что они чрезвычайно нуждаются в защите от польских помещиков⁴⁹. Он отвергал как неисполнимую самую мысль об обращении этих крестьян в православие, подчеркивая лишь необходимость очистить местные католические церкви от польского влияния.

Одним из показателей того, что для центральных властей белорусская проблема снова приобрела значимость, было то, что в последние годы перед началом Первой мировой войны эту проблему обсуждали несколько раз. В середине 1912 года министр внутренних дел Макаров писал, что правительству необходимо развивать в белорусах чувство принадлежности к русскому народу: «...на Правительстве лежит долг, наряду с деятельностью местных русских общественных сил, всемерно содействовать поддержанию и дальнейшему развитию сознания в белорусских массах кровной национальной и культурно-исторической близости к России». Делать это надо через «русские национальные школы», через внедрение русского языка в католические церкви, а также путем проявления большей бдительности со стороны правительства по отношению к польскому влиянию на местных белорусов⁵⁰.

На следующий, 1913-й, год переписка по поводу мер против «ополячения» белорусов стала еще более объемной. Главенствующую роль в ней играл губернатор Гродненской губернии, П.М. Боярский, который написал длинный доклад о «полонизме» и способах борьбы с ним. Боярский утверждал, что в Гродненской губернии «польского народа вовсе не существует, есть только паны и есть ксендзы»⁵¹. К несчастью для русских, их собственные силы слабы и некультурны, как, например, местное отделение Союза русского народа в Белостоке. С другой стороны, поляки дисциплинированы, хорошо организованы, хорошо обеспечены в финансовом отношении. В такой ситуации, писал Боярский, правительство должно ясно показать, что оно не намеревается проводить ни русификации, ни насильственного обращения в православие. Каждый католик может продолжать исповедовать свою религию, «при условии полного слияния с коренным русским населением — так, чтобы они (католики) могли стать настоящими, искренними и верными русскими гражданами»⁵². Опять получалось так, что, хотя католикам и могло быть «позволено» придерживаться своей

религии, только особые усилия помогли бы им по-настоящему «слиться» с русской нацией. Даже в 1913 году, уже нащупав путь к более «современному» — этническому — пониманию национальности, российские чиновники продолжали рассматривать белорусов-католиков лишь как потенциальную, но еще не неотъемлемую часть русского народа.

Выводы

За полвека, прошедшие от польского восстания до начала Первой мировой войны, представление российских властей о белорусах изменилось лишь незначительно. И в 1860-х годах, и после 1905 года белорусов воспринимали прежде всего как забитое, бедное и неграмотное население, пассивный слой людей, находящихся во власти польских помещиков и слишком часто подпадающих под пагубное влияние потворствующих всему этому, хитрых католических священников. Усилия по снижению польского влияния в католической церкви в 1870–1880-х годах не принесли успеха, и, учитывая, что после 1905 года началась волна обращений в католическую веру (во всяком случае, так представлялось тогда), правительство призвало принять жесткие и более действенные меры для противостояния католическому и польскому влияниям.

Русские чиновники принимали как должное, что, освободившись от польского влияния, белорусы — даже те из них, кто исповедовал католичество, — признают, что они являются частью большой русской нации. Мысль о существовании особой белорусской культуры или языка, не говоря уж о национальности, редко возникала, а если и рассматривалась, то обычно лишь для того, чтобы сразу ее отвергнуть, — в этом видели лишь способ, с помощью которого поляки намереваются ополячить местных «русских». В отличие от ситуации с украинским языком, использование белорусского языка не воспринималось как угроза, возможно, потому, что у Белоруссии не было заграничной области, которая могла бы сыграть роль Пьемонта в местном Рисорджименто (для Украины эту роль сыграла Галиция, находившаяся в составе Австро-Венгрии). В конечном счете, российское чиновничество никогда не воспринимало белорусов всерьез. И для местных

чиновников, и для сановников в Петербурге единственный вопрос, возникавший по отношению к белорусам, формулировался как «или — или»: или становись «настоящим», сознательным и просвещенным русским, или полностью скатывайся к «полонизации», теряя при этом свою «первобытную русскую» природу. Возможность того, что белорусы могут создать и взрастить свою собственную национальную культуру, никогда серьезно не рассматривалась официальной Россией, даже в 1914 году.

Примечания

1 Одно из недавних исследований, посвященных «украинскому вопросу» в России конца императорского периода, см.: *Миллер А.И.* «Украинский вопрос» в политике властей и русском общественном мнении (вторая половина XIX в.). СПб.: Алетейя, 2000.

2 При всех своих недостатках, перепись населения 1897 года остается сокровищницей информации для историков и историков-социологов. Центральный статистический комитет Министерства внутренних дел опубликовал ее результаты в 89 томах (в алфавитном порядке по губерниям), выпустив дополнительно двухтомный «Общий свод». См.: Первая всеобщая перепись населения Российской Империи: 1897 год / Издание Центрального статистического комитета МВД. СПб., 1899–1904. Лучший обзор материалов переписи с точки зрения национальных вопросов см.: *Die Nationalitäten des Russischen Reiches in der Volkszählung von 1897* / Hrsg. von H. Bauer, A. Kappeler, B. Roth. Stuttgart: Fritz Steiner Verlag, 1991.

3 К началу XXI века исследования по «русификации» (сам термин в лучшем случае можно назвать проблематичным) и национальной политики разрослись в целую индустрию. Для ознакомления с более ранними воззрениями по этому вопросу см.: *Russification in the Baltic Provinces and Finland, 1855–1914* / Ed. by E. Thaden. Princeton: Princeton University Press, 1981; *Hosking G.* *Russia: People and Empire*. Cambridge: Harvard University Press, 1997 [*Хоскинг Дж.* *Россия: народ и империя (1552–1917)*. Смоленск: Русич, 2000]; *Kappeler A.* *The Russian Empire: A Multiethnic History* / Transl. by Alfred Clayton. N.Y., 2001 [*Каннелер А.* *Россия — многонациональная империя: Возникновение, история, распад*. М., 2000]; *Slezkine Y.* *Arctic Mirrors: Russia and the Small Peoples of the North*. Ithaca: Cornell University Press, 1994; *Weeks T.R.* *Nation and State in Late Imperial Russia: Nationalism and Russification on the Western Frontier, 1863–1914*. DeKalb: Northern Illinois University Press, 1996.

4 Точное число носителей белорусского языка составляло 5 886 000; более многочисленными в империи были только великороссы, украинцы и поляки. См.: *Weeks T.R.* *National Minorities in the Russian Empire*,

1897–1917 // *Russia under the Last Tsar: Opposition and Subversion*,
1894–1917 / Ed. by Anna Geifman. Oxford: Blackwell, 1999. P. 118.

5 Здесь и далее в работе я буду использовать русские названия описываемых губерний. Они отражают реалии того времени и тот факт, что данная статья воссоздает ситуацию преимущественно в том виде, в каком она виделась *русским*. Разумеется, я не буду касаться вопроса о степени «русскости» этих губерний. Точная численность белорусов и процентный состав их среди населения губерний были следующими: Виленская губерния — 891 903 человек (56,05%); Витебская — 788 599 (52,95%); Гродненская — 705 045 (43,97%); Минская — 1 633 091 (76,04%); Могилевская — 1 389 782 (82,39%). Данные взяты из след. изд.: Общий свод по империи результатов разработки данных первой всеобщей переписи населения Российской Империи. СПб., 1905. Т. II. С. 20–21.

6 Точные официальные данные по этим шести городам в 1910 году были следующие: Вильна — 22,9% «русских», 28,6% поляков, 39,8% евреев; Могилев — 38,6% «русских», 5,0% поляков, 43,2% евреев; Гомель — 47,5% «русских», 1,8% поляков, 50,5% евреев; Минск — 43,0% «русских», 11,4% поляков, 43,3% евреев; Белосток — 29,2% «русских», 2,9% поляков (данные почти наверняка неверны — поляки составляли значительную часть населения города), 64,9% евреев (Города России в 1910 г. СПб.: Центральный статистический комитет МВД, 1914. С. 90–93, 554–557).

7 Ежегодник России 1904 г. (год первый). СПб.: Центральный статистический комитет МВД, 1905. С. 85–86.

8 Это определено на основании материалов, представленных в издании «Города России в 1910 г.» (С. 90–92. Табл. 4). Численность населения городов, согласно этому источнику, была следующей: Вильна — 181 442 человек; Витебск — 101 005; Могилев — 49 583; Минск — 99 762; Гродно — 49 707; Белосток — 80 303.

9 Die Nationalitäten des Russischen Reiches... Vol. B. S. 74. Tab. 3.

10 Ibid. S. 93. Tab. 12.

11 Ibid. S. 153. Tab. 22.

12 Не вызывает сомнений, что проблема становления национального самосознания белорусов в форме массового движения нуждается в дополнительных исследованиях. Но в любом случае можно уверенно сказать, что национальное сознание белорусов к началу XX века не было высокоразвитым. Даже весьма пробелорусски настроенные современники жаловались на «забитость и апатию», которые преобладали среди белорусов. См.: Новина А. Белорусы // *Формы национального движения в современных государствах: Австро-Венгрия; Россия; Германия* / Изд. А.И. Кастелянский. СПб., 1910. С. 389. В 1993–1994 годах было проведено очень интересное исследование представлений о «нации» среди белорусов Гродненской области: Engelking A. The Natsyas of the Grodno Region of Belarus:

A Field Study // Nations and Nationalism. 1999. Vol. 5. № 2. P. 175–206. О зарождении белорусской национальной организации см.: *Цьвікевіч А.* «Западно-руссизм»: Нарысы з гісторыі грамадзкай мыслі на Беларусі у XIX і пачатку XX в. Менск: Навука і тэхніка, 1993 (1-е изд. — 1928); *Mark R.A.* Die nationale Bewegung der Weißrussen im 19. Und zu Beginn des 20. Jahrhunderts // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. 1994. Bd. 42. № 4. S. 493–509; *Lindner R.* Historiker und Herrschaft: Nationsbildung und Geschichtspolitik in Weißrussland im 19. und 20. Jahrhundert. Munich: Oldenbourg, 1999. S. 27–146; *Сувалау А.М.* Аб уплыве ідэалогіі на вызначэнне этнічнай прыналежнасці беларусаў у даследаваннях XIX – пачатку XX ст. // Весці акадэміі навук Беларусі. Серыя гуманітарных навук. 1996. № 4. С. 36–44; *Guthier S.L.* The Belorussians: National Identification and Assimilation, 1897–1970 // Soviet Studies. 1977. Vol. 29. № 1. P. 37–61.

13 Российский государственный исторический архив [далее – РГИА]. Ф. 869. Оп. 1. Д. 563. Л. 14 (записка «О Западной России»).

14 Примеры достаточно подробных докладов – таких в общем числе лишь несколько, – где белорусов не упоминают никоим образом (хотя редко обходят вниманием поляков, католиков или евреев), см.: Там же. Ф. 1263. Оп. 4 (1871 г.). Д. 46 (Виленский генерал-губернатор, 1868–1870 гг.); Ф. 1263. Оп. 1 (1874 г.). Д. 3723 (Виленский генерал-губернатор, 1871–1873 гг.); Ф. 1284. Оп. 223 (1886 г.). Д. 186 (Виленский генерал-губернатор, 1884–1886 гг.); Ф. 1281. Оп. 7 (1870 г.). Д. 56 (Гродненская губерния, 1869 г.); Там же (1866 г.). Д. 79 (Минская губерния, 1865 г.); Ф. 1267. Оп. 1 (1864 г.). Д. 8 (Могилевская губерния, 1863 г.); Ф. 1281. Оп. 7 (1867 г.). Д. 74 (Витебская губерния, 1866 г.); Ф. 1284. Оп. 7 (1865 г.). Д. 34 (Виленская губерния, 1864 г.).

15 Там же. Ф. 821. Оп. 150 (1913 г.). Д. 174. Л. 14. Этот доклад не датирован, но логика его внутреннего содержания и приложенные к нему документы позволяют предположить, что он был написан весной 1914 года.

16 Там же. Л. 19–21.

17 Там же. Л. 29 об.

18 Там же. Ф. 1284. Оп. 194 (1912 г.). Д. 38.

19 Там же. Оп. 190 (1899 г.). Д. 84-А. Л. 88 об. – 89.

20 Там же. Оп. 194 (1903 г.). Д. 98.

21 Там же. Оп. 190. Д. 84-Б. Л. 12 об. Святополк-Мирский также призывает чиновников бороться с широко распространенным суждением о равенстве понятий «католицизм» и «поляк».

22 Там же. Ф. 1276. Оп. 1 (1905 г.). Д. 106. Л. 419 об.

23 Там же. Ф. 1284. Оп. 194 (1911 г.). Д. 72. Л. 7 об.

24 Там же. Л. 19 об., 23 об.

25 Об униатской церкви и русском правительстве, особенно относительно «воссоединения» (официальный термин для массового обраще-

ния в православие) униатов с православной церковью в 1839 году, см.:

Weeks T.R. Between Rome and Tsargrad: The Uniate Church in Imperial Russia // Of Religion and Empire: Missions, Conversion, and Tolerance in Tsarist Russia / Ed. by Robert P. Geraci and Michael Khodarkovsky. Ithaca: Cornell University Press, 2001. P. 70–91.

26 Die Nationalitäten des Russischen Reiches... Vol. B. S. 77. Tab. 6. Точнее, из всего населения в 5 885 547 человек, назвавшего белорусский язык своим родным, православных было 4 787 391, старообрядцев – 38 458, католиков – 1 054 451, евреев – 1 345 и мусульман – 2 738 (наряду с несколькими сотнями лютеран, лиц армяно-григорианского исповедания и др.).

27 РГИА. Читальный зал. Оп. 1. Д. 53-А (Минск, 1901 г.). С. 2–3.

28 Там же. Ф. 1284. Оп. 194 (1909 г.). Д. 105. Л. 10.

29 Там же (1908 г.). Д. 56. Л. 2. Это утверждение было высказано в докладе за 1907 год.

30 Там же. Оп. 190. Д. 84-Б. Л. 12 об. – 13.

31 *Жиркевич А.В.* Из-за русского языка. (Биография каноника Сенчиковского, в двух частях, с алфавитным указателем и тремя фотографиями). Ч. 1. На родине Белоруссии. Вильна: Русский почин, 1911. С. 11.

32 Там же.

33 Там же. С. 12–14, цитата на с. 14, с оригинальной пунктуацией.

34 Там же. С. 29.

35 Дополнительные сведения можно получить из следующей работы: *Weeks T.R. Religion and Russification: Russian Language in the Catholic Churches of the “Northwest Provinces” after 1863 // Kritika. 2001. Vol. 2. № 1. P. 87–110.* См. также два отчета русских современников: *Владимиров А.П.* История располячения Западно-русского костела. М., 1896; *Чихачев Д.Н.* К вопросу о располячении костела в прошлом и настоящем: Сборник статей. СПб, 1913.

36 РГИА. Ф. 1284. Оп. 223 (1895 г.). Д. 145. Л. 9.

37 Там же. Оп. 194 (1906 г.). Д. 45. Л. 2 об.

38 РГИА. Читальный зал. Оп. 1. Д. 22 (Гродно, 1907 г.). Л. 94.

39 РГИА. Ф. 1284. Оп. 194 (1911 г.). Д. 34. Л. 12 об. – 13.

40 Там же. л. 14. Доклад из Гродненской губернии за 1910 год выражает ту же самую мысль. В нем говорится, что католические священники побуждали родителей просить об обучении их детей Закону Божьему на польском языке. См.: Там же. Читальный зал. Оп. 1. Д. 22 (Гродно, 1910 г.). Л. 102.

41 Там же. Д. 53-А (Минск, 1913 г.). С. 1.

42 Там же. С. 4–6.

43 Там же (Минск, 1895 г.). С. 10.

44 Там же. Д. 54 (Могилев, 1900 г.). С. 5.

«Мы» или «Они»?

45 Там же. Д. 22 (Гродно, 1901 г.). С. 74–76.

46 Там же. Д. 54 (Могилев, 1907 г.). С. 10.

47 Там же. Ф. 1284. Оп. 194 (1908 г.). Д. 66. Л. 6.

48 Там же. Л. 9 об. – 10.

49 Там же (1910 г.). Д. 69. Л. 3 об – 4 об.

50 Там же. Ф. 821. Оп. 128 (1912 г.). Д. 697. Л. 11–12.

51 Там же. Оп. 150 (1912 г.). Д. 167. Л. 8 об.

52 Там же. Л. 22.

Перевод с английского Наталии Бодягиной

ЧАРЛЬЗ СТЕЙНВЕДЕЛ

Создание социальных групп и определение социального статуса индивидуума: идентификация по сословию, вероисповеданию и национальности в конце имперского периода в России

Жить так, как жили прежде отцы и деды, не приходится. Деревенский житель все более и более чувствует на себе, что жизнь его тесно связана тысячами невидимых нитей не только со своими односельчанами, с ближайшей волостью, но связи эти идут гораздо дальше. Он смутно чувствует, что является подданным обширного государства и что события, свершающиеся далеко от места его родины, могут оказать гораздо более сильное влияние на его жизнь, чем то или другое происшествие в его деревне или в его волости¹.

ПЕТР КОРОПАЧИНСКИЙ,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УФИМСКОГО ГУБЕРНСКОГО ЗЕМСТВА

Когда Коропачинский писал эти слова, он подразумевал под «невидимыми нитями», связывающими жителя деревни с государством, то новое политическое сознание, которое появилось в первую очередь благодаря политической мобилизации, произошедшей в ходе революции 1905 года. Наиболее яркие черты этой мобилизации — такие, как создание политических партий, их программ, появление более свободной прессы, — привлекали внимание политических деятелей того времени, а впоследствии и исследователей истории России конца имперского периода. Мы, однако, могли бы рассмотреть эти связи с другой точки зрения: с точки зрения государства и тех «невидимых нитей», которые оно использовало для контакта со своими подданными. Кроме того, многие из этих связей были не столько невидимыми нитями, сколько документальными свидетельствами — письменными документами, хранившимися в папках государственных чиновников, которые пытались расширить степень осведомленности режима о своих подданных,

а в идеале — и степень его власти над ними². Письменные документы, такие как выписки из метрических книг (церковно-приходских книг, в которые заносились данные о рождениях, свадьбах и смертях), и внутренние паспорта, которые регулировали проживание и перемещение в пределах империи, служили связующими нитями между отдельными подданными и правящим режимом.

В этой статье рассматривается попытка царского режима исследовать и идентифицировать состав населения, которое находилось под его властью в последнее столетие существования империи. Я концентрирую внимание на метрических книгах и внутренних паспортах как тех методах, с помощью которых самодержавие пыталось классифицировать население в соответствии с сословным и вероисповедным признаками³. Эти попытки носили различный характер в зависимости от того, как изменялись представления режима о желательных гражданских порядках. Вплоть до 1917 года главными документами, удостоверяющими личность их владельцев, оставались метрические книги, которые велись священниками, и паспорта, удостоверявшие сословную принадлежность и вероисповедание владельца. Однако, стремясь добиться более широкого учета гражданского состояния и установить связи с индивидами, а не с общественными институтами — особенно с 1905 года — царский режим начал стирать правовые различия между религиозными конфессиями и сословиями. Алексис де Токвиль, Макс Вебер и Чарльз Тилли в разных контекстах и с помощью различных методов описывали это «сглаживание различий между подданными» и установление более прямой связи их с центральной властью как отличительную черту современных государств⁴. В России этот процесс сделал сословный статус и вероисповедание менее удобными, чем прежде, средствами структурирования гражданского порядка. С 1905 года, когда удостоверяющие личность документы стали более распространенными, эти категории утратили свою прежнюю силу. Одним из признаков этих изменений стало распространение идентификации подданных государства по этническому и национальному признаку, выраженным в словах «народность» и «национальность»⁵. В определенном контексте признак «народности» дополнял признаки «сословия» и «вероисповедания», а иногда даже заменял последний.

Метрические книги

Регистрация рождений, браков и смертей вошла в практику Российского государства во время царствования Петра I (1682–1725)⁶. Постоянно жаждущий увеличения числа рекрутов и налогов для ведения своих военных кампаний и осуществления проектов государственных реформ, Петр искал способы учета отдельных людей, а не дворов, как это было принято в Московском царстве в XVII веке. В 1724 году Святейший Синод дал указания православным священникам регистрировать все факты рождения и смерти в их приходах и отправлять эту информацию церковным властям⁷. Вплоть до правления Александра I (1801–1825) и создания системы министерств усовершенствования в составлении метрических книг происходили очень медленно. Только к началу правления Николая I (1825–1855) назначение метрических книг стало более определенным. В 1831 году государство приняло меры для стандартизации форм ведения этих книг⁸. Священники должны были записывать даты рождения и крещения всех православных детей, а также имена, сословную принадлежность и вероисповедание их родителей. Священники также регистрировали браки и смерти. Однако метрические книги имели много недостатков, которые снижали степень их достоверности. Когда метрическая информация поступала от священника приходской церкви в губернскую консисторию, она часто терялась или искажалась. В законе не предусматривалось никаких особых наказаний за неправильное обращение с метрическими книгами, что побудило одного современника заявить, что они составляют «одну из наиболее слабых сторон нашего законодательства»⁹.

Несмотря на эти недостатки, метрические книги служили основным средством регистрации личности в императорской России. Они обеспечивали основы гражданского статуса — для защиты личной собственности и прав наследования, для официального признания браков и детей, для требования привилегий, соответствующих сословному статусу. С 1831 по 1834 год предоставление метрической информации стало обязательным при поступлении на государственную службу, а также для тех, кто желал быть возведенным в дворянское достоинство, и для дворян, которые желали доказать, что они достигли совершеннолетия. Метрические

данные также помогали определить, является ли мужчина военно-обязанным¹⁰. Для того, чтобы предоставить необходимую информацию, нужно было запросить в консистории соответствующую выписку из метрической книги, которую затем можно было предоставить тому, кто настаивал на удостоверении личности.

Использование метрических книг было новшеством в Российской империи. До этого царский режим лишь периодически определял численность налогоплательщиков, потенциальных рекрутов или дворов посредством ревизий. Государственные чиновники подразумевали, что метрические книги будут обеспечивать постоянную и более подробную регистрацию всех подданных империи. Выдача метрической информации по требованию делала ее своего рода удостоверением личности, бумагой, которой владел подданный и которая указывала, что он или она принадлежит к определенной социальной группе и определенному вероисповеданию. Метрические книги самым жестким образом связывали человека с определенной религиозной конфессией. Поскольку за всеми метрическими записями следил приходской священник, человек был в буквальном смысле слова приписан к определенной церкви с самого начала своей жизни. Гражданское положение каждого зависело от его связи с церковью и с ведущимися церковью записями, что прочно связывало гражданский статус с вероисповеданием.

Регистрация подданных с помощью официальной церкви порождала определенные сложности в империи, состоявшей из множества религиозных групп. Не все подданные царя были православными. Что же делать с остальными? Как отметил Жерар Нуарьель, «старый порядок» во Франции сталкивался со сходной проблемой. Регистрация гражданского состояния подданных католическими священниками оставляла многих евреев и протестантов без гражданского статуса. В 1792 году революционная Республика попыталась разрешить эту ситуацию, секуляризовав регистрацию и обязав муниципальные власти регистрировать гражданское состояние всех французских граждан¹¹. Эта возможность едва ли была привлекательной для Российского государства, где самодержавный монарх управлял империей, организованной по закрепленному законом сословному принципу. Николай I не был заинтересован в создании всеобъемлющей

категории «граждан». Как покровитель православной церкви, Николай I не желал и отменять церковную регистрацию гражданского состояния¹².

Однако Николай I и его чиновники искали способы установления личности царских подданных и включения их в определенный гражданский порядок. Царский режим попытался добиться регистрации гражданского состояния лиц нехристианских исповеданий, требуя, чтобы их регистрировали в соответствующих религиозных учреждениях. Между 1826 и 1837 годами император издал несколько законов, предписывавших католическим священникам, мусульманским имамам, лютеранским пасторам и иудейским раввинам вести отныне метрические книги¹³. Эти законы не распространяли регистрацию гражданского состояния на все религиозные группы. Самые существенные исключения из этой системы составляли религиозные диссиденты, так называемые старообрядцы, составлявшие почти 10% населения империи, а также язычники¹⁴. Православная церковь настаивала, что старообрядцы являются частью ее паствы, но раскольники отвергали литургические реформы XVII века и по большей части не хотели иметь ничего общего с православным духовенством. Кроме того, расширение сферы применения метрической регистрации шло в ущерб ее единообразию. Так, мусульманские имамы не регистрировали сословный статус. Священнослужители, которые не знали русского, могли вести метрические книги на своем родном языке — например, имамы могли писать по-татарски¹⁵. Тем не менее распространение метрических книг в 20–30-х годах XIX века представляло собой значительный шаг к получению неправославными жителями империи законного статуса подданных царя.

Эпоха Великих реформ принесла с собой новый этос управления империей; это изменило роль метрической регистрации. Просвещенные бюрократы-реформаторы стремились усилить участие населения в управлении империей и уменьшить значение сословных различий. Государство освободило крестьян, ввело новую судебную систему и предоставило земствам (выборным органам самоуправления) некоторую роль в местных делах. Военная реформа 1874 года стала поворотным пунктом на пути к равенству прав всех подданных мужского пола. До 1874 года военная служба была особой повинностью низших сословий. В соответ-

ствии с военной реформой 1874 года военнообязанными стали мужчины всех сословий. Всеобщая воинская повинность, предусматривавшая сокращение срока службы в зависимости от уровня образования, заменила прежнюю сословную систему комплектования армии. В результате проведения Великих реформ самодержавие сделало первые нерешительные шаги к установлению более широкого, менее партикуляристского гражданского порядка.

Реформистское видение нового гражданского порядка требовало и применения определенного давления для того, чтобы включить в метрическую систему 1874 года ранее исключенные из нее группы, как, например, старообрядцев. Однако средства, которые использовал для этого режим, разительно отличались от практики прошлого. Правительство решило сделать старообрядцев первой религиозной группой, которая должна была регистрировать свое гражданское состояние у гражданских властей. Император издал закон, обязавший старообрядцев сообщать о фактах рождения детей, заключения браков и смерти местным полицейским властям, которые должны были заносить эти данные в метрические книги и выдавать информацию из метрик таким же образом, как это делали консистории¹⁶. Для староверов гражданское положение стало светским делом, не связанным с какими-либо религиозными властями. Вмешательство гражданских властей в вопросы метрик стало прецедентом. В 1879 году баптистов (представителей одного из направлений протестантизма, не пользовавшегося особым доверием государства) также обязали регистрировать метрическую информацию в полиции¹⁷. Для представителей этих религиозных сообществ, которых периодически притесняли и подвергали преследованиям, контакт с полицией едва ли более привлекателен, чем сотрудничество с православным духовенством. Трудно определить степень, в которой население следовало этим правительственным распоряжениям. Тем не менее гражданская регистрация знаменовала собой разрыв с прошлой практикой религиозной регистрации гражданского состояния и способствовала укреплению гражданского порядка, предусмотренного инициаторами Великих реформ.

Примерно в 1900 году изменения в экономике и политические волнения привели к оживлению споров о сущности гражданской жизни в империи, столь бурных, каких не помнили с того

времени, как убийство Александра II в 1881 году положило конец эпохе Великих реформ. Даже некоторые ведущие государственные деятели, которые раньше проявляли мало интереса к политическим реформам — такие как С.Ю. Витте, занимавший посты министра финансов (1892–1903) и председателя Комитета министров (1903–1906), а затем и Совета министров (1905–1906), — обсуждали проекты реформ, которые сделали бы работу административных учреждений более рациональной и способствовали бы «надлежащей гражданской жизни всех членов общества» под властью самодержца¹⁸. Гражданский статус в реформированном государстве должен был, однако, сохранить религиозный компонент. Даже для государственных чиновников вроде Витте религия была «главным устоем нравственности»¹⁹. Включение всех царских подданных в гражданский порядок подразумевало, что все должны иметь право свободно исповедовать свою веру. Тогда все будут членами какой-либо церкви и, таким образом, будут участвовать в гражданской жизни. Несколько позже, в 1912 году, Витте указал, что религиозная терпимость представляет собой ключевой компонент в создании «национального государства» определенного типа, поскольку, по его мнению, веротерпимость устанавливала «отношения правительства ко всем гражданам и их между собою на основании незыблемых и одинаковых для всех законов»²⁰. Отдельные люди должны быть вписаны в гражданский порядок через религиозные учреждения.

17 апреля 1905 года император издал закон о веротерпимости. Впервые за всю российскую историю православные подданные царя получили законное право уходить из господствующей конфессии. Общины религиозных диссидентов, в частности старообрядцев, получили право легально организовываться и строить молитвенные дома²¹. Разрабатывая законодательство о веротерпимости, Комитет министров под руководством Витте подчеркивал, что гражданский порядок требует религиозной терпимости и указывал на важность метрической регистрации. По мнению Комитета министров, попытки обратить представителей других вероисповеданий в православие с течением времени привели к появлению значительных групп, упорно сопротивлявшихся этому влиянию, или даже к отступничеству от православия. Такие люди были православными «только по имени». Они не могли открыто испове-

довать свою истинную веру, а закон запрещал неправославным священникам совершать для них требы. Тем не менее они отказывались исповедовать православие и не обращались за требами к православным священникам. В результате такие люди «остаются совсем без религии». Помимо «нравственных страданий», которые переживали люди, оставленные без «духовного утешения» в трудные моменты своей жизни, Комитет министров отметил также тот факт, что такие люди были лишены «существенных гражданских прав». Поскольку их рождение, браки и смерть не были зарегистрированы в метрических книгах, у них не было признанных законом семей и, следовательно, у них не было твердых прав собственности²². Комитет постановил, что людям, которые исповедуют какую-либо неправославную религию, должно быть позволено официально вступить в секту или церковь, веру которой они на самом деле исповедуют. Тогда они смогут регистрироваться в метрических книгах и вступят в гражданскую жизнь на более или менее равных условиях с православными.

В последние годы существования империи оказалось, что у принципа веротерпимости неопределенное будущее. Законопроекты, которые должны были внедрить принцип веротерпимости в деятельность широкого ряда учреждений, не были одобрены в Государственной Думе. В конце концов в 1909 году председатель Совета министров П.А. Столыпин отказался от таких проектов. Однако после выхода манифеста об укреплении начал веротерпимости в 1905 году появилось множество неправославных религиозных общин, число которых продолжало расти. От введения новых правил особенно выиграли старообрядческие общины. Ведение метрических книг, которые теперь назывались «Книгами гражданского состояния сектантов», было специально поручено этим общинам²³. Законы о веротерпимости не уравнивали все религиозные группы — существенные различия между ними сохранялись. Но когда почти все царские подданные могли принадлежать к какому-либо официально признанному вероисповеданию, Православная церковь потеряла часть своего — прежде исключительного — значения. Веротерпимость позволяла большинству людей (хотя и не всем) регистрировать метрическую информацию и таким образом приобретать основной гражданский статус через свою религиозную конфессию.

Паспорта

Как указывалось в законе 1894 года об удостоверениях места жительства – внутренних паспортах, эти документы выполняли две функции: служили «удостоверением личности», «а равно права на отлучку из места постоянного жительства в тех случаях, когда это право должно быть удостоверено»⁴. Паспорта были более совершенным способом идентификации личности, чем метрические записи. В метрических записях не указывалась текущая информация об их владельцах – место их проживания, подпись или отличительные приметы. Паспорта же давали такую информацию. Паспорта также регулировали передвижение внутри страны. В них было зафиксировано постоянное место жительства человека и регулировались его перемещения по империи. Паспортная система в России появилась примерно в то же время, что и метрические книги. В 1719 году Петр I издал закон, гласивший, что «никто не может отлучиться от места своего постоянного жительства без узаконенного вида или паспорта»⁵. Документы, необходимые для передвижения, стали стандартизированными и обязательными⁶. Паспорта превратились в способ предотвращения ухода от уплаты новой подушной подати и уклонения от рекрутских наборов.

Контроль за передвижением по России, однако, имеет более долгую историю. Регистрация мест проживания крестьян началась, по крайней мере, в XVII веке и имела целью упрочить разделение общества на привилегированных, благородных «господ» и непривилегированных крепостных, которые могли менять место жительства только с разрешения своего владельца⁷. В XVIII–XIX веках правила выдачи паспортов были разработаны так, чтобы отразить сложный социальный состав империи. Законы о паспортах не были одинаковы для всех царских подданных. Члены привилегированных сословий – дворяне, чиновники, почетные граждане и купцы – могли выбирать в качестве своего официального места жительства любой населенный пункт, в соответствии с потребностями их государственной службы, иных занятий или местоположением их недвижимой собственности. В отличие от них члены низших сословий не имели возможности выбирать. Те, кто принадлежал к городским низам – мещане и ремесленники, – приписывались к специальным сословным учреждениям,

а деревенские жители приписывались к сельским общинам. Эта практика подчеркивала представление о том, что каждый человек принадлежит к определенной социальной группе и к определенному месту жительства²⁸. Значительная разница между этими группами заключалась также в том, какие именно паспорта они могли получить. Представители высших сословий получали в полиции книжечку с неограниченным сроком действия, которая позволяла им свободно передвигаться по стране, не получая на это специального разрешения. Члены низших сословий получали паспорта, которые были действительны в течение пяти лет; по истечении этого срока они должны были обновлять эти документы. Поскольку низшие сословия несли налоговую ответственность по принципу круговой поруки, они могли получить свои паспорта только с разрешения соответствующего сословного органа (мещанской или ремесленной управы, если они жили в городе, или волостного старшины, если они жили в деревне)²⁹. Низшие сословия также должны были платить годовой размер сборов за использование своих паспортов — то был своеобразный налог на право передвижения. Члены низших сословий могли получить разрешение отсутствовать на месте своего постоянного жительства на срок до одного года, но опять-таки только с разрешения их административно-сословного учреждения.

Другие группы сталкивались еще и с дополнительными ограничениями на передвижение. Евреи могли проживать только в пределах «черты оседлости», которая включала в себя 17 губерний вдоль западной границы империи. Они могли выезжать за пределы «черты» только в специально определенных законом случаях³⁰. Женщины любых сословий могли получить свой собственный паспорт только с разрешения своего отца или мужа. В противном случае их вписывали в паспорта их отцов и мужей. Некоторые категории лиц по закону не имели права иметь паспорта³¹. Несмотря на крупные политические и юридические перемены, развернувшиеся в период с 1857 по 1894 год, правила оформления паспортов мало изменились³². Волостные старшины просто взяли на себя обязанность регулировать передвижения крестьян, которой лишились помещики после отмены крепостного права в 1861 году.

Информация, содержащаяся в паспортах, несколько различалась в зависимости от того, принадлежал ли его владелец к привилегированному сословию или нет. И у тех, и у других в паспорте

указывалось полное имя, сословная принадлежность³³, дата рождения или возраст, вероисповедание, семейное положение, отношение к воинской обязанности. Но не все паспорта содержали описание внешности владельца. Грамотные владельцы паспортов, принадлежавшие обычно к привилегированному сословию, ставили в паспорте свою подпись. В паспортах неграмотных людей указывался их рост, цвет волос и «особые приметы». Информация, содержавшаяся в паспортах, различалась и еще в одном отношении. В графе 5 в паспортах привилегированных сословий содержалась информация о «постоянном месте жительства», а у непривилегированных — о «роде занятий»³⁴. Таким образом, именно сословный статус определял, какие органы выдают паспорт, может ли человек выбирать место жительства, какой вид паспорта он получает и какая информация содержится в его паспорте.

Как и в случае с метрическими книгами, события 1905 года привели к коренным переменам в положениях о паспортах. Когда П.А. Столыпин в 1906 году стал председателем Совета министров, он, как и С.Ю. Витте до него, пытался реформировать гражданскую жизнь в империи, больше привлекая население к прямому и равному контакту с государством и ослабляя сословные основы функционирования социальных и политических институтов. С этой целью был издан закон от 5 октября 1906 года³⁵. Наряду с другими мерами, по этому закону на крестьян и низшие городские слои были распространены такие же права в отношении выбора места жительства и такие же порядки выдачи паспорта, какими прежде пользовались дворяне и другие высшие сословия. Члены непривилегированных сословий могли выбирать место своего постоянного жительства в соответствии с местом работы или с местоположением их собственности³⁶. Они получали постоянные паспорта с неограниченным сроком действия. Если они продолжали жить в том месте, к которому были приписаны ранее, то они получали паспорта в своих сословно-административных учреждениях. Теперь низшие сословия были совершенно равны в правах с высшими в том, что касалось свободы передвижения и выбора места жительства³⁷.

С 1906 года паспорта больше не прикрепляли ни высшие, ни низшие сословия к строго определенному месту жительства, но они по-прежнему служили удостоверением личности и помогали

регулировать передвижение. Большинство царских подданных теперь могли выбирать постоянное место жительства, но все-таки они должны были иметь паспорт, где указывалось это место. Данные о паспортах, выданных сельским жителям, свидетельствуют, что количество выдаваемых паспортов после 1906 года продолжало увеличиваться. С 1906 по 1910 год почти каждый восьмой крестьянин в губерниях Европейской России получил паспорт³⁸. Кроме того, новое, довольно либеральное законодательство о паспортах действовало не повсеместно. Правило о том, что «никто не обязан иметь вида на жительство в месте постоянного своего жительства», не применялось в Петербурге и Москве; обычные правила выдачи паспортов также были недействительны в регионах вокруг фабрик, заводов и горных промыслов. Установление личности — паспортный контроль — в этих областях был более частым явлением³⁹. Закон все еще запрещал большинству евреев проживать за пределами черты оседлости, а замужние женщины могли получить личный паспорт только с разрешения своего мужа⁴⁰.

Законы об «усиленной охране», разработанные для укрепления государственной безопасности, знаменовали тенденцию, противоположную либеральным реформам. Эти правила существенно увеличили возможности государства контролировать передвижение и проживание его подданных. Законы об усиленной и чрезвычайной охране, принятые после убийства Александра II в 1881 году, были изначально задуманы как временные меры. Последующие правительства, однако, продолжали продлевать срок действия этих законов, и местные власти были вправе прибегать к ним вплоть до 1917 года⁴¹. Любой вариант правил об усиленной охране, будучи введенным в действие, отменял законы о паспортах. Губернаторы могли отказать индивиду в праве проживать на вверенной им территории, а также могли выслать из своих губерний всех, кого они считали неблагонадежными⁴².

В годы революции 1905 года случаи применения законов об усиленной охране значительно участились. В течение последних месяцев 1905 года царская власть практически рухнула на всей территории империи. Восстановление авторитета царской власти при П.А. Столыпине повлекло за собой политические реформы, но также отличалось и беспрецедентным усилением полицейского контроля. К марту 1906 года государство применяло различные вариан-

ты правил об усиленной охране в тридцати из семидесяти восьми губерний империи, при этом значительной частью территории еще тридцати губерний управляли чиновники, облеченные чрезвычайными полномочиями⁴³. Еще в 1913 году «усиленные» или «чрезвычайные» меры безопасности продолжали действовать в большей части империи: в столицах, в тринадцати губерниях целиком и в отдельных уездах многих других губерний, в нескольких крупных городах и на таких территориях проживания преимущественно нерусского населения, как Польша и Средняя Азия⁴⁴. Уменьшив контроль сословных институтов за передвижением непривилегированных сословий, государство усилило свой собственный прямой контроль над передвижением подданных посредством применения правил чрезвычайной безопасности.

Национальность

Метрическая регистрация и внутренние паспорта оставались наиболее широко используемыми средствами удостоверения личности, а вероисповедание и сословный статус оставались самыми важными категориями идентификации до самого крушения «старого порядка». Тем не менее изменяющаяся природа гражданского порядка и проистекающая из этого новая политическая практика привели к тому, что еще до 1917 года эти категории перестали восприниматься как достаточно надежные средства установления политической лояльности подданного, его экономического потенциала и определенного места в гражданском порядке. Когда почти все религиозные учреждения получили возможность предоставлять доступ к гражданскому статусу, возросла необходимость установления различий между религиозными конфессиями. Когда ограничения на передвижение и правила выдачи паспорта перестали быть средством отделения привилегированных сословий от непривилегированных, юридическая важность сословного статуса резко снизилась. По мере того как политика государства размывала значение сословного статуса и вероисповедания для определения места человека в гражданском порядке, важным дополнением к этим традиционным категориям стали этническая принадлежность или национальность. Даже чиновники, состояв-

шие на государственной службе, стали классифицировать население по национальному признаку.

Одним из явлений, которое ассоциировалось с идентификацией по этническому признаку, стала миграция. Аграрное перенаселение в центральных губерниях России заставляло многих двигаться на восток и юг в поисках свободной земли. Так, к 1897 году одну десятую населения Уфимской губернии составляли недавние переселенцы. Приблизительно с 1896 года режим начинает поддерживать крестьянское переселение, видя в нем способ решить проблему обнищания сельского населения в Центральной России, и масштабы переселения резко увеличились⁴⁵. В период после Великих реформ местные власти считали своей задачей включение подданных в гражданский порядок, что привело бы к воспитанию продуктивно работающего населения. Приезжими, «живущими вне закона», нельзя было эффективно управлять, заставить их платить налоги и отбывать воинскую повинность⁴⁶. Переселенцы вырвались из той сети религиозных институтов, сословных организаций и полицейских властей, которая закрепляла их определенное место в гражданском порядке и устанавливала степень их надежности и экономического потенциала.

Конечно, переселенцы тоже отнюдь не были одинаковы. Одни прибывали из близлежащих губерний, а некоторые — из совсем других регионов. Их практика ведения сельского хозяйства часто считалась более развитой, чем та, которой пользовались коренные жители на этих вновь колонизируемых землях. Чиновники подчас ассоциировали различные этнические группы с разным уровнем сельскохозяйственного развития. Такие различия не могли быть отражены в категориях сословного статуса и вероисповедания. Уже в 60-х годах XIX века местные чиновники в Уфе начали поддерживать переселение в губернию «русского элемента» для того, чтобы повысить производительность сельского хозяйства на этой окраине империи⁴⁷.

Чтобы получить больше информации о переселенцах, власти разработали и издали специальную анкету, которая позволила бы идентифицировать группы переселенцев, пытающихся устроиться на новом месте. Один пример такой анкеты, относящийся к 1895 году, содержит список вопросов, которые нужно было задавать каждой семье переселенцев. Вопросы затрагивали полное имя,

место рождения, национальность и сословный статус переселенцев. Чиновники также подробно интересовались материальным положением переселенцев и уровнем владения навыками сельскохозяйственных работ⁴⁸. Важно отметить, что в анкете не было ни одного вопроса о вероисповедании поселенцев. В июне 1904 года появился закон, который уменьшил право сословных институтов контролировать миграцию представителей низших сословий и в то же время еще более ясно отражал интерес государственных чиновников к национальности переселенцев. В законе указывалось, что «только лицам коренного русского происхождения православного исповедания» дозволено переселяться в Среднюю Азию и на Кавказ⁴⁹.

Революция 1905 года и созданная в 1906-м Государственная Дума породили новые политические условия, способствовавшие интересу государственных чиновников к национальной принадлежности отдельных подданных. Представители всех сословий и религиозных конфессий входили в ряды политической оппозиции; в результате эти категории стали казаться менее эффективным, чем прежде, средством организации гражданского порядка. Революция и выборы в Государственную Думу по-новому мобилизовали религиозные группы, создав явление, которое многие чиновники рассматривали как трансформацию прежних религиозных конфликтов в политические конфликты вполне светского характера, часто воспринимавшиеся как национальные распри⁵⁰. Чиновники начали воспринимать национальность как способ идентификации групп населения, обладающих такими интересами, которые требовали представительства в политических институтах, или такими интересами, которые государство пыталось исключить из сферы политики.

Выборы в Государственную Думу стали катализатором процесса классификации по национальному признаку на уровне отдельных людей. Выборы в Думу первых двух созывов (в 1906 году и начале 1907-го) проходили по сложной системе избирательных курий, созданных по смешанным сословным и имущественным критериям. В результате применения этой избирательной системы возникали Думы такого состава, с которыми не могли работать ни царь, ни его премьер-министр Столыпин. Распустив II Думу 3 июня 1907 года, император в качестве основной причины своего разочарования этим институтом указал значительное число

в нем нерусских делегатов. Николай II решил, что нерусские группы по-прежнему должны быть представлены в будущих Думах, но что они не должны иметь решающего голоса в «чисто русских» вопросах⁵¹. Избирательная система, по которой были избраны Думы третьего и четвертого созыва, уменьшила нормы представительства жителей сельской местности и нерусских регионов.

Демонстрируя чувствительность режима к национальному составу Думы, новый избирательный закон о выборах указывал, что предвыборные собрания должны проводиться отдельно для разных сословий и национальностей, в предназначенных для этого местах⁵². В результате, когда органы местного самоуправления составляли списки избирателей, они указывали там как национальность, так и сословную принадлежность, место жительства и размер земельных владений избирателя. Эти списки свидетельствуют как о важном значении, придававшемся национальной принадлежности, так и о сложностях, с которыми сталкивались даже образованные русские, работавшие в органах самоуправления, при классификации избирателей по национальному признаку. К тому времени, когда в Уфимской губернии в 1912 году проходили выборы в IV Государственную Думу, в шести уездах губернии все еще не было выработано четкой этнической классификации. Люди с мусульманскими фамилиями значились как «магометане» в Белебее, как «башкиры» в Бирске и как «татары» в Мензелинске. Национальность некоторых избирателей вообще не была указана⁵³. Император провозгласил национальную принадлежность фактором огромной важности для функционирования Думы, но что конкретно это значило — осталось неясным.

Образование было еще одной сферой жизни, где после 1905 года стала общепринятой идентификация по национальности. Еще в 1906 году чиновники Оренбургского учебного округа в своем ежегодном отчете идентифицировали студентов исключительно по сословию и вероисповеданию⁵⁴. К 1911 году Министерство народного просвещения планомерно собирало информацию о национальной принадлежности студентов, основываясь в первую очередь на том, какой язык студент считает родным⁵⁵. Форма, которую должны были заполнять школьные инспектора в 1912 году, содержала вопросы о национальности и вероисповедании учащихся, но не включала графы об их сословном статусе⁵⁶.

Установление родного языка студентов стало объектом особого внимания в 1912 году Закон о веротерпимости, изданный 17 апреля 1905 года, предоставлял подданным царя право изучать Закон Божий в государственных школах на своем родном языке. Родители учащегося должны были указывать родной язык своего сына или дочери. Однако чиновники Оренбургского учебного округа убедились на опыте, что в тех областях, где население было неграмотным или имело «слабо выраженное национальное самосознание», родители были не в состоянии этого сделать. Кроме того, в западных регионах империи католическое духовенство воспользовалось этой политикой для того, чтобы заставлять носителей белорусского и литовского языков указывать польский в качестве родного языка. Чтобы избежать этой ситуации, 27 октября 1912 года Министерство народного просвещения заявило, что главы начальных школ должны обращаться к родителям учащихся устно или письменно, чтобы определить их родной язык и не дать возможности неправославному духовенству повлиять на этот процесс⁵⁷. Чиновники от образования пытались получить сведения о родном языке непосредственно от самих его носителей, а не из рук религиозных институтов.

Выводы

В течение всего XIX века метрические книги и паспорта свидетельствовали о желании режима организовать гражданский порядок, основанный на принципах конфессиональной и сословной принадлежности. Метрические книги напрямую связывали подданных царя с религиозными институтами, а переход на принципы веротерпимости позволил распространить эту связь на еще большую часть населения. Различия между паспортами представителей привилегированных и непривилегированных групп поддерживали существование сословной иерархии, как и тот факт, что представители низших сословий получали паспорта только с разрешения сословных учреждений.

Во время кризиса 1905–1906 годов царские чиновники стремились установить более прямые связи между государством и большей частью его подданных. Политика в отношении метри-

ческих записей и паспортов отражала эту цель, хотя стратегии действий в каждом конкретном случае различались. Царский манифест о веротерпимости укрепил связь гражданского статуса и религиозных учреждений. Гражданский статус теперь распространился практически на все группы населения, при этом он перестал зависеть от принадлежности к некоторым официально признанным религиозным конфессиям и стал практически всеохватывающим. Вскоре после этого государство уменьшило роль сословных институтов в процессе контроля за перемещением граждан и усилило свой собственный прямой контроль за проживанием и перемещением с помощью применения законов об усиленной и чрезвычайной охране. Таким образом, предпринятое государством распространение идентификации по сословному и вероисповедному признакам на более широкие круги населения подорвало партикуляристскую деятельность негосударственных учреждений. Поскольку с расширением сферы применения метрической регистрации и выдачи паспортов возросли возможности режима идентифицировать людей по сословному признаку и вероисповеданию, увеличилась и способность этих категорий упорядочить гражданскую жизнь. Политика в отношении метрических записей и паспортов отражала попытки царского государства «уравнять» царских подданных перед централизованной властью в том смысле, который вкладывали в это понятие де Токвиль и Вебер.

В то же время царские чиновники начали чаще применять признак национальной принадлежности в качестве средства определения экономического потенциала и политической лояльности людей. Обращение к принципу национальности давало режиму те преимущества, которых не доставало принципам сословности и вероисповедания. В Российской империи национальность не была расовой характеристикой, но ее рассматривали как категорию более устойчивую, чем сословие и религия. Сословный статус можно было приобрести на службе или волей случая; можно было и обратиться в иную веру. От своего языка, культуры и происхождения, как казалось, избавиться было труднее. Национальность, хотя и не была всеобъемлющей категорией, все же не прикрепляла человека к определенному церковному или сословному учреждению. Государственная практика приписывания человека к определенной национальности соединяла подданного с более широкой «вообра-

женной» национальной общностью и стой политикой, культурной практикой и даже сельскохозяйственными традициями, которые ей сопутствовали. Однако основные методы, применявшиеся царским режимом для идентификации своих подданных — метрические записи и паспорта, — никогда не включали национальный признак. Поэтому с 1906 года, когда режим идентифицировал своих подданных по признаку сословия и вероисповедания, это делалось так, что в документах, удостоверяющих личность, невозможно было полностью отразить даже те категории, которые сам режим считал важными. В последние годы своего существования царский режим разрушил традиционные основы управления — иерархию сословий и иерархию вероисповеданий, но он не выработал, а возможно, и не мог выработать альтернативного подхода и не смог идентифицировать своих подданных соответствующим образом.

Примечания

Я хотел бы поблагодарить издателей, участников семинара «Документирование личной идентичности» и Янни Коцониса за сделанные ими ценные комментарии к более ранним версиям этого эссе, а также Американский Совет преподавателей русского языка и литературы (ACTR), Международный совет по исследованиям и обмену (IREX) и Институт Гарримана за оказанную ими поддержку моего исследования.

1 *Коропачинский И.* О нашей газете // Уфимская земская газета. 1906. 1 марта. № 1. С. 7.

2 Дискуссию о государствах современного периода и предпринимаемых ими попытках «охватить» свое население см.: *Torpey J.* *Revolutions and Freedom of Movement: An Analysis of Passport Controls in the French, Russian, and Chinese Revolutions* // *Theory and Society*. Vol. 26. № 4. P. 837–868.

3 Исследователи, изучавшие историю России конца императорского периода, уделяли на удивление мало внимания паспортам. Достойным внимания исключением является лишь описание дореволюционной паспортной системы в работе Мервина Мэттьюза (*Mathews M.* *The Passport Society: Controlling Movement in Russian and the USSR*. Boulder, CO: Westview, 1993). Джеффри Бердз рассматривает проблему выдачи паспортов в своем исследовании, посвященном социальному контролю над крестьянским трудом. Использованию метрических книг при царском режиме историки до сих пор не уделяли практически никакого внимания (*Burds J.* *The Social Control of Peasant Labor in Russia: The Response of Village*

Communities to Labor Migration in the Central Industrial Region, 1861–1905 // Peasant Economy, Culture, and Politics in European Russia, 1800–1921 / Ed. by Esther Kingston-Mann and Timothy Mixter. Princeton: Princeton University Press, 1991. P. 52–100).

4 Алексис де Токвиль в знаменитой книге «Ancien régime et la révolution» («Старый порядок и революция») описывал возникновение сильной центральной власти, управляющей все более и более гомогенным населением, как тенденцию, присущую еще «старому порядку» во Франции и развившуюся в ходе революции 1789 года. Макс Вебер считал «уравнивание управляемых перед лицом управляющих бюрократически оформленных групп» важнейшей характерной чертой современных государств (Weber M. Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology. Berkeley; Los Angeles: University of California Press, 1978. P. 983–985). Чарльз Тилли подчеркивает, что центральную роль в формировании европейских государств играл переход от косвенного к прямому управлению (Tilly C. Coercion, Capital, and European States, AD 990–1990. Oxford: Blackwell, 1990. P. 103–117). О переходе российского общества к гражданскому равенству, к практике всеобщего включения в гражданский порядок и о смене объекта управления (от управления большими коллективами — к управлению индивидами) см.: Kotsonis Y. “Subject and Citizen: Taxation and Its Meanings in Late Imperial and Early Soviet Russia” (доклад, представленный на конференции о России в годы Первой мировой войны, Санкт-Петербург, май 1998 г. [ср.: Kotsonis Y. Face-to-Face: The State, the Individual, and the Citizen in Russian Taxation, 1863–1917 // Slavic Review. 2004. Vol. 63. № 2. P. 221–247]).

5 Дискуссия о понятиях «этнической принадлежности» и «национальности» и об их использовании в классификации народов в России конца имперского периода см.: Steinwedel C. To Make a Difference: The Category of Ethnicity in Late Imperial Russian Politics, 1861–1917 // Russian Modernity: Politics, Practices, Knowledge / Ed. by Yanni Kotsonis and David Hoffman. London: Macmillan, 2000.

6 В Европе регистрация крещений велась в монастырях уже в III веке, а к XVI веку такая регистрация стала вопросом государственной важности. См.: Яновский А.Е. Метрические книги // Энциклопедический словарь / Изд. Ф.А. Брокгауз и И.А. Эфрон. Лейпциг; СПб., 1896. Т. 37. С. 201.

7 Там же.

8 Согласно закону от 1843 года, при занесении в дворянские книги тех, кто родился до 1831 года, разрешалось вместо метрических записей представлять информацию из других источников. См.: Полное собрание законов Российской империи [далее — ПСЗ]. Собр. II. Т. 20. № 19185.

9 Яновский А.Е. Указ. соч. С. 204.

10 ПСЗ. Сер. II. Т. 6. № 4313 (1 января 1831 г.). С. 116; № 4989 (6 декабря 1831 г.). С. 250. Периодически проводились ревизии для составления подушного оклада и списков лиц, подлежащих рекрутским наборам. Если же ревизии проводились недостаточно часто, рекрутские списки составлялись по метрическим книгам. См.: ПСЗ. Сер. II. Т. 6. № 4677 (28 июня 1831 г.). С. 504.

11 *Noiriel G. The French Melting Pot: Immigration, Citizenship and National Identity / Trans. by Geoffroy de Laforcade, foreword by Charles Tilly. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1996. P. XVIII. См. также его статью: Noiriel G. The Identification of the Citizen: The Birth of Republican Civil Status in France // Documenting Individual Identity: The Development of State Practices in the Modern World / Ed. by Jane Caplan and John Torpey. Princeton: Princeton University Press, 2001.*

12 Наполеон ввел гражданскую регистрацию на польской территории после победы над Пруссией в 1807 году, но это решение было аннулировано с изданием в 1826 году нового гражданского уложения (*Яновский А.Е. Указ. соч. С. 204*).

13 См. эти указы: ПСЗ. Сер. II. Т. 3. № 2296 (21 сентября 1828 г.). С. 837–839; Т. 7. № 5870 (28 декабря 1832 г.). С. 980; Т. 7. № 5770 (24 ноября 1832 г.). С. 859–860; Т. 10. № 8054 (13 апреля 1835 г.). С. 320; Т. 12. № 9991 (3 марта 1837 г.). С. 132–135.

14 *Robson R.R. Old Believers in Modern Russia. DeKalb: Northern Illinois University Press, 1995. P. 20–21.*

15 Предоставляя возможность такого выбора в метрической регистрации, империя проявляла большую гибкость, чем «старый порядок» во Франции. Однако со временем Российское государство стало добиваться большего единообразия. Так, например, закон 1891 года требовал, чтобы лютеранские метрические книги велись на русском. См.: ПСЗ. Сер. III. Т. 11. № 7798 (3 июня 1891 г.). С. 357.

16 ПСЗ. Сер. II. Т. 49. № 53391 (19 апреля 1874 г.). С. 652–656; Т. 49. № 53886 (18 сентября 1874 г.). С. 234; а также приложение к № 53886 (с. 420).

17 Там же. Т. 54. № 59452 (27 марта 1879 г.). С. 277.

18 *Wcislo F.W. Reforming Rural Russia: State, Local Society, and National Politics, 1855–1914. Princeton: Princeton University Press, 1990. P. 80–81.*

19 Журналы Комитета министров по исполнению указа 12 декабря 1904 года. СПб.: Изд-во Канцелярии Комитета министров, 1905. С. 160.

20 Витте полагал, что Отто фон Бисмарк показал пример создания национального правительства, которое следовало принципам «веротерпимости по отношению подданных не господствующего вероисповедания, даже нехристиан» и «равноправности всех граждан вне зависимости

от вероисповедания и происхождения». См.: *Vumme* С.Ю. По поводу национализма: Национальная экономия и Фридрих Лист / 2-е изд. СПб.: Брокгауз-Эфрон, 1912. С. 4.

21 ПСЗ. Сер. III. Т. 25. № 26126 (17 апреля 1905 г.). С. 258–259.

22 Журналы Комитета министров... С. 157–158.

23 Регистрация у гражданских властей становилась последним прибежищем в тех случаях, когда сектантская община не признавала ни одного из своих членов лидером и поэтому ей не на кого было возложить ответственность за ведение метрических книг. См.: ПСЗ. Сер. III. Т. 26. № 28424 (17 октября 1906 г.). С. 914.

24 Там же. Т. 14. № 10709 (3 июня 1894 г.). С. 349.

25 Свод Законов Российской Империи. СПб., 1857. Т. 17. С. 3.

26 *Mathews M.* Op. cit. P. 2; *Бекетов А.Н.* Паспорт // Энциклопедический словарь. Изд. Ф.А. Брокгауз и И.А. Эфрон. Лейпциг; СПб.: Брокгауз-Эфрон, 1897. Т. 44. С. 923.

27 Систематический сборник узаконений (2500 статей) для чинов городской полиции, составленный из пятнадцати томов Свода законов по изданию и продолжениям, 1857–1887 / Сост. И. Чулков. М., 1889. С. 81.

28 ПСЗ. Сер. III. Т. 4. № 10709 (3 июня 1894 г.). С. 349.

29 Там же. С. 354. Волостная администрация использовала разные стратегии при разрешении или запрещении выдачи паспорта. См.: *Burds J.* Op. cit.

30 *Szeftel M.* The Russian Constitution of April 23, 1906: Political Institutions of the Duma Monarchy. Brussels: Les Éditions de la librairie encyclopédique, 1976. P. 248; *Stanislowski M.* Tsar Nicholas I and the Jews: The Transformation of Jewish Society in Russia, 1825–1855. Philadelphia: Jewish Publication Society of America, 1983. P. 36–37.

31 Люди, лишенные прав по суду, находящиеся под надзором полиции, инвалиды, которые были не в состоянии о себе позаботиться, а также цыгане вообще не могли получить паспорта. См.: Законы о полиции / Сост. Н. Волков. М., 1910. С. 322.

32 С 1894 года городские жители больше не должны были иметь «вид на жительство в месте постоянного своего жительства», люди могли свободно перемещаться внутри территории своего уезда и на 35 миль за его пределами, а также наниматься на сельскохозяйственные работы за пределами региона своего постоянного проживания без паспорта. См.: ПСЗ. Сер. III. Т. 14. № 10709 (3 июня 1894 г.). С. 350; *Mathews M.* Op. cit. P. 11.

33 В паспортах использовалось слово «звание». Грегори Фриз пишет, что «звание» могло означать либо род занятий, либо социальное положение. Поскольку в паспортах низших сословий была также предусмотрена графа «род занятий», в этом случае «звание», по всей видимости,

означало нечто большее, чем просто сферу деятельности (*Freeze G. The Estate (Soslovie) Paradigm and Russian Social History // American Historical Review. 1986. Vol. 91. № 1. P. 31* | *Фриз Г. Сословная парадигма и социальная история России // Американская русистика: Вехи историографии последних лет: Императорский период / Сост. М. Дэвид-Фокс. Самара, 2000. С. 154*)).

34 ПСЗ. Сер. III. Т. 14. № 10709 (3 июня 1894 г.). Приложение к № 10709. С. 286, 289. Исключение из этого правила составляли евреи. У каждого из них в паспорте должны были указываться «особые приметы» вне зависимости от грамотности владельца. Поскольку паспортные ограничения для евреев были намного более строгими, государственные чиновники могли предположить, что у евреев есть особые основания стремиться обойти правила, и потому пытались уменьшить эту возможность.

35 Закон от 5 октября 1906 года послужил основой для статьи «Основных законов империи», изданных 23 апреля 1906 года, в которой указывалось, что «каждый Российский подданный имеет право свободно избирать место жительства... и беспрепятственно выезжать за пределы государства». См.: *Szeftel M. Op. cit. P. 98.*

36 ПСЗ. Сер. III. Т. 26. № 28392 (5 октября 1906 г.). С. 891–893.

37 Там же. С. 892. Внешний вид паспортной книжки, однако, в целом не изменился.

38 Средний процент сельского населения, которое получило паспорта в 43 губерниях Европейской части России, вырос с 2,9% в 1861–1870 годах до 12% в 1906–1910-м, или примерно в 10 раз. См.: *Burds J. Op. cit. P. 56–57.*

39 Устав о паспортах // Свод законов. Т. 14 / Сост. Л.М. Роговин. СПб.: И.И. Зубков, 1913. С. 2.

40 *Szeftel M. Op. cit. P. 250.* Только в августе 1915 года, во время Первой мировой войны, государство наконец позволило большинству евреев проживать за пределами черты оседлости. Столь много евреев было вынуждено покинуть зону военных действий или было депортировано во внутренние губернии страны, что министр внутренних дел официально разрешил евреям проживать в городах за пределами черты оседлости (*Ibid. P. 148*). О женщинах см.: Устав о паспортах... С. 9–10.

41 Правила предусматривали три степени чрезвычайных мер -- «усиленную охрану», «чрезвычайную охрану» и военное положение, -- применение которых позволяло местным чиновникам различными путями и в различной степени пренебрегать юридическими процедурами. См.: *Daly J. W. On the Significance of Emergency Legislation in Late Imperial Russia // Slavic Review. 1995. Vol. 54. № 3. P. 602–629; Pipes R. Russia under the Old Regime / 2nd edition. N.Y.: Collier Books, 1992. P. 305–309; Ascher A. The Revolution of 1905: Russia in Disarray. Stanford: Stanford University Press, 1988. P. 110.*

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА В РОССИИ

42 *Daly J.W.* Op. cit. P. 613, 616; ПСЗ. Сер. III. Т. I. № 350 (14 августа 1881 г.). С. 263–266.

43 *Ascher A.* Op. cit. P. III.

44 Устав о паспортах... С. 273–275.

45 *Усманов Х.Ф.* Развитие капитализма в сельском хозяйстве Башкирии в пореформенный период. М.: Наука, 1981. С. 72–73.

46 Государственный архив Оренбургской области. Ф. 6. Оп. 8. Д. 190. Л. 105; цит. по: *Усманов Х.Ф.* Указ. соч. С. 61.

47 *Усманов Х.Ф.* Указ. соч. С. 61–62.

48 Центральный государственный архив Республики Башкортостан [далее — ЦГИАРБ]. Ф. I-II. Д. 1272. Л. 17-17 об.

49 ПСЗ. Сер. III. Т. 24. № 24701 (6 июня 1904 г.). С. 604.

50 Анализ этого процесса на примере одного конкретного региона см.: *Steinwedel C.* Invisible Threads of Empire: State, Religion, and Ethnicity in Tsarist Bashkiria, 1773–1917 <Ph.D. Dissertation, Columbia University, 1999. Ch. 4>.

51 ПСЗ. Сер. III. Т. 27. № 29240 (3 июня 1907 г.). С. 320.

52 Там же. С. 324.

53 Уфимские губернские ведомости. 1912. 1 августа. № 60. Приложение; 4 августа. № 61. Приложение.

54 ЦГИАРБ. Ф. I-109. Оп. I. Д. 167. Л. 55.

55 *Рыжков Н.А.* Начальные школы Оренбургского учебного округа по переписи 18-го января 1911 г. // Вестник Оренбургского учебного округа. 1915. № 3. С. 207.

56 Вестник Оренбургского учебного округа. 1912. № 7/8. С. 513–514.

57 О языке преподавания Закона Божия инославных исповеданий, 27 октября 1912 г. // Вестник Оренбургского учебного округа. 1913. № 1. С. 17–18.

ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО АННЫ ПРОСКУРИНОЙ

БЕНДЖАМИН НАТАНС

За чертой оседлости: евреи в дореволюционном Петербурге

Будь история закрытой книгой, которую запечатывают по окончании каждой эпохи, мы не слишком бы интересовались историей привилегированных евреев.

ХАННА АРЕНДТ

Одной из характерных черт так называемого «еврейского вопроса» в императорской России был его территориальный аспект. Со времен правления Екатерины Великой, которая, раздвинув границы своей империи до польских земель, тем самым непреднамеренно приобрела около полумиллиона подданных-евреев, и до крушения правления Романовых в феврале 1917 года зона проживания евреев была законодательно ограничена западной и юго-западной окраинами империи — территорией, которая стала известна как «черта постоянной еврейской оседлости». Как следствие этого, «еврейский вопрос» в России в значительной мере вращался вокруг проблемы того, можно ли (и если да, то до какой степени) позволить евреям проживать и работать на обширных внутренних пространствах империи и, в частности, в ее великорусских губерниях.

Несмотря на то что императорская Россия не знала процесса еврейской эмансипации в европейском смысле этого слова, заметная брешь в стене, отделяющей евреев от русских, была пробита в эпоху Великих реформ. Намереваясь положить конец квазиавтономному положению евреев и стремясь максимально аккумулировать на пользу империи их экономическую и социальную активность, царское правительство при Александре II предоставило нескольким группам внутри еврейского населения права и при-

вилегии, которыми обладали их нееврейские собратья по социальному положению, включая, где это было возможно, право на проживание вне «черты». Так, в 1859 году еврейские купцы первой гильдии были официально уравнены в правах с русскими членами купеческого сословия. В течение двух следующих десятилетий стратегию интеграции евреев в различные уровни российской социальной иерархии осторожно распространяли и на другие группы еврейского населения. В 1861 году евреи, окончившие российские университеты, были официально уравнены в правах с русскими, имеющими высшее образование; в 1865-м такая же политика была применена к евреям-ремесленникам, в 1867-м — к отставным солдатам-евреям, прослужившим в Российской армии полный двадцатипятилетний срок в правление Николая I, и, наконец, в 1879-м — к евреям, окончившим любые высшие учебные заведения¹. После этого самодержавие утратило свой энтузиазм в отношении еврейской реформы, как, впрочем, и в отношении реформ в целом. Тем не менее, несмотря на новые антиеврейские ограничения в 1880–1890-х годах, привилегии, дарованные купцам и иным «полезным» группам еврейского населения, оставались в силе до 1917 года.

Этот тщательно проведенный эксперимент, который я называю «выборочной интеграцией», привел к возникновению еврейских общин в самой России, представители которых действительно могли быть в собственном смысле слова названы «русскими евреями»². Перепись 1897 года выявила около 314 тысяч евреев (в то время как еврейское население империи в целом насчитывало почти пять миллионов), проживающих вне черты оседлости и Царства Польского³. Самая значительная еврейская община во внутренних губерниях империи сформировалась в Петербурге — наиболее населенном, современном и индустриализованном городе страны. Составляя примерно 7 тысяч в 1869 году (году первой относительно достоверной местной переписи населения), число евреев, легально проживавших в столице, к 1910 году возросло до 35 тысяч. Источники того времени позволяют утверждать, что примерно равное или даже большее число евреев проживало в Петербурге незаконно⁴. Поскольку механизмы выборочной интеграции обеспечили относительно высокую концентрацию богатства и светского образования среди столичных евреев и поскольку по-

следние находились в непосредственной близости к царской политической элите, петербургская еврейская община быстро присвоила себе ведущую роль как представитель интересов русских евреев в целом.

Цель этой статьи — проанализировать развитие петербургского еврейства как общины на передовой линии столкновения с русским населением и с царским государством. Начав с анализа появления и расселения еврейских иммигрантов в российской столице, я попытаюсь поместить евреев в специфической городской топографии Петербурга, а также реконструировать историю как их быстрой аккультурации, так и постоянно сохраняющейся обособленности. Затем я перейду к истории борьбы за создание еврейских общинных институтов, где социальные и религиозные противоречия, присущие жизни евреев в пределах черты оседлости, быстро выдвинулись на передний план и были усилены городскими и имперскими властями, намеревавшимися ограничивать все то, что казалось им проявлениями чрезмерной еврейской солидарности. История евреев в Петербурге конца XIX века поможет расширить наши представления о роли этнических и религиозных различий в жизни имперской столицы, о развивающейся структуре российского еврейского общества и о попытке самодержавной власти разрешить «еврейский вопрос» в пределах своей собственной столицы.

Окно в Россию

Предоставление прав на жительство само по себе не может объяснить, почему столь значительное число евреев устремилось в Петербург, уезжая так далеко от городов и деревень черты оседлости, где зачастую на протяжении столетий жили их предки. Юрист Генрих Борисович Слиозберг, чья семья жила под Вильной, по его словам, «с незапамятных времен», вспоминал свое решение пройти курс обучения в Петербургском университете (что ему и удалось в 1880-х годах): «Столько привлекательного для меня представляла столица, — центр духовной жизни страны, где, как мне думалось, можно встречаться с писателями, где жизнь бьет ключом и свет просвещения изливается широкими струями, увлекаая

всех к культуре и прогрессу»⁵. Хаим Аронсон, предприимчивый часовщик, переехал в столицу, чтобы его новинки получили доступ на более широкий рынок⁶. Столь заманчива была столица империи, что многие евреи поселялись здесь, не имея законных прав на жительство вне черты оседлости и потому постоянно находясь под угрозой принудительной высылки городской полицией. Одним из таких людей был Гершон бен Гершон, главный герой автобиографической повести Гершона Лившица «Исповедь преступника» (1881), который в час своей высылки говорил: «Жалко бросить Петербург! Место в конторе хорошее, круг знакомства по душе, публичная библиотека под рукой, каждый день свежая газета, театр хороший и, вообще, все блага цивилизации. Все это надо бросить и уехать, а главное: куда? В Москву, Киев, Орел, Харьков? но эти города подразумеваются в *Nota-bene* на моем паспорте. В Варшаву? но я *русский* и не знаю по-польски, а там в конторах это требуется. К „нам“: в Вильну, Ковну, Гродно, Минск, Бердичев? — бррр!! вонь уличная, затхлость нравственная, оцепленное кордоном болото, где копошится, барахтается темная, голодная еврейская масса, где один у другого кусок хлеба из горла вырывает!»⁷.

Действительно, образ Петербурга, как одновременно притягательного и отталкивающего, типичен для русской литературы XIX столетия, но в восприятии евреев эти две стороны образа российской столицы приобретали несколько иные смысловые оттенки. Магнетическая притягательность города усиливалась его ролью светского мегаполиса, дарующего спасение от уз ортодоксальной религиозности и гнетущей бедности жизни в пределах черты оседлости. В то же самое время неопределенный правовой статус евреев порождал постоянный страх быть изгнанным и острую чувствительность к переменам политического ветра. «Это не был Эдемский сад, — вспоминал сионистский писатель Мордехай бен Гиллель Га-Козн, переехавший в Петербург вместе со своим отцом-купцом в 1877 году. — Это было состояние охотничьей собаки, которая трепещет от малейшего шума. При виде полицейского офицера или чиновника тебя охватывали паника и страх, как бы им не пришлось в голову спросить о месте твоего проживания и потребовать твой паспорт. Особенно пугливы были мы после каждого террористического акта»⁸.

Практически для всех еврейских иммигрантов Петербург был первым увиденным ими «русским» городом; для них северная столица служила окном не столько в Европу, сколько в саму Россию. «С самого начала, — вспоминал писавший на идиш Перец Гиршбейн о своем первом впечатлении от Петербурга, — я почувствовал себя в русской атмосфере»⁹. В пределах черты оседлости евреи жили большей частью среди украинцев, белорусов, литовцев и поляков; во многих маленьких городках — так называемых «штетлах» или «местечках» — сами евреи были единственной значительной этнической группой. Даже в больших городах «черты», таких, как Киев и Одесса, этнические русские составляли лишь около половины всего населения¹⁰. Напротив, в Петербурге на закате империи носители русского языка составляли около 80% всего населения¹¹. Несомненно, в русской литературе и славянофильской идеологии столица империи имела ореол чужого города, в котором преобладало европейское влияние. Но в воспоминаниях евреев можно встретить совершенно иное восприятие Петербурга. Невский проспект, явно наиболее космополитический, европейский бульвар в целом городе, предстал глазам жены преуспевающего откупщика Полины Венгеровой как квинт-эссенция «русской уличной жизни, в которой отразилась вся русская натура». Бундист Владимир Медем нашел Петербург «изумительным городом, глубоким и неуловимым, как русская душа»¹².

Как показала этнограф Н.В. Юхнева, уровень миграции в Петербург на душу населения был обратно пропорционален расстоянию от места рождения до столицы. Иммиграция также была менее выраженной из областей со значительным нерусским населением. Другими словами, чем дальше от столицы или чем менее русской по этническому составу была та или иная губерния, тем меньше стремились ее обитатели променять свои родные места на Петербург¹³. Хотя у нас нет данных о точном географическом происхождении еврейских иммигрантов в столице, сам факт, что они приехали из черты оседлости — то есть из сравнительно удаленного, нерусского региона империи, — отличал их от подавляющего большинства жителей Петербурга¹⁴.

В сравнении с большинством петербургских иммигрантов — а к концу XIX столетия иммигранты составляли около двух третей всего населения столицы — евреи, проживавшие там, в большинстве своем прибыли из населенных пунктов, официально

имевших статус городов или местечек, но не из сельской местности. Ко времени проведения переписи 1897 года доля городских обывателей среди еврейского населения империи — 49% — была гораздо выше, чем среди иных значительных этнических групп; немцы и армяне по этому показателю находились на втором месте (23%), поляки — на третьем (18%); русские и латыши — на четвертом (16%)¹⁵. Конечно, поскольку перепись 1897 г. следовала давно укоренившейся в России официальной практике определять «городской» характер населенного пункта не по количеству его жителей или по уровню развития промышленности и торговли, а по административным функциям: так называемые «города» включали и поселения, население которых составляло всего тысячу человек. Так, многие из местечек, из которых иммигрировали евреи, были скорее всего не более чем большие деревни, едва ли сравнимые с российской столицей. Для часовщика Хаима Аронсона, во время его путешествия в 1860-х годах из белорусского местечка Середник в Петербург, даже Вильна — а ее население составляло одну десятую от населения Петербурга — показалась «огромным городом». В «Исповеди дельца», написанной Львом Осиповичем Левандой в 1880 году, повествователь, впервые приехавший в Петербург из своего родного белорусского города Бобруйска, не находил слов: «У меня голова закружилась и в глазах зарябило от громадных, многоэтажных зданий, тянувшихся сплошными рядами по обеим сторонам улицы, и от шума и гама пестрой толпы, сновавшей взад и вперед, и в которой я не мог подметить ни одной знакомой или даже похожей на знакомую физиономии»¹⁶. А в рассказе бывшего кантониста Виктора Никитина «Искатель счастья» (1875) главный герой прибывает в Петербург вместе со своими знакомыми — еврейскими иммигрантами из маленького городка в пределах черты оседлости — только для того, чтобы оказаться на грани ареста за бесцельное шатание по улице возле железнодорожной станции, пока они возбужденно обсуждали, где им переночевать в столице. «Мы с удивлением переглядывались: в наших местах все частные дела обсуждались, решались среди улиц <...> а тут и минуту постоять не велят»¹⁷. Процесс приспособления к столичному ритму петербургской жизни, таким образом, был часто едва ли менее драматичным для только что прибывших туда евреев, чем для иммигрантов из деревень Центральной России.

Этнос и городское пространство

Вплоть до 1860-х годов трудно было отыскать крупный город в пределах черты оседлости, в котором не было бы особых улиц или кварталов, где проживание евреев было ограничено или запрещено вообще. Российская империя, за исключением Царства Польского, никогда не знала практики создания еврейских гетто в их классической европейской форме — ограниченного пространства, населенного исключительно евреями¹⁸. Но во многих городах черты оседлости законодательные ограничения внутригородского расселения евреев, зачастую восходящие к периоду польского господства, создали легко узнаваемые еврейские районы: факт, который приобрел огромное значение в период погромов. Даже в 1860-х годах такие города, как Вильна, Ковно и Житомир, где евреи составляли половину или около половины всего населения, содержали районы, где проживание и предпринимательская деятельность евреев были запрещены¹⁹.

До разделов Польши в конце XVIII века города Российской империи не испытывали нужды в подобных ограничениях, поскольку проживание евреев в империи было запрещено вообще. Но раздельное проживание по национальному или религиозному признаку было, без сомнения, известно во внутренних областях России. В прежние века во многих русских городах, включая Москву и Петербург, выделяли специальные районы, известные как *слободы*, где проживали французы, немцы, татары и другие этнические группы. Обособленно проживали и некоторые группы, объединенные родом занятий²⁰. Многие европейские города на заре нового времени использовали подобную практику. Но к середине XIX века особые районы для иностранцев в Петербурге в большинстве своем исчезли, а их жители расселились по всему городу, оставив по себе лишь памятные названия — такие, как «Английская набережная», «Татарский рынок» или «Немецкая улица»²¹.

В первой половине XIX века еврейские купцы и торговцы — не более чем несколько сотен — тонкой струйкой стали просачиваться во внутренние районы империи как временные гости, выполняющие те или иные коммерческие и финансовые миссии. В отличие от Москвы, где временно приезжавшие евреи должны были останавливаться в специально предназначенной

для них гостинице неподалеку от Кремля, в Петербурге им разрешалось снимать частные комнаты в любых районах города. В 1838 году это дозволение стало предметом недолгих дебатов, в которые был вовлечен глава пресловутого Третьего отделения граф А.Х. Бенкендорф. Мнимо обеспокоенный недостатком полицейского контроля над временно проживающими в столице евреями, Бенкендорф, ссылаясь на пример Москвы, доказывал, что допуск евреев в Петербург должен быть ограничен определенным районом города. Комитет министров, тем не менее, категорически отверг эту идею, заметив, что еврейский квартал в столице империи, где его могут заметить иностранные дипломаты и гости из других стран, — это «неудобно» и может скомпрометировать правительство²². Или, как в ином контексте отметил позже поэт Иегуда Лейб Гордон, «чрез окно, прорубленное нами в Европу, Европа посматривает и к нам»²³.

Когда политика выборочной интеграции сделала возможным более существенное присутствие евреев во внутренних областях России, царское правительство, в лице Еврейского комитета (созданного в 1840 году), вновь подтвердило право отдельных категорий еврейского населения на свободное проживание в Петербурге. Более того, Петербург должен был отныне служить образцом для других городов империи. Отвергнув практику насильственного обособленного проживания как «средневековую» и «несообразную с духом времени», Еврейский комитет оценил ее как одно из важнейших препятствий на пути «слияния» евреев с прочим населением²⁴. «Дух времени», следует заметить, прежде всего был духом утилитаризма: вновь и вновь Комитет напоминал непокорным местным чиновникам, что ограничение прав евреев на проживание приводит к снижению цен на недвижимость в затронутых этими распоряжениями районах (из-за падения спроса) и в целом препятствует вкладу евреев в местную экономику.

Какие же формы приняли еврейские поселения в Петербурге — при отсутствии как правовых ограничений на расселение, так и традиционных еврейских кварталов? Этот вопрос требует совершить краткий экскурс в социальную географию города. Несмотря на ведущую роль, которую играл Петербург в индустриализации империи, география города на протяжении всего периода заката империи оставалась смесью типично доиндустриальных и индуст-

риальных структур. С одной стороны, как доказывал географ Джеймс Бейтер, данные переписи свидетельствуют, что Петербург был меньше сегрегирован по классовому или сословному признаку, чем европейские города. Кварталы в российской столице могли быть социально и экономически разнородными, и если и возникала ограниченная пространственная сегрегация, то она была скорее вертикальной (квартира на первом этаже противостояла в социальном отношении подвалу или мансарде), чем горизонтальной (по улице или кварталу)²⁵.

С другой стороны, различные районы города обладали прочной и ярко выраженной классовой или сословной репутацией в гораздо большей степени, чем о том могут свидетельствовать статистические данные²⁶. Как часто бывает, повседневная жизнь города во многих отношениях не соответствовала букве переписи. Так, Адмиралтейская часть на левом берегу Невы, где были расположены Зимний дворец и многие правительственные учреждения, была известна как анклав для благородных и богатых, в то время как кварталы за рекой Фонтанкой, городские пригороды, а также Выборгская сторона — северная окраина Петербурга — пользовались репутацией рабочих окраин.

Как же вписались в социальный ландшафт города — статистический и воображаемый — поселившиеся в Петербурге евреи? «В Петербурге нет и не было официально „жидовского квартала“, — писал Всеволод Крестовский в своем псевдоэтнографическом романе „Петербургские трущобы“, — но с тех пор, как евреям дозволено селиться в столицах, они сами по себе завели нечто в этом роде»²⁷. Другие современники также использовали применительно к петербургским реалиям выражения «еврейский квартал» или «еврейское гетто»²⁸. Перепись 1869 г. показала, что примерно семь тысяч петербургских евреев проживали в двенадцати различных частях Петербурга, но в неодинаковых пропорциях. Большинство евреев (63%) проживали в шести участках, центром которых были три параллельные друг другу Подъяческие улицы (Подъяческая, Средняя Подъяческая и Малая Подъяческая) и границами которых служили Екатерининский канал и Садовая улица, в нескольких кварталах южнее Невского проспекта²⁹. Некоторые из этих участков отличались самой высокой в городе плотностью населения и численностью жильцов на одну квартиру (эта

тенденция сохранялась весь позднеимперский период), самой высокой концентрацией проституток и домов терпимости и самым высоким уровнем смертности¹⁰. Равной важностью обладает и тот факт, что этот район был известен своими мелочными рынками, лавочками и ремесленными мастерскими, обычно производившими товары на продажу, а не на заказ. Иными словами, Подьяческие и их окрестности были Невским проспектом для бедноты¹¹.

Таким образом, при отсутствии каких-либо легальных ограничений права на поселение внутри города, петербургские евреи — большинство из которых были ремесленниками и мещанами¹² — селились в основном там, где их бизнес был уже налажен. Когда часовщик Хаим Аронзон приехал в Петербург со своей семьей в 1868 году, он снял комнаты на углу улиц Садовой и Вознесенской, в центре района Подьяческих¹³. Согласно многочисленным свидетельствам того времени, целые доходные дома были известны как населенные евреями — легально или нелегально¹⁴. Один журналист того времени писал, что извозчики подъезжали к вновь прибывшим в Петербург евреям (обычно легко узнаваемым по одежде) на железнодорожных вокзалах и, не дожидаясь подсказки, начинали выкрикивать названия гостиниц на Подьяческих. Другой писатель изображал еврейских иммигрантов, которых одурачили энергичные домовладельцы, заставив поверить, что евреям запрещено селиться где-либо в Петербурге, кроме Подьяческих¹⁵. В самом деле, этот район был столь узнаваемо еврейским, что один отставной кантонист выразил контраст между Петербургом, виденным им при Николае I, с тем же Петербургом 1870-х годов в такой запоминающейся фразе: «Что тогда был Петербург? — пустыня; теперь же ведь это — Бердичев!»¹⁶. К 1880-м годам, действительно, район Подьяческих стали в шутку именовать «Петербургский Бердичев»¹⁷.

Юмор этих высказываний проистекал в точности из сопоставления двух совершенно противоположных образов: шумное и грязное провинциальное местечко в сердце блистательной столицы империи. Оба эти образа, тем не менее, весьма избирательно отражали действительность. Петербург конца XIX века был рассадником болезней, где в демографическом отношении преобладала рабочая и крестьянская беднота, а Подьяческие, со своей стороны, обладали лишь небольшим сходством с местечком или гетто, где евреи обычно составляли большинство населения¹⁸. Согласно

данным переписи, даже в районе, где была зафиксирована наибольшая концентрация еврейского населения, на Подъяческих — в четвертом участке Спасской части — относительная численность евреев никогда не превышала 8% всего населения.

Хотя доля петербургских евреев, проживавших на Подъяческих, в позднеимперский период неуклонно снижалась, эти кварталы сохраняли репутацию еврейского анклава. Фактически, в сравнении со многими другими этническими группами населения Петербурга, евреи оставались относительно сегрегированной группой. Индекс пространственной обособленности, показывающий процент от данной группы, который должен был бы переселиться, чтобы распределиться по городу в таких же масштабах, как и контрольная группа (в данном случае контрольной группой являются русские православного вероисповедания), был рассчитан на 1869 и 1910 годы следующим образом:

ТАБЛИЦА I ИНДЕКС ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СЕГРЕГАЦИИ
ПО РЕЛИГИОЗНЫМ ГРУППАМ, %

	Индекс	
	1869	1910
Католики (с униатами)	20,6	13,5
Протестанты	20,8	20,0
Старообрядцы	38,1	29,6
Армяно-григорианцы	41,7	37,6
Иудеи	40,7	52,0
Мусульмане	39,9	56,1

Источник: Bate J.H. St.Petersburg: Industrialization and Change. London, 1976. P. 200, 377.

Если оставить в стороне мусульманскую и армяно-григорианскую группы, каждая из которых в 1910 году насчитывала менее 3,5 тысячи человек — в отличие от почти 35 тысяч евреев, — можно констатировать, что евреи были не только, как пишет Бейтер, «единственным значительным меньшинством, концентрированным в сколько-нибудь заметной степени», но и единственным значительным меньшинством, степень обособленности которого возрастала в течение четырех десятилетий. В 1910 году евреи в Петербурге были заметно более пространственно обособлены, чем их собратья в Вене, несмотря на наследие существовавшего ранее венского гетто⁹⁹.

Доступные нам данные по Петербургу не позволяют реконструировать пространственную обособленность внутри самого еврейского общества по признаку рода занятий или социальной принадлежности. Но достаточно детальная перепись 1897 года показывает, что, как и среди городского населения в целом, грамотность среди евреев (имелось в виду владение грамотой на любом языке) не слишком различалась по различным кварталам города. Тем не менее заметно различался, в зависимости от места проживания, тот язык, который респонденты указывали как родной. В этом отношении лингвистическая карта еврейского Петербурга точно соответствовала социальной репутации городских районов: от элитной Адмиралтейской части, где 49% евреев говорили дома по-русски, до пестрых по социальному составу, но преимущественно рабочих районов — таких, как Александро-Невская, Рождественская части и Выборгская сторона, — где по-русски дома говорили от 11 до 20% евреев⁴⁰.

Язык и аккультурация

Языковая практика действительно является одним из наиболее ярких показателей степени культурной ассимиляции петербургских евреев. С 1869 по 1910 год примерно половина евреев столицы стала указывать в качестве своего родного языка не идиш, а русский (существенно то, что этот показатель был приблизительно одинаковым для мужчин и женщин):

Таблица 2 Родной язык,
указанный евреями мужчинами и женщинами, %

	1869	1881	1890	1900	1910
Идиш	97	84	67	61	54
в том числе: мужчины	нет данных	83	67	нет данных	54
женщины	нет данных	86	68	нет данных	54
Русский	2	12	29	37	42
в том числе: мужчины	нет данных	13	29	нет данных	42
женщины	нет данных	11	28	нет данных	42

Источник. Статистический ежегодник Санкт-Петербурга, 1892 г. СПб., 1894. С. 67; Санкт-Петербург по переписи 15 декабря 1890 года. СПб., 1892. Ч. 1. Т. 1. Разд. 2. С. 79; Юхнева Н.В. Этнический состав и этносоциальная структура населения Петербурга. Л., 1984. С. 208.

Хотя и невозможно реконструировать точные аналогичные данные по другим этническим группам (из-за отсутствия показателей как по языку, так и по религии), представляется, что ни одна этническая группа в Петербурге не достигла этого уровня лингвистической адаптации. Подсчеты, сделанные Юхневой, показывают, что, напротив, такие этнические группы, как поляки и эстонцы, в тот же самый период становились все менее склонны объявлять русский язык своим родным.

Таблица 3 Члены этнических групп, владевшие своим национальным языком, %

Группа	Язык	1869	1881	1890	1900	1910
Евреи	Идиш	97	84	67	61	54
Поляки	Польский	78	82	81	90	94
Финны	Финский	93	94	88	87	85
Эстонцы	Эстонский	75	63	74	86	86

Источник: Юхнева Н.В. Этнический состав и этносоциальная структура населения Петербурга. Л., 1984. С. 24; Статистический ежегодник Санкт-Петербурга, 1892. СПб., 1894. С. 67.

Усвоение евреями русского языка как своего родного было, более того, прочно связано с ростом грамотности. Правда, в данных переписи населения категория «грамотность» часто означала просто утвердительный ответ на вопрос «Умеете ли читать?» и, таким образом, не могла расцениваться как полностью достоверный показатель реального умения читать или писать⁴¹. По отношению к идиш статистические показатели грамотности становятся еще более двусмысленными, поскольку и евреям и неевреям одинаково были свойственны сомнения в том, можно ли считать идиш настоящим языком или, по крайней мере, литературным языком. Тем не менее едва ли может вызывать сомнения картина роста грамотности, сопровождавшегося усвоением русского языка: в 1890 году умение читать и писать на идиш охватывало 52% людей, назвавших этот язык своим родным, в то время как среди евреев, считавших своим родным языком русский, грамотность составляла 78%. В 1897 году эти показатели составили 67% и 83% соответственно⁴².

С одной стороны, конечно, указание русского языка как своего родного является мощным индикатором аккультурации,

чертой, которая, по всей вероятности, передавалась детям респондентов и которая играла очень значительную роль в повседневной жизни. Тем не менее — сколь бы парадоксальным это ни казалось — те евреи, которые усвоили русский язык как свой родной, становились, с другой стороны, меньше похожими на окружавшее их городское население: их уровень грамотности, уже достаточно высокий к тому времени, в дальнейшем становился гораздо выше, чем уровень грамотности населения в целом. Даже по сравнению с петербургскими мещанами евреи, говорившие по-русски, демонстрировали более высокий уровень грамотности. Таким образом, простое отождествление усвоения русского языка с «аккультурацией» или «ассимиляцией» — если понимать под ними приобретение большего сходства с окружающим населением — было бы ошибочным.

Усвоение русского языка евреями было тесно связано с другой существенной переменной, которая имела отношение как к самому еврейскому миру, так и к его отношениям с окружающим обществом. Как видно из таблицы 2, еврейские мужчины и женщины в Петербурге позднеимперского периода переходили от идиш к русскому приблизительно одинаковыми темпами. Чрезвычайно детализированные сведения о родном языке и грамотности в переписи 1897 года делают возможным последовательно проследить те сдвиги в сравнительном уровне грамотности мужчин и женщин, которые происходили вместе с усвоением русского.

Таблица 4 УРОВЕНЬ ГРАМОТНОСТИ НА ИДИШ И РУССКОМ СРЕДИ
ЕВРЕЙСКИХ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН ПО ДАННЫМ ПЕРЕПИСИ 1897 ГОДА, %

Родной язык	Язык грамотности	Грамотность		Разница в уровне грамотности
		мужчины	женщины	
Идиш	Идиш	74	59	15
Идиш	Русский	59	48	11
Русский	Русский	86	80	6

Источник: Первая всеобщая перепись населения Российской империи, 1897 г.: Город Санкт-Петербург. СПб., 1903. Т. 37. Ч. 2. С. 88–119.

Со вступлением еврейских мужчин и женщин в русскоговорящий мир не только возрастала их способность владеть письменным словом, но и сокращался разрыв между относительным уровнем грамотности мужчин и женщин, и тем самым стиралось

традиционно привилегированное положение мужчин в мире письменной культуры. Эти перемены — опять-таки! — делали евреев *непохожими* на окружающее их население Петербурга, где вплоть до падения царского режима сохранялся значительный разрыв между уровнем мужской и женской грамотности (61% и 41% соответственно в 1897 году, 76% и 57% соответственно в 1910-м)⁴³.

Новые евреи

За относительно короткий промежуток времени петербургские евреи создали новый образ еврея в России — современного, космополитичного, преуспевающего в таких типично городских сферах деятельности, как банковское дело, юриспруденция и журналистика, которые возникли на волне Великих реформ. Этот новый образ не вытеснил сохраняющийся образ российского еврея как отсталого сепаратиста-фанатика, зачастую живущего в крайней бедности, а, напротив, сосуществовал с ним.

Несмотря на численное преобладание среди еврейского населения города ремесленников и мелких торговцев, именно купцы, банкиры и финансисты — что неудивительно — «кололи глаза» обществу. Ни в одной другой еврейской общине в России не было столь из ряда вон выходящего и выставленного напоказ богатства. Петербург быстро стал излюбленным местом для русско-еврейской плутократии, многие из членов которой играли видную роль в бурно развивающихся сферах частного банковского дела, спекуляций и железнодорожного строительства. Одна еврейская жительница столицы, возможно, лишь незначительно преувеличивала, когда писала о 1860–1870-х годах, что «никогда ни до, ни после того евреи в Петербурге не жили так богато, поскольку финансовые учреждения в значительной степени находились в их руках»⁴⁴.

В период расцвета частного банковского дела в России — приблизительно от 1860-х и до восстановления государственной кредитной системы в 1880-х годах, роль русско-еврейских банкиров в финансовой жизни империи была сопоставима с аналогичной ролью Гершона Блейхредера в Германии и Ротшильдов во Франции⁴⁵. 1860-е годы стали ареной процесса, который одна еврейская газета в Петербурге назвала «десятилетием предпри-

нимательской лихорадки»⁴⁶. По словам бывшего служащего банка Гинцбурга, «в выходцах из черты оседлости происходила полная метаморфоза: откупщик превращался в банкира, подрядчик — в предпринимателя высокого полета, а их служащие — в столичных денди. Многие вороны напялили на себя павлиньи перья; выскочки из Балты и Конотопа, через короткое время, считали себя „аристократами“ и смеялись над „провинциалами“»⁴⁷.

Если отбросить ироничный тон, этот пассаж выражает в сжатой форме меняющуюся роль еврейской финансовой элиты по мере того, как Россия переходила от аграрно-крестьянской экономики к ранним стадиям коммерческого капитализма. В качестве ли «феодалных» откупщиков или «капиталистических» банкиров-заимодавцев, еврейские финансисты (по крайней мере, те из них, кто жил в Петербурге) продолжали сколачивать свои состояния большей частью в предприятиях, спонсировавшихся государством, и поддерживать тесные связи с правительственными чиновниками.

Банкирский дом Гинцбурга является тут наиболее разительным примером. Выдвинувшись в качестве винных откупщиков и поставщиков провианта и обмундирования для русской армии в годы Крымской войны, Евзель Гинцбург и его сын Гораций основали свой банк в Петербурге в 1859 году и впоследствии выпускали бесчисленные займы в поддержку многих правительственных проектов, включая войну против Османской империи в 1877–1878 годах⁴⁸. Братья Поляковы (Самуил, Яков и Лазарь) участвовали в финансировании железнодорожного строительства, за что были возведены Александром II в потомственное дворянство — случай, исключительно редкий для евреев. В 1871 году Аврам Зак, бывший служащий Гинцбургов, стал директором Петербургского учетно-ссудного банка, одного из крупнейших банков империи, владельцем которого был польско-еврейский магнат Леопольд Кроненберг⁴⁹.

Стремительный взлет таких евреев вызывал предсказуемый взрыв возмущения против выскочек-нуворишей. В одном из своих заслуженно забытых произведений — стихотворении «Балет» (1866) поэт-народник Некрасов, с трудом сводивший в те дни концы с концами в Петербурге, патетически декламировал:

Стоит только на ложи взглянуть,
Где уселись банкирские жены,

Сотня тысяч рублей, что ни грудь! <...>
В этих ложах мужчины евреи <...>

Доблесть, молодость, сила пленяли
Сердце женское в древние дни.
Наши девы практичней, умнее,
Идеал их телец золотой,
Воплощенный в седом иудее,
Потрясающем грязной рукой
Груды золота...⁵⁰

Немецкий житель столицы, для которого беднейшие евреи города оставались незаметными, докладывал в 1881 году, что единственные евреи, которых можно отыскать в Петербурге — это «несколько сот покровительствуемых семей. Пролетарии среди правительственных чиновников, располагающие лишь нищенским жалованьем, вынуждены поддерживать отношения с финансистами рода Моисеева <...>, спекулянтами в сферах строительства и железных дорог»⁵¹.

Петербургские евреи-интеллигенты также зачастую были весьма критично настроены по отношению ко вновь возникшей плутократии, хотя не столько из страха перед их влиянием, сколько из раздражения, что нувориши держат явную дистанцию по отношению к менее преуспевающим евреям. Гнев интеллектуалов только подогревался тем фактом, что многие из них (или же газеты и журналы, где они работали) в той или иной мере находились в финансовой зависимости от разбогатевшей элиты. Журналист Ури (Аркадий Григорьевич) Ковнер, с гордостью носивший прозвище «еврейского Писарева», опубликовал короткий рассказ «Вокруг золотого тельца» — обвинительный акт против банкира А.И. Зака, своего бывшего работодателя⁵². Личный секретарь Зака, Григорий Исаакович Богров, ушел от него, чтобы стать соредактором петербургского еврейского еженедельника «Рассвет», где он объединил свои усилия с Марком Варшавским, племянником железнодорожного магната А.М. Варшавского, в написании передовиц, обличающих общественное положение богатых. Следующие поколения писателей дошли в своем критицизме до откровенного очернительства, как, например, Шолом Аш в историческом романе «Петербург»

(издан на идиш в 1929 году), где дореволюционная еврейская плутократия была изображена погрязшей в декадансе, чревоугодничестве и — в одном случае — в почти инцестуальной связи³.

Борьба за общинное лидерство (I)

Несмотря на многочисленные свидетельства обратного, современники обычно отмечали высокую степень солидарности и внутренней сплоченности среди российских евреев. Даже сегодня сложившийся в массовом сознании образ русских (или, шире, восточноевропейских) евреев — по крайней мере в период до образования еврейских политических движений и партий в конце XIX века — это образ крепко сплоченного меньшинства. Ограниченность этой точки зрения нигде не является столь очевидной, как в общинной истории петербургских евреев, где наиболее выпукло отразились многие внутренние противоречия, присущие всему сообществу российского еврейства.

Как и их собратья в Одессе, еврейские иммигранты в Петербурге столкнулись с проблемой — и возможностью — создания общинных институтов почти с нуля. В этом заключалось разительное отличие столичных условий от вековых общинных традиций таких центров проживания евреев, как Вильна, Бердичев или Люблин⁴. Но в Петербурге заполнение общинной *tabula rasa* (как назвала это одна еврейская газета⁵) началось лишь в 1860-х годах, несколькими десятилетиями позже, чем в Одессе, на более высокой ступени внутренней дифференциации российских евреев. Как и все остальное в столице, еврейские общинные учреждения попадали в сферу особо пристального правительственного внимания, причем со стороны не только местной администрации, но и высших правительственных органов. Поэтому вдобавок к тому повышенному самосознанию, достигнутому в результате обдуманного создания проекта общинной жизни, петербургские евреи остро осознавали свою представительскую функцию перед лицом окружающего общества. Как евреи, так и неевреи расценивали петербургскую еврейскую общину как потенциальную модель всего российского еврейства, как аршин, с помощью которого можно будет измерить результативность политики выборочной интеграции евреев в российское общество.

Еврейская элита, которая начала формироваться в Петербурге в 1860-х годах, решила подражать той организации жизни евреев, которая сложилась в Берлине и Париже⁶⁶. С этой целью группа из приблизительно ста влиятельных евреев, проживавших в столице, собралась в июле 1863 года, чтобы избрать делегатов в правление общины, предназначенное для организации общинных дел. Из пятнадцати избранных делегатов две трети были купцами (список возглавляли Евзель и Горацій Гинцбурги), остальные — врачами и дантистами, принадлежавшими к «дипломированной интеллигенции»⁶⁷.

Первым своим актом правление пригласило доктора Авраама Неймана (1809–1875), уроженца Германии и последователя реформистского иудаизма, стать первым — и единственным, вплоть до официального запрета — раввином петербургской общины. С трудом изъясняющийся на русском или идиш, Нейман отправлял службы на немецком и иврите для прихожан из числа купцов-нотаблей во временном молитвенном доме в центре района Подъяческих, месте самого плотного проживания евреев. Нейман, окончивший йешиву и получивший университетское образование, возглавил общину, которую один из современников назвал первой в городе «порядочной общиной, по крайней мере в интеллектуальном смысле»⁶⁸.

Петербургские евреи, исповедующие более традиционную религию, едва ли благосклонно восприняли приезд Неймана и его положение как единственного официально утвержденного раввина. Но даже среди тех, кто симпатизировал реформе иудаизма, существовало значительное недовольство. Спустя шесть лет после назначения Неймана журналист (и в будущем — титан издательского дела) А.Е. Ландау публично упрекал Неймана в недостатке инициативы: если отвлечься от того, что Нейман внес некий «просвещенный» декорум в еврейские ритуалы, раввин явно сделал слишком мало для создания в столице общинных институтов⁶⁹. Для младшего поколения образованных евреев, заинтересованных в том, чтобы стать полноправными гражданами реформированной России, неспособность Неймана изъясняться на государственном языке империи была неуместным напоминанием о проберлинской культурной ориентации Гаскалы (еврейского Просвещения)⁶⁰. В равной степени беспокоило то, что Нейман был избран самопро-

возглашенным правлением, а не представителями общины в целом, как это было принято в традиционной еврейской среде в черте оседлости⁶¹.

Именно это последнее обстоятельство и стало предметом серии стычек между различными еврейскими группами столицы. В своей записке на имя петербургского губернатора, написанной в 1867 году, Нейман чистосердечно и прямо писал об этой проблеме. Охарактеризовав быстро растущую еврейскую общину города как пораженную «беспорядками и застоєм», он отмечал, что члены правления слишком часто покидают Петербург для деловых поездок и потому неспособны заниматься делами общины. Стремясь придать большую легитимность правлению общины — а тем самым и укрепить свои собственные позиции — Нейман настаивал на проведении новых выборов, где своих делегатов в правление избирали бы члены всех сословий внутри еврейской общины (ремесленники, солдаты, мещане и интеллигенты)⁶². Губернатор обратился за советом к Горацию Гинцбургу, которого он характеризовал как «человека, хотя и заинтересованного в делах своих единоверцев, но, по своему положению, стоящего выше мелочных дрязг и, следовательно, более способного хладнокровно обсудить дело». Гинцбург, также заинтересованный в том, чтобы положить конец внутренним конфликтам, одобрил предложение Неймана⁶³.

Деление петербургских евреев на курии согласно сословной принадлежности, будь оно формально закреплено, могло бы внедрить в структуру еврейской общины совершенно новые для нее и определенно российские по происхождению иерархические принципы. Но имперские власти осторожно относились к введению любых квазипредставительных учреждений, всего, что хотя бы отдаленно напоминало автономные институты для столичных евреев⁶⁴. Так или иначе, но первые общинные выборы, проведенные по сословному принципу в 1868 году, стали и последними, вызвав шквал обвинений в коррупции и закулисных манипуляциях. Как узнал Гораций Гинцбург (находившийся в то время в Париже) из письма своего секретаря Эммануэля Левина, составлявшие меньшинство «прогрессисты одержали полную победу над консерваторами», но лишь ценой серии интриг⁶⁵. Левин, несмотря на свои симпатии к «прогрессистам», был вынужден заключить, что «масса здешних евреев взволнована негодованием на такой результат

выборов, и нельзя не признать, что г. Нейман с своею партией сделал промах, что произвели выборы почти исключительно из оппозиции и тем возбудили против себя большое раздражение. Я держусь в стороне от всех этих интриг партий и искренно желаю только одного, чтобы не начались взаимные официальные жалобы и ябеды, которые могли бы чрезвычайно повредить нам в мнении высшего начальства»⁶⁶.

Опасения Левина были, пожалуй, слишком близки к реальности. Жалобы евреев на их общинные власти буквально наводнили столы всевозможных правительственных чиновников. Многие авторы петиций подтверждали наблюдение Неймана о том, что члены правления проводят слишком много времени за границей и обычно слишком заняты коммерческими делами для того, чтобы уделять должное внимание нуждам общины⁶⁷. В 1868 году Саул Каценеленбоген, «присяжный переводчик», направил жалобу в Министерство внутренних дел, где требовал аннулировать результаты недавних выборов. Еврейские ремесленники и отставные солдаты, писал он, были полностью исключены из процесса разработки решений, несмотря на тот факт, что именно они составляли преобладающее большинство столичных евреев и «коренное еврейское население» города⁶⁸.

В этот момент к вопросу о представительстве присоединилась столь же злободневная проблема общинных налогов. Как подчеркивали Каценеленбоген и другие, именно низшие слои еврейского населения, как потребители, платили львиную долю налогов на резку скота и продажу кошерного мяса (так называемый коробочный сбор) и тем самым финансировали общинный бюджет. «Все эти доходы и пожертвования поступают преимущественно от ремесленников, составляющих, как выше сего значитя, по численности своей, здешнее коренное еврейское население и преданных обрядам своей Веры, от коих купцы, за исключением лишь нескольких лиц, и ученые, — подчиняясь прогрессу времени, — вообще отказываются, не отличаясь от христиан ни кушанием и ничем другим и не участвуя поэтому и в сопряженных с духовными обрядами денежных пожертвованиях и субсидиях... Ремесленное сословие видит себя крайне стесненным и доведенным в настоящее время до голода беспощадными ценами на мясо (40 коп. ф[унт]!)»⁶⁹.

В результате богатые члены правления, избравшие сами себя, использовали общинные фонды, извлеченные из карманов бедноты, чтобы финансировать «реформированные» еврейские учреждения, чуждые религиозной практике их собратий по вере. Проистекавшие отсюда противоречия временами приводили ко вспышкам насилия, как, например, в том случае, когда группа ремесленников, разъяренных высокими ценами на кошерное мясо, затеяла драку с собравшейся в молитвенном доме у Неймана элитой из-за того, что один еврейский журналист назвал ее представителей «эксплуатирующей бедный еврейский люд в Петербурге компанией кулаков-мясников еврейских»⁷⁰.

Социальные и религиозные водоразделы

Уже к середине XIX века российские евреи приобрели в глазах правительственных чиновников репутацию — помимо всего прочего — сутяжнического народа⁷¹. Междоусобные конфликты (большей частью, хотя и не исключительно, между хасидами и их оппонентами), запутанный лабиринт дискриминационного законодательства и его произвольное применение в сочетании с относительно высоким уровнем грамотности и культурой, пропитанной законническими предписаниями, привели к появлению экстраординарного количества петиций и жалоб от различных групп еврейского населения или отдельных его представителей с просьбами о государственном вмешательстве и защите⁷². Один хорошо осведомленный современник описывает кампанию, предпринятую ортодоксальными евреями, кульминацией которой стали «тысячи прошений, каждое с сотнями подписей», засыпавшие Министерство народного просвещения⁷³. Но даже на этом фоне столичные евреи выделялись особо. Едва ли десятилетие прошло с того дня, когда политика выборочной интеграции позволила евреям селиться в Петербурге, а министр внутренних дел уже жаловался на постоянные раздоры в среде столичных евреев, взаимные обвинения и жалобы в адрес городских властей⁷⁴. Сходным образом и «Рассвет» с горечью писал о «бесконечных интригах» среди столичных евреев⁷⁵.

Но, как можно заметить, это сильно расходилось с иллюзией еврейской солидарности. Ландау, в своей обычной уклончивой

манере, был одним из многих, кто отмечал необыкновенные контрасты в среде столичных евреев: «Смешанность еврейского населения Петербурга поистине замечательна. Вы найдете между здешними евреями... людей всех классов общества, как по своему материальному положению, так и по степеням нравственного развития <...> от крайних консерваторов до самых ярых реформаторов, от неисправимых фанатиков и ханжей до людей истинно религиозных, но в тоже время просвещенных и вполне веротерпимых»⁷⁶.

Вплоть до конца XIX века, когда значительное количество русско-еврейских интеллигентов стало исповедовать специфически еврейскую форму народничества (многие из них к тому времени уже имели опыт участия в общероссийском народническом движении), открыто критические высказывания об образе жизни рядовых евреев были весьма характерны для так называемых «просвещенных» евреев. Например, рассказывая в 1864 году о свадьбе, устроенной двумя еврейскими солдатскими семействами в Петербурге, свидетелем которой он стал, Ландау высмеивал «крик, шум, суматоху, беспорядок», «дикую» смесь языков, безграмотное чтение молитвенника. Его, в частности, приводило в негодование, что невесте весь день запрещали есть, что гости выщипывали ей волосы на голове, что ее голова была обмазана сахаром и медом («на счастье») и покрыта тяжелым париком. Обычно, заверял Ландау своих читателей, подобное «невежество и религиозное суеверие... теперь можно встретить лишь в самых отдаленных захолустьях литовских местечек». Исключительно долгая проповедь Неймана, произнесенная на свадьбе — на немецком языке, — лишь подчеркнула неуместность таких событий в российской столице⁷⁷.

Подобным же образом издатели «Рассвета», освещая визит в Петербург Адольфа Кремье, главы Всемирного альянса израэлитов, чья штаб-квартира находилась в Париже, в волнении восклицали: «Представьте же себе... если б вдруг ожидавшемуся тогда г. Кремье вздумалось просить наших тузов показать ему их божий храм и если б его, вместо великолепных парижских синагог с стройным гармоническим богослужением, пришлось ввести в какие-то мрачные, грязные, смрадные конуры, в которых господствует шум и гам и т.п. атрибуты наших quasi-ортодоксальных молитвенных домов»⁷⁸.

Но не только высокие заграничные гости расценивались петербургскими евреями как наблюдатели, чье мнение заслуживает внимания⁷⁹. Согласно меморандуму, циркулировавшему среди членов правления общины, российская политическая элита, сконцентрированная в столице империи, также могла сделать определенные выводы из своих наблюдений над жизнью столичных евреев: «Нельзя забывать, что жизнь именно петербургских евреев проходит на глазах тех, от коих зависит судьба вообще евреев в России, зависит дарование евреям прав на жизнь, труд, образование. Если петербургские евреи, даже в низших своих слоях, докажут своим примером способность к производительному труду, благовоспитанность и добрую нравственность, — все это производит надлежащее впечатление и может способствовать искоренению предубеждений, господствующих среди влиятельных кругов русского общества столицы»⁸⁰.

На первый взгляд, религиозный водораздел среди петербургских евреев совпадал с социальными границами, отделяя ревностно соблюдающих традиции солдат и ремесленников от «прогрессивных» (или религиозно индифферентных) купцов и интеллигентов. Тем не менее предложение Неймана проводить выборы по различным сословиям в отдельности или петиции от имени «ремесленников», «солдат» или «купцов» не должны вводить нас в заблуждение и заставлять поверить, что границы конфликтующих сторон совпадали с сословными границами. Прежде всего следует отметить, что сословные категории — хотя они были решающими для определения социального статуса евреев — на практике часто оказывались фиктивными. Более того, согласно докладу градоначальника за 1878 год, по меньшей мере в трех из восьми петербургских молитвенных домов можно было увидеть евреев из различных сословий, молящихся бок о бок⁸¹.

Немногочисленные доступные нам источники, касающиеся религиозной практики петербургских евреев, подтверждают, что недовольство ортодоксальной религией в разной степени проявлялось на всех социальных уровнях еврейского населения города. Но в то время как среди преуспевающих и образованных евреев такое недовольство часто толкало на поиск путей обновления иудаизма, то бедных и необразованных евреев оно, как представляется, вело к отходу от организованной религии как таковой⁸². Рели-

гиозные конфликты между петербургскими евреями обычно затрагивали не богословскую сферу, а повседневную религиозную практику и формы устройства общины: порядок и строгость службы в синагоге, облачение и декор, использование хорового пения или нееврейских языков, внедрение в деятельность общин крупномасштабных форм благотворительности. Петербургская еврейская элита быстро усваивала модели сбора средств, принятые в окружающем ее городском обществе, включая благотворительные балы, дамские комитеты, благотворительные базары и ограниченную подписку на издания. Сфера распространения благотворительности также заметно расширилась, отразив новый круг социальных проблем: благотворительные фонды предназначались для профессионального (в том числе сельскохозяйственного) образования, строительства недорогого жилья, для помощи нуждающимся женщинам, студентам и художникам. Филантропия в столице была, кроме того, в большей степени направлена на помощь евреям, проживающим в черте оседлости, чем тем, кто жил в Петербурге.

Путаница современных терминов для противоборствующих лагерей подтверждает, что ко второй половине XIX века религиозные категории становились менее, а не более определенными. Ландау, замечая, что в Петербурге в одной и той же еврейской семье можно найти тех, кто молится трижды в день, и тех, кто делает это трижды в год, в туманной форме противопоставлял «реформаторов» и «людей просвещенных» — «консерваторам» и «фанатикам». Секретарь Гинцбурга Эммануэль Левин предпочитал термины «прогрессивный» и «консервативный», в то время как «Рассвет» рассуждал о «реформаторах» и «ортодоксах». Несколько десятилетий спустя историк Шаул Гинзбург (приехавший в Петербург студентом в 1886 году) описывал этот конфликт как противоборство правления общины и «благочестивого» лагеря, который, согласно Гинзбургу, объединял сторонников раввинистического иудаизма (митнагдим) и их обычных противников — хасидов. Гордон, описывая этот религиозный ландшафт, утверждал, что правление основывается «на началах рациональных и современных», в то время как «другая [партия] вздыхает по тем прелестям и распорядкам, которые она оставила в Шклове или Бердичеве»⁸³.

Достойный контраст взглядам Ландау, Левина, Гордона и остальных, претендовавших на роль реформаторов, представляет

один из немногих уцелевших источников о жизни петербургских евреев, автор которого не делал секрета из того факта, что «вздыхает по прелестям Бердичева», — мемуары Полины Венгеровой. Прибыв в Петербург в 1870-х годах вместе со своим мужем-купцом, Венгерова была потрясена, обнаружив, что некоторые семьи из числа преуспевающей элиты ограничили соблюдение религиозных обычаев тремя днями в году: они праздновали Песах, Йом Кипур и Рождество (последнее явно напоказ перед своими слугами). Некоторые из них позволяли себе добираться до молитвенного дома в субботу в экипаже, а не пешком, есть во время перерывов в службе на Йом Кипур, нарушая предписания поста. Пасхальный седер был резко сокращен, и сам Песах часто отмечался в память Исхода не столько из Египта, сколько из черты оседлости; разговоры за столом быстро переходили на последние газетные новости и тенденции на фондовом рынке⁸⁴. Но Венгерова была достаточно объективна, чтобы отметить, что среди еврейской финансовой элиты были и семьи, следовавшие традиционным религиозным предписаниям.

Высокую степень несходства среди петербургских евреев часто считали причиной недостатка внутренней солидарности в их среде⁸⁵. «Существуют общественные представители, общественный раввин <...>, содержатся чуть ли не более десяти молитвенных домов, — сетовал Ландау в 1869 году, — но самое еврейское общество вы напрасно станете искать у нас»⁸⁶. Если не брать в расчет единственный сиротский приют для детей еврейских солдат и единственную начальную школу для 75 детей бедноты, в Петербурге практически отсутствовали другие традиционные институты, которые придавали иудаизму в Восточной Европе характер не только религии, но и социального порядка: погребальные общества и общества взаимопомощи, субсидируемые кошерные закусочные, больницы, беспроцентные ссудные кассы, талмудические школы или хотя бы настоящая синагога⁸⁷. «Нищая телом и духом» — таким был краткий вердикт, который Га-Козн вынес петербургской еврейской общине⁸⁸. В 1869 году единственный еврейский сиротский приют нашел соперника в лице приюта, финансируемого Императорским человеколюбивым обществом и созданным специально «для крещаемых и крещенных в православную веру еврейских детей»⁸⁹.

Самозванные реформаторы, жалующиеся на внутриобщинные раздоры, тем не менее настаивали, что петербургские евреи,

выполняющие представительские функции, не могут позволить себе формального раскола на отдельные лагеря, как это произошло с евреями Вильны, Одессы и других городов в черте оседлости. В централизованных странах, таких, как Россия или Франция, доказывали редакторы «Рассвета», столица является естественным центром культурной и политической жизни — и для евреев это справедливо не в меньшей степени, чем для других групп. Не только евреи, проживающие в черте оседлости, но все русское общество и правительство империи «от нас <...> хотят и ожидают, чтобы мы служили образцами нашим провинциальным собратьям. Да и, признаться сказать, и мы сами не прочь смотреть на себя, как на руководителей и устроителей судеб русского еврейства». Но «Рассвет» был вынужден признать, что и «образцово-показательные» евреи западноевропейских столиц сами уже давно расколоты на враждующие общины реформаторов и ортодоксов. Настаивая довольно неясным образом на том, что подобным явлениям возникать в Петербурге «несколько рано», «Рассвет» мог только заметить, что «наша еврейская ортодоксия далеко не то, что под этим подразумевается в Западной Европе»⁹⁰.

Борьба за общинное лидерство (II)

Петербургские евреи довели до максимально возможной остроты междоусобные конфликты, кипевшие в черте оседлости. Благодаря особой политической и культурной роли Петербурга, а также из-за отсутствия какого-либо исторического прошлого у местной еврейской общины, еврейские общинные институты в столице формировались в контексте самой неистовой борьбы за безраздельное господство в еврейской общине и за исключительное признание со стороны царского правительства.

Через год после провалившихся выборов 1868 года были проведены новые выборы в правление общины, в которых, по условиям частного соглашения между Горацием Гинцбургом и городскими властями, могли участвовать только гильдейские купцы и лица с высшим образованием. Вновь избранное правление, состоявшее полностью из купцов и финансистов и возглавляемое Гинцбургом, быстро предприняло ряд решительных мер. Во-первых, с официаль-

ного разрешения, правление распорядилось предоставлять избирательные права на следующих выборах лишь тем, кто внесет в общинную казну по меньшей мере двадцать пять рублей — сумму, непосильную для большинства петербургских евреев⁹¹. Несмотря на частые протесты против существования такого избирательного ценза, этот принцип оставался неизменным вплоть до революции 1917 года, и тем самым было обеспечено, по крайней мере, формальное сохранение власти в общине в руках партии «реформаторов»⁹². Во-вторых, правление упорядочило свои собственные финансовые дела, и в 1873 году начало публиковать ежегодные (или почти ежегодные) отчеты о проделанной работе и по бюджету. Ни одна другая еврейская община в Российской империи не выносила таких данных на критическое рассмотрение общественности.

Наконец, в ответ на многочисленные жалобы на фискальные злоупотребления, и вновь с согласия официальных властей, правление отменило налог на кошерное мясо, бывший до этого важным источником поступлений в общинную казну⁹³. Эта мера привела к тому, что петербургская еврейская община функционировала на совершенно иных основаниях, чем еврейские общины в черте оседлости. Поскольку налог на кошерное мясо охватывал всю общину, был в большей или меньшей степени обязательным и носил специфически религиозную окраску, он был последним существенным остатком права евреев на самоуправление как корпоративной целостности. Отмена внутреннего налогообложения существенно ослабила контроль общинных властей над евреями, соблюдающими обряды иудаизма, и превратила общину в строго добровольное сообщество. Как оказалось, число петербургских евреев, кто мог и хотел платить взнос в размере двадцати пяти рублей, никогда не превышало 500 человек⁹⁴. Доходы от налоговых поступлений постоянно оказывались недостаточными для финансирования проектов правления, и, как и прежде, общинный бюджет зависел большей частью от индивидуальных пожертвований⁹⁵. Ежегодные отчеты правления неизменно включали горькие жалобы на недостаток жертвователей и стесненность в средствах.

После реорганизации правления в 1869 году буквально все аспекты жизни еврейской общины Петербурга (не считая ставшей теперь более независимой и менее заметной деятельности более традиционных групп) стали зависеть от добровольных пожерт-

вований из щедрых рук наиболее богатых семейств. Стоявшие во главе общинных учреждений бароны Гинцбурги — вначале Евзель, затем его сын Гораций и, наконец, сын Горация Давид — превратили этот институт в почти наследственный, обладая при этом доступом к высшим должностным лицам империи и прочной репутацией филантропов и заступников среди евреев, проживавших в черте оседлости. Многие в положении этой семьи становятся ясным из того факта, что в обиходной речи петербургские евреи называли Горация Гинцбурга просто «папаша»⁹⁶. Когда Гинцбурги наносили периодические визиты в свое имение в Подолии, их обычно осаждали толпы еврейской бедноты, молящей о различного рода помощи или о вмешательстве в конфликтные ситуации⁹⁷. В представлениях рядовых евреев различные известные петербургские евреи, которым посчастливилось носить фамилии Гинсберг, Гинсбург, Гинзбург или Гюнзбург, сливались в одного «барона Гинцбурга», которому приписывались все добрые дела⁹⁸.

Несмотря на внешнюю упорядоченность, которую новые установления внесли в жизнь столичных евреев, междоусобные конфликты не исчезли полностью. Ортодоксальные иудеи и хасиды, хотя и были отделены от элиты в финансовом отношении, все же зависели от правления, когда требовалось обеспечить вид на жительство для их тайных раввинов, которых обычно формально регистрировали как «ассистентов» Неймана и его наследника на посту «казенного» раввина Аврама Драбкина⁹⁹. Новый порядок также не нравился и небольшому, но громко заявлявшему о себе меньшинству еврейских интеллигентов с народническими убеждениями. Явно имея в виду Гинцбургов и еврейскую плутократию, редакторы «Рассвета» писали в 1880 году: «Мы, евреи, все еще не можем стряхнуть с себя печальное вековое наследие, навязанное нам извне, ...историческим прошлым, все еще никак не можем освободиться от того прискорбного, но основанного, к сожалению, на печальном опыте убеждения, что всего и везде можно достичь лишь деньгами. Деньги, и только одни деньги, спасали нас от изгнания, от костров, деньги давали и, в некоторых государствах, и теперь дают нам почет и привилегированное положение — почему же, спрашивается, с деньгами, с одними деньгами, нельзя было бы и устроить, как следует, общественные дела? Оказывается, однако, что нельзя, что *внутри* еврейства необходимы еще и другие

рычаги и двигатели. <...> Мы, впрочем, вовсе не против того, чтобы наших финансовых известностей привлекать к участию в общественных делах. <...> Мы только против исключительного участия в этих делах их одних и никого более. <...> Действительный успех могут иметь только общественные дела и начинания, которые будут делом не одиночных личностей, а общим, народным»¹⁰⁰.

Отношения с городскими и государственными властями

Борьба между различными группами еврейского населения была лишь частью истории создания общинных институтов. Едва одержав победу на выборах 1869 года, «реформаторы» тут же столкнулись с неожиданным вмешательством со стороны государства, которое имело собственные представления о петербургском еврействе как *tabula rasa*. Правительственная политика играла фактически такую же роль в формировании еврейских общинных учреждений столицы, как и борьба между различными фракциями в среде самих евреев.

Разветвленная сеть царских учреждений участвовала в регулировании дел петербургской еврейской общины. Степень давления, оказываемого на жизнь еврейской общины, изменялась с течением времени, а также в зависимости от личных качеств людей, занимающихся этими проблемами. Но, как и в случае правительственной политики по отношению к евреям в целом, некоторые общие контуры этой политики были вполне различимы. По сути своей, они сводились к попытке удалить из жизни евреев столицы все элементы, не имеющие прямого отношения к религиозным ритуалам.

В 1870 году вновь избранное правление общины представило на одобрение министра внутренних дел свой устав, содержавший детально определенные юридические права и обязанности городской еврейской общины¹⁰¹. В этом уставе воплотилось давнее желание правления возвести в столице империи грандиозную синагогу, а вместе с ней основать и множество различных благотворительных и религиозных учреждений. Все предлагаемые к созданию учреждения были типичными компонентами жизни евреев

в черте оседлости. Тем не менее Министерство внутренних дел наложило на этот устав резолюцию, провозглашавшую, что жизнь еврейской общины в Петербурге должна быть организована иначе, чем в «черте». Например, погребальное общество не должно было финансироваться или контролироваться правлением, поскольку это «близко подходило бы к кагальному устройству», формально ликвидированному в 1844 году. Сходным образом и благотворительные учреждения должны были быть полностью независимыми от правления, поскольку иначе это «повело бы к искусственной централизации» власти в общине. Министерство провозгласило, что правление не имеет права даже владеть собственностью от своего имени — за исключением будущей синагоги¹⁰². И, наконец, каждая общинная организация должна была отдельно подавать прошение о разрешении ее деятельности.

Правление, уже осаждаемое оппонентами внутри самой еврейской общины, было ошеломлено резкими ограничениями, которые наложило на его полномочия правительство. В то время, когда правление пыталось опровергнуть сложившееся у евреев всего города (и всей империи) представление о нем как об инструменте в руках преуспевающей элиты, правительственная политика требовала, чтобы все общинные капиталы, здания (кроме будущей синагоги) и земли регистрировались как собственность отдельных лиц, а не общины в целом. Подобные распоряжения могли только усилить впечатление о коррумпированности правления (или даже усилить саму коррупцию)¹⁰³. Более того, официальное противодействие еврейским общинным организациям Петербурга лишь усиливалось с течением времени, несмотря даже на то, что еврейское население города росло и его нужды становились все более существенными. К концу 1870-х годов Министерство внутренних дел встало перед вопросом о том, нужны ли вообще в Петербурге специфически еврейские благотворительные и образовательные учреждения, поскольку их деятельность укрепляет статус евреев как «особой корпорации»¹⁰⁴. В опубликованном отчете за 1882 год правление объяснило свои относительно скромные достижения, выразительно заметив, что «правление в своей деятельности не выходило из предначертанной ему правительством программы»¹⁰⁵.

Политика ограничения активности еврейских общинных институтов не была, конечно, придумана специально для Петер-

бурга. В дополнение к запрещению кагальных институтов в черте оседлости, с 1860-х годов царское правительство пыталось ликвидировать в «черте» оседлости и еврейские погребальные общества, хотя и без особого успеха¹⁰⁶. Отличительной же чертой положения петербургских евреев был тот напор, с которым правительство преследовало здесь свои цели.

Жестко запретительный подход правительства ко всем еврейским учреждениям, не связанным прямо с отправлением религиозных ритуалов (в узком смысле этого слова), был впервые применен на практике в Петербурге, а затем стал явной моделью для официальной политики по отношению ко всем еврейским общинам за пределами черты оседлости¹⁰⁷. В этом смысле попытка свести все проявления жизни еврейских общин во внутренних губерниях России к чисто религиозным и строго добровольным функциям может рассматриваться как продолжение политики выборочной интеграции, согласно которой евреи, проживавшие вне «черты», подлежали интеграции в соответствующие социальные группы российского общества. Покидая черту оседлости, евреи теоретически не нуждались больше в наборе услуг, оказываемых специальными еврейскими общинными учреждениями — от медицинской помощи до беспроцентных ссуд. Как было сказано в официальном докладе министра внутренних дел за 1877 год о петербургских евреях, «понятие об особом „еврейском обществе“, вне принадлежности евреев к существующим сословиям — купцов, мещан, ремесленников, утратило, таким образом, свое значение»¹⁰⁸.

Конфликт вокруг синагоги

Ни в одной другой сфере отношений между общинным правлением и царским правительством не были столь запутанными — и столь символичными, — как это было при строительстве первой петербургской синагоги¹⁰⁹. Для «реформаторов» этот проект предшествовал всему остальному: синагога в политическом и культурном центре империи служила бы великолепным символом, воплощая достоинство евреев в глазах русского общества, правительства и самих евреев. Еврейские газеты в Петербурге, как и в других городах, регулярно сообщали своим читателям о том, как идет пла-

нирование и строительство синагоги. Как сформулировал Ландау, «еврейский храм в Петербурге — дело весьма важное. Это понимают и сознают все. И всякий еврей, где бы он ни жил, в Петербурге ли, или в Одессе, у подножия ли Кавказских гор, или в холодных снегах Сибири — всякий принесет свою посильную лепту для этого великого дела... для храма, в котором русскому обществу предстоит познакомиться с самою глубокою стороною еврейского быта — с еврейскою религией!»¹¹⁰.

Возможно, этот эффект был создан непреднамеренно, но образы, используемые Ландау, демонстрируют, в какой степени элита петербургских евреев, переняв ментальные привычки своего русского окружения, стала видеть мир через призму имперских воззрений — где она сама выступала как центр, окруженный далекими и разнообразными периферийными областями. Это видение мира становится особенно удивительным, если учесть, что почти вся обширная территория империи — включая Сибирь и Кавказ — была фактически недостижима для большинства еврейского населения.

Но в глазах современников круг тех, чье воображение должна была поразить синагога, расширялся даже за пределы империи. «Будущая синагога в Петербурге, — утверждал Гордон, — должна ни в чем не уступать синагогам других стран и столиц»¹¹¹. Все-таки еврейское население Российской империи было самым значительным в мире, превосходя вместе взятое еврейское население всех европейских стран. Частота, с которой петербургские евреи (вместе с их русскими соседями) сравнивали строящуюся синагогу с аналогичными строениями в западноевропейских столицах, позволяет поверить утверждениям, что отчасти именно обеспокоенность мнением западноевропейских евреев — и в особенности визитом Адольфа Кремье в Россию в 1869 году — дала жизнь планам строительства синагоги¹¹².

Хотя и несколько иным путем, сравнения с Западом побуждали одного из самых известных российских историков искусства и либеральных критиков того времени В.В.Стасова начать широкую дискуссию о будущей синагоге. В своей статье, написанной для петербургского толстого журнала «Еврейская библиотека» в 1872 году, Стасов отмечал, что «уже как-то стыдно, под боком у Европы», что петербургские евреи не имеют своей синагоги, где они могли бы свободно и открыто отправлять свое богослужение.

Большая синагога в столице «будет истинно народною честью, славою, потому что еще раз докажет, что мы все более и более поканчиваем с прежними, позорившими нас предрассудками [и что] не хотим уступать остальной Европе в светлости и ширине воззрения»¹³. Российская империя, с ее калейдоскопическим смешением этнических и религиозных групп, обладала потенциальной возможностью далеко превзойти европейские страны как образец толерантности, человеческого разнообразия и универсалистских устремлений. С точки зрения Стасова, синагога в Петербурге — вместе с уже существующими русскими православными, католическими, лютеранскими, протестантскими, армяно-григорианскими и другими церквями, а также мечетью — должна была служить укреплению образа широкого и великодушного русского национального характера.

Как и можно было ожидать от историка искусств, Стасов вынашивал определенные идеи относительно внешнего вида будущей синагоги. Чтобы подчеркнуть разнообразие этнического состава империи, синагога, по Стасову, непременно должна быть узнаваемо еврейской по стилю. Большинство доводов Стасова фактически имело форму полемики с опубликованным незадолго до этого антисемитским памфлетом Рихарда Вагнера «Евреи в музыке», строясь на том, что евреи обладают своим собственным эстетическим стилем, достойным развития, а не паразитируют на других культурных традициях. По Стасову, аутентично еврейская синагога должна выглядеть зданием «восточным» и «азиатским», ее следует возводить в арабо-мавританском стиле синагог средневековой Испании или, в недавнем случае, Германии.

Сколь бы добрыми ни были чувства Стасова по отношению к столичным евреям — а в контексте российского дискурса 1870-х годов его высказывания были необыкновенно благожелательными — его предложения тем не менее вызвали сильные возражения со стороны нескольких влиятельных евреев. В частном письме Стасову известный скульптор Марк Антокольский одобрил призыв к созданию синагоги в аутентично еврейском стиле, но усомнился в том, что следование мавританским архитектурным традициям может достигнуть этой цели. «Я очень боюсь, — писал он, — чтобы это не было подражание Берлинской синагоге, которая в плане есть подражание протестантской церкви, а протестантская церковь, в свою очередь, есть подражание католической». Следование по-

добному сценарию означало бы, что «мы подражаем тому, чему меньше всего должны были бы подражать»¹⁴.

Иегуда Лейб Гордон занимал совершенно противоположную позицию. В своем опубликованном в печати ответе Стасову Гордон отрицал, что евреи имеют свой собственный определенный архитектурный стиль, доказывая, что в течение всей своей истории «они [евреи] заимствовали стиль у господствовавшего в данное время и в данной местности народа»¹⁵. В соответствии со своим знаменитым девизом — «Будь человеком на улице и евреем дома» — Гордон доказывал, что для евреев всегда имели значение лишь внутренние аспекты еврейских ритуалов, что «им совершенно безразлично было, какой внешний вид будет иметь их храм, лишь бы в этой внешности не заключалось ничего шокирующего для их религиозного чувства, ничего тенденциозно антиеврейского»¹⁶. Если евреи и строили когда-то синагоги в арабском стиле, то они делали это только потому, что жили среди арабов. Воспроизводить этот стиль в Петербурге имело бы смысл лишь в том случае, если бы живущие в российской столице евреи говорили по-арабски, а не по-русски. Напротив, синагога в российской столице должна следовать стилю русских православных церквей, за исключением лишь христианской символики¹⁷. Не следует и помещать на купол синагоги Звезду Давида, поскольку, согласно Гордону, еврейское вероучение отрицает визуальное представление в целом, и, в любом случае, Звезда Давида была продуктом «народного заблуждения», вдохновленного Каббалой. По существу, возражения Гордона сводились к удалению всех «азиатских» черт в еврейской религиозной практике. За исключением того факта, что иудеи молятся, обратившись к Востоку (в сторону Иерусалима), настаивал Гордон, евреи не являются по сути своей «восточным» народом.

По смыслу возражений Гордона, петербургская синагога должна была показать, что иудаизм полностью согласуется с нормами и традициями западной культуры. Конечно, Гордон считал само собой разумеющимся то, что подражание архитектуре русских православных церквей могло способствовать достижению этой цели. Он тем самым избегал сложной проблемы двойственной идентичности самой России, перемещающейся между Востоком и Западом. Но для целей нашего исследования более важно то обстоятельство, что в ходе ученого диспута об истории архитек-

туры Стасов и Гордон выдвигали неожиданно противоположные воззрения на роль евреев в жизни Российской империи. Настойчивые требования Гордоном полной внешней ассимиляции евреев прямо подрывали надежды Стасова на то, что слава России будет основана на ее разнообразии, в то время как обращенные к евреям призывы Стасова всемерно подчеркивать свои культурные особенности шли наперекор мечтам Гордона об интеграции и принятии евреев в российское общество.

Одновременно с дебатами об архитектурном стиле будущей синагоги развернулись и споры о месте ее строительства. Где можно было найти подходящее место для синагоги с ее представительскими амбициями в уже сложившемся петербургском городском ландшафте с его богатой символикой — грандиозными имперскими фасадами, роскошными иностранными магазинами, чадающими фабриками и переполненными доходными домами? А также, можно добавить, с его церквями: в дореволюционном Петербурге было множество внушительных церквей и соборов, и этот факт дополнительно затруднял вопрос о выборе места для синагоги. Императорский указ времен правления Николая I гласил, что ни одна синагога в империи не должна находиться ближе, чем на сто сажень (примерно двести метров) от русской православной церкви, если они стоят на одной улице, и ближе 50 сажень, если они построены на разных улицах¹¹⁸. Стасов был достаточно озадачен этим запретом, чтобы рекомендовать городским властям отменить его как устаревший. Этого не было сделано¹¹⁹.

Поиск места для строительства синагоги начался в 1869 году и продолжался около десяти лет. Бесконечные отсрочки в решении этого вопроса вызывали постоянные обвинения внутри еврейской общины в абсентеизме и летаргии правления¹²⁰. В действительности различные органы городской и имперской бюрократии принимали к рассмотрению и долго переваривали множество предложений со стороны правления общины — только для того, чтобы их отвергнуть. Первым было предложение построить синагогу в весьма престижном месте — на пересечении набережной Фонтанки и Гороховой улицы, одного из тех трех радиальных бульваров (считая в их числе Невский проспект), которые придавали городской планировке неповторимый облик. Неподалеку от этого места находился самый большой в городе район компактного прожива-

ния евреев — три Подъяческих улицы, а также временная «купеческая молельня». Однако генерал Ф.Ф. Трепов, петербургский полицмейстер (1866–1878) и градоначальник (1873–1878), наложил вето на этот проект, ссылаясь на то, что важные правительственные чиновники часто проезжают по Гороховой, направляясь на Царско-сельский железнодорожный вокзал, и что «не хорошо, чтобы там собирались по субботам и еврейским праздникам массы евреев»¹²¹. Взамен Трепов предложил место на окраине города, на северо-востоке Выборгской стороны, в районе, где проживало очень мало евреев, да и вообще малолюдном. Правление, со своей стороны, отвергло идею Трепова, мотивируя это тем, что оттуда до Подъяческих несколько миль расстояния, а еврейский закон требует по субботам и праздничным дням добираться до синагоги пешком¹²².

Тогда правление общины выдвинуло новое предложение: теперь было выбрано место неподалеку от Подъяческих, на Большой Мастерской улице (ныне Лермонтовский проспект). На этот раз возражения Трепова были более ясно сформулированы: «Еврейская синагога не должна быть построена в населенной части города во избежание накопления в ней черни и сопряженной с нею грязи»¹²³. Эта позиция поставила под угрозу проект постройки синагоги на расстоянии пешеходной прогулки от мест проживания евреев. Обращения правления в различные высокие правительственные инстанции, включая и самого императора Александра II, не возымели действия.

Уход Трепова в отставку после покушения на него участницы народнического движения Веры Засулич в 1878 году вызвал новую волну предложений. Так, Гордон вновь попытался привлечь внимание общественности к вопросу о синагоге: «Русский народ в массе ни что иное, как добродушное, доверчивое дитя, слушающее, что старшие говорят. „Образ мыслей“ его зависит от того направления, которое ему дают сверху. Поставьте еврейскую синагогу на Невском проспекте, — и русский простолудин, пройдя мимо, снимет шапку и перекрестится: значит, мол, святыня, коль сюда поставили; но запрячьте ее за Нарвскую заставою, — он не только будет смотреть на изгнанную синагогу как на скверну, но сочтет делом угодным и Богу и начальству — гнать в шею всех жидов»¹²⁴.

Этот пассаж примечателен в нескольких отношениях. Он с графической четкостью показывает устоявшуюся привычку маскилизма (последователей Гаскалы — еврейского Просвещения) вос-

принимать государство одновременно как потенциального союзника евреев и как всемогущего творца по отношению к нравам и поведению рядовых россиян¹²⁵. Более того, с точки зрения Гордона, власть государства над убеждениями наглядно воплощена не только в образе самого Петербурга, столицы, созданной Петром Великим, но и в образе Невского проспекта в особенности. Само собой разумеется, что в глазах любого человека Невский нес огромную символическую нагрузку, но, согласно логике приведенного высказывания Гордона (скорее всего, ошибочной), Невский проспект воспринимается русскими как некое сакральное пространство. Это явно вступает в противоречие с гораздо более устоявшейся репутацией Невского как арены западного коммерческого влияния, как места смешения контрастирующих друг с другом социальных групп и, чем дальше, тем больше, как арены политических демонстраций — т.е. как меланжа всех изменчивых сторон современной жизни¹²⁶.

В любом случае, вопрос о возможности возведения синагоги на Невском никогда не обсуждался всерьез. Тем не менее отставка Трепова облегчила дело, и в 1880 году решение о строительстве синагоги на Большой Мастерской было одобрено всеми необходимыми городскими и правительственными инстанциями. К тому времени подписная кампания, проведенная среди еврейской финансовой элиты, принесла в фонд строительства синагоги 125 тысяч рублей, из которых наибольшую сумму — 70 тысяч — пожертвовал Гораций Гинцбург (при том, что планируемые расходы на строительство должны были составить не менее 800 тысяч рублей)¹²⁷. Правление общины создало особое жюри для рассмотрения архитектурных проектов синагоги и в духе интеграции включило в его состав нееврея — и не кого-нибудь, а В.В. Стасова. На практике широкая известность Стасова придавала его слову большой вес, чем мнениям трех его коллег по жюри, и, таким образом, он получил шанс реализовать те идеи, которые отстаивал в ходе диспута с Гордоном и Антокольским. Так, один из проектов Стасов отверг преимущественно потому, что в нем синагога слишком напоминала церковь. Еще важнее тот факт, что выигравший конкурс проект Леона Бахмана (первого еврея, окончившего Академию художеств в Петербурге) и И.И. Шапошникова (русского профессора Академии) был выбран Стасовым за то, что в нем «не только арабский стиль, но вообще восточный характер выдержан гораздо лучше

и даровитее, чем в остальных проектах; в общем ансамбле здание не имеет никакого сходства ни с... церковью, ни с... мечетью...»¹²⁸.

Но это еще не было окончательным решением. Когда правление общины представило проект Бахмана и Шапошникова на одобрение Александра II, проект был неожиданно возвращен со сжатым и выразительным комментарием императора: «Переделать в более скромных размерах»¹²⁹. Даже Гордон, будучи противником выигравшего конкурс архитектурного проекта, был ошарашен царским вердиктом, который он истолковал следующим образом: «Чтобы евреи не думали, что они уже здешние, а не гости только». Пытаясь сохранить свой оптимизм, Гордон мог только покачать головой, видя столь «необъяснимое недоверие»¹³⁰.

Синагога распахнула свои двери в 1893 году. Трудно судить, насколько ее размеры были меньше запланированных первоначально; расходы на строительство составили только около половины изначальной сметы¹³¹. Рассчитанная всего на 1200 сидячих мест, она была достаточно велика по современным стандартам, но все же меньше, чем две больших синагоги в Одессе и прославленная Ораниенбургская синагога в Берлине. Десяток псевдоминаретов и бесчисленные декоративные детали придавали зданию желаемый восточный колорит — то была, по словам поэта Осипа Мандельштама, который ребенком входил в ее стены только по принуждению, «пышная чужая смоковница»¹³². Службы, тем не менее, проводились в стиле немецких реформаторских синагог, с именными скамьями для богатых жертвователей и хоровым пением. Официально известное как «Хоральная синагога» (это и сегодняшнее название), в течение какого-то времени здание также носило более неформальное имя — «синагога барона Гинцбурга»¹³³.

Заключение

В этой статье была предпринята попытка воссоздать всю сложность процесса культурной ассимиляции — или «слияния», если использовать термин того времени, — в ходе которого петербургские евреи продемонстрировали как достойную внимания способность адаптироваться к их новому окружению, так и постоянно сохраняющуюся обособленность по отношению к внешнему миру.

Наиболее ярким примером этого контраста можно считать, с одной стороны, стихийное движение к беспрецедентной по своим масштабам языковой ассимиляции, а с другой — сохраняющееся (и даже усиливающееся) пространственное обособление евреев, проживавших в Петербурге. Ни одно из этих явлений не было прямым следствием целенаправленного регулирования со стороны государства, несмотря на то что последнее явно питало склонность к социальному контролю. Скорее, эти явления стали следствием не поддающегося регулированию столкновения евреев с динамичным, беспокойным миром имперской столицы.

Этот мир, какова бы ни была его репутация в среде российских интеллектуалов, был для его еврейских жителей высшим символом самой России, «центра» империи, и, таким образом, символом спасения от периферийной ограниченности черты оседлости. Но чувство «прибытия домой», тем не менее, отсутствовало в сознании петербургских евреев, которые, проживая в столице, демонстрировали постоянные признаки своего неустойчивого статуса там. Хотя евреи, жившие в Париже или Берлине на рубеже веков, и могли сомневаться в том, являются ли они в полной мере французами или немцами, они были совершенно уверены в том, что являются парижанами или берлинцами. Петербург, напротив, вовсе не выполнял такой посреднической функции в отношениях между отдельно взятым евреем и русским обществом в целом. Даже Горация Гинцбурга, находившегося на вершине петербургского еврейства, русское потомственное дворянство упорно не допускало в свой круг, а в результате принятия Городового положения 1892 года (которое, помимо всего прочего, запретило евреям занимать многие выборные должности в органах местного самоуправления) Гинцбург был лишен своего места в Петербургской городской думе. Словно в ответ на это, после смерти Гинцбурга, наступившей в Петербурге в 1909 году, тело этого человека, который в гораздо большей степени, чем кто-либо другой, отстаивал интересы российских евреев и боролся за их интеграцию в русское общество, согласно его последней просьбе было увезено для погребения в Париж¹⁴.

Несмотря на постоянные предположения русских о высоком уровне солидарности среди евреев, история петербургских евреев обнаруживает поразительные центробежные тенденции внутри еврейской общины. Действительно, факт наличия раскола

среди евреев по признаку религиозных привычек, социального статуса и языка повседневного общения вынуждает заключить, что в одном и том же городе существовало *несколько* еврейских общин. В этом отношении петербургские евреи стали ярким примером тенденций, уже существовавших в черте оседлости, и во многом предвосхитили уникальное по своей разобщенности положение российских евреев после 1917 года.

Но не только внутренние противоречия служили помехой на пути создания традиционной сети еврейских общинных институтов. В столице Российской империи в полной мере выявились все последствия правительственного эксперимента по выборочной интеграции евреев в российское общество. Формально присвоив различным группам еврейского населения права их российских собратьев по сословию, царское правительство ожидало, что такие привилегированные евреи в результате сами перестанут составлять определенное сословие и что общинная жизнь евреев вне черты оседлости утратит свое социальное измерение¹⁵.

Примечания

Эта статья была впервые опубликована в журнале *Jahrbücher für Geschichte Osteuropas* (1996. Vol. 44. № 2. S. 178–215) и представляет собой сокращенный вариант фрагмента работы Бенджамина Натанса «Beyond the Pale: The Jewish Encounter With Late Imperial Russia» (Berkeley, 2002), которая в настоящее время готовится к публикации на русском языке в издательстве РОССПЭН.

¹ Гессен Ю.И. История еврейского народа в России: В 2 т. Л., 1927. Т. 2. С. 155–159, 208.

² Несмотря на широкое использование этого термина на Западе — возможно, здесь проявилась тенденция объединять под рубрикой «русский» всё, что касается Российской империи (а позднее — Советского Союза) — термин «русский еврей» впервые появился в русском языке только в 1850-х годах, т.е. три четверти века спустя после появления евреев в составе подданных Российской империи. Наиболее ранний пример использования этого термина я смог отыскать в прошении, поступившем в правительство в 1856 году от Евзеля Гинцбурга и других еврейских купцов; см.: Российский государственный исторический архив [далее — РГИА]. Ф. 1269. Оп. 1. Д. 61. Л. 4.

³ Еврейское население России по данным переписи 1897 года и по новейшим источникам. Пг., 1917. С. IX. Ценный обзор жизни еврейских общин вне черты оседлости содержится в следующей работе: *Kreiz S. Toldot*

ha-yehudim be-eizorim she-mihuts le-tehom ha-moshav [История евреев за пределами черты оседлости]. Неопубликованная рукопись магистерской диссертации. University of Haifa, 1984.

4 Санкт-Петербург по переписи 10 декабря 1869 года. СПб., 1872. Т. 1. Разд. 2. С. 25, 38, 49, 59; Петроград по переписи населения 15 декабря 1910 года. Пг., [б.г.] Ч. 1. Разд. 1. С. 5. Перепись 1869 года не охватывала четыре пригородных местности, и потому в реальности еврейское население Петербурга в 1869 году могло быть несколько больше зафиксированного. О значительном числе евреев, проживавших в Петербурге незаконно, см. письмо от 1878 года петербургского градоначальника министру внутренних дел: РГИА. Ф. 821. Оп. 8. Д. 24. Л. 125; о сходных наблюдениях самих евреев см.: *Ginzburg S.M. Amolike Peterburg* [Петербург, каким он был]. N.Y., 1944. P. 22.

5 *Слиозберг Г.Б.* Дела минувших дней: Записки русского еврея: В 3 т. Париж, 1933. Т. 1. С. 111. Сходные переживания другой части евреев, проживавших в столице, описывает Якоб Тейтель: *Teitel J. Aus meiner Lebensarbeit: Erinnerungen eines judischen Richters im alten Russland*. Frankfurt a.M., 1929. S. 19; *Ginzburg S.M.* Op. cit. P. 20; *Wengeroff P.* Memoiren einer Grossmutter: Bilder aus der Kulturgeschichte der Juden Russlands im 19. Jahrhundert / 3rd edition. Berlin, 1922. Vol. 2. P. 169.

6 *Aronson C.* A Jewish Life Under the Tsars: The Autobiography of Chaim Aronson, 1825 - 1888 [перевод с иврита Нормана Марсдена]. Totowa, N.J., 1983. P. 203 - 278. Эта книга, насколько мне известно, - единственные опубликованные мемуары петербургского еврея-ремесленника.

7 *Лившиц Г.* Исповедь преступника: Юмористический рассказ из жизни петербургских евреев. СПб., 1881. С. 12. Лившиц был штатным автором петербургской еврейской газеты «Рассвет».

8 *Ha-Kohen, Mordechai ben Hillel.* Olami. Jerusalem, 1927. Vol. 1. С. 77, 106.

9 *Hirshbein P.* In gang fun lebn: zikhroynes. N.Y., 1948. Vol. 1. P. 150.

10 *Kappeler A.* Russland als Vielvölkerreich: Entstehung, Geschichte, Zerfall. Munich, 1992. S. 327 [*Канпелер А.* Россия -- многонациональная империя: Возникновение, история, распад. М., 2000. С. 295].

11 Большинство городов в великорусских губерниях были в этническом отношении гораздо более гомогенными, чем Петербург. См.: *Юхнева Н.В.* Материалы к этническому районированию городского населения Европейской России (по данным переписи 1897 г.) // Этнические группы в городах Европейской части СССР (формирование, расселение, динамика культуры / Под ред. И.И. Крупника. М., 1987. С. 112 - 126.

12 *Wengeroff P.* Op. cit. Vol. 2. S. 169; *Medem V.* The Life and Soul of a Legendary Jewish Socialist [перевод с идиш Самуэля Портного]. N.Y., 1979. P. 452.

13 *Юхнева Н.В.* Этнический состав и этносоциальная структура населения Петербурга: Вторая половина XIX - начало XX в.: Статистичес-

кий анализ. Л., 1984. С. 82–97. Сходные наблюдения сделаны в следующей работе: *Bater J.H.* St. Petersburg: Industrialization and Change. London, 1976. P. 146–147.

14 Анекдотичные свидетельства подтверждают, что даже после прибытия евреев в Петербург местные связи в форме «*landsmanshaftn*», или землячеств, продолжали играть заметную роль в их социальной и профессиональной жизни. См., например: *Коган М. [Мордехай бен Гиллель Га-Козн]*. К истории национального самосознания русско-еврейского общества. По личным воспоминаниям // *Пережитое*. 1911. № 3. С. 136–157; *Леванда Л.О.* Исповедь дельца. СПб., 1880. С. 83–84.

15 «Значительными» здесь названы этнические группы, численность которых превышала 200 тысяч человек. Я не принимал в расчет две в высокой степени урбанизированные этнические группы, проживавшие в азиатской части империи: таджиков (29%) и сартов (21%). См.: *Die Nationalitäten des Russischen Reiches in der Volkszählung von 1897 / Hrsg. von H. Bauer, A. Kappeler, B. Roth.* Stuttgart, 1991. Bd. 2. S. 69–74.

16 *Леванда Л.О.* Указ. соч. С. 79.

17 *Никитин В.* Искатель счастья (Из рассказов отверженного) // Еврейская библиотека. 1875. № 5. С. 74–110, цитата на с. 89.

18 См.: *Гессен Ю.И.* Гетто в России // *Еврейская энциклопедия: Свод знаний о еврействе и его культуре в прошлом и настоящем*. СПб., 1913. Т. 6. С. 449–457.

19 РГИА. Ф. 1269. Оп. 1. Д. 136. Л. 59–62, 98–105, 254.

20 См.: *Armstrong J.* Mobilized Diaspora in Tsarist Russia: The Case of the Baltic Germans // *Soviet Nationality Policies and Practices / Ed. by Jeremy Azrael.* N.Y., 1978. P. 64. Армстронг ссылается на историка XIX века А. Брюкнера, который сравнивал слободы с еврейскими кварталами в западноевропейских городах. См. также: *Юхнева Н.В.* Этнический состав... С. 107.

21 *Юхнева Н.В.* Этнический состав... С. 107 и след.

22 РГИА. Ф. 1269. Оп. 1. Д. 136. Л. 98–100. См. также: *Ginzburg S.M.* Idishe getos in amoligen rusland [Еврейские гетто в старой России] // *Ginzburg S.M.* Historishe Verk. N.Y., 1937. Vol. 3. P. 343–347.

23 *Гордон Л.О.* К истории поселения евреев в Петербурге // *Восход*. 1881. № 1. С. 111–123, цитата на с. 121.

24 РГИА. Ф. 1269. Оп. 1. Д. 136. Л. 59 об.; Д. 137. Л. 1; Д. 138. Л. 63. Во многих случаях (например, в Вильне, Киеве и Каменце-Подольском) запреты на поселение евреев в определенных районах города восходили к средневековому периоду, когда большая часть будущей черты оседлости находилась под властью Польско-Литовского государства. Еврейский комитет постоянно напоминал, что «древние привилегии» (*de non tolerandis judaeis*) были польскими, а не российскими по происхождению.

25 *Bater J. H.* Op. cit. P. 196–198. В дальнейшем Бейтер развил свою концепцию вертикальной сегрегации в работе: *Bater J. H.* Between Old and New: St. Petersburg in the Late Imperial Era // *The City in Late Imperial Russia* / Ed. by Michael F. Hamm. Bloomington, 1986. P. 43–78.

26 Бейтер признает это в своей работе: *Bater J.* Between Old and New... P. 66.

27 *Крестовский В. В.* Петербургские трущобы. М., 1990. С. 520. Роман Крестовского впервые был опубликован (в журнальном варианте) в конце 1860-х годов.

28 *Лившиц Г.* Указ. соч. С. 15. В своей автобиографии «Шум времени» Осип Мандельштам описывает место проживания его семьи в Петербурге рубежа веков как «еврейский квартал». См.: *Мандельштам О. Э.* Собрание сочинений. М., 1991. Т. 2. С. 65.

29 Санкт-Петербург по переписи 10 декабря 1869 года... Т. 1. Разд. 2. С. 25. Этими шестью участками были: 3-й и 4-й участки Спасской части, 1-й – Коломенской, 1-й и 2-й – Нарвской части и 4-й – Московской части. Необходимо отметить, что данные переписи о петербургских евреях относятся только к тем, кто проживал в Петербурге легально; информацию о евреях, селившихся в Петербурге незаконно, практически невозможно было собрать и обобщить.

30 См.: *Bater J.* St. Petersburg... P. 167, 204, 319, 345–350.

31 *Юхнева Н. В.* Петербург и губерния: Историко-этнографические исследования. Л., 1989. С. 108–109.

32 Перепись 1869 года характеризует две крупнейшие сословные категории петербургских евреев как «мещан» (34%) – это сословие включало ремесленников и мелких торговцев – и «отставных солдат» (38%), которые по сфере своих гражданских занятий часто были неотличимы от мещан. К 1897 году так называемые «мещане» составляли уже около 87% еврейского населения столицы. Тем не менее, как уже было сказано выше, сословные категории немного могут нам сообщить о реальных занятиях и социальном статусе респондентов. Это особенно явно выступает по отношению к евреям, которые, как известно, часто указывали фиктивные данные о роде занятий и о сословной принадлежности, чтобы приобрести право на проживание вне черты оседлости. См.: Санкт-Петербург по переписи 10 декабря 1869 года... Т. 1. Разд. 2. С. 110–111, 124–127; Первая всеобщая перепись населения Российской империи, 1897 г.: Город Санкт-Петербург. СПб., 1903. Т. 37. Ч. 2. С. 232–247.

33 *Aronson C.* Op. cit. p. 206–219.

34 *Ginzburg S.* Op. cit. P. 22; *Клячко Л.* За чертой: в Петербурге // Еврейская летопись. 1923. № 2. С. 114–122; *Ландау А. Е.* Письма об евреях: петербургские евреи // Библиотека для чтения. 1864. № 2 (187). С. 4.

35 Ландау А.Е. Указ. соч. С. 3–4; Никитин В. Указ. соч. С. 90.

36 Цит. по: N.N. Из впечатлений минувшего века: Воспоминания среднего человека // Еврейская старина. 1914. № 3 (6). С. 430. В еврейском фольклоре Бердичев выступал как архетип еврейского города. По данным переписи 1897 года, среди городов черты оседлости с населением более 15 тысяч человек Бердичев лидировал по относительной численности еврейского населения (42 тысячи из 52 тысяч жителей, или почти четыре пятых городского населения). См.: Еврейское население России по данным переписи 1897 года... С. 29.

37 Грюзенберг С. Еврейское население Петербурга в социальном и санитарном отношении // Восход. 1891. Январь. № 1. С. 6.

38 Bater J. St. Petersburg... P. 188–190.

39 Rozenblit M. The Jews of Vienna, 1867–1914: Assimilation and Identity. Albany: SUNY Press, 1983. P. 225, note 26. По подсчетам Розенблит, индекс пространственной сегрегации венских евреев в 1910 году составлял 44,2%.

40 Материалы переписи 1897 года содержали весьма детализированные сведения о грамотности и владении языками по каждой из городских частей Петербурга. Уровень грамотности среди евреев колебался от 63% (в окраинной Рождественской части) до 78% (в центральной Адмиралтейской части). Среди городского населения в целом уровень грамотности колебался от 46% (Выборгская и Александро-Невская части) до 54% (Адмиралтейская часть). См.: Первая всеобщая перепись населения Российской империи... Т. 37. Ч. 2. С. 56–87.

41 Подробно о категории «грамотность» в российских переписях населения см.: Die Nationalitäten des Russischen Reiches... Bd. 1. S. 360–370.

42 Санкт-Петербург по переписи 15 декабря 1890 года. Спб., 1892. Ч. 1. Вып. 1. Разд. 2. С. 80; Первая всеобщая перепись населения Российской империи... Т. 37. Ч. 2. С. 56–87. Согласно переписи 1897 года, владение грамотой на любом языке охватывало 39% евреев всех возрастов в Российской империи. См.: Die Nationalitäten des Russischen Reiches... Bd. 2. S. 94, а также: Stampfler S. Yediyat kero u-ktov etsel yehudei mizrah eiropa ba-tekufa ha-hadasha [Умение читать и писать среди евреев Восточной Европы] // Temurot be-historiya ha-yehudit ha-hadasha / Ed. by Shmuel Elmog et al. Jerusalem, 1988. P. 459–483. Материалы переписи не позволяют судить об уровне грамотности евреев, указавших различные языки как свои родные, если они проживали вне Петербурга и других крупнейших городов империи.

43 Первая всеобщая перепись населения Российской империи... Т. 37. Ч. 2. С. 91; Петроград по переписи населения 15 декабря 1910 года. Пг., [б.г.]. Ч. 1. Разд. 2. С. 269.

44 Wengeroff P. Op. cit. Vol. 2. S. 135.

45 Ананьич Б.В. Банкирские дома в России, 1860–1914 гг.: Очерки истории частного предпринимательства. Л., 1991. С. 4.

46 Рассвет. 1880. 12 июня. № 24. С. 921.

47 N.N. Из впечатлений минувшего века... С. 431.

48 *Ананьич Б.В.* Указ. соч. С. 43. В 1878 году банк Гинцбургов предоставил правительству заем в размере 10 млн. рублей — наибольшую сумму, которую царское правительство до того времени получало от какого-либо частного банка. В том же году русский еврей, банкир Ипполит Вавельберг, ссудил правительству еще 2 млн.

49 В числе других известных еврейских финансистов Петербурга были Леон Розенталь, Ипполит Вавельберг, Лев Фридланд и Абрам Моисеевич Варшавский. См.: *Ананьич Б.В.* Указ. соч.; *Rieber A.* The Formation of La Grande Soci  t   des Chemins de Fer Russes // *Jahrb  cher f  r Geschichte Osteuropas*. 1973. Bd. 21. S. 375–391; N.N. Из впечатлений минувшего века... С. 434–436; а также очерки о каждом из этих лиц в «Еврейской энциклопедии».

50 Это стихотворение цитируется в работе Бейзера «Евреи в Петербурге»: *Бейзер М.* Евреи в Петербурге. Иерусалим: Библиотека алия, 1989. С. 69. Полный текст см.: *Некрасов Н.А.* Полное собрание сочинений и писем. В 15 т. Л., 1981. Т. 2. С. 235–236.

51 *Eckardt J.* [предположительно]. Aus der Petersburger Gesellschaft. Leipzig, 1881. P. 44. По материалам городской переписи, проведенной в том же году, в городе проживало свыше шестнадцати тысяч евреев.

52 См.: *Цинберг И.С.* Аркадий Ковнер: Писаревщина в еврейской литературе // *Пережитое*. 1910. № 2. С. 130 и далее. О Ковнере см. также: *Гроссман Л.П.* Исповедь одного еврея. М., 1924; *Weinreich M.* Fun bayde zaytn ployt: dos shturemdike lebn fun Uri Kovner, dem nihilist [По обе стороны барьера: бурная жизнь Ури Ковнера, нигилиста]. Buenos-Aires, 1955.

53 *Asch S.* Peterburg [первая часть трилогии «Forn mabul <До потоп>»]. Warszawa, 1929.

54 О еврейских общинных институтах в Одессе см.: *Ципперштейн С.* Евреи Одессы: история культуры, 1794–1881. М.; Иерусалим, 1995.

55 Задачи петербургских евреев // *Рассвет*. 1880. 29 мая. № 22. С. 843.

56 Сравнения с еврейскими общинами западноевропейских столиц были тогда общим местом, см., например, пометы Иегуды Лейб Гордона на протоколах совета Петербургской синагоги: Центральный государственный исторический архив города Санкт-Петербурга [далее — ЦГИА-СПб.]. Ф. 422. Оп. 1. Д. 157. Л. 84. (Я приношу благодарность В.А. Левину за то, что он привлек мое внимание к пометам Гордона); а также: Задачи петербургских евреев // *Рассвет*. 1880. 29 мая. № 22; 26 июня. № 26.

57 РГИА. Ф. 821. Оп. 8. Д. 24. Л. 7–9. Термин «дипломированная интеллигенция» обычно использовался, чтобы отличить молодое поколение евреев, получивших светское образование, от представителей старшего поколения — *маскилим* (последователей *Гаскалы*, еврейского просвети-

тельского движения), формальное образование которых было типично иудейским.

58 Рассвет. 1880. 15 мая. № 20. С. 763.

59 Ландау А.Е. | «Гамаббит»|. Петербургские письма // День. 1870. № 43. С. 765; сходные жалобы на недостаток инициативы у Неймана см.: Рассвет. 1880. 29 мая. № 22. С. 843–845.

60 Начало Гаскале, или еврейскому Просвещению, положили в конце XVIII века Мозес Мендельсон и другие германоязычные евреи; Гаскала распространилась в Восточной Европе в начале XIX века.

61 Царское правительство само с уважением относилось к праву еврейских общин в черте оседлости избирать себе раввина и время от времени препятствовало планам иудейских реформаторов запретить или сорвать такие выборы. См.: РГИА. Ф. 1269. Оп. 1. Д. 138. Л. 125–128, 167–168; Д. 139. Л. 141–155. См. также: *Shochat A. Mosad „ha-gabanut mi-taam“ be-gusiya*h [Институт «казенных раввинов» в России]. Haifa, 1975.

62 РГИА. Ф. 821. Оп. 8. Д. 24. Л. 33–34.

63 Там же. Л. 35, 53–58.

64 Там же. Л. 35, 48.

65 Отдел рукописей Российской национальной библиотеки [далее – ОР РНБ]. Ф. 183. Д. 1014. Л. 3–4.

66 Там же. Л. 4–5.

67 См., например: РГИА. Ф. 821. Оп. 8. Д. 24. Л. 33, 45, 120. Это обвинение повторял Ландау в своих публикациях в газете «День» (1869. № 22. С. 347), а также редакторы газеты «Рассвет» (1880. 12 июня. № 24), которые подметили, что члены правящего совета часто пропускали собрания, и в результате совет вначале собирался еженедельно, затем – ежемесячно и, наконец, от случая к случаю. В одной жалобе (от 1873 года) утверждалось, что из одиннадцати членов совета шесть (названных поименно), включая Горация Гинцбурга, большую часть года проводили за границей, а трое других были полностью поглощены делами своего частного бизнеса. См. РГИА. Ф. 821. Оп. 8. Д. 24. Л. 120.

68 Там же. Л. 37–38.

69 Там же. Л. 37. Аналогичную петицию подписал в 1869 году Пинхус Хаимович Розенберг, которого источники описывают то как портного, то как купца первой гильдии (он вполне мог быть обладателем и того и другого статуса); см.: Там же. Л. 45–46; ОР РНБ. Ф. 183. Д. 1014. Л. 3–4. А.Е. Ландау вторил Каценеленбогену годом позже, на страницах газеты «День»: «В Петербурге, изволите ли видеть, – но entre nous, читатель, – редко кто из еврейских богачей имеет кошерную кухню: они, несмотря на свой еврейский патриотизм, преспокойно едят себе трефное, как „простые гоим“, и следовательно вся тяжесть этого сбора падает исключительно на бедный класс населения» (День. 1870. № 12. С. 201).

70 *Лившиц Г. [Гершон-бен-Гершон]*. Картинки из жизни петербургских евреев // *Рассвет*. 1879. № 3. С. 85–87. Вспоминая общинную жизнь 1860-х годов, «Рассвет» писал, что «Кто хотел, тот назывался и был представителем; кто хотел, тот распоряжался общественными суммами» (*Рассвет*. 1880. 29 мая. № 22. С. 843). Чиновник из Министерства внутренних дел заявлял в 1877 году: «Большинство недостаточных, по своим средствам, евреев, лишенное деятельного участия и даже своего представительства в Правлении, подверглось бы эксплуатации со стороны богатого меньшинства, что представляется явлением, замечаемым вообще и в местах постоянной оседлости евреев» (РГИА. Ф. 821. Оп. 8. Д. 24. Л. 78). Работавшие в масштабах всей империи комиссии 1844, 1858, 1881 и 1888 годов сделали сходные выводы, отмечая, в частности, многочисленные злоупотребления элиты при использовании доходов от сбора с кошерного мяса. См.: *Гессен Ю.И.* Коробочный сбор... С. 759–767. Писатели из маскилим обычно язвительно высмеивали этот сбор, как, например, в пьесе «*Di takse*» («Налог»), которую опубликовал в 1869 году известный автор, писавший на идиш, С.Й. Абрамович (Мендель Мохер Сфорим).

71 Самые ранние свидетельства существования такой репутации можно обнаружить в ежегодных всеподданнейших отчетах губернаторов Подолии (1832) и Могилевской губернии (1843); см.: *Архивные документы по истории евреев в России в XIX – начале XX вв.: Путеводитель / Сост. Г.М.Дейч; ред. Б. Натанс. М., 1994. С. 68, 72.* Сходное мнение было выражено Еврейским комитетом в 1863 году и министром внутренних дел Ипнатьевым в 1882 году. См.: РГИА. Ф. 1268. Оп. 1. Д. 139. Л. 175; а также: Государственный архив Российской Федерации [далее – ГАРФ]. Ф. 730. Оп. 1. Д. 1623. Л. 1. По более позднему периоду см.: *Гессен И.В., Фридштейн В.* Сборник законов о евреях с разъяснениями по определениям Правительствующего Сената и циркулярам Министерств. СПб., 1904. С. VII.

72 О роли, которую играло правительство в конфликтах вокруг хасидов, см.: *Царское правительство и хасидское движение в России: Архивные документы. Н.У., 1994.* К последней четверти XIX века, как заметил один современник, российское законодательство, касавшееся евреев, «превышает по объему, напр., *Code Napoléon*, вмещающий в себе полное законодательство целой страны» (*Вестник Европы*. 1885. № 1. С. 461).

73 *Слиозберг Г.Б.* Указ. соч. Т. 1. С. 293.

74 РГИА. Ф. 821. Оп. 8. Д. 24. Л. 49–50. Так или иначе, объем жалоб и прошений лишь увеличивался вместе с ростом еврейского населения столицы, особенно после того, как правительство предприняло попытки закрыть множество молитвенных домов, возникших по всему городу. См.: Там же. Д. 164. Л. 117.

75 *Рассвет*. 1880. 29 мая. № 22. С. 843.

76 *Ландау А.Е.* Петербургские письма // *День*. 1869. 30 июня. № 5. С. 72.

77 Ландау А.Е. Письма об евреях // Библиотека для чтения. 1864. № 12 (187). С. 8.

78 Рассвет. 1880. 5 июня. № 23. С. 884.

79 Сэр Мозес Монтефьоре, когда во время его первого визита в Петербург в 1846 году наступило время справлять субботу, должен был отправиться с этой целью в барак для еврейских солдат; во всем городе не было ни одного молитвенного дома, не говоря уже о синагоге. В отсутствие раввина задача ведения службы была возложена на солдата, и сэр Мозес, с характерной для него сдержанностью, заметил, что прихожане «выглядели весьма благочестивыми и звучно подхватывали слова молитв» (The Diaries of Sir Moses and Lady Montefiore / Ed. by Louis Loewe. London, 1983 [факсимильное воспроизведение издания 1890 года]). Vol. 1. P. 335.

80 ЦГИА-СПб. Ф. 422. Оп. 1. Д. 64. Л. 76–77; цит. по: Левин В.А. Очерк истории еврейского школьного образования в дореволюционном Петербурге // Еврейская школа. СПб., 1993. С. 74.

81 РГИА. Ф. 821. Оп. 8. Д. 24. Л. 127–128. Число легально существовавших в Петербурге молитвенных домов заметно изменялось с ходом времени. Перепись 1869 года выявила десять молитвенных домов (см.: Санкт-Петербург по переписи 10 декабря 1869 года... Т. 2. С. 128); «Рассвет» от 5 июня 1880 года сообщал, что их было двенадцать.

82 Я смог отыскать лишь горстку свидетельств о бедных и необразованных евреях, проявлявших недовольство религиозной жизнью. В той части своих воспоминаний, которая касается его жизни в Петербурге в 1870–1880-х годах, ремесленник Хаим Аронзон, разделявший традиционные еврейские суеверия, вообще ни разу не упоминает о религиозной жизни столичных евреев; то же самое можно сказать и об автобиографических зарисовках В.Н. Никитина. Напротив, получившие светское образование еврейские интеллигенты, такие как С. Дубнов, Г. Слиозберг, Л. Гордон и А. Ландау, проявляли значительный интерес к возможности «осовременить» иудаизм. Разумеется, значительное число русско-еврейской интеллигенции оставалось равнодушным ко всем формам организованной религии.

83 Ландау А.Е. Письма об евреях // Библиотека для чтения. 1864. № 12 (187). С. 4; Он же. Петербургские письма // День. 1869. 30 июня. № 5. С. 72–73; Левин Э.Б. Письмо от 21 марта 1868 г. Горацию Гинцбургу // ОР РНБ. Ф. 183. Д. 1014. Л. 3–4; Рассвет. 1880. 29 мая. № 22. С. 845; Ginzburg S.M. Op. cit. Vol. 1. P. 128 (Гинцбург, более того, использует термины «ортодоксальный» и «хасидский» как синонимы); Гордон Л.О. Указ. соч. Ч. 2. С. 47.

84 Wengeroff P. Op. cit. Vol. 2. S. 172–173. Сравнения Петербурга с землей обетованной и черты оседлости с Египтом возникают в работе Оршанского: Оршанский И.Г. Русское законодательство о евреях. СПб.,

1877. С. 10; а также в юмористической пасхальной сценке в произведении Леванды «Исповедь дельца»: *Леванда Л.О. Исповедь дельца*. СПб., 1880. С. 120–121.

85 *Ландау А.Е. Петербургские письма // День*. 1869. 30 июня. № 5. С. 72; *Рассвет*. 1880. 26 июня. № 26. С. 1003.

86 *Ландау А.Е. Петербургские письма // День*. 1869. № 22. С. 346. Сходные высказывания можно найти и в «Рассвете»: *Рассвет*. 1880. 12 июня. № 24. С. 924.

87 Отчет правления Санкт-Петербургской еврейской общины за время с 10 апреля 1870 года по 1 января 1873 года. СПб., 1873. С. 10.

88 *Ha-Kohen, Mordechai ben Hillel. Olami...* Vol. 1. P. 78.

89 ЦГИА-СПб. Ф. 542. Оп. 1. Д. 1. В 1886 году этот приют был переименован в «Марииинско-Сергиевский приют для крещаемых и крещенных в православную веру еврейских детей».

90 *Рассвет*. 1880. 15 мая. № 20. С. 761–763; 26 июня. № 26. С. 1004–1005.

91 Ю.И. Гессен утверждал, что правящий совет учредил двадцатипятирублевый взнос по рекомендации городских властей (см.: *Еврейская энциклопедия...* Т. 13. С. 939). Архивные источники, тем не менее, свидетельствуют, что эту идею впервые выдвинул Гораций Гинцбург в записке 1869 года. См.: РГИА. Ф. 821. Оп. 8. Д. 24. Л. 53.

92 Изложение дебатов по поводу избирательного ценза см. в протоколах правящего совета за 1911 год: ЦГИА-СПб. Ф. 422. Оп. 1. Д. 266. Л. 1–3; см. также: *Недельная хроника Восхода*. 1895. 2 сентября. № 36. С. 987; *Каган М. К истории национального самопознания русско-еврейского общества: По личным воспоминаниям // Пережитое*. 1911. № 3. С. 141.

93 Доводы в пользу отмены «коробки», которые постоянно выдвигал правящий совет, сводились к тому, что другие религиозные группы не платят подобных внутренних налогов и что тяжесть этого налога непропорционально падает на бедные слои еврейского населения. См.: Отчет правления Санкт-Петербургской еврейской общины за время с 10 апреля 1870 года по 1 января 1873 года... С. 3. Но в петициях на имя различных правительственных органов Гинцбург и другие нотабли еще с 1863 г. утверждали, что «коробка» представляет собой слишком ненадежный источник поступлений в общинную казну. См.: РГИА. Ф. 1269. Оп. 1. Д. 139. Л. 212; Ф. 821. Оп. 8. Д. 24. Л. 53.

94 Список избирателей в 1876 году включал 185 имен; см.: РГИА. Ф. 821. Оп. 8. Д. 24. Л. 70–72. Ежегодный отчет правления за 1881 год включает список из 304 избирателей; см. Отчет правления Санкт-Петербургской еврейской общины за 1881 год. СПб., 1882. С. 6. По данным Ю.И. Гессена, в 1911 году число избирателей достигло примерно 300 чело-

век, в то время как официально зарегистрированное еврейское население столицы составляло почти 35 тысяч человек. См.: Еврейская энциклопедия... Т. 13. С. 948.

95 Незадолго до отмены «коробки» этот налог приносил в общинную казну примерно 13 тысяч рублей ежегодно, в то время как годовые расходы общины составляли в среднем около 30 тысяч рублей. См.: Отчет правления Санкт-Петербургской еврейской общины за время с 10 апреля 1870 года по 1 января 1873 года... С. 3–4. В 1876 году, семью годами после отмены «коробки», 185 членов общины, имеющих избирательное право, внесли в общинную казну только 4625 рублей. Но еще 14 489 рублей были внесены в казну в форме добровольных пожертвований, причем две трети этой суммы поступили всего лишь от шести человек (их список возглавлял Гораций Гинцбург, пожертвовавший 4740 руб.). См.: РГИА. Ф. 821. Оп. 8. Д. 24. Л. 70–72. Чтобы оценить непреходящую важность «коробки» для еврейских общин в черте оседлости, достаточно обратиться к примеру Одессы, где в начале XX века этот налог ежегодно приносил в общинную казну доход около 300 тысяч рублей, что позволяло и финансировать общинные учреждения, и платить обязательные налоги в пользу городской администрации. См.: Еврейская энциклопедия... Т. 12. С. 63.

96 Этот термин употребляется в нескольких частных письмах рубежа веков. Когда автора одного из этих писем, перлюстрированного петербургской полицией, попросили объяснить, кто такой «папаша», тот ответил, что «папашей» евреи называют Горация Осиповича Гинцбурга. См.: ГАРФ. Ф. 102, 3-е делопроизводство, 1891 г. Оп. 89. Д. 445. Л. 86. Другой пример употребления этого прозвища см.: ОР РНБ. Ф. 183. Д. 1014. Л. 15.

97 См. воспоминания дочери Давида Гинцбурга: *Gintzburg S. David avi* | «Мой отец Давид» | // He-avar. 1958. № 6. Р. 159.

98 Бейзер М. Указ. соч. С. 131. Дополнительные свидетельства того, что семья Гинцбургов была окружена в восприятии рядовых евреев почти мифическим ореолом, см.: *Tsitron S.L. Shtadlonim: Interesante yidishe tipn fun noentn avar*. Warszawa: Ahisefer, 1926. С. 334–376, особенно с. 335; *Ginzburg S.M. Di familye Baron Gintzburg: drei dores shtadlones, tsedoke un haskole* | Семья Гинцбургов: три поколения ходатайств, благотворительности и просвещения | // *Ginzburg S.M. Historishe verk*. N.Y., 1937. Vol. 2. Р. 117–159.

99 *Ginzburg S.M. Historishe Verk...* Vol. 1. Р. 125–129. В отличие от Неймана, Драбкин был уроженцем Российской империи (родом из Могилева), хотя учился в раввинической семинарии в Бреслау у немецких евреев – Генриха Греца и Захарии Франкеля. См.: Еврейская энциклопедия... Т. 7. С. 316.

100 Рассвет. 1880. 12 июня. № 24. С. 923 (курсив оригинала).

101 Копия этого устава хранится в РГИА (Ф. 821. Оп. 8. Д. 24. Л. 63–69).

102 РГИА. Ф. 821. Оп. 8. Д. 24. Л. 78–83; Д. 164. Л. 193.

103 Еврейская энциклопедия... Т. 13. С. 949.

104 РГИА. Ф. 821. Оп. 8. Д. 24. Л. 82.

105 Отчет правления С.-Петербургской еврейской общины за 1882 год. СПб., 1884. С. 5.

106 *Клиер Дж.* Русская война против «Nevra kadisha» // История евреев в России: Проблемы источниковедения и историографии / Под ред. Д.А. Эльяшевича. СПб., 1993. С. 109–114.

107 Различия между еврейскими общинами в черте оседлости и вне черты, равно как и роль петербургской общины как модели для последних, подробно рассматривались в официальных документах; см., например: РГИА. Ф. 821. Оп. 8. Д. 24. Л. 35; Д. 164. Л. 193.

108 Там же. Д. 24. Л. 82.

109 При изложении истории конфликта вокруг синагоги, я, помимо собственных изысканий, использовал исследование некоторых аспектов этого вопроса, предпринятое Станиславским (*Stanislawski M.* For Whom Do I Toil? Judah Leib Gordon and the Crisis of Russian Jewry. N.Y.: Oxford University Press, 1988. P. 131), а также неопубликованную работу В.А. Левина «Петербургская хоральная синагога», любезно предоставленную мне автором.

110 *Ландау А.Е.* Петербургские письма // День. 1869. 20 декабря. С. 10–11.

111 ЦГИА-СПб. Ф. 422. Оп. 1. Д. 157. Л. 84; цит. также: *Левин В.А.* Петербургская хоральная синагога... Сходные взгляды высказывал и Ландау: *Ландау А.Е.* Петербургские письма // День. 1869. № 24. С. 379.

112 Этот аргумент впервые был высказан в газете «Рассвет»: *Рассвет.* 1880. 5 июня. № 23. С. 882–884. Кремье, как лидер Всемирного Альянса израэлитов, посетил Россию в 1869 году, отчасти из-за сообщений о масштабном голоде в западных губерниях, где еврейское население было особенно плотным. Одно это обстоятельство, согласно «Рассвету», стало источником беспокойства для нотаблей из числа русских евреев, которые вовсе не желали, чтобы кто-либо убедился в их неспособности заботиться о собственной пастве. Но Кремье зашел еще дальше: после бесцеремонного изгнания из Петербурга группы евреев, не имевших вида на жительство в столице (это случилось во время его визита), он направил русскому правительству формальное письмо протеста. Несколько российских газет отреагировало на это воплями возмущения против заграничного вмешательства во внутренние дела России, и к этим протестам присоединилась ведущая еврейская газета того времени, см.: *День.* 1869. 16 мая. № 1.

113 *Стасов В.В.* По поводу постройки синагоги в Санкт-Петербурге // Еврейская библиотека. 1872. № 2. С. 435–436.

114 М.М. Антокольский: Его жизнь, творения, письма и статьи / Под ред. В.В. Стасова. СПб., 1905. С. 386–387.

115 *Гордон Л.О.* В каком стиле должна быть построена синагога в Петербурге? // *Рассвет*. 1879. 11 октября. № 5. С. 190. В своем ответе Гордону (положившем конец их публичным дебатам) Стасов отверг этот довод как «странную клевету на еврейский народ»: *Стасов В.В.* Ответ г. Л. Гордону // *Рассвет*. 1879. 15 ноября. № 10. С. 384.

116 *Гордон Л.О.* Указ. соч. С. 190.

117 Стоит заметить, что через десять лет после публикации статьи Гордона городские власти потребовали от московской еврейской общины заменить огромные купола московской синагоги, по-видимому, для того, чтобы уменьшить ее сходство с русской православной церковью, которое, как опасались, могло ввести в заблуждение прохожих-христиан. См.: *Кац-нельсон А.* Из мартиролога Московской общины (Московская синагога в 1891 - 1906 гг.) // *Еврейская старина*. 1909. Т. 1. № 2. С. 175.

118 Указ Его Императорского Величества касательно того, в каком расстоянии от православных церквей должны быть устраиваемы еврейские синагоги и молитвенные школы. СПб., 1844. Указ касался только русских православных церквей; в нем даже не упоминались церкви других исповеданий. Никаких причин этого ограничения указ не объясняет.

119 *Стасов В.В.* По поводу постройки синагоги... С. 436-437.

120 См., например, обвинения в адрес правления, появившиеся в газете «Рассвет»: *Рассвет*. 1880. 12 июня. № 24. С. 925, и высказанные Ландау опасения, что бесконечные отсрочки приведут к тому, что «наши провинциальные собратья осмеют и ни в чем доверять не будут» (*День*. 1870. 20 декабря. С. 705).

121 Слова Трепова приводятся в пересказе Ландау: *День*. 1870. 1 августа. № 31. С. 527.

122 ЦГИА-СПб. Ф. 422. Оп. 1. Д. 250. Л. 1.

123 Цит. по протоколам правления общины: Там же. Д. 157. Л. 83.

124 *Гордон Л.О.* К истории поселения евреев в Петербурге... С. 118.

125 В том же очерке Гордон сетовал, что Петр Великий не включил терпимость по отношению к евреям в число тех ценностей, которые он позаимствовал у Запада: «Не было бы сейчас „еврейского вопроса в России“» (Там же. С. 119).

126 Важное значение Невского на той карте Петербурга, которая существовала в сознании Гордона, дополнительно подтверждает письмо Гордона еврейскому писателю, творившему на идиш – Шолом Алейхему. В этом письме Гордон доказывает, что воспитывать детей на идиш (а не на русском) – «то же самое, что заставлять их прогуливаться по Невскому проспекту в потрепанных лохмотьях и изношенных ботинках» (цит. по: *Stanislawski M.* Op. cit. P. 226). Неординарный взгляд на образ Невского проспекта в русской литературе см.: *Berman M.* All That Is Solid Melts Into Air: The Experience of Modernity. N.Y., 1988. P. 173 - 286.

127 Отчет правления С.-Петербургской еврейской общины за время с 10 апреля 1870 года по 1 января 1873 года... С. 17. Как заметило несколько обозревателей, ортодоксальные иудеи и хасиды в среде петербургских евреев не проявляли интереса к строительству большой синагоги, приспособленной к отправлению «реформированных» религиозных ритуалов. См.: *День*. 1869. 30 июня. № 5. С. 73.

128 ЦГИА-СПб. Ф. 422. Оп. 1. Д. 7. Л. 1–4; Еврейская энциклопедия... Т. 13. С. 946.

129 ЦГИА-СПб. Ф. 422. Оп. 1. Д. 7. Л. 43.

130 *Гордон Л.О.* К истории поселения евреев в Петербурге... С. 46.

131 Еврейская энциклопедия... Т. 13. С. 946.

132 *Мандельштам О.Э.* Шум времени // *Мандельштам О.Э.* Собрание сочинений: В 4 т. М., 1996. Т. 2. С. 66.

133 *Beizer M.* Op. cit. P. 106.

134 Еврейская энциклопедия... Т. 6. С. 525–531. Ко времени переписи 1897 года в состав российского потомственного дворянства вступили 196 евреев из числа пяти миллионов евреев, проживавших в Российской империи – то был самый низкий относительный показатель для значительных этнических групп империи. См.: *Die Nationalitäten des Russischen Reiches...* Bd. 2. S. 197–198. Семье Гинцбургов дворянское достоинство пожаловал в 1871 году герцог Гессен-Дармштадтский, чьи интересы они отстаивали при дворе российских императоров.

135 Согласно необыкновенно эластичной сословной системе царской России, евреев, проживавших в черте оседлости, обычно считали сословием, и в то же самое время отдельные евреи числились членами других сословий в обычном смысле этого слова: купечества, мещанства и т.д. О запутанной и часто перекрещивающейся классификации религиозных, этнических и социальных групп см.: *Die Nationalitäten des Russischen Reiches...* Bd. 1. S. 377–388, 418.

Справка об авторах

МАРК БАССИН / MARK BASSIN
получил Ph.D. в университете California-Berkeley в 1983 году; преподавал в UCLA и в University of Wisconsin-Madison, в настоящее время доцент (Reader) культурной и политической географии в University College London. Автор книги «Imperial Visions: Nationalist Imagination and Geographical Expansion in the Russian Far East, 1840–1865» (1999).

**СТЕФАН ВЕЛИЧЕНКО /
STEPHEN VELICHENKO**
научный сотрудник Center for Russian and East European Studies and the Chair of Ukrainian Studies в University of Toronto. Соредактор сборника «Empire and Nations on Europe's peripheries» (специальный том журнала «Схід-Захід», 2001) и ряда статей о численности и составе бюрократии в Российской империи.

ПОЛ В. ВЕРТ / PAUL W. WERTH
получил Ph.D. в University of Michigan в 1996 году. Преподает на историческом факультете University of Nevada, Las Vegas. Опубликовал книгу «At the Margins of Orthodoxy: Mission, Governance, and Confessional Politics in Russia's Volga-Kama Region, 1827–1905» (2002). На русском была опубликована статья «Отпадение крещеных татар» (Татарстан. 1995. № 12).

**ТЕОДОР Р. ВИКС /
THEODORE R. WEEKS**
получил Ph.D. в University of California in Berkeley в 1992 году; преподает историю в Southern Illinois University at Carbondale. Автор книги «Nation and State in Late Imperial Russia: Nationalism and Russification on the Western Frontier, 1863–1914» (1996). На русском языке опубликовал статью «Памятники и память: „Вещественное увековечение“ графа М.Н. Муравьева в 1898 г.» (Фундаментальные ценности российской культуры и образования. Пермь: Изд-во Пермского университета, 2000).

**РОБЕРТ ДЖЕРАСИ /
ROBERT GERACI**
получил Ph.D. в University of California в Berkeley в 1995 году; преподает историю в University of Virginia. Автор книги «Window on the East: National and Imperial Identities in Late Tsarist Russia» (2001) и редактор (совместно с Майклом

Ходарковским) сборника статей «Of Religion and Empire: Missions, Conversion, and Tolerance in Tsarist Russia» (2001); на русском опубликовал статью «Культурная судьба империи под вопросом: мусульманский Восток в российской этнографии XIX века» (Новая имперская история постсоветского пространства / Под ред. И. Герасимова и др. Казань: Центр исследований национализма и империи, 2004).

АНДРЕАС КАППЕЛЕР /
ANDREAS KARPELER

защитил докторскую диссертацию в Цюрихе в 1969 году, Habilitation — в 1979 году. Профессор Института восточноевропейской истории (Institut für Osteuropäische Geschichte) Венского университета. На русском вышла его книга «Россия - многонациональная империя: возникновение, история, распад» (1997; 2000) и большое число статей.

АГНЕС Н. КЕФЕЛИ-КЛАЙ /
AGNES N. KEFELI-CLAY

получила Ph.D. в Arizona State University в 2001 году. Преполагает на факультете исследований религии в Arizona State University, Tempe, Arizona. Опубликовала статью «The Role of Tatar and Kriashen Women in the Transmission of Islamic Knowledge (1800-1870)» (Of Religion and Empire: Missions, Conversion, and Tolerance in Tsarist Russia. Cornell University Press, 2001).

ВИРДЖИНИЯ МАРТИН /
VIRGINIA MARTIN

получила Ph.D. в University of Southern California в 1996 году; преподает историю в University of Alabama в Huntsville. Автор книги «Law and Custom in the Steppe: The Kazakhs of the Middle Horde and Russian Colonialism in the Nineteenth Century» (2001).

НАТАНИЕЛЬ НАЙТ /
NATHANIEL KNIGHT

получил Ph.D. в Columbia University в 1995 году; в настоящее время — ассистент исторического факультета Seton Hall University in South Orange, New Jersey. Опубликовал ряд статей, включая «Ethnicity, Nationality and the Masses: Narodnost' and Modernity in Imperial Russia» (Russian Modernity: Politics, Practices, Knowledge / Ed. by Yanni Kotsonis and David Hoffman. London: Macmillan, 2000); на русском языке — статью «Империя на показ: Всероссийская этнографическая выставка 1867 г.» (Новое литературное обозрение. 2001. № 51).

БЕНДЖАМИН НАТАНС /
BENJAMIN NATHANS

получил Ph.D. в University of California at Berkeley в 1995 году. Занимает пост Watkins Associate Professor of the Humanities на историческом факультете University of Pennsylvania. Автор книги «Beyond the Pale: The Jewish Encounter With Late

Imperial Russia (2002), которая готовится к изданию на русском в издательстве РОССПЭН. На русском опубликовал статьи «Об историографии российско-го еврейства» (Вестник Еврейского университета в Москве. 2002. Т. 6. № 24) и «Русско-еврейская встреча» (Ab Imperio. 2003. № 4).

АНДРЕАС РЕННЕР /
ANDREAS RENNER

учился в университете Билефельда, получил докторскую степень в Кельнском университете. Преподает историю Российской империи в Кельнском университете. Автор книги «Russischer Nationalismus und Öffentlichkeit im Zarenreich» (2000).

ВИЛЛАРД САНДЕРЛАНД /
WILLARD SUNDERLAND

преподает на историческом факультете University of Cincinnati. Получил Ph.D. в Indiana University в 1997 году. Автор книги «Steppe-Building: Colonization and Empire in the Russian South» (готовится к печати). На русском опубликовал статью «Империя без империализма» (Новая имперская история постсоветского пространства / Под ред. И. Герасимова и др. Казань: Центр исследований национализма и империи, 2004).

ЮРИЙ СЛЁЗКИН / YURI SLEZKINE получил Ph.D. в University of Texas в 1989 году. Профессор истории University of California, Berkeley. Опубликовал книги «Arctic Mirrors: Russia and the Small Peoples of the North» (1994) и «The Jewish Century» (2004). На русском опубликованы его статьи «СССР как коммунальная квартира, или Каким образом социалистическое государство поощряло этническую обособленность» (Американская русистика: веки историографии последних лет. Самара, 2001; «Н.Я. Марр и национальные корни советской генетики» (Новое литературное обозрение. 1999. № 36).

ДЖОН СЛОКУМ /
JOHN W. SLOCUM

получил Ph.D. в University of Chicago в 1993 году. Работает содиректором программ для Российской Федерации и постсоветских государств фонда МакАртуров (John D. and Catherine T. MacArthur Foundation) в Chicago, USA. Опубликовал статьи «A Sovereign State Within Russia? The External Relations of the Republic of Tatarstan» (Global Society. 1999. Vol. 13. № 1); «The Evolution of Russian Federalism and its Current Fiscal Dilemmas: An Institutional Account» (International Journal of Public Administration. 1999. Vol. 22. № 9/10).

ДАРИУС СТАЛЮНАС /

DARIUS STALIUNAS

получил Ph.D. в Каунасском университете в 1997 году; в настоящее время – заместитель директора Литовского института истории в Вильнюсе. Опубликовал книгу «Visuomenė be universiteto? (Aukštosios mokyklos atkūrimo problema Lietuvoje: XIX a. vidurys – XX a. pradžia) [Общество или университет? О воссоздании учреждений высшего образования в Литве с середины XIX до начала XX века]» (2000). На русском публиковались его статьи «Имперский режим в Литве в XIX веке (По литовским учебникам истории)» (Ab Imperio. 2002. № 4); «Этнополитическая ситуация Северо-Западного края в оценке М.Н. Муравьева (1863–1865)» (Балтийский архив: Русская культура в Прибалтике. Вильнюс: Русские творческие ресурсы Балтии, 2002. Вып. VII. С. 250–271); «Границы в пограничье: белорусы и этнолингвистическая политика Российской империи на Западных окраинах в период Великих Реформ» (Ab Imperio. 2003. № 1).

ЧАРЛЬЗ СТЕЙНВЕДЕЛ /

CHARLES STEINWEDEL

получил Ph.D. в Columbia University в 1999 году; в настоящее время – ассистент в Northeastern Illinois University. Его статьи публиковались в журна-

лах «Ab Imperio», «The Russian Review», и кн.: Russian Modernity: Politics, Practices, Knowledge / ed. by Yanni Kotsonis and David Hoffman. London: Macmillan, 2000. На русском опубликована его статья «Племя, сословие или национальность?» (Новая имперская история постсоветского пространства / Под ред. И. Герасимова и др. Казань: Центр исследований национализма и империи, 2004).

МАРИЯ ТОДОРОВА /

MARIA TODOROVA

выпускница Софийского университета; профессор истории в University of Illinois at Urbana-Champaign. Опубликовала, в частности, книгу «Imagining the Balkans» (1997). На русском опубликована ее книга «Англия, Россия и Танзимат» (М.: Наука, 1983).

МАРК ФОН ХАГЕН /

MARK VON HAGEN

получил Ph.D. в Stanford University; преподает историю России, Украины и Евразии в Columbia University. Автор книги «Soldiers in the Proletarian Dictatorship: The Red Army and the Soviet Socialist State» (1990), на русском опубликовал, в частности, статьи «Великая война и искусственное усиление этнического самосознания в Российской империи» (Россия и Первая мировая война /

СПРАВКА ОБ АВТОРАХ

Под ред. Н. Смирнова. СПб., 1999); «Российско-украинские отношения в первой половине 20-го века» (Россия - Украина: история взаимоотношений / Под ред. А.И. Миллера и др. М., 1997).

АДИБ ХАЛИД / ADEEV KHALID
получил Ph.D в University of Wisconsin-Madison в 1993 году; преподает на историческом факультете в Carleton College in Northfield, Minnesota. Опубликовал книги «The Politics of Muslim Cultural Reform: Jadidism in Central Asia» (1998), сейчас работает над книгой о Средней Азии в ранний советский период.

УЛЬРИКЕ ФОН ХИРШХАУЗЕН /
ULRIKE VON HIRSCHHAUSEN
преподает в качестве «приглашенного профессора» в Латвийском университете в Риге, постоянное место работы — университет Геттингена. Автор книги «Liberalismus und Nation: Die Deutsche Zeitung 1847-1850» (1998), редактор и составитель сборника «Nationalismen in Europa» (2001).

Библиографическая справка

Марк фон Хаген. История России как история империи: перспективы федералистского подхода

Hagen M., von. Writing the History of Russia as Empire: The Perspective of Federalism // *Казань, Москва, Петербург: Российская империя взглядом из разных углов / Под ред. Б. Гаспарова, Е. Евтуховой, А. Осповата, М. фон Хагена. М.: О.Г.И., 1997. С. 393–410.*

Пол В. Верт. От «сопротивления» к «подрывной деятельности»: власть империи, противостояние местного населения и их взаимозависимость

Werth P. From Resistance to Subversion: Imperial Power, Indigenous Opposition, and their Entanglement // *Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. 2000. Vol. 1. № 1. P. 21–44.*

Стивен Величенко. Численность бюрократии и армии в Российской империи в сравнительной перспективе

Velychenko S. The Size of the Imperial Russian Bureaucracy and Army in Comparative Perspective // *Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. 2001. Bd. 50. H. 3. S. 346–362.*

Юрий Слѣзкин. Естествоиспытатели и нации: русские ученые XVIII века и проблема этнического многообразия

Slezkine Y. Naturalists versus Nations: Eighteenth-Century Russian Scholars Confront Ethnic Diversity // *Representations. 1994. Vol. 47. P. 170–195.*

Натаниэль Найт. Наука, империя и народность: Этнография в Русском географическом обществе, 1845–1855

Knight N. Science, Empire and Nationality: Ethnography in the Russian Geographical Society, 1845–1855 // *Imperial Russia: New Histories for the Empire / Ed. by Jane Burbank and David L. Ransel. Bloomington: Indiana University Press, 1998. P. 108–147.*

Виллард Сандерланд. Русские превращаются в якутов? «Обыкновенное» и проблемы русской национальной идентичности на Севере Сибири, 1870–1914

Sunderland W. Russian into Yakuts? «Going Native» and Problems of Russian National Identity in the Siberian North, 1870–1914 // *Slavic Review. 1996. № 4. p. 807–825.*

Роберт Джераси. Этнические меньшинства, этнография и русская национальная идентичность перед лицом суда: «мултанское дело» 1892–1896 годов

Geraci R. Ethnic Minorities, Anthropology, and Russian National Identity on Trial: The Multan Case, 1892–1896 // *The Russian Review*. 2000. Vol. 59. October. P. 530–554.

Марк Бассин. Россия между Европой и Азией: Идеологическое конструирование географического пространства

Bassin M. Russia between Europe and Asia: The Ideological Construction of Geographical Space // *Slavic Review*. 1991. Vol. 50. № 1. P. 1–17.

Адиб Халид. Российская история и спор об ориентализме

Khalid A. Russian History and the Debate over Orientalism // *Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History*. 2000. Vol. 1. № 4. P. 691–700.

Натаниэль Найт. О русском ориентализме: Ответ Адибу Халиду

Knight N. On Russian Orientalism: A Response to Adeeb Khalid // *Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History*. 2000. Vol. 1. № 4. P. 701–716.

Мария Тодорова. Есть ли русская душа у русского ориентализма? Дополнение к спору Натаниэля Найта и Адиба Халида

Todorova M. Does Russian Orientalism Have a Russian Soul? A Contribution to the Debate between Nathaniel Knight and Adeeb Khalid // *Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History*. 2000. Vol. 1. № 4. P. 717–728.

Вирджиния Мартин. Барымта: Обычай в глазах кочевников, преступление в глазах империи

Martin V. Barımta: Nomadic Custom, Imperial Crime // *Russia's Orient: Imperial Borderlands and Peoples, 1700–1917* / Ed. by D. Brower and E. Lazzerini. Bloomington: Indiana University Press, 1997. P. 249–268.

Андреас Кappelер. Образование наций и национальные движения в Российской империи

Kappeler A. Nationsbildung und Nationalbewegungen im russländischen Reich // *Archiv für Sozialgeschichte*. 2000. Bd. 40. S. 67–90.

Андреас Реннер. Изобретающее воспоминание: Русский этнос в российской национальной памяти

Renner A. Erfindendes Erinnern: Das russische Ethnos im russländischen nationalen Gedächtnis // *Archiv für Sozialgeschichte*. 2000. Bd. 40. S. 91–112.

Ульрике фон Хиришаузен. Сословие, регион, нация и государство: Одно-временность неодновременного

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

в локальном пространстве Центральной Восточной Европы. Пример Риги 1860–1914 годов

Hirschhausen U. von. Stand, Region, Nation und Reich: Die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen im lokalen Raum Ostmitteleuropas. Das Beispiel Riga 1860–1914 // *Nationalismus in Europa* / Hrsg. von U. von Hirschhausen und J. Leonhard. Göttingen: Wallstein Verlag, 2001. S. 372–397.

Джон У. Слокум. Кто и когда были «инородцами»? Эволюция категории «чужие» в Российской империи

Slocum J. Who, and When, Were the Inorodtsy? The Evolution of the Category of «Aliens» in Imperial Russia // *Russian Review*. 1998. Vol. 57. № 2. P. 173–190.

Агнес Н. Кефели-Клай. Народный ислам у крещеных православных татар в XIX веке

Kefeli-Clay A. L'Islam populaire chez les tatars chrétiens orthodoxes au XIX siècle // *Cahiers du Monde russe*. 1996. Vol. 37. № 4. P. 409–428.

Дариус Сталюнас. Может ли католик быть русским? О введении русского языка в католическое богослужение в 60-х годах XIX века

Staliunas D. Kalba ar konfesija? (Sumanymas įvesti rusų kalbą Vakarų krapto pridėtinėse katalikų pamaldose) // *Lietuvos istorijos metraštis* 1999. Vilnius, 2000. P. 125–137. В настоящем

издании публикуется в дополненном виде.

Теодор Р. Виск. «Мы» или «они»? Белорусы и официальная Россия, 1863–1914

Weeks T. «Us» or «Them»? Belarusians and Official Russia, 1863–1914 // *Nationalities Papers*. 2003. Vol. 31. № 2. P. 211–224.

Чарльз Стейнведел. Создание социальных групп и определение социального статуса индивидуума: идентификация по сословию, вероисповеданию и национальности в конце имперского периода в России

Steinwedel C. Making Social Groups, One Person at a Time: The Identification of Individuals by Estate, Religious Confession, and Ethnicity in Late Imperial Russia // *Documenting Individual Identity: The Development of State Practices in the Modern World* / Ed. by J. Caplan and J. Torpey. Princeton: Princeton University Press. 2001. P. 67–82.

Бенджамин Натанс. За чертой оседлости: Евреи в дореволюционном Петербурге

Nathans B. Conflict, Community, and the Jews of Late Nineteenth-Century St. Petersburg // *Jahrbücher für Geschichte Osteuropas*. 1996. Bd. 45. H. 2. S. 178–215.

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В ЗАРУБЕЖНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

Работы последних лет

РЕДАКТОР Михаил Долбилов
КОРРЕКТОР Ольга Поливанова
ВЕРСТКА Тамара Донскова
ПРОИЗВОДСТВО Семен Дымант

Новое издательство
103009, Москва
Брюсов переулок, дом 8/10,
строение 2
телефон 229 6493
e-mail info@novizdat.ru

Подписано в печать 11.03.2005
Формат 60х90/16
Гарнитура Octava
Объем 43,5 усл. печ. л.
Бумага офсетная
Печать офсетная
Тираж 1000 экземпляров
Заказ №

Отпечатано
с готовых диапозитивов
в ООО «Типография Момент»
Химки, улица Библиотечная,
дом 11